

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

12



1991



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12 (800)

Декабрь, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Понтийская соль, стихи	3	
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Окончание	5	
ВЛАДИМИР АДМОНИ — Ночные встречи, стихи	77	
ИГОРЬ ЧИННОВ — Заморские земли, стихи	79	
БОРИС ФИЛИППОВ — Три рассказа	81	
ФЕЛИКС СВЕТОВ — Отверзи ми двери, роман. Окончание	89	
ЛЕВ ЛОСЕВ — Из новых стихов	153	
П. КРАСНОВ — Рубаха, быль	157	
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>		
ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Из карачаровских записей. Пуб- ликация, предисловие и комментарий Глеба Горышина	164	
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>		
МИХАИЛ БЕРГ — Через Лету и обратно	179	
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>		
<i>Из истории русской общественной мысли</i>		
П. И. НОВГОРОДЦЕВ — На путях к правовому государству. Состав- ление, вступительная статья и комментарии А. В. Соболева. <i>Г. В. Флоровский</i> — Памяти П. И. Новгородцева	202	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>		
В. КАМЯНОВ — В тесноте и обиде, или «Новый человек» на земле и под землей	219	
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>		
<i>Политика и наука</i>		231
Рэм Трофимов. Возвращение Большого шефа.		
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>		
А. АВТОРХАНОВ — Еще раз о «Загадке смерти Сталина»	235	

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### КОРОТКО О КНИГАХ:

А н д р е й В а с и л е в с к и й. — I. Крестная ноша. Трагедия казачества. II. Анатолий Мариенгоф. Циники. Роман. Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. ♦

А . П е с к о в. — Писатели советуются, негодуют, благодарят. О чем думали и что переживали русские писатели XIX — начала XX века при издании своих произведений. По страницам переписки. ♦

П е т р Ч е р к а с о в. — В. В. Согрин. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик

243

### РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

247

### СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1990—1991 ГОДЫ

249

### В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

**БОРИС ПАСТЕРНАК.** Письма к Жаклин де Пруайяр. Публикация Жаклин де Пруайяр.

**И. С. КАРПОВ.** По волнам житейского моря. Публикация Г. В. Маркелова и С. С. Гречишкина.

**МИХАИЛ РОЩИН.** На открытом сердце. Из книги «Америка».

**МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.** Тихие вихри. Стихи.

**МАРК БОГОСЛАВСКИЙ.** Забыв сказать прощальные слова. Стихи. Вступительное слово Б. Чичибабина.

**ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ.** Страшная сказка. Стихи.

**АЛЛА ЛАТЫНИНА, ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА.** Время разбирать баррикады.

**А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.** Газета «Русская мысль»: единство культуры поверх границы.

**И. СУРАТ.** О «Литературном приложении» к «Русской мысли».

**СТЕФАН ВИЛЬКАНОВИЧ.** Десять заповедей демократии в христианском разумении. Перевод с польского.

**Ю. ШРЕЙДЕР.** Поиски христианских основ демократии.

**Л. СИМКИН.** Закон и право. Судебная реформа в прошлом и настоящем.

**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ.** Метаморфозы «воровской идеи».

### К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки на журнал во всех странах (кроме СССР) принадлежат германской фирме «A. NEIMANIS». По всем вопросам, связанным с подпиской и распространением журнала за рубежом, следует обращаться по адресу:

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5, Germany. Tel. 089/26 30 76, fax 26 30 77.

## ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

\*

### ПОНТИЙСКАЯ СОЛЬ

\* \*  
\*

Это локаторы ищут в ночи  
Облако чуждой весны.  
И змееногой богине Керчи  
Пришлые разве нужны?

Это железных орудий ощер  
Поднят на каждый курган.  
Это прохлада жилищ христиан,  
Известняковых пещер.

Каждый тут лишний и каждый устал,  
Бога и род позабыв,  
Кровных наречий не помнят уста,  
Каждый не знает, кем был.

Камыш-бурунским зловонным дымам  
Молится в гуле небес.

Дыбится белым бетоном АЭС,  
Где-то в тумане — Тамань.

Это милетских торговцев суда.  
Станет родным и живым  
Все, что чужое приходит сюда  
Вечным путем роковым.

Это манящий маячный огонь,  
Сладостные имена.  
Нет, не урюма, как думал Страбон,  
Странная эта страна.

Животворяща боспорская грязь,  
Тысячелетий раствор.  
Розность в такое выходит родство —  
Даже в загробную связь.

#### Saga pedo<sup>1</sup> на развалинах Херсонеса

Кузнечик непорочного зачатья,  
Степная дыбка в зелени сквозной,  
Свидетель триумфального несчастья,  
Веков меланхолический связной...

Ты — воплощенье женственности хищной,  
В роду твоём, не знающем самцов,  
Живой, подвижной лакомится пищей  
Веселое потомство без отцов.

Но здесь, в краю, где каждая победа  
Десятки жизней уводила в ад,  
Философ равнодушный, Saga pedo,  
На гераклеийских зольниках твой сад.

К проломам стен по тропкам проводимы,  
Мы мнем бурьян неведомых могил  
Здесь, где крестился хитрый князь Владимир,  
Когда осадой Корсунь покорил.

---

<sup>1</sup> Степной кузнечик, самка которого может давать потомство без участия самца.

Бесполоый вид, своих мужчин сгубивший,  
 Мир, оплодотворенный на крови...  
 Мы ищем на разграбленном кладбище  
 Те знаки архаической любви.

### Пожар в Керчи

И когда я смотрела с горы на пожар,  
 Был он страшен, и огненный каждый кинжал  
 Предпасхальное вспарывал небо.  
 Даже зренье сжималось от взрывчатых масс.  
 В абрикосовом цвете боспорских террас  
 Древнегреческий полис дымил и не гас,  
 Призывая злорадную Гебу.

Этот город, ты знаешь, кусает в глаза,  
 Он окалиной брови чернит, и нельзя  
 Даже в снах от него отказаться,  
 Откреститься, отдуматься: вот он каков,  
 Простояв двадцать шесть напряженных веков.  
 Это ветки под стутками желтых цветков,  
 Перемогшие гарь оккупаций...

Это белый бульжник покатых дорог,  
 И читается пьяный отвергнутый бог .  
 В акротерии арки надвратной,  
 Это зной виноградный и привкус дурной,  
 Это керченский ветер, смертельно родной,—  
 С черной фабрики агломератной.

Здесь, где армии гибли во тьме катакомб,  
 Где бездонны хранилища бешеных бомб,  
 Где мутанты-растенья в Нимфее,  
 Разгораясь кукурузною жесткой стерней,  
 Он пылает, он криком кричит над страной,  
 Этот город, избитый враждой и войной,  
 И я плачу, спасти не умея.

\* \*  
 \*

Есть в Херсонесе места, где нарушено время сплошное.  
 Так же колонны лежат, как упали в пожаре осады,  
 Грубо расколот алтарь тесаком озверелым славянским,  
 Зыбок мозаик узор, сохранивший павлинов и площ.

Что же так сердце болит над осколками чернофигурных  
 Ваз привозных, ведь они некощунственным жестом разбиты,—  
 В храме, в торжественный час, в благовонном тумане, нарочно.  
 В жертву богам принесен каждый священный сосуд.

В яме лежит черепок, и на нем процарапаны буквы.  
 Имя ли то гончара, хозяина или хозяйки?  
 О, неужель предо мной остракон с приговором к изгнанию?  
 Люди истлели давно, вечны лишь их имена.



---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

*Очерки литературной жизни*

ПЯТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(1974 — 1975)

НЕВИДИМКИ

6

НАТАЛЬЯ МИЛЬЕВНА АНИЧКОВА И НАДЯ ЛЕВИТСКАЯ

**И** так же в письме заявила о себе до того неизвестная мне Наталья Мильевна: что она, бывшая зэчка, и дочь её приёмная, тоже зэчка, благодарят за «Ивана Денисовича» и готовы помогать, чем могут. А для заманки, чтоб я верней отозвался, приправлено было, что Павел Дмитриевич Корин — их сосед, могут познакомить; что они любительницы путешествовать по глухому Северу; и разнимчивые фотографии тех мест.

«Бывший зэк» был для меня открывающий пароль. «Бывшие зэки» была у меня в архиве переписки самая почтенная папка, и уже не одна сотня писем в ней. Какие другие, а этих я не пропускал, почти из каждого что-то выписывал и со многими потом встречался. Как-то поехал и на Большую Пироговку к Аничковым. И обнаружил, что подделки нет, они те самые, за кого себя и выдают: вечные зэчки с душою не замершей; живут как попало, на перекладных; не удивятся, если завтра опять к ним *придут*; и в ежегодных летних путешествиях, самых отчаянных для 65-летней и совсем не здоровой Мильевны, они забирались в такие дремучие места, куда и не всякий молодой решится. Вот этот дух неприобретательства, весёлой неуверенности в завтрашнем дне и горячая преданность вчерашнему злочлочному — и соединили нас в дружбе. Мы не могли не сойтись. Ещё в первую встречу я поопасался слишком открываться, а уж со второй — покатилося. И с первой встречи и до самой разлуки я, кажется, ни разу не оставлял их без поручений по нашему общему делу — и всегда выполняли они как главное и самое радостное в своей жизни.

Этот зэчский дух и лагерное прошлое единили их двоих в семью. В остальном они были совершенно разные: коротенькая, толстая, весёлая, не по возрасту возбуждённая Мильевна, с характером неустойчивым и даже капризным, — и высокая, худая, не по возрасту сдержанная, вечно в работе, чёткая, оглядчивая Надя. Как-то в лагере Мильевна игрою судьбы стала заведующая пекарней — и спасла от крайнего истощения сиротку Надю, подкормила, и душевно подбодрила. И это соединило их навеки, как мать и дочь. Наталья Мильевна была из древне-дворянской семьи, дедушка её — видный чин дворцового ведомства, училась она в Таганцевской гимназии, все друзья её детства — петербургская дворянская молодёжь, в революцию рассеянная, расстрелянная,

бежавшая. Советское пятидесятилетие продолжало размётывать всех родных её и любимых, близких и дальних, никого не осталось. Надя была из слоя невозвышенного, хотя отец её — Григорий Андреевич Левитский, биолог, ближайший сотрудник Вавилова, погибший от Лысенки. Их семью посадили не как семью, но в четыре приёма, отдельно — отца, мать, затем её саму, затем и брата, и каждого по независимому делу. Родители погибли в лагере, а Мильевна — спасла Надю, и с вечной благодарностью Надя и прилепилась к ней. То и замечательно было во всей их нынешней жизни, этим они напоминали супругов Зубовых и Тэнно, и, наверно, многие эзческие семьи, что вот — выпал неожиданный подарок, незаконный прирезок, привесок к прежним эзческим годам, и только в свете тех лет получал смысл. И каждое 5 марта, день смерти Сталина, этот постоянный высший смысл их жизни стягивался к символу: они убирали свои комнатёнки как музей, расставляли фотографии расстрелянных и погибших в лагерях, сколько достать могли, заводили траурную музыку, — и несколько часов сквозь этот музей шли приглашённые знакомые и бывшие эзки. На сумятицу военных и революционных лет наложился и весьма когда-то взбалмошный характер Наташи Аничковой, и так вся жизнь её прошла кувыркром, не оставив ни семьи, ни специальности. Надя же с детства знала немецкий язык и держалась теперь им в библиотеке иностранной литературы. (Во время войны, ещё девочкой, она имела лёгкую возможность из Псковщины отступить вместе с немцами, но не отступила, и была наказана лагерем, а, говорит, не пожалела никогда, что осталась на родине.)

Поэтому первейшая и естественная помощь мне от Нади стала — переводы. Множество сделала она мне их — газетных статей, рецензий, потом — и целых книг, которых по недостатке времени я никогда бы по-немецки не одолел. Да как! — хорошо поняв и систему мою и направление интересов, она не переводила всю книгу сплошь, что новый труд для меня составило бы — такой большой объём читать. Она — конспектировала и группировала по нужным темам, с ясными заголовками, на листах определённых размеров. (С особенной благодарностью вспоминаю, как она обработала — часто в электричках да в метро, у самой же тоже времени не было! — книгу генерала Франсуа и воспоминания генерала Гурко, которых на русском не существует.) Она же перевела книгу Земана, о связях Ленина с германским м.и.д.

А у Мильевны был иной талант: иметь множество разнообразных знакомых. Вообще для конспиратора это не всегда пригожий талант, но у Мильевны оборачивался счастливо: о какой бы новой неожиданной нужде я ни заявлял, она некоторое время думала — и всегда догадывалась, к кому надо обратиться. Срочно понадобилось мне спасти хранилище рукописей от Теуша — я кинулся к «ЭНэНам» («НН» — соединённо звали мы их так, от первых букв имён), — бестрепетно взяли они к себе. Но у них квартира — двор проходной и под подозрением, не надёжно, Мильевна думала — придумала знатного геолога Бориса Абрамовича Петрушевского, со свободой заграничных командировок даже, обратилась к нему — и он согласился, и верно держал хранилище года три-четыре, одно время даже с добавлением нескольких «Архипелагов». (По конспирации я его не только не видел, но старался и фамилии не помнить, и не знать, где он живёт. Так никогда и не познакомился. Поклон ему низкий.) Некуда было деть один экземпляр окончательного «Архипелага»? — Мильевна думала, находила, увозила. (Были и промашки. Повезла далеко, с пересадками, пароходами в Весьегонский заповедник — кажется, благородному, надёжному человеку, а он испугался, жена испугалась, — и пришлось Мильевне назад волочить всю тяжесть, проигрыватель, килограммов десять, не в её бы возрасте! Повезли в Ленинград, кажется, в хорошие руки отдали (двоюродная сестра), вдруг вызывают: заберите, не хотим такой ужас держать. И снова искать, уж теперь непременно в Ленинграде, — придумала, нашла! До сих пор там закопан один «Архипелаг», а я так и не знаю ни фамилии, ни места, знаю, что «под яблоней»<sup>\*</sup>). Машинистку нужно найти — очень хорошую и очень надёжную, самые страшные вещи ей дать (а платить-то нечем, всё на энтузиазме). А ещё хорошо бы — и переплётчика тайного, надёжного: эти пачки листов потом затрёпываются, теряются. Мильевна подумала — и вместе нашла: машинистку,

<sup>\*</sup> И перележал «Архипелаг» вместе с «Танками» сохранно 20 лет у благородно-бесстрашного Алексея Алексеевича Ливеровского, теперь откопан. (Примеч. 1989)

Ольгу Константиновну Крыжановскую, — и её я не видел никогда, а сколько она нам сделала, сколько хранила! — поклон ей до земли, а муж её Андрей Иванович, кадровый военный, инженер-полковник, между сердечными приступами еле держась, — переплетал мне все самиздатские «Архипелаги», всех «Телят» и много «Девяносто шестых», записки благодарственные я ему писал, а руки не успел пожать — он умер.

При таких обширных знакомствах (да при интеллигентской толчее в иностранной библиотеке) — в самиздат пускать самое естественное дело. За многие годы что б ни пуская я в самиздат — ЭНЭНам всегда мы с Люшей Чуковской отсчитывали экземпляры, от одного до пяти. (У Люши с Надей хорошо были поставлены встречи на станциях метро, — и места и минуты известны, и обеим по дороге, с работы, на работу, только бросить по телефону — утром или вечером. Пунктуальностью, ответственностью они сходны были обе, стояли друг друга.) «Читают „Ивана Денисовича“» от начала и до конца все ЭНЭНЫ сделали весной 1968 — и напечатали, и распустили по рукам.

Мильевна считала за честь распространять самиздат не по Москве только, а в провинцию побольше. Среди других таких мест был у неё Екатеринбург. Вообще я сильно промахнулся с «Кругом»-96: считал, что вот-вот будем его распространять, надо заготовить побольше, увлеклись, напечатали четыре «закладки», то есть 20 штук, — а куда девать потом? Несколько раз «Круг» чуть не проваливался из-за этого множества. (В одном хранении лежала неподъёмная стопа этих «96-х», потом все сожгли.) Один экземпляр, не разобравшись, я допустил ЭНЭНов загнать в Екатеринбург. И человек-то этот — Осённых Сергей Иванович, оказался совсем малознакомый. Авантюрная Мильевна познакомилась с ним во время летнего путешествия, и на чём? — сцепились об «Иване Денисовиче», он — бранил. Она его не только переубедила, но записала в друзья и доверенные и стала засылать ему самиздат — да вот и «96-й». Впрочем, Осённых не подвёл, а даже очень оказался твёрд. (В основном тексте книги этот эпизод был рассказан нарочито искажённо, чтоб на человека не навести. В 1971 в Новочеркасске, проездом, мы познакомились с ним, опять-таки у знакомых Мильевны.) Опасность на него надвинулась непредсказуемо: его племянник вернулся из армии, где разбалован был службою на радиозаглушке, не то радиоперехвате, и захотел «на гражданке», в Екатеринбурге, устроиться так же. Но тут для этого потребовалось много анкет, и всех родственников указать, потом этих родственников *Органы* должны были пристально изучить. И при изучении обнаружилось, что на Осённыха есть донос, что он давал читать «Раковый корпус». В провинции — это очень опасно, это как бомба! Но гебисты по нетерпению не стали дальше следить (да куда ж *дальше?*! — «Раковый корпус»!!!) — а прямо явились, несколько человек! — к нашему хранителю! Сам «96-й» был у Осённыха на безлюдной зимой летней дачке, приезжай — бери, что-то было и в квартире, да ещё в эту минуту сидел у него знакомый, только что взявший и в сумку сунувший «Август». Смышлёный знакомый окинул взглядом гостей: «Ну, слушай, я пошёл!» А провинциальные гебисты даже рады уходу свидетеля, не задержали. Больше того — и обыска в комнате не стали устраивать (лапты какие-то), а повезли Осённыха к себе в учреждение и только там спросили: «признавайтесь, *есть* «Раковый корпус»?» Смекнул наш бедняга, что лучше признать. «Привезите!» Поехал домой — привёз. И вроде отстали от него пока. А может — следят? А что делать с «96-м»? Мильевна от усердия ему велела: хранить как зеницу ока. И решил он — хранить. После вызова в ГБ это было смертельно, а — хранил. Связь же с нами была редкая — в письме много не скажешь, ехать под слежкой нельзя, послать некого, — успели мы только узнать, что — слежка, что *приходили*, и не можем крикнуть ему — *сожги!* И несколько месяцев, до естественной оказии, так и висел «96-й» топором над ним и над нами. Только к весне 1973 Осённых удостоверялся в распоряжении и — сжёл.

Одно время Мильевна (давно на пенсии) активно действовала в обществе охраны русской старины и памятников. Потом увидела, как там в казённую упирается, да и по здоровью требовалось больше дома сидеть, а вулканный нрав не давал ей успокоиться, и она то и дело придумывала мне какое-нибудь новое знакомство, новый источник сведений, нового полезного человека — хотя я не искал такого и не спрашивал. И часто убеждала меня, что это — нужно, я знакомился. Сейчас перебираю — целый фейерверк, даже всё вспомнить нельзя. Это она познакомила меня и с Дмитрием Петровичем Витковским, старым «беломорцем». Она — и с зятем Короленко А. В. Храбровицким, любителем



архивов, — по своему почину он множество сведений мне перетаскал и нужных, и ненужных. (В благодарность мы размякли, дали ему один том «Архипелага» подержать в руках полчаса без выноса — и потёк по Москве слух об «Архипелаге», и даже за границу перекинулся. Сколько усилий было опровергать, сколько опасений!) Тут и след Пальчинского: Мильевна нашла живую свояченицу Петра Акимовича, от неё почерпнул я немало, только так и ввёлся он у меня после «Архипелага» — да в «Август» и «Октябрь». Нужны были семейные достоверные свидетельства о генерале Свечине? — добывала их Мильевна, иногда тратя месяцы переписки, запросов, чьих-то поездок. О городе Тамбове? — раздобывала единственного в Москве геральдиста Ю. Шмарова, из Тамбова родом, живой свидетель всего, рассказывать из собственной жизни неохот, но уж справки, справки по всей губернии! Нужно мне вместо себя кого-то послать походить по местам восстания и расспрашивать совсем незаметно, аккуратней меня? — находилась в срок Валентина Павловна Холодова, биолог, много ездившая по Средней России, а по моей просьбе ехала в Тамбовскую область. А не хочу ли я живое содействие в Исторической библиотеке? — вот они, сотрудники. А не хочу ли я получить важные секретные донские материалы? Да и к Корину же свела, как обещала, успел я познакомиться с этим замечательным человеком — и своими глазами увидеть этюды к «Руси Уходящей». А вот, чего уж совсем не ждал, не спрашивал, не догадывался: нанюхала Мильевна, что в Ленинграде у одной казачки хранится архив Фёдора Крюкова и — им написанная ещё дореволюционная тетрабочка с *первой частью «Тихого Дона»!* Для работы мне это не только не нужно, но отвлечение рьяное, — а как отказаться? у кого не запыхает кровь на такую приманку?

Заметил я, убедился, и уверенно Мильевне говорил: счастливая у вас рука! Ну и я, бывало: есть обнадёживающий человек, а времени на него нет, к кому бы прицепить? к эНэНам! Был такой Николай Павлович Иванов из Одессы, внук священника, — сколько ясности в понимании, сколько мук через советские дебри доискаться своих, сколько замыслов, какой замах! — но ничего крупного сделать ему не удалось, и мне мало в чём помог: собирался он накатывать на рогаторе «Архипелаг» — но это оказалось невозможным. А в полезную экспедицию съездил для меня в Тамбовскую область: собрал и архивный материал; и повидался с сестрой тамбовского знаменитого бунтаря Петра Токмакова. Искали эНэНы даже невесту ему, не нашли. (И ото всех связей с нами его едва не запихнули в психушку, уже задерживали его рязанские психиатры.) К эНэНам же подцепил я и Риту Шеффер — тоже разорённая русская судьба, о ней отдельно.

А пока «потолки» у эНэНов не считались опасными, они, конечно, и считывали нам тексты — весь «Архипелаг» считали, и не его одного. В 1966, в 1967 жилали они в Рождестве-на-Истье, когда наша дачка пустовала летом: такие близкие люди стали, такая простота этих отношений эзеских, с шуточками и похамливанием, — естественно было звать их в свой любимый угол пожить, а Мильевна из дальнего ярославского заповедника везла мне рассадку черноплодной рябины. Когда Мильевна жила в Рождестве, Надя, дрожа за неё, как редко за какую мать дрожит дочь, после полного рабочего дня в Москве два часа добиралась до Рождества и утром два часа назад, и всегда пешком со станции Башкино. Хорошо она ходила пешком. Исходила мои любимые места едва ль не гуще меня. На этих полянах и опушках вижу её как вписанную. Когда в мае 1968 мы печатали «Архипелаг» в две машинки, Надя приезжала на каждый третий день и забирала напечатанное, от провала. (Все пять экземпляров забранных надо ж было потом куда-то и рассовать!) Она же и спасла рукопись начатого «Архипелага» в сентябре 1965, передала Тэнно.

Осенью 1969, едва поселился я во флигеле у Ростроповича, оказалось, что главный дом опустел, некому жить, а сами Ростроповичи уезжали за границу надолго и спешно, искать некогда. И предложили мы им — эНэНов. Стива бросился к Аничковым в своём стиле и темпе, ошеломил, очаровал — и перевёз их в несколько часов. И поселились они так на две зимы: в главном доме они, во флигеле — я, большей частью один, да во дворе чёрный лохматый ньюфаундленд, которого полюбили они страшно, и он их. Оккупировали трое эзков участок в спецзоне, рядом с зампредсовмина!.. Хорошо поживали мы! — я дорожки чистил от снега, за котельной следил, Надя возила всю левую почту в Москву и из Москвы, захаживал я к ним пошутить, да работа гнала. Они же в просторах дома Ростроповичей развернули добрый самиздат — печатанье, сверку. И мне

помогали, чем могли, — так хорошо работать, когда листы передавать сподручно, близко, — не привыкли мы так. С эНэНами же и с Люшей, в отсутствие Стивы (он за границей был), мы и «встречали» мою нобелевскую церемонию в подчердачной «таверне». Мильевна же присутствовала и когда милиция приходила выселять меня из Жуковки.

Так часто потом уже никогда мы больше не встречались. Гоня в московском сгущении дел, я забирался к ним редко — но простота между нами до конца осталась зэчская, классическая, сроднённая незабвенными пайкой чёрной, столом невытертым и мискою баланды. Не во всякой семье так просто, как у нас с ними.

Последнюю мою зиму в Москве Мильевна долго болела. Я назначил, что на Рождество приеду, она бодрилась. И в самый назначенный день, как раз ехать к ним, — из Парижа я получил «по левой» два первых экземпляра «Архипелага» — ещё сигнальные, ещё раньше, чем ГБ и ЦК получили, первые в СССР. Я не успел даже книжку дома развернуть, одну оставил Але, другую — схватил и поехал к эНэНам.

Развернул — у них, и это было справедливо. Вместе с ними листали — за тем столом, за которым знакомились 10 лет назад, когда ещё весь, весь путь был впереди. Вместе с ними распахнули и ту страницу, где было шесть фотографий расстрелянных — шесть фотографий, данных Мильевной из их мартовской выставки, и среди них — её любимый когда-то человек...

За эти несколько лет вложила Мильевна всей своей жизнью в мою работу, и вот фотографиями своих близких — врезалась навсегда в «Архипелаг», во все его издания, на всех языках.

А уже начался у нас тогда Землетряс. Среди вариантов предвидя и высылку, мы с Алей спрашивали Надю: не приедет ли потом к нам, вместе жить и работать за границей? Нет: если и Мильевны не станет — то и родины никак не бросить. Затем я был выслан. Аля собиралась к отъезду. Все эти полтора месяца бурления у нас сочувствующих и иностранцев — Надя не приходила, при её бесправном рабочем положении был бы ей конец. А один раз, перед самым отъездом нашей семьи, зазвонил телефон. В трубку не назвали, но знакомый голос, плачущий голос сказал:

— Передайте ему, что то были счастливые годы, таких больше не будет.

Прошёл год — и мы узнали о смерти Мильевны. Она уже много лет болела разными болезнями, и тяжело, и в лёжку, и говорил я ей не раз: «Мильевна, надо дожить до «Архипелага!»», «Мильевна, надо дожить до общего торжества!» Всякий раз она поправлялась.

А в январе 1975 у нее стался инфаркт. Врач пришёл, убеждал, что надо ей лечь в больницу. Мильевна, сидя на кровати: «Зачем в больницу? Умирать лучше дома!» И тут же по лицу её прошла зеленовато-голубая тень, она покачнулась и стала падать набок. Врач кинулся делать искусственное дыхание, вызвали реанимацию — а её уже нет.

## 7

## МИРА ГЕННАДЬЕВНА ПЕТРОВА

Четыре года деятельно и бесценно она сотрудничала со мной, но не в общей нашей маленькой сети, не касаясь конспирации, ни с кем не знакомясь, не пересекаясь, всегда особняком. И всегда ведь смутно передождаешь такую душу, но именно такая сама не выставится, а ищущие глаза находят не этих.

Были у меня некоторые отношения с ЦГАЛИ (архивом литературы и искусства), они когда-то дали промашку — выдвигали меня на ленинскую премию (уж как их за это причёсывали потом), в тяжкую минуту положил я к ним на хранение «Круг», потом читал у них главы «Корпуса» — и Миральду Козлову, необычайно деятельного агента ЦГАЛИ, просил собрать мне о «Корпусе» отзывы сотрудников, кто захочет написать. Собрала она мне таких до десятка, и среди них пронзил меня один: обо всей судьбе Костоглотова, о его безудачливой любви и что погибает в ней — с таким щемленьем было написано, что если пишущая и не была в том диспансере врачом, так значит со мной вместе повесть писала, сторонняя не отзовется так. И в замечаниях было такое литера-

турное проникновение, которое критикам недоступно, только авторам же. Я захотел познакомиться. Оказалось: Петрова уже не служит в ЦГАЛИ; кандидат наук, историк литературы и текстолог, нашла себе более достойную работу в институте Мировой литературы, туда перешла. Однако Миральда охотно устроила встречу — у Миры, в Воротниковском переулке.

Я просил Миру высказаться больше: что бы она хотела ещё видеть доработанным и исправленным в «Раковом корпусе» (то была осень 1966, текст ещё можно было менять). И она отважно (вообще была отважная, крайне самостоятельная и даже резкая, при маленьком росте и обычной тихости, если не выведут из себя) выдвинула суждения, замечания, даже и советы. В них поразила меня и литературная несомненность, и та особо женская точка зрения, которой мне не хватало, — на этой повести первой узнал, что не хватало. Её изложение носило даже характер вихря — от кажущейся смены позиции в ходе его: то против недостаточной высоты в изображении женщины, то против недостаточной плотскости. Вот именно такой сочувственницы все годы лагерного, ссыльного и не-московского писания до сих пор не было у меня никогда. Но до тех пор и материал тек лагерный, в котором разбирался я претоллично, именно теперь менялась тропа моей работы. Я понял, что ещё не раз приду на Воротниковский. Едва ушёл — и заняло ощущение недоконченности разговора, надо опять говорить.

Я приходил потом туда многие десятки раз.

Мира была дочерью старых большевиков — но уж как далека от их линии, тоже знак времени, впрочем теперь частый. Отец её был расстрелян, мать жива, но характера такого несносного, что Мира давно отделилась от неё, хотя и незамужняя. У неё была своя тёмная комната на грохочущей Домниковке, по советским условиям сменить её было невозможно, губить жизнь тоже не хотелось, и она кинула её с рухлядью и библиотекой, а сама частным образом сняла полторы комнаты в актёрском доме, у известной когда-то актрисы Малого театра. Здесь было у неё светло, тихо, тесно и уютно. Уютнее всего — от старинного замысловатого секретера, по легенде — из помещичьего дома на смоленской дороге, где однажды ночевал Наполеон и за этим, дескать, секретером работал, — а теперь-то наработались рядышком вволю мы — немало было сделано там! Но и до мелочи было продумано у Миры каждое цветное пятно в комнате — она страстно любила Ван Гога и ужасалась всякому цветовому несогласию. Предметов поклонения и ещё было несколько у неё — поклонения тем более безоглядного и преданного, чем самостоятельной была она вообще. К таким кумирам относились у неё Томас Манн (позже и Бёлль), Чехов, Цветаева и... Эренбург. Двух последних портреты она держала в остеклённом книжном шкафу. (Я долго высмеивал Эренбурга, что не рыло ему стоять в таком ряду, она подавалась, подавалась, наконец молча убрала его — и тут он вскоре умер. Она содрогнулась суеверно — и вернула его.) В выборе этих кумиров, конечно, сказывался не только собственный вкус, но и — общее направление интеллигентского вкуса последних лет. При личной острой независимости мнений, она плыла в этом общем потоке традиционного демократического интеллигентства или, скорее, позднего кадетизма. Но за гранями перекосов (Чехов — вершина русской литературы, крупней Толстого и Достоевского), она была так талантлива на восприятие литературы, что заменяла мне сразу 10 — 20 других читателей — бесценное качество для подпольного писателя: всякую новую главу, страницу довольно было проверить на ней одной. Вообще писателю, столь занятому сокрытием, утайкой, подчинённому внешним механическим требованиям конспирации и её жёстких сроков, грозит опасность не соблюсти неторопливого эстетического созерцания пропорций и деталей в сделанном. Именно об этом нередко напоминала мне Мира. Потому и заняла она такое особое положение — в стороне ото всей моей конспирации: она сохраняла мне отдельную заповедную территорию, где был я не конспиратор, а чистый писатель. Потому изо всех моих книг к единственной она не прикоснулась сотрудничеством, — я её не прикоснул и не просилась она: к «Архипелагу». В том жёстком самодвижении нашей истории и её неленивым рукам было не к чему прикоснуться. И когда все три тома я принёс ей на пять дней прочесть — она, единственно только об этой книге, не сказала мне ни слова. Потому что эта книга сделалась *сама* — не в мастерских искусства, не вспоминая ни единого завета его, не соотносясь ни с единым правилом.

В остальном — Мира была незаменимым дополнением к моей слишком жестокой работе в те три-четыре года после захвата моего архива. Она была и проверяющий мой собеседник: до неё — ни с кем, а после неё только с женой моей Алей я разговаривал о работе в самом ходе её, а иногда и прежде первого построения. Это — хрупкий разговор, он может разломать весь замысел, если собеседник — не ты же отщепленный, а чужероден. Этот разговор вёлся не в реальном пространстве, а — в эн-мерном литературном, он не подгоняем был временем (как всё в моей жизни подгонялось), ему не требовалось тотчас бумаги и карандаша, записать, это была медленная переставка и проверка основ — методов и конструкций в разных лучах сопоставлений. В таких разговорах выясняются и могут быть избегнуты многолетние ложные пути.

Но не только собеседовать — вечно-деятельная неутомимая Мира была всегда готова к любой долгой, изнурительной и мелочной работе, тесня свою казённую, где, к счастью, не было точных часов отсидки. Она помогла мне сделать многое, что было в разлохмаченном состоянии от моего напряжённого темпа и укрыва. Текстолог, она провела анализ и сравнительную обработку многих моих пройденных редакций — истинных, «смягчённых» (для цензуры), потом переделанных вновь, что где могло потеряться, исказиться, — и так помогла создать окончательные редакции «Денисовича», всех рассказов, — я в то время не собрался бы сам, а она сделала 4/5 работы, предлагая мне только принимать решения. Она перепечатывала и крупные мои вещи («Раковый корпус», «Круг»-96), кропотливо считывала, искала опечатки, сравнивала редакции. Изю всех моих близких единственный серьёзный знаток предреволюционной России (по роду службы занималась этим), она быстро находила мне справки, особенно по известным интеллигентам, кадетам, по всеобщей истории, и других родов справки, ибо изрядная часть жизни её просиживалась в Ленинке. А ещё была Мира очень предана театру и художественному чтению, как у многих женщин — не самой делать, а воспринимать, судить, понимать. В её комнате, и на ней себя проверяя, я сделал записи на магнитофон — читал главы из романов. (Уничтожены они на московской таможне при выезде семьи, если там их не перекопировали.) Мира живо следила за всем лучшим, что появлялось в нашем театре, в кино, в актёрской работе, — и благодаря ей я тоже несколько лет в курсе был, несколько времени на то не потеряв, как не мог бы, живя не в Москве. Уж «Нового мира» она была энтузиастка первая, во всех моих конфликтах с Трифоным — всегда на его стороне, не ведал А. Т. о такой союзнице.

И весь этот её эстетический рай расположен был, игрою случая, в пяти минутах ходьбы от «Нового мира», и чтобы к ней попасть, надо было только прорваться сквозь телефон актёрской семьи. К Мире нёс я свежие впечатления, доработки на бегу, головную боль, усталость и голод. У неё мог я одуматься, помолчать или посоветоваться. При моей безмосковной жизни, напряжённых прокручиваний через столичные кольца, в сутки попасть в семь мест, — поесть и очнуться порой становилось из первых дел, без того б я иногда и не выдержал своей ноши. Мира же с гордостью и убеждённо повторяла, кажется, из Цветаевой: что поэт нуждается не только в сочувствии к его стихам, но и в обеде. Сильно переходя эти рамки, она расспрашивала у старой барской кухарки, какие блюда как готовили, и устраивала мне каких-нибудь рябчиков с глинтвейном, «чтоб легче было потом описывать».

Однажды, уже в 1969, возникло подозрение, что на пути к ней я прослежен (шёл с важной ношей из важного места). Мы разработали с Мирой тактику выхода моего через несколько проходных дворов и её слежения за мной, с сигналами. Она с большим увлечением выполнила эту операцию (благополучно), даже очень красиво держалась, как условно поворачиваться, как условно сумочку держать, шло ей, хотя не занималась никогда и не готовилась. Постоянно она отговаривала меня от всяких общественных выступлений, но — заниматься искусством в сердцевине его (впрочем, письмо съезду писателей одобрила, все конверты надписывались и заклеивались у неё в комнате, и сама она по почтовым ящикам немало разбросала). Тем не менее моё постепенное осознание, что нельзя стремиться и звать к новой революции, — не разделялось ею. В этой маленькой хрупкой женщине, с литературными кумирами умеренности и даже вялокровными, сидел ещё и разинский свист: раздайся завтра он на улицах — и она, пожалуй, поддала бы ему из окна. И сегодня сочувствовала она революции Февральской — и завиден казался ей такой же исход из теперешнего болота. В

этом, как и во многом, она выражала осевое настроение нынешней интеллигенции: тряхануть бы э т и х, как Романовых (но — только не нас...).

Ни к Мире, ни от неё я никогда не звонил по криминальным телефонам. И она сама умела молчать, как немногие женщины. Но, конечно, ГБ не послабило слежку за мной — и конечно это место у них было засечено\*.

А ещё ж была она верная труженица и на работе, многоопытные доктора наук того не делали, сколько вваливали на неё. (Её работа диктовала ей ставить высоко Горького — без того обесмысливалось всё, что она делала там, в институте. При её художественном вкусе это было нелегко, и состраивала она искусственно, чтоб опереться: то на дореволюционное всеобщее восхищение им, то на замечания любимой Цветаевой, что Горький был достоин Нобелевской премии больше Бунина.) Она вытягивала тогда «Летопись литературных событий». Это окунание в предреволюционную прессу сделало её последовательной приверженицей кадетов. Уже к «Августу» моему она отнеслась с подозрением. Иные листы её замечаний и оспариваний открыли мне, что такое «нео-кадетизм», как он силён в сегодняшней интеллигенции, и как ещё скажется в русском развитии, и насколько он чужд мне.

Последнее, что Мира у меня разбирала посвежу, были пробные главы «Августа», даваемые первочитателям осенью 1969, — и с большой неприязнью атаковала семью Томчаков и совсем непонятную ей, чуждую Орю. С осени 1969 мы встречались с ней редко по причинам внутренним. Но ещё и в 70-м она прочла «Август», близкий к готовности, и делала важные замечания. Ей понравился массив военных глав и Самсонов. От этой привычки, обсуждать вместе рукопись, нам было отстать обоим трудно. Следующие два года — ещё меньше, почти не виделись совсем. Лишь в 1973 показалось, что выныривает между нами дружба или возможность снова смотреть рукописи, когда они ещё сыры. И на новую квартиру её, за Преображенской заставой, я приезжал несколько раз с кусками «Октября Шестнадцатого». Но уже прежнего быстрого взаимопонимания и согласного нахождения никак не было — да в этой-то теме и был между нами незатягиваемый раскол. Она ужасалась всему «правому», антикадетскому направлению моих Узлов, с особенным раздражением, задорчивостью как бы личной обиды — против глав религиозных, и всё выдвигала мне в поученье антирелигиозные рассказы В. Шукшина, которого очень почитала, заслуженно. (Шукшина, видно, сильно тревожила, разжигала тема религии, и он в те годы остро стремился оправдаться как бы *против* неё, а внутренне и уступая, — не подозревал, что это будет — из последнего, написанного им пред внезапной смертью.) Так открывалось, что наше прежнее единство зрения не было единством.

Но и когда стучала Мира гневно по стопкам рукописных глав «Октября Шестнадцатого», последним моим московским и русским летом, а я ничуть согласен не был, — я не возражал запальчиво, но принимал поток этого гнева внимательно и благодарно.

## 8

## ЕЛЕНА ЦЕЗАРЕВНА ЧУКОВСКАЯ

Люша Чуковская почти пять лет, с конца 1965, стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной деятельности: эти годы на ней перекрещивались все линии, все связи, вопросы, ответы, передачи — и ещё потом следующие три года до моей высылки немало шло через неё. Когда я в этой книге писал: «мы решили», «мы сделали», «мы недосмотрели, не предполагали», то несколько кряду лет это было — мы с Люшей. Весь близкий и даже неконспиративный круг это знал, и если Люша звонила кому-нибудь, настоятельно неожиданно звала к себе или вдруг без церемоний напрашивалась прийти, то все так и понимали, что подразумеваюсь я, приглашаю или приеду, или действительно Люша; но по моему срочному делу. Она была как бы начальник штаба моего, а верней — весь штаб в одном лице (увы, постепенно это и в ГБ отлично поняли). Ещё оттого

\* Годами позже я узнал, что с конца 1974 — и даже до 1979 — её дёргало ГБ, ведь сколько же лет не унялись! Читали ей состряпанный «обвинительный материал» (и всё мимо...), склоняли выступить против меня через АПН, но она не колебнулась, устояла твёрдо. (Примеч. 1990)

особенно, что я никогда не жил в Москве, иногда в Рязани, иногда в Подмоскowie, а дела непрерывно возникали и решаться должны были именно в Москве.

Люша была внучкой Корнея Ивановича Чуковского — одной из пятерых внуков, но — излюбленной, сердечно преданной его работе, и много помогала ему. Она окончила химический факультет, аспирантуру, стала кандидатом наук, затем успешливым научным работником, отличаясь и там своим исключительным трудолюбием, аккуратностью, чёткостью, любовью иметь в делах порядок и каждое начинание доводить до конца. (Уж так всюду в жизни и всегда: недобросовестные никогда не вклиниваются в работу, с них она соскальзывает естественно, добросовестным — достаётся работа за нескольких, и ещё они сами ищут её повсюду.) И сверх того Люша, душевно не насыщенная своим институтом, уже много лет проводила субботы-воскресенья в Переделкине, когда К. И. оставался без секретарши, и усиленно помогала ему в переписке, в ведении архива, превращая эти уныло-праздничные дни в самые деятельные, и радуя тем трудолюбивого старика (что очень понимаю и разделяю).

Эта помощь прервалась, когда на 33-м году жизни Люша испытала большую утрату, трагический кризис, еле пережила; родные очень тревожились за неё (осенью 1965, выздоравливая, она вернулась из Крыма, приехала первый раз в Переделкино — тут узнала, что К. И. приютил меня после захвата моего архива, и тоже в полной подавленности. (Это его приючанье поддержало меня в самые опасные и упадочные недели.) Время от времени К. И., опираясь на свой довольно уникальный литературный статус, становился на защиту гонимых или даже арестованных, подписывал ходатайства за них или кому-то звонил *наверх*, но заступничество носило характер личный и не выливалось в публицистический взрыв. Кроме того, Чуковский никогда не терял чувства литературного наследства и общелитературного масштаба. В моем понуреньи, когда я со дня на день ждал ареста и с ним — конца всей моей работы, он убеждённо возражал мне: «Не понимаю, о чём вам беспокоиться, когда вы уже поставили себя на второе место, после Толстого». Вёл меня к отдалённому помосту на своём участке — и давал идею, как подкинуть туда и спрятать тайные рукописи. Он прочёл мои рассказы, напечатанные в «Новом мире», — и ничего больше никогда, хотя и говорил мне о «втором месте». «Раковый корпус» не дочитал — может быть, по мнительности, боясь болезней, но — «Круг»?.. чтобы мочь сказать, что не знал о крайности моих взглядов? чтобы не расстроиться этим политическим клопоченьем? В один из вечеров — ему и Лидии Корнеевне я прочёл по памяти «Прусские ночи», уже не зная, удастся ли ещё когда найти читателей тому, или даже сохранить рукопись.

Итак, мы познакомились с Люшей в самое тяжкое, шаткое для нас обоих время, когда обоим стоило труда держаться ровно, когда она только опиралась жить, а я залёживал подранком в отведённой мне комнате, по вечерам даже не зажигая лампочки для чтения, не в силах и читать. К. И. осторожным стуком вызвал меня из тёмной комнаты к ужину, я вышел, увидел остро-живую внимательность внучки и сразу ощутил, что встречу помощь. (Потом рассказывала мне она, что ожидала увидеть духовно разваленного человека и, напротив, удивлена была, насколько я не сломлен; видимо, у меня — нулевая точка была завышенная. И ещё потом вспоминала, что знакомство со мной придало её жизни внутреннюю устойчивость, стало менять её мироощущение, так что уже никогда она не опустится в кризис отчаяния.)

При слабом здоровье, малом аппетите, постоянной неутомимой деятельности — Люша и в доброе-то время жила одним душевным напряжением, а тем более в дурное. Вовсе не маленькая, не невесомая, она тем не менее как бы не подчинялась балансу физических энергий — но тем более нужен был ей духовный двигатель и если не убеждённость, то сознание убеждённости.

В тех самых днях (в той самой столовой Чуковских) дошёл до края и наш разлад с женой, выразившей, что лучше бы меня арестовали, нежели буду я скрываться и тем «добробольно не жить с семьёй». С этого мига я не только не мог полагаться на жену, но должен был строить новую систему, скрытную от неё, как от недруга.

А Люша, в моей неразрядной тогда опасности, тут же, в короткие недели, стала предлагать один вид помощи за другим. Сперва — свою с Лидией Корнеевной городскую квартиру, не только для остановков, для встреч с людьми, но и для работы (провинциалу, мне очень не хватало в Москве такой точки опоры); быстро вослед — свою помощь секретарскую, организаторскую, маши-

нописную, по встречам с людьми взамен меня, какую ни понадобится. Для меня это ново, непривычно-облегчающе было: такая вдруг огромная помощь в моей прямой работе, это облегчило моё уравновешение в те тяжёлые месяцы. Впрочем, скоро я уезжал в эстонское Укрьвище — и именно Люша устраивала мой отъезд, с некоторым ошеломлением наблюдала на своей кухне, как я бороду сбрываю, и, единственная в Москве, получила тартуский адрес Сузи, на всякий случай.

А весной 1966, окончив в Рождестве первую часть «Ракового корпуса» и готовясь, как всегда, сам перепечатывать, что, правда, и полезно как очередная, 3-я — 4-я, редакция, — я соблазнился неоднократным настойчивым предложением Люши — печатать вместо меня. Как будто и невозможно было печатать не самому — и вместе с тем в моей стеснённой жизни мне предлагали подарить полных две недели! — это так просторно и много, как не польститься? Поёживаясь, я согласился. А вернулся в майское Рождество — подарочное настроение, две недели взялись ниоткуда! Люша — с захваченностью, с огромной скоростью вела перепечатку, и мне даже в голову не пришло, что это — первый её большой опыт на машинке. (И другого опыта не было — считывания. Так торопились, так, по тактике, скорей надо было в самиздат, что срывали эти 7 экземпляров с мощнопробивной машинки — и скорей распускали.)

Вот когда я узнал, как быстро книги могут вылетать в самиздат! — только успевай написать их! Пока Люша выстукивала первую часть — я быстро писал вторую, она подхватисто, огнём у меня пошла. И узловое литературное положение Чуковских весьма облегчало распространение (мы ещё не знали, никто не знал, — возьмёт ли Самиздат целый роман); и всё это распределение экземпляров, передачу их на следующую перепечатку, потом в срок востребование назад, память, у кого что, — тоже Люша брала на себя, какое облегчение, я по силе и по времени будто удвоился, и за лето, исключительно быстро, кончил вторую часть «Корпуса», и вот уже Люша выстукивала вторую часть, и потекла вторая, захватывая самиздатские поля.

После провала моего в 1965 именно Люша помогла мне изменить всю скорость жизни и перейти в непрерывное наступление. Я ощущал её как своего единопособника во всех практических планах и действиях; мы тщательно обсуждали их (со временем уходя для того из-под *потолков* в зелень). С самого начала посвящена была Люша в «Архипелаг» и все движенья его, тогда впервые начала наводить справки, выяснения, возидась с проектом карты Архипелага (квалифицированные геологи — Н. Пахтусова, Н. Кинд, делали её, уже и во многом составили, уже и перефотографировали, но я отказался: все же любительская получалась, слишком большие пространства не заполнены). А едва я кончил доработку Первой части и стало что печатать — Люша тут же села за окончательную перепечатку. Уже достаточно была известна ГБ её соробатка со мной, и становилось всё более опасным то свойство их квартиры, что она часто оставалась пуста — когда Лидия Корнеевна была в Переделкине, а Люша на работе. Поэтому Люша не делала моих перепечаток понемногу, а, зная заранее, когда наступят всплески работ, не использовала очередных отпусков, а потом в нужный момент брала их для густой работы. Так она поступила и весной 1968: за апрель в Москве напечатала весь Первый том «Архипелага», на Пасху приехала Кью, мы съехались в Рождество, Люша за май отпечатала весь Второй том («Паганини-typist» звала её Кью за быстроту) и ещё в Третьем подсобила Кью и моей жене, с которой было у неё довольно недружно, — Люша съживалась, вбиралась в себя и в работу, из сырой комнаты не вылезала месяц — и гнала. Из них троих одна Люша только знала, через кого, как и куда пойдёт дальше плёнка, участвовала во всех перипетиях той авантюрной Троицной отправки «Архипелага». Помню, в уныло-ветренный день приехала она из Москвы в Рождество забирать у меня капсулу с плёнкой для Евы (см. очерк 9) — и от ветра ли этого настойчиво-недоброго были предчувствия нелёгкие. А ещё через два дня, под самую Троицу, Люша снова приехала в Рождество внезапно, с сообщением, что *передача* не прошла гладко, что за *мальчиком* (Саша Андреев, очерк 9) следили, — то-то наши предчувствия! Если совсем трезво, то приезжать ей за мной не следовало: ещё только в воскресенье должен был лететь Саша, ещё только в понедельник утром капсула. Ещё двое суток я мог быть в Рождестве без риска. Но Люша кинулась — спасти, увезти. Я узнал о слезке — и сразу померк для меня мой любимый прилесный участок и помавающие вершины берёз. Чувство острой опасности мне передалось, я поддался и решил исчезнуть из Рождества, уйти от слезки на эти дни, а при провале — может быть, опять в Укрьвище, продлить свою свободу.

хоть на несколько месяцев, ещё что-то успеть сделать. В полчаса покинуть любимую налаженную дачку и скрыться. Жене я не сказал, где буду, по пути в электричке объяснил это место Люше, с вокзала расстались — и облегчена она была, что пока — спасла меня, что я поехал — *чистый*. Но три тягчайших дня пробыл я в самозаточении. Должна была Люша приехать ко мне с любой вестью, но не ехала: сидела, томила у себя дома, тщетно ждала новостей. Лишь вечером второго дня, поздно, я уже спал, ворвалась и привезла мне промежуточную радость, что «мальчика» по крайней мере не задержали, выпустили из Союза. Благополучную судьбу груза узнали мы лишь на четвёртый день, всё и все освободились.

Отпала опасность — и тут же я засел за окончательную редакцию «Круга»-96. А Люша, уже отбыв «отпуск» на «Архипелаге», теперь всё лето навёрстывала на службе, да и у *деда*, естественно ревновавшего ко всем отвлечениям сил её, давно заметив, что помощница она у него — не прежняя. И уже ссенью Люша подхватила у меня «96-й» — и закончила перепечатку залпом. И в одну из зимних проходов по переделкинскому лесу предложила план: чтобы «нашим друзьям в Америке» (мы считали тогда Карляйлей друзьями...) не переводить заново весь роман и не выискивать разночтений — перепечатать для них ещё раз всю книгу таким особым способом, чтоб они видели все изменения и переводили только их (это мы назвали «косметический» экземпляр). И эту изнурительную много-терпную работу Люша выполнила за несколько зимних месяцев — все вечера бегала с работы домой скорей. (Летом 1975, всё оставшееся сжигая, — сожгла и это. Так уходили в прорву целые годы работы.)

Жаде работы у Люши и отдаче её — не было границ. За три года знакомства вот уже пять моих толстых книг перепечатала она. (По-советскому немаловажно: сколько же стоп хорошей однородной бумаги надо было набрать, такая не всегда продавалась. И сколько копирки.) И вместе с моей работой, предприятиями, делила мои манёвры и предосторожности.

С 1966 начались мои открытые общественные шаги — сперва публичные выступления, потом письмо съезду, потом драка с секретарями СП. Ни одного такого шага моего Люша никогда прямо не поддержала, не сказала — да! надо ударить! Но — или покручивала озабоченно-неодобрительно головой или прямо отговаривала, как с выступлением по Жоресу Медведеву. Это каждый раз смущало меня, ведь так мало было осведомлённых, какие удары я готовил, и, значит, каждый голос так много весил при совете. И так заморочен я был работой и борьбой, что лишь постепенно понял: Люша не имела в виду общего охвата дел, стратегии, принципов — а просто всякий раз боялась за меня, чтоб я не попался в когти вот именно на этом, очередном, дерзком шаге. Но, не одобряя письмо съезду, — помогла наступать их более сотни, а затем — все «открытые письма», «заявления». Пятьдесят пространных «Изложений» секретариата СП только через неё и шли. Я и забот не знал: она заготовляла всё в нужном количестве, держала на старте до назначенного момента взрыва, затем развозила первые экземпляры по главным исходным точкам (Наде Левитской в Иностранную библиотеку, А. Берсер в «Новый мир», в несколько квартир «Аэропорта», в Переделкино, через кого-нибудь в Ленинград), — а дальше катилось само. Теперь познакомилась Люша с другими моими сотрудниками и многие встречи с ними, дела и связи тоже естественно взяла на себя. Вскоре её квартира стала центром для моей связи с Ленинградом: Кью, Эткиндами, потом появившимися там «инфантами первыми» (группа молодёжи, хотели мне помогать, я уже думал привлечь их к размножению «Архипелага», но не состоялась с ними работа), «инфантами вторыми» (Куклины); вся «левая» почта на Ленинград собиралась у Люши на квартире, и отсюда её брали попутные, и сюда привозили всё из Ленинграда, и приезжал кто. (Лидия Корнеевна была родом из Петербурга, там же родилась и Люша, у них сохранялись живые связи с городом.) Уже появилось несколько человек доверенных, кто знал наши ленинградские адреса и прямо туда относил. И некоторым приезжающим провинциалам, кого не хотелось оттолкнуть, а встретиться самому не складывались обстоятельства, — назначался тоже люшин адрес, и Люша снабжала их книгами, передавала письма, вела за меня встречи. И в самой Москве, где я тоже бывал редкими налётами, я для упрощения стал передавать ей совсем отдельные области моих знакомств: и вдову Тэнно с приезжающими эстонцами, и семью Кобозевых, и семью Теушей, и даже одно время Зубовым для писем дал её адрес, и ежемесячные переводы моей тётке Ире тоже поручил ей; уж тем более всякие встречи аэропортовские, писатель-



ские — тут Люша была в родных струях. Так много десятков проплыло людей, что не берусь ни в памяти восстановить, ни — загромождать эти страницы. Появился у нас диктофон — открылись новые возможности люшиной работы: по моим опросникам опрашивать свидетелей революции (свояченицу Пальчинского, племяннику Гучкова, инженера К. М. Поливанова и других), потом это записанное спечатавать на машинку, а я брал в уже готовых листиках. Люша оказывалась вместо меня центром обильного круга. Сколько всем тем она выиграла мне времени и сил — оценить невозможно. Никогда она не задержала ни одного моего дела, а только ускоряла всё, облегчая моё движение. И как измерить истраченные ею усилия? Плотность растрат превосходила возможности одного человека, для этого нужен был неспадающий подъём духа.

Был при смерти Корней Иванович, и долг и чувство держали любимую внучку близ постели деда (да вся надежда с архивом его, с посмертным печатаньем только на неё и ложилась), — вдруг возникла дальняя опасность: в Ростове-на-Дону у чужих людей зависла целая перепечатка, комплект «Архипелага», — и Люша сорвалась и помчалась в Ростов спасать. (Везла назад, заложив сумку с «Архипелагом» в ящик под нижней полкой, надёжно, — а верхние полки в купе да достанься двум старушкам, и уж так просились пустить их на нижнюю, — а как оставить на ночь такую бомбу без контроля? — врала старушкам, что сама после операции.)

Да ещё ведь запоминаются больше те усилия, которые дали внешний результат. А сколько бывало усилий бесплодных, поисковых! В одно такое ложное направление втравил нас Стива Ростропович. Прикасаясь к моей жизни, он долго недооценивал, насколько тут всё взрывное. Осенью 1968, возвращаясь из Европы, думал — что бы мне подарить к 50-летию? и купил, и беспечно повёз (и без препятствий провёз через границу, его не проверяли тогда!) — *крутилку*, мы так и не знали ей названия, — делающую с машинописного отпечатка на специальной бумаге много копий. Стива считал, что так открывает мне прекрасную возможность самопечататься в СССР! И мы с Люшей, действительно, ухватились за эту игрушку, ставили с ней опыты, замыслили, как будем этаким способом делать тираж «Архипелага» 100 — 200 штук. (Тогда мыслилось, что всё это будем самоиздавать в стране.) Запасались бумагой, заказывали Стиве, что ещё добавочное привезти с Запада, он привозил. А потом уже не знали, как с этой крутилкой разделиться, кому б её передать для листовок:

Люша сама искала упущенные мною возможности встреч, связей, помощи, консультаций. Настолько была увлечена моей работой, что в 1968 сама придумала, составила, выпустила публицистический самиздатский сборник «Слово разрушит бетон».

Исходя только из удобства организации, всё переключая и переключая на Люшу, я перевёл на неё и встречи с Ю. А. Стефановым, специалистом по Дону, по старой русской армии, — человеком уже настолько чужим ей и её кругу, что никогда не пересеклись бы их пути, не привелось бы им разговаривать. В напряжении борьбы организация дел настолько ясно вела нас, что я забывал думать об инакости почвы, в которой Люша выросла и из которой вырваться не в состоянии. Донская тема была Люше как бы социально противопоказана и неинтересна — а стала врываться в нашу жизнь с разных сторон и в разных явлениях: то — через крюковское наследство, то — через исследование И. Н. Томашевской о Шолохове; то появлялся внезапно донской художник и приносил мне в подарок «Донскую волну» — новочеркасский журнал Крюкова в 1918 — 19 годах, — и опять через Люшу; то несли нам подробные карты Дона со всеми хуторами — и Люша же устраивала копировку; то надо было обрабатывать срочные донские материалы от С. Старикова — и опять же никто как Люша спасала. (Всё донское — см. очерк 14.)

Так самоотверженна, действительна и незаменима была Люша, что в начале 1968, всё более подумывая, что меня может не стать внезапно, а как же сделать, чтоб работа моя продолжала и после меня докручиваться и написанное донеслось бы до будущего, — я стал примеряться, не сделать ли Люшу своим литературным наследником, — и мы с ней уже выясняли через знакомых юристов: какие шаги можно сделать даже в советских условиях, при враждебности власти ко мне. Это оказалось совсем не просто, затянулось: по советским законам государство могло «принудительно выкупить» (отобрать) авторское право умершего.

И ни разу за первые четыре года нашей работы между нами не возникло объяснения, — когда всё хорошо, ведь люди не объясняются: как она всю мою

работу понимает? — так ли, как я? Зачем она всё это делает? Я понимал по-своему, она по-своему, а работали ладно, дружно, без запинки. Такая была в те годы нечеловеческая сжатость, что кроме прямых дел поговорить ни о чём не оставалось. Однажды по какому-то поводу, в позднем удивлении я спросил её: разве не для дела она всё делает? не для той Большой цели (никогда, впрочем, между нами не названной)? Она откровенно ответила: нет. Просто — для меня, чтобы мне помочь; этой мотивировки Люше было годами довольно, чтоб не иметь надобности разглядывать мою дальнюю цель. А я — принял это совсем как новое, и опечалился.

Да не легко даётся человеку понимание обстоятельств общих: участники непрерывно текущего общественного процесса, мы все понимаем его с опозданием. Не только Люша, но и сам я долго не понимал своего истинного положения в обществе. После пятилетнего хрущёвского топтания около сталинского мавзолея — в горле страны сам собою нетерпеливо нарастал крик. Невозможно было столько обминаться. «Страна ждала кого-нибудь...» И тут появился мой «Иван Денисович», сперва в самиздате. Это было — *не то*, чего жаждало образованное общество, не тот герой, не та область переживаний. (Кстати, думаю: именно поэтому «Иван Денисович» и не выскочил сразу за границу, чего боялся Твардовский в 1962: он был слишком крестьянским, слишком русским и оттого как бы зашифрован. Западные корреспонденты, может, и читали его в тот год, но не сочли перспективным к западному уху.) Первое время (ещё до публикации в «Новом мире») и была такая инстинктивная перемишка в *культурном круге*: а нет ли тут «антиинтеллигентских тенденций»? Для «культурного круга» дальновиднее было бы эту повесть не слишком возносить. Но стихия рвала сама. И интеллигенция (в её полном объёме) — более всего и распротранила и укрепила моё мужицкое произведение. Мы — все не видели вперёд и все не понимали. И я долгие годы удивлялся: вот, говорят, у литераторов бывают враги, завистники, — а у меня ни одного врага. (Были, конечно, да вгоряче не замечались.) Так все истосковались ударить государственную власть в морду, что за меня было сплошь всё неказённое, хотя б и чужое, — и несколько лет я шёл по гребню этой волны, преследуемый одним КГБ, но зато поддержанный слитно в *сем* обществом. (В старой России так было не раз, так поддерживали и Толстого, будучи чужды его учению, — лишь бы против государства.) В те несколько лет я не имел случая увидеть, что поддержка меня всем *передовым обществом* есть явление временное, недоразуменное. В те несколько лет и мне самому и моей ближайшей помощнице не было повода обнаружить разницу наших мировоззрений. Это было то время нерасчлнённых понятий, когда даже «Крохотки» мои приветливо встретил «культурный круг». Хотя православием брезговали, однако стало модно признавать иконы как живописные достижения и даже поэзию церковок на пейзаже.

Первый прорезающий вопрос, на котором зинул разрыв наших пониманий, был — власовцы, когда Люша прочла «Пленников». Она испытала чужеродный дух, взволновалась — и не могла понять, откуда такое могло взяться. Назвала это пока: «некоторых мест не могу принять». Этого и надо было ждать. Как можно было без длительных терпеливых объяснений и рассказов передать фронтовой и тюремный опыт страны — ей, столичному подростку советского военного времени? Но, шире, это был и неизбежный раздел общественного настроения: наш «культурный круг» не мог же простить власовцам, что в годы войны с Гитлером можно было думать о чём-то ещё другом, например о русском будущем. (Те же власовцы ещё сильней коробили Люшу потом в «Архипелаге», под колёса которого клала она голову свою. Она влекла, несла, выводила в жизнь, любила эту книгу, не разделяя полного заряда её.)

Культурный круг, и принадлежавшие к нему Чуковские, хотя уже давно неприязненны стали к современной форме советской власти, но всем своим нутряным сознанием прилегал к безрелигиозной традиции Освободительного Движения, народолюбия XIX века (Лидия Корнеевна так и прямо преклонялась перед Герценом), — и поэтому никак не могли своё осуждение нынешнего перенести и на решающий плод Освобожденчества — весь 1917 год и с Октябрём. А тут ещё и всем родом своей столичной жизни в 20—30-е годы образованное общество искренно не заметило русских национальных страданий. Как-то, уже вокруг «Из-под глыбы», Лидия Корнеевна недоумела: да когда же успели возникнуть и даже обостриться ещё и русские обиды? Она пропустила, не заметила.

Образованное общество отчётливо знало лишь обиды еврейские, размытой — ещё национальные некоторые.

Да мы с Люшей так всегда были закружены нашими сжигающими конспиративными делами, что я даже не выпрашивал её подробно о моём написанном, о её впечатлениях. И даже не всегда успевал оценить её очень милый удачный юмор в хорошие минуты. И неизменно-благородное её достоинство, ненавязчивость воспринимал как сами собой текущие дары. А Люша, вероятно, искала человеческих объяснений, почему я ускользаю, — и находила то ближайшее; что подставляли многие: что я задёрган своей работой и борьбой и оттого у меня атрофированы простейшие человеческие чувства и внимательная доброта к каждому окружающему.

Но то не убьёт чувств была, а жесточайший зашем долга, задыхательная нахватка времени, иначе бы мне не донести всей ноши. Да в сей-то ноши и не видели мои близкие и помощники: сверх борьбы с коммунистическим государством — ещё скалу погребальную над замершим русским духом, — ещё невидимей, чем все мои Невидимки, — надо было приподнять, своротить и под гору скинуть.

Ещё с надеждой приняла Люша стопочку рукописных тетрадок «Августа». Она любила этот момент и эту роль свою — первой переводить на машинку мою работу. Но что это? Глава за главой вываливались из её рук: «Просто непонятно, зачем это всё написано?» (Это — от многих я слышал из культурного круга, даже от Е.Зворыкиной: зачем это всё ворошится, старое, Четырнадцатый год, царское время, — кому это нужно?) Но без колебаний провела операцию с «первоочередными» (надо было рассылать, востребовать, передавать экземпляры, и всё с быстротой и неразглаской) — и восхищение многих стало её с «Августом» примирять. Потом, как бы по инерции, и опять своей энергии не щадя, стала Люша комплектовать и сборник самиздатских статей «Август Четырнадцатого читают на родине» — отчасти, может быть, в споре со мной, надеясь, что баланс статей подтвердит её взгляд.

Но когда в феврале 1972 я предложил ей печатать Письмо Патриарху — она впервые за всё наше сотрудничество открыто взбунтовалась, отказалась и в этот момент была сама собой, стряхнула замороженность: на седьмом году нашей работы обнажилось, что думаем мы — по-разному.

И что же — по-разному? Против чего именно взбунтовалась Люша? Что в моём Письме Патриарху так возмутило образованное общество? Разве — его обличительный тон? так к нему привыкли. Обида ли за неприкосновенность патриарха? *О нет.* А вот что, наверное: в моём письме говорилось не об отвлечённых вопросах религиозного духа, но православие приглашалось вдвинуться, и со всем своим церковным бытом, — в реальную жизнь. Это уж было чересчур, уж так много православия образованное общество принять не могло. Его единосердечную поддержку, какую я незаслуженно пользовался до сих пор, именно «Август» и «Письмо» раскололи — так что за меня оставалось редкое меньшинство, и предстояло ему плотность обрести ещё в долгом росте поколений и слоёв.

А Люша — мучительно двоилась: не могла она остаться без влияния круга всей своей жизни. — и вместе с тем любила она наше совместное рабочее движение и ощущала его добротность. Да и — не во взглядах дело: Люша была из тех преданных натур, кто не нуждается каждый шаг свой освещать идеологическим фонарём. И после этого бунта с Письмом — она снова вернулась, тянуть, где посылить ей. Правда, уже несколько лет, как какие-то части и области нашей совместной работы начинали от неё отходить. Некоторые нововстающие предприятия и действия возникали уже вне её круга и ведения, например, подготовка «Из-под глыб». И к делу литературного наследства, не оконченному нами, я более не возвращался.

А разворот «Октября Шестнадцатого» приносил столько новых запросов, каких предвидеть было нельзя, пища и выпуска «Август». Лишь здесь впервые обнаружилось, что надо исследовать не только Первую мировую войну, но — общественные течения России с начала века, и обширную персоналию от монархистов до меньшевиков, и государственную систему, и рабочее движение, и даже полный перечень петербургских заводов с нанесением их на карту города. И многие связанные с этим запросы, работы и передачи хлынули опять через Люшу. Иногда я её связывал с теми, кто справки даст, как профессор П.А. Зайончковский, но в большинстве она сама теперь искала пути, выбирала консультантов в зависимости от разнообразных моих вопросов — и даже имён тех

консультантов я не знал и не спрашивал (и не знаю, кого благодарить). Тут на помощь был призван абонент Лидии Корнеевны в Ленинской библиотеке (то есть редкое право брать книги на дом, она ещё была тогда членом Союза писателей) — и, открыто контролю ГБ, брались и брались книги явно для моей работы, да мы по телефону и не скрывали: в Жуковку, в опальный флигель Ростроповича текли и текли они.

Наконец, роль Люши в моей борьбе стала уже нестерпимой для КГБ, и языки опасности польхнули прямо на неё. В конце 1972 «неизвестный» напал на Люшу в пустом парадном (и подстроили же, обычно там сидит стукач-швейцар), повалил на каменный пол и душил. Люша растерялась, не закричала. Потом вырвалась, он убежал. Близкие строили предположения, что, может быть, это патологический тип. Но — весь двор под просмотром ГБ, напротив в двадцати шагах — их контора. Все криминальные знакомые Чуковских и сама Люша изучены, иссмотрены много раз, и время прохода известно. Кажется, было ленивое милицейское разбирательство, — ни к чему.

А 20 июня 1973 — как раз одновременно с атакой анонимных «бандитских» писем на мою семью — на Садовом кольце смежно-идуций грузовик вдруг необъяснимо повернул на 90° и ударил по такси, в котором ехала Люша, прямо по правому переднему углу, где она. Удар должен был быть смертельным; спасение её, после долгого лечения, — скорей выпадало из правила. И снова: прямых доказательств, что это покушение, не было (да в советской стране против КГБ — когда ж они бывают?). Только в многорядном потоке Садового кольца никакой сумасшедший так не поворачивает. Только за такой поворот и без последствий могут дать срок (и Люша пошла на суд наивно защищать шофёра, «чтоб его не посадили, у него двое детей»), — а этого странного дорожного бандита суд тут же освободил из-под стражи: он оказался из «специальной воинской части». Только — в следующие недели продолжалась атака на меня, арест Воронянской, взятие «Архипелага». По раскладке того времени это был верно нацеленный удар ГБ.

И как всегда, в этой поездке, в этот момент, Люша не была свободна от криминала: что-то везла с собою, да и ключи от своей квартиры, где многое лежит. Её отвезли к Склифосовскому, по правилу все вещи отобрали, но Люша сотрясённым сознанием догадалась и успела позвонить по телефону Н.И. Столяровой, жившей в двух шагах. Та примчалась, ей не давали, она с лагерной хваткой всё спасла.

Хоть не было доказательств полных, но я склонялся почти к уверенности, что удар нанесён Люше — за меня.

А — не первая это была авария в её жизни: несколько лет назад она разбилась на мотоцикле и заклалась ездить, испытывала страх. Теперь сотрясение было глубокое, с мозговыми явлениями, проявлялось длительно. В таком состоянии Люша одно время даже по улице не могла пройти. Надо было долго лежать, не читать, не думать. Срочно доставали заграничные лекарства, к счастью открыты были нам эти пути. Люша за собой не всё и замечала: как она возбуждена, не может остановиться в говорении, перепрыгивает с темы на тему. В августе она вернулась с прибалтийского отдыха — и на лесной поляне близ Переделкина я рассказал ей о своём тогдашнем плане атаки, через крупное интервью на Запад. Всегда сколько было волнения, отговоров, — в этот раз Люша пропустила всё как в равнодушном тумане — и таково тоже было её состояние. Спрашивал я, могу ли объявить в интервью о покушении на неё, — запретила.

Начинавшийся бой и не требовал люшиного участия. Сидели мы на мирной полянке, я думал: будет выздоравливать спокойно, от меня никакой нагрузки. Но бой-то был встречный! но Кью — терзалась в Большом Доме! мы не знали... Через две недели смерть Кью и гибель «Архипелага» тяжёлым хвостом ударили по Люше, сбив её с выздоровленья, — а могли бы и вовсе нарушить его. Два дня кряду она приезжала ко мне в Фирсановку с известиями о взятии архива, Архила. Она снова вернулась к сбивчивому возбуждению, какое несло её после аварии. А надо было хладнокровно обдумывать, было что, ведь повисли над бездной дела, оставшиеся хранения, большое у Ламары (очерк 10), и каждый шаг предупреждения к ней мог быть смертелен, а не сделать его — тоже нельзя. Помрачённым сбитым сознанием Люше надо было решать усложнённые задачи, в уязвимом состоянии её как ключом долбила загадка смерти Кью, она хотела связать противоречивое разрозненное (правдоподобно-ожидая такого же с собой), в этом защемлении ей нужно было по несколько часов в день встречаться, говорить со

мною, с кем же ещё в такие дни! — и надо было! и я — был обязан, да! — но именно в эти дни и именно по той же причине крайней опасности я не имел ни минуты на встречи и на разговоры, а должен был скорее действовать, наносить удары, спасать рукописи. Единственный шаг, который мы с Люшей в эти дни сделали, была посылка к Самугину Алёши Шиповальникова — неверный ход. В эти недели Люша стала жертвой того железного движения, в котором столько лет участвовала сама и в котором одном была победа. Но сегодня ей нужно было протяжённое сочувствие, заботы, подбодрение, — их не хватало, и состояние покинутости обняло её — покинутости в ощеренном мире.

Однако удар никак больше не упал на наш круг (именно — от ярости и успешности боя, в нём — и было спасение всех). И хранения были целы. Постепенно выздоровление Люши снова подвинулось и открыло место заботам об И.Томашевской, тяжело болевшей в Крыму. А в октябре — вдруг пришло из Гурзуфа известие о смерти Ирины Николаевны (очерк 14). Ещё один удар по невыздоровевшему мозгу, ещё один вихрь забот.

Осенью из Фирсановки я уже уехал, у Ростроповича не жил уже с весны, в Москве с семьёй — не допускала жить милиция, — и с ноября Лидия Корнеевна пригласила меня на зиму опять в Переделкино. Но оттого мы не стали с Люшей встречаться чаще. Уже был жестокий и предфинишный ритм, я спешил окончить, что мог, — предисловие к «Стремени Тихого Дона» и, главное, статьи для «Из-под глыб». Вполне понимая, как сложно будет принять, как чужи придутся и матери и дочери Чуковским эти статьи, я решился начать им давать читать. Лидия Корнеевна прочла «Письмо вождям» — и, к моему удивлению, одобрила (для неё всегда высшей меркой было сравнение с Герценом: Герцен тоже писал Александру II письмо), прочла две статьи из «Глыб» — чужевато, но не рассердилась. (Есть у неё расположение к широте взглядов.)

Не то — с Люшей. Это впервые брала она читать моё написанное с неведением и опозданием в несколько месяцев, когда оно уже двинулось (и тем вождям, и на Запад). А ещё и три статьи «Из-под глыб» — густо! непереносимо! И вулканически прорвалось в ней — с особенной страстью против православия и патриотизма. Люша читала — и почти бранилась, писала на листках, но, сама себя в нетерпении опережая, наговаривала свою сердитость на диктофонную плёнку, чтоб не потерять самых хлёстких выражений, где обронена была так свойственная ей интеллигентская уравновешенность, — а уж с плёнки потом переписывала на листки. Она поносила и разносила меня с такой резкостью, какой не бывало никогда между нами. И всё равно листки получались беспорядочны — и с ними она спешила сама в Переделкино, выговорить это мне. Здесь была и та эмоциональная подстанковка, какая бывает в женских спорах: раздражение по одному поводу переносится совсем на другой. Но было и безжалостное обнажение, чего никак же не могла она вдруг принять: что неужели столько лет, что лучшие силы она отдала служению — чему же? Насколько верней, насколько обязанней было ей помогать — деду в его последние годы. А теперь — слепнувшей матери, работающей с такими невероятными трудностями.

Снова я вышел в столовую из той комнаты, как 8 лет назад, тогда — знакомиться с Люшей при мягком электрическом свете, теперь — тяжело объясняться при пасмурном январском. Так и не выздоровевшая, бледная, худая, в чём держалась душа? — она с последней страстью вела монолог против моего немисливо позорного православно-патриотического направления. Сказала: «Я теперь понимаю, что не зря в моих жилах течёт и еврейская кровь». Возражал я — вяло, и — переубедить нельзя, надо было этим заниматься раньше, и чувства не переубеждаются, да и было всё это — в январе 74-го, не самое подходящее время для ссор. Люша — истощилась в этом монологе, ей нужно было лечь, отдышаться, отдохнуть. Я с болью, с грустью видел, как много упущено на многолетнем пути и как поздно уже исправлять.

Но даже и в те месяцы, и после этого разговора — она просила работы. События катились уже не в её управлении, а она — просила работы, хотела опять помогать! А у меня что ж было в это время? Я мог только дать ей готовить хронологическую сетку Февральской революции, выбирать из вороха революционных событий — фрагменты, справки о лицах. Не опустила рук, хвала ей! И до самой моей высылки и после неё выстаивала достойно. Вопреки своей среде, воспитанию, сознанию — моё открывающееся — чужое? — несла и несла на себе, держала плечи под моей задачей как замороженная, шла вперёд — вопреки себе.

В эти недели — исключена была и Лидия Корнеевна из Союза писателей. (И — хорошо громыхнула им в ответ.)

Затем вскоре меня выслали — и в наш осаждённый развороченный дом, откуда всё управление и эвакуацию перегруженными руками вела Аля, — Люша вновь приходила, каждый вечер после работы, под накалом тех часов сидела за моим столом, разбирала, сортировала по конвертам заготовки, материалы, многие из которых или сама печатала, или знала. Готовила архив к переправке за границу, которая ещё неизвестно было, удастся ли Але.

Первые месяцы после моей высылки были у Чуковских тяжелы. И дочь и мать осыпали почтовыми анонимками — то в стихах, то с матерной бранью, то с сообщением, что «лев убит», то — что «будет убит». Шпики и провокаторы нагло лезли в переделкинскую дачу, по-музейному открытую для всех. Стукач-швейцар в городском парадном останавливал посетителей Чуковских, придираясь, что с ним, швейцаром, не поздоровались вежливо (а задержанному — 75 лет!). По слепоте Лидия Корнеевна могла писать только чёрными фломастерами из-за границы, — на таможне портили их или наполняли розовой жижей, — неисследимые государственные возможности гадить, и так мелко, что даже лень и стыдно протестовать публично.

Под мой день рождения, первый в изгнании, Люша, чтоб согнутой не ходить, послала мне в Цюрих поздравительную телеграмму — врагу народа № 1, и с восхищением! ГБ этого не снесло. Рано утром по телефону — типичный диалог:

— Елена Цезаревна, с вами говорит такой-то из КГБ. Это вас не пугает?

— Нет, почему же?

Оно и правда, не 30-е годы, не леденит, как раньше, уже высмеяно КГБ.

— Вот и хорошо, значит, вы у нас сможете быть во вторую половину дня.

— Нет, не смогу.

— А когда вам удобно?

— Мне вообще неудобно к вам приезжать.

— Ну, тогда мы сами к вам заедем.

— Это было бы крайне нежелательно.

— Как же быть?

— Пришлите повестку.

— Ах, так значит, вы признаёте себя виновной и хотите, чтоб на вас завели дело?

Всего фехтования не выдержишь:

— Да нет... Но таков порядок...

— Я с вами вежливо говорю, как с женщиной.

— А с мужчинами — невежливо?

Оттуда всё твёрже:

— Я вам звоню и прошу приехать.

Люша, злясь и тоже взвинчиваясь:

— Я не скорая помощь, по телефонным звонкам не выезжаю.

— А когда вы будете на работе?

— Не собираюсь вас информировать.

— Ну хорошо, мы вас *схватим* на улице!

— Буду громко кричать, звать прохожих!

— Но вы же *не всегда кричите!*

(Намёк на лестничный случай. Вот и подтвердили, что это *они*.)

— Но теперь буду кричать обязательно!

— Зря вы так разговариваете. Ведь мы *всё время с вами*.

— Ну, прямо как господь бог!

— Нет, господь бог — *с вашим другом*.

— С каким другом? У меня много друзей.

— Которого вы пишете с большой буквы. — (Перехватили левое письмо?..) —

Всё же хотелось бы поговорить с вами неофициально.

Обозлилась доверху:

— Запомните, что никаких неофициальных разговоров с вами у меня не будет, только официальные!

И — швырнула трубку!

И — не приходили. И — не тронули.

Твёрдость духа им надо показать! — это Люша усвоила в нашей борьбе. Но легко ли это даётся одинокой женщине, против сытой многорылой длиннорукой машины?

Потом серия звонков изо дня в день.

— Сегодня — ждите бедуинов!

— Верблюды — уже в пути!..

Как будто — всё из Ильфа-Петрова, а — страшновато?

После нескольких покойных месяцев только порадуетесь: «оставили меня в покое», — тут же — взлом в оставленную на день квартиру, обыск.

И — отомщали гебисты на книгах Чуковского: и «Чукоккалу» его, и даже переиздания его детских книг, и даже книги о нём — всё останавливали мстительно.

Но — хотя прошла самая опасная первая пора, когда человек ещё криминально спаян со своими недавними делами, — ещё всякое может её ждать. Недавно — не удержалась и на институтском собрании стала меня защищать. На некоторых допросах других людей называют её гебисты «начальником контрразведки Солженицына».

На случай ареста она приготовила простейшую линию: ничего не отрицать, не путать, а — да! помогала русской литературе! — и больше разговаривать с вами — не желаю.

После моей высылки она ещё многие годы опекала мою старую беспомощную тётю в Георгиевске. И «по левой» писала, слала мне многое деловое в Цюрих.

Знакомство со мной помогло Люше в ту далёкую осень подняться из душевного упадка. Но оно же — забрало годы её, душу её и проволочло трагической орбитой — полувопреки убеждениям — куда?..\*

## 9

## НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА СТОЛЯРОВА

Когда в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге намечено было революционерами взорвать дачу Столыпина и так убить его вместе с семьёй (и убили три десятка посетителей и три десятка тяжело ранили, с детьми, а Столыпин остался цел), — одна из главных участниц покушения, «дама в экипаже», была 22-летняя эсерка-максималистка Наталья Сергеевна Климова, из видной рязанской семьи. Она была арестована, вместе с другими участниками покушения приговорена к казни. Сама Климова не просила помилования, но это сделал за неё отец, ни много ни мало — член Государственного Совета. По его просьбе император помиловал двух участвовавших женщин — Наталью Климову и Надежду Терентьеву, купеческую дочь. Заменяли им на вечную каторгу. (В ожидании казни Наташа Климова написала на волю предсмертное письмо, которое было позже напечатано и вызвало печатный же отзыв С.Л. Франка: оно «показывает нам, что божественная мощь человеческой души способна преодолеть» даже страдания от неотвратимости насильственной смерти, «эти шесть страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма».) Начало срока Климова отбывала в Новинской тюрьме в Москве, там скоро очаровала и духовно подчинила надзирательницу — и с её помощью устроила знаменитый «побег тринадцати» женщин. (В советское время был написан киносценарий об этом побеге, но съёмка запрещена, так как среди беглянок не было ни одной большевички.) На воле уже их ждали. В ночь после побега Климову отвезли в дом либерального адвоката, где она и жила в безопасности месяц, пока жандармы стерегли рязанский дом Климовых и имение. Затем она приняла облик глубокого траура, и адвокат проводил её на поезд, идущий в Сибирь. Она перебралась в Японию, а оттуда поплыла в Лондон — к Савинкову, снова в Боевую Организацию (террористическую). Под Генуей на «даче амазонок» собирались бежавшие из Новинской и другие политкаторжане. Тут она вышла замуж за революционера-эмигранта Ивана Столярова, родила от него двух девочек. В 1917 он уехал вперёд, в петроградское кипенье, оставив жену беременной. Но третья девочка вскоре

\* Наступило новое время горбачёвской «гласности» — и Люша же первая теперь крикнула в «Книжном обозрении» — обо мне и чтобы меня вернули на родину, правда, невольно подглаживала меня при этом под советского. В редакцию хлынуло множество благодарных и сколько-то возмущённых писем. Читателям выглядело люшино выступление как чей-то голос со стороны, никто не знал, сколько сердца и сил отдала она этому автору. (Примеч. 1990)

после рождения умерла от испанки, двух старших мать успела выходить, но сама тоже умерла.

Настолько тесно сходилась тогда в Париже вся революционная Россия, что нашёлся из той же Рязани, с той же улицы, из соседнего дома сын рязанского судьи Шиловский, тоже политэмигрант, меньшевик, который удочерил и воспитал девочек (старшая из них — Наташа). Хотя говорят, что две любви не уместаются в сердце, у Наташи уместились и полночувственная любовь ко Франции и пронзительно-преданная к России (не к революции, которой служила мать). В начале 20-х годов, 11-летней девочкой, Наташа ездила в гости к отцу в Петроград (тогда это возможно было, ещё и в Рязани центральный сквер тогда звался именем Климовой — родной дом её неподалёку, у того сквера) — и загадала, что непременно сюда вернётся, — вот, когда ей будет 20 лет. Сестра её Катя, оставшаяся во Франции, говорит: Наташа очень повторыла мать — яркостью характера, благородством всеобъёмных намерений, высокими движениями души и вместе — взбросчивостью к действию, дерзостью в совершении его. Так и свой замысел — вернуться на родину, она провела неуклонно, при трезвых отговорах и справедливых огорчениях парижского эмигрантского круга: когда не ехал никто, когда это было безумием явным — в декабре 1934, сразу после убийства Кирова! (И — никогда не пожалела, даже в лагерной пропасти, а тем более теперь, уже и свои руки приложив к возрождению духа страны. Если б, как она, миллионы теснились бы так — в огонь и в опасность, может текла бы наша история побыстрей.)

Отец Наташи уже был и сослан под Бухару в эсеровской куче, и вытаскен оттуда Е.П.Пешковой (она и сама была эсерка в прошлом), теперь встретил дочь, — а на расстрел арестован уже после ареста дочери. Наташе дали всё-таки два года если не России, то советской воли, арестовали в 1937 (добровольное возвращение в Союз? конечно шпионка; ну, не шпионка, так контрреволюционная деятельность). В первой же лубянской камере она встретила... товарку своей матери по побегу из Новинской тюрьмы! Прошла жестокий общий путь (и он — не соскользнул с её души, не забылся, горел) — и особенно жёстко достался ей слишком «ранний» возврат на волю, в 1946, когда ещё никто не возвращался, ещё это было непривычно слишком, не готова была советская воля принимать отсидевших эзков. После многих злоключений она в 1953 сумела (и то — ходатайством Эренбурга и других влиятельных лиц) получить право поднадзорного жития в родной Рязани, откуда мать так легко ушла на революцию. Преподавала здесь французский. Годы ушли у неё и на бурную личную жизнь, и, наверно, сама она ещё не подозревала, что прикоснётся ко взрывным действиям против советского режима.

Потом облегалось время — разгibasь и Наталья Ивановна. В 1956 переехала в Москву; дочь Эренбурга (с которой Н. И. училась в одной школе в Париже) уговорила отца взять Н.И. секретарём. К нему как к знаменитости лились письма с просьбами, шли просители, и многие из них были бывшие эзки — так Н.И. пришлось очень к месту. (У Эренбурга и дослужила она до его смерти.)

В Рязани же бывший климовский сквер, в угрожаемой близости от обкома партии, горожанами теперь избегаемый и обкому ненужный, я застал безмянным, никакого следа никакой Климовой. Я узнал всю историю от самой Н.И., когда она объявила мне о нашем двойном землячестве: по Архипелагу и по Рязани.

Это сделала она весной 1962, схитрив (и невинная хитрость, и решительность — всё её): передала мне через Копелева, что нечто важное должна мне сообщить (а просто — хотела познакомиться; он объяснил мне, что — бывшая эчка). То было время таинственных движений рукописи «Денисовича», уже известно было, что в числе других, имеющих вес, читал Эренбург. (Никому только не известно, как он мог прочесть из первых, когда Твардовский меньше всего с ним собирался делиться. Всё придумала Н. И. Прослышав о повести, она пошла в редакцию «Нового мира» и у Закса просила рукопись от имени Эренбурга. Закс поворчал, но такому имени отказать не решился. Посмотрела — а на первой странице новомирцами написано: «А. Рязанский» — и ахнула. Тотчас отправилась к другу-фотографу — Вадиму Афанасьеву («Кожаная куртка», муж её двоюродной сестры, он и для нас потом иногда работал, помогал). И лишь затем отнесла Эренбургу. — Бедный А. Т. не оценивал современных технических средств. И так запорхало по самиздату, к его недоумению и тревоге, к моей глупой тогда радости, на самом же деле — губительно-опасно для судьбы повести.)



Теперь сообщение Н.И., очевидно, с какими-то новостями о движении рукописи, о мнении важных лиц? — и я довольно нехотя позвонил ей по эренбургскому телефону, как она предложила. Наталья Ивановна тут же настойчиво пригласила меня в квартиру Эренбурга. (Ничего не сказано было прямо, но из её оживления и настояния так можно было заключить, что её патрон сидит там рядом и изнывает.)

Я пришёл. Эренбург (которому повесть, кстати, сильно не понравилась) оказался ни при чём и за границей, но сидели мы в его кабинете. Н.И. сплетала какие-то новости, однако их явно не набиралось, чтоб оправдать мой визит. (А она, наверно, искала, как подбодрить автора?) На кого б другого я б рассердился тут, но на старую зэчку с сохранённым живым чувством нашего племени и памятью наших островов не мог. Да и она звала меня не просто подивоваться, но и — проверить, убедиться, насколько устойчиво во мне моё направление, насколько готов я к ближайшим для меня испытаниям, не отмянут ли меня в сторону, не засиропят ли. Разговор наш сразу обминул литературные темы, стал по-зэчески прост, и я невольно переступил границы осторожности, обязательные для советского, а тем более литературного, передатчивого мира; коснулись восстаний в каторжных лагерях, услышал от неё: «Так об этом же всё написать надо!» — не смолчал, не плечами пожал, но приоткрыл: «Уже написано!» И в ответ увидел — вспышку радости. Уже на пороге, вполголоса от эренбургских домашних, напутствовала: не ослабнуть, не свихнуться на предстоящей славе. «Не бойтесь, — заверил я спокойно, — не свихнусь!» (Потом говорила: «Именно отсюда и пошла моя к вам преданность. Да с каким предчувствием? — выйду из квартиры, спущусь на марш — вдруг сильно тянет назад. Что забыла? вернусь — и ваш телефонный звонок. И так — несколько раз».) Уж это-то я знал твёрдо, что славой меня не возьмут, на стену советской литературы всходил напряжённой ногой, как с тяжёлыми носилками раствора, не пролить. А вот сегодня — не пролил? не сказал лишнего? Говорило сердце, что — нет, что наша. Так и оказалось.

С установившимся между нами сочувствием виделись мы мельком раза два, существенного не добавилось, но доверие у меня к ней укрепилось. Странные у неё были сочетания: самых путаных представлений о мировых событиях — и неколебимого отвращения к нашему режиму; крайней женской беспорядочности, нелогичности в речи, в поступках — и вдруг стальной прямоты и верности, когда касалось главного Дела, чёткого соображения, безошибочно дерзких решений (это я потом, с годами, всё больше рассматривал). Превосходного воспитания, чутко-тактичная, ненавязчивая, лёгкая — и надменно-твёрдая перед ГБ (годами позже достались ей опять допросы, на Лубянке, только не нашу главную линию уследили).

Вдруг как-то через годок Н. И. со своими друзьями приехала в свою старую Рязань, заглянули ко мне. И почему-то в этот мимолётный миг, ещё не побуждаемый никакой неотложностью (ещё Хрущёв был у власти, ещё какая-то дряхлая защита у меня, а всё ж не миновать когда-то передавать микрофильмы на Запад), — я толчком так почувствовал, отвёл Н. И. в сторону и спросил: не возьмётся ли она когда-нибудь *такую штуку* осуществить? И ничуть не поколебляясь, не задумавшись, с бестрепетной своей лёгкостью, сразу ответила: да! только — чтоб не знал никто.

Перворождённое наше доверие сразу сделало скачок вперёд.

Капсула плёнки у меня была уже готова к отправке — да не было срочности; и пути не было, попытки не удавались. Но когда в октябре 1964 свергли Хрущёва! — меня припекло: положение привиделось мне крайне опасным: острые зубы врага должны были быстро, могли и внезапно, лечь на моё горло. (Предусмотрительно приписывал я режиму его прежнюю революционную динамику, как рассчитывался он со многими до меня. Оказалось: динамика настолько потеряна, что для этого прыжка ещё понадобится: до первого обывка — 11 месяцев, до первого решительного удара — 9 лет.) Известие застало меня в Рязани. На другой день я уже был у Н. И. в Москве и спрашивал: *можно ли?* когда?..

Отличали всегда Наталью Ивановну — быстрота решений и счастливая рука. Неоспоримое лёгкое счастье сопутствовало многим её, даже легкомысленным, начинаниям, какие я тоже наблюдал. (А может быть — не лёгкое счастье, а какая-то непобедимость в поведении, когда она решалась?) Так и тут, сразу подвернулся и *случай*: сын Леонида Андреева, живущий в Женеве, где и сестра

Н.И., они знакомы, как раз гостил в Москве. Н. И. сощурилась и решила: попросит Вадима Леонидовича, уверена — не откажет!

Она назначила мне приехать в Москву снова, к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем. И вечером у себя в комнатухе, в коммунальной квартире, в Мало-Демидовском переулке, дала нам встретиться. В.Л. оказался джентльмен старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек, — и, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе — для русской литературы да и для советских лагерей, где и его родной брат Даниил долго сидел. (Уверяла меня потом Наталья Ивановна, что В. Л. считал такое предложение для себя и честью.) И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же, весьма приятная сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, не защищённые не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством (паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции В.Л. перешёл в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину), — они брались увозить взрывную капсулу — всё, написанное мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до «Круга»! Да не знали, не вникли они, что именно там есть, но достаточно вникли, что — взрывчатое. И — везли, такое решение уже состоялось прежде нашей встречи.

Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни! Что грезилося ещё в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным — вот совершилось обыденно тихо, в вежливом негероическом разговоре. Я смотрел на супругов стариков как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжёлую набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понгового мяча, — приоткрыл, показал им скрутки — положил на чайный столик, у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же — о синтаксисе, о месте прилагательного относительно своего существительного, о жанрах, о книге «Детство» самого В. Л., вышедшей в СССР и которую я читал. А Наталья Ивановна подбила меня рассказать о самом поразительном, что я в себе носил, — о лагерных восстаниях. Старики-женевцы слушали, изумлённые.

И неужели вот так просто сбывается — вся полная мечта моей жизни? И я останусь теперь — со свободными руками, осмелевший, независимый? Уже *такой* остроты, *такой* опасности — никогда не повторится! Вся остальная жизнь будет уже легче, как бы с горки.

И дар такой принесла мне Наталья Ивановна! — *Ева*, как я стал её вскоре зашифровано называть. Случайность и даже лукавство было в нашей первой ненужной встрече у Эренбурга. А через такие неузнаваемые случайности врезалась лучами неизбежность: получить помощь от зэческого континента, и от осколков разбитой эмиграции, и от Рязани, — от России.

31 октября 1964 года, через 2 недели после воцарения Коллективного Руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака В.Л., он не знал никаких приёмов, — а таможенник, по паспорту, поинтересовался: вы не сын писателя? И дальше пошёл разговор о писателе, досмотра серьёзного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева. (Казалось тогда — благоприятной.) Ева провожала друзей, и те ещё успели дать ей понять об успехе — переговариваясь с одной воздушной галереи на другую.

Когда через год провалился мой архив у Теуша, и следа уже не было прежней лёгкости от отправки, но вся жизнь, казалось, была погребена под навалом чёрных скал, я мрел на даче Чуковского, — вдруг к ужину как ангел светлый (но в темном поблескивающем платье) приехала к Корнею Ивановичу по какому-то делу — Ева! — да только что из Парижа, ещё овеванная тамошней лёгкостью, ещё не адаптированная снова к нашей собачьей хватке. Она не ожидала меня здесь, я не ожидал её! Её приезд был просто сверхчудом (опасаясь дать след, я не мог бы ни позвонить ей, ни приехать, а так нужна была живая ниточка — *туда*, в свободный мир!) Мы сделали вид, что незнакомы, и Корней Иванович снова знакомил нас. За ужином Ева слушала, слушала о нагромождённйх здешних преследований и вырвалось у неё: «Да, в этой стране не соскучишься!» Это — сразу после Парижа (где могла она остаться навсегда), — но вот удивительно: опять без нотки сожаления и о своем нынешнем возврате! Потом надумал К.И.

проводить её на станцию, а мне-то надо было говорить с ней в этой вечерней тьме, секретно, — еле убедил я с полдороги К.И. и Люшу вернуться. А мы с Евой брели дальше на станцию, какой-то счастливый дождь на нас лил, мы говорили и уговаривались как всегда сбивчиво, с ней не сбивчиво нельзя, — и ощущение было просто небесной поддержки, такой всегда лёгкой, улыбочивой, бескорыстной.

Ева стала для меня — вторым воздухом. Только через неё моя подземная работа вдруг освещалась лучиком *оттуда* — как движутся там наши дела, перевод «Круга» на английский. Довольно было ей дать мне знать, выразить намерение, — мы встречались тотчас. И во всякий приезд в Москву я старался увидеть её. Где только не вели мы с ней наших переговоров: то, встреться будто бы случайно в книжном магазине в доме Эренбурга, бродили по проходным дворам и скверикам центра (так открыла она мне бахрушинский двор, где, не ведал я, с 70-го года будет жить моя будущая семья и откуда возьмут меня на высылку); то — бульварами; то — во дворе Петровского монастыря; то — приезжала она ко мне на дачу в Рождество, и мы отсаживались ото всех или уходили в лес, разговаривать привольнее. Необходимость стольких встреч, договоров, пере-уговоров и пере-пере-уговоров не столько диктовалась самим делом, сколько объяснялась свойствами нашей (она уже и с Люшей была *закорочена*) подруги: в живом разбросчивом разговоре, сама же нарушая его систему, она постоянно опускала что-то важное, потом тревожно звонила, что надо встретиться, — и выясняла (и то не окончательно) это упущенное. Я постоянно упрекал её (а она — меня) в неосторожности, в опрометчивости, но вот поразительно: она путала во второстепенностях, а как наступало решительное — действовала чётко, смело, куда все промахи? В самые опасные моменты её охватывало не только бесстрашие, но и крайняя «натуральность» поведения, — вероятно, как и у матери её. (А как Ева читала готовый «Архипелаг!» — вот это её стиль: потащила все три тома машинописи на свою службу — на квартиру Эренбурга. А он как раз в эти дни — да умер. Тут начнётся — опись, комиссия? Кинулась уносить, жена Эренбурга задерживает: «Что выносите?» Вскипела: «Да неужели вы меня за столько лет не знаете, можете подозревать?!» Унесла.)

Напряжённый темп *дела* очень гнал меня всегда, не хватало времени просто с ней поболтать или полюбоваться. Но эманациями ото всех, от многих встреч соединялось: какое прирождённое неусыпное благородство в ней (не допустить движения на низшем уровне), как она пронизана щедростью, как соединяются в ней — гордость, и ненавязчивость, и совершенная дружеская простота. Только «под потолками» не разговоришься (квартиру Евы, теперь в Давом переулке, я считал весьма ненадёжной. Ева свободно встречалась со многими иностранцами и перезванивалась часто — а в этом-то и была её дерзкая тактика открытости: иностранцы и французские дипломаты знали её, и это укрепляло её против властей).

Много раз я сталкивался с Евой в шутку, а то и серьёзно, в оценке Запада. Высказывался я о Западе, по её мнению, слишком хорошо — она разуверяла меня, бранила Запад, ещё и сегодня с тою страстью, которая когда-то швырнула её покинуть европейское благополучие и добровольно ехать на муки в Россию. Другой раз я почему-нибудь был раздражён на Запад, высказывался слишком резко, — почти с той же горячностью и даже крайностями она кидалась его защищать. И всякий раз главный её тезис был: что я совсем не понимаю Запада и никогда его не пойму. Ева, правда, не отличалась стройностью политических взглядов. Она уехала из Франции уже 30, потом и 40 лет назад, хотя бывала наездами, и в самой Москве вот встречалась теперь со множеством иностранцев, уверена была, что сохраняет живое чувство Европы. Я — не был там никогда, но, ежедневно слушая несколько западных передач, не мог не составить тоскливого представления, что Запад падает волею, духом, сознанием — перед большевизмом. Она высмеивала мои выводы, не допуская столь разительного изменения Европы.

Лёгкость руки Натальи Ивановны!.. В мае 1967, разослав 250 экземпляров «письма съезду писателей», я отсиживался в Перedelкине у Чуковского. Вот и 11 дней прошло от письма, уже и съезд кончался, а — нигде на Западе не напечатали, не объявили. Откуда ни возьмись, — Ева, на другой даче в гостях, но позвонила и мне, вызвала погулять. И похожего плана у меня не было, во мгновение у неё родилось: «А у вас есть лишний экземпляр? Давайте, отправлю сегодня!» (Она не без этой мысли и привезла в Перedelкино французского искусствоведа Мориса Жардо, а у него хорошие связи с «Монд», и она взяла с него обещание.) И через три дня письмо появилось в «Монд», загромыхало — и

кампания была выиграна! — Произошёл ли казус с телеграммой «Граней», надо было срочно понять, кто такой Виктор Луи, — являлась та же Ева, *deus ex machina*, и разъясняла: знала его по Карлагу, московский мальчик, предлагавший иностранцам обмен валюты, сомнительное поведение в лагере.

При самом начале не зря попросила Ева: только чтоб *никто не знал*. Она определённо и именно имела в виду мою тогдашнюю жену Решетовскую. (Ева видела эту опасность несравненно раньше меня.) Однако весёлые, дружеские, простецкие наши отношения с Евой не могли скрыться от жены. К тому ж наши непрекращаемые, никогда до конца не разъяснённые дела всё влекли нас пошептаться, отделиться, даже когда Ева приезжала просто к нам домой. Этого всего нельзя было ни достичь, ни объяснить иначе, как сказав жене, что мы занимаемся делами слишком серьёзными, теми, то есть — заграничными. И Ева как будто это понимала. Но осенью 1965, когда уже разворачивалось следствие над Синявским, — Ева на скрытой встрече спросила меня: «Но ваша жена *ничего* не знает?» Да *прямо*, из моих уст, она не знала ничего, но имела глаза, но — видела. (Можно бы уверенно сказать, что только об участии Андреевых она не знает ничего, но и то: два года спустя у «Царевны» на квартире при семи-восьми собравшихся, среди них и моя жена, была такая встреча: привезенная Евой молодая Ольга Андреева-Карляйль из Соединённых Штатов вышла со мной шептаться на балкон.)

Над Евой уже тогда нависла тень опасности и, мрачна, черна, висит посегодняя. Предчувствие не обмануло её за много лет вперёд: в 1973 на Казанском вокзале Н. Решетовская прямо угрозила о Еве, и з в а л а её, и только её одну, как пример, кому КГБ будет мстить за напечатанье «Архипелага». (Именно эта угроза и понудила меня высказаться открыто летом 1974 в интервью CBS.)

Правда, уже два года скоро с того. Перевисевшие тучи не дают грозы. Храни Бог!

...Шло через Еву и дальнейшее развитие с посланной плёнкой «Круга». Она устраивала мои свидания то со стариками Андреевыми (те иногда приезжали в отпуск в СССР), то с Ольгой Карляйль, их дочерью, то с Сашей, их сыном.

В первых числах июня 1968 мы в Рождестве дотепывали «Архипелаг», в Париже бурлили революционные студенты, восхищённый их подвигами Саша (Александр Вадимович) Андреев приехал на недельную командировку в Москву с группой ЮНЕСКО. Весело звонил он Еве, что везёт ей подарки, вот расскажет о славных студенческих волнениях, которым москвичи так обывательски не сочувствуют («чего бесятся? пожилы б у нас, узнали!»), — а у неё враз составилось, лишая покоя и сна: не судьба ли? не послать ли сейчас с Сашею «Архипелаг» на Запад?

Об этих нескольких грозных днях она тогда же написала короткие заметки, потом сожгла их; в 1974, уже после моей высылки, снова написала. Аля вывезла их, теперь я использую. И вот: и до и после этого Ева много рисковала с моими делами, но по запискам так рисуется, что всех прочих опасностей она не ощутила в меру, была ли внутренне беспечна? Нет, это манера у неё такая беспечна, внешняя. Но «Архипелаг» занимал для неё размеры выше всех наших судеб, размеры самой России. Эта операция далась ей десятидневным сверхнапряжением, не забываемым и сегодня.

Сперва: не дать же «Архипелагу» пропасть. Остаться ему вечно здесь — погибнуть. Но в сашиных руках попасть на таможне — ещё большая гибель и книге, и автору, и всем, — сколько имён в «Архипелаге» названо, ещё живых! — и ему самому. И опять — Андреев, допустимо ли его просить? И — согласится ли? Зато — *руки чистые*: не корыстные люди, с русским подлинным чувством, не используют дара во вред. Упустить этот случай — а когда представится сходный потом?.. Ева уже загорелась и остановиться ей было трудно. Приехала в Рождество, вызвала меня в лес. Из заметок видно, как трудно ей решение давалось, ещё и не далось вполне, — мне же, помню, говорила с такой убежденностью (всегда победоносная!), что быстро поборола мои сомнения. И правда, такое стечение: в самый день окончания «Архипелага» (и с запасом дней на пересъёмку плёнки), — и в чистые руки! Как отличить свободу нашего решения от Божьего начертания? Решили, без юноши: да! Впрочем, вспоминает Ева, я сказал ей: «Действуйте, *только* если будет 99% на успех, не иначе». В операции этот процент был, пожалуй, сильно не достигнут.

Саша принял вопрос обречённо-спокойно, он, оказывается, и предчувствовал, что его будут просить. — Тебе не страшно? — Страшно. Но я всё-таки

русский. — Через день предложил он такой вариант: киномеханик будет отправлять контейнер с киноматериалами их группы, его и попросить сунуть туда и капсулу с нашей плёнкой, сказать: «Это рукописи моего деда. Вывозить их из Союза официально — слишком хлопотно. Помогите». (Второй раз тень Леонида Андреева сопровождала мой рулон.) Но контейнер ехал даже не опломбированный, не охраняемый дипломатическим статутом. В Троицкн субботу должна была вся группа улететь в Париж. Механик должен был ехать поездом на Духов день; во вторник Саша надеялся встретить его в Париже и вынуть из контейнера сам.

И, пожалуй, всё прошло бы спокойно, если бы в четверг вечером не возникло впечатления, что за Сашей следят. Мы приняли слежку как несомненность, и задало это нам лихорадки на пять дней. Сперва — самой Еве: продолжать ли операцию или покинуть? Кто не жил в конспирации, даже не вообразит этого отягощённого изматывающего состояния, когда, может быть просматриваемый, прослушиваемый, в недостатке времени, при невозможности советоваться, иногда в изнеможении от подступающего провала, ты не можешь освободить свою волю от ответственности и должен принять решение, от которого зависеть будут и многие дорогие тебе люди — и дело. Решила: «принять бой за родину в этой доступной нам форме, и именно теперь!» После этого Ева дозвонилась до московского родственника Саши, наполнила разговор пустяками и вставила скороговоркой по-французски: «вчера вечером, когда вы возвращались домой, за вами следили». (Уж если вплотную следят — то и эта фраза *взята*...) Тот (хотя не знал никаких тайн) понял и на ночь увёл Сашу ночевать в глухое место. Потом — размышления Евы с Люшей (пришла к ней брать капсулу). Чем больше раскладывали — тем казалось всё опаснее. И, не выводом из того, а всё своим напором чувства, Ева забрала «бомбу».

На утро субботы под Троицу было у них уговорено так: в Кировском метро на условленном месте Ева встретила Сашу и передала ему — не «бомбу», нет, — пакет игрушек для детей: если заметят и схватят эту передачу, то и — выкусят. Поговорили о вчерашней слежке. Сейчас как будто никого. Условились: во вторник утром, как только вынет капсулу из контейнера, Саша звонит в Женеву евиной сестре Катерине Ивановне (раненная в Сопротивлении, она стала инвалидом, и почти всегда дома), и та условную фразу передаёт по телефону Еве в Москву. А саму «бомбу» сейчас получит Саша не от неё, а на следующей станции «Дзержинской»... (Всё разыграно не хуже, чем у Климовой-матери.) Но когда на «Дзержинской» к Саше подошли сзади и взяли за руку — тот слишком вздрогнул. И передающий изменил решение: побыть с Сашей дольше, сделать поспокойнее. Он вывел его из метро на тихую улицу к своей машине. (И тут ещё происшествие: какое-то такси стояло впритирку с поднятым капотом; тронулись — и тронулось оно вослед... Вослед?... Не лишние ли подозрения? Отстало.) Не нарочно, так получилось: делали круг перед Большой Лубянской, вокруг «бутылки» Дзержинского — водитель, руки на руле, объяснил Саше, как ему руку протянуть и взять «бомбу» из сумки. Передали «Архипелаг» на Лубянской площади!..

Итак, хорошо ли, худо, дело было сделано, оставалось ждать. Но тут-то и ослабли уязвлённые нервы всех: неразряженные угрозы теперь давили тупо. Плёнка ушла из наших рук — но куда не дошла, висела без контроля и в опасности. Люша кинулась за мной в Рождество, я уехал в закрытую квартиру «Гадалки» (очерк 10), всегда для меня готовую, ключ у меня. Ева, чтоб не томиться праздничные дни в городе, уехала за город. А Люша звонила, не зная, Еве, а Гадалка из автомата звонила Люше, и отсутствие Евы пугало нас как уже начавшийся провал. (Теперь видно, что вся операция наша была любительская и шатко построена.) И на солнечном речном берегу солнце было Еве — чёрным пламенем. Беспомощное бездействие — тяжело.

Воротясь в Москву, Ева нашла путь дозвониться до того сашиного родственника по нейтральному телефону и выяснила, что Саша уехал без задержек. Сперва облегчилось, протянули понедельник.

Но вот уже вторник, середина дня, давно пора быть звонку из Женевы от сестры — а нет его, и нельзя позвонить первой самой: станет невозможен звонок с условным текстом.

Так промучились вторник — и отзвыва не было. И похоже было — на разгром: уже читают «Архипелаг» на Лубянке.

Только в среду утром пришло освобождающее известие. (Оказалось: парижская забастовка, полуреволюция — парализовала связь из Парижа, пересеклась враждебно с нашим «Архипелагом»!)

В среду днём, уже не очень скрывая мою укрытую квартиру, друзья приехали освободить меня. Они ликовали.

Но обидно оказалось, что избранные *руки*, от пары к паре меняясь, смазали всю нашу отправку — и не выручила она нас в грозный момент. Саша Андреев, не имея никакой советской тренировки, вел себя героически. Вадим Леонидович дрожал над этой книгой, даже закупил набор шрифтов, чтобы быть самому первым издателем «Архипелага» по-русски. А дальше у Карляйлей влипла наша капсула — и многие годы американский текст «Архипелага» не был готов (об этом в другом месте). Стоило нам так торопиться, рисковать и гордиться! — всё равно как и не отправляли. Лежал «Архипелаг» на Западе — и как будто не лежал. Понадобилось делать немецкий перевод, Бетта (очерк 12) попросила у В.Л. копию русского текста от дочери — он перепугался: разгласится (а он же — с советским паспортом), — и пришлось нам всю отправку «Архипелага» из СССР — по в о т р я т ь, очень тяжело и опасно. А не отправили бы снова, весной 1971, «Архипелаг» на Запад, то к моменту провала в 1973 у нас не было бы немецкого и шведского переводов; а русское издание, недоступное западному читателю, прозвучало бы как одиночный пушечный выстрел в ночи.

В последние годы Ева уже перестала быть единственной нашей связью с Западом (но то и дело что-нибудь *перекидывала* с изящной лёгкостью); однако неистощимо находила, в чём ещё может быть полезной, на это у неё острый был взгляд. Вела себя Ева до конца по своей привычке и смелости — нисколько не прячась, не прикрывая дружбы (с Алей она была тесно дружна, несмотря на разницу в возрастах), открыто звоня и приходя хоть в самые тяжёлые осадные моменты.

А после нашей высылки Ева — первая же из подозреваемых (да просто засеченная ГБ, облепленная доносами) — не только не замерла, не затихла в тот год, но с прежней самоуверенной отвагой вела свою свободную жизнь внештатной переводчицы, встречалась с иностранцами, а меж ними — с *нашими*, и, в месяцы перебоев, смены лиц, высылки корреспондентов, нарушенья каналов, — возобновила с новой энергией пересылку нам целых сумок и чемоданчиков из архива. Теперь, весной 1975, это куда пристальней проглядывалось, куда опасней прежнего, и иностранцы робея. А с конца 1974, после выхода «Из-под глыб», открытую почту нам Москва обрубил в оба конца (ни даже открытку ко дню рождения ребёнка не пропускает), — так Ева взяла на себя и нашу «левую» связь со всеми друзьями.

С осени 1974 в культурном отделе французского посольства появилось новое лицо — корсиканка Эльфрида Филиппи. Я никогда её не видел, Ева так описывает: «Красивая, стройная, когда любит — обаятельная, когда не жалует — ледяная. Мы подружались с первого взгляда, сразу в чём-то синхронны, без слов. Её быстрая решительность, готовность испытать все страхи, опасение подвести кого-нибудь, живой интерес к России... Пронесла в опасных местах, обезоруживая улыбкой и грацией. Гениально быстра: топгун не успеет рта разинуть — а уже всё сделано». Так, хотели пакет для меня разделить на три поездки, она взвесила рукой, сказала: «беру всё сразу!» — очень тем облегчив. (С ней вместе перебрасывала кое-что и Б. Л., — каждой паре помогающих рук спасибо.)

Этот огромный пакет от Евы и через Эльфриду Степан Татищев (см. очерк 13) принёс нам в парижскую гостиницу D'Isly на рю Жакоб, на мансарду — и тут произошло совпадение более чем символическое, как умеет ставить только История. Принесший ушёл, на диване грудой ещё лежала неразобранная посылка от Наташи Климовой-младшей, — а по той же узкой чердачной лесенке через две минуты к нам взшёл Аркадий Петрович Столыпин — тот маленький сын Столыпина, едва не убитый во взрыве на Аптекарьском острове Наташей Климовой-старшей, — да и пришёл ко мне обсудить эскиз моей главы о Петре Столыпине. С этим милым человеком мы сидели дружески, а рядом лежали пакеты, так же дружески присланные от дочери несостоявшейся его убийцы.

Так за две трети столетия повернулась Россия. Дочь с тем же талантом и порывом, как мать, теперь работала и рисковала в противоположную сторону. (Хотя и не свернув далеко с эсеровского стержня мышления: всё проклиная и Столыпина, и видя в советском строе прямое продолжение царского.) Все силы здоровой России вот уже соединились, вот уже действуют заодно.

(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.): Осенью 1976 Еву даже выпустили в Швейцарию к сестре. Она никак не могла просить в советском посольстве визу в Штаты: и:

запрещено менять страну, и ясно будет, что — к нам. Но с нашей помощью (американцы выдали временный вкладыш в паспорт) счастливо приехала к нам в Вермонт, жила у нас весной 1977. Она тяжело переживала, что ею привлечённая Ольга Карляиль — вывихнулась, и книгу враждебную пишет, но и всё уверяла, что ерунда. Читала «Невидимок» — и попросила этот 9-й очерк с собой (оставить копию в Париже — и ещё взять в Москву, прочесть друзьям-Невидимкам, тогда сжечь).

Объясняя свой переезд в Россию в 1934: «Я — не на муки ехала, что вы, я терпеть их не могу, я ехала на радость. Но перетерпленные муки не притупили моей любви к России, а обострили её». А сейчас заманная перед ней стояла возможность: остаться на Западе навсегда. Она долго мучилась, долго выбирала. Её решающее письмо передаёт, я думаю, лучше, чем мой пересказ [44].

(ДОБАВЛЕНИЕ 1986 г.): Наталья Ивановна и дальше продолжала конспиративные операции, и даже с отчаянностью. С 1975 и по 1984 год на ней держался не только весь наш скрытый почтовый и книжный канал с друзьями в СССР, но и важней: помощь нашего Русского Общественного Фонда в СССР, — и вряд ли без её смелости и находчивости могли бы мы наладить такую полнокровную артерию. (О работе Фонда когда-нибудь кто-нибудь, я надеюсь, напишет подробней.) ГБ изо всех сил следило за ней — и всё никак не поймало.

Н. И. в последние годы болела панкреатитом. В конце августа 1984 она внезапно почувствовала сильные боли, легла в больницу — и через неделю умерла. (Перед смертью успела передать для нас: «Сейчас надо на время замереть!» — видно чувствовала, как грозно сгущалось. Ускользнула из лап — может быть, в последний момент.)

Гебешники в штатском в немалом числе толпились на её похоронах, высматривая. Из них же несколько пришли описывать квартиру под видом «стажёров нотариуса». Двоюродному брату Н. И. на допросе сказали: «Мы всё о ней знаем, давно её пасём, и знаем, где лежала у неё каждая вещь».

Хвастают! Знали, да не всё.

Неуловимая! — ушла от них... И с поздним оскалом лязгали о ней в газетах.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

[44]

Париж, 29 октября 1977

Дорогой А.И.! ...Ваши хорошие слова о моём возвращении ввергают меня в смущение — чуть неловко, словно люди тебя переоценивают, а ты помалкиваешь... А ведь всё получилось благодаря Вам, представьте себе. Ваша помощь помогла мне прожить на Западе год, почти ни от кого не завися (ни за что бы иначе не выдержала). Из-за Вас мне выпало никому не достающееся счастье — спокойно, свободно, сильно, глубоко *выбрать*, с сознанием, *не* обременённым ни принципами (Бог с ними, ни разу не понадобились), ни «чувством долга» (противопоказанная мне категория), ни даже сознанием пользы, которую могу принести (даже к себе не отношусь утилитарно). Год назад золотой осенний Париж вызвал чувство: ну вот, я в своём городе и никуда из него не уеду. Ан не получилось. Полная свобода, казалось бы, и «струя светлей лазури», и «луч солнца золотой», а уж я ли не ценитель! — а в сердце живая рана — клубок из любви и ненависти к великой, страшной, замордованной, растоптанной, бес-смертной, «желанной», «долгожданной».

...Сегодня бродила по коридорам метро с пакетами для Москвы, и вдруг услышала низкий русский голос у одного из тех нищих, что сидя на полу поют с гитарой. Смотрю — молодое русское лицо, и пел он «Полюшко, поле...». Пел хорошо, с тоской, многие останавливались. Я же постыдно плакала, отвернувшись к стене, плакала с такой горечью, словно год мне не давали выплакаться. О чём? О проклятии, висящем над нашей страной, о том, что люди — молодые, старые, хорошие, всякие — бегут, бегут, и каждый прав для себя, для своей единственной жизни. А «Россию — жалко».

Казалось бы, гнёт и страх испепелили даже само понятие свободы и достоинства, но тот же неуловимый пресс над духом неожиданно удесятерил *потребность* в свободе и достоинстве. Не так лагерь, как русская «воля» научила меня ценить как ничто на свете *свободу* (жить, двигаться, мыслить), которой мы

так страстно добиваемся. И ради этой страсти, этой напряжённой жизни, в которую мы — «акробаты поневоле» — тщимся вместить свободу и достоинство, ради этого я, собственно, и возвращаюсь. Да, мне лучше жить там, прислушиваясь к ночным шагам по лестнице, судорожно унося утром из дома всё взрывное после долгого ночного звонка в дверь (потом выяснилось — ошибка скорой помощи), жить непрерывно обманывая «всевидящее око» (и ухо), и хоть частично используя то книжное богатство, которое так обидно-легко плывёт ко мне в Европе, хоть частично удовлетворить вокруг себя неиссякаемую жажду к слову правды. Может быть, потому так ревниво блюла [во время западных путешествий. — А.С.] формальную непорочность паспорта, отмечая возможность формального препятствия вернуться.

Вероятно, это моё последнее к Вам письмо, и потому попрошу — если хорошо ко мне относитесь, то не прикрашивайте меня. Помните, какая я жадная до жизни во всех её видах, как я противоречива и не мучаюсь от этого, какая я сибаритка, не избегающая соблазнов, а бегущая им навстречу. Правда, я благодарна судьбе за жизнь, за необыкновенные встречи, из которых ни одной не забываю. Вы, в частности, были одним из моих великих соблазнов, сразу в первом разговоре осознанным и, как Вы помните, я Вас не отпустила, пока Вы меня не «услышали».

Все приветы в Москву конечно передам, о нашей встрече, однако, мало кому смогу сказать. Очень будем ждать малоформатных книжечек. Плохо с каналами — кому охота долго ходить по канату в чужой стране, — но верю в чудо личного контакта, да и жизнь набита чудесами, моя во всяком случае, настолько, что я спокойно на них рассчитываю.

Обнимаю Вас и помню всегда.

Н.Столярова

## 10

### ЧЕРЕДА В ТЕНИ

Когда я писал главный текст этой книги, во многих местах упиралось повествование в кого-то из Невидимок. Я — пометку делал на будущее и — обходил, затирая. Но вот сейчас писал эти девять очерков — и снова повествование заделало ещё новых Невидимок, уже как бы второй череды. И опять я их обходил, теперь уж не для безопасности, а — поворотливей обернуться с сюжетом. Однако эта вторая череда — она ведь тоже поддерживала, укрепляла, несла, да минутами как! В мосту одни ли каменные устои держат? ведь и каждая балка в переплёте. В сети — одни ли узлы? нет, и каждая прёт.

Имя за именем, лицо за лицом припоминая сейчас, думаю со стеснением: а ведь и из них иные приоткрыты сегодня подозрению или доносу, и висит над ними опасность, как надо мной уже нет.

Вот только сейчас поминал: Гадалка. Название шутовское, за то, что любила гадать на картах; сама с собою. Была же Анна Ивановна Яковлева — доктор биологических наук, учёный фармацевт, исследовала вредные побочные действия лекарств (и, её послушать, вообще никакими лекарствами лучше не пользоваться, да я так и склонялся всегда). К 60-ти годам она была незамужем, и постоянно окружена группой молодёжи, которой благодетельствовала, одним помогала институт кончить, другим — устроить быт, жильё, работу, и всех окружала атмосферой любви не только к свободе, но и — к России. (Второе было разлито по образованному классу не слишком широко, и здесь каждая встреча — находка.) Из этой атмосферы и родились коллективные письма их кружка ко мне, сразу подписей по 20, это и во взрыве переписки было необычно, привлекло внимание. В 1963, я ещё не был опальным и для них не опасно, я посетил химический их институт на Zubovskoy площади. С Анной Ивановной сохранилась и дальше переписка. Уж не зная чем и помочь, она предлагала перепечатывать (давал ей пьесы открытые и копировать заготовки «Р-17», чтобы не пропали губительно, она много просидела, много сделала; на Западе на то — ксерокопия, а у нас и мозги так не повернуты, у нас — перепечатывай по буковке), предлагала свою квартирку на 13-й Парковой, если нужно когда в тишине поработать. В мою



разгромную полосу, в сентябре 1965, я иногда и скрывался у неё, когда надо было уйти от слежки, отдохнуть от опасности, знать, что хоть в эту ночь — наверняка *не придут*. И снова пригодился остро её приют на Троицу 1968. (По невероятному совпадению в 7-миллионной Москве, с семьюстами квадратных километров жилья, мой укryw в ту ночь пришёлся — в 50 метрах, через дом, от Саши Андреева, ночевавшего у своих родственников после того, как положил плёнку в контейнер, а утром улетавшего в Париж. Если бы за ним действительно следили — как раз бы я мог прийти под тех шпиков!) Тогда-то, в самозаточении, в томлении, я и попросил её: «Анна Ивановна, погадайте, чем дело кончится». Она и гадала на кухне втихомолку, но мне (то ли карта худо падала): «Такому человеку, как вы, гаданья не нужны». И правда. (И думаю: никому не нужны. Есть в этом нечистота жизни. Не дано нам знать будущего — так не дано, лишь одни предчувствия посылаются нам.) В мои тревожные у неё остановки не вобрала моя голова, а рассказывала она, как стала одинокой. Следующие годы, уже уйдя на пенсию, она всё продолжала вдохновлять свой кружок молодёжи, — как такие люди дороги для роста поколений. Но стала опасаться болезней старости — и поехала кончать жизнь в инвалидный дом на Клязьму.

Вот Иван Дмитриевич Рожанский. Он был фронтовой друг Льва Копелева, и через того мы познакомились, а оказывается можно было — и через Еву. Он раньше легко ездил за границу, в 1964 ожидалось, что поедет снова. Заранее принял он у меня мою капсулу с плёнками, держал — и безусловно бы повёз, рискуя головой, — да накануне отъезда был вызван в ЦК и лишён командировки (не из-за меня). Больше было бы грозных последствий, если бы политическое недоверие ему выразили во время таможенного осмотра. (Ту капсулу я и перенёс Еве.) Потом копировал он мне магнитные ленты, которые доверить слушать некому было больше. Что-то важное коротко хранилось у него и в мои разгромные дни сентября 1965, ибо помню: как раз от квартиры Гадалки я звонил ему из автомата, себя не называя, и рано чуть свет поехал к нему на переговоры, пока был уверен, что не тяну за собой *хвоста*. И. Д. был сын известного физика, и сам физик, но втравлен в казённо-представительную жизнь, от которой любил отдыхать в окружении своей библиотеки. Он был добрый, широко образованный, несколько флегматичный в беседе, как бы предпочитая больше думать, чем говорить. Особенно любил античную философию, выпустил книгу об Анаксагоре. «Царевичем» закодировали мы его (хоть по Ивану, хоть и по Дмитрию).

Тогда, в производной, «Царевной» же стала зваться его тогдашняя жена Наталья Владимировна Кинд. Но позже и манерой её держаться, этакая русская стать, ясный месяц во лбу, и чем-то внутренним весьма оправдалась случайная конспиративная кличка. Она была душевно очень богата, с развитым умом, талантливый геолог, доктор наук, с большой душевной устойчивостью — завидно переносила невзгоды. Но разве все эти качества и чувства было время оценить, их излучение принять в нашей борьбе и гонке? Для нас важно было: тверда, верна, и квартира её — *чистая*, живёт обособленно от московского кишенья. А значит — у неё можно встречи устраивать с иностранцами (русскими — то со стариками Андреевыми, с которыми она была дружна ещё по жизни в Женеве, при командировках мужа, то со злополучной Карляйль, то с посланным ею Степаном Татищевым). Ещё и с Евой Царевна была очень дружна, что уж и вовсе замыкало наш круг, упрощало общения. От Царевны — не было у меня закрытых книг, конечно она была из первочитателей машинописного «Августа», ещё раньше — она из немногих читала рано «Архипелаг», ещё пока он не кончен был, помогала нам сделать карту Архипелага, через геологическую цепочку с Пахтусовой поймала утку тайны от Кью — и уже после смерти Кью по этой же цепочке добыла от Пахтусовой нам рассказ о ходе гибельных событий. Последние наши тёмно-грозные месяцы на родине Царевна нередко бывала у нас с Алей, всё более становясь родной, успела прийти и когда повестка прокуратуры уже лежала у нас, и много раз была у Али после моей высылки. Нависал, кажется, полный разгром — а я к ней приходил обсуждать сырые главы «Октября», это звучало тогда академично. Доканчивая подготовку «Из-под глыб», друзья мои в Союзе, а я на Западе, — мы с Шафаревичем обменивались рукописями через неё, они жили рядом. Так Царевна вместе с Евой включилась в основной канал. К тому

времени, когда эти очерки опубликуются, уже не все соотечественники наши будут понимать, какая решимость требовалась — включиться в «канал»\*.

Отчасти через Царевну, потом и через Люшу поддерживали мы связь с Михаилом Константиновичем Поливановым — одним из авторов «Из-под глыб», математиком, чистой душой, тонко думающим человеком, но только с редкими друзьями и в редких местах, имеющим право на наслаждение свободного разговора, как все мы там, принудительно калечно согнутые извне. Сам М.К. был верующий, но так уважал чужую свободу, что детей своих не крестил в малолетстве — а дал им вырасти и выбрать (все крестились). Многие годы он хранил и «Архипелаг» и «Круг»-96, самые опасные мои вещи, — то у себя дома (и чего только не случалось: держал под ванной — листы промокли, надо по всей квартире разложить сушить, от форточек всё вихрится; вдруг пришли с обыском к отдельно жившей теще — уноси всё в гараж, даже в машине с собой вози); то — у своего отца, без его ведома. Позже мы освободили его от этих хранений, но много запрещённой литературы протекло через его руки, он сам питался и питал читателей\*\*.

Расширяя конспиративную сеть, каждый естественно действует по линии близкого знакомства и дружбы. Так, другом юности Люши по переделкинским дачам был Николай Вениаминович Каверин (сын писателя), закодированный нами как «Вел» за пристрастие к велосипеду. В Переделкине по воскресеньям им с Люшей и встречаться было легко, без контроля. Коля вырос в поколении уже не расслабленном, но понимающем, что только своими руками и добьёшься свободы. Он и лично был твёрд, точен в поведении, надёжен в осуществлении. Отца он в свои такие дела, по-моему, не посвящал, но был вокруг него какой-то свой кружок молодых, почему мы и отдали им копировальную «крутилку» Ростроповича. (Она оказалась отличной в работе, и они с сожалением уничтожили её в опасную минуту.) Коля помогал Люше перепрятьывать, передерживать некоторые мои плёнки и рукописи\*\*\*. Он был «стартом» для многих моих самиздатских выпусков. В январе 1974, в темноте, приходил он ко мне в Переделкине, я передал ему — заблаговременно, на один из стартов в день моего ареста — «Жить не по лжи». Он дышал отважной готовностью помогать в чём угодно и не глядя на опасности.

Необходимость заставляла Люшу иметь ещё и своё особое постоянное хранение. Осенью, я думаю, 1968 я и предложил ей таких хранителей — сотрудников Института русского языка на Волхонке. Одного из них, Леонида Крысина, Люша и без того хорошо знала по его посещениям К. И. Чуковского. Другая же была — очень милая Ламара Андреевна Капаназе. Я всего-то и видел её раза три в жизни, два раза — по их институтской затее позвать меня якобы для образцовой фонетической записи на магнитофон, на самом деле — познакомиться со мной и получить рукописи для размножения. (И ещё успели они мне помочь в розысках по кубанскому и донскому диалектам.) В третий раз я позвал их обоих (на тот же родной и роковой Страстной бульвар, всё на ту ж любимую новомирскую аллею его у расширения) — и сразу предложил им хранение страшнейших моих вещей, и в большом объёме. И не ошибся, раскаиваться не пришлось! Они взяли, не дрогнув, и хранили отлично. Лёня — относил от Люши и приносил к ней, это было естественно, ибо он

\* Прошли годы — мы всё обменивались записочками из-за границы, знали о радостях её: то вновь посетила тундру — очень её любила, то купила под Москвой садовый участок, то вместе с Евой, Люшей отдыхают в Крыму — сдружило их всё прежнее. Она знала о поездке Евы к нам в Вермонт — и у неё-то на подмосковной дачке читался вслух предыдущий 9-й очерк «Невидимок». Эта живая непригнутая весть от нас к ним была прямо неправдоподобна; Ева рассказывала им подробности о Вермонте, чего нельзя под московскими потолками. А в конце 1983 у неё были гебисты с обыском (когда сжималось кольцо вокруг Евы, вокруг Фонда), забрали мои книги, требовали объяснения, откуда они, ответила просто: «Дружила с ним с 60-х годов». Отвзались. (Примеч. 1986)

\*\* Всё же, по большой осторожности, ему удалось избежать всяких гебистских подозрений — и он продолжал пользоваться zahraniчными командировками, поражая и радуя нас в Цюрихе вдруг внезапным звонком из Парижа, в Вермонте — письмом из Италии. (И какова же судьба советских! — «Тут есть и другие люди из СССР, поэтому я с трудом побарываю подозрение, что каждое моё движение, и в частности это письмо, подсматривается. Так что не удивляйтесь следам болезненной конспирации даже в этом письме».) Но в этих письмах он — и почти единственный в то время с родины, прорывая глухоту, — давал развёрнутые, глубокие отзывы на Узлы, особенно дорогие нам тогда. (Примеч. 1986)

\*\*\* Только теперь узнаю: они с друзьями, без моего ведома, охраняли меня в Переделкине после моего письма съезду писателей. (Примеч. 1990)

продолжал работу над наследием К. И., — Ламару же, именно по законам конспирации, я, к сожалению, и не видел больше никогда — ни познакомиться ближе, ни поговорить; да и Люша очень редко. Кажется, место хранения у Ламары менялось — сперва у родственников, невинных стариков, потом почему-то пришлось взять к себе во 2-й Троицкий переулок — по сарказму судьбы это была бывшая когда-то квартира Берии, теперь обращённая в коммунальную! Конечно, само по себе такое хранение было ненадёжно: Ламара жила одна, значит, уходя, оставляла хранение в коммуналке! Но, не встречаясь с нами и ничем другим недозволенным не занимаясь, она не должна была и привлечь внимание. Впрочем, летом 1973, когда всё трещало у нас, пришла и отсюда тревожная весть: какой-то соседский гость дважды подглядывал в замочную скважину Ламары, застигнут был так. Могло быть это и внимание к молодой привлекательной женщине, могли быть и шупальцы ГБ. Тут Люша была больше после аварии, тут «Архипелаг» провалился, не доходили силы решать с Ламарой. Наконец, осенью, едва собрались мы выкачивать от неё наш архив — тут от сердечного приступа надолго свалился Лёня Крысин, и опять остановилось дело, зависло. В ту осень было ощущение, как сон кошмарный, когда надо сделать защитное движение руки, а всё парализовано. Глубже в осень — дело поправилось, архив мы оттуда весь забрали благополучно.

Ещё совпадение: в том же самом 2-м Троишском переулке, дом о дом с ламариным хранением (!) в январе 1972, в рождественский сочельник, в квартире Н.Н. Вильмонта, известного переводчика и литературоведа, закончилась успехом наша с Анной Самойловной Берзер гонка по следам убежавшего «Телёнка», через утечку доскакавшего сюда. С А.С. Берзер удивительно ровные неизменные дружеские отношения сохранялись у нас много лет — от первого знакомства в редакции «Нового мира», ещё в старом помещении, от первых её тайных сообщений мне о ходе «Денисовича» по кругам ЦК, — ещё рассказывалось это в прежней квартире её в Кречетниковском переулке, будущем Новом Арбате, — и через слом старого переулка, когда сестёр Берзер закинули в хлипкий новый дом на окраину, и через сломы редакций, когда уже и из *новой* «Нового мира» принуждена была Анна Самойловна уйти на пенсию. Она была моя ровесница и в МИФЛИ училась как раз когда я там был заочник, от этого ещё — общий взгляд и воспоминания нашего поколения. Самый образ мысли её и восприятия был мне близок, не расходились заметно наши реакции. И в высшей степени она была скромна, тактична, незанозиста, несамолюбива и с сердцем добрым, — да все авторы «Нового мира» любили её, не я один. И хотя она не проходила тренировок, но без трепета всегда была готова любую тайную вещь брать, прятать, нести, передавать — и временами мы пользовались её помощью. Был даже проект, что сплошную перепечатку «Архипелага» Люша будет вести у неё на квартире — нырнет к ней, скроется, как уехала куда-то. Но отказались: дом их пропускал все звуки, а окружение всё — враждебное. Любим тайным замыслом можно было с А.С. поделиться и быть уверенным, что она не расскажет ни подруге, ни сестре. Просто надобности не сложилось открыть ей больше. Она же многое нам узнавала, рассказывала, предупреждала, вот — и утечку «Телёнка» открыла мгновенно. Когда в Рязани исключили меня из СП и не отозвался московский телефон Али — вторым был новомирский Анны Самойловны, и так попорхала весточка! Их комната в «Новом мире», отдел прозы, — всегда была свободным литературным клубом, все приходили туда поболтать, посмеяться, пожаловаться. Там уже и после разгрома редакции всё так же сидели А. Берзер и Инна Борисова, продолжая, сколько и в чём могли, прежние традиции. Свободно к ним могла ходить и Люша — и так уже в «коммунистически исправленном» «Новом мире» происходили передачи моих рукописей, распространение моих самиздатских выступлений, а Инна, под внешним обликом просто хорошенькой женщины — твёрдая, самообладательная, наблюдательная и хорошо понимающая, что к чему, — на своей одинокой квартире в Аэропорту тоже годами хранила «Крут»-96 и ещё что-то. Привозили нам с Запада русское издание «Круга», мы ещё не знали пиратского имени Флегон, думали, что это — издание Андреевых, и Инна неделями отдавала свои вечера считыванию и корректуре — ужасающее множество искажений!\*

\* Выход в свет «Телёнка» неблагоприятно отразился на Анне Самойловне, всего не предусмотреть. Не мог я обойти похвалы и благодарности ей — а за то приказано было редакции «Нового мира» не давать ей больше приработков, частных заказов, попала она как в блокаду. А тут ещё стала и слепнуть. (Напротив, обруганный мною в «Телёнке» А. Д. Деметьев благодаря этому вошёл в моду у казённых кругов.) (Примеч. 1978)

Писатель Борис Можаяев — мой близкий тесный друг, первейший знаток русской деревни и природы, однако по-крестьянски же чрезвычайно осмотрительный, вовсе не был склонен нырять в конспирации. Отверг и моё предложение участвовать в самиздатском журнале. Он выражал собой вечное ровное струение (или зелёный рост) народной жизни. Наше тёплое общение с ним происходило, как если бы наша страна была свободна, и два писателя, общаясь, могли позволить себе роскошь ограничиться одной открытой литературой. Но и он: в июне 1965 помог мне в тайном сборе материалов по Тамбовскому восстанию, прикрыл своей нарочитой корреспондентской командировкой мою неоглашённую поездку туда. (Как в 1972 другую поездку в Тамбовскую же область прикрыл мне своим родством — сам из Иноковки Кирсановского уезда, старый друг по тюрме Иван Емельянович Брыксин.) А потом лорд Бетелл (Британия) втянул Бориса через словацкого журналиста Личко — в их авантюру (см. второй том «очерков литературной жизни»), в тайные контакты, которые могли обернуться Можаяеву и *сроком*. Борис вёл себя достойно, твёрдо и нисколько не забоялся, как если бы ко всему этому привык.

Все 60-е годы поле сочувствия к моей деятельности и отвращения к правительству были так определённо выражены в обществе, что можно было и ещё смежных, соседствующих встречающихся людей просить о серьёзной помощи — и не было бы отказа, ни «продажи». Затягивались в помощь нам и самые осторожные и побочные.

В том поле общественного сочувствия сколько безымянных доброжелателей передавали мне содержание партийных клевет с закрытых трибун, где они бывали слушателями. Обычно не знал я их имён и не спрашивал — но как помогали они мне отбиваться! каким оружием вооружали! С самых неожиданных сторон, через неожиданных людей прибывали ко мне эти подмогающие сведения.

В поле сочувствия (не только мне, но всему Движению) могли существовать такие старушки, как Надежда Васильевна Бухарина, в разное время много помогая просто в быту, в хозяйстве — то Р. Медведеву, то мне, то Сахарову, то Шафаревичу, всем заметным «инакомыслящим», — отравляя силы от собственных детей и внуков. (Говорила: «Я до смерти должна отслуживать, что в лагере не сидела».) То и дело она пекла специальные питательные сухарики для лагерных посылок, встречалась с жёнами эков, помогала им, раздавала подарки и книжки на несколько провинциальных городов. К тому времени типичная добрая бабушка, она без колебания принимала что-нибудь опасное в хозяйственную сумку и тащила, куда нужно. У неё всегда наготове были две машинистки — бескорыстно размножать любую самиздатскую вещь. Так три старушки составляли «батальон самиздата»\*.

Что ж говорить о бывших эках? Кто из них не движим был — помочь? Вильгельмина Славуцкая, долголетняя коминтерновка, отсидевшая затем 10 лет, добывала мне сведения о Козьме Гвоздеве, знакомила с детьми Александра Шляпникова, и так я черпал уникальный материал; устраивала мне тайное свидание с Бёллем — для передачи ему текстов на Запад. После моего ареста и высылки — помогла Але переправить собранные мною книги по русской революции, запрещённые к вывозу.

Другая коминтерновка, разведчица, латышка Ольга Звезде (а ещё раньше коренная чекистка, лично знавшая всю головку ЧК), — снабжала меня неоценимыми показаниями.

В рязанское время я сознакомился с двумя старыми сёстрами, одна — Анна Михайловна Гарасёва, в 20-е годы сидела как анархистка, другую, Татьяну Михайловну, на десятку сажали в 30-е, уже как советскую обывательницу. Собирали они мне материал для «Архипелага» и сам «Архипелаг» хранили частями в своём покосившемся провинциальном домишке XIX века, и плёнки, и другие рукописи. («Веселей стало жить, смысл появился!») Так как были у них печи, то забирали они с нашей квартиры все бумаги, конверты, которые нельзя

\* Знаменитая кулинарка, Надежда Васильевна ещё потом много лет по памятным дням собирала у себя на Левшинском всех наших сознакомленных друзей, давая им соединиться в юбилей и печальные годовщины. На Покров 1982-го стало ей худо, и она в сутки умерла, от тромба в сердце (было ей 81). Отпевали её у Николы в Кузнецах, и привалило множество народу. В ночь перед похоронами случилось в Москве некоевременная вьюга, насыпало снега, и хоронили её на Ваганькове, как зимой, цветы и свечи на снегу. (Примеч. 1986)

было просто выкинуть, но обязательно сжечь. Ранним утром после исключения меня из СП, когда гебистская машина дежурила у ворот, пришла Анна Михайловна и в хозяйственной сумке унесла экземпляр «Изложения» — спасти, если на мою квартиру налетят.

Ещё была у меня в Рязани верная твёрдая душа Наталья Евгеньевна Радугина, она связана была с Гарасёвыми, участвовала в общей сети, надёжно помогала. Предлагала и хранить, но ничего существенного дать ей не пришлось. А связь её с нами была открытая — и к ней ГБ нагрянуло с обыском в день моего ареста. Переворошили, ограбили, а криминал — выкуси, не нашли.

В 1964, когда я никак ещё не был опален, открыто работал в Военно-Историческом архиве, — в книге посетителей увидел мою подпись Юрий Александрович Стефанов, подошёл благодарить меня за «Ивана Денисовича» и предложить свою помощь по архивам. Родом из Новочеркасска, ранним мальчиком (но с необычайной наблюдательностью и памятью) свидетель революционных тамошних событий (на таких неуничтоженных безобидных и прометается Железная Метла), в своё время отсидевший свою десятку (да и матушка его покойная тоже), — он и в 70 лет был ещё крепок, с тыквенной лысой головой, здоровенный казачище, а работоспособности необычайной: ведущий инженер-нефтяник, талантливый, ценимый и неутомимый на работе, — он только по вечерам да по воскресеньям разворачивался со своей страстью: общей историей Дона, казачества, а уж по смежности — и русской императорской армии. Естественно и взгляды у него были коренные казацкие, антибольшевицкие (хотя он упорно скрывал их за бесстрастностью исследователя). Архивные навыки. — где, что и как искать, у него были высочайшие. Несчитано много помог он мне за годы своими развёрнутыми справками — об отдельных частях и личностях старой русской армии и особенно о казачестве. (Общая черта в СССР: все помощники, все сотрудники где-то служат, всю богатырскую работу ворошат в досужное время и совсем бесплатно.) Позже, когда стал я получать книги из-за границы, — очень порадовал «Донца» (как стали звать мы его) «белыми» изданиями о казачестве. *Закоротил* я его через Люшу, но много тревог он ей доставлял своей неспособностью кратко, намеками говорить по телефону, — раскрывал много лишнего, себе ж в опасность. А когда навалилось на нас ещё и крюковское наследство (см. очерк 14-й) — Ю. А. стал главным обработчиком этой всей горы, да много взял и для своих задач.

В Ленинской библиотеке Люша сознакомилась с дружественным мне библиографом Галиной Андреевной Главатских, та стремительно и виртуозно выставляла по люшиным (моим) запросам не рекомендательные списки, а живые десятки, если не сотни, книг — с отмеченными местами. Из конспирации я никогда не повидал Г. А. и поблагодарил-то за помощь, может быть, одной запиской, — и только от Люши знаю, что было ей тогда примерно 37 лет, что она историк, «скромная, тонкая, усталая». И — религиозная. Такие книги Люша с избытком таскала из библиотеки и доставляла мне за город, и снова оттаскивала в библиотеку.

Ещё и в спецхране Ленинки, то есть уже в самом преграждённом закрытом месте, была сочувствующая нам Вера Семёновна Гречанинова. Иногда она добывала редчайшие материалы. Но — проследили, или сама, может быть, кому-то доверилась, а — убрали её из спецхрана. И её подруга Анна Александровна Саакянц, цветаеведка, тоже порядочно газетных материалов в спецхране переворошила по моему заказу, изрядно помогла.

С годами архивы один за другим отказывали мне в доступе и справках. (В Военно-Историческом в 1972, после появления «Августа», даже следствие было: кто смел мне выдать в 1964 материалы Первой мировой войны!) А нужные мне материалы, справки, ответы на вопросы всё равно притекали бесперебойно. То — от Александра Вениаминовича Храбровицкого, литературоведа, шопенгауэровца, зятя Короленко, большого доки по архивам. То — от Вячеслава Петровича Нечаева. То — от профессора-историка Петра Андреевича Зайончковского. То от Владислава Михайловича Глинки, петроградца. То — от Евгении Константиновны Игошиной (пенсионерка Гослитиздата, взяла от меня тему «Голод 1921-го»; она была сестрой той машинистки, Ольги Константиновны, от Мильевны; годами сёстры жили в одной Москве как чужие, а из-за моих книг снова сошлись). То бывали — и совсем чужие люди, вполне официальные, и старики (не всех я знаю, Люша без меня работала с ними), — такая сложная эпоха, интеллигенция и сама запуталась — за кого она, что думает и что она сама.

Ещё был юный хрупкий умница **Габриель Суперфин**, сверхталантливый на архивные поиски. Он сам приобрёл, назвал на помощь мне и помог — по Гучкову (главы 39 и 66 «Марта»), и кое-что общее по предреволюционной России. Не многое успел, но в момент его ареста в 1973 я в интервью «Монду» нарочно выделил его участие в моей работе — чтобы дать большую мировую огласку и тем защитить\*.

Даже в Таврический дворец — посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурления — категорически отказано было мне пройти. И если всё-таки попал я туда весной 1972, — русский писатель в русское памятное место при «русских» вождях! — то риском и находчивостью двух евреев — **Ефима Эткинда** и **Давида Петровича Прицкера**. Прицкер был лектором той «областной партийной школы», которая оккупировала и закупорила Таврический дворец, стал дворец как бы секретным. Однократная помощь в не самом главном, однако ж и очень подпечливом случае (с тех пор и в Петрограде я больше не был, вот и выслали), — как не помянуть добром этого бескорыстного помощника? Прицкер встретил меня на пороге дворца, провёл мимо военного контроля, и побрели мы наслаждаться Купольным залом, потом Екатерининским в лучах заката (я ещё, не торопясь, промеривал его шагами, записывал, какие стены, люстры, колонны), потом пошли в думский зал заседаний, не торопясь разглагольствовали там (я пришёл-то знаючи, кто из депутатов где сидел), взошёл я на родзянковский помост, оттуда оглядывал, — вдруг прибежал военный охранник: «Давид Петрович, эта часть дворца сейчас закрывается, надо прекратить!» Не дошли до Полуциркульного зала, ах жалость! Очень удивился Прицкер, но подчинился. Попросил я: нельзя ли теперь пойти в крыло, где был Совет Рабочих Депутатов. Только мы туда сунулись — прибежал другой охранник, отозвал Прицкера, — и смущенный мой лектор объявил мне, что надо вообще уйти. Горим! Уношу ноги! Главное, чтобы караул на выходе не спросил моих документов, а вослед они ничего не докажут. У самого контроля — не тороплюсь, низко кланяюсь лектору, глубоко благодарю, медленно ухожу. Не окликнули. И во дворе не догнали. И до угла не последили за мной, не пошли. Угадали, не угадали? Тогда отчего такая сумятица в запрете? (Через день Прицкер встретился с Эткиндою единственный раз, тайно, в саду Лавры и предупредил: «Считаем: я — не знал, кого водил. Ты мне сказал — доцент из Сибири»\*\*.)

Сам **Ефим Григорьевич Эткинд** был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет. (Директор института **Боборькин** перед исключением Эткинда предупредил его в закрытом кабинете: «Обвинение против вас — дружба с Солженицыным. Откровенно скажу: я вам завидую».) Всё началось с письма ко мне его милейшей жены, **Екатерины Фёдоровны Зворыкиной**, — в письмах её всегда было много юмора, весело читать. В Ленинграде познакомились. Е. Г. — многознающий, острый. То — вместе в театр, то — к ним на дачу, то — в автомобильное путешествие вместе (**Кёнигсберг**, **Прибалтика**), то — находит новых и новых людей в Ленинграде, кто может мне помочь справкой, советом, делом. Всегда приятно было к ним прийти, собирали и компанию интересную. Не было никакой необходимости и плана привлекать его к конспирации, это знакомство, эта линия отлично шла и *просто так*. Но такова была захватывающая сила вихря вокруг нашей борьбы, что никто вблизи не мог сохраниться просто так. Естественно: прочесть «новенькое», а для того надо — взять и держать его, а там — и передержать и перепрятать. Весь открытый уклад жизни Эткиндов, долгий благополучный быт в интеллигентской научной и литературной среде — совсем не располагал их к риску, к конспирации. Но — и вся эпоха толкала туда, и то, что в иной обстановке затягивалось бы забытьём,

\* Такой хрупкий, трепетал перед арестом — а справился со следствием хорошо: от каких-то несчастных вначале показаний он потом нацело отказался, как приобрёл второе дыхание, твёрдо прошёл суд, со всей своей хрупкостью твёрдо вынес и тюрьмы, и карцеры, и лагеря — в 1978 сослан в Северный Казахстан. (Примеч. 1978)

\*\* У Прицкера были потом большие неприятности: ему угрожали увольнением. Он возразил: «Но Таврический дворец — не атомная подводная лодка?» Ему начальство: «Таврический дворец — учрежденье режимное!» Потребовали письменного объяснения. Д.П. написал, что не знает фамилии человека, которого водил по дворцу. Начальство не имело доказательств, и это уберегло его.

А я-то теперь, уже кончив «Март», не благодарюсь: что б я делал, не повидав Таврического своими глазами изнутри? (Примеч. 1990)

в эти годы проступало напоминая: и его отец, и её отец — погибли в заключении. И вот на каком-то году знакомства получили они от меня на чтение «Архипелага». Сперва — очень перепугались, это уж казалось — черезкрайне, разрушалась всякая обыденная нормальная жизнь. Взволнованные, они оба приезжали в Москву отговаривать меня давать этой книге какой-нибудь ход. Эткинды были естественны в том, что — не прятали боязни, но перебарывали и перешагивали эту боязнь. Так, отправляясь за границу в начале 1967, Е.Г. решил взять от меня уже готовое письмо писательскому съезду (за 2 месяца до самого съезда) и с большими предосторожностями — передал (этот экземпляр достиг потом Би-Би-Си, с него и читали, громыхали). Познакомил я их с Люшей — установилась между ними оказийно-курьерская связь, и потекли, потекли из Москвы в Ленинград то новинки самиздата, а то и секретные разные бумаги. Даже, одно время, один экземпляр «Архипелага» был у Эткиндов близ дачи зарыт. И так помалу, помалу докатилось — что Эткинд оказался близ самого пламени и мирового взрыва «Архипелага», на самом краю воронки, искал внешнего равновесия, и не удержался. И изо всех действующих лиц этой книги только он ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание — и вытолкнут за границу\*

А со Львом Копелевым развитие было такое: из нашей эческой компании он раньше и ближе всего стал к столичным литературным кругам, к иностранцам. С Н. И. Зубовым (который тоже знал Льва, по лагерю) мы в ссылке обсуждали: вот эту нашу книгу с фотоплёнками легче всего может отправить Лев. Приехавший в Москву в 1956, я в туристах иностранных и в возможности прорваться к посольству разуверился быстро. Но на Льва была надежда огромная, я ему читал, читал написанное в лагерях, в ссылке, и с надеждой смотрел: что согласится отправить? Но — не хвалил он моих вещей. А особенно в том 1956 году — ведь начиналось «выздоровление» коммунистической системы! — никак не хотел он поверить ей, дав оружие «мировой реакции».

Обещал: разве вот полякам дать мою «Республику труда» — у них в те месяцы как будто бурно развивалась свобода, а главное, что — социалистическая. Но — и полякам не передал, так мои вещи и замерли. Да не придавал он и значения моим провинциальным опусам, ведь он встречался с передовыми советскими и передовыми западными писателями. С тех пор махнул и я на эту затею. Но после того как осенью 1960 я приобик к первому кругу читателей — не эсков (Теуши, Каменноостские), я в мае 1961 привёз облегчённый «Щ-854» и Копелевым в Москву. Хотя Лев счёл это «производственной повестью», но всё же тут новинка-перчинка явно чувствовалась, и они с Раей Орловой стали уговаривать меня разрешить им понемногу «давать читать», это было в их амплуа. Я сперва твёрдо отказывался, но потом поддался, они выдавили из меня некий дозволенный список читателей: Рожанские, Осповаты, Кома Иванов. И тем же летом и осенью стали давать, и списка не соблюдая. А в ноябре 1961, после XXII съезда, сговорились мы, что Копелевы передадут рассказ в «Новый мир»: Отнесла Рая Орлова. (По её версии — прямо и со значением передала А. Берзер, а по версии А. Берзер: ничего не объяснила существенного, положила на стол как некую незначущую текучку, — стыдись?) Но уж раз отдали в «Новый мир», то теперь идея Копелевых была: «под это» можно широко распространять (то есть, валя вину за распространение на журнал), а в публикацию они вовсе не верили. Я всё же немного надеялся. Но совершилось удачно печатание — я опять приступил ко Льву: *не отправим ли (кое-что другое)?* Иностранцев мелькало в их квартире много, но — нет, не взялся. Уже всякую надежду я потерял — вдруг в 1964 велел Лев готовиться передать Рожанскому. Рожанский не обманул, взял, — так тут допнула его поездка. А уж я — с Евой познакомился, и дальше обходился без

\* Дружба наша сперва продолжалась и за границей. Е.Г. побывал у нас в Цюрихе, встречались мы несколько раз в Париже (делился я с ним моим проектом создать Русский университет за границей, спрашивал мнения). Но потом — переменялось. Спустя два-три года Эткинд выступил против меня публично: заявил, будто я хочу для России нового византизма, и в самый разгар казней в Иране, вызывавших содрогание во всём мире, — что я хочу для России нового аятоллы, а русские аятоллы будут ещё хуже иранских! Это — необъяснимо было для меня. Мне пришлось ответить ему тоже публично — «Персидский трюк», осень 1979. А дальше — Эткинд стал одним из повсеместных нашётывателей о моих никогда не бывших теократизме и антисемитизме. (Примеч. 1986)

Копелевых. Только в момент провала архива, осенью 1965, остро меня засосало: отправить на Запад «Танки» и «Прусские ночи», спасти. А Ева в этот момент — во Франции была. Я — опять ко Льву. Он — взялся, и на этот раз действительно отправил — с Бёллем. Уж как я радовался, как благодарен был! Одного не знал: за пару недель передержки у него Лев дал читать «Прусские ночи» свояченице Люсе, та — подруге, там — перепечатали, и эта утечка через несколько лет смертельно мне угрожит: дойдёт до ГБ и будет использовано ими против меня через «Штерн». Не собрался я тогда с духом упрекнуть Льва серьёзно, да не сформировалось в нём сознание никакой вины. Такой у него характер: для долгого серьёзного боя у него стянутости нет. Комично, но ничто моё с ним не прошло без провала. Уж пустяковину, письмо в «Унита», взялся передать с Витторио Страда — и та на таможне завалилась. И когда после моей высылки Аля осталась на взрывном архиве, в заботе, как отправлять на Запад, — обращалась и ко Льву, он не помог. (Да и слава Богу, опять бы что не то.)

В августе 1973, когда «диссидентство» стало раскалываться на направления, качнулся Лев к своим прежним марксистским симпатиям («в которой посудине дёготь бывал — ту огнём не выжжешь»), к поддержке Роя Медведева. А у нас с ним произошёл полу-разрыв, после моей статьи «Мир и насилие», когда он обвинил меня в «москвоцентризме» (вижу угнетение в СССР, не вижу в Чили и т. д.). Последняя встреча наша была: в декабре 1973 в Переделкине на даче Чуковских, где я сидел загнанный, замученный, а он привёз знакомиться, не спрося меня, не предупредив, — американского издателя Проффера с женой. Я гулял в глубине лесного участка, возмущился: зачем мне эти американцы, не хочу никого видеть. Оба тёмные и молчаливые, на том мы со Львом и расстались. После же моей высылки узнал он «Письмо вождям», затем «Из-под глыб», — и стал яростным вечным врагом этой программы, да и меня. Написал он клоко-чущий ответ на «Письмо», почти длинней самого «Письма» (дурной знак для критики), у него всегда так многословно, — я уж и дочитать не мог, да не предполагал там ценных мыслей. Потом писали мне из Москвы, что он всюду резко меня «поносит», не может остановиться, даже и при Люше и Л.К. Чуковских, моих друзьях, — а что же с чужими?

И всё же я продолжал любить Льва, не забывая его большую лохматую фигуру, и прямодушные движения его сердца: он был ко всем щедр и, когда не во гневе, добр\*.

А ещё была немалая помощь от Володи Гершуни, зэка с юности, моего знакомого по Экибастузу. С большим энтузиазмом таскал он мне редкие старые книги для «Архипелага», и по истории революции. Это он и принёс мне «Беломорско-Балтийский канал», единственную советскую книгу с фотографиями чекистов. Он же свёл меня с М. П. Якубовичем. Гершуни же принадлежат и два термина, употреблённых мной в «Архипелаге»: «истребительно-трудовые лагеря», и «комически погибшие» — о коммунистических ортодоксах.

А каждое знакомство тянет новое, круги расширяются. Гершуни же познакомили меня с другим благожелательным кружком, подобно кружку молодёжи вокруг А. И. Яковлевой, подписывавшей коллективные письма мне, — вокруг Елены Всеволодовны Вертоградской. Все они работали в каком-то библиотечном партийном фонде, да где? на площади Дзержинского, прямо против Большой Лубянки! И что за фонд! из каких-то полузапретных, но всё ещё не уничтоженных книг, так что была у них возможность *списывать* якобы уничтоженные, а на самом деле не уничтожать, — мне, например, давать. По заглоту времени, по переизбытку дел неразумно мало я этим воспользовался (накоплять ли книги впрок, когда вот — петля на шее и не знаешь, одну прочтёшь ли?), но всё же брал кое-что. И один раз настояли они — посетить их прямо там, в фонде, походить вдоль полок. Как следует не познакомились, не разгляделись, а — друзья. Сняли все, а — неосторожность? Не знаю, как им обошлось, стукач присутствовал — и неприятность им была. Потом — замирала наша с ними связь. Не думал, что этот кружок мне ещё пригодится. А за 10 дней до высылки, именно по сторонности этой группы, предложил я им устроить отдельное хранение крюковского архива. Приняли!

\* После его выезда на Запад и взаимно примирительных писем он, однако, легко влился в ту клеветническую накипь, которую вздували вокруг меня иные третьи-эмигранты. В 1985 наши отношения в последнем обмене писем оборвались. (Примеч. 1986)



А Неонила Георгиевна Снесарёва — несчастная одинокая полуслепая и нищая женщина, неудачливая переводчица с английского, оттеснённая бойкими «трестами» их (то есть замкнутыми коллективами переводчиков), — много лет порывалась помогать мне, в чём могла, счастье видела в том, чтобы скучный досуг обратить на помощь мне. (Она родом была из Воронежа, дочь священника, расстрелянного ЧК в сентябре 1919, при подходе белых, потом всю жизнь должна была скрывать это — и так смогла окончить переводческое отделение Литературного института; мать её отбыла 5 лет на Соловках в начале 30-х годов, а после войны снова в лагере, обе бездомны и разорены всю жизнь.) Снесарёва делала для меня сравнительный анализ двух английских переводов «Круга» (и достаточно набрала материала доказать их непригодность). Переводила книгу Георгия Каткова о Февральской революции. Звалась она среди нас «Одуванчик». Благодаря своим телефонным промахам (обладала опасным свойством некстати и неумело говорить лишнее по телефону и под потолками), она была на пристрастие у ГБ и, наверно, большую добычу думали там взять: уже после моей высылки сделали обыск-налет на её квартиру, в её отсутствие, но кроме моих фотографий ничего не нашли и оставили глумливую записку. (Настолько уже не считали её за человека, что даже не скрывались, что они — из ГБ.) А после нашего отъезда Алик Гинзбург сумел привлечь Н. Г. к Русскому Общественному Фонду, распределить помощь ээкам и для связи. Она самоотверженно и бесстрашно работала, он хвалил её в письмах к нам в Швейцарию.

И ещё были люди — слишком далеко живущие, чтобы на помощь их призвать, чтобы найти доброе применение их силам. Такова была в Ленинграде «Натаня» (Наталья Алексеевна Кручинина, врач), — не было бы задачи, какой она не приняла бы (но лишь немного поработала с ней в деле с крюковским архивом и «Тихим Доном»).

И так же застряла в далёком Ростове-на-Дону, покорёжившем и мою всю юность, моя соученица по университету, старше меня, Маргарита Николаевна Шеффер. Я приехал туда году в 1963 — и она, с лицом своим суровым, тёмным, как сеченым из камня и угля, сказала страстно: «Саня! Дай мне любую работу — для революции! Я задыхаюсь в этом болоте!» Я мог только ответить: «Переезжай в Москву. Здесь — ты ничему помогать не сможешь». Несколькими годами позже всё ж начала она мне печатать на дурной машинке, с отвратительной копиркой и сперва со многими ошибками. Перепечатала она «Круг», а затем и — полный «Архипелаг», и никуда эти перепечатки негодились, втуне лежали, недавно сожжены. (А работа-то — делалась, а голова — клалась...) Только пережили мы на этом ещё одну авантюру — годовую задержку комплекта у случайных людей в Ростове, в сарае, — как не пропало? как не открылось? Новые тревоги, новые поездки... В 1970 Рите удалось наконец переехать под Москву, тут она *закоротилась* на Люшу, на «НН»-ов (и — рабочая связь, и из чёрного одиночества есть к кому приехать душу отвести). Тоже с оплошностями, но втянулась и Рита в стиль потаённости. И сегодня — она единственная доверенная машинистка сборника «Из-под глыб», вытянула его для всесоюзного самиздата и мировой известности.

И вот насчитали мы только в этом очерке — близ сорока человек. И по всем предыдущим очеркам наберётся, ещё и с не названными, до сорока, да впереди ещё больше пятнадцати, да иностранцев двадцать, так это уже больше ста! — и всё ж это Невидимки!

И — чего б ты добился без них?

Живёшь — забываешь им счёт, сейчас удивляешься перечню.

А ещё ведь был и следующий ряд, ещё большая череда — кто протягивал честные руки помощи, не раз показывал решимость и риск, — да уж нам не нужно было, не помещалось.

Или кто принёс одноразово помощь — из неизвестности и оставшись неизвестным. Например, те двое парней в радиокomiteе на Новокузнецкой — с отчаянной смелостью из портфеля гебиста, вышедшего из комнаты, вынули и переписали оперативную инструкцию по слежке, которую я затем мог процитировать в интервью (Дополнение Третье).

Или вот: Игорь Хохлушкин. Сперва он (научный работник, физик) боролся в Новосибирске, ещё оттуда голос подавал, потом его выжили благополучные учёные-образованцы. Как-то сумел «зацепиться» за Москву, но уже без настоящей работы, сперва переплётчиком, потом столяром, зато мог разрешить себе быть вольномыслящим. Но даже и этот источник заработка обратил в обществен-

ную пользу: многое самиздатское переплетал бесплатно. А когда пришёл в Советский Союз «Архипелаг», — но слишком мало и только для столиц, — Александр Гиизбург, легендарный руководитель нашего Фонда, кажется, абсолютно невмещаемого в советские условия, вёл не только никогда не бывалую помощь семьям заключённых и самим заключённым, — он между делом придумал наладить печатанье «Архипелага» в Грузии, нелегально ксерокопировать там с ИМКИ. И возвращалось в Москву в листах, а дальше Хохлушкин в своей столярной мастерской в музее наладил резать и переплетать, вполне как книжечки, — невероятное издание, смертельно опасное для своих издателей. (Их продукция кроме бледности печати отличалась ценой: заграничные издания по 300 рублей книжка, а наши — по 20, себестоимость.)

Чувство было необычайное: здесь, за границей, получить от Евы *такую* книгу из России! Пишет Игорь: «С радостью посылаю Вам в подарок здешнее издание Книги. (Тираж — 1500, первый завод — 200 экз.) Верю, что Бог не попустит пресечь это дело. Издание — не только и не столько для московских снобов, а для провинции. Охвачены города: Якутск, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск, Саратов, Краснодар, Тверь и более мелкие...»

Так — кладут головы русские мальчики, чтобы шагал «Архипелаг» в недра России. Нельзя представить их всех без слёз...

А не к Невидимкам ли причесть и тех не прозвучавших и не сломленных героев, кто, будучи знаком со мною в прошлом, устоял через всё давление и не подал на меня клеветы? Отец Виктор Шиповальников отказался выступить против меня в «Журнале Московской Патриархии», как от него требовали; — и за то попал в гонения, и вся семья его, — а не дрогнул!\*

## 11

## НОВАЯ СЕТЬ

Летом 1968 настаивала Ева: «Вы тратите силы, где могли бы не тратить. У вас не хватает молодых энергичных помощников. Давайте я вас познакомлю?» Я согласился. Ева назначила прямо на квартиру к Светловым, на Васильевской улице. А я даже из Рождества, поблизости, никогда не ездил в Москву только из-за одного дела, всегда нагораживал их вплотную. Так и тут, пригласил к тому же вечеру, когда уговорились встретиться-знакомиться с Сахаровым, для чего назначили мне квартиру академика Файнберга на Зоологической, в том же районе, удобно совпало. (В тот год Сахарова ещё сохраняли засекреченным. Чтоб наша встреча с ним осталась неизвестной, уговорились, что я приду на квартиру раньше него, — за ним могли официально следовать наблюдающие, — а уйду позже.) За два часа до встречи с Сахаровым я приехал знакомиться с Наташей Светловой.

Это было через неделю после оккупации Чехословакии и через три дня после демонстрации семерых на Красной площади. У себя в Рождестве я слышал всё по радио, но живых подробностей московской демонстрации не знал. И теперь молодая собранная женщина с темнокрылым надвигом волос над ореховыми глазами, крайне естественная в одежде и в манере держаться, рассказывала мне, как демонстрация прошла и даже как готовилась. Откуда же знала она? Оказалось: тесна с ними, с Движением, и двое участников — её друзья. (Так только малого не хватило — ей тоже пойти на ту площадь в тот день? Того малого, узналось потом: к тому ли она росла? В иные миги жизни посылаются нам перекрестки, и между решеньями почти просвета нет. Вот уже сегодня подходило ей решение иное.)

\* А когда чекистский агент Ржезач шнырял за клеветою против меня по-свидетелям моей жизни — то как объяснить, что большинство не добыто им, не упомянуто, не привлечено в его грязную книгу? Не тем ли, что они отклонили, устояли? Он не мог не добиваться показаний от Лидии Ежерец, моей школьной соученицы. От друзей студенческого времени — Эмиля Мазина и Михаила Шленёва. От фронтовых моих командиров генерал-майора Травкина, подполковника Пшеченко, майора Папшкіна, и более всего — от фронтового моего приятеля и соратника Виктора Васильевича Овсянникова — именно и особенно потому, что ныне он — подполковник Госбезопасности. А вот же — ничего подходящего никто из них не показал, не выступил под прожекторы лжи, — и значит, кем же остался? Невидимкой. (Примеч. 1978)

Её общественная горячность очень понравилась мне, характер это был мой. Так надо её к работе! В этот ли раз или в следующий я и предложил ей для начала: печатать мой «Круг»-96. Наташа взялась охотно. (Хотя — кончала математическую аспирантуру, вела практикум со студентами, времени льготного было у неё — два вечерних часа, когда шестилетний сын уже спать ляжет. Но напечатала за четыре месяца, да без единой опечатки и с большим вкусом внешнего расположения, за чем мы и не следили никогда.) Ещё в следующий раз задавала мне по готовому уже тексту такие придирчиво-точные вопросы, каких я сам себе не поставил. И по подробностям партийной истории поправила меня, где я не ожидал от неё знаний, тоже мне это очень подходило в цвет. Оказалось: ещё старшеклассницей она сама для себя пытливо раскапывала реальную историю большевицкой партии. (Это было поколение, сотрясённое ниспровержением Сталина в свой как раз последний школьный год. А один дед Наташи, Фердинанд Светлов, был даже — видный большевицкий публицист, после его ареста в 1937 осталась коммунистическая библиотека, запретные протоколы съездов и всякая коммунистическая труха, однако разительно противоречащая «Краткому курсу». Отсюда-то и пошли её раскопки. Резкая переполосовка поколений была знаменательным признаком и ходом русской истории в 50-х годах.)

А — если хранение? Да, конечно, берётся устроить.

Сказать «деловая» — мало: в работе была у неё мужская готовность, точность, лаконичность. В воображении действий, тактики — стремительность, как я называл — электроническая, она по темпу сразу разделила моё тогда стремительное же поведение. Но и в понятиях, как они проступали первые, — такая близость к моим, как я только мечтал и не встретил друга-мужчину. А ещё открывалась в ней душевная природённость к русским корням, русской сути, и незаурядная любовная внимательность к русскому языку. И такая бьющая жизненность, — потянуло меня видеть её часто.

Была она залита и наполнена русской поэзией, множество стихов наизусть, и сама же «издавала»: печатала, переплетала, всё ещё запрещённых. Но больше того: у неё оказалась тонкая способность к редакторству, к художественной отделке, это я постепенно радостно открывал. И встречу на четвёртую-пятую я, в благодарности и доверии, положил ей руку на плечи, обе на оба, как другу кладут. И вдруг от этого движения перекружила вся наша жизнь, стала она Алей, моей второй женой, через два года был у нас первый сын.

Эта близость досконального понимания — по лицам, событиям и предметам нашей истории, ещё в 1968 не так проникающе соединяла нас, и без того уже прочно соединённых, как позже, когда в советском обществе начался всеобщий раскол и разночувствие — а мы с ней удивительно вместе, и чем дальше — то ещё вместей.

А соработа продолжалась своим чередом и тоже всё лучше и глубже. Аля настояла сделать и успела провести в уже оконченном «Архипелаге» большую работу по проверке и правке цитат, особенно ленинских, которые я впопыхах работы брал из разных изданий, а верней — вторично перехватывал из коммунистических книг, сам не имея времени на библиотечную проверку, получался ералаш. (Подпольный писатель, считал я себя несколько свободным от обычных библиотечных требований, — зря и ошибочно.) Потом составила каркасы событий в моих Межузельях (я не занимался ими, потому что они не охватывались Узлами, а знать-то, видеть их косым зрением надо). Обращивала воспоминания Шляпникова, затем делала мне выписки по Ленину: то из отдельных произведений, то — собирала и классифицировала: черты его наружности, речи, манеру держаться.

Она влилась и помогала мне сразу на нескольких уровнях, в советах, обдуманных шагов, через три года уже и во внутреннем вынашивании «Октября». Прежде — во всех определяющих, стратегических решениях я был одинок, теперь я приобрёл ещё один проверяющий взгляд, оспорщику — но и постоянную советчицу, в моём же негнущемся духе и тоне. Очень это было радостно и дружно. Моей работе и моей борьбе Аля быстро отдалась — вся.

А сколько лет я изнывал утомлённым мозгом от этих вечных добавочных соображений: у кого какую рукопись взять, кому отвозить на сбереженье; в каком порядке перемещаться, чтобы меньше угрозы; откуда звонить, чтоб не открыть связи; какие хранения ликвидировать из-за опасности, какие новые открывать. На эту умственную перегрузку уходили уже прямые силы, нужные для писания,

и одна такая дённая забота пригнетала, как действительная физическая ноша, давила настроение: доколе же мне это всё (и всё тяжче) волочить?..

Тут как раз вскоре отказало кобозевское хранение (сестра его невестки, у которой всё это хранилось годами, должна была квартиру менять, старый дом разбивали), — и вот надо было всё дочиста забирать. А хранение это было *главное*: и самое давнее (уже лет восемь), и потому самое представительное, полное, экземплярные первые главные; и самое доверенное. И по всем пунктам именно Але и подходило это хранение. По всем пунктам, ибо я уже понял, что именно её хочу сделать своей литературной наследницей. Наконец с освобождённой душой я мог передать всё Але. Поручкой было и глубинное неразличие убеждений и двадцатилетнее различие возрастов.

Аля бесколебно взялась устроить мне подручное хранение всех вещей — на своё полное знание, то есть голову мне совсем освободив; у кого лежит, как взять, как снова положить, моё дело оставалось — только приносить к ней избыточное, только заказывать ей нужное. Устроил я встречу её с сыном Кобозева студентом Алёшей, съездили они с пустыми рюкзаками в то хранение, какого на месте я никогда не видел, — и перевезли. Аля прежде всего прочла и вникла во всё, что у меня было написано, до каждой бумажки, и всё это теперь держала в памяти и в подробном знании. Затем — всё это классифицировала, систематизировала (одновременно прося, уже и на случай внезапной смерти моей, если руки больше не дойдут, — собственноручных моих надписей и разъяснений на первых листах). Так сошлись там: окончательные рукописи, и текущие, и над какими работа оборвалась.

Однако взятое хранение не могло долго задерживаться у неё на квартире: именно потому, что я, уже по сердечному тяготению, часто к ней приезжал, должен был эту свободу иметь, — потому-то храниться должно было ещё у кого-то дальше, где я никогда не бывал и чьих имён нарочно знать не хотел, не спрашивал у неё. (Каждому лучше знать лишь только необходимое, чтобы ни в бреду, ни под гипнозом, ни оравленный, ни в минуту упадка не мог бы ничего лишнего сказать.)

Аля быстро взялась — а ещё ведь не знала, у кого будет хранить. Ещё надо было самой смекнуть — и спросить согласия тех людей. Сообразила Аля верно: система хранения должна так вписаться в жизнь, чтобы почти не изменить ни знакомств, ни встреч, ни передвижений. Значит: брать у неё должны были люди, которые и прежде к ней ходили, и впредь будут ходить, и естественно объяснить их приходы. Такой человек был наглядный, ближний — её бывший муж, отец мальчика, давно оставшегося с матерью и навещаемого отцом. (Так и позже эпизодами возникало у неё: то одну зиму перехранить экземпляр «Архипелага» у своей родственницы Леоноры Островской, — она художница была, и «по-домашнему» приготовила эскиз обложки к «Августу», с чем и вышел он потом в Париже. Другой раз в тяжёлые дни в осаде придумала отсылать из дома опасные листки со старушкой Надеждой Васильевной Бухариной, которая часто забегала помочь, посидеть с детьми, и всегда с какой-нибудь хозяйственной сумкой.)

И Андрей Николаевич Тюрин, в то время ещё моложе тридцати (уже доктор физико-математических наук, талантливый, успешливый математик), без колебания же согласился. Он убеждённо шёл к духовному и религиозному освобождению (через души перестраивает Бог наши несчастливые и безрассудные общества); и личная мужественная прямота; и, счастливым образом, никогда не испорченные, и даже высоко сохранённые, личные отношения с Алей. Согласился — и потом 5—6 лет «заведовал» хранением, — всегда отзвонно, без ропота, быстро и с чёткостью, свойственной математикам. Его хранение было и самым крупным среди всех моих остальных, и единственным, бесперебойно действующим (другие хранения были почти замершие, принимали и отдавали с раскачкой, с запретными перерывами).

Но и Андрей, раз он часто приходил к Але, не должен был хранить у себя, а — где-то ещё дальше. (Если число прямых касаний —  $n$ , то число вторичных, непрямых —  $n^2$ , и их никогда не обшарить.) И Андрей тоже нашёл самое простое решение — хранить у своей родной сестры Галины Тюриной. Яркий алгебраист была и сестра, кандидат наук, преподавала в Университете. Она совсем была далека от бунтарских кругов и интересов, увлекалась математикой, байдарочными походами и горными лыжами. И — прямодушна, сдержанна и надёжна, как и брат. И она — тоже согласилась! знак времени! (Вероятно, прямого подполья, революционного, — не приняла бы. Но таким особым клином заклинился я в

советское общество, что помогать мне держаться казалось — тогда! — задачей всех образованных. Шалопутный Хрущёв никогда и до смерти не понял, что он вклинил, — досталось выкорчёвывать наследникам его.) Стала всё держать где-то на антресолях, где байдарка и горные лыжи. Вся система, уже без единой прямой встречи Али и Гали, действовала гладко благодаря особому методу (чтоб избежать нечёткого названия и вызова пакетов): покупался парный набор самых разнообразных пёстрых марок, на каждый пакет хранения клеилась одна из них, а другая такая же хранилась у Али как бы в филателистическом альбоме, при каждом кармашке — номер, а где-то отдельно — зашифрованный перечень рукописей. По моему заказу рукописи — Аля устанавливала марку, давала её Андрею, он предъявлял её Гале, та легко, безошибочно доставала нужный конверт. Столь наглядная система была вполне безопасна и вполне надёжна. Взамен взятого пакета тоже оставалась марка — свидетельством, что он взят. Эта же система удобна, если надо какую-то бумажку доложить в какой-то пакет: в сопровождении к бумажке посылалась марка. За 3 — 5 дней от моего заказа вся система срабатывала — и доставалось любое.

В ноябре 1969, когда меня в Рязани исключили из союза писателей и я, обождённый, помчался звонить в Москву — первый номер я набрал алин, да её не оказалось дома. (В последний раз она платила дань своему юному обычаю, полетела с друзьями на Кавказ, покататься на лыжах.) И через несколько дней, приехав из Рязани уже навсегда, я сразу же из «Нового мира» пошёл к ней, хотя и вёл за собою трёх *топтунюв*. Она уже вернулась. «Читала?» (то есть в газете, про моё исключение). — «Читала». — «И что по-твоему?» — проверял я себя и её. «Надо вдарить!» — не сомневалась она. «А вот!» — достал я уже готовый свой ответ.

Порывы к бою у нас всегда сходились.

Но хотя ясно видели мы с 8-го этажа, что топтуны стоят у дома (в этот момент забегала и Ева, подтвердила), — я почему-то не взял с собою в Жуковку, а оставил у Али привезенные мною ленинские главы разных Узлов — в расчёте, что это дальше нормально переправится на хранение. А через день утром ко мне в Жуковку приехал дюжин двоюродный брат с просьбой от Люши абсолютно срочно приехать. Что ещё могло случиться? Укололо меня: провал! после моего ухода пришли к Але с обыском! Да как же мог я опять, так неосмотрительно, сам всё провалить?.. Криминальнее ленинских глав, да ещё XIV Узла, уже советского времени, глава с Держинским, — вряд что могло и быть, только «Архипелаг». Молодой человек не был посвящён ни во что, но я спросил его всё же по дороге: «А что случилось, не знаете?» «Точно не знаю, но — большое несчастье», — ответил он. Так!!! Не было сомнений! Я корчился и сжигался в его автомобиле, пока он тянулся узким Рублёвским шоссе, двигался в отвратительной многорядной тесноте Минского, — как я не схёгся совсем? За полчаса повторились со мною уплотнённо все муки 1965 года, провала архива, уничтожающие муки от своих ошибок, разбивающих всю позицию.

А оказалось: какая-то статья в «Литгазете», на которую по мнению Люши и новомирского круга надо немедленно отвечать... Мелочь какая!

Но всю силу мозгающего удара я испытал. напоминательно вновь. И: какое же благодеяние, когда всё заляжет глубоко, далеко, надёжно!

Однако и полного года не полежаю всё так, как было устроено, — Галя Тюрина в июле 1970 повела по Северу на байдарках компанию приятелей и, проводя в одиночку лодку через порог, утонула, — самая умелая, самая ловкая из них, — а беспомощная городская компания, не отыскав её труп, вернулась в Москву. Ей было 32 года — и смерть сотрясла близких, муж полупомешался на время, Андрей полетел на поиски тела; Аля, прикованная к месту беременностью, сутками созванивала по Москве поисковую экспедицию и оборудование её, — благородные помощники находились. (А на месте гибели, при равнодушном отказе всех властей, Андрей нашёл тело, ниже по реке, с помощью лётчика, нарушившего служебный запрет. Привезли и похоронили в Москве.) Аля созванивала экспедицию, а сверх боли и жалости пронизывал страх, что дома у покойницы родные откроют, о чём никто из них не знал, и Андрея не было — послать спастись хранение. По незнанию, неподготовленности, по убитости несчастьем — всё может случиться. И Дима Борисов с другом повезли жену Андрея Соню Тюрину вытаскивать из дома погибшей рюкзаки с рукописями (27 килограммов) так, чтоб ничего не поняла череда сочувствующих посетителей дома. (Муж покойной узнал, что что-то хранилось, и удручился, что жена жила с какой-то тайной от него.)

И некоторые недели эти рюкзаки лежали у Андрея. И во всём этом общем горе надо было думать: куда ж их дальше?

Круг близких показывал сам. Круг близких был — круг математиков: вместе они ходили в альпийские походы (и обмораживались, и пальцы на ногах теряли вместе), вместе гуляли воскресеньями по Подмосквовью, продувая свежестью перенапряжённые математикой головы, обсуждая вне микрофонов социальные вопросы. (Аля, когда-то из этой же компании, давно уже с ними не ходила, отяжелев моими задачами, а Андрей на таких прогулках дожигал для неё всякие сбросы и отходы тайных перепечаток: невозможность сжигать бумагу в городской квартире — одно из опасных затруднений современной конспирации.) Теперь брался быть хранителем Сергей Петрович Дёмушкин — столь-столь осмотрительный, несмотря на свои 35 лет; поставил условием: даже самых близких и лучших не посвящать и не вмешивать.

Нового хранителя за его осторожность и глубокую скрытность мы с Алей между собою звали «Барсуком». Сергей Петрович тоже был математик, из Стекловского института. Он был очень серьёзный, спокойный, сдержанный человек, — тихий, и с тихим голосом, а убеждениями — твёрдыми. Родился Дёмушкин в деревне, всех образований достиг своими личными усилиями. Он жил не выдаваясь, не заметно, но был из первых в Москве, кто тихо, бесшумно стал жертвовать средства на помощь энкам и их семьям — и уже никогда не прекращал. В зрелые годы вдруг стал играть на рояле. После болезни похрамывал, но всё равно ходил с друзьями в горы и на лыжах. В его хранении тоже был переполох: он держал не у себя, а у брата, без ведома его жены, — вдруг брат стал с женою жить плохо — и решил С. П. из предосторожности всё унести. Куда? Нашёл ещё новое хранение (не знаю его и теперь) — и там дохранил до моей высылки, а потом поставил часть за часть — всё на вывоз. (Позже его изгнали из института, но — не за меня.)

Андрей же Тюрин слишком не скрывал свои политические антипатии, а тут ещё такая явная близость к нашей семье. После моей высылки он не только, пользуясь правами родства, ежедневно приходил охранять квартиру, чтобы не врывались бесчинно, но и, в самые опасные недели острой слежки, носил тайные материалы в больших объёмах, да ещё стеснённый строгим расписанием: именно в дни, когда ждали к Але иностранные корреспонденты, которые *возьмут дальше*, — чтобы на нашей квартире тоже не залёживалось\*.

И ещё следующий год они досылали на Запад, исправляли недоделанное, недозвзтое. И жгли остатки.

Теперь, когда я это пишу, летом 1975, хранение их — исчерпалось благополучно.

И ещё от одной обязанности освободила меня Аля — от фотографирования моих готовых текстов, чтобы перевести их в плёнки для отправки за границу. Много лет это ремесло несравненно выручало меня, делало мою конспиративность совершенно самообеспеченной — но, впрочем, и тогда объём работы уже тяготил меня, отнимал слишком много времени — и я передавал навыки своей первой жене (и, надо сказать, весь «Архипелаг» в 1968 она сняла отлично). А теперь объёмы всё увеличивались, главное же: весной 1971 мы решили всё заново от начала до конца переснять и отправить в Цюрих моему адвокату, чтобы всё написанное и главные архивы иметь в сосредоточенном виде и собственном распоряжении — комплект «Сейф». (Пришлось дублировать и «Архипелаг»: первый отправленный стал нам недоступен, мы не могли использовать его для европейских переводов.) Это была огромная работа.

И Аля предложила, что её сделает их общий друг Валерий, физик из МГУ.

Валерия Николаевича Курдюмова я уже видел раз в компании с Андреем — и был поражён непроходящей тонкой меланхоличностью его взгляда, губ и

\* Потом ему отомщали ежегодными переаттестациями: вне всяких законов и порядков, при блестящем докторстве, его мурьжили и мыкали по кабинетам и научным советам, не утверждая профессором, и всё вели «социально-политические» допросы. Пугали и мать его, А. Я. Захарову, вызывали её в КГБ и как бы дружески (она многие годы работала радионинженером в системе их): «Надо спасать Андрея, ходит на Козицкий».

А. в.главном. — обошлось, Божьим покровом. (Примеч. 1978)

шемящим пессимизмом предожданий. Он был недалеко за тридцать, а сокрушён и печалец печалью всеведающей безвыходной старости.

Его отец был эком на Беломоре, потом на Москва-Волжском канале. Родители ничего не скрывали от детей, Валерик, ровесник пресловутого 1937-го, вырос всепонимающим и безнадежным скептиком. Он был хороший радиомастер, даже во времена сильного глушения достаточно слушал западное радио, следил за политикой в полноте и разветвлениях, суждения его были зрелы, точны. Он был уверен, что *наши* никогда ни в чём не смягутся, не уступят, не переменятся (прогноз весьма трезвый) — и в конце концов проглотят лопухий Запад (прогноз — лишь немного меньшей вероятности). Хуже того: считал Валерий, что и всякое шевеление, внутреннее или внешнее, не то что там борьба, против коммунизма — совершенно безнадежно. Так и всю мою борьбу он оценивал как явление уникальное, чудо, но которое ничего не сдвинет, а самого меня если не посадят, то убьют; и даже печатание моих книг на Западе он считал — только приближением моего конца.

Но в чём, напротив, он был деятельно и даже ревностно убеждён: в необходимости *спасать* всё написанное, все документы, каждое слово. Сам для себя, своими руками, он создал редкое в Москве полное собрание фото-самиздата, в самодельных переплётах, целую библиотеку, и широко давал всем читать — и самое опасное, вроде Авторханова. Охотно взялся делать фотокопии и для меня. Аля боялась отпускать на его квартиру тома моих вещей — он притащил всё оборудование к ней и переснимал и проявлял и сушил у неё, суток трое подряд. Так изготовлен был новый комплект фотоплёнки «Архипелага», с которого и сделаны позже все мировые переводы, кроме англо-американского, и половина всего комплекта «Сейф». Позже Аля стала давать Валерию фотографировать для сохранности (если пропадёт единственная рукопись) также промежуточные мои редакции, и романские заготовки, всё в том виде, на чём работа останавливалась или вынужденно прерывалась. (Это постадийное дублирование ещё было огромным обременением нашей конспирации.)

В августе 1973, идя в решительный бой, я спешил для верности передать на Запад фотоплёнку «Октября Шестнадцатого» в том виде, как было к тому времени написано. Передать Валерию рукопись я ездил сам, назначили встречу в молочном магазине в доме, где он жил, на одной из Песчаных улиц. Из магазина я пошёл за ним в отдалении, прошли в междомовый скверик, только там поздоровались. Всё было ярким днём, скамейки не нашли, ходили. Я уже в голове имел подённый план своей поступенчатой атаки и, зная, с какой страстью Валерий ненавидит *их*, решил порадовать и подбодрить его, рассказал ему немного вперёд — что будет и как. Он — улыбался. Но, ещё с первой улыбки в молочном магазине, какой-то безрадостной, потерянной, сожалительной: он радовался моим близким ударам и ярости их — и не мог радоваться, а только печалился, что *они* — опять устоят, а мы — опять погибнем.

Осенью 1973 наблюдение за нами было такое пристальное, так сильно усложнилась связь со всеми, кого мы берегли, а превращение рукописей в плёнку требовало иногда мгновенного исполнения. И я — снова вернулся на самообеспечение: снова купил растерянное за годы оборудование, начали сами снимать в московской квартире на Козицком, с вечно закрытыми шторами. (Саша Горлов своими изумительными руками специально поработал, чтобы советский неудобный репродукционный штатив пригнать к нашим целям.) Вдруг как-то, в эти грозные недели, Валерий зашёл к Але сам без предупреждения и без вызова — пренебрёг той несомненной кагебешной съёмкой, которая устроена была из дома против нашего парадного. Какая-то работа была на очереди, он взял её, через два дня вернул косвенным путём, а ещё спустя несколько дней я обнаружил, что не хватает важного куска — и значит он где-то обронен? потерян? захвачен? Это выяснилось близ полуночи, а на другой день, кажется, надо было и отправлять. Мы с Алей вышли «прогуляться» и из уличного автомата уже в первом часу ночи позвонили ему. (Трудность была, кажется, ещё в том, что жена Валерия не допускала никаких незнакомых женских голосов, надо было себя назвать.) Он смутился. После паузы, после поисков добродушно рассмеялся в трубку: «Да, завалился кусок в ящичке стола». Слава Богу! Сам опять принёс на другой день. А дни-то были — последние, самые грозные.

И все эти появления Валерия у нас не прошли бесследно, — это как частый неосторожный проход у работающего рентгена — понёс лучевую болезнь, не сразу почувствуешь. После нашей высылки, как мы узнали по левой почте от

друзей, его стали *дёргать*. Сперва его вызвал «директор по режиму» (такой был в их режимном институте физических проблем), грозил уволить. Потом, в сентябре 1974, потянули на Лубянку, допытывались, в чём состояла связь; отлично знали о нашей встрече в молочном магазине, даже фильм предлагали показать. Валерий признал факт помощи, но что именно снимал — отказался назвать. Его пугали: «Вы замечаете, у нас здесь очень тихо, но это не значит, что здесь не стреляют». Но на том, как будто, и обошлось пока.

Вижу его печально-безнадёжную улыбку. Как предчувствовал он всегда безнадёжность всякого *им* сопротивления! Предчувствие, подобное такому же у Кью.

И только Бога благодарить, что вот за полтора года после моей высылки так ещё мало они растрясали и расправились с нашими, так много мы успели уничтожить улики, так многие утвердились теперь безопаснее. Не знаю: на чём продержался весь круг помощников наших ближних самые опасные месяцы? На одних молитвах. А дальше: прошлое — всё более становится прошлым, теряет связь с практическими ходами борьбы. Новые раздражители, мои европейские и американские выступления, переносят бой на другие поля, а прежние уже не прокапываются так рыно.

Мы с Алей, едва только сошлись в работе, сразу почувствовали необходимость в новом, своём и постоянном, *канале* на Запад. У Евы канал не был постоянен, всё на импровизации. А в 1968, после того как отправили «Архипелаг», она отказалась отправлять (ощущая чужое) фотоплётку с книги Дмитрия Панина, предназначенной им для Папы Римского (чтоб одним ударом «переубедить и повернуть» весь Запад и весь мир...). Сам я тоже в эту книгу не верил, но по старой эковской дружбе считал своим долгом в отправке помочь. А тут подоспело знакомство с обаятельным отцом Александром Менем. Я знал, что у него есть связь с Западом, и спросил его, не поспособствует ли. Он готовно и очень уверенно сказал: «Да, конечно, пока *мой канал* не засорился». (Позавидовал я — у человека свой канал! Нам бы!..) И он — взял. И — выполнил.

Лишь более тесное знакомство открыло нам, как работали шестерёнки той передачи. Отец Александр был духовным руководителем тогда ещё небольшого ищущего направления в подсоветском православии, вёл неофициальные семинары и направлял группу молодёжи. (Из этих усилий родилась сплотка статей в «Вестнике» № 97 и ещё доследки потом.) Главный же организатор у него был Евгений Барабанов — всегда богатый проектами организаций и реорганизаций. (Самый удавшийся из них — перестройка парижского «Вестника» с использованием самиздата.) Мы познакомились («закоротились») непосредственно с ним у о. Александра Меня, уговорились о передачах каналом — и дальше, для большей безопасности канала и всей их группы, не только я сам почти никогда не встречался с ним, всего три раза в четыре года, но мало встречался и Аля: надо было опять найти множитель, затрудняющий поиск, — ещё одно промежуточное лицо, чьи встречи и с Алей и с Барабановым были бы естественны.

На эту роль она избрала одного из своих друзей, и крёстного отца своего старшего сына, Диму Борисова. Это был милый застенчивый молодой человек с вьющимися чёрными волосами, в очках, тонкий любитель поэзии, знаток русских песен и сам с хорошим голосом. Глубокая и чистая душа. Со всеми всегда мягок, а линия жизни — уверенно твёрдая. Поначалу как будто не хватало ему последовательной воли к работе и активным действиям. Когда мы с ним познакомились, Дима был аспирант в институте истории, — но с темой диссертации (конечно, замаскированной социологическими формулировками) — по истории русской Церкви XIV века. Чудом было, что его в эту аспирантуру приняли, чудом было, что такая тема могла удержаться и диссертация — быть защищена (в конце это чудо развалится). Рождением он был — из семьи крупного советского чиновника, но отринул путь и убеждения отца, тот был испуган и в смятении от развития сына. Какую-то особую соединённость открыл я между Димой и мной: в том, что он родился день в день моего ареста — 9 февраля 1945 года, как бы мстителем за меня (а 9 мая в день Победы какой-то уличный ликователь послал кирпич в их окно на 2-й Тверской-Ямской — и едва не раздробил голову мальчику в кроватке). Дима Борисов — человек выдающегося интеллекта и нравственного сознания, большой и всё растущей эрудиции, его статья в «Из-под глыб» (как и «Молва и споры» в самиздатском сборнике «„Август Четырнадцатого“ читают на родине») — только начало его возможного пути. Конечно, не конспиративными передачами ему надо бы заниматься (и не



изнывать бы от безработицы, от безденежья, почти от голода) — но так обескровлена Русь за 60 лет, столько потеряли мы, что некому заняться даже этими прятками по тёмным закоулкам. Вообще мягкий, задумчивый, созерцательный, Дима Борисов в первых же испытаниях с КГБ (вызовы на допрос весной 1973, потом дни моей последней травли, разгрома, полтора месяца алиных сборов, спасения архива вослед мне, угрозы ему в 1974 после нашего отъезда) проявил такую твёрдость и даже такой неожиданный обратный напор, что вот до сегодня не решатся хватать его или толкать дальше.

Дима Борисов стал тесным другом нашей семьи, шафером на нашем венчании, крёстным отцом моего Степана, Аля — крёстная одной его дочери, я — другой.

Цепочка Дима Борисов — Женя Барабанов — и дальше кто-то во французском посольстве, кого мы не знали и условно называли «Вася» (с опозданием приоткрыл мне Барабанов, что «Вася» — это она, и притом монахиня), — действовала безотказно три года, начиная с машинописи «Августа» в ИМКУ в 1971. Это была наша главная бесперебойная связь с Западом, и она никогда не была выслежена КГБ, и ничего не знали другие в посольстве. (В сентябре 1973, попав под слежкой в опасность и тогда уж делая, в нашей квартире, дерзкое открытое признание иностранному корреспонденту о своих отправках на Запад, Женя разогнался упомянуть и мои вещи, казалось — уже нечего терять. Но я удержал его: запас шею не трёт, успеется. И, думаю, неплохо сделал: после моей высылки ему бы припомнили. А так — уцелел.)

Все подробности об этой легендарной «Васе» мы стали узнавать только уже на Западе, а весной 1975 в Париже познакомились и с нею самой. Католичка, монахиня, — это оказалось верно, но — я воображал её хрупким ангелом — вошла в наш гостиничный номер этакая русская провинциальная добрая толстуха, без сомнения превосходная хозяйка (легче всего представить её, как она угощает соленьями-печеньями многочисленных гостей), с русским выговором не только полностью сохранённым, как уже мало сбереглось в эмиграции, но — аппетитнейшим, но сочным, как уже и в Советском Союзе подавили, не умеют говорить так.

Она всегда и мечтала — жить в России.

Анастасия Борисовна Дурова родилась в 1908. Гражданская война раскидала их семью. Ася с мамой жили около Джубгы на Чёрном море, отец был в неизвестности, потом в случайной газете при белых прочли его имя на крупном посту в Архангельском правительстве. После разгрома Архангельска отец уехал в Париж и оттуда выхлопотал своим выездную визу — в конце 1919, чуть раньше кошмарной новороссийской эвакуации. В Париже вместе с несколькими другими офицерами отец открыл русскую гимназию. (Ведь возврат так близок! — вечная aberrация эмиграции, а детей надо же не упустить воспитать русскими. (Гимназия просуществовала до 1962 г.) С тем Ася и выросла, всё рвась в Россию, хотя бабушка из Ленинграда предупреждала её окольными весточками: «Не мечтай о России: её попрали люди и покинул Бог».) А после гимназии Ася поступила в католический колледж, перешла в католичество. Прежнее стремление в ней не погасло, но так преломилось теперь у неё, чтобы католичеством спасти Россию. Она выдержала экзамен и на преподавание русского языка. Нахлыл 2-й эмиграции после войны — живая волна России, а затем добровольные возвраты части 1-й эмиграции в СССР сделали стремление её ещё более нестерпимым. В 1959 году она поехала в Советский Союз туристкой — и стала ногами на лужскую землю, где родилась. В 1962 поехала переводчицей на французскую выставку в Сокольниках. А весной 1964 ехал в СССР новый посол Бодэ. Он незадолго овдовел, и теперь нужно было ему управительницу, кто бы вела его дом в Москве, и не имела бы семьи, и не имела бы родственников в СССР (посол не должен испытывать ни влияний, ни нареканий), но безупречно знала бы и французский и русский язык, и была бы отличная хозяйка, — состав требований почти несовместный, но Ася Дурова как раз и подошла. Бойкая, смелая, быстро-расчётливая и вместе с тем сердечная, широкий охват, какой бывает у русачек и украинок, — она свободно освоилась и в советской обстановке, сочетала твёрдость и лад с советской администрацией, советскими рабочими, в хозяйственном снабжении, — и так оказалась к месту, что и следующие послы охотно оставляли её. Так легко и свободно вошла она в советские условия, что без волнений отбила когти КГБ («не хотите ли встретиться в гостинице «Европейская»?.. не хотите ли поехать на дачу на Финский залив?..») Так легко и

свободно, что ввязалась в знакомства с нарождающимися диссидентами (тогда ещё не называли их так, и даже не выделяли), ходила к иным домой (к Барабанову — в 1966, знакомясь через французскую студентку Жаклин Грюнвальд, и на свадьбу к нему, и крестила его детей), а дальше больше, русские инакомыслящие всегда хотят *передавать* — она и *передавала* (и от Синявского с Даниэлем тоже, вместе с Элен Замойской); и та же Грюнвальд и Аня Кишилова, другая студентка из Парижа, связали её с Никитой Струве (очерк 12) в ИМКЕ. То, что была Ася Дурова — особенное сочетание хозяйственности, находчивости, сметки, смелости и обезоруживающей доброты-простоты, позволило ей годами вести напряжённый, может быть главный, нелегальный канал из России на Запад, даже не имея дипломатического иммунитета, — такое вести, на что не отваживались защищённые (но служебно-карьерные) дипломаты. Она обычно и посылала — не через дипломатов, а так, с разными случайными людьми, то — со знакомыми по старой парижской жизни, по колледжам, чаще и не говоря, что повезут криминал. «Второстепенное всегда *берут* легче...» «Какое-то чутьё», с кем можно, с кем нельзя, — никогда не подводило. Так, через несколько звеньев, были подключены к ней и мы — с осени 1968, с первой передачи плёнки Дмитрия Панина. В феврале 1971 она согласилась взять «Август» в виде рукописи — а ведь никакого плана не было, никакой решённой возможности. Но ехал в Париж случайный французский полицейский — и хозяйственная Ася, вечно и занятая цветами, пирогами, тортами, чем же другим? — попросила его о такой любезности: отвезти *большую коробку конфет для больной монахини*. Галантный полицейский и взял безо всякого сомнения, повёз без всякого душевного стеснения. Так выехал «Август».

А в мае 1971 ещё с какой-то случайной пассажиркой (но знавшей, что везёт серьёзное) Ася отослала и главный мой груз, всё моё освобождение — набор плёнок «Сейф». На аэродроме в Орли ту пассажирку встретил Никита Струве с семьёй, они пошли в кафе на семейное чаепитие и поставили на полу рядом сумки, чтобы потом «перепутать» их, взять чужую. (Дети нервничали: какая-то дама поблизости очень уж пристально следила за всеми ними.)

Да что!.. — Ася же придумала и осуществила совсем невероятное: в сентябре 1970 встречу в Варшаве — Жени Барабанова (советская «делегация декоративного искусства») и Никиты Струве (парижский турист). Варшавской встречей этой был преобразован «Вестник РСХД» на большой объём и широкую программу, включающую авторов из Союза. (По сути, включение такое уже и шло, и встреча не особенно была нужна, больше риску, — но замысел! Для того потребовались ещё хитрые условные звонки в Париж, в Варшаву, которые Ася осуществила с лёгкостью.)

Она сейчас вспоминает всё нисколько не с гордостью, очень просто, как об удавшемся пироге, но уже на прошлой неделе доеденном.

Не первый раз видим, как Россия втягивает в себя отторженных своих детей. Окончив работу в московском французском посольстве, Ася Дурова нигде на Западе уже не могла жить спокойно — и снова приезжала в Москву, теперь уже просто жить в посольстве, подолгу, при младшей там её сестре и племянницах.

## 12

## ОПОРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК.

Но при всей дерзкой громкости моих открытых ударов — настоящей-то опорной силы у меня против власти не было никакой. В любую ночь, а хоть и день, гебисты могли прийти и ко мне и к нескольким близким моим одновременно, и сразу — не всё, так многое из того, что я годами писал, накапливал, строил, — отмени бы в своё логово. С 20-х годов и по 70-е — уж у многих, у многих моих предшественников и старших братьев, имянных и безымянных — вот так отметали нацело, в глухоту, в Пасть, навсегда. Я уже писал, что целая национальная литература погибла на Архипелаге, — так не только в грудях и головах, а и прежде того на арестных обысках. А я, уже нося в себе весь лагерный опыт, — не смел допустить такой уязвимости. И потаёнки мои московские через Невидимок — тоже ещё не были прочностью. Надо — чтоб и рукописи мои все хранились на Западе, и была бы там опора, способная безотказно и точно дать ход моим книгам, если мы тут с Алей погибнем.

А для всего этого, очевидно, нужно было: во-первых, иметь на Западе постоянного русского издателя (и постоянную связь с ним!). Затем — официального представителя (адвоката?), который мог бы юридически отражать всякие гебистские подвохи, вроде того что Советы сами торгуют на Западе уворованными рукописями запрещённых в Союзе авторов, как уже не раз продемонстрировал тот же Виктор Луи (и — постоянную связь с этим адвокатом). Но ещё важней: и какое-то очень доверенное посвящённое лицо, хорошо понимающее меня и советские условия, однако живущее вне досягаемости лап ЧКГБ — и так могущее умело управлять всем вывезенным на Запад. То есть — три точки. И чтобы они все были между собою связаны. Конструкция жёсткого треугольника.

Издатель выяснился однозначно: Никита Алексеевич Струве. (Издательство ИМКА в Париже и её аппарат как-то туманились, были неясны за его спиной.) Впрочем, и сам Струве оставался для меня ещё полным незнакомцем. Двусторонняя связь с ним наладилась через Барабанова—Дурову, и через Барабанова я получил первые представления об этом внуке знаменитого деда, исторического Петра Бернгардовича, и племяннике известного литературоведа Глеба Петровича, по книге которого я как-то складывал первое впечатление о составе и объёме эмигрантской литературы. Связь Барабанова с Н.Струве была уже дальняя, года с 1966. В нелегальных «левых» письмах, какие Н.Струве писал ему, были такие признания: «мы (то есть эмигранты, а особенно потомки эмигрантов) — бесплотные русские», «Россия (для нас) почти не факт, а идея... и потому ещё больше, чем во времена Тютчева, приходится в Россию верить против фактов и очевидностей. Верим, что на России лежит печать богоизбранности — единственная большая и живая православная страна, в Православии же полнота истины и жизни... Связь России и Православия для нас — одна из высших богочеловеческих ценностей». (Представить себе в целом мироощущение русского эмигранта ещё с юности был для меня острый интерес. Но не додумывался я тогда до таких житейских подробностей: «Делаем нечеловеческие усилия, чтобы наших детей, вопреки логике и пользе, сохранить русскими, обрекая их на нравственные страдания, так как это чудовищное воспитание отрывает их от среды, в которой они живут». Это — мне предстояло понять ещё через дюжину лет, уже самому за границей, с моими сыновьями.) Позже Никита напишет в Москву и мне: «Быть эмигрантом — труднейшее из искусств».

И вот этому человеку, с его заветной надеждой и духовной опорой на может быть несуществующую Россию («теперь трудно представить, как мы были отрезаны до 60-х годов»), в наступившие годы предстояло совершить немало духовных усилий — создать для той России вовсе несуществующий в ней религиозно-литературный журнал, который в Москве будут жадно ждать, широко читать, и он будет помогать оформиться разрозненным русским интеллектуальным силам. Издание такого журнала для страны, в которой не живёшь и с которой нет открытой почты для получения рукописей изменений и для рассылки тиража, — задача весьма необычная, смелая, трудная. Но с 1969 Н.А. сумел преобразовать прежний эмигрантский тоненький «Вестник РСХД (Русского Студенческого Христианского Движения)» в толстеющий от номера к номеру мост между эмиграцией и метрополией.

А ещё раньше, наверно осенью 1967, под потолками городской квартиры Чуковских, где мы тогда ещё не привыкли опасаться подслушивания, меня познакомили Копелевы с Лизой Маркштейн, о которой слышал я давно: родом из Австрии; дочь ни много ни мало вождя австрийской компартии Копленига, она всю юность и молодость провела в СССР, потом уехала в Австрию, но часто наезжала (визы давали ей легко), — и так соединила в себе нутряное знание двух языков, двух культур (это очень пригодится ей потом в переводе «Архипелага»!), двух строев жизни — западного и советского, объёмно видя оба; к тому же — схватчивого ума, с нетерпеливым горячим сердцем, прямодушная, Лиза судьбой своей уже и предназначалась сыграть какую-то особую роль между этими двумя мирами. Познакомились мы с ней с большой симпатией: у неё прямой чёткий взгляд, ясные неуклончивые суждения, деловитость. Но ничто практическое в тот раз между нами не возникло.

Несколькими месяцами позже Лиза увезла от Люши на Запад мои небольшие исправления к «Раковому корпусу»: вписала обрывки строк своим почерком в свои конспекты по русскому синтаксису. (Исправления эти достигли издательства; позже ещё сыграли внезапно и свою судебную роль как доказательство, где же подлинный текст, — там, где авторские поправки, — в тяжбах издательств

о «Раковом корпусе»: делая шаг в одном из миров, так трудно сметить все последствия его в другом. Позже Лиза вынуждена была и выступить свидетельницей на суде между издательствами, но свидетельницей анонимной — иначе грозило разоблачением её связи с нами.)

В мае 1968, когда мы напряжённо печатали «Архипелаг» в Рождестве, передали мне достигшее по *левой* письмо Лизы из Парижа к её подруге в Москве Нае Лазаревой: о том, что Лиза без боли видеть не может, как тут проходимцы или самозванцы распоряжаются моими бесправными книгами, — и она готова бы бескорыстно защищать мои интересы, если б я доверенность ей дал.

Медленно, но мысль эта прорастала. Той осенью Лиза дерзко приехала на мою дачку в Рождестве, а я — жёл осенние листья. Сели у костра — невероятно! — вот тут мы недавно кончали «Архипелаг», и вот человек из-за границы, искренний и умный доброжелатель, который готов всё двигать! ещё потом через год взялся я рассказывать Але о некоей такой замечательной Лизе — Аля же, оказалось, знает её уже несколько лет, — теснота мира? уость Москвы? — как-то познакомили её с Лизой, приехавшей из Австрии расспрашивать об инакомыслии в Москве и чем ему помочь. (В умах и сердцах мир от октябрьского переворота уже повернулся на 180 градусов, — но когда ж этот поворот осуществится в предметной жизни?!..)

Так мы уже стягивались завязать узелок. В один из следующих мирных приездов в Москву переговоры с Лизой о возможной деятельности её в Европе вела вместо меня Аля — неприметные прогулки двух женщин по хорошо им известному Гоголевскому и Пречистенскому бульварам, со всей тренировкой оглядываться и приглядываться, весь разговор по-русски, встречным уха не режет, — легко.

В сентябре 1969 встретились со мной у Али на Васильевской улице, Лиза привезла немецкий юридический типографский текст доверенности и советовала мне взять адвоката на Западе, а именно: она может порекомендовать хорошего адвоката в Швейцарии — доктора Фрица Хееба, на которого и выписать бы мне основную доверенность на ведение моих дел. Никакого соревновательного имени ни в какой другой стране мы не знали и рады были этой лизиной рекомендации, подарку с неба: иметь своего адвоката на Западе? — сильный, для властей совсем неожиданный ход, — но вместе с тем как будто ж и законом не запрещённый? Мы с Алей согласились сразу, постеснялись даже расспрашивать что-либо о том Хеебе.

В начале 1970 Лиза снова приехала, привезла окончательную и всеохватывающую форму доверенности на Хееба, которую я опять-таки подписал, да второпях, тем направив и решив судьбу своих книг за границей, как я думал — наилучшим образом. Лизу тогда ещё не обыскивали на таможене, но всё же доверенность эту, для надёжности, Катя Светлова, алина мать, мастерски вклеила в крышку картонной конфетной коробки.

Лиза (от Элизабетт названная нами Беттой), Фриц Хееб («Юра» — от юриста) и Никита Струве (Никита — Николай — «Коля») составили тот самый желаемый заграничный треугольник. В эти три точки и направлялись теперь все мои нелегальные письма и от них троих получались. (Бетта в Вене получала ксерокопию из Цюриха или прямо от нас часть «левого» письма для Хееба — и переводила ему когда письменно, а что можно — по телефону.)

С Хеебом, для отвода глаз, я вёл ещё и поверхностную легальную переписку, наполовину пустую (обычно с уведомлением, и письма доходили, ГБ не пресекало — чтоб услезивать?), он мне — по-немецки, я ему по-русски. Эту открытую переписку я использовал иногда и чтоб отвести гебистам глаза от моих истинных намерений или предупредить, за что буду очень резко биться, иногда и поиздеваясь над ними: когда они не доставили мне от Хееба пачку газетных западных рецензий на «Август» — писал Хеебу: не стал сердиться, это сделано в заботе обо мне: от разносных рецензий у меня бы опустились руки, от хвалебных вскружилась бы голова, в обоих случаях замедлилась бы моя работа, я не успел бы напечатать новой книги до вступления СССР в конвенцию, и тогда б она надолго задержалась. А когда советские власти учиняли вопиющие нарушения в моём разводном процессе — я тоже сообщал их Хеебу как советский парадокс, и уж эти письма власти пресекали, боясь разгласки.

Но вот Бетту стали подозревать, не впускать в СССР. Последний раз я видел её осенью 1970, Аля — ещё через год (и используя посредство Димы Борисова), — на том лизины приезды кончились, и наши открытые обсуждения прервались. Все советы, спросы, планы, предположения и решения унырнули в подпольную

переписку. В крайних срочных случаях Бетта умудрялась открытыми письмами или звонками к Лазаревым что-то передать или осведомиться иносказательно.

Вся та переписка с нашей стороны разумеется тут же сжигалась. Но вся она сохранилась у Лизы и Никиты, теперь это передо мной. Оживляется в памяти обстановка, уже и забываемая.

С осени 1970, как только я кончил «Август», я решаюсь пересылать его к Струве в ИМКУ и печатать там под своим именем открыто — но скрытно до последней минуты появления. Ранней весной 1971 он отвечает мне, что набор уже идёт, негласный, а корректуру держат они сами с женой. (Это и у них первый такой опыт прямой работы с автором из России. Перед тем, добыв текст булгаковского «Собачьего сердца», восхищаясь им и желая непременно печатать — издательство прослышало, что вдова Булгакова грозит подать в суд, — и долго не решались.) Мы ещё подсылаем им — то карту, то эскиз обложки, то послесловие — моё обращение к эмигрантам о присылке материалов. По недоговорённости, грубая ошибка вышла у нас с курсивами: мы печатали их в машинописи большими буквами (по типографской неопытности) — ИМКА так и напечатала большими, получилась претензия экспрессивности, и эта досадная ошибка ещё перейдёт в иностранные издания. В Москве мы начали считывать пришедшую книгу — нашли в ней ещё изрядно опечаток, — но и во втором издании они не успевают быть исправлены. И я Никите пишу об этом в сильно заминчивом тоне: «нет ощущения идеального издания».

Канал Дуровой работал в то время отлично, и весной 1971 я уже посылаю через Никиту важные пакеты для Хееба (второй вывоз «Архипелага»): «Это — более, чем личная судьба, отнеситесь с величайшей осторожностью и осмотрительностью». Учу его советской конспирации: поезжайте к Хеебу лично и не один, а в сопровождении, так чтобы вещи не оставались ни на минуту без глаза, и до опубликования «Августа», а то за вами может возникнуть надзор. И: если у вас в издательстве появятся новые сотрудники после издания «Августа» — не доверяйте им, как бы естественно они ни появились. Такие предупреждения воспринимаются на Западе, конечно, смехотворно. — ибо кто ж испытал там воистину котти КГБ?

О Хеебе Никита отзывается мне после встречи: «Он на меня произвёл хорошее впечатление, хотя несколько ошеломлён сложностью ситуации». Ещё не зная крайне деликатную манеру Никиты выражаться, я не придаю значения второй половине фразы и воспринимаю в целом как одобрение Хеебу. (А на самом деле Никита хотел выразить мне, что Хееб, кажется, мало годен.)

Канал работает отлично — и мой аппетит расширяется. Прошу пересылать мне воспоминания эмигрантов о революции, если будут приходиться. (И Никита шлёт мне ценнейшие воспоминания В. Ф. Клементьева<sup>\*</sup>.) Заказываю книгу воспоминаний Гурко по-немецки — и получаю её, затем и книги Мельгунова, ещё и других. (Желанные книги приходят, зовут! — не вмещаюсь в мой стиснутый накалённый объём жизни.) Через Никиту же посылаю в марте 1972 для Зильберберга на фотоплёнке работу Теуша о судьбах еврейского народа. (Зильберберг молчит, не подтверждает долго, Теуш беспокоится, и мы посылаем тем же путём ещё второй скруток плёнки.) Шлём для печатания в ИМКЕ «„Август Четырнадцатого“ читают на родине», «Письмо Патриарху». («Вестник» отражает сильное волнение о нём православных кругов эмиграции.) Шлю, для новой встречи Никиты с Хеебом, заветный набор моих плёнок «Сейф». Шлю подлинный текст «Ракового корпуса». (Ещё и не охватываю, что именно ИМКА, Никита с группой французских переводчиков тремя годами раньше самостоятельно издали «Корпус» по-французски со случайного самиздатского текста, в котором мои своеобразные слова были «подправлены» на «более грамотные».) А то предупреждаю: задумывается серия брошюр «Современная русская мысль» (зарождение «Из-под глыб») — тоже будем печатать! (Не раз пишу об этом, но серия никак не собирается, нет времени на организацию её.) И ещё настаиваю на особенностях своих грамматических правил. И даже вот уже до какой мысли дохожу: в иностранных изданиях «Красного Колеса» надо производить сокращения. (Верная мысль, так и не воплощённая.)

<sup>\*</sup> Капитан Клементьев так и войдёт в «Март Семнадцатого» под своим именем, со своей биографией. (Примеч. 1986)

Идёт со Струве и спор. Сборник статей в «Вестнике» № 97 вызывает возмущение у меня, затем и статья «Телегина» в № 103 — оскорбительная к русскому, а редакция никак не комментирует и не отстраняется. Ошибка зрения из Парижа: они не видят, как в самиздате безответственно и несамоконтрольно пыхнуло против России. Горячо пытаюсь объяснить это Никите, посылаю ему, не для публикации, лишь для него самого, вариант своей ответной статьи. Но он отвечает благодушно: «Мне многое в этих статьях было не по душе, но я в них видел первую попытку на хорошем уровне что-то осмыслить в происшедшем. Зачарованность Западом у них от молодости и неопытности. Не жалею, что дал им высказаться». Не понимает опасности зреющего раскола.

В погоняемых гнётом «левых» письмах успеваем мы, однако, иногда обменяться и не о деле: вот, я горько отзываюсь на бунинские «Тёмные аллеи» — и он душевно это приветствует. Вот он сообщает мне об анекдотической статье эмигрантского писателя Н. Ульянова в «Новом русском слове», что никакого Солженицына вообще нет и не было, это выдумка и коллективное сочинение КГБ, не может один автор так основательно разбираться и в точных науках, и в медицине, и в военном деле, и в политике, и в истории, — и Струве шлёт в эту газету свой горячий ответ. А вот — я делюсь с ним своим восхищением проповедями некоего «отца Александра» по радио «Свобода», — а это оказывается отец Александр Шмеман. Струве посылает ему копию моего восхищённого письма (а дальше почему-то попадает в ту же газету и бестактно печатается там).

Но наша переписка с Никитой ещё вполне спокойна. Не такой вихрь был в напряжённой переписке с Беттой. Я гоню, гоню, гоню ей на папиросной бумаге, мелким почерком. При всей моей жажде тихо писать Узлы я слишком разогнаю в действие предыдущей борьбой. Фильм «Знают истину танки!» — он мне кажется таким страшным ударом по коммунизму, я вижу лагерное состояние на всех мировых экранах! и с начала 1971 прошу наших начать переговоры с кинорежиссёрами, готовить съёмку, ведь это долгое дело. Найти режиссёра, который: не побоялся бы выявить всю политическую силу фильма! и не был бы чужд русской теме и русскому типуажу! и не сбивался бы на голливудскую дешёвку... (Да где это всё такое найдёшь? Переговоры и начинаются, но малоуспешны за все три года, — на эту побочную добавочную деятельность, естественно, не хватает у Бетты сил, а Хееб и вовсе не понимает дела, да режиссёры всё не находятся, или, левые, боятся связаться с «реакционным» фильмом, боятся левого освистания.) Бетта встречно спрашивает: в Германии хотят делать телепостановку по «Раковому корпусу», разрешать ли? — Да! — Она же предлагает: готовить телепостановку по «Августу». А что ж, хорошо, побольше ударов!

Потом осылаю и прошу Бетту не торопить переговоры о постановке «Танков»: «Оставить 1972 год спокойным. Хочу писать „Октябрь“, начинать „Март“». В 1972: «Давно не испытанная лёгкость и свобода. Работать и 72-й и 73-й, не шевелюсь... Заниматься романом, романом и пренебрегать общественными акциями», — писательское брало верх, это здоровая черта. А там ведь пока — у Карляйлей в Америке, думали мы, деятельно переводится «Архипелаг» ещё с 1968; с лета 1971 повторные плёнки «Архипелага» у Хееба, с февраля 1972 начинается и Бетта немецкий перевод. И пусть, пусть переводы тихо подрывают заколдованную гору Дракона! — а я пока попишу вольно.

А вот ещё новое: в бессонные ночи ловлю по «Свободе» в 2 часа 30 минут передачи по истории революции 1917 года, слушаю жадно, но всё с помехами, сделана как бы огромная работа за меня — сбор материалов, интервью, целый коллектив неожиданных помощников! — а как бы это мне использовать понадежней? Пишу Бетте: будем называть эту затею «Два-тридцать», не начнём ли попытки связаться через кого-нибудь? получать эти материалы да пересылать их мне? — Кроме того: а нельзя ли выписывать для «Марта» отзывы европейской прессы на Февральскую революцию? уже тогда такие газетные главы рисуются мне. И Бетта же берётся (силами своей матери).

Теперь, когда опорный треугольник создан и все мои плёнки в Цюрихе (я долго беспокоюсь: не держите в конторе, будет налёт, положите в банковский сейф, в подвал! — наконец доходит и подтверждение: да, именно так и лежат!), — теперь только правильно разработать защитную операцию с Завещанием. В феврале 1972 Генрих Бёлль — спасибо ему навек, оттого и появилась у меня тогда лёгкость, — у нас на московской квартире свою подписью заверил каждый лист моего завещания и сам же увёз его с собой в кармане, — а он отлично знаком с Лизой, и вот завещание уже у наших! (И куда же запишем Г. Бёлля, если не в

Невидимки? Ещё ж и в 1965 году, в самое острое для меня время, он увёз из Москвы мой сценарий и поэму, и годы потом хранил у себя, передал Лизе. И как же поворачиваются судьбы людей: вслед за тем положение Бёлля в Западной Германии настолько уязвится, ведь он о юных террористах — будущих Баадер-Майнхоф — написал: «молодые идеалисты, доведенные до отчаяния», что ему на свободном Западе понадобится моя защита из пленённого СССР! — и через Лизу я шлю ему письмо благодарности, не частного назначения.)

А это — не просто завещание, но важный ход в будущей борьбе, это бесценное укрепление моей обороны, — оттого-то с весны 1972 такая и лёгкость: теперь только троньте меня! — и я знаю, что *это* опубликуется, и без меня, и без Али, и вослед посыпятся, посыпятся вам на голову мои книги! Теперь в тайных письмах остаётся согласовать, какими условными фразами в открытых письмах к Хеебу или какою фразой нашего внезапного телефонного звонка в Цюрих — взрыв приводится в действие, весь или по частям. (Такие условные фразы и кодированные имена отработываем и для других разных случаев, они тоже плодятся. А тем временем и детали завещания во мне не лежат на месте: проект огромной Троицкой церкви на пустом звенигородском поле уже кажется чрезмерно замахнутым, не лучше ли поскромней: восстановить разрушенную Троицкую церковь в Новочеркасске; да Пантелеймоновскую, где меня крестили, в Кисловодске; да церковь на георгиевском кладбище, где мой отец лежит под стадионом; да церковь в селе Рождестве, чей постоянно виден разрушенный купол от моей дачки; да — не осталось уже там площадки, пристроить малую часовенку у бывшей снесенной Казанской церкви в Ростове, где я одичалым мальчишкой гонял в футбол в ограде, — в искупление моей тогдашней неосмысленности. И все эти исправления в завещание, и добавка новых намечаемых к публикации вещей — нежданно спасённый «Пир победителей», сокращение сборника лагерных стихов, уже и «Телёнок» до «Нобелианы» и наросший «Дневник Р-17» — всё! всё! всё к публикации, на голову Дракону! Эту последовательность я подробно программирую Бетте.)

А тут — нависает вступление СССР в конвенцию авторских прав. (Ещё недавно я сам вгонял их туда, с опозданием мы все поняли, что нас и на этом объегорят, Аля написала и послала анонимно в «Монд» — «Нож в спину русскому слову», те напечатали в марте 1973, модно.) А тем временем Никита никак не успевает опубликовать истинные, не искажённые для советской цензуры тексты «Ивана Денисовича» и «Матрёны», — и я тороплю, тороплю его: успеть до дня конвенции (1.6.73), ибо уж на этом-то не стоит вязываться в «конвенционный бой».

Но ещё ж: у нас уже идёт тайная работа над «Тихим Доном», я предвижу, что это будет сенсация, — но как предусмотреть защиту авторских прав анонимного автора Д\* — делать это не через Хееба? через Хееба? (И так пишу, и так, поправляюсь.)

И хотя же я — с жизненным опытом, и отлично знаю, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут, — я гоню в письме в письмо, всё больше закигаясь проектом: как резко удешевить предстоящее издание «Архипелага»? что за ужас: на Западе книга — 10 долларов, — в переводе на рубли по реальному курсу 40—50 рублей за том! — да разве можно это допустить? том «Архипелага» должен продаваться в 3 раза дешевле, в 5 раз дешевле! чтобы читали в с е! — лишь бы он грянул, лишь бы ударил по советскому чудовищу! чтобы на Западе его прочли десятки миллионов, а ничего больше мне от него не надо! «Для меня здесь большой моральный смысл, этим материалом не торгуют, это кровь на жертвеннике, она должна восходить к небу. Хочется внести в книжный издательский мир благородный взгляд, призвать к издательской совести». Пусть будет оплачен на нормальном уровне труд переводчиков, наборщиков, издательских служащих — а все потери распределить между издательством и автором, пропорционально получаемым долям. «Многие отшатнутся от такой сделки — туда им и дорога. Но на всяком языке найдётся хоть одно достойное издательство — и мы его потом вознаградим другими книгами». Бетта достаточно понимает наш бойцовский дух в СССР и нисколько не возражает. А Хееб возражает неразборно, потом составляет и шлёт мне туманный реферат на эту тему.

Тем временем не радуют уже совершившиеся и вот притекшие к нам издания. Что наделал Люхтерханд с немецким «Августом»? Даже с титульного листа потеряны: Узел I и ограничительные даты его. А уж какие грубые ошибки в киноэкранах, совсем не понят принцип записи. И смазано расположение пословиц. И даже на карте Восточной Пруссии — в германском издании! —

некоторые пункты отброшены на 80 километров в сторону! Насколько же ленивы, неряшливы, невнимательны, что ж они делают? в какую ж бесчувственную мясорубку уходит наша здешняя работа. Как — не допустить подобного в других изданиях? И кто ж это будет успевать досматривать? — на всё одна Бетта не разорвётся. Нет сил у нас, нет сил!

А сколько забот с иностранными переводами! На Западе — не так, как в Советском Союзе, лучшие писательские силы отнюдь не хлынули в перевод, западные переводчики если хорошо переводят, то из охоты, а вознаграждение за художественный перевод недостаточно. Пишу Бетте: «Да лучше не иметь никакого перевода, чем неудачный, однобокий, формальный!» Очень проучили нас с английским переводом «Августа»: Гленни для Бодли Хэда сделал совсем плохой перевод\*, «Август» был принят в Англии вовсе кисло, если не разглагольствую. Гленни низко оправдывался, что «Август» написан «так плохо», приходилось местами «исправлять фразы», а представитель издательства: «Если будем переводить «Август» буквально — нас поднимут насмех». Вдруг проблеснул, попался мне на глаза перевод «Озера Сегден» в *Intellectual Digest*, апрель 1971. Я прочёл — и даже задрожал: да это выше всякого перевода! да это как я сам написал по-английски каждую фразу! Как передана вся ритмика, дыхание и голос! полёт и жизнь фразы! Вот это и надо: переводчик как любимый соавтор! Фамилии переводчика я в копии не обнаружил. Срочно поручил Хеебу: искать! искать этого золотого переводчика! (И он искал — почти три года! И в 1973 в Нью-Йорке ещё выяснял, где же, наконец, он. И ответил мне: нету, уехал в Австралию, и связи нет. А это был — Гарри Виллетс в Оксфорде, никуда и не думал уезжать, и мы потеряли три года его возможной драгоценной работы! Приехал я на Запад, и нашёл его.)

Тем ответственней нарастал перевод «Архипелага»: насколько он несерьёзно поставлен в компании Карляйлей — я ещё не представлял. А немецкий делала сама Бетта и, писала, «прилепилась душой». И хорошее знание советского мира ещё тоже очень помогло ей. (Она же предложила два вида выделения слов — курсив для терминологии и жирный для экспрессии. Мне очень понравилось, и много с Алей у нас было работы по сортировке выделений, и поправочные списки пересылать — ещё вдобавок к неугасающим сутевым поправкам, и весь 1973 год, — а в западных изданиях всё равно не привилось.) А поиск французского переводчика шёл трудно: ведь высокая степень секретности, кому доверишь? Степан Татищев доверенно получал от Андреевых первые главы, но перевод у него не пошёл. Никита тоже безуспешно искал переводчика, потом, с его одобрения, Бетта связалась прямо с издательством Сей. Ещё позже пришлось ускорять перевод Первого тома, сколачивать группу переводчиков. А я рвался: надо же и испанского переводчика искать! — ведь это вся Южная Америка! Решили: для «Архипелага», по тайне, порядок должен быть такой: сперва искать переводчиков для издательства, самим оплачивать перевод, а уже потом, при содействии и согласии переводчика, искать издательство.

И сколько неожиданных напастей налетало на нас с разных сторон, не успеешь отбиться от одной — валит другая. То отрывок из «Прусских ночей» вдруг появился в «Цайт», которую мы считали дружественной, — гасить через Хееба! То опаснейшая публикация Патриции Блейк в «Тайме», сколько страху нам нагнала: что на Западе некая группа работает над переводом «Архипелага» — кто? над каким экземпляром? откуда эти сведения? И не узнаешь, и давить — нечего, а название книги — уже уплыло! Всё это грозит переломать план моей будущей большой атаки, обнажает бока раньше времени. То сама же Бетта сообщает мне слух, что в «Индекс» у Скеммела печатаются отрывки из «Дороженьки», как будто притекшие через Зильберберга, — и меня пронзает, что это — кем-то украденные отрывки (и как же они велики?)! да ни у кого в руках поэма и не была, только у Теуша. Тревога — остановить! — и сколько об этом обоюдной нервной переписки, — выясняется: те самые отрывки только, какие Теуш уже всё равно напечатал в статье «Благова», — ну что поделать. Тут следом тряска с биографией Файфера, ведь биограф — это как бы, получается, сыщик-волонтер, он, может быть, вынюхал и сейчас напечатает такое, что я тайл, тайл от ГБ. Что делать? Остановливать юридически? — не имеем прав. Но какое-то охлаждающее заявление от Хееба? Пишу ему легально: «Прошу сделать заявление

\* Как потом в Англии рассказала мне участница его «артели», — Гленни раздал весь «Август» по клочкам своим аспирантам, они и переводили, кто в лес, кто по дрова. (Примеч. 1978)



против самовольных биографов. Считаю беззастенчивым и безнравственным составлять биографию писателя при его жизни, но без его согласия. Такие действия ничем не отличаются от сыска, полицейского или частного». (Хееб по левой отвечает мне: против Бурга—Файфера ничего нельзя сделать юридически, если только не затронут мою честь; а если они оба нагородят лжи, но сами не зная, что это ложь, — тоже ни за что не отвечают.) — А тут «союзник» Жорес Медведев в своей книге привёл, чтобы похвастаться на весь мир, копию пригласительного билета: как найти нашу квартиру в закоулках бахрушинских домов. Так срочно: потребовать от него, чтоб изъял план из книги! — А тут по Москве слух, что Наталья Решетовская в сотрудничестве с агентами АПН готовит не то свои мемуары, не то мою биографию же — и будет обильно цитировать мои письма, спешит, не дожидаясь моей смерти. (И действительно: передала АПН мои письма к ней, начиная с фронтовых лет, продавать и печатать. Уже в июне 1974, сразу вслед моей высылке, итальянский «Темпо» печатал «Любовные письма Солженицына», предлагали их и в «Нью-Йорк Таймс», затем в Женеве агент Ален Давго торговал ими.)

А ещё ж такой проект: ведь теперь имеем за границей нобелевские деньги, как же не помочь нашим бескорыстным помощникам? все безденежны, все нуждаются, а «валютные» деньги и несравненная ценность, по-советски. Отчего нам теперь не составить список — № 1, № 2, № 3... всего двадцать номеров, так и будем в письмах звать *номера*, по-замятински, и о них — отдельные нервные абзацы наших тайных писем, все эти годы. Посылается Бетте список: кто какой номер, адреса. Некоторым — мало опасно; а иные настолько скрыты, что даже в одном письме сразу их имена и адрес писать невозможно, а пишем клочками в два-три приёма: улица без номера дома, он потом отдельно, разорвать фамилию с именем-отчеством, вписать как-нибудь понесуразней и без ясной связи, к чему. А другая задача — из какой страны будет перевод? от кого? У кого-то есть знаменитый друг за границей, у другого — реальная родственница, шлём от них, а остальным надо — совсем от придуманных лиц, и тут у ГБ могут возникнуть подозрения (и иногда возникают, опасные). Или: вдруг пришёл быстро перевод № 11, а № 11 не успел подготовиться, как ответить: «от кого ждёте»? Острая опасность! — из-за одного такого случая надо гнать срочный тайный запрос (а для каждой записочки отдельная тайная встреча, передача). Очень нервно, в каждом письме много о *номерах*, немало и неурядиц, из-за недоразумений просто измотались, — а каково Бетте это всё распутывать и передавать Хеебу уже в цельном ясном виде, для исполнения? Л. К. Чуковская слепнет, нужен оптический прибор; мы не знаем точно какой, и никто не знает, он должен сочетать большой диаметр для охвата целой страницы и значительное увеличение, 5 — 7 раз (в обычных лупах либо сильное увеличение и крохотный диаметр, либо наоборот), и ещё подсветку. Как узнать тип? где заказать? вероятно, в Голландии, они же мастера? а посылать — будем от Бёлля, просим, нагружаем его. Но долго, долго идёт переписка между Москвой — Веной — Цюрихом — Кёльном и ещё какими-то неизвестными местами, и вот присылают; — а не то! Значит — переделат, а Лидия Корнеевна между тем катастрофически слепнет, а её глаза — из самых дорогих, мы гоним, торопим с новыми требованиями. Наконец присылают хороший прибор, спасение! — так без единой запасной лампы, а они уникальны, значит, теперь отдельный заказ ламп.

Но как ни измотно, а заказы постепенно выполняются, до № 20 переводы получены, и у нас с Алей новое расширение: а как бы помогать таким же образом ээкам (рождение будущего Русского Общественного Фонда)? Снова та же процедура, вводим номера с 21-го по 40-й, а *от кого* слать им? — и новые розыски кипят.

Между тем советские власти, недовольные какой-то из австрийских статей Бетты, — окончательно перестают пускать её в Союз, советский консул в Вене в начале 1973 откровенно ей говорит: «Зачем вам ездить в страну, которая вам так не нравится? Не даём визы — и долго не дадим». А встретиться поговорить — насколько бы проще, сколько бы распуталось сразу! Малые замены: то приехала в Москву старшая дочь Бетты, встречается с Алей. То поехала Ева в Швейцарию, встретились они там, — но через евины встречи много сбивчивого.

Итак, весь прыгающий каскад вопросов, предположений и решений — только через «левые» письма, а они идут лишь с оказиями. Вот, уже написанное наше письмо протомилось без оказания два месяца, а за это время все оценки и решения изменились, пиши новое.

Я уж забываю, в чём и повторяюсь, писали прошлый раз или нет, ведь копий держать нельзя, пишу повторно, а что меняю под сбивом обстоятельств и ещё новейших новостей, иногда меняю решение в одном и том же письме. — чёткая Бетта выбирает из этих круговертных писем указания, просьбы, поправки — и, заведя картотеку по темам, распределяет по карточкам, так видней. А ведь мы многое шлём и в плёнках, а в них то сменится экспозиция, то собьётся чёткость, ведь всё это делается в напряжённом подпольи, приходится иногда и быстро свёртывать установку, — мы шлём уже поправки на плёнках, а в Цюрихе ещё и главная плёнка не переведена на бумагу. Бетте все наши каскады надо методически переработать и осуществить контакты с разными точками Европы, вот уже целые недели уходят у неё на писание писем и телефонные звонки (пишет: «как я ненавижу телефон!» — и как я её понимаю!), — а ведь главная-то работа её с февраля 1972 — сплошной перевод Первого тома «Архипелага», и затаённый, не с кем посоветоваться, кроме меня же и в тех же письмах, — пишет: «трудно не столько от работы, сколько от ответственности». «Архипелагу» и всей нашей скрытой работе она безоглядно отдала душу, как на Западе не принято ни с какой работой: «Я живу двойной жизнью. Душа, мысли — у вас. Иногда иду по улице и вдруг: где я?» Путается свободная Вена и угнетённая Москва. Поток неизменного тепла и веры в моё дело изливается в её деловых письмах к нам. Отвечаю: «Читали Ваши письма и удивлялись, насколько ни время, ни расстояние не чуждит нас: ощущение, что мы всё время думаем и чувствуем вместе, и Ваши решения почти на 100% такие, как если бы мы решали вместе... Ваша духовная организация столь сходна с моей и алиной». По какому-то возникшему частному недоразумению она звонила к Лазаревым, что-то кодируя. Отвечаю ей: «Я думаю, мы Вас и Вы нас любим выше всяких возможных разногласий. Все эти годы так согревает и даёт такую уверенность и простоту — то, что Вы есть. Всегда верю в Вас и потому спокоен...»

Конечно, из разных миров нельзя сойтись уж так безоглядно, иногда просверкивают щели. Кто-то мне передал, что Бетта «огорчена моим августовским интервью с «Мондом»... там много путаницы», и в «Мире и насилии». Так как именно по этому поводу я уже слышал горячие возражения и в Москве, и держа в голове уже выстраиваемый «Из-под глыб», я в письме к Бетте пишу: «...Думаю, что в ближайшее время... западной демократической и социалистической общественности предстоит узнать сотрясательные истины, когда из России ложными идолами будут объявлены самые святые многовековые божества... И я пылаю надеждой, что Вы будете из первых европейцев, способных это принять сочувственно и с пониманием». Через месяц от Бетты, что она расстроена: «Саднит душу, что про меня вам неправильно передали. Всё не только одобряю, но считаю великим делом, расхождения только в мелочах».

А это были уже дни — перед самым провалом «Архипелага». И откуда во мне было такое ясное предчувствие? 22 августа 1973 пишу Бетте: «Это будет особенно трудная осень. Может быть, уже и некогда говорить. Вы, может быть, заметили ускорение и сгущение событий у нас со многим. Это какой-то ход звёзд или, по-нашему, Божья воля. Я вступаю в бой гораздо раньше, чем думал, многое к этому вынуждает, сомнения нет. Ничего нельзя предсказать, но ясно, что [готовность «Архипелага»] понадобится раньше, чем предполагалось. При худом повороте дел Вам придётся принимать решения без нас обоих».

О провале «Архипелага» через две недели Бетта услышала от телеграфных агентств и пишет нам: «Теперь темп жизни стал в нашей семье: «всё для фронта, всё для победы!» Выдержать бы, не портя качество» (перевода).

А я опоминаюсь: «Сколько ж это лет откладывалось, Боже мой! Дальше — уже было нельзя, как я этого сам не понял раньше!» Но вместе — и облегчение: теперь можем весь «Архипелаг» держать дома, терять нечего, и насколько облегчились справки по тексту! и можно приходящим давать читать. А с другой стороны — боюсь, что и квартира Бетты в Вене становится уязвимой для налёта, шлю ей предупреждения.

Эти осенние месяцы 1973 (в октябре они все трое съезжаются в Цюрих на совещание, мы не знаем) наша подпольная связь пульсирует ещё судорожной. Досылаю Бетте напутствие к «Архипелагу»: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими...» А — как теперь ускорить печатание? может быть — ксерокопия с машинописи? неважно, как издание будет выглядеть, только бы скорей! И Никите: пусть «Архипелаг» выглядит кустарно — и будет

подешевле, не такая книга, чтоб на ней деньги собирать. (Изнурённый дырами нищего издательства, Никита взмаливается: русское издание никак нельзя дешевле. Я соглашаюсь.) Никита обещает издать Первый том рекордно быстро, в три месяца. Пишет: наборщик «Архипелага» со слезами сказал: когда я умру — положите эту книгу в мой гроб. Я гоню дальше: а как бы Второй том за Первым сразу вослед, через месяц нельзя? Нет, никак нельзя... ИМКА может выпустить Второй том в мае. — Нет! нет! никак не позже марта! — Нет, и такой темп не берутся выдержать дважды. Да может быть, разрывать и тома (они не существенны), — печатать отдельно Часть 1-ю, 2-ю, 3-ю — как бы тетрадами, лишь бы скорей? И предпримите меры безопасности против прямого налёта на типографию! КГБ ни перед чем не остановится! — Бетте: после того как появится русский Первый том — вся надежда на быстрейшее появление немецкого, если задерживается — может быть, вырывать отдельные главы и печатать в журналах?... «Скорей, чтобы знали все! — и тогда пройдёт жжение». В эту осень мы с растровой узнаём, что американский перевод не готов, сдан в конце октября, но «над ним ещё надо работать», — однако нагоняет шведский перевод Бьеркегрена — поможет он! А — как меры безопасности? из трёх уже типографий секрет может утечь. Скорее печатать! — мне скорей нужна бесповоротность, разрыв, чтобы ГБ и не пыталось из меня ничего вынудить. И такой (дикий) контраст: а вдруг ГБ кинется раньше меня напечатать захваченный «Архипелаг» (ведь было ж с Аллилуевой) — так мы докажем, что экземпляр ворованный, неполный, старая редакция, — и шлю Бетте перечень доказательств. Или наоборот: Советы попробуют запретить «Архипелаг» на Западе? По требованию Хееба шлю ему «по левой» ещё новое «Подтверждение полномочий» — специально на случай «Архипелага»: что он полномочен на все публикации этой книги — и при этом свободен от личных платёжных обязательств (он опасался подобного оборота дел). Теперь — «Завещание» перестало быть нужным, теперь — открывается период сплошного печатания всех моих вещей, ограниченный лишь нашими техническими возможностями. Да, и вот же что, сразу не сообразишь: теперь — ленинскую главу из «Августа» уже можно не прятать, нельзя ли успеть её вставить в какое-то издание? И теперь, когда отменили радиопролушивание в СССР, — едва появиться «Архипелаг» — читать его сразу по всем станциям! (Какой я разгони-стый! — ни «Голос Америки», ни Би-Би-Си не пошевеливаются, чтобы не портить дипломатических отношений с СССР...) Фильм «Танки»? — как только если заключите договор — сейчас же заметку о том в газете. (О-о-о, ещё дальше до фильма...) Всё взрывать, всё, скорей! «Жить не по лжи» предполагаю публиковать в феврале. (И точно угадал!)

Шлём в Цюрих плёнку «Октября» — на том, на чём он остановлен, может быть, никогда уже не доканчивать. Пересылаем уже частями и статьи «Из-под глыб».

Но ещё же срочней! — в середине декабря посылаю Никите «Письмо вождям», — оно должно быть напечатано через 25 дней после Первого тома «Архипелага»! (Совсем ошалел, не понимаю, что делаю, рублю сук под собой: да если Запад прочтёт то «Письмо» — ему и «Архипелаг» ни к чему.) И скорей переводить!

За «Письмо вождям» неведомая мне типография ИМКИ принялась тут же. А когда «Архипелаг» ударяет 28 декабря — вдруг просвечивает мне, что «Письмо вождям» надо задержать от печати! Отчасти: друзья предупреждают, что на Запад оно подействует отталкивающе. Но — не это главная причина для меня, я увидел теперь другую: «Письмо» зазвучит сейчас не как в сентябре, когда я его отдал в ЦК: сегодня можно будет заподозрить во мне тон уступчивости? В гуле раската «Архипелага» — момент для «Письма» неудачный, нет. Нет! («Чугунная голова, не высыпайся!»)

В начале января 1974 пишем Никите и Бетте: задержать «Письмо» на неопределённый срок, никакого распространения, ни даже по переводчикам, остановить и все переводы!

Но — опоздало то письмо, и ничего б мы не удержали! — в ИМКЕ у Никиты уже был готов тираж, и готовый французский перевод на входе в типографию, — задержали мы каким-то условным косвенным телефонным звонком. Задержали! не утекло! (Попадание?! или промах?! — всё зависело от побочных случайностей и не оценивалось мной во всём объёме серьёзности, голова и тело становились полунечувствительны. Не удержи мы «Письма» — кончилось бы со мной скорее тюрьмой, а не высылкой за границу: никто б меня на Западе тогда не отстаивал.)

И ещё ж эта добавочная вся дерготня падала и падала на Бетту! — в недели, когда она сдала в издательство Первый том «Архипелага» и начинала переводить Второй. Сколько же ей надо и терпения, и поворотливости ума! В конце января, последнее её письмо, уже не достигшее меня в СССР: «К необыкновенному подъёму добавляется страшная усталость и вечное ноющее чувство, что что-то не успеваешь. Просыпаюсь от постоянных теперь кошмаров: что-то важное забыла сделать! даже вскакиваю иногда... Очень рада, что «Письмо вождям» отложено: это страшно запутало бы здешних людей и даже повредило бы пониманию «Архипелага». Чтоб понять «Письмо» — надо знать Россию...»

И справедливая гордость у неё: «С «Архипелагом» удалось выдержать тайну до конца». Но уже она и измотана: часть перевода Второго и Третьего томов будет делить с напарником, теперь не нужна прежняя тайна. Перевод Бетты хвалят — Бёльль, «Цайт», «Шпигель».

...«Но и сосущая тоска и страх за вас...»

А я ей, в разминувшихся письмах:

«Есть ли у меня ощущение, что мы с вами никогда больше не увидимся? Отчётливо: нет! Уверен в живой, интересной, неторопливой встрече. Как? Загадка. Много чудес и неожиданностей нас ещё ждёт... Пусть новый год будет годом наших побед!.. Не хочется прощаться, но на всякий, на всякий случай...»

И Аля на последнем письме, размашисто: «12 февраля. Сегодня Саню увели в 5 часов, 8 человек. В 10 вечера мне позвонили, что он арестован. Продолжайте, не снижая темпа! Пусть в с е вещи, одна за другой, выходят в свет. Это — главное».

Уже в первый день мой у Бёльля приехали и Лиза, и Хееб — внушительный, важный, высокий, дымил трубкой. Звонил из Парижа и Никита Алексеевич, предлагал приехать туда же, но всё сразу в груди не помещалось, я пригласил его ехать в Цюрих. С ним встретились уже в доме у Хееба — сразу очень тепло: был он и единственный русский из всех, плотно окружавших меня, и такой сразу близкий, понятный, чего бы ни коснулись, — хотя он всю жизнь эмигрант, а я всю жизнь советский.

И вот весь Опорный Треугольник — собрался в одной комнате, и разговариваем свободно, вместо зашифрованных писем, — кто б это мог недавно предвидеть! Дом — весь окружён, охвачен слежкой, — но корреспондентской, не чекистской.

Этот Опорный Треугольник сделал для меня ещё больше, чем он реально успел переработать: он создал ту уверенность во мне, ту невидимую за спиной стену, на которую опершись, я мог стоять против Дракона ничуть не колеблясь, ни на миг не сожалея, готовый на всё до любого конца.

И ещё два-три дня Никита Алексеевич прожил в Цюрихе, сопровождал меня всюду, когда я по цюрихским улицам не ходил, а бегал, а за нами — целая свора телевизионщиков и журналистов: и в подвалы цюрихского кантонального банка (там в сейфе хранились все наши плёнки, «Жить не по лжи» я тут же выдал Н.А. для печати, уже порадовавшись, что Аля не дрогнула опубликовать это обращение в Москве; журналисты вокруг банка заключили и передали, что я пошёл считать свои капиталы); и на фильм «Один день Ивана Денисовича»; и к дому, где жил Ленин; и на горы, в Штерненберг, можно ли мне там работать; и на вечерню в бенедиктинское аббатство. Очень просто, легко оказалось с Н.А. объясняться, я ему уже рассказывал о «Телёнке», о «Стремени Тихого Дона» и что ещё будем вскоре издавать. Русскими делами Н. А. был заинтересован глубочайше, пристально. Отсюда и начались наши годы и годы совместной издательской работы.

## ИНОСТРАНЦЫ

В главном тексте «Телёнка» я заявил, что всё на Запад передавал всегда самолично. Я написал так, чтобы прикрыть — Еву, Диму Борисова и Женю Барабанова.

На самом же деле: до 1968 никто, кроме Евы, с Западом меня не связывал, — она определяла возможности и случаи, а я такой заботы совсем не знал. Затем работал канал Барабанова—Дуровой, и снова мы были обеспечены по посылке рукописей, по обмену письмами с нашими союзниками — Никитой Струве и Беттой. Стал разгораться аппетит, что и книги хотим получать с Запада, — и тут

выискала Ева Акселя и Жаклин Краузе; он был американский коммерсант, который мог получать неконтролируемую объёмную почту, — и они охотно помогали многим, в том числе и нам. И долгое время тем более казалось: вполне достаточно. Потребности связи прямо с иностранными корреспондентами, как уже появлялось у многих москвичей, у меня всё ещё не возникало: я много лет от того удерживался и не предполагал до такой необходимости дойти.

Жорес Медведев, не раз предлагавший конспиративные услуги (но я из осторожности всегда их отводил), осенью 1970 склонял меня на встречу с норвежцем Пером Хегге, тогда меня искавшим, — но и тоже было мне ни к чему. А тут — дали Нобелевскую, и Хегге, где-то выведав телефонный номер Ростроповича, застиг меня своим звонком, и я невольно ответил на его вопросы. И когда нобелевская история потянула следующие шаги, нелегальную передачу писем в Скандинавию, — естественно и повело продолжать с Хегге. Одну встречу устроил нам Ж. Медведев и с нами прошагал несколько тёмных кварталов, следующий раз в толчее у Ленинской библиотеки мы встретились уже с Хегге вдвоём, опять пошли по тёмным кварталам, и в каком-то неведомом проходном дворе близ Волхонки я совал ему свои нобелевские материалы, это не очень быстро и ловко получилось, а когда мы после этого вышли на другую улицу, то увидели: ярко светится вывеска отделения милиции: двор этот был — милицейский...

Вскоре затем Пера Хегге выслали из СССР. Жорес перестроил свою связь на Р. Кайзера («Вашингтон Пост») и Х. Смита («Нью-Йорк Таймс»). И опять предлагал мне — и опять мне было ни к чему.

Прошёл ещё год — мы с Алей, как редкость, выбрались в Консерваторию. В антракте ко мне подошёл настойчивый и несколько грубоватый Улле Стенхольм — опять скандинав, но теперь от шведского радио, и просил интервью. Я отказал. (С ним ещё хлопоты в будущем: придёт на квартиру к Але: какие будут поручения, он едет в Цюрих брать интервью у Хееба. Да никаких! — но теперь срочно надо сообщать через Бетту, чтобы Хееб не поверил, будто он от нас.)

В тот вечер многие просили у меня автографы, не пришлось оглянуться беспрепятственно, не пришлось нам заметить на себе пристальных вдумчивых глаз ещё одного молодого шведа, который, однако, не подошёл в тот раз.

А пришёл позже. Застал дома Алю — сразу понравился — своей чистотой, прямоотой, даже корреспондентской неопытностью, всё это открыто выражалось его молодым голубоглазым, хотя и строгим лицом. Где-то навидавшись старого крестьянского порядка, внезапно, — Аля даже не заметила, и такого порядка не было у нас в квартире, — вытянул ноги из ботинок и пошёл в комнату в одних носках, — движение и побуждение невозможные для третьего корреспондента! (Много позже узнали мы, что он — сын пастора из южной Швеции.)

Он пришёл даже без намерения просить интервью, а просто, может быть, — в чём-то помочь?..

Записались его координаты, завязался узелок. Стиг Фредриксон, телеграфные агентства всех скандинавских стран (наследник Хегге).

Тут (весной 1972, когда меня сильно придушивали) задумал я давать большое, вообще первое своё, интервью, но его надо было предложить очень громким газетам — и мы выбрали (правильно) две ведущих американских и пригласили корреспондентов (косвенно, через Ж. Медведева) на определённый день. Пришли Х. Смит и Р. Кайзер — с магнитофоном и заготовленными (поразительными по мелкоте) вопросами. А у меня-то всё содержание было тоже подготовлено (в нём только для меня и смысл!) — да в письменном виде. Ничего не ведая о западных корреспондентах и газетах, я считал, что они довольны будут и в такой форме взять, разве не сенсация? Оказывается — нет, они — оскорблены и унижены были таким предложением (и, как потом я западные газеты понял, иначе они и не могли отозваться). Самое большее, на что — из уважения ко мне и страсти к сенсации — они соглашались, это — взять не дословно, но большую часть моего содержания, всё это переделав в свою «стори», то есть порядок, стиль и акценты доверивши лишь своему перу, — и за то приняв на магнитофон ещё и ответы на их стандартный набор вопросов (о Евтушенке и др. ...).

Всё-таки жалко было эти две громкие газеты упускать. Я согласился, сам решив — мой полный текст отдать Стигу, чтоб он на следующий день передал его своим скандинавским агентствам. Я ещё не понимал, что «на другой день» это вообще не новости, грош им цена, хоть и с дополнениями, никто их не

возьмёт. А мне казалось: истинный авторский текст — как же может не интересоваться? А Стиг? — Стиг определённо верил, что от него примут.

Так и сделали. Две громкие американские газеты искромсали мой замысел в вермишель, приправили важное чепуховыми наблюдениями и рассуждениями, — а в Скандинавии не появилось ни строчки моей, всё впустую, хотя Стиг всё от слова до слова отстукал на телетайпе.

Тут через неделю сорвалась нобелевская церемония в Москве, и надо было сделать короткое заявление — и непременно в Скандинавию же. Решили, естественно, — через Стига, нравился он нам — и честен безусловно, и к душе прилегал.

В этот раз — прекрасно и быстро всё получилось. Значит, в первом случае действительно отказались агентства.

А между всем этим придумали мы со Стигом встречу вне дома — в подземном переходе Белорусского вокзала, откуда и куда всегда лежал мой путь с ростроповической дачи.

В конце апреля встретились (у меня в кармане — плёнка нобелевской речи, которую не сумели иначе отправить, да и опять же — в Швецию надо). Я стоял в незаметном месте, он — с женой Ингрид проследовал под руку, я, выждав, — за ними, а Аля — из другого места, ещё выждав, проверяя, не следят ли. Всё оказалось благополучно, и потом, нагнав их, мы вчетвером пошли не спеша по Ленинградскому проспекту. (Никогда ничем не ёкал этот мне проспект, сколько я вдоль него ни мотался, а теперь при каждом воспоминании: последняя улица, по которой везли меня на высылку из России.) В разговоре я предложил ему, он согласился, и в тёмном дворе я передал ему плёнку. По народной примете, беременная баба при деле — к удаче. А тут — две было беременных, наши обе жены, и он увозил свою в Швецию на роды. (Рассказывал Стиг: эту плёнку он вставил в маленький транзисторный приёмник, так и увёз и передал в Шведскую Академию. Нам показалось — остроумно, напоминало это и мои многолетние прежние заборонки.)

Вернулся он, рассказал об успехе. Мы ещё встретились с ним два раза до лета. Так легко достигнутый и такой честный контакт ценно было сохранить. Постепенно, уже только вдвоём с ним, мы отработали технику встречи: по каким ступенькам идём, на каком расстоянии я, куда сворачиваем потом, где я нагоняю. В середине лета Стиг вдруг не пришёл, мы удивлялись. Потом другой скандинавский корреспондент забросил нам трогательное его письмо на непритязательном русском: возвращаясь автомобилем из Финляндии и торопясь именно к вечеру нашей встречи, он попал в автомобильную катастрофу. «Но в ту минуту Бог был со мной — и я надеюсь вылечиться даже без последствий».

Этот несчастно-счастливым случай уже окончательно нас соединил.

И всю осень 1972, зиму на 1973 продолжались наши встречи, всегда в темноте, в тёмных переулках и дворах близ Белорусского вокзала. (Час встречи был постоянный, а следующую дату, и ещё резервную, мы всегда назначали, расставаясь.) И как-то теперь прояснилось, что это совершенно необходимо, без этого даже жить мне нельзя, — как же это я 9 лет жил без прямых личных встреч с западным человеком?! Появилась маневренность, которой прежде не было, быстрота передачи, и всякий раз было и что передать, и что получить (так пошли теперь все мои *левые* письма к Струве, Бетте и адвокату, вся жила главных связей). И небольшие скрутки плёнок, новые варианты, новое написанное. А Стиг дальше передавал через дипломатическую почту; но не свою шведскую, которая была, по-арестантски и по-советски выражаясь, *сучья*, — а через иную. Там, сколько я помню, все годы, разные годы, служили исключительно благородные люди, помогали не нам одним, и никто никогда не провалился, никто никого не выдал. (Никого не знаю и сегодня, чтобы назвать, — но кланяюсь тем людям!) Мы назвали этот канал — ВСП — Великий Северный Путь.

В этих прогулках внезапно возникла идея: Хансу Бьеркегрену — шведскому писателю и замечательному переводчику (своими отличными переводами «Круга» и «Корпуса» к 1970 он во многом подготовил для меня нобелевскую премию), начать немедленно шведский перевод «Архипелага», взявши текст — у кого же? Да у Хееба. Так наши связи замыкались и на Западе. Бьеркегрен дал свой адрес для писем с Запада ко мне. (А дальше — опять по ВСП.)

В своё время большевикам не приходилось пользоваться для связи помощью иностранных корреспондентов, и в голову бы такое не пришло, да и корреспонденты бы вряд ли взяли: лишь сами большевики создали такой строй, при котором сердечные иностранцы не могут не принять на себя запретной миссии

тайных передатчиков. Так же — и дипломаты: с тех пор как советские дипломаты за границей почти все сплошь — правительственные шпионы, а западные посольства в Москве и лояльны и беспомощны, — у отдельных служащих посольств и дипломатов не могут не шевельнуться справедливые сердца: помочь нам, беднягам. Ниже будут ещё удивительные тому примеры.

Одновременно с Великим Северным Путём сам собою, — нет, Божьим соизволением, — напросился, открылся второй путь. Давно перед тем, в декабре 1967, рвалась в Москву на переговоры со мной Ольга Карляйль, ей визы не дали — и тогда она попросила съездить в Москву туристом (а между тем — встретиться со мной) Степана Николаевича Татищева, молодого парижского славяноведа, тоже из второго поколения первой эмиграции. Татищева пустили беспрепятственно, в Москве он сразу позвонил Еве — кого не знала она из русских парижан?! — и Ева привела его на встречу со мной к Царевне, по пути, на улицах, в магазинах, уча его, как вести себя в ожидании слежки, и проверяя, насколько он храбр. (Оценила, что: побаивается, но — пересиливает.) Сам предмет переговоров (вопросы наизусть, ответы на память) тогда казался важен, потом ничего важного из них не последовало, но знакомство — состоялось; и несколько близким друзьям, в тот вечер собравшимся у Царевны, Татищев понравился: был мил и остр в разговоре, не напряжён от конспиративности, рассказывал забавно о левом перекосе парижского студенчества и всей интеллигенции. Выяснилось, что с Никитой Струве он преподаёт в одном университете. Мы разрешили ему приоткрыться и объясниться с Никитой.

И ещё второй раз он потом приезжал туристом, мы виделись снова у Евы, опять без большого дела, но всё более осваиваясь. Рождалось полное доверие. (Однажды Степан был поражён — гулял по Москве и увидел перекресток с надписями: Ул. Шухова — Ул. Татищева. Счёл за знак...)

И вдруг весной 1971 та же Ева принесла поразительную новость: Степан Татищев назначается в Москву французским культурным атташе — на целые три года! Невероятная удача, какими мы не были избалованы. (Потом рассказал Степан Николаевич: к нему, как к славяноведа, позвонили из м. и. д. за советом, кого бы назначить на новые три года в Россию, — а он, без оглядки тянясь на родину, нестеснительно рекомендовал сам себя! — и кандидатура была принята.) На три года — достоверный надёжный постоянно действующий дипломатический канал, — не ждали мы! (Но Ася Дурова не захотела быть с ним откровенной, и каждый продолжал своё по себе, в одиночку, тайком ото всех в посольстве.)

Не совсем надежды наши оправдались, Татищев (для маскировки называли мы его «Эмиль», а для русского звучания «Милька»), кажется, наделал вначале опрометчивых шагов, из-за которых должен был потом долгое время осторожничать. Впрочем, стиль — это человек, у Татищева был свой стиль, не вполне отвечавший нашим ожиданиям; как он сам уверял — в его кажущейся лёгкости и заключалась его настоятельная бдительность (Ева, в высшей степени именно такая, со стороны находила Мильку безрассудно-неосторожным и всё его поправляла и поучала). И правда, никогда он не попался и без провала выслужил весь срок. Не раз ослаблялась с ним связь, далеко не всегда, не сразу и не в нужном объёме мы могли с ним передать, — но порою он нас очень выручал, особенно передачей письма, распоряжения, известия — и всегда прямо к Струве, без околичностей в нужные руки! Однажды очень выручил, отвез большой список *номеров* — кому и от чего имени переводить из-за границы деньги в помощь. Два независимых канала очень удобны: каждый заполняет промежутки другого.

Татищев окончил свой срок уже когда я был на Западе: Но следующий после него французский культурный атташе в Москве, Ив Аман, француз, глубоко верующий и преданный русской культуре, до уровня готовности на риск и жертвы, — очень много помог нам\*.

По возвращении в Париж Татищев оказался нам полезен ещё больше прежнего: через других лиц французского посольства он сохранил прямые связи с Евой — и та ещё весь 1975 год продолжала нам досылать на Запад большие

\* В отличие от Татищева, Ив был чрезвычайно осмотрителен, выдержан — и министерство иностранных дел Франции охотно оставило его на второй срок, ещё после 1977. То-то мы радовались! Знали мы его — «Фей», не произнося его имени под потолками даже западными. В 1975 он рискнул приехать к нам в Цюрих. Оказался, нежен, сдержан и молчалив. (Примеч. 1978)

объёмы моего ещё оставшегося архива, — так методически дочитались все главные хранения, остальное они там по нашим пометкам сжигали. (Старые алины списки хранений, цифровой код пересекали границу туда и сюда.)\*

Весной 1973, когда я уже начал сборы к отъезду от Ростроповича, расставался навсегда и с Белорусским вокзалом, я предложил Стигу перенести наши встречи на Киевский вокзал — направление к Рождеству, последнему моему, уже лишь частичному, убежищу. Поездки в Рождество были дальние, с грузом, не так регулируемые по расписанию, — и весной я предложил Стигу утренний час. Он смело согласился, и раза два мы так встречались — при ярком свете летнего утра, на кишащем вокзале, затем на окраинной улице в зелёной беседке рабочего квартала у метро «Студенческая» — доступные фотографированию, разглядыванию, лёгкой слежке, — но и друг друга мы давно уже не видели при дневном свете! (Впервые и он меня сфотографировал — не по-корреспондентски, для себя.) Очень у него было благородное, умное, честное лицо, всегда худое и бледноватое — по-скандинавски ли.

В ту весну возникла у него идея: поехать познакомиться с моим адвокатом. Я одобрил. (Он очень потом уважительно отзывался о солидности и уме Хееба — и это углубило мои ошибки.) А взамен себя на лето, «если что случится», предложил Фрэнка Крепо из «Ассошиэйтед Пресс». И — случилось, и — понадобилось в конце августа, но только к тому числу сам Стиг уже вернулся из отпуска и пришёл ко мне на свидание — на скамейку у «Студенческой», вечером, в рыхчатый фонарный полусвет под деревом.

Это было — августа 19-го или 20-го, я пришёл к Стигу на свидание с планом целой серии ударов моей задуманной контратаки. Я так понимал, что это — последнее и высшее, что мне дадут сделать, и я предлагал теперь Стигу выйти из его тайной роли — опасной и ничего не прибавляющей к его имени, предлагая теперь ему самому открыто брать у меня интервью. (Я всё ещё не усвоил, что для моих интервью глухой скандинавский угол был худший путь.)

Мне казалось: он охотно возьмётся, это укрепит его, создаст ему славу. А он, в полутьме под вечерним деревом, чуть подумал — и отказался.

Это удивило меня. Да не раз он потом удивлял меня, Стиг. Не он один, и другие славные друзья с Запада. Тут много сошлось противоречивого.

Для западного корреспондента жизнь в Москве по многим причинам — весьма высокий, льготный, важный пост — и для карьеры, и с хорошими условиями (до бесплатной няньки к детям, советскому правительству расходов не жалко, оно правильно рассчитывает: хорошо обеспеченные журналисты будут держаться за место, корреспондировать не резко). А так как Стигу ещё можно было оставаться в Москве полтора и даже два с половиной года, то он взвесил — и благоразумно отказался.

Благоразумно, рутинным западным размышлением. Но совсем не благоразумно, но отчаянно смело, он этим самым постом и даже всем званием журналиста рисковал в каждую встречу со мной. И идя на свидание с запретным в кармане (однажды и был задержан дружинниками, но не посмели его обыскать), и возвращаясь с другим запретным. Ведомый чувством, он рисковал гораздо большим и совершенно бескорыстно, чем когда рассудочно умеривал себя привычными западными доводами. (В людях западного воспитания, когда они соприкасались с нашим движением, я замечал удивительное это совмещение: жертвования своей головой — и не упущенного привычного счёта копеек.)

Это не укоренелое свойство западных людей — быть в каждом шаге расчётливым до мелочей и чем любезней внешне, тем безжалостней по сути, но это —

\* Всегда Тагищев легко принимал и пересылал письма — ведь не шуточная лилась у нас все годы переписка из Европы с Россией, с десятками людей. Но, воротясь из России, он сердце оставил там и не мог уже удовлетвориться прежней парижской жизнью. С 1975 на 1976 он дважды ездил туда туристом, сошло благополучно, но, очевидно, наделал неосторожностей. Когда снова поехал летом 1977 — за ним установили открытую плотную слежку, предупреждали: «ноги переломаем». Он не испугался, еле оторвался от них на каком-то базаре, уверяет, что начисто, счастливо, приехал после того к Царевне, ещё что-то передал, — но по возврату в гостиницу был тотчас выслан из страны.

А через 8 лет он умер, от рака, почти внезапно, ещё совсем молодым. Из последних дел его для родины, теперь для него закрытой, было: установить радиовещание на Россию, «Голос Православия». (Примеч. 1986)



влияния Поля, куда попадает человек. А в России давно существовало (несмотря на советское утешение) Поле щедрости, жертвенности — и оно передаётся иным западным людям, внедряется в них, — может быть, не на век, но пока они среди нас.

Стиг так вошёл в наше конспиративное напряжение, что по поводу опасности разгласки сказал один раз: «Да мне лично всё равно. Я просто думаю — я больше смогу вам помочь, если не пойдёт слуха».

А от интервью — отказался. Потому что оно лежало не в полосе безмерной опасности, где вели его чувства (и прелестную жену его Ингрид — тоже), а — в полосе обыденности, где полагается рассуждать логично, как все, и не делать глупостей.

Итак, на интервью он прислал Фрэнка Крепо (очень милого, честного, хорошего) и, по моему настоянию, корреспондента «Монд», весьма самоуверенного, чужого. (Я ещё очень не разбираюсь тогда в оглядчивости и двуличности этих газет. Всех их мы с Востока считаем гораздо свободолобивей, чем они есть. Под потолками мы с корреспондентами не разговаривали лишнего, я записку написал, что хотел бы в «Монд» напечатать серию статей о советской жизни. Я думал — они схватятся, а «Монд» даже с негодованием отказалась: зачем им статьи от меня, если у них свой корреспондент в Москве?..)

Ожидая плотного боя, мы со Стигом договорились на сентябрь 1973 встречаться каждые десять дней. Даты были намечены заранее, но плотность понадобилась ещё больше. Я узнал о провале «Архипелага» — и надо было мгновенно передать об этом на Запад и слать распоряжение о наборе. Для таких экстренных случаев также у нас было разработано: позвонить Стигу рано утром до прихода его советской секретарши. Голоса и алин и мой он узнавал тотчас, и всегда это значило: сегодня вечером надо встретиться (час и место известны). Но что же при этом сказать, ведь телефоны подслушиваются? Стиг хорошо придумал: «ошибочный» звонок: «Скажите, это химчистка?», «Скажите, это бюро заказов гастронома?.. Как? это не бюро заказов? Простите, пожалуйста!» Достаточно, чтобы голос узнать. Но довольно телефону испортиться, или быть долго заняту, или не быть Стигу дома... ?

4 сентября всё было удачно — и такой «ошибочный» звонок из пригородной тесноты Ленинградского вокзала, и сама встреча. Вечером с тройной осторожностью я долго путал: с дачи уходил другими переулками, в метро делал пересадки на быстро пустеющих станциях, как «Красносельская», там перрон остаётся совсем чист, и полная гарантия, что ты оторвался.

Однако когда Стиг подходил ко мне в нашем укромном месте у «Студенческой» — мне показалось: мелькнула фигура, проверила, что мы встретились, и спряталась за дом. Я сказал Стигу. Он рассмеялся: «Да. Это — Удгорд», — норвежский журналист, его друг, которому одному он рассказывал о наших встречах.

Удгорду очень хотелось тоже встречаться, но этика не позволяла пребывать друга, и он даже не подошёл познакомиться.

В этот вечер 4 сентября я что-то много передал: и известие об «Архипелаге», и «Письмо вождям», и много распоряжений на Запад, и плёнку свою какую-то. Помню: как гора свалилась, вечером у нас с Алей был праздник: всё рушилось, а мы вот — выстаивали. (И она — последние дни вытягивала, донашивала Степана, по сгущению событий, какое любит природа, — через четыре дня он и родился.)

В ту страшную последнюю осень мы со Стигом встречались, однако, вполне благополучно. В зажатом моём положении эти встречи были незаменимой отдушиной. Один раз для передачи дополнительного письма, внезапно возникшей надобности, договорились, чтоб не мелькать ему: пусть Ингрид прогуляется по Нарышкинскому бульвару, а Аля навстречу с Ермошкой. Был и я. Женщины наклонились к ребёнку, тогда не видно издали движенья рук, Аля передала письмо, Ингрид — европейскую свечу нам на Рождество.

И они уехали на Рождество в Швецию, а тут разразился «Архипелаг»; вся буря, — и как же долго было ждать возврата Стига! Необходимость связи, вопросов, посылки исправлений возникали чуть не каждые три дня. Правда, в эти лихие дни много корреспондентов заходили к нам домой, одни — поживиться новостью или фотографией, другие — нам помочь (Джон Шоу, Фрэнк Крепо). Одного западного воспитания и живя в одинаковых условиях — очень по-разному проявлялись «инкоры» в те дни.

Последний раз наша тайная встреча со Стигом была 14 января 1974, в самый день, когда «Правда» начала против меня крупную атаку прессы: Уже проглядывала среди других и такая возможность: что не арестуют меня, а вышлют на Запад.

В этом случае думал, что останусь в Норвегии. А Стига хотелось сохранить себе, такого славного друга. И я сказал ему: если будет так, а он пострадает за связь со мной,— чтоб он не боялся высылки из СССР, слома корреспондентской карьеры,— будет в Норвегии у меня секретарём и общей связью с окружающим миром.

И в нём тоже это уже созрело, ему нравилось.

В подворотне, где никто не видел нас, мы обнялись на прощанье.

А следующая встреча была назначена на 14 февраля. (Двумя сутками позже моего ареста...)

Но и Стиг, и с ним Нильс Мортен Удгорд заходили к Але в январские дни, это выглядело тогда естественно, а помощь и дружба были остро нужны. Это было уже начало того роевья инкоров в нашей квартире, которое вспыхнуло после ареста и дало Але возможности спасти всю мою живую работу, всё написанное, недописанное, оборванное — и всё в одном экземпляре, и копировать уже некогда. (ГБ, я думаю, не представляло, сколько у меня уже наготовлено — по «Колесу», по Ленину, по большевикам, по всей революции, и насколько для меня невозстановимо, если б я это всё потерял,— я думаю, они б тогда отначала, от моего ареста загребли бы.) Как только меня увели, Але надо было — убрать это всё скорей с квартиры, сперва — хоть куда-нибудь, потом — на возможный старт отправки за границу, и уносить бы это всё — безопасней иностранцам? Корреспондентов и лился непрерывный, многолюдный поток, он давал прикрытие, но у них не было обычая носить что-либо в руках по Москве — они чаще всего приходили с пустыми руками, а значит и выйти нельзя вдруг с сумкой, значит только — рассовывая пакеты по карманам? да чтоб не слишком «утолщиться»? При всём, со всеми сразу — Аля не говорила и не передавала ничего: присутствие чужих мешало сговариваться со *своими*. А уединялась с посвящёнными в маленькой комнате, там объяснялись записками (и голосом же нельзя! да мало того: пока пишешь записку — надо голосом молоть что-нибудь пустое), там и передавали пакеты.

И Нильсу Удгорду, совсем недавнему знакомцу, но с таким благородством, крупному, с чертами прямыми, спокойными, с такой уверенностью движений, и среди всех корреспондентов самому образованному, учёный историк, он отличался ото всех),— ему первому в день моей высылки Аля открыла задачу: «Есть большой объёмный архив, и его необходимо вывезти. Можете?» (А он уже был «с прошлым», его уже поносила «Комсомольская правда», значит — на заметке). Обдумав, на следующий день он попросил у Али письменную доверенность для возможных переговоров:

«Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с . . . . . Прошу Вашей помощи вывезти архив Солженицына».

А дальше он и поступил крупно, подходя к делу с масштабом историка, а не корреспондента.

К сожалению, этой замечательной операции, спасшей мои главные рукописи и обеспечившей мне многолетнее продолжение работы над «Красным Колесом», и сегодня ещё нельзя рассказать.

...Что Удгорд не вполне понимал — это как теперь уместиться в те два разрешённые ему чемодана? Уже ясно становилось, что архива — больше. (Ещё казалось: и спешить надо в часах и днях; что мою семью могут тотчас вышвырнуть из Союза.)

По счастливому совпадению, воротясь с концерта домой, он застал там своего приятеля Вильяма Одома, 40-летнего помощника американского военного атташе, перед тем — преподавателя русской истории в Вест-Пойнте, тоже доктора исторических наук. Сейчас он принёс Нильсу только что вышедшую брошюру АПН против «Архипелага» и меня.

Под потолками говорить нельзя, и, имея в виду многое ещё оставшееся, Нильс написал Вильяму:

«Большая проблема — архив Солженицына».

Вильям Одом был уже достаточно омокнут в историю этого века и нашей страны. На Корейской войне он не был только потому, что в тот самый год вступил в академию Вест Поинт. После неё изучал советскую историю в

Колумбийском университете, сам писал исследования о Свердлове, об Осоавиахиме, послужил в американской миссии при советских войсках, и 2 года во Вьетнаме, и вот уже 2 года в Москве, и кончал свой срок здесь.

Он согласился по сути сразу: только бы не знал никто, в том числе и сам Солженицын. Ему предстояло паковать, отсылать свой личный багаж (как дипломатический) в Соединённые Штаты — вот туда он и вложит архив. Это освобождало его от необходимости обращаться к кому-либо из чиновников и, может быть, чей-то отказ получить. Но всё же своему начальнику и другу, военному атташе контрадмиралу Майо он рассказал о замысле.

...Но не так благоприятно всё это представлялось в осаждённой нашей квартире. Смятение было и в бумагах, смятение и в предположениях: чего ждать? Что нет обыска дома — это стало ясно за сутки-другие! Но — будут ли хватать выносящих? кого? с какого момента?

Когда меня взяли — не только на моём столе разбросана была конспиративная переписка с Западом, но и на алином лежала — шифровка, содержащая всю систему хранения: у кого где что! А теперь вот Але надо было разобраться во всём хранимом (дотянуть руки, куда они годами у нас не дотягивались), выстроить новую систему и о каждой вещи решить: что — непременно надо отправить за границу мне вослед; что — желательно; что — следует оставить храниться в СССР до востребования; что — хранить, но никогда не востребуем; что — уничтожить.

Оттого, хотя и проще было из разных мест хранения сразу перекидывать на отправку, но так — почти не пришлось, а рискнула Аля всё пропустить опять через угрожаемую квартиру, внести и вынести, а здесь пересмотреть, иногда по листику, группируя в новые конверты. (Эту работу могла делать только Аля сама, да приходила вечерами и очень много сделала Люша.)

Но прежде того, пока ожидали обыска в доме, — первым толчком стали срочно *уносить* — к кому-нибудь! на другие квартиры!

Ещё в вечер моего ареста Стиг на себе (на свиданьях со мной он привык использовать поместительные карманы) унёс заготовки статей «Из-под глыб» и письма на Запад. А потом со своими, советскими, отправляла Аля к друзьям на разные квартиры. Друзья вываливались сразу шумной кучей (у наших соседей Пастернаков сверх бумаг торчали перья лука, вилок капусты) и потом друг друга провожали, куда надо. Дима Борисов, Андрей Тюрин и Александр Гинзбург — новая фигура для нашего хранения, но не для русского подполья, — больше всех и толковее всех помогли в эти дни. Гинзбург уносил и концентрировал те рукописи, которые должны были остаться в СССР.

Дальше Аля отправляла уже не только мои рукописи, заготовки, но — редкие книги, важные газеты 1917 года. (Существовало советское таможенное правило, что запрещён вывоз книг издания до 1945 года — то есть как могущих быть «не того» направления, а мои-то книги, о революции, все и были «не того», и даже хуже, еле спасённые от сожжения.) И ещё несколько человек (Вильгельмина Германовна Славуцкая, Александр Сергеевич Бутурлин) должны были уносить книги — самое объёмное, хоть уже малоопасное. В. Славуцкая сама придумала путь переправки книг и сама же всё устроила, это уж сверх ожиданий, замечательно.

Представилось, что корреспондентам *прямо от нас* носить опасно, а безопаснее будет взять с каких-то других квартир... Эти адреса сообщали Стигу и Нильсу — для инкоров, хозяев предупреждали, когда примерно ждать, а чтоб не ошибиться в пришедшем, у него в корреспондентской книжке будет стоять условный знак карандашом.

Так разбрызгался мой архив (как лужа, ударенная сапогом) по разным дальним местам Москвы, и даже окраинным, на Рублёвское шоссе и в Медведково. (Через несколько дней поняли неверность, стали стягивать всё опять назад к нам.) В Медведково ездил забирать сам Удгорд. Он сделает пересадку в пути, вторым такси подведет не до искомого дома, лишь до соседнего, — и отпустит такси. (Всё — чтоб не дать следов.) Но вот — нагрузил все карманы обширной «репортёрской» куртки, взял две тяжёлые пластмассовые сумки, вышел: а где ж. в глухом месте брать обратное такси? Три часа дня, светло. Проезжают в такси военные, полковник (а может — гебисты? ещё успеи разобраться), прилично одетый Удгорд «голосует», его подбирают, — но в дороге же разговор, и что он иностранец — понятно. (Проще было б автобусом?)

Сколько риска, совсем не обычного для корреспондентов в Москве! А ещё всякий день им надо полнонагрузно работать (таясь от приставленной советской секретарши), передавать сообщения в свои агентства, в свои газеты.

Очень по-разному в эти дни разделились корреспонденты. Для каждого это был — выбор совести, испытание, а славы — никакой, по работе не только никакого успеха, похвалы, продвижения, но угроза — всё погубить, все годы карьеры, все годы усилий: ведь газета присылала его совсем не для конспирации. (А Фрэнк Крепо после известных интервью со мной и разумно подозревая опасность, «Ассошиэтед Пресс» специально строго предупредила: в отношениях с Солженицыным не превышать дозволенного. А он — то и дело брал, то бумаги, то плёнки, — и с большим выражением на лице запрятывал: лицо его при этом передавало и как пальцы там где-то передвигаются в глубине, и как он судьбой своей играет, впрочем — с готовностью. Корреспондент «Фигаро» Ляконтр, увозя от Али среди ночи моё «Заявление на случай ареста», положил его внутрь носка, на подошву, в ботинок). И тут корреспондентам европейских, более понимающих, органов было легче. Например, Удгорд уверен был, что в случае провала его шеф поймёт и оправдает его действие. (Но и «таскал» же он несравненно с другими, загружая и боковые, и нагрудные, и заспиленные карманы своей «репортёрки», и перед выходом, большеротый, внимательно оглядывал себя в высокомо зеркале, не вытарчивает ли где.) А у американцев понятие карьеры особенно напряжённое: провал не получит морального понимания ни у начальства, ни у коллег, а только насмешку над неудачником. И понятно было, что иные отказались. Но три славных молодца — американцы Стив Броунинг, Роджер Леддингтон, Джим Пайперт, таскали бесперебойно. И трое надежных англичан: Джулиан Нанди, Боб Эванс и Ричард Уоллес. А чемоданы (будущие) велики, а карманы корреспондентские — малы. И приходилось некоторым ходить за взрывчаткой и нести её — каждый день! (Думаю, что ГБ, довольное моей высылкой, спокойно смотрело на роение корреспондентов и не хватало никого потому, что не хотело побочного скандала, — да не представляло же значение и объём увозимого.)

Пусть эти поздние-поздние строчки будут слабым воздаянием благодарности тем корреспондентам. Без этих нескольких западных людей затормозилась бы моя работа на годы.

А несли больше всего — к Стигу, склад собирался у него. (Оттого сам он ходил в это время редко.) Несли к Стигу — так все же и знали! Чем больше инкоров знало, тем величней была опасность разглашения. А вот — не разгласили! Ни тогда, ни потом.

22-го февраля стало известно, что я из Швейцарии поехал в Норвегию. И естественно, и удержаться было нельзя Стигу не поехать туда же, не встретиться со мной впервые после высылки, не обменяться планами, вопросами, ходом дел.

Тут — Аля допустила опасную ошибку, — и едва не крахнула вся отработанная операция: она послала со Стигом мне письмо. (Да ведь всё так удавалось, при самом большом нашем нахальстве, так долго удавалось, и именно со Стигом! — само толкало продолжать.) И всё равно: главный рассказ о ходе дел Стиг передаст устно. Всего-то написать ей было, кроме личного: объяснить, что она не поедет, пока не успеет всего спасти и спрятать (чтоб я по телефону не торопил её ехать); и что перед отъездом ей неизбежно сделать публичное заявление. Уж это — проще всего было устно и передать. Но — ошибка, кто не делает их при разорванной голове, при сдавленной груди?

В последние часы перед отъездом Стиг зашёл к нам, а вскоре ехал на аэродром. Маленький комочек письма он спрятал «испытанным» образом — в такой же или в тот же транзисторный приёмник, как уже вывозил два года назад нобелевскую лекцию. А «таможенник» без колебаний взял и открыл именно этот приёмник сразу — и забрал письмо. (Совпадение? Привычное место прятки? Или когда-нибудь где-нибудь Стиг шепнул под потолком?) Стиг залился краской и тревогой — униженно, как мальчишка! и — на чём? и — после скольких труднейших операций... (А дома-то, а на московской квартире его лежит весь склад для отправки! — а если теперь туда?..) Но гебист что-то высказал издевательское, письмо отобрал, а ехать дальше — не мешал. И Стиг улетел с тяжелейшим сердцем.

Он успел — шепнуть, соотечественнику из аэрокомпании. И тот поехал к Ингрид, рассказать. Ингрид заметалась — как спасти дело? А в гостях у неё в это время сидел . . . . . дипломат. Она решила просить его взять на время

опасный груз. Не очень охотно, но он увёз часть в своём автомобиле. (А проглядыватели-то — видели, как грузится?!). Другую часть стал перетаскивать неутомимый Нильс — частью к себе, частью — в . . . . . посольство.

Сколько лишних движений, сколько опасных перемещений, сколько прыжков по Москве! Как разрубленное тело иных животных ещё в отдельных кусках своих шевелится, вздрагивает, всплывается, ещё хочет жить — так дёргался, хотел жить мой архив!

(Весть о провале Стига домчалась и ко мне в Норвегию в домик художника Вейдемана — с Джоном Шоу из «Тайма», почему-то раньше самого Стига и в страшной форме: у Стига на аэродроме отобрали плёнки с моими рукописями! Это мне правдоподобно показалось, — плёнки были у него, и тогда какой удар, и какая опасность для него! Но часом позже приехал и сам Стиг. Узналось, что отобрали — письмо, но — неизвестно, насколько серьёзного содержания. А главное — стеснилось сердце за него, и появилась вина перед ним, вина, которой прежде не было за все годы наших ловких операций. Не было уверенности даже, пустят ли его сейчас в Москву назад.)

Нет! ГБ как задремало: удар не последовал, и Стига допустили назад беспрепятственно. Не додумались они до всех связей? сочли передачу письма случайной одноразовой услугой одного из многих толпившихся у нас корреспондентов? Или просто опасались расширять скандал вокруг меня?

А сопоставить многие случаи из этой книги, так: в деле со мной как заморачивало их, не хватало им рассудка и смелости на простейшее, на прямейшее!

Вернулся Стиг — и собрал назад свою часть моего архива. Опять он сидел на динамите. Но тут уже вступил действовать Нильс...

.....

...И сколько ни втянулся в эту операцию союзников — ведь западных людей, ведь непривычных, да ещё специалистов по сбору сенсаций, — ни один никогда не проговорился!!!

Решили мы с Алей по телефону: чтоб они летели в Цюрих не Аэрофлотом, а швейцарской авиалинией: её самолёты садятся на малом Шереметьеве-2, где швейцарский чиновник обещал и не допустить никакой советской проверки багажа, сразу его перенять. Но что придумали гебисты?! — за несколько часов до прилёта швейцарского самолёта распорядились: именно его, в этот раз, один раз — посадить на Шереметьеве-1. И — уплыли наши все чемоданы через большой конвейер — на гебистскую проверку. Долго держали. (Не знаю, что перефотографировали, но магнитные ленты все стёрли.)

Я знал, что всё идёт подспудно, что с собою Аля ничего серьёзного не везёт. Почему-то, или именно поэтому, бессознательным толчком, или созоровать: когда семья прилетела с 10 чемоданами, с сумками и корзинами, — я при всех корреспондентах бросился к багажу и сам припёр два тяжёлых чемодана с теми третьестепенными бумагами, которые Аля везла. Внешне выглядело: архив приехал легально. (А для чекистов: ничего другого главного я не ждал, кроме того, что вы сфотографировали в Шереметьеве, изучайте!)

...Лишь в апреле 1974 к нам в Цюрих заехала, по дороге в отпуск, в Италию, молодая немецкая чета с маленькой дочерью, и отец выгрузил из машины (однако и тут остерегаясь фотографа) — заветные два чемодана и сумку. И так он был осмотрителен, что при сыне адвоката Хееба не назвал себя, а молча протянул мне удостоверение личности.

Мы смотрели на них как на родную семью. Аля с радостной дрожью рук проверяла номера прибывших пакетов. Всё главное, всё бесценное — вот оно! пришло! спасено!!

Ещё потом — много книг, нужных для работы, перевезёт Марио Корти, сотрудник итальянского посольства в Москве, очень сочувствующий подавляемому русскому христианству. Спасибо! вот и они опять на моих полках.

А то, что с Одомом, — дольше шло. Багаж-то его пришёл в Штаты пароходом, но сам он ещё несколько месяцев провёл в Европе. Пришли те сокровища к нам в Цюрих только в сентябре 1974.

А в конце июля были в гостях у нас Нильс с Ангеликой, и он привёз с собою ещё одну, несрочную часть архива, но тоже почти чемодан. Новая радость! Уже и цюрихским стенам мы не слишком доверяли, ничего не стоило и тут приставить снаружи присоску подслушивать, — поехали с Удгордом в горы, в уединённый

дом в Штерненберге, и тут Нильс впервые рассказал обо всех тайнах и движениях, со всеми именами. Какое чувство свободы и торжества владело нами: о таких тайнах говорить звучно — и как о прошлом! Уж тут-то, уверены мы были, — не услышит никто.

Удгорд взял у меня литературное интервью для «Афтенпостен», взял сигнальный экземпляр «Стремени „Тихого Дона“» и повёз в СССР. Всё это сильно не понравилось советским властям. Накоплялось у них и против него и против Стига давно и всё больше, — а неопределённо. Пошёл последний год пребывания их обоих в Москве — весной 1975 атаковала их «Литературная газета»: «Чёрное досье г. Удгорда», — но проявили, что не знали истинно того досье, а вздорно вменяли им — контрабанду произведений живописи. И Удгорд и Стиг стойко оборонялись, делали решительные заявления. Норвежские газеты и союз журналистов поддержали Удгорда, протестовали в советское посольство, требовали от своего министерства иностранных дел — защиты журналиста от травли. Была и Стигу защита в Швеции. Устояли оба\*.

В первые наши месяцы в Цюрихе — не раз навещали нас новые друзья-корреспонденты, с иными я знакомился впервые, они были у нас дорогими гостями, а возвращаясь в Москву — везли наши письма друзьям, а вскоре и первую помощь в Россию от нашего Фонда. Стив Броунинг приезжал к нам в ноябре на пресс-конференцию «Из-под глыб». С Вильямом Одомом я познакомился уже в Америке, ещё годом позже, — в большой тайне и с преогромной благодарностью.

Только тут, на Западе, поживя и наблюдая строй здешних настроений, я мог по-настоящему оценить героизм этих западных людей — именно героизм. Потому что мы все уже брели, облитые тяжкими (и радиоактивными) ливнями, мы если рисковали — то только на лишние ведра того же ливня, а западные — высказывали под эту мокрую бурю в своих сухеньких костюмчиках, из уюта, и в случае провала — всему их обществу, кругу их и друзьям весь выскот этот должен был показаться просто глупостью, недомыслием. Они переступали гораздо больший моральный порог, — и я не могу без восхищения смотреть на них, вспоминать их.

## 14

## СТРЕМЯ «ТИХОГО ДОНА»

В невыносимой плотности нашего движения, под гнётом потаённости и опасностей, когда большинство участников ещё и работало на казённой службе, когда не яблоку, но подсолнечному семечку некуда было упасть, найти себе свободную выщербинку, — кажется, уже ничто постороннее не могло отвлечь наши силы и интерес. А нашлось такое. И нашлись для него и силы, и время.

Это было — авторство «Тихого Дона». Усумниться в нём вслух — десятилетиями была верная Пятдесят Восьмая статья. После смерти Горького Шолохов числился Первым Писателем СССР, мало что член ЦК ВКП(б) — но живой образ ЦК, он как Голос Партии и Народа выступал на съездах партии и на Верховных Советах. Элементы этой нашей новой работы сходились, сплзались с разных сторон — непредумышленно, незаказанно, несвязанно. А попадая к нам, в межэлектродное узкое пространство — воспламенились.

Сама-то загадка — у нас на Юге кому не была известна? кого не занозила? В детстве я много слышал о том разговоров, все уверены были, что — не Шолохов писал. Методически никто не работал над тем. Но до всех в разное время доходили разного объёма слухи.

Меня особенно задел из поздних: летом 1965 передали мне рассказ Петрова-Бирюка за ресторанным столом ЦДЛ: что году в 1932, когда он был председателем писательской ассоциации Азово-Черноморского края, к нему явился какой-то человек и заявил, что имеет полные доказательства: Шолохов не писал «Тихого Дона». Петров-Бирюк удивился: какое ж доказательство может быть таким неопровержимым? Незнакомец положил черновики «Тихого Дона», — которых Шолохов никогда не имел и не предъявлял, а вот они — лежали, и от другого почерка! Петров-Бирюк, что б он о Шолохове ни думал (а — боялся,

\* Удгорд dokonчил свой срок в СССР, а Стиг даже и перебыл и в своё агентство вернулся с повышением. (Примеч. 1978)

тогда уже — его боялись), — позвонил в отдел агитации крайкома партии. Там сказали: а пришли-ка нам этого человека, с его бумагами.

И — тот человек, и те черновики исчезли навсегда.

И самый этот эпизод, даже через 30 лет, и незадолго до своей смерти, Бирюк лишь отпьяну открыл собутыльнику, и то озираясь.

Больно было: ещё эта чисто гугаговская гибель смелого человека наложилась на столь подозреваемый плагиат? А уж за несчастного заклятого истинного автора как обидно: как все обстоятельства в заговоре замкнулись против него на полвека! Хотелось той мести за них обоих, которая называется возмездием, которая есть историческая справедливость. Но кто найдёт на неё сил!

Я не знал, что тем же летом 1965 в застоявшееся это болото ещё бросили смелый бульжничек один: в моём далёком Ростове-на-Дону напечатана статья Моложавенко о Ф. Д. Крюкове.

А Дон был не только детским моим воспоминанием, но и неперменной темой будущего романа. Через «Донца» (Ю. А. Стефанова) он лился густо мне под мельничное колесо, Ю. А. всё нёс и нёс, всё исписывал, исписывал для меня простыни листов своим раскорячистым крупным почерком. Он же первый и рассказал мне о статье Моложавенко и немного рассказал о Крюкове — я о нём в жизни не слышал раньше.

А совсем в другом объёме жизни, самом незначительном, где распечатываются бандероли с подарочными книгами, пришла работа о Грибоедове с надписью от автора Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. «Горе от ума» я очень любил, и исследование это оказалось интересным.

А совсем по другой линии, в перебросчивых и напористых рассказах и письмах Кью, тоже стала Ирина Николаевна выплывать: то как её подруга студенческих лет, то как и нынешняя ленинградская подруга (месяца на четыре зимних она приехала в Ленинград, остальные в Крыму), и всегда — как женщина блистательного и жёсткого ума, и литературовед даровитый, в цвет своему умершему знаменитому мужу, с которым вместе готовила академическое издание Пушкина.

Знакомство наше произошло, вероятно, в зиму на 1967, И. Н. было уже под 65. Я собирал материалы для «Архипелага», Ирина же Николаевна была свидетельница высылки татар из Крыма. И у неё в кабинете странноватого писательского дома в Чебоксарском переулке (близ Спаса-на-Крови) мы просидели часа три, в кабинете со множеством книг — не по стенам только, но серединными полками, как в библиотеке. Один вид корешков показывал тут устойчивую давнюю культуру. Я записывал о Крыме 1944 года, потом неожиданно — о раскулачивании в 1930, затем и деревенские новгородские истории 20-х годов (оказалось, девушкой из самого образованного круга И. Н. вышла замуж за простого новгородского мужика Медведева и хорошо-хорошо жила с ним, так что даже за вторым прославленным мужем не хотела упустить фамилии первого); затем — поразительные, но вовсе не чернящие сведения об аракчеевских поселениях (в каких местах и жила она). Проявился и суровый характер И. Н. Прозвучала и тоска по гражданской прямоте, которой лишено было всё её поколение. Потом знакомился я с её дочерью-архитектором, и чего только мало было за весь визит — это литературных разговоров, и уж совсем ни слова о Шолохове, ни о донской теме.

Ум И. Н. действительно лился в речи, выступал из постаревших резковатых черт темноватого лица, — ум строгий, мужской. Она радушно меня принимала, и звала вот в этом ленинградском кабинете без неё работать, и в Гурзуф приезжать к ней работать (Крым она очень любила, написала и книгу о нём — «Таврида»); радушно, — а расположение не устанавливалось легко. Она была — твёрдый властный человек, и это оттесняло остальное.

Прошёл год — прислала мне славную фотографию своей гурзуфской дачи на горе, и кипарисы вокруг. Фотография эта меня долго манила: кусочек свободного ласкового края, как я никогда не успеваю жить, — и там меня ждут, и там можно бы начать моё Повествование, к которому я продирался, продирался годами, вот-вот уже начну. Начинать — для этого и хорошо обновить все условия?

И в марте 1969 я поехал к И. Н. начинать «Красное Колесо». Это — ошибка была: *начинать*, да ещё чрезмерно трудное, неподъёмное, надо именно на старом привычном месте, чтобы никакие трудности не добавились, кроме самой работы, — а я понадеялся, наоборот, в новых условиях на новое настроение. Привыкнуть я там не мог, ничего не сделал, в три дня и уехал. Ещё стеснительно было

для таких усидевшихся по своим берлогам своенравных медведей, как мы с И. Н., оказаться под одной крышей: она пыталась быть хозяйкой, я — через силу принимать гостеприимство, уставали мы быстро оба. Из работы не вышло ничего, из купаний ничего, холодно и далеко ходить, из блаженного отрешения ничего, и Крыма я смотреть не хотел ни минуты, рвался к работе, скорей и уехать. А всё событие истинное случилось на ходу: встретились меж комнат на веранде и стоя поговорили несколько минут, но — о «Тихом Доне». Не я ей — она мне сказала о статье Моложавенко, и какой на неё ответ грозный был из Москвы. И, конечно, мы оба нисколько не сомневались, что не Шолохов написал «Тихий Дон». А я сказал — не ей первой, и не первый раз — то, что иногда говорил в литературных компаниях, надеясь кого-то надоумить, увлечь: доказать юридически, может быть, уже никому не удастся — поздно, потеряно, тем более открыть подлинного автора. Но что *не* Шолохов писал «Тихий Дон» — доступно доказать основательному литературоведу, и не очень много положив труда: только сравнить стиль, язык, все художественные приёмы «Тихого Дона» и «Поднятой целины». (Что и «Поднятую» писал, может быть, не он? — этого уж я достигнуть не мог!) Сказал — не призвал, не настаивал (хотя надежда промелькнула), сказал — как не раз говорил (и всегда бесполезно: всем литературоведам нужно кормиться, а за такую работу ещё голову оттяпают). Мелькучий такой, без развития был разговор, не в начале и не в конце моего трёхдневного житья.

Вскоре затем (не льщу себя, что — вследствие, потому что и в первых её словах уже была задетость этой литературной тайной, а просто — доработалось к тому её настроение), — решила И. Н. переступить через каторжную свою подчинённость второстепенным работам для заработка (не столько для себя, сколько для детей, уже взрослых), — и вскоре затем дала знать через Кью, что решила приступить к работе о «Тихом Доне». Спрашивала первое издание романа, его трудно найти, и кое-что по истории казачества, — ведь она нисколько не была знакома с донской темой, должна была теперь прочесть много книг, материалов по истории и Дона, и Гражданской войны, и донские диалекты, — но ей самой из библиотек спрашивать было ничего нельзя — обнаружение! С первого шага требовалась опять чёртова конспирация. А часть книг — вообще из-за границы, из наших каналов.

И работа началась. И кого ж было просить снабжать теперь «Даму» (раз конспирация, так и кличка, ведь ни в письмах, ни по телефону между собой нельзя называть её имя) всеми справками и книгами, если не Люшу Чуковскую опять? Ведь Люша всякий новый груз принимала, — и теперь вот ещё одна ноша поверх, увесистая.

Казачья тема была Люше совсем чужда, но и для этой чуждой темы она бралась теперь делать всю внешнюю организацию, так же незаменимую Ирине Николаевне, как и мне, из-за невылазного образа нашей жизни. Навалилось так, что и для Дамы Люша выполняла теперь — то в Ленинград, то в Крым, не близко — всю снабдительную и информационную работу. Правда, это оказалось смягчено принадлежностью И. Н. к тому же литературному московско-ленинградскому кругу, где Люша выросла, да больше: И. Н. хорошо помнила её покойного отца и саму её девочкой, это сразу создало между ними сердечные отношения. Взялась Люша — с прилежностью, с находчивостью, с успехом. Без неё книга «Стремя» не появилась бы и такая, как вышла.

И тут же произошло скрытное чудо. Надо было начаться первому движению, надо было первому человеку решиться идти на Шолохова — и уже двигались и другие элементы на взрывное соединение. Подмога подоспела к нам через Мильвену с её вечно лёгкой рукой. Дочь подруги её детства, Наташа Кручинина («Натаня» называли мы её, многовато становилось среди нас Наташ), ленинградский терапевт, оказалась в доверии у своей пациентки Марии Акимовны Асеевой. И та открыла ей, что давно в преследовании от шолоховской банды, которая хочет у неё вырвать заветную *тетрадочку*: первые главы «Тихого Дона», написанные ещё в начале 1917 года в Петербурге. Да откуда же?? кто?? А — Фёдор Дмитриевич Крюков, известный (?? — не нам) донской писатель. Он жил на квартире её отца горняка Асеева в Петербурге, там оставил свои рукописи, архив, когда весной 1917 уезжал на Дон — временно, на короткие недели. Но никогда уже не вернулся, по развороту событий. Сходство тетрадки с появившимся в 20-е годы «Тихим Доном» обнаружил отец: «Но если я скажу — меня повесят». Теперь М. А. так доверилась Натане, что обещала ей по наследству передать эту тетрадку — но не сейчас, а когда умирать будет.



Это был конец 1969 года. Новость поразила наш узкий круг. Что делать? Остаться безучастными? невозможно; ждать годы? — безумно — уж и так больше сорока лет висело это злодейство, да может и допугают Асееву и вырвут тетрадку? И — т а к ли? Своими глазами бы убедиться! И — что там ещё за архив? И — от чьего имени просить? Называть ли меня? — облегчит это или отяжелит?

Самое правильное было бы — ехать просто мне. Но у меня — разгар работы над «Августом», качается на весах — сумею ли писать историю или не сумею? оторваться невозможно. Да я и навести могу за собою слезку. (Как раз были месяцы после исключения из СП и когда мне *уезжать* из страны намекали.)

Тогда надо было бы догадаться — послать человека донского (и был у нас Донец! — но он был крупен, заметен, говорлив, неосторожен, посылать его было никак). Вызвалась ехать Люша. Это была — ошибка. Но мы и Акимовну саму ещё не представляли. Надеялась Люша, что марка Чуковских вызовет и достаточно доверия и недостаточно испуга. Может быть. (Как выяснилось, *моей* фамилии Акимовна почти и не знала в тот год, лишь позже прочла кое-что.) Люша вернулась и безуспешно и безрадостно: женщина де — капризная, сложная, договориться с ней вряд ли возможно, хотя открытую часть крюковского архива готова была бы, кажется, передать на разборку, 50 лет это почти не разбиралось, её тяготит. Решили мы снарядить вторую экспедицию: Диму Борисова. Вот с него-то, наверно, и надо было начинать. Он был хотя не донец, но сразу вызвал доверие Акимовны, даже пели они вместе русские песни, и склонил он её — архив передать нам. Но само взятие — не одна минута, набиралось три здоровенных рюкзака, понадобилась ещё третья экспедиция — Дима вместе с Андреем Тюриным. Привезли — не в собственность, а на разборку — весь оставшийся от Крюкова архив. А *тетрадочку*, мол, — потом... Мы уж и не настаивали, мы и так получали богатство большое. Это был — и главный, и, вероятно, единственный архив Крюкова. Позже того следовали у автора — три смятенных года и смерть в отступлении белых.

Имея большой опыт содержания архива своего деда, Люша предполагала, что и этому архиву даст лад. Но — лишь самая внешняя классификация оказалась ей под силу. Это был архив — совсем непохожий, не привычная литературная общественность и не привычные темы в нём: и имена, и места, и обстоятельства все неясные, да ещё и при почерке не самом лёгком.

Но тут-то и вступил в работу — Донец! Уж он-то — как ждал всю жизнь этого архива, как жил для него. Накинулся. Как всегда, не зная досуга и воскресений, и себя не помня, — он за год сделал работу троих, до подробностей (ещё многое выписывая себе), и представил нам полный обзор структуры и состава. (Всё это требовало многих встреч и передач. Архив был сперва у Гали Тюриной, потом частью перевозился к Люше, помалу относился к Донцу и обратно, частью отступил потом к Ламаре (на бывшую «бериевскую» квартиру) — ведь мы и тут должны были скрываться по первому классу, и открытой конторы не было у нас никогда.)

По мере того как материалы открывались — всё, что могло пригодиться Даме, надо было предлагать Даме (а она больше была в Крыму, не в Ленинграде, а наши материалы не для почты). А что-то надо было и мне — как собственно донская тема и свидетельство очевидца незаурядного. (А я — и принять уже не мог. Я так был полон напитанным, что потерял способность а б с о р б и т ь. И интересно было в Крюкова вникнуть, и уже не помещалось никуда. Люше пришла счастливая мысль, сразу мною принятая: Крюкова — автор ли он «Тихого Дона», не автор — взять к себе персонажем в роман — так он ярок, интересен, столько о нём доподлинного материала. Какой прототип приносит с собой столько написанного?! Я — взял, и правда: для сколького ещё место нашлось! И как потяжливо: в донскую тему войти не собственной неопытностью, но — через пострадавшего дончака.)

Ирина Николаевна получала свежие донские материалы — и гипотеза у неё вырабатывалась. В зимний приезд, наверное в начале 1971, она привезла с собой три странички (напечатанные как «Предполагаемый план книги»), где содержались все главные гипотезы: и что Шолохов не просто взял чужое, но — *испортил*: переставил, изрезал, скрыл; и что истинный автор — Крюков.

Да, в этом романе — и нет единой конструкции, соразмерных пропорций, это сразу видно. Вполне можно поверить, что управлялся не один хозяин.

У И. Н. даже и по главам намечалось отлечение текста истинного автора. И даже взята была задача: кончить работу воссозданием изначального текста романа!

Могучая была хватка! Исследовательница уже вначале захватывала шире, чем ждали мы. Да только здоровья, возраста и времени досужного не оставалось у неё: опять надо было зарабатывать и зарабатывать. А мы — сами сидели без советских денег, от валютных же переводов от подставных лиц с Запада И. Н. отказалась, и мы не сумели в 1972—73 годах освободить её от материальных забот. А то бы, может быть, далеко шагнула бы её книга.

Поначалу вывод, что автор «Тихого Дона» — мягкий Крюков, разочаровывал. Ожидалась какая-та скальная трагическая фигура. Но исследовательница была уверена. И я, постепенно знакомясь со всем, что Крюков напечатал и что заготовил, стал соглашаться. Места *отдельные* рассыпаны у Крюкова во многих рассказах почти гениальные. Только разводнены пустоватыми, а то и слащавыми соединениями. (Но слащавость в пейзажах и в самом «Тихом Доне» осталась.) Когда ж я некоторые лучшие крюковские места стянул в главу «Из записок Фёдора Ковынёва» — получилось ослепительно, глаз не выдерживает.

Я стал допускать, что в вихревые горькие годы казачества (а свои — последние годы) писатель мог стуситься, огоркнётся, подняться выше себя прежнего.

А может быть это — и не он, а ещё не известный нам.

Из разработанного архива, по желанию Марьи Акимовны, наименее ценную часть мы сдали (подставив бойкую Мильевну) в Ленинскую библиотеку и полученные 500 рублей переслали Акимовне. Эта сдача была промах наш: и — мало нам дали, неловко перед Акимовной, и — раскрыли мы след, что где-то около нас занимаются Крюковым. Но: давили нас объёмы и вес, держать-то было трудно, негде.

В июне 1971 я был в Ленинграде и пришёл к М. А. Встреча у нас была хорошая. Акимовна оказалась женщиной твёрдой, по-настоящему нестигчивой перед большевиками, не простившей им ничего, и ни болезни, ни семейные беды (бросал её муж) не ослабили её волю. Она действительно хотела правды о Доне, и правды о Крюкове. Пили у неё донское вино, ели донской обед, — мне казалось, она и в мою надёжность поверила. А я — поверил в её *тетрадку*, что есть она. Только оставалось — привезти её из-за города, из Царского Села, «от той старухи, которая держит» (потому что к самой М. А., как слушкá когда-то не удержала, являются де от Шолохова то с угрозами, то с подкупом). Обещала — достать к моему отъезду.

Однако не достала («Старуха не даёт»). Пожалел я. И опять засомневался: может, нет тетрадки? Но зачем тогда так морочить? Не похоже.

Ещё одной женщине, Фаине Терентьевой, знакомой по амбулатории, — не равноопаслива была М. А. в доверенностях! — она даже рассказала, как уже хотела мне отдать тетрадочку, да побоялась: ведь я — под ударом, ведь за мной следят, отнимут тетрадку. Роковая ошибка! — хотя и взвесить ей трудно: где опасней? где безопасней, правда? Роковая, потому что мы бы дали фотокопии в публикацию вместе с образцами крюковского почерка, и если бы наброски реально походили б на начало «Тихого Дона», — Шолохов был бы срезан начисто, и Крюков восстановлен твёрдо. А теперь М. А. осталась захата со своей тетрадкой и рада б её кому протянуть, — поздно: понимая вес доказательства, могучее Учреждение сменило соседей М. А. по коммунальной квартире (точно как с Кью!), поселило своих, и теперь, по сути, Акимовна — в тюрьме, каждый шаг её под контролем. — Это закончание истории я узнал от Фаины Терентьевой в июле 1975 года в Торонто, куда она эмигрировала и написала мне: давала мне М. А. тетрадку, я побоялась взять, как теперь вызволить?..

Никак. Только если М. А. не сойдёт с ума в осаде, сумеет выстоять ещё годы и годы\*.

Ну что ж, не получили тетрадки — ждали самого исследования. Однако оно шло медленно: завалена была И. Н. скучной, утомительной, но кормящей договорной работой. При проезде Москвы она видалась со мной и с Люшей, давала мне читать наброски глав, Люша (или Кью в Ленинграде) перепечатывала их с трудного почерка, со множества вставок, — чужому ведь и дать нельзя.

Последний раз мы виделись с И. Н. в марте 1972 — в Ленинграде, снова в том кабинете, где познакомились и где она предлагала мне работать. (Теперь так стусились времена — отяготительно было, что я в дверях натолкнулся на

\* Теперь умерла и Марья Акимовна. Не знаю: унесла ли с собой тайну или и не было её. (Примеч. 1986)

какую-то писательскую соседку, могла узнать, могло поплыть — что мы связаны. Плохо.) Болезнь резко проступила в чертах И. Н., но держалась она несокрушимо, крепко, по-мужски, как всегда. Сама начала такой монолог: что она будет отвечать, если вот *придут* и *найдут*, чем она занимается. (Я-то и забыл о такой проблеме, все черты давно переступив, а ведь каждому достаётся когда-то первую переступить — и как трудно.) Готовилась она теперь отвечать — непреклонно и в себе уверенно. Не подписывала она петиций, ни с кем не встречалась, — в одинокой замкнутости проходила свой путь к подвигу.

Незадолго до всей развязки всё та же Мильевна подбросила нам ещё поленца в огонь. Настояла, чтоб я встретился у неё со старым казаком, хоть и большевиком, но также и бывшим эком, — он хочет мне дать важные материалы о Филиппе Миронове, командарме 2-й Конной, у кого был комиссаром полка. Я пришёл. Оказалось, недоразумение: С. П. Стáриков собрал (в доверии у властей, из закрытых архивов) много вопиющих материалов — не только о своём любимом Миронове, кого загубил Троцкий, но и об истреблении казачества большевиками в Гражданскую войну. Хотел же он увековечить Миронова отдельной книгой, да написать её сам не мог. И вот теперь предлагал мне без смеха: работать у него «негром»: обработать материалы, написать книгу, он её подпишет, издаст, а из гонорара со мной расплатится. Я сказал: отдайте мне материал — и Миронов войдёт в общую картину эпохи, всё постепенно. Нет. Так бы недоразумением и кончилось. Но уже расставаясь, поговорили о смежном, и оказалось: Миронов — одностаничник и лучший друг Крюкова в юности, и сам Стариков из той же станицы Усть-Медведицкой, и не только не сомневается, что Шолохов украл «Тихий Дон» у Крюкова (Шолохов в 15 лет он видел в Вёшенской совсем тупым неразвитым мальчишкой), но даже больше знает: к т о «дописывал» «Тихий Дон» и писал «Поднятую целину», — опять-таки не Шолохов, но тесть его Пётр Громославский, в прошлом станичный атаман (а ещё перед тем, кажется, дьякон, снявший сан), но ещё и литератор; он был у белых, оттого всю жизнь потом затаясь; он был близок к Крюкову, отступал вместе с ним на Кубань, там и похоронил его, завладел рукописью, её-то, мол, и дал Мишке в приданое вместе со своей перестаркой-дочерью Марией (жениху было, говорил, 19 лет, невесте — 25). А после смерти Громославского уже *никак* не писал и Шолохов\*.

Переговоры мои со Стариковым вспыхнули ещё раз в последние месяцы, в грозную для нас осень 1973. Сообщила Мильевна: Стариков умирает, хочет мне всё отдать, просит приехать скорей. Я приехал. Нет, от сердечного припадка оправясь, он не слишком готовился к смерти, но возобновил со мной те же занудные переговоры. Я — о своём: дайте мне использовать мионовские материалы в большой эпопее. Он, уже предупреждён и насторожён: вы, говорят, советскую историю извращаете. (Это — Рой Медведев и его коммунистическая компания: ведь старик-то в прошлом большевик! Почти тут же вослед он отдаст все материалы Рою, так и возникнет книга того о Доне, о которой Рой за прежнюю жизнь, может быть, и пяти минут не думал.) Всё же согласился Стариков дать мне кое-что на короткое время взаймы. Куй железо, пока горячо! Надо — хватать, а кому брать? Много ли рук у нас? Аля — с тремя младенцами на руках. Всё та же Люша опять, едва оправясь, не до конца, от своего сотрясения при автомобильной аварии. Она поехала к Старикову, с важным видом отбирала материалы, не давая ясно понять, что нас интересует, он ей дал на короткий срок, потом позвонил, ещё укоротил, — пришлось сперва на диктофон, двойная работа, — уж Люша гнала, гнала, выпечатывала (ксерокопия ведь у нас недоступна!). Материал был, действительно, сногшибательный. Но и Стариков на пятки наседавал: спохватился и требовал — вернуть, вернуть! (А когда уже выслали меня — приходил к Але и настаивал взятые выписки тоже ему вернуть: откроются на границе, а кто брал из тайных архивов? — Стариков.) В общем, на историю поработал Сергей Павлович, молодец, молодец!

\* Громославский ещё жив был в 50-е годы, тогда-то и появилась 2-я книга «Поднятой целины», а после смерти Громославского за 20 лет Шолохов не выдал уже ни строчки. Я указывал на это в статье о «Поднятой целине» — «По донскому разбору» («Вестник РХД», № 141, 1984), где заодно ответил и на смехотворный «компьютерный анализ» норвежского слависта Гейра Йетсо и его коллег, пыгавшихся через компьютер доказать авторство Шолохова. (Примеч. 1986)

В ту осень сгрудилось всё: провал «Архипелага» — и встречный бой — и смерть Кью — и трезвога, что Кью могла открыть всю линию «Тихого Дона» (Ирину Николаевну она видела в Гурзуфе, последняя из нас, — да ведь как! таскала к И. Н. и того «поэта Гудякова», прилипшего к ней в Крыму, и это могло стать роковой наводкой).

Ирина Николаевна, тем летом только что прошедшая своё 70-летие вместе с дочерью и сыном, в начале сентября после их отъезда одна в Гурзуфе — услышала по западному радио о провале «Архипелага» и смерти Е. Д., и стался у неё инфаркт. (Мы не знали.) Но, при железном её характере, вывод она сделала: не прятать рукописей и не прекращать работу, но напротив: собрать силы и доканчивать! С несравненной волей своей именно сейчас, когда она лежала пластом, когда для неё был труд — протянуть руку за книгой, — теперь-то она и работала, и навёрстывала в тайном труде. На сентябрь звала к себе в гости Люшу — значит, усиленно помогать. Но Люша едва держалась на ногах сама после аварии. Так ещё и эта катастрофа помешала окончанию «Стрени».

Именно и опасаясь, что Кью на допросах рассказала о работе И. Н. и ты захватят над рукописями, Люша теперь попросила Екатерину Васильевну Заболоцкую, 60-летнего вдову поэта, которая хорошо знала И. Н., — ехать к ней, помочь, увезти бумаги из дому. Е. В., покинув четырёх внуков, с решимостью тотчас полетела в Крым. Она и застала Ирину Николаевну после инфаркта, но не прекращающую работу, — и осталась при ней, ухаживать. И прожила там месяц, пока нужды внуков не вызвали её вернуться в Москву. Она привезла долю работы И. Н.

Дочь И. Н. из Ленинграда наняла в Гурзуфе к матери приходящую медсестру. Был, разумеется, и постоянный врач. И. Н. по телефону тревожилась, цела ли её ленинградская квартира (...нет ли обыска?).

И тут — известие о смерти Ирины Николаевны. Е. В. Заболоцкая сама предложила: снова лететь в Гурзуф, спасти остатки рукописей, которые она просила врача взять к себе в случае смерти И. Н. В той тревожной обстановке, для безопасности, надо было ехать вдвоём. С кем же? Спутницей для Заболоцкой взялась быть всегда подвижная Н. И. Столярова. (Предстояла неизбежная ночёвка в Симферополе, а в такое время невозможно было им зарегистрироваться в гостинице, да в гостиницах и мест нет, вот ещё постоянное осложнение конспираций под коммунизмом. Я вспомнил дом в Симферополе, где мы с Николаем Ивановичем когда-то жгли «Круг первый», написал записку наудачу. Переночевать пустили, хотя изумились, строго записали их фамилии, потом говорили Николаю Ивановичу; но так и не узнали Зубовы — кто ездил, зачем; хлестнул к ним от меня 20-летний дальний хвост тайных затей, когда-то начинаемых сообща.) А съездили — зря: врач ничего им не передал, а неясно говорил, что был поджог сарая близ дачи И. Н., и вообще *есть вещи, о которых он не может рассказать*. Обстоятельства смерти И. Н. остались загадочны для нас. Так и не уверены мы, что имеем все написанные фрагменты её работы.

Итак, что получили прежде — только то и пошло в пополнение книги. Совсем немного. За два года мало исполнилось из первоначального чёткого смелого плана И. Н. Если бы Люша была здорова и поехала бы в сентябре — может быть, успели бы ещё главы две вытянуть из неразборных черновики. Нет, заколдован был клад «Тихого Дона»\*.

Так налегла на нас — трудным долгом — вся эта боковая донская линия, что и последние месяцы, сами перед петлёй, мы всё дотягивали и дотягивали её. То привезли к нам из Риги хорошие фотокопии всего первого издания «Тихого Дона», которое в последующие годы полномочные редакторы сильно исчеркали, в 10 перьев (даже, говорят, и Сталин правил сам; на издании 1948 г. замечание: «под наблюдением редактора Чурова Г. С.»; говорят, будто это и есть Сталин). То — дорабатывал я своё предисловие к «Стрени», уж в самые последние дни перед высылкой, в Переделкине. То — компоновал страничку публикации из разных обрывчатых записей И. Н. (Из Дона и из Дамы составил я для исследо-

\* В 1988—89 в израильском журнале «22» (№№ 60 и 63) опубликовано исследование Зеева Бар-Селла «„Тихий Дон“ против Шолохова», очень убедительный текстологический анализ, — то самое, что и ожидалось давно. (Примеч. 1990)

вателя эту букву Д\* — Ирина Николаевна выбирала псевдоним из моего списка донских фамилий, но так и не выбрала.\*

Настойчивое чувство вошло в мою душу, что для сохранности надо полностью отделить архив Крюкова и всё, что касается «Тихого Дона», ото всего моего имущества. И за 10 дней до высылки — пожалуй, последний визит, какой и сделал на родине, — была поездка к Елене Всеволодовне Вертоградской, за Крестьянскую заставу, где собрала она несколько молодых, и надо было решить, кто возьмёт архив «Тихого Дона». Взялись Георгий Павлович и Тоня Гикало. И сразу вслед, за несколько дней, Саша Горлов, к тому времени уже изгнанный со всех работ, перебросил им архив Крюкова. Как раз успели! Арестованный, я знал, что этот архив — спасён.

В Москве у Ильи Обыденного служили панихиду по Ирине Николаевне. Мне — никак нельзя было появиться, Люша же с Зоей Томашевской открыто как бы дружила — и пошла. Но раньше того, от последней поездки к И. Н., передала она такую мечту: хотела И. Н., чтобы когда-нибудь кто-нибудь отслужил по ней панихиду в женевской Церкви Воздвижения, где когда-то её крестили. Да кому ж поручить? Кто это когда попадёт в Женеву? А сам же я — и попал, вскоре..

Мы с Алей приехали в Женеву в октябре 1974, — правда, в вечер буднего дня, не должно было службы быть ни в этот день, ни в следующий, никакого праздника. Но пошли под дождём наудачу — к дверям прикоснуться. А за дверьми-то — поют. Мы вошли. Оказалось: завтра — *отдание* Воздвижения, именно здесь отмечается в связи с престолом!

Наутро после обедни архиепископ Антоний Женевский служил панихиду по нашей просьбе. Я написал: Ирина, Фёдор...

Каменная, приглядная, *ленина* церковь. Осеннее солнце просветило в окнах. Относило ладанный дым. Маленький хор пел так уверенно, так ретиво, это «со святыми упокой» — душу рвало из груди, я слёз не мог удержать. Повторялись, повторялись имена их соединённо — возносил о них архиепископ, возносил хор. Сплелись их судьбы — злосчастного донского автора и его петербургской заступницы — над убийствами, над обманами, над всем угнетением нашего века.

Пошли им, Господи, рассудливой правды. Отвали давящий камень от их сердец.

1974 — 1975

Цюрих

---

\* Мы, в интересах детей И. Н., должны были ещё 15 лет скрывать имя автора, давая повод насмешкам, что я этого Д\* сам придумал.

А в 1989 из письма д-ра филологических наук В. И. Баранова в «Книжное обозрение» я узнал: когда в 1974 вышла книга «Стреля „Тихого Дона“» — в СССР готовили громкий ответ. Сперва поручили К. Симонову дать интервью журналу «Штерн» (ФРГ), он это выполнил. Затем ждали: когда на Западе на него обратят внимание — тут и дать залп статьями в «Литгазете», «Вопросах литературы» и «Известиях». И статьи были написаны — но... но на Западе симоновское интервью прошло без отклика. Приготовленные статьи всё же напечатали — но как бы к 70-летию Шолохова, так и не коснувшись книги Д\*. А ныне так пишут в советской прессе, что будто именно книга Д\* сбила Шолохова и не дала ему кончить уже 30 лет длинный роман «Они сражались за родину» — да так, что и ни строчки к начатой в войну книге не прибавилось. (Примеч. 1990)

---

ВЛАДИМИР АДМОНИ

\*

## НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

\* \*

\*

Когда прошли проклятые тридцатые,  
Тогда настало время роковых,  
Тогда пришел черед сороковых.  
И вот все те, кто был еще в живых  
(И почему-то в лагеря не взятые),  
Вступили в бой с вчерашними заклятыми  
Друзьями —

и повергли их.

Не постояв за непомерной платою.

1945.

Марии Петровых

1

Вы запомнились сестрою дальней.  
Только были близкими слова,  
В робости первоначальной  
Прозвучавшие едва.  
Потому что оба мы привычны  
К немоте давным-давно.  
Потому что мы косноязычны.  
Как поэтам суждено.

2

И наши встречи — лишь ночные встречи.  
В той белизне, где не видать ни зги.  
Где милый голос что-то пролепечет.  
И вдалеке прошелестят шаги.  
Без точных взглядов, без прикосновений  
И приглушая человеческий крик —  
Так видятся потерянные тени.  
И все-таки счастливые на миг.

3

...До третьей стражи и до третьей встречи  
Так долго длятся ночи в январе.  
Пока кряхтит, помят и покалечен,  
Мороз вчерашний на пустом дворе.

Пока мертвят неоновые нити  
На улицах оледенелый снег.  
И все дивится своему дожитью  
К себе домой бредущий человек.

1957 — 1966.

\* \*  
\*

На низость, на соблазны зла  
Испытывали до предела.  
Но это все превозмогла  
Душа. И все преодолела.

Испытывали на разрыв —  
И мускул сердца разрывался.  
И оставался жить навзрыд,  
Кто жить зачем-то оставался.

Или затем и потому,  
Чтобы к неверному рассвету  
В недостоверную страну  
Тень вести принести про это.

1974.

---

---

---

## ИГОРЬ ЧИННОВ

\*

### ЗАМОРСКИЕ ЗЕМЛИ

\* \*

\*

Приезжай в Афины рано,  
Или поздно, в ноябре.  
Нежной аркой Адриана  
Полубуйся на заре.

На Акрополе высоко  
Маленький квадратный храм.  
«Нет великого Патрокла»,  
Но зря сияет нам.

Нет великого Софокла,  
Доблестный убит Ахилл,  
Но полнеба нам широко  
Аполлон позолотил.

Вот куда «по воле рока» —  
Ах, чужая сторона!  
А война совсем далеко,  
Как Троянская война.

#### Лувр

Кто повидал сокровища земные,  
Не может разлюбить земли.  
Чудес Венеции и Византии  
Немало музы сберегли.

В музее светлом греческие фризмы  
И козы пестуют козлят.  
Персидские лазоревые вазы,  
Бледно-оранжевый закат.

А рядом персики и абрикосы,  
Лилово-темный виноград.

И я на улице, в толпе раскосых  
Китайцев, фавнов и наяд.

У Лувра сероватые платаны,  
И желтый лист лежит в пыли.  
Музейные прекрасные картины —  
И запах матери-земли.

Но то, что сердце заставляет биться,  
Напоминает отчий дом:  
Места, где клен в сиянье золотится  
На сельском кладбище пустом.

#### Стамбул

В мечети султана Ахмета  
Простор, тишина, пустота.  
Забудем стамбульское лето:  
Мечеть холодна и чиста.

Цветы неизвестного рая  
На синих ее изразцах.  
На них, вероятно, взирает  
Невидимый людям Аллах.

Огромно-пустое пространство,  
Вверху полутьма, полусвет.  
Прими от меня, иностранца,  
Аллах, иностранный привет.

И мы от незримого Бога  
Хотим очевидных щедрот.  
...Левей Золотого Рога,  
Как роза, небо цветет.

\* \*

\*

Гулкий простор португальского храма,  
Здесь усыпальница Васко да Гама.

В той же огромной гробнице покоясь,  
Равен ему по величью Камознс.



Здесь мореплаватель, здесь и поэт:  
Оба открыли невиданный свет.

К мраморной мрачной высокой гробнице  
Русский поэт подошел — поклониться.

Ну помечтай, что и мы удостоимся  
Пышной гробницы не хуже Камюэнса!

(Или — другая, не пышная версия:  
Много забвения, мало бессмертия?)

\* \*  
\*

В платье розовом метиска и  
В майке розовой — креол.  
В старом парке много писка и  
Серый маленький орел.  
Птичка синька села близко и  
Говорит мне: я спую  
Что-нибудь доколумбийское  
Про Колумбию свою!

В белой церкви Евхаристия,  
В парке царство бедноты.

Здесь цветы всего цветистее  
И на дереве не листья, а  
Только — желтые цветы.

Пусть над нами Ангел сжалится,  
Ангел Жизни, Ангел дней,  
Пусть блаженство продолжается,  
Пусть не скоро — о, пожалуйста! —  
Станет в сердце холодной!

\* \*  
\*

Что может быть в жизни плачевней  
Восточного сора и хлама —  
А небо над крепостью древней  
Горело большой орифламмой.

Старуха хлебнула лекарства  
(Рука — Иоанна Предтечи),  
А птицы — нездешнее царство  
Над грудами грузной мечети.

С высокого неба раздастся  
Медлительный зов муэдзина,  
И сумерки — синяя астра,  
Синеющий веер павлина.

Я знаю, сейчас мы узнаем  
О чем-то нездешнем и лучшем.  
И небо сливается краем  
С напевом блаженно-тягучим.



БОРИС ФИЛИППОВ

\*

## ТРИ РАССКАЗА

*Политический эмигрант*

**Я** познакомился с ним в конце сентября 1944 года на Александерплац в Берлине.

Центральная площадь гигантского города, города развалин, в которых все-таки как-то ютится несколько миллионов ошалевших от налетов и бомбежек людей. По круглой липкой лестнице, сбегаящей в подземную уборную, все время снуют хорошо и плохо одетые личности, немцы и иностранцы. Иногда слышится тревожный шепот: «Полиция» — и тогда десяток-другой людей с натянуто-равнодушными лицами расходятся из уборной, становятся в очередь за газетами, укрываются в огромном здании напротив. Толстый спокойный шуцман спускается вниз, возвращается на поверхность, обводит глазами очереди за газетами и продающимися поштучно горячими сосисками (50 граммов мяса по карточкам и 40 пфеннигов, горчица — без карточек), козыряет встречному эсэсовцу и так же спокойно и лениво шагает дальше — по направлению к Блуменштрассе. Это центр берлинской черной биржи, где вы можете достать все: золото, иностранную валюту, масло, сахар, сигареты и фальшивые продовольственные карточки.

По грязно-бурым эстакадам звенят электрички, эсбаны, проносятся и поезда дальнего следования. Из-под эстакад со скрежетом вырываются трамваи, мчатся автомобили, более или менее серые толпы разноплеменного военного Берлина. Значки «Ост» и «П», русская, украинская, французская, польская, сербская речь обильно слабривает немецкий язык коренных берлинцев и военных беженцев из Вартегау, Познани, Прибалтики.

— Вам не нужно ли удостоверение о чистоте расы, господин? — обращается ко мне шепотом на неплохом немецком языке с чуть заметным акцентом кудрявый брюнет. — Я вижу, что угол вашего лица и ваш нос могут вызвать некоторые сомнения... Совсем недорого — обратитесь от имени господина Мейера к портье магазина Херти, тому самому, который стоит с двух до шести на главном подъезде...

— Я русский.

Холодное «простите» — и брюнет растворяется в толпе.

У столика газетчика стоит мальчишка лет восьми. Стоптанные башмаки, проношенная курточка и заштопанные штанишки не смущают его нисколько. Веселые, немного круглые карие глаза смеются, рот весело улыбается. Вырвавшееся у него — при виде никого не поймавшего шуцмана — «ага» уничтожает все сомнения: русачок откуда-нибудь с юга или запада.

— Чего смеешься, парнюга? — обращаюсь я к мальчишке.

---

Борис Андреевич Филиппов родился в 1905 году в Ставрополе. Учился в Петроградском университете на востоковедческом отделении. В 1927 году за участие в философском кружке С. Аскольдова был арестован на два месяца. Получил образование инженера-строителя. В 1936 году был осужден на пять лет лагерей, а в 1941 году выселен в Новгород, там он оказался в оккупации. Вместе с отступающими немецкими войсками попал на Запад. С 1950 года жил в США, профессор Американского университета (Вашингтон). Умер 5 мая 1991 года. Автор многих книг художественной прозы, литературоведческих исследований, редактор и комментатор разнообразных изданий русской зарубежной литературы. Первая публикация его произведений в СССР — в журнале «Север», 1990, № 11 — 12. Публикуемые нами три рассказа воспроизводятся по изданию: Борис Филиппов. Избранное. Лондон. 1984.

— Да уж больно они смешные, дяинька,— отвечает сквозь смех паренек.

— Кто это смешные? — не понимаю я.

— Да немцы... Неуковырные какие-то...

— Почему же они смешные? — недоуменно смотрю я на мальчишку.

— Как почему? Ты глянь, дяинька, вот этот толстый, что их ловить должен, только за десять шагов уйти не успел, а уж Иван Палыч снова цыгаретами хандлюет...

— Откуда ты знаешь все это?

— Как же не знать? Иван Палыч с нашего лагерю — с Моабита... — И добавляет, рассудительно поджав нижнюю губу: — Нам нельзя не торговать — иначе с голоду сдохнешь... Все торгуют.

— Как тебя зовут? Откуда ты сам?

— А Сенька. С лагерю Моабита. А раньше жили мы в Бреславе. А еще раньше в Режице, в Латвии. Туда с дому с немцами приехали, с Витебска. Там, в Витебску, и мамка померла. Я теперь с теткой живу — она уборщицей здесь на станции работает.

— Где же отец твой?

— Папаню большевики на Колыму на десять лет укатали. Как троцкиста. Я — политический эмигрант. Это я только для старых, как вы, Сенькой зовусь, а для своих товарищей я — Семен Петрович...

— Ну, Семен Петрович, мне пора на работу. Встретимся еще как-нибудь... В церковь ходишь?

— А как же. На Находштрассе. Да вы, дяинька, не бойтесь: зовите меня просто Сенькой — чего уж там? Я не обижусь...

— Ладно, Сенька, до воскресенья. До свиданья.

— Пока,— подал мне грязную ручонку Семен Петрович.

В воскресенье на обедне в русской церкви я вдруг почувствовал, что меня кто-то дернул за полу пиджака. Я обернулся.

— Это я, дяинька. Тетка сегодня дежурная — я в церкву один приехал. Только опоздал. Приехал после «Отче-наша» — с хозяйством завозился: у меня кутька и голубь... Оставил их на Ваньку: он парень самостоятельный, присмотрит...

Так в Берлине завязалось наше знакомство: дружба почти сорокалетнего потраченного жизнью журналиста и восьмилетнего политического эмигранта Семена Петровича.

В феврале сорок пятого года я принужден был покинуть Берлин. Затем — разгром Германии, бегство из советской зоны оккупации, тяжелая эпопея странствий в поисках притула для русского невозвращенца.

Наша группа — человек в тридцать — пробиралась в это время из Лихтенфельса к Бамбергу, а дальше на Ханау, Фридберг, Кассель. Около Бамберга остановились в хорошенькой деревеньке Гундельсхайм. Близость чудесного города, изобилующего первоклассными архитектурными памятниками, разожгла мое туристическое сердце, и я часто хаживал в страшную июньскую жару в город, находившийся всего километрах в пяти. Около железнодорожной станции — уютное, подчищенное и подметенное кладбище, где можно было хорошо отдохнуть, посидеть в тени, набраться сил после утомительного перехода через открытые поля из деревни в Бамберг. Около кладбища останавливались обычно и поезда с репатрируемыми советскими гражданами; поезда с портретом Сталина, красными знаменами, плакатами, зелеными ветками, прикрепленными к стенкам товарных вагонов, набитых усталыми, потными, ко всему уже равнодушными, отчаявшимися людьми. На крышах — парни с гармониками, грудастые девушки в трусиках и бюстгалтерах; на площадках вагонов — конвоиры с автоматами.

Как-то случилось, что конвоир одного из вагонов отошел — до ветру, очевидно. И тут из вагона горохом высыпалась куча парней и девчат, несколько баб постарше, и все что есть мочи побежали в город. Одна из баб бежала куда глаза глядят и размахивала случайно захваченным красным флагом.

— Куда ты бежишь, тетка? Брось хоть флаг!! — крикнул я ей.

— Их дойче. Русский никс фырштейн,— прохрипела на бегу тетка, скрываясь в переулке.

А из вагона я услышал знакомый тоненький голосок:

— Дяинька...

Но Сеньку — это был он — кто-то сильно оттолкнул в темный угол вагона. Поезд тронулся. И когда он шел уже достаточно быстро, вдруг какой-то пыль-

но-черный комочек выкатился из дверей теплушки, вскинулся, вскочил и бросился ко мне.

— Сенька! Семен Петрович!

— Ишь, сволочи,— бормотал Сенька, вытирая разбитый в кровь рот и сплевывая выбитый при падении из вагона зуб,— ишь, гады: думали увезти... С теми ребятами не сумел — затолкали... Ну нет, брат, шалишь! Я — политический эмигрант... Можно идти с вами дальше по Германии, дяинька?

1949.

### *Патриотка*

Нью-йоркское лето — это даже не туркестанская жарынь: в Средней Азии нет такой влажности, тут как в русской деревенской баньке на полке. Немного лучше на Гудзоне, где всегда какой-то оживляющий сквознячок. Кто же любит старое искусство, да к тому же хочет провести часок-другой в прохладе, отправляется в музей средневекового искусства — Клойстерс. Красиво построенный на скалистом берегу Гудзона, в большом и не слишком затолканном людьми парке, Клойстерс является для ньюйоркцев отдушиной в совсем иной мир — мир романской Европы набожных рыцарей и воинственных монахов.

На этот раз со мною в Клойстерс увязался приятель, старый холостяк, совершенно чуждый какому бы то ни было искусству. Вот и шли мы по парку музея, лениво перебрасываясь потными, прилипающими к нёбу словами. Приятель всю дорогу донимал меня рассказами о своих успехах у женщин, чаще всего мне совершенно незнакомых. Рассказы были такими же липкими и неповоротливыми, как и мои реплики, и порой мы оба замолкали, дыша тяжелее выброшенных на берег рыб.

Впереди, колыхаясь необъятными телесами, вся в розовом, шла уже совсем седая негритянка. Трудно было поверить, что такие жидкие ноги могли нести такое фантастическое скопление округлостей: зада и грудей, живота и боков.

— Вот бы,— обрывая очередную любовную одиссею своего спутника, буркнул я,— поухаживал бы ты за этой рожей...

Негритянка обернулась и на превосходном русском языке, с каким-то даже щеголеватым аканьем, насмешливо бросила мне:

— Поглядишь на самого себя в зеркало, голубчик: сам-то ты не больно хорош...

Я буквально ошалел. И не пытаясь даже вывернуться из неудобного положения, раскрыл рот, заглотнул не меньше тонны раскаленного воздуха и пискнул:

— Откуда, как, почему,— как вы знаете, и так знаете, русский язык?!

— Я ведь русская,— гордо осклабилась негритянка,— русская и православная. И зовут меня Настасьей Васильевной. И родилась я в самом Царском Селе, может, бывали там? И учиться там начала. Ах, какой городок, какой городок! Я любила его больше Петербурга. Мой отец был одним из дворцовых арапов. И домик у нас хорошенький был на Дворцовой улице... Тихая-тихая улочка и вся зеленая... Как рыдали наши арапы, когда прощались с государем, с государыней и со всей семьей... А наследник — ангелочек Божий — мне тогда свою папаху казачью подарил: ты, говорит, Настенька, теперь будь казаком,— и хорошо так засмеялся. А меня слезы душат. Вот — и до сих пор вспомнить спокойно не могу. Только в девятнадцатом году, оборванными, обовшивевшими, вырвались мы из России. Все надеялись, на короткое время... Но отец так и не принял здешнего гражданства, так и умер русским подданным, и похоронили его с русским императорским паспортом на груди, и я до сих пор русская до паспорту: не могу никак родину забыть... Вот купила недавно альбом Царского Села, о нем его теперь Пушкином прозвали; ну это еще куда ни шло, хоть не Ленинским, и то хлеб. И вот посмотрю на фотографии Екатерининского и Александровского дворцов, на Камеронову галерею — так слезы к горлу и подкатывают... Нет, где уж тут и мы, здешним, понять нашу русскую душу... Старуха вся заколыхалась: ее душили и воспоминания и слезы.

— Вот и дело у меня — бакалейная лавочка, по-здешнему гроссери,— и живу в достатке, а не лежит душа. Ведь вся почти жизнь прошла здесь, но как вспомню Царское, Петербург, Неву, Павловск — так все и перевернется в душе. Вот продаю, скажем, клубнику: многие русские покупают в моей лавочке. А я иной

раз, себе во вред, в невыгоду, и брякну: «Эхма, да какая же это, мол, клубника! — ни вкуса, ни запаха в ней, ни сладости. Вот попробовали бы вы клубнику из Павловска — то была клубника!» А покупатель стоит, рот разинул — и часто уже не купит этой моей тугошней клубники... Тоже, спохвачусь: дура, мол, и чего разохалась? Но ведь сердцу не прикажешь...

— А вы, случаем, не коммунист?! — вдруг спохватилась негритянка.

— Нет, Настасья Васильевна, — православный, — успокоил я ее.

— Ну, слава Богу, слава Богу, — зачастила Настасья Васильевна, — а то я — патриотка. Мне с ними и встречаться неохота. Хотя, может, и среди них встречаются люди неплохие: все-таки русские ведь... Ну да я-то уж только старым живу: так мне теплее. До свиданья, голубчики... Простите, что задержала.

1962.

### Четвертый волхв

*Памяти Алексея Михайловича Ремизова,  
чудодея языка, великого сказочника, писателя.*

Ты не веришь мне? Почему не веришь ты мне? Ведь я слышал это от своего деда, а он — от своего, и в незапамятные времена уходит предание, и все свято верили ему. Слушай же и не перебивай меня.

Когда родился Спаситель, звезда рожества Его была усмотрена четырьмя могущественнейшими и мудрейшими царями-волхвами. И был первым из них Вал-Та-Цзы, повелитель Китая. Был он весьма ветх и с большим трудом вставал каждый восход на молитву-размышление. В цветущем яблоневом саду, у маленького бассейна с золотыми рыбками садился он на низкую, инкрустированную перламутром и нефритом скамейку из полированного грушевого дерева и размышлял о Великом Пути, по которому должно идти все сущее к Великому Небу. Этот путь был путем добродетели и тишины, благорасположения, мудрости и кроткого смирения. По вечерам старый Вал-Та-Цзы снова, кряхтя и опираясь на плечи двух любимых мальчиков-учеников, спускался в сад, глядел на звезды, свисавшие над ним из бездонных глубоких черных небесных сфер, и на звезды, ласково теплившиеся под ним в неглубокой чаше бассейна, редко возмущавшегося всплесками золотых рыбок. И Вал-Та-Цзы думал, что скоро ветхая плоть его приложится земле и уйдет в цветение его сада, а душа полетит звездным путем к другому великому пути, продолжающему путь земной в небесную необозримую, по пути к Седьмому Небу Великого Промыслителя. И старец говорил себе и ученикам:

— Все хорошо, все свято, все мудро, все благо в нашем пути, великом пути к мудрой тишине Вечности.

И ученики звонко отвечали ему не совсем еще окрепшими и не совсем еще уверенными голосами:

— Прав ты, учитель жизни!

Но сегодня незнакомая звезда приковала внимание мудрого Вал-Та-Цзы. Звезда не сияла спокойно-приветливо. Звезда пела, плясала на небе, звезда влекла в небывалую радость пути. «Или старая юность забурлила в потухшей крови моей? Или я заблудился в небесной пустыне?» — подумал мудрец. Но звезда веселила душу его и влекла дух его куда-то на запад солнца, и Вал-Та-Цзы чувствовал, как крепнут ноги его и наливается юными соками все его тело. «Очевидно, родился Великий Учитель, путеводитель империй и народов», — рассудил старец и тронулся в путь на верблюдах с балдахинами из китовой кости и мореного дуба, сопровождаемый сонмом учеников и слуг, несших подарки Царю Царей от великого императора, сына Неба, как его звали подданные.

— Золото не нужно Ему, Мудрейшему. Оно — власть телесная и земная. Молитвенные дымы не нужны Ему, нашедшему мудрость: ладан нужен тем, кто еще привязан к земле и поклонению, склонен к любви земной. Как плавно-текущее миро — духовная тишина Просветленного. Миро умастит и Тело Его. Миро — мой дар Царю Царей.

А в это время в нестерпимо жаркой Нубии углядел звезду могучий царь Каспар. Был он совсем черным, ибо знойное солнце опалило кожу его и превратило его и подданных его в подобия фигур из эбенового дерева. Мельчай-

шие крутовертки стальной черненой проволоки его волос покрывали круглую, как шар, голову, а губы, выпяченные вперед и украшенные большим золотым кольцом, были красны и почти сближались с мясистым приплюснутым башмаком-носом. Каспар ходил нагишом, только браслеты брэнчали на руках и на ногах его да пояс из страусовых перьев окружал чресла его.

— Родился Царь Сил. Великому Властителю лесов и пустынь, моря и неба, земли и огня надо принести в дар золото: оно — цвет власти и силы. Огромный Он — как слон-поводырь, сильный Он — как лев, мудрый Он — как каменный питон. Море несет Ему дары свои, земля несет Ему дары свои, и я, Каспар, должен принести Ему дары свои — золото.

И Каспар плясал под звездой, спокойно стоявшей над ним, а затем двинувшейся на Полночь, к дальней земле иудеев. А за звездой, горевшей в высоком-высоком темно-синем небе, шел нестройный шумный караван Каспара, и царь Африки отплясывал, припевая, на всех привалах, и шакалы пустынь издали подвывали треску барабанов и хору рабынь и крепконогих невольников, покачивавших всем телом в такт широкосердой царской молитвенной пляске. Звезда благосклонно глядела на Каспара, молча и сосредоточенно, чуть-чуть улыбаясь, а Каспар слушал в тишине звезду, и ему казалось, что она шепчет: «Иди, Каспар, Царь Царей ждет тебя. Он даст тебе великую силу мышц и радость вечного детства».

И третьим увидал звезду великий король готский Карл-Мельхиор, суровый воин, проживавший на высоком Памире. Выше облаков был его дворец из грубо отесанных камней-валунов и крепких сосен и кедров, и дремучий лес окружал жилище его. А над вершинами могучих великанов-деревьев плыли далекие звезды, и в черной безграничности сущего блестела одна еще никем никогда не виданная звезда. И звезда безмолвно говорила с душою царя-воина и волхва:

«Ты один во вселенной. Ведь подданные твои так же одиноки, как и ты. В лесной дебри жизни одинокой скалою высится каждый человек, а выше всех ты, повелитель Памира, повелитель суровых одиноких воинов, скрежещущих зубами от ярости и соревнования, но подчиняющихся тебе... пока не ослабел дух твой и мышцы мысли и воли твоей не упустили вожжи управления. Но все одиноки в вечности, все одиноки перед разящей смертью, и только Промыслитель, только Царь-Дух, Царь-Воля, Царь-Мысль, Царь-Слово Парящее соединяет нас с миром, с собой и друг с другом. И этот Царь родился. И дар Ему — ладан, ибо только сожигающиеся на огне святости благоволия-молитвы во образе дыма кадильного несутся к непостижимому и недостижимому подножию Престола Бога-Разума».

И с ладаном отправился за звездой к юго-западу король Карл-Мельхиор, и суровые воины-копьемосцы на черных конях следовали за ним.

— Он даст нам власть над миром, ибо мы — воины духа, мы суровые борцы за мысль и железную броню ее — государство, видение, силу.

У Ерусалима встретились волхвы-цари, цари царей, повелители царств великих. И пошли они к Ироду-царю, мелкому властителю, римскому рабу, трепещущему перед любым вахмистром великого Рима. И сказал Ироду черный Каспар:

— Слушай, братец, звезда привела нас к тебе. И теперь исчезла. И мы не знаем, куда дальше идти, дабы поклониться Великому Слону Слонов, Льву Львов, Сыну Повелителя Моря и Земли, Воздуха и Огня. Скажи же нам ты — ты, братец, местный, — где найти нам Царя Царей?

Ничего не ответил Ирод, только злобный огонек сверкнул в глубоко вдавленных глазах его. И тогда обратился к нему мудрец Вал-Та-Цзы:

— В мир явился Великий Учитель, Сын Неба и Царь Царей. Скажи, брат мой по скорби земной радости, брат по рабству смерти, брат по утлости надежд и упований наших, где найти Царя? Звезда привела нас к твоему домику, и мы не знаем — куда дальше направить стопы наши?

Но и ему ничего не ответил Ирод, только низко склонился и облобызал стопы его. Тогда вскричал король готский, повелитель Памира, Карл-Мельхиор:

— Дерзкий раб! Цари царей спрашивают тебя, убогого, — как пройти и поклониться Неизреченному Владыке, и ты скрываешь место рождения Его?! Говори, или я призову своего палача, и он удавит тебя, ибо негоже нам даже пальцем прикасаться к тебе, Иродом законно обруганному!

И Ирод, злобу затаив, отвечал тогда царям-волхвам:

— Где уж знать мне, глупому, где же ведать мне, убогому, — где и когда народился Повелитель Мира? Думаю я, раб и червь, что коль раз звезда довела вас сюда, то и далее поведет владык мира, а вы, повелители, не откажитесь на обратном пути заехать к рабу вашему Ироду и сказать, где же народившийся Царь Царей, и я тоже поползу к подножию престола Его — поклониться нищетою и скудоумием моим...

Топнул ногой король готский, повелитель мира и Памира, леса и гор от сих и до этих пор. Нахмурилось чело его, а рука потянулась к рогу — звать палача Касперле. Озверел от негодования и Каспар и широкий ятаган наполнил извлек из кривых ножен, золотом и камнями усыпанных. Но мудрый Вал-Та-Цзы глянул в окно Иродова дворца и сказал:

— Идем, братья, звезда опять путь указывает нам...

И все пошли к яслям вифлеемским и поклонились Предвечному золотом, ладаном и маслом мудрости — миром благовонным. Ирод же по уходе волхвов обернулся к слугам своим. Гневом и гордостью, страхом и надменностью горело злое чело его. И сказал он слугам:

— Приведите кудесников и чародеев ко мне, дабы мог я допросить рабов моих о рабе моем, царем себя именующем.

А четвертый царь-волхв, Святослав Иванович, великий князь русский, был еще молод и радостен — кровь-кипяток. Узрел он веселую новую звезду, кинулся к звездочету своему придворному, но тот только руками развел: ничего, дескать, не понимаю, да и трубка глядельная ослабла — плохо видеть стал. Бросился сам князь и великий государь к книгам позвездным — нет такой звезды. И только в одной книге пророческой, цивилиной кумы царя Соломона, смотрит, сказано: появится та звезда, когда родится в мир Царь Царей, Отец наш Небесный. А у князя Святослава был старый дядя — многоумный старый дид-украинец, князь Омелько Богданович. Пошел к нему великий князь Святослав: так, мол, и так говорят пророческие книги халдейские, в Париже и Гамбурге немецкими буквами печатанные. Покрутил князь Омелько Богданович длинный сивый ус, наvertsел на желтый от табачища палец оселедец свой, совсем засеребрившийся, и процедил сквозь зубы:

— Ступай, чоловіче Божий, ибо то — Спас наш нарождается. Ступай, княже, поклонись Господу Сил. А допрежь того испроси материнское благословение, навеки нерушимое на путь. Дорога дальняя: шляхами басурманскими, степями безводными — опасен путь в землю Ерусалимскую, на крутой пуп земли — к Алатырь-камню.

Не хотела мать отпускать князя-государя Святослава Ивановича. Плакала и причитала, умоляла сына не ехать в незнаемый неверный путь, через земли турецкие и татарские. Но — делать нечего! — упрям был князь Святослав. Благословила его матушка иконой явленной Николы Угодника, перекрестила, сухарей засушила, заедок испекла, а для дара Господу — хлеба духмяного аржаного каравай да меду стоялого корчагу дала:

— Поклонись Господу Богу нашему от чистого сердца и простоты душевной материнской лаской моей да хлебушком российским святым!

Облачился князь и великий государь святорусский в доспехи ратные, кликнул дружину хоробрую и, после молебна с водосвятием, сел на Гнедка своего да и в путь.

Долго ли, коротко ли едет он через земли неверные и попадает в страну хана крымского. Сидит у Перекопа чудище чудное — татарва не татарва, арап не арап, а так что-то, не разбери-пойми: чистый нехристь и басурман. Встретил он князя с дружиной бранью самопоследней:

— Куда ты, неумытая русская рожа, пробираешься?!

Поглядел на него Святослав Иванович и говорит:

— Что ерепенишься, холоп? Еду я за звездой. Днем почиваю, ночью догоняю, дуракам не докучаю, а холопам не отвечаю!

Как взъярилось чудище — князь Перекопа, разбойная душа, приложилось рожей к земле, дунуло, плюнуло — аж коня напрочь отнесло! А дружина вся вместе с лошадушками наземь попадала. Рассерчал князь Святослав, наехал на чудище, рубанул его с плеча, надвое посек, — где было одно, глядь, а уж на него два чудища прут. Рубанул их — четыре на дружину и самого князя насаждают. Рубит князь, рубит дружина поганую нечисть, а она все растет и растет числом и силою. Смутилась дружина, дрогнула, наутек пустилась. А нечисть за нею. Вся полегла дружина-то, и сам Святослав Иванович в полон попал.

И томится он в полоне у чудища, как приезжает к тому чудищу сторожевому сам великий кудесник, сам злодей хан крымский, государь того чудища поганого. Собою зверовиден: один глаз в Арзамас, другой в Нижний, ноги кривые, как арбуз обнимают, а зубы — чисто собачьи клыки! Купил он великого князя Святослава у чудища да и увез к себе в Крым. А годы-то шли и шли...

Лет уже через десять вырвался светлый государь из полона татарского. Помогли ему евнух ханский из тифлиских армян да немец-доктор Фриц Эдуардыч, хоть и люторского папешного костелу униат, но человек добрый. Сел Святослав Иванович с контрабандистами царьградскими на баркас да и ходу. Глянь, а за ними пароход таможенный турецкий гонится:

— Пропали, православные!

А пароход все ближе. Волною так и захлестывает, так и опрокидывает хлипкий плоскодонный баркасишко. Ну, тут растерялись контрабандисты. Хотели, понятно, досмотра избежать (в тюрьгу-то сесть ни для кого не занимательно!), да и наутек! Но не выдержало суденышко того бегу. А тут еще с парохода из орудия бок баркасий продырявили, и пошла посудина ко дну. Никто не спасся, только Святослава Ивановича выловили турки да генерал-паше своему подарили. Полюбил светлого государя паша. Сделал его своим садовым управляющим, кормил вдосыть, одевал в шелка да бархаты, работой не нудил, только все разговоры разговаривал да от веры русской совращал. Но не поддался Святослав Иванович:

— Хоть с живого кожу сдирайте, от Руси не отрекусь и от веры ее святой!

Прошло еще десять лет. И все не было случая бежать любимому рабу паши — великому князю Святославу Ивановичу. А тут пришел в Турещину целый французский торговый флот. Товару парижского да берлинского повезли видимо-невидимо! Ажно глаза разбегаются. Пошел паша с любимцем своим Святославом на пароходную пристань: товары выбирать, себя показать, людей поглядеть. Неотрывно смотрит князь русский на капитана французского: выручай, дескать, своего! Капитан тоже мигнул ему: понимаем! А покупал он в Турещине товары огромными ящиками. Вот ночью приходит тайком Святослав Иванович на пароход, боится нарваться на какого-нибудь незнакомца, может, и активиста какого, — но капитан тут как тут. Садит его в пустой ящик из-под халвы да в трюм! — под другие ящики. Отплыли, и лишь час спустя в порту грохнули пушки: помощник садовника паши того бдительность проявил — вот и хватились, что любимый холоп паши сбежал.

Едут, едут, не доедут, а тут буря. Разбила-разметала буря корабль, а Святослава Ивановича на берег к арапам выбросила. Арапы страшные, черные, и на лице, как сажа непроглядном, только белые глаза да зубы сверкают: Дикие: по-русски ни гу-гу. Увидали Святослава Иванович, кричат:

— Урус! Урус! Шён, зер гут, о'кей, припарковывайся, шерами! — кричат.

Схватили его и к царю. Десять лет не мог убежать от арапов государь святорусский. Старым, сгорбленным вырвался он от арапского царя, переодевшись гречином-торговцем, да и скрылся в пустыню. Идет, а звезда — та самая, только князю русскому зрима, — ведет его в Ерусалим. И идет Святослав Иванович, босой, избитый, израненный, голодный и в рубищах, но духом крепкий. И приходит наконец в Ерусалим.

На улицах не протолкнуться! Толпы горожан и посадских, давя друг друга, бегут за взводом солдат, ведущим на казнь худого, обросшего длинными темнорусыми волосами человека. Волочит человек огромный крест деревянный, сгибается под тяжестью его до земли, а толпа улюлюкает, наседает. Солдаты злятся, а их начальник, в медной блестящей каске и со щетинистыми рыжими усищами, оборачивается к уличной босоте и злобно ругается последними солдатскими словами:

— Креста на вас нету! Воистину хриstopродавцы, басурманы окаянные!

Оглянулся и Человек с крестом: чело кровавым потом покрыто, на лбу кровь от венца тернового, в кровь избиты руки и ноги, но очи! И таким светом торжества горит весь страдальческий лик Его! Хочет подбежать к Нему светлый государь русский, князь Святослав Иванович, хочет принять на себя крест Его, но начальник конвоя не пускает, бьет прикладом винтовки, а в это время какой-то иногородний, киринеянин, что ли, тоже не выдержавший взора Человека сего, бросился к Нему, осыпаемый ударами палок толпы и прикладов стражи, и на себя принял несение тяжкого креста Его. Поднялся упавший от



удара солдатского Святослав Иванович, кинулся сквозь озверелую толпу ко кресту, хочет тоже пособить чем может.

— Пусти,— кричит киринеянину,— устал ты и изранен, а я привыкши, меня жизнь вон как изломала! — И крест у того из рук рвет.

Так и дошли оба, споря и ругаясь из-за креста, до места Лобного. А там взглянул Святослав на Осужденного, проняла его и тоска, и радость, и свет, и жалость,— и спросил он начальника стражи:

— Кто этот Человек, служивый?

— Ты что, али вовсе неграмотный? Глянь на крест,— прохрипел, злобно косясь на князя, римлянин.

И понял Святослав Иванович, что солдат тот — добрый человек и что злится он и ругается оттого, что на душе его темно и муторно — и казнить Праведника не вмоготу. Глянул государь русский на крест, а на нем дощечка прибита с надписью: ИСУС НАЗОРЕЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. А на небе звезды зажигаются, и над местом Лобным звезда Вифлеемская стоит. Рухнул князь русский в ноги Спасителю:

— Прости меня, Иисусе Христе, Царь Небесный! Опоздал раб Твой спасти Тебя!

Кротко взглянул на него Христос и ничего не сказал ему. Только показал глазами на север: иди, мол, домой. Но не сразу ушел четвертый волхв Господень и до смерти крестной и воскресения Господня не отходил от креста Его. И с панихиды Господней свечу негасимую на Русь принес. А как пришел домой — благословил сына своего Владимира Святого во Христову веру всю Русь окрестить. И свечу негасимую до Второго Пришествия Господня свято соблюдать.

А ты, чудной, не веришь мне!

Так от отцов и дедов повелось. Так прадеды сказывали. Так и нам заповедано. И оно так и есть.



---

ФЕЛИКС СВЕТОВ

\*

## ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ

Роман

16

**Л**ев Ильич понимал, что делает глупость, что это никому не доставит радости и сегодняшний вечер несомненно кончится печально. Или он устал, не мог делать выбор — от чего-то отказаться; или отдался течению несших его событий и случайностей, бездумно уверовав, что, стало быть, так быть и должно; или дело было в том, что в нем гремели, перекатывались, нарастая и проникая его, слова, рядом с которыми все остальное воспринималось такой чепухой...

Он просидел целый день в редакции, в «тихой комнате», где обычно уединялись сотрудники для спешной работы. Поначалу он действительно решил писать — надо было заткнуть рот Крону, отделаться от заранее надоевшего, ненужного очерка. Он положил перед собой бумагу, повозился с ручкой — промыл, наполнил чернилами, долго сидел над чистым листом, вывел название, подумал и зачеркнул, написал снова, опять перечеркнул, скомкал лист. Достал из кармана Евангелие, еще раз прочел строки, написанные Верой: «...Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья...» Книгу было приятно держать в руках, раскрывать, переворачивать страницы — и все для него исчезло.

Он читал послания апостола Павла — так открылась ему Книга — подряд, одно за другим. Он давно не перечитывал Евангелия, но, как выяснилось, к его изумлению, хорошо его помнил. И тем не менее читал как в первый раз, испытывая ни с чем не сравнимое ощущение счастья, прикосновения к чуду. Все вокруг было грубой прозаической реальностью: и неуютная комнатка с голым столом, накрытым заляпанной чернилами ядовито-зеленой бумагой, глухая ободранная стена дома против мутного окна, брошенная на подоконник, забытая кем-то старая хозяйственная сумка, он сам — не спавший ночь, уставший и надорванный. Но все это только живее и пронзительнее делало горевшие перед ним строки, открывавшие россыпь драгоценностей: сокровища поэзии, красноречия, мудрости и духовного утешения. Его потрясал ясный взгляд, бесстрашие и широта мысли, при невероятной глубине прикосновения к самому таинственному из того, что было в открывавшейся духовному зрению Истине. И при этом еврей из евреев, сын фарисея и сам фарисей, выросший в языческом городе, с детства знавший языческую философию — «первый из грешников»...

Он обернулся — над ним стояла Ксения Федоровна, рысьи глазки-щелочки шарили по столу.

— Ты уж не оглох ли, милоч?

Лев Ильич захлопнул книжку.

— Кричу, стучу, заснул, что ли?.. Тебя девочка спрашивает.

— Какая девочка?

— Буду я по именам помнить. В телефоне она тебя ждет.

Лев Ильич узнал Надин голосок.

«Папочка! Ты когда освободишься?..»

Лев Ильич вернулся в комнату, сел к столу, раскрыл Евангелие, но читать не смог. Он должен был что-то сделать, а что, никак не вспоминалось. «Поспать бы...» —

поглядел он на диван. Он было прилег, закрыл глаза, но мысль о том, что ему что-то необходимо, а если не вспомнит, произойдет, что ни в коем случае произойти не должно, не давала уснуть. Он вскочил, прошелся по редакции, стрельнул сигарету у мчавшегося по коридору курьера — студента-заочника, терявшего все, что ему поручали отнести, путавшего адреса и обычно приводившего Крона в неистовство.

— Ты куда? — спросил Лев Ильич, глядя на него с удовольствием. Курьер улыбнулся, показав два ряда веселых звонких зубов.

— Забыл. Никак не могу вспомнить, куда он меня послал. Час назад послал. Срочно. Я уже час бегаю вокруг редакции... Сожрет, а? — неизвестно чему радовался курьер.

— Давай я узнаю, — нашел себе дело Лев Ильич и тут вспомнил, ухватил мысль, которая его мучила. — Спасибо тебе.

— Мне? — захохотал курьер. — Ну даете...

Лев Ильич толкнул дверь в кабинет Крона. Тот говорил по телефону, был бледен от злости, кого-то о чем-то просил.

— Послушай, Борь, — добродушно сказал Лев Ильич, когда тот бросил трубку, — куда наш курьер делся?

— Что? — закричал Крон. — Куда делся!.. А тебе что? — спросил он подозрительно.

— Чего ты орешь? — по-прежнему добродушно спросил Лев Ильич. — Мне его нужно в Общество послать.

— Какое «общество»? Ну можно ли работать в сумасшедшем доме? И машинистка куда-то исчезла...

«Правда, куда это Таня делась?» — с тревогой подумал Лев Ильич, он раза два к ней заглядывал.

— В Общество по распространению, — с идиотской улыбкой ответил Лев Ильич. — А у тебя головка болит, перебрал вчера?

— Курьер в Президиуме академии, мне только что звонили, его до сих пор нет, а нужно срочно завизировать материал, человек уезжает на полгода за границу, все летит! А этот кретин где-то шляется... Есть приказ, запрещающий без моего ведома посылать его куда бы то ни было. В Общество вы самостоятельно можете сходить. Вы только и делаете, что куда-то ходите... Материал готов?

— Что ты, Боря, сложная работа. Я думаю книгу написать.

Крон даже застыл от такой наглости.

— К-книгу?.. В понедельник я ставлю вопрос на редколлегии, вы не выполнили задания по командировке. У меня еще кое-что есть на...

— У тебя есть на меня материал? Оперативный? Он для суда не годится — косвенные улики, — и не давая ему ответить, повернулся к двери. — Выпей пива, Боренька, проверенное средство, враз полегчает.

— Жми в Президиум академии, — шепнул он дождавшемуся его в «тихой комнате» курьеру. — Крон только что стол не грызет от бешенства, и «сове» не попадайся на глаза. Плохо твое дело.

— Обязательно выгонят! — хохотал курьер. — Точно же выгонят, а?

— Не перепутай — в Президиум, на Ленинском!

— Послушайте, Лев Ильич, — ликовал курьер, — идемте пива выпьем. Две бутылки ставлю за блестяще проведенную операцию!

— В другой раз. Ты там на Крона нарвешься, я ему посоветовал пива, чтоб головка не болела.

— Да? — сверкнул зубами курьер. — Ну даете!

Лев Ильич подошел к телефону и набрал номер Маши. Подошел Игорь, они договорились, что тот зайдет к нему в конце дня. «Форма одежды парадная?» — улыбнулся в трубку Игорь.

— Форма одежды? — переспросил Лев Ильич и вспомнил, что ему надо идти к Юдифи. — Белый верх, темный низ. Или наоборот. Только приходи.

С Таней он встретился, когда привезли зарплату. Лев Ильич отдал деньги.

— Пойдем пообедаем?

— Спасибо, я уже, — покраснела Таня.

— На тебя Крон зубы точит, где-то, мол, ходишь...

— Ну и пес с ним, — небрежно отмахнулась Таня.

Лев Ильич с изумлением уставился на нее.

— Однако успехи... — сказал он.

Надя пришла в «тихую комнату» за полчаса до конца рабочего дня. Он снова читал Евангелие, и ему казалось, слышит глуховатый, изнутри говоривший голос — «Как в обратной перспективе!» — мелькнула счастливая мысль: «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного: потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства...»

Она словно выросла за эти дни — в цветастом платочке, в дешевом, под кожу, пальто, темные, будто нарисованные брови блестели от таявшего снега, а глаза живые, затаенно-веселые, тут же сверкнули тревогой.

— Ты не болеешь — бледный, худой?

Как у нее все на лице написано, думал Лев Ильич, тяжело придется, или это быстро уходит?..

— Какая ты красивая, Наденька, совсем большая.

— А я на каблуках, мамины туфли, она разрешила. Не болеешь?

— Что я, барышня, болеть. Как у тебя?

— Пап, ты решил? Я говорила с мамой, она не отвечает. Ты в кого-то влюбился, пап? В дверь всунулась Ксения Федоровна, ощупала Надю глазками-щелочками.

— К тебе посетитель. Учти, через десять минут буду закрывать редакцию.

— Перестань, Ксения Федоровна, что за детский сад, — разозлился Лев Ильич.

— Иди объясняй Крону, какой сад, а я человек маленький.

— На сову похожа, — Надя прыснула в кулак.

— Откуда ты знаешь? — удивился Лев Ильич.

— А я не знаю, увидела — сова!

Вошел Игорь, запорошенный таявшим на нем снегом, как накануне на паперти.

— Хорошо, — сказал Лев Ильич, — а то нас гонят отсюда. Познакомьтесь, Игорь, это Надя, моя дочь.

— Какой вы длинный, — открыла глаза Надя, — в баскетбол играете?

— Нет, — серьезно ответил Игорь, — я мечтаю играть Шекспира, а мне предлагают роль брандмайора, влюбленного в водителя троллейбуса.

— Вы киноартист! — ахнула Надя. — Пап, а если я стану актрисой?

— Это будет ужасно, — серьезно сказал Лев Ильич.

— Хотите, Надя, я вас с настоящей актрисой познакомлю? — спросил Игорь.

Льву Ильичу показалось, он смотрит на нее с восхищением. «А я просто старый сводник», — подумал он, вспомнив еще Федю с Таней.

— Зачем актриса? Я бы лучше с вами познакомилась, — Надя покраснела, — в том смысле, что мне нужно не знакомство, а профессиональная школа...

— Знаете что, ребята, — вмешался Лев Ильич, — я виноват перед вами, пригласил, а у меня сегодня... Существует дом, который ко мне не имеет никакого отношения, но меня там ждут. Две женщины. И мне неловко... Знаете что, — осенило его, — пойдемте вместе! Во-первых, вам будет забавно, во-вторых, как вы, Игорь, насчет иностранных напитков — джин, например?

— Положительно, — сказал Игорь.

— А в-третьих, мы часок посидим и смоемся.

Он позвонил Юдифи.

«Где ж вы? Я вам очень благодарна за трюфеля — вы галантный человек».

Он извинился, объяснил ситуацию, сказал, что никак не может расстаться с дочерью.

«Сколько лет вашим детям?.. У меня не будет ничего, что не показывают до шестнадцати лет. Остальное от вас зависит — как вы выйдете из положения. Я имею в виду некую игривость положения... — хмыкнула она. — Но зато острота!...»

Так мне и надо! — обозлился Лев Ильич.

Им открыла Вера, стряхивавшая снег с шапочки, видно, только вошла. Она недоуменно посмотрела на Льва Ильича, но выскочила собачонка, появилась Юдифь в немисливо ярком сарафане, в кокошнике, в ушах позвякивали, отражая свет, длинные серьги — она шумно выразила восторг Наденькой. Вера молчала, и Лев Ильич перехватил ее взгляд, такой же, как ночью, затравленный и обреченный.

Игорь увидел иконостас у вешалки, вздрогнул и глянул на Льва Ильича.

«Поделом вору и мука, — со злорадством подумал Лев Ильич, — мало мне, ничего, сегодня нахлебаюсь...»

— Прошу, проходите, — пригласила Юдифь. — Нет, не сюда, — она прикрыла «Людовика XV», распахнула другую дверь, вчера Лев Ильич ее не заметил.

Он шагнул в комнату и остолбенел.

Это была большая столовая, стены обиты деревянными панелями, посреди комнаты темный, по всей вероятности дубовый, без скатерти стол, широкие лавки блестели темным лаком, ярким пятном выделялась занавесь на окне, красочная, как панева, похожая на сарафан Юдифи, вдоль стен громоздкие резные полки, уставленные хохломой, каслинским литьем, дымковскими игрушками, на стенах прялки, расписные тарелки, большая полка с самоварами — от ведерного, сиявшего красной

медью, до маленького, диковинной формы, с заварной чайник величиной; в углу гигантская ступка, а рядом под стать ей сундук, похожий на гроб. Над столом — паникадило, сверкавшее хрусталем, а под ним на салфетках с орнаментом деревянные тарелки, такие же ложки, посреди стола граненая хрустальная бутылка с зеленоватой жидкостью, красная икра в широкой миске, огромная братина с янтарным напитком, с висящим на борту ковшом...

— Ну как? — вошла следом Юдифь.

Лев Ильич, с трудом опоминаясь, посмотрел на Игоря. Тот едва заметно мигнул, и Лев Ильич успокоился.

— Потрясающе, — сказал он именно то, что от него ждали. — Такого я не видел.

— И не увидишь, — обернулся к нему от полки с самоварами Феликс Борин.

Это было неожиданно: «Феликс у Юдифи?.. А почему бы нет, где ему еще быть — у отца Кирилла, что ли?»

Феликс был не один. Комната, приведшая Льва Ильича в столбняк, вдруг ожила: он увидел Вадика Козицкого, поклонившегося издали, застывшую у стены на скамейке пару — миловидная, пышная блондинка в строгом костюме парторботника и унылого вида мужчина в очках. У стола суетилась молоденькая девушка, как лошадка, она поминутно откидывала падавшие ей на лицо русые волосы, и тогда открывалась славная мордашка, выпуклый лоб с широко расставленными небольшими глазами. Она раскладывала деревянные приборы, передвигала, переставляла на стол с уже знакомого Льву Ильичу стеклянного столика на колесах. Последним он заметил еще одного человека: в углу на лавке под картиной, изображавшей сельский погост с часовенкой на заднем плане, сидел небольшого роста, совершенно лысый человек в отлично сшитом костюме, в галстучке, в ослепительно белых манжетах поблескивали яркие запонки.

В комнату скользнула Вера — бледная, в черном свитере и джинсах, отрешенная.

— ...Такого не увидишь, — повторил Феликс Борин, — только евреи в нашем благословенном отечестве способны хранить традиции православия и народности. А ты оторвался...

— Bravo! — откликнулся Вадик Козицкий («Они тут затейники, не скоморохи же...») — подумал Лев Ильич. — Bravo, Феликс, народность привезли в этот удивительный край варяги, греки внесли чуток своеобразия, слегка подреставрировали монголы, сдобрили немцы, облагородили французы, и наконец, пришла пора евреев: эти оказались самыми оголтелыми — им только лапты да квас.

— Положим, нашей хозяйке не откажешь в разнообразии ассортимента, — подав из угла голос лысый фронт, — помимо лаптей и кваса, надо думать, нас еще чем-то собираются потчевать?

— Это детали. Не вижу принципиального различия между квасом, блинами, православной церковной архитектурой или, скажем, еще более православным самогоном-первачом. Источник, первоначало — квас, и я готов с помощью самоновейших методов спектрального анализа обнаружить его присутствие в живописи Рублева и в прозе Гоголя...

Лев Ильич затравленно озирался. Знал же он, чувствовал, что это кончится печально, зачем пришел, да еще ребят притащил.

— Блестяще! — откликнулся Вадик Козицкий. — Исчерпывающе. Думаю, можно принять как рабочий вариант заявки на докторскую диссертацию — «К вопросу о квасе и его изначальной роли в формировании русской культуры»... Наденька! — перебил он себя. — Что ты не говоришь дяде здравствуй?

— Здравствуйте, дядя Вадик, — на Наде была короткая, из ярких доскутков сшитая юбка, открывавшая длинные стройные ноги.

«Без меня сшили», — подумал Лев Ильич.

— Не заметила. Зачем я такой длинноножке! — не унимался Вадик Козицкий. — Интересно, на что ты тут смотришь?

— На самовары, — серьезно ответила Надя. — Я таких никогда не видела. И не знала, что бывают.

Главное, спокойствие, — уговаривал себя Лев Ильич, — сегодня читал о том, что следует удаляться пустых споров с людьми поврежденного ума, чуждых истине, ибо такие споры бесполезны и суетны...

В комнату влетела, шурша сарафаном, Юдифь.

— Или мне показалось, но я слышала слово «блины»?

— Вам не показалось, — сказал Вадик. — Я употребил это древнерусское реченье в полемике с уважаемым оппонентом, для которого оно только символ, знак, деталь интерьера. Безо всякой надежды на какое бы то ни было иное применение.

— Толик, не может быть? — воскликнула Юдифь, всплеснув полными обнаженными руками. — Вы знаете меня тысячу лет и могли подумать, что я буду угощать вас знаками, символами и деталями интерьера?

— Позвольте, — сказал франт. — Этот незнакомый мне господин, извините, шулер. Это я утверждал разнообразие ваших, и не только эстетических, пристрастий — до живых и теплых блинов включительно!

— Кто-нибудь все-таки скажет мне правду?.. — Юдифь так искренне была рада, что всем у нее весело, что Льву Ильичу стало неловко: мало что пришел, привел детей, ему еще все тут не нравится!

— Хорошо, — продолжала Юдифь, — никаких оправданий, пусть скептику будет стыдно. Весной, как всем известно, в России масленица, а потому прошу к столу...

В дверь торжественно вошла понравившаяся Льву Ильичу девушка-хлопотунья с деревянным блюдом, а на нем горка бледных блинов.

Лев Ильич поймал быстрый взгляд Веры, тут же отвернувшейся. В комнате начался веселый гвалт, говорили все разом, перешагивали через лавки, усаживались вокруг стола. Лев Ильич разыскал глазами Игоря — и снова успокоился: тот откровенно и не скрывая широко улыбался. Потом шепнул что-то Наде, и они уселись рядом у края стола.

— Да! — вскочила усевшаяся было Юдифь. — Я вам еще не представила моего нового друга, хотя многие его знают, Льва Ильича и его очаровательных детей. Впрочем, нуждается ли такой милый человек, чтоб его представлять?..

Лев Ильич церемонно поклонился.

Это было, конечно, удивительное застолье, а может, Лев Ильич отвык, забыл, нечто подобное и бывало всю его жизнь — менялся интерьер, закуска, напитки, имена людей, а все остальное таким и было: кто-то щеголял остроумием, кто-то пытался удивить мудреным замечанием, кто-то поражал смелостью или двусмысленностью наблюдений; все расходились довольные, на лестнице начиная потешаться над глупостью хозяев, а не успев добраться до дому, напрочь забывали все, о чем целый вечер говорили... Может, и сегодня кончится мирно, успокаивал себя Лев Ильич, переживем блины и потихоньку смоемся.

Отказаться от блинов было невозможно. «Бог с ними», — подумал Лев Ильич, вспомнив Филарета Московского, и с неожиданным в себе злорадством отметил, что блины были сухие, безвкусные, вся закуска из магазина, хоть и дорогая — шпроты, ветчина, красная рыба и икра, которую Лев Ильич никогда не ел, полагая муляжем. «Да и паникадило похуже, чем у Саши», — неожиданно отметил он. А может, не хуже, но там оно было на месте, а здесь словно взяли напрокат на один вечер...

Он так увлекся разоблачениями, что вздрогнул, услышав свое имя. Юдифь сидела против него рядом с франтом, с другой стороны Вадик Козицкий, дальше Вера с Феликсом Бориным, ребят он не видел — они сидели на той же лавке, что и он, на другом конце стола, а подле него хорошенькая девушка и миловидная блондинка рядом со своим унылым спутником. Торцы стола были свободны.

— Лев Ильич, почему вы молчите о моих блинах и напитке?

— Да, конечно, — промямлил Лев Ильич, — но я больше по части рыбы. — И он уцепил вилкой кусок семги. — А про напиток что говорить, я всегда за водку, тем более на лимончике. Хотя знаете, Юдифь, — осмелел он, вспомнив обещание Игорю, — вчерашний джин забыть невозможно.

— Кто-нибудь хочет джинку? Хотя это нарушит стиль...

— Переживем, — нагло сказал Лев Ильич. — Я думаю, он оттенит цельность общего впечатления.

Девушка рядом с ним вспорхнула и тут же вернулась с непочтой бутылкой джина. Это вызвало новый взрыв долго не утихавшего оживления. Даже унылый господин что-то сморозил, за что, как показалось Льву Ильичу, блондинка пырнула его локтем в бок, во всяком случае, он закашлялся и засморкался, вытащив огромный носовой платок.

— Передайте джин на тот конец стола, — шепнул Лев Ильич хорошенькой соседке, — моим ребятам.

Она понимающе глянула на него. Поднялся Феликс Борин.

— Я думаю, следует ввести наше словоизвержение в какой-то сюжет, — сказал он. — Обстановка требует, как верно заметил уважаемый Лев Ильич, цельности, стиль уничтожает хаос и заставляет мысль течь по определенному, заданному нам руслу. Считаю необходимым напомнить об одной из вечных проблем, оживляющих нашу гнусную действительность уже более столетия, о проклятом вопросе, на котором скрещиваются и кипят страсти и люди мгновенно проявляются, — о еврейском

бродили в перестоявшемся, пошедшем плесенью тесте... Где была бы неповоротливая расейская баржа без ультрасовременного оснащения, которым снабдил ее еврейский гений? — спрашиваю я и отвечаю: бултыхалась бы, не в силах выбраться из воспетых нашими поэтами льдов. А чем была бы эта страна, коль еврейский гений мог бы свободно развернуться? Наверно, той тройкой, что восхищала бы, заставляя сторониться народы и материки. А что мы имеем? Россия, как чудовищный минотавр, пожирает своих лучших сынов, земля полита еврейской кровью — и это в благодарность за то, что ее вывели в открытое море, что хотя бы снаружи можно не стыдиться, называя себя ее гражданами. Я предлагаю выпить за этот дом и его очаровательную хозяйку, зримо и ощутимо доказавшую нам, кто является истинным хранителем народности и православия!

— Очень мило! — засмеялась Юдифь и чмокнула подошедшего к ней и наклонившегося за наградой Феликса. — Только православие зачем? Я его не зря под вешалку устроила.

Лев Ильич снова поймал брошенный на него взгляд Веры, на этот раз ему почувдился усмешка, и он совсем успокоился, но теперь потому, что твердо знал, чем это все сегодня кончится. «Ну и ладно», — сказал он себе.

— По части православия я не специалист, — сказал, усаживаясь, Феликс Борин, — где ему место, не мне определять. По мне, так оно и к квасу имеет чисто условное отношение. Завезли, чуть принарядили языческую стихию, будто море этого свинства можно хоть бетонными берегами укрепить.

— Про квас забыла! — всплеснула руками Юдифь. — Толик, прошу вас, разлейте — братина требует мужской руки.

Лысый франт подтянул рукава и, поблескивая запонками на манжетах, принялся разливать квас, черпая из братины ковшом.

«Квас-то из концентрата!..» — успел с новым облегчением подумать Лев Ильич, хлебнув из кружки.

— Так у нас же свой специалист, — без улыбки сказал Вадик Козицкий. — Что ты таким скромником сидишь, Лев Ильич, тебе и карты в руки.

— Вы — специалист? — удивленно подняла брови Юдифь. — Не подумала бы, вы ведь занимаетесь живой природой — рыбой.

— Рыба — это хобби, — продолжал свое Вадик. — А православие, как он недавно утверждал, экзистенция.

— Как интересно! — воскликнула Юдифь. — Не молчите же!..

— Перестаньте, что за тема за столом! — сказал франт, у него неожиданно оказались умные, острые глаза и широкие жесты уверенного в себе человека.

«Ловко он с квасом обошелся, и не пролил ни капли», — с симпатией отметил Лев Ильич.

— А чем не тема, — вмешался Феликс, — запах не нравится?

— Запах еврея, — брякнул унылый господин. — Эпиграмма Марциала, посвященная его другу Бассу, у которого дурно пахло изо рта, — и в наступившей тишине продекламировал:

То, чем от сокнувшей лужи часто пахнет...

Чем натошак от всех шабашу верных...

Лучше мне нюхать, чем, Басс, твое дыханье.

— Да и Аммиан Марцеллин рассказывал, — продолжал он безо всякого выражения, — что, когда император Марк Аврелий проезжал по Палестине, в нем часто вызвали омерзение встречавшиеся ему «вонючие, суетливые евреи»... Это к вопросу об истоках древнего антисемитизма, которым, разумеется, проникнуто правосла...

Льву Ильичу показалось, он даже почувствовал, как соседка всадила эрудиту в бок локоть: «Спасибо, она такая пышная и локоток, наверное... Неужто бедный Сашенька не знает — ему б такой фактик!.. Каких только людей нет у нашего царя!..» — развеселился Лев Ильич.

За столом смущено захихикали. Несколько, видно, оторопели.

— Я тебя все-таки заставлю открыть рот, — сказал без улыбки Вадик Козицкий. — Очень ты в прошлую нашу встречу был разговорчив. Что же теперь отмалчиваешься?

— Насчет чего? — лениво спросил Лев Ильич, он себе удивлялся и радовался своему спокойствию, — про евреев или о православии? А может, о России?

— Так в тебе это все вместе или ты теперь не еврей? — Вадик говорил спокойно, расчетливо, жестко.

— В чем дело, что за разговор, непонятный непосвященному? Вадик, вы себя ведете неприлично... — рассердилась Юдифь.

— Почему же я должен вас посвящать, когда Лев Ильич здесь? Ныне крестившийся раб Божий Лев Ильич Гольцев.

— Крестившийся? — открыла и без того распахнутые глаза Юдифь. — Быть того не может, Вера, ты слышишь?

Вера не ответила и не глядела на него, Льву Ильичу показалось, она смотрит на Надю, и он порадовался, что сам он Нади не видит — на том конце стола было тихо. «Как ты с этим испытанием справишься?» — с любопытством спросил он себя.

— Вы могли принять православие в этой стране сейчас? Когда еврейских детей не берут в институты, на работу, не выпускают за границу?..

— Так уж не выпускают, — сказал с облегчением Лев Ильич, — вы мне вчера сообщили, что ваш муж в Лондоне.

— Мой муж русский.

— Прошу прощения... Ну а... разве среди присутствующих есть безработные? Из тех, кого я знаю, все получают приличную зарплату, у всех высшее образование, а кое-кто защитил диссертации, — и он подмигнул Феликсу Борину, вспомнив, как на банкете по поводу его защиты диссертанта вынесли замятку.

— А что ты запоешь через год, когда твою Надю не возьмут в институт? — тут же среагировал Феликс.

— Она запоет, ты ее спрашивай. Она, кстати, петь собирается. Или декламировать. К тому же я не нахожу, что высшее образование, как, кстати, и красная икра, делает людей счастливыми и добрыми, а ежели мою дочь не возьмут в какое-нибудь МИМО или на факультет журналистики, откуда она могла бы попасть, скажем, в «Литературную газету», то только порадуюсь, да еще Бога, в которого верую, буду молить, чтоб ее туда не взяли. Думаю, каждый еврейский родитель должен молить своего Бога о том же: чтоб Господь уберег его детеныша от лжи, все остальное придет своим чередом. Как ты на это смотришь, доченька? — спросил он, не видя Надю.

— Я тебя люблю, папочка! — откликнулась Надя таким звонким голосом, что у Льва Ильича едва слезы на глазах не выступили.

— Нет, я все-таки не понимаю, — горячилась Юдифь, — мне все время рассказывают... да вот Светочка, моя аспирантка, ваша соседка, о безобразной антисемитской сцене в магазине, о том, что у них на кухне вытворяет взбесившаяся баба с несчастными стариками евреями, которые так к Светочке добры, — правда же?

Бедная Светочка запунцовела и ничего не ответила.

— Что ж, мы и будем на таком кухонном уровне вести разговор? — спокойно ответил Лев Ильич. — Разве случай в коммунальной квартире вам что-то объяснит? Что там только не происходит.

— Мы все живем в этой коммунальной квартире, — сказал Вадик Козицкий. — Россия...

— Не все, — перебил Лев Ильич, улыбаясь и глядя на Юдифь.

— Россия и есть большая кухня, — Вадик не обратил внимания на его реплику, — омерзительная, загаженная, провонявшая примусами помойка.

— В таком случае уезжай, — сказал Лев Ильич. — У тебя есть выход — найди еврейскую тетушку в Израиле.

— Но почему я должна уезжать, зачем мне Израиль? — вскричала Юдифь. — Я всю жизнь здесь работаю, у меня вышли книги, я собираю здешнее искусство, я, наконец, здоровье здесь потеряла! Я хочу жить как все...

— Что значит «все»? — спросил Лев Ильич по-прежнему тихим голосом. — Как все в Соловках, на Беломорканале, в северных крытках, с блатными на Колыме и Джезказгане? Или как «все» — в Коктебеле, в Барвихе и Пицунде?

— Но разве евреи не сидели в лагерях? Почему же... — начал фронт.

— Да подождите вы, знаем, знаем — все сидели в лагерях, надоело, — оборвала его Юдифь. — Я хочу этого человека понять. Я действительно здесь потеряла здоровье, я имею право...

— Ну а кроме прав, разве нет обязанностей? — так же тихо спросил Лев Ильич. — Почему только о своих правах? К тому же собиранием искусства можно и там заниматься — тем более «Людвиком Пятнадцатым».

— Какие еще обязанности? — с искренним недоумением спросила Юдифь.

— Перед этой землей, политой русской кровью — океаном ее. Перед расстрелянной русской культурой — разрушенными и загаженными церквями, к которым Феликс только что высказал отношение, даже меня, его хорошо знающего, поразившее цинизмом и невежеством. Ну это свидетельствует о нем, не о русской архитектуре. Но главное не в этом... Что тут спорить, мы только о себе можем... Да, — посмотрел он на фронта, — были евреи на Колыме и Беломорканале. А кто были



начальниками этого знаменитого канала — не Френкель, Раппопорт, Коган и Берман?.. Что ж вы своими ранами да заслугами хвастаетесь? Как здесь до покаяния дойти, а иначе пропадешь. Почему бы не вспомнить, кем была пролита кровь...

— Вот ты и вспомни о погромах да о сорок девятом годе, — вставил Вадик Козицкий.

— Да я же и говорю о том! — крикнул Лев Ильич, с огорчением отметив, что спокойствие его кончилось, а значит, он уже не может владеть собой. — Не на других надо указывать и пальцем в них тыкать с радостью — это только тебя погубит, о себе, себя и только себя судить. Свою вину постараться увидеть и понять. Тогда ты ее и оплатить сможешь. А что иначе?

— Вы о какой вине говорите? — спросил франт, и опять Льву Ильичу понравились его глаза, в них хоть мысль была, а не злоба, как у Вадика.

— Да о том, что Россия и без евреев так же бы в море выплыла — нелепо лепетать о какой-то оснастке, будто бы сооруженной здесь еврейским гением! Какая оснастка, о чем вы говорите? В чем она — еврейская заслуга? Это в худшем бы случае Россия без евреев той же баржей осталась — и слава Богу, было чем действительно гордиться. А в лучшем, действительно была бы оснастка, потому что не было б Троцкого, Ягоды и Кагановича, не было бы продажных писателей с еврейскими ли фамилиями или с русскими псевдонимами, продажного кино, философов, готовых диалектически оправдать любую мерзость. Что же до того, что действительно сделали евреи в русской науке или инженерии — в этой самой оснастке, было, как же, разумеется, и было, и сделали — но право же, постыдно об этом вспоминать... Едва ли стоит мерить — только к стыду и неловкости.

— Ну знаете, — сказала Юдифь, с безразличностью глядя на Льва Ильича, — такого я в своем доме никак не ожидала. Впрочем, когда человек изменяет голосу крови...

— Какой крови? — спросил Лев Ильич.

— А по-вашему, православие не измена? Разве церковь создана не для того, чтоб унижать и уничтожать евреев — не только теоретически? Только руки короткие.

— Она для другого была создана, верней, всегда существовала. Разве апостолы, евангелисты не были евреями? А Матерь Божия...

— Эти сюжеты мне хорошо известны.

— Вы знаете еврейский язык?

— Нет. Мне он ни к чему. Я живу в России...

— Как же вы тогда ходите в синагогу — там на еврейском идет служба?

— Это еще зачем? Почему я должна ходить в синагогу? Для того чтобы чувствовать себя еврейкой и всегда об этом помнить, мне не нужна синагога — мне достаточно знать, что в этой стране, в которой живет быдло, всегда гнали и уничтожали евреев. В отличие от вас, я никогда не смогу отмахнуться от разговоров на кухне, хотя на своей их не допущу и, надеюсь, этот будет последним...

— Юдифь, да что с вами? — попробовал урезонить ее франт.

Юдифь отмахнулась от него.

— Юдифь? Да меня, если хотите, и Юдифью назвали не случайно. Пусть меня топчут, я горжусь тем, что я Юдифь...

Лев Ильич позволил себе маленькое удовольствие — глянул на Веру, но не увидел того, что ждал, только безразличие, усталость...

— Да кто же ты все-таки теперь? — повторил вопрос Вадик, — русский, что ли?

И Лев Ильич сорвался. Он давно знал, что не удержится, что спокойствия хватит не надолго, не ему вести эти разговоры, объяснять и миссионерствовать. «Да брат мой от меня не примет осуждения...» — мелькнула перед его глазами пушкинская строка, набросанная легким, летящим почерком.

— Я-то еврей, — сказал он. — Меня зовут Лев Ильич Гольцев. Мой отец, мать, деды, прадеды — и так до десятого колена — были евреи: цадрики, раввины, барышники, спекулянты, торговцы живым товаром. А я православный христианин. А вот кто ты, Вадик?

— Я? — растерялся Вадик. — Ну конечно, еврей.

— Может, покажешь паспорт и мы прочитаем, что там у тебя написано?.. — это был запрещенный удар, ниже пояса, потому что кому как не Льву Ильичу было знать, что Вадик мучился этим, а потому так нервно реагировал; но и отказаться от удара у Льва Ильича не хватило сил. — И ты, полужидок, будешь мне объяснять про евреев, о том, сколько и кто пролил их крови? Вы будете мне говорить о голосе крови и о том, как я его должен слышать? — Он увидел краем глаза, потому что смотрел Вадика прямо в лицо, что на том конце стола встал во весь свой прекрасный баскетбольный рост Игорь, и снова порадовался, что взял ребят с собой. — Вы люди без нации — не

еврей, не русские — советские, страдающие только оттого, что у вас нет черной икры, ненавидящие Россию, не знающие ее, стыдящиеся своего еврейства. Голос крови? Элементарное национальное чванство: мы — гонимые, значит — избранные, нам все должны, мы обиженные — значит, лучше! Хоть стол ломится, всё равно гонимы, растоптаны! Все равно ущемлены. Ещё о том любите вспоминать, что сто лет назад евреям нельзя было в Петербурге и Москве селиться, не было, мол, права жительства, а о том, что в этой стране, где, верно, черта оседлости существовала, миллионы русских людей были в то же самое время крепостными, — об этом и думать позабыли? Ну уж коль сравнивать да мериться? А о том, что сегодня, не сто лет назад, — сегодня миллионы русских крестьян паспортов не имеют — что ж вы, гуманисты, об этом не думаете, вы же в России живете! Даже сейчас, когда проблема решена — не вами, настоящими евреями, которые пейсов не стыдятся и язык учат, — сионистами, если не Промыслом Божиим. Ну не могу, ну невидите, не мать она вам, мачеха, получайте визу и уезжайте — скатертью дорога! Трудно? Но ведь возможно, а русскому человеку и того нельзя.

— Да он просто погромщик! — охнула Юдифь. — Что же вы, мужчины!..

— Апостол Павел не слышал голоса крови — это сюжет, — Льва Ильича ничто б сейчас не остановило. — Мать Божия не слышала — это миф, Пастернак не слышал — у него еще отец был выкrest, дань традиции, я не слышу — корысть, ложь или трусость! А что вы слышите? Голос желудка! Если б голос крови, что же еврейского языка не знаете, в синагогу не ходите? Не знаете Ветхого завета, культуры? Я слышу голос крови, и потому я православный христианин. Более того, я потому православный христианин, что слышу голос крови. Только тот еврей слышит голос крови, который становится христианином, услышать голос крови для еврея, родившегося в России, и значит стать православным, только тогда откроется возможность хоть начать оплачивать неоплаченный счет за пролитую кровь. Для вас все вокруг было — наслушался! Одни евреи неизвестно почему избраны, чистая раса... Вы даже не гуманисты, это... это... — Лев Ильич чувствовал, понимал, что говорит совсем не то, не так, не поймут, только озлобятся: «Пусть не то, пусть не прав — чтоб знали!» — Да, мой Бог — Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Моисея, Сына Давидова — Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, говоривший в пророках и апостолах, живущий от века в русской православной Церкви. И я слышу Его — это голос крови. Это избранничество, а не жалкое мещанское чванство, напыщенность, гордящаяся своей исключительностью и считающая, что все обязаны им чем-то и за что-то, думать позабывшие о своих обязательствах и вине...

Лев Ильич и не заметил, что стоял, перешагнув лакированную лавку. Юдифь тоже выпрыгнула из-за стола.

— Вон из моего дома! — крикнула она в бешенстве, шаря руками по столу.

— Мы уходим, верно, ребята? — очнулся Лев Ильич. И тут ему стало не по себе. «Ну куда ты годишься после этого?» — подумал он.

Надя стояла возле Игоря и держала его за рукав свитера.

Они выбрались в коридор, взяли свои пальто, Лев Ильич бегло глянул последний раз на потрясающе красивые иконы и открыл дверь, слушая мертвую тишину в большой комнате, взорвавшуюся разноголосым криком. Дверь за ними захлопнулась.

«Куда уж мне, — повторил он про себя, — что будет со мной, когда и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного...»

## Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

### 1

Льва Ильича поразил сначала свет: он был розовый, как бывает ранним утром, зимой, когда только-только выкатившееся, блеснувшее из-за бугра солнце розовыми полосами ложится на нахлобученную по самую стреху, заваленную снегом крышу, полосы медленно перемещаются вместе с легкими, в фиолетовых тонах, тенями деревьев, и знакомый до каждого венца дом вдруг покажется сказочным, сверкающим, как драгоценный камень, посреди белых деревьев, сутробов, старенькой изгороди...

Тут не было снега: розовый свет дрожал от зноя, бившего в узкие окна, — рассвет ли то был, почему такой зной. — где это все? Да и при чем здесь свет, перебил себя Лев Ильич. Разве в нем дело? Почему его не удивляло остальное, и прежде всего то, на что свет падал, что дрожало, все более четко определяясь в розовом знойном мареве? И то, что привиделось посреди разговора...

Они сидели за столом: Лев Ильич на диване, как в тот раз, когда Маша читала Евангелие. Маша напротив него, а рядом с ней... Почему его не удивляло, не радовало, не делало счастливым, коль получилось как по писаному, о чём он и мечтать не смел? Эх, все дальше, дальше уходил Лев Ильич, наверно, никогда ему теперь не быть счастливым.

Они проводили тогда Надю домой. Возбуждение, азарт, гнев — уже внизу, как только хлопнула за ними дверь подъезда, сменились у Льва Ильича стыдом и удрученностью: и перед ребятами неловко, и перед оставшимися в этой нелепой, постыдной квартире... Откуда в нем право судить, а уж кричать о покаянии и вовсе не следовало, — не поняли, озлобились, значит, только вред принес людям, а среди них и тем, с кем прожил рядом чуть не целую жизнь. Знает ли он правду о них, вымерил их уязвленность, только ли это корысть, что ж так легко отмахиваться от кухонного, пусть салонного уровня?.. А когда нет ничего другого, когда ты болен, голоден, раздражен и весь свет застит наглое благополучие соседа, а ему до тебя дела нет... «Бр-р!..» — только и мог он себе сказать. Можно ли выпрыгнуть из этого круга, если, оставшись в нем, захочешь постигнуть чью-то правду? Вася-актер с егодикостью симпатичней, чем Юдифь или его дружок Вадик с их интеллигентностью...

Надя прижалась к нему, прощаясь, он почувствовал, как она дрожит под кожаным пальтишком, а они уже шагали дальше, Игорь открыл ключом дверь, шепнул что-то матери, Льва Ильича ни о чем не спрашивали, Маша постелила в комнате Игоря, и он сразу провалился в тяжелый, липкий сон.

Он проснулся поздно — часы вчера не завел, на стуле лежало выстиранное, выглаженное его белье, записка — где найти ключи, завтрак. Он долго стоял под душем, приходя в себя, с ужасом думая о последних днях.

Вспомнил, что сегодня суббота, уже собравшись идти в редакцию. Сел к столу, вытащил Евангелие — и очнулся, когда пришла Маша, следом Игорь, потом тренькнул звонок, и Игорь ввел в комнату смущенную Надю.

Она пришла прямо из школы, с портфелем, в коричневой форме с фартучком, перепачканным мелом, худенькая, бледная, с тревожно блестящими глазами. Маша усадила их всех обедать. И вот за столом под абажуром, в комнате с ботаническим садом на окне, пытаясь услышать, о чем болтает с Игорем и смеется быстро освоившаяся здесь Надя, он и увидел внезапно розовый дрожащий свет, а в нем человека в полукружье сидящих перед ним невидимых в полутьме людей.

Свет странно падал из-за спин сидящих, освещал только того, кто стоял перед ними, а Льву Ильичу важно было разглядеть их, он знал, для него именно в них и была разгадка, а для них она была в стоявшем перед ними юн о ш е, и Лев Ильич гляделся в него.

Он был поразительно красив, Лев Ильич внезапно понял, на кого он похож, он узнал глаза, — только не было крыльев за спиной, и мрачное судилище ничем не напоминало рушащуюся и все равно прекрасную, остановленную в своем падении нежными теплыми крыльями несчастную русскую церковь. Лев Ильич понял, что и свет этот был не случаен, как не случайно падал он только на юношу, проходя сквозь тех, что сидели полукругом, их не освещая. Но и они не могли не видеть того, что уже нельзя было не видеть, ибо л и ц е его было как лице Ангела.

«Так ли это?..» — услышал Лев Ильич и вздрогнул, очнулся от тишины, грянувшей за столом.

— Пап, что с тобой?! — воскликнула Надя.

Лев Ильич поднял голову.

— Что ты сказал, кому? — тревожно спрашивала Надя.

— Так странно... — медленно сказал Лев Ильич, всматриваясь в сидящих за столом, по-разному близких ему людей. — Так странно... то, что я сейчас видел... Или представил себе, даже не знаю, но очень отчетливо. Это одна из самых потрясающих историй, когда-либо случавшихся в мире...

— Может, плохо себя чувствуешь, не выспался?

— Что уж вы так со мной... или у меня... вид?

— Краше в гроб кладут, — сердито сказала Маша. — Не знаю, что там... — она глянула на Надю, осеклась и принялась убирать посуду.

— Но я правда видел... Погодите, я постараюсь рассказать... Сядь, Маша, Надя потом поможет, верно, доченька?

— Конечно, — сказала Надя, — я хочу понять, с кем ты так странно разговаривал, я даже напугалась.

— Да, — начал Лев Ильич, — это поразительная история... Представьте себе...

И он увидел: золото, башни, мосты, галдящая разноязычная, готовая в любую минуту взорваться толпа. Немыслимое синее небо, еумасшедшее солнце... А ведь прошло всего три-четыре года, как по этим камням ходил Тот, Кого они не узнали, да и не помнят, что было, чему были свидетелями и участниками, чего мир им никогда не забудет. Но что-то неуловимо изменилось в этом городе, как и во всем мире. И те, что сидят полукругом в мрачном судилище, чувствуют это и не только чувствуют — боятся. Они не испугались, когда предали на смерть Того, Кто пришел их спасти, но когда прошел год, два и три, а слухи о каком-то Воскресении продолжали множиться, когда на их глазах руками людей, которых они не могли не презирать, делались чудеса, и, вызванные в судилище, эти безумцы и здесь продолжали твердить нечто несусветное, но их отпустили, вняв совету законоучителя, в чем, впрочем, тут же раскаялись, тем более то, что им услышалось в его словах, не свершилось; те и не погibli и не рассеялись, дело их не разрушилось... Но было и еще нечто, что приводило их, всех и каждого из сидящих, в судилище, в особенное смятение. Те, которые называли себя учениками и апостолами, при всем их безумии как-то вписывались в существующую в пределах храма гармонию: они не отрицали Закона и не замыслили против храма, ибо они и знали отчасти, и отчасти пророчествовали. Они были людьми, и в силу жизни и воспитания, несмотря на все невероятное, что с ними произошло и чему они стали свидетелями, не были в состоянии постигнуть открывшуюся им Истину во всей Ее полноте. Они приближались к Ней только иногда, в минуты озарения; благодать, сошедшая на них, давшая им возможность говорить языками, которых они до того не знали, не посягала на их личный характер и душевные возможности, и дары у них были различны, и служенье неодинаковое. Что их было пугаться, если их можно было увидеть коленопреклоненными в синагогах, соблюдавшими праздники, посты и бесчисленные правила! Могли ли эти темные и благочестивые иудеи сказать им, сидящим в судилище: «Кровь Его на вас!» Сколько самых невероятных сект возникало и рассеивалось в этом городе, и, если даже законоучитель ошибся и эта секта окажется посильней, — что ж, в конце концов не было в ней ничего угрожающего...

— Это так понятно, — Лев Ильич посмотрел на Игоря, — для вас, скажем, просто, само собой разумеется, а для меня катастрофа; а многое я так и не смогу постичь. Правда, Маша, сколько мы знаем людей, для которых смерть Сталина, пятьдесят шестой год были пределом, дальше они уже не шагнули, а казалось бы, стоит всего лишь быть логичным, да и что там — сорок лет опыта! А тут опыт тысячелетий, не история, совершавшаяся на глазах, а мистическое предание о судьбе своего — избранного народа... Может, потому Апостольская церковь и перестала существовать через три века, а уверовавшие иудеи вошли в церковь вместе с язычниками — умерла, как пшеничное зерно, чтоб дать много плода? Я понятно говорю?

— Я не понимаю ни одного слова, — сказала Надя, — но я так по тебе соскучилась, что мне все равно.

— Нет, не в этом дело, — Игорь улыбнулся Наденьке, — но к чему вы это вспомнили?

— А вот погоди... — заспешил Лев Ильич. — Закон мертвел, оставаясь буквой, они потому и Спасителя проглядели, что не способны были проникнуться духом Закона, а где уж понять, чего в Законе не было, а именно — что нравственные обязанности выше обряда, как и человек выше субботы. И так далее. Не к апостолам приложимо, а к душевной структуре человека, погрязшего в традиции, у него уже нет сил переступить что-то в себе — зачеркнуть свою жизнь, себя и от себя отказаться. И вот появились новые люди, следующее поколение. Пока их было только семеро. Помните, как избрали семерых дьяконов?.. И один из них — страшно сказать! — язычник. И это уже катастрофа, за этим — отрицание Закона, богоульство, ибо признание язычника равным иудею есть отрицание избранничества — посадить язычника рядом, что ж, и в храм его пустить? Ведь это их Господь избрал, им дал Закон, Обетования, с ними заключил Союз, являл чудеса, спасал, выводил, обещал могущество, власть над всем миром, над всеми народами... Все так, коль читать букву и за нее быть готовым умереть или убить. Как тут понять загадочные слова Спасителя о том, что Он пришел исполнить Закон, а не нарушить, — это и апостолы не всегда и не во всем понимали, иначе бы не пытались ставить новые заплаты на старом вретисе? Потому этот день и эта минута показались мне невероятно важными...

Да, да, сбивался Лев Ильич, пытаясь сформулировать мучившую его мысль. В тот день Израиль и перестал быть закостеневшим, погрязшим в своей субботе народом, замкнутым и обреченным на безысходность внутреннего духовного вырождения. Определился, стал зерном человечества, которому теперь оставалось только прорасти,

обозначением действительно и з б р а н н о г о народа, который выше племенной — по крови и прапамяти — данности. Именно тогда, когда двенадцать подобных пламени, трепещущих языков, сошедших на апостолов в Пятидесятницу, обозначили и словно бы онтологически укрепили, как считают сегодня, существование целой семьи народов, именно тогда — ну через три года, не важно — открылась высшая истина в соборности человечества, в горнем Израиле, который, конечно, не евреи, а просто люди, человеки — тварь, созданная по образу и подобию...

Лев Ильич торопился, пытался и не мог уложить бившиеся в нем мысли и обращался теперь только к Игорю...

— Погодите, Лев Ильич, я за вами не поспеваю, — откликнулся Игорь. — Вы считаете, что происшедшее через три года после Пятидесятницы, я догадываюсь, о каком событии вы говорите — о первомученике Стефане? — оно ее отменяет, что ли?

— Не отменяет, а выводит как бы на новую высоту, оно ее логический вывод, одновременно и более конкретный, понятный, а потому и открывающий истинную высоту. Потому что «имеющий уши слышать да слышит», а кто мог услышать ч а т ь чудо Пятидесятницы — апостолы, заговорившие на никому не ведомых и каждому словно бы понятных языках? Они, наверно, сами себя не могли услышать — это было невероятное, единственное на земле событие, когда все они исполнились Духа Святаго, когда шум как бы от несущегося сильного ветра наполнил дом и явились им разделяющиеся как бы огненные языки, когда сбжавшиеся к тому месту люди стали свидетелями массового богообщения — им казалось, они слышат собственное наречие, достаточно было уловить хоть одно близкое слово. Скорей было похоже, что они, как и сказано в Писании, «напились сладкого вина» — вот что вполне реалистично выражает, пусть со стороны, но именно то состояние экстаза, вдохновения и радости, в котором они находились...

Лев Ильич оборвал себя, глянул на Машу и поразился: такая нежность и грусть читались в ее глазах, такая печаль о нем...

— Все хорошо, Маша, ты обо мне не заботься, — сказал он с благодарностью. — Смотри, как мы хорошо сидим. Верно, Наденька?.. Я очень хочу, чтоб ты попросила как-нибудь Игоря показать тебе картины его отца — и ту, что я видел у деда — у Алексея Михайловича, и здесь...

Он приподнялся, повернул абажур и увидел, как розовый крест вспыхнул на серой стене храма.

— Эт-то ваш отец?.. — спросила Надя, переводя глаза с картины на Игоря.

И Лев Ильич снова увидел ту же, так ясно представившуюся ему сцену. Но теперь, может, из-за того, что свет переместился, будто и там кто-то приподнял абажур, он различил лица сидевших полукругом, вперивших глаза в стоявшего перед ними юношу. Наверно, им было страшно то, что вот уже две тысячи лет вселяет надежду в сердца миллионов и миллионов людей, потому что то, что для одних свет — для других огонь, который жжет и изобличает.

— Это были страшные люди, — сказал Лев Ильич, уже не думая и не заботясь, понятны ли его слова. — Начиная с главы той семьи — старого Анны и его зятя Каиафы, руки которых были в крови Спасителя, и сыновья Анны — тоже первосвященники один за другим: Феофил, скоро он пошлет Савла со страшным поручением в Дамаск, Матфий, на совести которого убийство Иакова — сына Зеведеева, младший сын Ханан — порождение ехиднино, совершивший убийство Иакова, брата Господня. В тот раз председательствовал старший сын Анны — Ионафан. Все ли они тут были, живы ли были Анна и Каиафа? Достаточно, что они могли быть здесь! И Ионафан произнес эти слова: «Так ли это?»

Да, было так, потому что чудеса и знамения, совершаемые Стефаном в Иерусалиме, его проповеди в синагогах и храме отвергали тупое идолослужение мертвой букве. Но это было и не так, потому что на самом деле не было богохульством, ибо всем своим исполненным Духа гением он утверждал верность Истине. Но синедрион уже выслушал лжесвидетелей, обвинявших Стефана в хульных словах на сие место и Закон — он утверждал, что и место будет разрушено, и Закон изменен! Это была полуправда и полужошь, как в каждом лжесвидетельстве. И тогда в ответ на вопрос первосвященника Стефан произнес речь, которая и была чудом и свидетельством того, что Свет несомненно озарил его л и ц е. Импровизация, одновременно самозащита, обличение — утверждение Истины...

— Перечтите эту речь, Игорь! — воскликнул Лев Ильич. — Благочестивый и патристичный пересказ истории избранного народа, свидетельствующий, что человек, говорящий такое, не может быть богохульником, неопровержимое утверждение, что евреи во все периоды своей жизни были неверны не только Моисею, но и своему

Богу — что ж удивляться, что, оставаясь верными субботе и обрезанию, они побивали камнями пророков и предали смерти того, о Ком Господь говорил им бесконечное число раз!

...Они смотрели на Стефана и слушали с тупым самодовольством, понимая эту речь оправданием и успокаиваясь: значит, ничего не случилось; а он смотрел на них и видел — и их тупость, и самодовольное чванство, и невозможность пробиться к сердцам, заставить услышать!.. Что это было — слабость, когда он наконец не выдержал, что поразило его, заставило так резко прервать плавное течение рассказа об Истине на цитации пророка, которому они не хотели внимать, несмотря на всю глубину изобличения, даже эти слова не могли потревожить их мертвого благочестия? Что увиделось ему в этих лицах, кого он увидел?..

Среди тех, что окружали его полукругом и на кого падал теперь свет, бивший в окна, несомненно был тот, кто появится, чтоб навсегда остаться в памяти человечества, мгновенно спуская, когда обезумевшие от ярости судьи, позабыв Закон, чистоту которого они охраняют, вытащат Стефана во внутренний двор храма, проволокут по раскаленным камням, чудом не разорвав по дороге, через те же ворота, которыми шел, сгибаясь под Крестом, Спаситель, и бросят к ногам этого свидетеля обгащенные кровью первомученика одежды. Об этом ничего не сказано в Писании, но наверно он был там, не зря стал столь важным свидетелем, проявил такое рвение, был послан с та к и м поручением в Дамаск. Как он слушал, что слышал и чем стала для него речь Стефана и расправа над ним? Наверно, тот выделил его лицо из личин и масок, его окружавших. Я думаю, он был ровесником Стефана, и было им, наверно, лет по тридцать — в ту пору их и могли называть юношами. Такой же эллинист, со столь же широким образованием и живым умом, конечно он понял говорившего задолго до того, как тот, не выдержав, взорвался. Да и не мог не понять жгучего обличения, которое содержал в себе внешне спокойный обзор истории избранного народа, не мог не услышать горечи утверждения Истины, которую надо было не хотеть услышать, чтоб не обратить на нее внимания.

О чем думал Савл, глядя на озаренное розовым светом лице стоящего перед ним его ровесника, слушая речь, которая не могла не потрясти его? О том, что мертвая обрядность, которой он был так фанатично верен, стараясь всех превзойти ученостью и тщательностью исполнения правил, не давала и не могла дать радости и успокоения, что в глубине души он не мог представить себе Бога скупцом, высчитывающим за ним соблюдение каждого из трехсот шестидесяти правил? Или он вспомнил своего либерального законоучителя Гамалиила, чей мудрый совет недавно остановил синедрисон и спас апостолов, позволявшего своим ученикам чуть шире, свободней, гуманней и рассудительней смотреть на мир и на Закон? Или сам уже понимал, знал не способным согнать душевным опытом, что они нарушают существование того, что исполняют в мелочах? Что происходило в его душе и в сердце, которое и являлось полем истинного сражения, а там не было места мелочному и формальному благочестию?.. Не всколыхнула ли речь Стефана разрывавшие его душу вопросы, которые он заглушал в себе ревностным исполнением Закона и кровавым служением его мертвой букве? Но если так, он не мог не вспылать яростью к тому, кто здесь, в святилище, столь просто и открыто говорит о том, в чем он — Савл — не решился признаться и себе самому. Может быть, Стефан круто оборвал свою речь не только потому, что понял бесполезность разговора с теми, кто не хочет слышать, но и потому, что увидел живые, горящие яростью глаза и к ним обратился с последними словами, потому что для такого человека, как Стефан, и одна овца стоила собственной жизни. А этот яростно взиравший на него юноша был не из тех, о которых сказано: ни холоден, ни горяч, — что этот человек не тепл, сомнений быть не могло.

«Жестокосердые!» — крикнул им в лицо Стефан, — люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделали ныне вы, вы, которые приняли Закон при служении Ангелов и не сохранили...» Наверно, сильнее и нельзя было закончить такую речь. Он поднял голову и сказал им о том, что увидел: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Могли ли они вынести такое безумие и юродство, понять человека, сказавшего о том, что ему открылось, быть может, и в этот, последний миг надеявшегося, что его услышат?.. И тогда они закричали и бросились на него.

— И вот представьте себе, что было дальше, — тихо сказал Лев Ильич. — Представьте, как его вытащили за ворота, их окружила распаленная, подготовленная к такому финалу толпа, представьте залитый солнцем город, но главное, не забудьте:

того, кто был там с самого начала, кто шел, бежал с толпой до самого конца, а коль не был соблюден даже формальный закон, можно представить себе, какой была эта казнь. Он шел за ними, не отставал ни на шаг, видел, как тело и лицо юноши превращались в кровавое месиво еще здесь, на улицах, пока его тащили по городу. Что из того, что он, быть может, не поднял камня, обезумевшие убийцы бросали одежды к его ногам, а стало быть, его роль была явно начальствующей. Он стоял подле, у огромного, в рост городской стены, векового кедра и слышал последний крик Стефана, невероятным усилием вставшего на колени: «Господи! не вмени им греха сего...»

— Может ли быть покаяние более страшное, чем то, что предстояло Савлу, — сказал Лев Ильич, — может ли быть более чудовищный ад, чем тот, что разверзся в этот миг в его душе?..

## 2

Лев Ильич замолчал и почувствовал нестерпимый стыд: как можно так увлекаться собой и тем, что в тебе происходит? Девочка сказала, что не понимает ни одного слова, а пришла ко мне; наверно, и матери будет неприятно, значит, любит меня, за меня тревожится, а я не спросил ее ни о чем.

— Вы простите меня, — сказал он. — И ты, Наденька.

— Нет, папа, я слушаю. Я мало поняла — это ты... как бы сказать, про Христа рассказывал?.. Я ничего не знаю, но... у нас в школе... когда ты уехал в командировку — две недели назад...

Лев Ильич смотрел на Надю и удивлялся — ничего-то он ни про кого не знал, только собой занимался!

— ...У нас одну девочку исключили из комсомола, из десятого класса. Я ее не знала, видела, конечно... Один раз разговаривали. Мы ходили на лыжах — общее занятие с десятиными классами, кросс. Я плохо на лыжах, отстала, вижу, она стоит под деревом, сошла с лыж, провалилась в снег по колени, стянула шапку, волосы у нее в снегу. Я подъехала, она смотрит в небо и слезы текут. Я думала, она упала или еще что. А она говорит: «Я сейчас белку видела и дятла... И рябину, она как живая, как летом...» Ну и что ж, что рябина, говорю, значит, так и должно быть. А она говорит: «Все это Божье, как и мы, не только мы создания Божии, но и они такие же!..» Кто, спрашиваю, мне даже интересно стало: белка, мол, или рябина? Все, говорит, и дятел, и рябина — все-все... Только формы разные, и мы друг друга не понимаем, а там — в том смысле, что когда умрем, на том свете — мы все будем вместе и сможем разговаривать — с белкой, с рябиной... А что же плакать? — я ее спрашиваю, встретимся, поговорим. «А это я с радости...» — и слезы бегут. Я от нее тогда поехала, потому что мне непонятно...

— Как зовут девочку? — спросил Лев Ильич.

— Люся Васильева. Хорошая девочка, некрасивая, тихая... Ее исключали на общем собрании: за то, что верит в Бога и ходит в церковь. Все ее подруги выступали; и в церкви ее видели, и иконы дома, и поп к ним приходил. Мать отказалась идти в школу: исключайте, говорит, ваше дело, а нам все равно. Директриса сообщила. Она ни от чего не отказывалась: хожу, молюсь и еще разное. Я потому вспомнила, что она сказала похоже, как ты рассказывал. Мне, говорит, жалко вас, вы думаете, все на этом свете относительно — любовь, дружба. А это не так. Совесть у вас абсолютная, она только спит. А когда проснется, вам так станет стыдно и больно, — очень мне вас жалко, — так вам будет плохо, так станете убиваться... Конечно, исключили.

— А ты, — спросила Маша, — тоже голосовала?

— Нет. Не из храбрости — какая же храбрость, когда я в Бога не верю и ничего про это не понимаю? Мне очень понравилось, как она про белку и про рябину, и что мы будем вместе, и что все это не кончится. То есть кончится, а будет еще лучше.

— Как же объяснила, почему не голосуешь? — не отставала Маша. — Или рассказала им про рябину и белку?

— Что вы! Я только папе и вам, потому что вы папу любите. Просто сказала, что Люся мне нравится, а ее подруги нет, что в Бога я не верю, но и подругам не верю, а Люсю лучше бы оставили в покое. Они, правда, приставали ко мне, а мне, знаешь, пап, очень это все стало без разницы. Я им говорю: а вы меня тоже исключайте — ее за то, что верит в Бога, а меня за то, что не верю.

— Что же ты мне об этом не говорила? — спросил Лев Ильич. — Наверно, надо пойти в школу. А может, мать Люси права — зачем, это их проблемы, пусть исключают?.. Хотя не меня исключат, а тебя...

— Да не исключат,— рассудительно сказала Надя.— Поговорят для виду. Им самим невыгодно: что же, скажут, у вас в школе творится?

Маша поднялась и поцеловала Надю в голову.

— Ну что вы, тетя Маша! — вскрикнула Надя.— Думаете, я не понимаю, что Люся — человек, а я кто? Промямлила, когда спросили. И мне ничего не было. А Люся одна против всех... У нас большой зал, общее собрание, учителя. И какой-то из райкома. А она одна. Тихая... В лесу она плакала, ей было хорошо, а здесь — ни слезинки.

— Хочешь, вместе к ней ходим? — сказал Игорь.

— Не знаю,— сказала Надя.— Конечно, если ей будет легче... Когда я тебя увидела, мне захотелось познакомиться, а с ней... Наверно, потому что она тихая и некрасивая, а ты...

— Ну и семья! — засмеялся Игорь.— Как бы сказать, структура — покаятельная, а, Лев Ильич? Правда, мама?

— Да что ты! — прижала Надя руки к груди.— Что вы меня никак не поймете — я же не вру вам!

— Надо с отцом Кириллом поговорить,— сказал Игорь,— что такое покаяние? Не то, чтоб свои поступки вспоминать: соврал, украл, ну... — Он посмотрел на Надю и покраснел.— Не только заповеди... А вот перестать себе нравиться, себя не любить...

— Чем же ты, сыночек, станешь тогда заниматься,— жалостливо посмотрела на него Маша,— это первая твоя забота...

— Конечно! — сказал Игорь, он Наде говорил, и Лев Ильич подумал: как странно они сошлись — такие разные ребята, а уже своей разговор... — Я потому и актером не хочу, я видел, как они стоят перед зеркалом, как на себя смотрят! Все мысли о том, кто как на тебя поглядит и что при этом подумает. Он все время со стороны, чтоб, упаси Бог, не так показаться... Вы, Лев Ильич, рассказывали о Стефане — у него лицо было Светом озарено, а сам он, может, как Надина девочка, тихий и незаметный...

— Как ты верно говоришь! — воскликнула Надя.— Мне недавно сон приснился... Я редко запоминаю — проснись, ничего нет. А тут... будто иду по улице, по Москве, народу много, машины, и вдруг меня кто-то берет за руку. Я оборачиваюсь — передо мной человек, как я, не выше, а может, поменьше, а голова огромная, раза в три больше, чем обычно у людей. Я такого видела — щелкунчика, болезнь, наверно, уродство. Все у него огромное: нос, губы, ротище, уши, глаза. Он на меня смотрит, а я на него боюсь... И не потому, что страшно: улица, народу много, но мне стыдно, неловко смотреть! Я-то знаю (во сне, конечно), что я красивая, а он — урод. И мне стыдно. И тут смотрю — ни улицы, ни города, поле, и мы вдвоем на дороге. Он улыбнулся, зубы у него желтые, большущие, и говорит: «Выходи за меня замуж». Мне опять не страшно, а стыдно — я не хочу за него замуж, а неловко сказать, вроде я им брезгую. Я говорю: мне учиться, школу кончать. А он говорит: «Ничего, потом догонишь». Я говорю, чтоб не обидеть: «Ну я подумаю», поворачиваюсь идти, а ноги не поднимаются. И тут слышу, он как захохочет, я оборачиваюсь, а он смеется надо мной. И снова улица, народ, и все надо мной смеются. Я себя как бы со стороны вижу, вроде бы и я и не я. Смотрю, такая я красивая, в новой юбке — папа с Игорем видели, я сама сшила, яркая, короткая, меня в школу на вечер в ней не пустили. Такая я нарядная, а он — урод. Но все надо мной смеются! Тогда я громко говорю: у нас, говорю, равноправие, за кого хочу — за того пойду. А все еще больше смеются, и я вижу, я, правда, жалкая, нелепая, руками размахиваю... Какая-то, ну, как бы сказать — ничтожная. Вроде бы сейчас поскользнусь — носом в лужу...

«Господи,— думал Лев Ильич,— ну как она на меня похожа — даже и сны, а я усомнился... что с ней дальше-то будет...»

— Ну и что,— улыбнулась Маша,— не упала?

— Проснулась, и тут испугалась.

— Хорошо,— сказал Игорь.— Редко, чтоб человек над собой смеялся...

Лев Ильич глянул на часы и ужаснулся:

— Наденька! Времени знаешь сколько? Мама с ума сошла...

— Послушай, Лев Ильич,— сказала Маша,— а может, мы ее у нас оставим? Я ее с собой положу. Тебе не нужно завтра в школу?

— Папочка!.. — посмотрела на него Надя.

Люба была раздражена, разговаривала отрывисто, резко: «Мог позвонить раньше», «Не нравится мне это», «Впрочем, ты всегда ставишь перед фактом...» — и бросила трубку.

Лев Ильич вернулся к столу, и тут Надя сказала:



— Пап, может, ты, если, конечно, тетя Маша и Игорь не возражают, дорасскажешь про этого, который стоял там до конца и смотрел, хотя и не взял камень...

## 3

— Как видите, меня не надо долго уговаривать, — говорил Лев Ильич. — Я все время сокрушаюсь, что отнимаю у вас время, Надя призналась, что ничего не понимает, но мне так важно выговориться, что уж еще раз простите меня. Вы, Игорь, должны меня понять, слышали, какого я вчера дал петуха. Не вчера произошло, меня всю неделю возят мордой об это, да и раньше... Здесь нет другого пути и нет другой двери, — он вытащил из кармана Евангелие, положил перед собой, открыл было и замолчал...

— Может... не нужно? — осторожно спросила Маша, и опять Льва Ильича поразили нежность и сострадание в ее глазах.

— Мне это очень нужно, я не могу и шагу ступить, раньше чем пойму... Ты спрашиваешь, Наденька, о том, кто стоял до конца? О нем я и думаю, вспоминаю все, что прочел... В нем и нашел разгадку... Выход только здесь, — и он положил руку на лежавшую перед ним Книгу.

— Тот человек, о котором ты, Надя, спрашиваешь, тогда... ну еще через сколько-то месяцев, вышел из этого страшного города. Вышел, чтобы вернуться через двадцать лет... Нет, он был там еще однажды, но то возвращение благополучное, хотя и тогда судьба христианства была связана с его миссией и тем, как она была принята. Но последнее появление в этом городе, ставшее роковым в его судьбе, окрашено для меня только кровавым светом.

Страшный круг, который Павлу предстояло пройти, не кончился в тот день, когда на его глазах забили камнями юношу, — мало было для его покаяния, его ярости недоставало крови. В те месяцы он стал чудовищем, «терзал» и «опустошал» только-только созданную церковь. А ведь эти слова написаны человеком, который нежно и преданно любил его, — им нельзя не верить, наверно, он выбрал не самые страшные. Ему мало было синагог, где он чинил розыски, он врвался в частные дома, гнал до смерти и, доведя город до полного очищения, сам предложил первосвященнику отправить его в Дамаск, чтобы привести в цепях всех, кого там найдет, — мужчин и женщин... И тогда Господь счел, что теперь этому человеку достаточно, и все страшное, что он совершил, сошло в слова, никогда, верно, уже не замолкших в его сердце: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?..» Он и ослеп тогда, пав на землю, сраженный взрывом сошедшегося в этих словах покаяния — вся чудовищность содеянного им предстала его взору в одно мгновение, глаза человеческие, увидев себя во Христе, не смогли выдержать... Тогда с ним произошло это невероятное чудо, и чудесна даже не невероятность превращения чудовища Савла в апостола языков, а то, что Господь избрал именно того человека, который был Ему необходим. Здесь потрясает, как и во всем, на чем так ясен Божий знак, глубина и точность Замысла. Кто еще мог сделать то, что предстояло этому человеку? С его гением, образованием, темпераментом, неистовством, способностью идти до конца и с готовой к покаянию, перенасытившейся злодейством душой? Господь у с л ы ш а л этого человека, а значит, Он слушает каждого из нас, никогда не делает за нас того, что мы можем сами, а всего лишь, узнав о нашей свободе, дает ей выход.

Он вышел из города с невероятной миссией. Безвестный, никому не ведомый человек, со страшным грузом двойной, тройной отверженности: его ненавидели иудеи как отступника; его презирали язычники как жалкого еврея; его не принимали обратившиеся как человека, пошедшего к язычникам, нарушившего Закон, главным в котором для них оставалось их избранничество. Но кроме того, а это уже четвертый груз, способный переломить любые плечи, он был Савлом — и его страшная слава делала его имя для первых, вторых и третьих сомнительным и поносимым. А если представить себе мир, в который он шел, — страшный мир последних веков Рима, с его чудовищным падением, изощренностью задыхающейся в самой себе культуры и духовным высокомерием вырождения! Один человек — без сегодняшних средств передвижения и распространения своего слова, жалкий и всеми презираемый иудей, твердящий о каком-то неведомом Боге, который якобы ходил по земле с кучкой таких же, как он, безумцев и где-то в глухой презренной провинции умер позорной смертью раба рядом с разбойниками! Он шел по дорогам, плыл на кораблях, ходил по сверкающим городам, среди тех, кто читал, писал, строил, валял то, что и сегодня потрясает нас непревзойденной мощью человеческого гения. Что он мог противопо-

ставить этому миру? Только одно: Бог избрал немудрое мира, чтоб посрамить мудрых, и немощное мира, и незнатное, и униженное, и ничего не значащее, чтобы посрамить и упразднить мудрое, сильное и значащее — чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.

Но это было не все и не самое главное из того, что ему предстояло. Оно было в исполнении пророчества о том, чтоб возвестить Слово Божие всем прочим человекам и всем народам. И вот здесь Павел должен был столкнуться не с внешним миром, а с тем, что было внутри, преодолеть себя, а в себе всех, кого он оставил в том страшном городе. И тех, кто восседал вместе с ним в мрачном судилище, глядя на лице Стефана, и тех — что было еще невероятнее, — кто вместе с ним, казалось бы, узрел Истину, не осмеливаясь, однако, глядеть Ей в лицо. Павел утверждал, что сущность религии в вере, а не во внешнем обряде; что Обетование, полученное от Бога, выше Закона, ибо Обетование одушевлено Духом, а Закон — мертвая буква; что Закон был всего лишь осудительным, а потому имеет временный характер; что он только обозначил грех, назвал его; Закон может только наказывать, а не спасать, более того, он способен породить зло, потому что вызывает непослушание, любопытство, а кроме того, демонстрирует человеку неспособность названное и записанное зло в себе преодолеть — приводит к отчаянию. Он утверждал, что в обладании Законом нет никакого преимущества, ибо у Бога нет лицепрятия, и те, кто согрешат вне Закона, — язычники, вне закона и погибнут, потому что преступили записанное у них в сердце, а те, кто под Законом, — законом же и осудятся. Все совратились с пути, как сказано в Писании. А потому скорбь и теснота всякому, делающему злое, — во-первых, иудею, а потом эллину; и, напротив, слава, честь и мир всякому, делающему доброе, — во-первых, иудею, потом и эллину. Весь Закон в словах: люби ближнего, как самого себя.

— Могли ли иудеи хоть на мгновение согласиться с этими и подобными мыслями? — сказал Лев Ильич. — Можно представить, какую они вызвали ярость у всех — и у правоверных, только смеющихся над тем, что распятый вместе с разбойниками раб был Мессией, и у тех, кто, признав это, не в силах был перечеркнуть не просто собственную жизнь, но жизнь народа, а без убежденности в его исключительности для них в ней не было смысла. Поставить себя и свое избранничество рядом с необрезанными собаками, признать себя столь же и более грешными, согласиться с тем, что их будут судить одним и тем же судом там, а здесь сесть за один стол, преломить с ними хлеб?! Что им было до того, что человек, все это сказавший, был иудей из иудеев, фарисей и сын фарисея, чья трагическая судьба с неопровержимостью свидетельствовала о единственном пути для человека, ищущего Истину и живущего в Ней; что им было до того, с какой нежностью и страданием за погибающих он к ним обращался, убеждая, что Бог не отверг свой народ, который Он знал наперед, их духовная слепота — отчасти и до времени, а когда войдет полное число язычников, то весь Израиль спасется. Что им было до того, что гонимый и презираемый ими человек сказал о своей любви к ним совсем невозможное; что сам желал бы быть отлученным от Христа за братьев своих, родных ему по плоти... Это ни на мгновение не примирило их с ним, не прекратило и не утишило их ненависти: Закон дан был только им, в посрамление всем прочим, у которых его не было. Их Бог может быть милосерд только к избранному Им народу, и лишь смеется над остальными...

— Это ужасно, — сказала Маша.

— Это правда, — ответил Лев Ильич. — Потому и ужасно, что правда.

...Он вернулся спустя двадцать лет в праздник Пятидесятницы. Сначала он хотел поспеть к Пасхе, но его задержал мятеж в Эфесе, потом не было корабля. Он шел на явную погибель, и знамения и пророчества много раз ему ее предрекали.

Можно представить, с каким волнением он вступил в город, после стольких лет разлуки — узнавал камни, улицы и дома, вспоминал, что всегда живет в памяти человека... Но первое, что встретилось на его пути еще за городской стеной, — был гигантский кедр, под которым он стоял, когда терзали Стефана...

Апостолов Петра и Иоанна не было в Иерусалиме. Его принял Иаков. Ему было сказано, что в этом великом городе много тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители Закона, а о нем насыпаны как о человеке, решившемся учить отступлению от Моисея и несоблюдению обычаев. Ему было предложено совершить один из мертвых иудейских обрядов очищения, взяв с собой по обычаю четырех бедняков, имеющих на себе обет, заплатить за них — за приносимых в жертву животных, провести семь дней в храме, глядя на обряд жертвы всесожжения, на то, как будут варить убитых батанов, беднякам стричь головы, сжигать волосы над кипящим котлом, стоять с опрессочными лепешками, возносимыми в качестве жертвы... Это

было невозможно для Павла: братья, к которым он пришел, вынуждали его делать то, что он считал пустым и бессмысленным, отправляли в храм, где его не могли не узнать...

Он выполнил, что ему предложили, и, когда семь дней оканчивались, кто-то в храме узнал его.

Дикий крик, раздавшийся в храме, был подхвачен толпой во дворе. Его схватили, и он был бы тут же разорван в куски, если бы это произошло вне храма — святое место нельзя было осквернять кровью. Его потащили во двор, но римляне, размещавшиеся в северо-западной части храма, в башне Антония, и бывшие всегда наготове, ибо волнения в городе не прекращались, услышав вопль, бросились в толпу, обнажив мечи.

Мгновенно город охватило безумие, тысячи людей кинулись к храму. Решали минуты, но римляне успели раньше, вырвали его из рук озверевших людей, сковали цепями, стали пробивать к крепости. Все увеличивавшаяся толпа сомкнулась, воины прокладывали дорогу рукоятками мечей, а потом, подняв Павла над головами, понесли, потому что тысячи рук рвали его, над толпой стоял дикий крик: «Смерть ему!!»

Они пробились к башне, поднялись на несколько ступеней, прохладный ветер освежил разбитое лицо Павла, он открыл глаза и обратился по-гречески к оказавшемуся подле коменданту крепости: «Позволь мне говорить к народу...»

Тот был поражен и греческим языком жалкого, окровавленного иудея, и его спокойствием.

Ему расковали одну руку, он поднял ее, и со ступеней страшной башни Антония заговорил перед смолкшей толпой по-еврейски. Над ним было немыслимо синее небо, сумасшедшее солнце, а перед ним башня, стены и вдруг смолкшая, ждущая своего часа толпа. Во внезапно упавшей тишине он услышал даже, как за стеной храма закричал, заплакал от какой-то обиды ребенок. Он был дома, это было его небо, его солнце, его город, плач его ребенка, и люди, ради которых он совершал свой подвиг. Поэтому он заговорил так просто и доверчиво, как может говорить только странник, вернувшийся после долгих лет домой, рассказывающий близким, но уже забывшим о нем людям, что и как с ним случилось. Он сказал, кто он, где родился и вырос; не забыл о страшном, чем была отмечена его юность, о преступлениях, которые совершал во имя мертвой буквы закона, как на пути к новым, быть может еще большим злодеяниям, прямо на дороге его осыпал Свет с неба, ослепил и он услышал Голос, воззвавший его к новой жизни. Как, прозрев, стал свидетелем перед людьми в том, что видел и слышал; как тот же Голос здесь, в храме, когда он молился, послал его в иные земли...

Они слушали его со вниманием, быть может, покоренные вдохновенной и ясной речью, языком, на котором он так счастлив был говорить с ними. Но когда он сказал, что в ответ на его сомнения Господь ответил: «иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам», — все было кончено. Они ждали слова, которое не могло не быть произнесено. И сдерживаемое молчание, за которым было недоумение перед самими собой и тем, что они дают говорить и слушают человека, чье дыхание оскверняет храм, взорвалось еще более диким воем: «Истреби от земли такого!..» Где же были многие тысячи христиан, соблюдавших Закон, о которых с такой важностью сообщил Павлу Иаков, почему ни одного голоса не раздалось в защиту Апостола языков?.. Как бесноватые, они рвали на себе волосы и разноцветные одежды, кидались грудью на выставленные у башни широкие римские мечи, и комендант Лизий Клавдий понял: еще мгновение — и горстка воинов будет сметена вместе с человеком, сказавшим что-то невероятное на этом чудовищном наречии, раз оно вызвало такую бешеную ярость. Римляне втащили его в крепость, и комендант принял единственно разумное для него решение: «Кнута ему, и пусть объяснит, что происходит!..»

С Павла сорвали одежду, растянули ремнями, и ему, которого уже трижды били палками римские ликторы и пять раз бичевали иудеи по сорока ударов без одного, теперь предстояло испытать страшную пытку — ту же, что за тридцать лет до того перенес Спаситель. И тогда, с трудом повернув голову, он сказал по-гречески стоявшему рядом сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина и без суда?» Сотник кинулся к коменданту — едва ли этот человек решился его обмануть, за такой обман полагалась смерть, но и заковывать римского гражданина в цепи, начинать следствие пыткой было нарушением указа кесаря. Лизий изумленно спросил: «Ты римский гражданин? — и добавил, с сомнением глядя на валяющуюся возле него жалкую одежду: — Я приобрел это гражданство за большие деньги». «А я родился в нем», — спокойно ответил Павел.

Лизий испугался: чего только не происходило в проклятом городе. Павла развязали, заперли до утра; Лизий повелел первосвященнику собрать синедрион и утром ввел узника.

Это было не то зловещее помещение с мозаичным полом и узкими окнами, через которые бил розовый свет, освещавший лице Стефана. В святая святых храма не мог бы войти необрезанный язычник, а Лизий сам ввел узника к мужам Закона. Может, поэтому Павел и не понял, что перед ним первосвященник, которого он мог не знать. «Мужи, братья! — он считал себя вправе так к ним обратиться. — Я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня...» Тут первосвященник Анания — закутанная в белые одежды, едва различимая в полутьме фигура — приказал приставу бить его по устам. И тогда Павел не выдержал оскорбления. «Бог будет бить тебя, стена подбеленная! — крикнул он, оправившись от удара. — Ты сидишь, чтобы судить по Закону, и вопреки Закону велишь бить меня...» Он тут же опомнился, когда они закричали: «Ты поносишь первосвященника!», извинившись; он не знал, кто перед ним, ибо написано: «начальствующего в народе твоём не злословь». Но как он открылся в своей слабости — не Бог, живой человек, у которого был предел терпения и ярость могла затопить ему глаза!..

Он сказал несколько слов, поднялся крик, мужи Закона готовы были броситься на него. И тогда Лизий, ничего не понимая в поднявшемся гвалте, боясь, что узника разорвут, дал знак войнам. Звеня оружием, они вошли в судилище и отвели Павла обратно в крепость.

Ночью, когда тишина и покой пали на город, Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».

А уже утром в синедрион пришли сорок человек, горящих неутоленным мщением, и сказали, что поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они предложили старейшинам и первосвященнику еще раз призвать его будто бы для рассмотрения дела, они же бросятся на конвой и совершат то, в чем поклялись. И мужи Закона сочли этот план достойным.

Проклятый город, в котором убивали того, кто отказывался соблюдать мертвый закон, и где никого не смущало принести ему живую жертву обманом и злодейством!

Как узнал о чудовищном плане юноша-подросток, имени которого история не сохранила, сын замужней сестры Павла: сам ли услышал неосторожный намек или его товарищ или подруга шепнули ему о том, что слышали дома от отца-фанатика? Он проник в крепость и рассказал Павлу о заговоре, а тот направил его к Лизию, который сразу же решил развязать узел — ему это надоело. Он снарядил четыреста пеших воинов и семьдесят конных, написал прокуратору Феликсу письмо; ночью узника вывели из крепости, посадили на осла, и через день на рассвете ждавшие известия о своем учителе увидели его на улицах Кесарии прикованным правой рукой к руке всадника среди отряда воинов из башни Антония.

Два года Павел будет ждать в узах, римляне готовы были отпустить его, они так и не поняли, в чем его вина и преступление перед иудеями, но он потребует суда кесаря, взойдет на корабль, прибудет в Рим, исполнит возложенное на него и умрет страшной смертью, став жертвой безумца, запалившего и без того агонизирующий, растленный, захлебывающийся в своем богатстве великий город...

## 4

Был ясный солнечный день, и так, казалось бы, хорошо должно было ему быть, он провел столько времени с дочерью, Надя любила его, теперь он знал это твердо, они шли рядом, она держала его за палец, как в детстве, навстречу плыла воскресная праздная толпа, но такая пронзительная печаль сжала и не отпускала его сердце. Или знал он, что наконец состоится объяснение, от которого столько времени он как-то ускользал, или вчерашний вечер так его взбудоражил...

Они уже лежали, приготовившись спать, Игорь потушил свет и вдруг в темноте спросил:

«Получается, вы обвиняете евреев и в убийстве Павла, по сути оправдывая, хоть и не прямо, живущий сегодня антисемитизм?»

«Да не обвиняю я! — крикнул Лев Ильич и сел на постели, свесив голые ноги. — Не обвиняю, хоть ты-то меня пойми! Пусть и хотел бы, по какому праву смогу обвинить Ананию, а не Нерона, убившего Павла, если не самого Павла — он же добровольно отправился в Рим исполнять волю Господню? Я говорю о национальном самосознании, о национальном покаянии, в нем только и есть единственное спасение

и выход, единственный путь, а иначе гибель. Гибель — по эту сторону колючей проволоки или по ту, тебя ли туда засадят или сам будешь с собакой тот лагерь охранять... — Он закашлял и лег. — Прости меня. Нельзя так распускаться...»

Игорь не ответил.

...Все было вместе, но главное в том, повторил он про себя, что никогда не быть ему больше счастливым.

— Пап, а ты... теперь в Бога веришь?

Он давно ждал ее вопроса, понимал, что он неизбежен и начать разговор следовало ему. Но не готов был, даже не к разговору, а к тому, чтоб решиться предложить этой девочке, за которую только и мог теперь уцепиться, то же, что случилось с ним. Ему казалось невероятно тяжким, что он уже прошел, что ему предстояло, — толкнуть на это кого-то еще... Он словно бы и забыл, что ему открылось, чем бывал так счастлив, называл новой жизнью... Наверно, только казалось, а он, закостеневший и едва ли способный перетряхнуть себя старый человек, остался тем же, иначе почему бы чувствовал сейчас такую тяжесть, от которой задыхался, почему первым движением, когда представил себе ее худенькие плечи, было загородить ее, защитить от того, с чем ей, наверно, невозможно справиться... Легкомыслие ли это было, или веры не доставало, — одно дело обрадоваться истине, броситься к ней, отшатнувшись от пустоты и бессмысленности всего, в чем существовал, а другое — жить в истине, не только отказавшись от себя, но все, кроме нее, посчитать призрачным и нереальным...

— Нет, пап, ты мне не отвечай, я даже боюсь, чтоб ты ответил. Как скажешь, так для меня и будет... А я не хочу... — она держала его за палец, остановившись посреди тротуара, толпа двигалась навстречу, сзади, обтекая их, иные заглядывали с любопытством... — Ты так волновался, когда рассказывал, и тетя Маша так на тебя смотрела, я сначала подумала — она в тебя влюблена, и этот крест на стене, картина Игоревы отца. И сам он длинный, как баскетболист, а говорит как мальчик. Это так не похоже на все, что я видела. Можно поверить... Все вместе. Как Люся Васильева, когда говорила про рябину и плакала, я ей поверила, хотя и не поняла, а если б она стала рассказывать на собрании, все бы смеялись. Может, и я бы засмеялась. И ты знаешь... — она все так же стояла перед ним, заглядывая ему в глаза. — Мне кажется, я когда-нибудь в себе... услышу. И тогда не нужно будет у тебя ничего спрашивать. Разве про это спрашивают?..

Такая удивительная мысль коснулась и прошла сквозь Льва Ильича. Он не успел ее остановить, да и страшно показалось принять и додумать. Все само за него происходило, словно берег его кто-то от самого трудного из того, что вставало на его пути, за него делалось. Только воздвигнется перед ним препятствие, которое ему преодолеть не по силам, — что-то перенесет, освобождает. За что ему, а он еще на тяжесть жалуется?..

Люба открыла им дверь и ушла на кухню; Лев Ильич разделся, топтался в коридоре, думая о том, что надо было прийти пораньше, с утра, она прождала их целый день. Надя кинулась за матерью.

— Мам, не ругай папу — это из-за меня, мне было так хорошо, я тебе расскажу, если захочешь. Я познакомилась...

— Я не хочу, — оборвала ее Люба, — мне не интересно. Ты обедала сегодня? Тогда не мешай, мне нужно поговорить с твоим отцом.

— Мама! — крикнула Надя. — Я во всем виновата, я сама пришла к нему, я сама не хотела домой...

— Уходи, — сказала Люба. — Слышишь?..

Она поразила Льва Ильича, как только он сел против нее за стол на кухне. На бледном лице лихорадочно блестели глаза, она пыталась справиться с собой, успокоиться, все время сама себя перебивала, потом стиснула ладонями лицо и сказала, не разжимая рук:

— Я знаю, никто, кроме меня, не виноват, этот разговор должен был состояться шестнадцать, ну десять лет назад. А теперь... теперь ты и девочку хочешь у меня забрать?

Лев Ильич хотел было заговорить, она прервала его:

— Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты вынудил меня согласиться, чтоб Иван все эти годы был с нами, чтоб мы вели эту чудовищную, мне непосильную жизнь? Я понимаю, а ты никогда не знал, почему я согласилась...

Лев Ильич не знал, чего он больше испугался: того, что она скажет правду — а она для него невозможна, или солжет — а ей в этом разговоре нельзя лгать.

— Постой, Люба, не нужно, я... говорил с Иваном. Не будем об этом. Прошу тебя...

— Говорил? — остановилась на всем бегу Люба; краска медленно заливала ей лицо, лоб.— Что он тебе мог сказать?

— Это болезнь... Я прошу тебя...

— Мне нет дела до того, что он говорил. А если ты мог подумать... Ты подумал — нет, ты подумал?..

Теперь она пятнами начала бледнеть, и у Льва Ильича ухнуло сердце: что стоили его высокие переживания, если ей так плохо — тяжело, больно, невыносимо, до пятен на лице?!

— Ничего-я не подумал, — твердо сказал он. — Мне было тяжело, но я справился.

— Т-тебе было тяжело? — свистящим шепотом спросила Люба. — Т-тебе?.. А ты знаешь, как мне, да не сейчас, когда тебе что-то сказал человек, которого ты не стоишь, а все эти проклятые годы, из которых вся моя жизнь сложилась и канула, потому что я себя потеряла? Ты знаешь, что такое потерять себя?.. Откуда тебе знать, если ты только брал, приобретал, наращивал проценты — проклятый ростовщик, Шейлок из двухкопеечного водевиля!..

— Люба!.. — отшатнулся Лев Ильич.

— Не нравится? Если ты хоть на мгновение догадался, а где было не догадаться, как паук вязал и вязал липкую паутину, в которой я задыхалась, если хоть на мгновение догадался о чем-то, как мог не разорвать, не освободить меня, не помочь ему, нам, — кто ты тогда?

— Я тебя не понимаю, Люба, — сказал Лев Ильич, чувствуя, как пот выступает у него на лбу.

— Мог подумать хоть на мгновение! Справился — как благородно! Проявился как мужчина. То есть поверил, что женщина, которая спала с тобой столько лет, отдала все, что у нее было, и себя на том потеряла, что она тебя обманывала в таком... Ты с этим справился?

— Да нет же, Люба, ты не слышишь меня. Я тебе говорю...

— Что говоришь? Что бы ни сказал, если хоть на одну сотую могла промелькнуть у тебя такая подлая мысль...

— Ну... Иван тоже человек и... близкий тебе. Зачем же ты с ним...

— Он от всего отказался ради меня. Все отдал, а себе ничего не оставил. Он любит меня, а я только тебя... Меня уже не было, и не было бы совсем, кабы не он. С ним я могла не играть, как ты со мной, он знал, что у него ничего нет и никогда не будет, и ему ничего не надо для себя.

— Поэтому ты его... обманула?

— Я обманула его, тебя, себя, всех обманула и перед всеми виновата. Успокоился? Я, а не ты!.. Я все не пойму, — оборвала она себя и посмотрела на него с недоумением, — почему я тебя тогда перекрестила? Вырвалось... Если б я могла верить в Бога, то знала б, как меня накажут. Или это уже и есть наказание за потерянную жизнь?.. Ладно, мне и без Бога достаточно... А ты и здесь врешь, нет у тебя Бога и быть не может. Мне передавали, какой безобразный скандал ты учинил у этой... Эпфель, не знаю, как ты к ней попал. Мне нет до этого дела. Вранье, ложь, поза — никогда тебе не поверю...

— Тебе Надя сказала?

— Надя была там?.. Слушай, Лев Ильич, я могу отобрать у тебя дочь, мне стоит солгать еще раз — а еще раз не значит солгать. Понимаешь? Я тебя предупреждаю... Я могу это сделать, — Лев Ильич поднял руку, защищаясь. — Могу и обещаю, если ты попытаешься забрать у меня дочь, я...

— Ты убьешь ее, — сказал он.

— У меня нет других средств. Не вынуждай меня.

— Она меня любит, я и не знал, как она меня любит.

— А что ты знал, что ты вообще знал о ком-то, кроме себя? Думаешь, я хоть что-то забыла — не все, но помню, помню... Не знаю, в кого ты теперь врешь, ходишь к священнику, ему про себя рассказываешь — он бы со мной поговорил, у меня есть что рассказать. Может, сведешь меня с ним? Или у вас не положено?

— Зачем ты все это говоришь?

— Я только сейчас поняла, сколько сил и времени... Сколько бросила в то, что ничего не стоило. Ты всегда был мальчиком — капризным, избалованным щенком... Надо было оберегать, защищать, все отдавать для твоего самоутверждения и обманывать для тебя самого. Ты и на это соглашался. Но это был мой обман, ты и за это не отвечал.

— О чем ты говоришь, Люба?

— Не о том, о чем ты думаешь. Я не тебе — себе изменяла, ни разу не сумела убежать от себя, ничего не могла поделать с тем, что любила тебя — и как мальчика, и как то, что сама слепила, и как свое оправдание, надежду, что однажды проснусь — и ты окажешься тем, кем тебя когда-то увидела. Увидела, поверила и как последняя сентиментальная дура протащила через всю жизнь...

— Господи, Люба, какое это страшное недоразумение, но ведь и я...

— Что и ты? Больше не обманешь, у меня нет ничего, что могло бы ждать обмана, у меня ничего нет, ты все забрал. Кто я, зачем?

— А Иван? — спросил Лев Ильич, — Ивана ты любишь?

— Какое тебе дело? Я сказала, что сама виновата, а ты ни за что не отвечаешь...

— Люба, но... Это глупость, сон, может, проснемся — и все...

— От чего проснемся? Я тебя лучше знаю, тебе и в этом надо помочь — за тебя сделать. Придумал, нашел игрушку, играй. Но ты и здесь хочешь, чтоб я сделала за тебя, и игрушка у тебя фальшивая и игра лживая...

Лев Ильич опустил голову.

— Сделаю. И декламация твоя не нужна. Оставь меня в покое! Может, я еще жива, опомнюсь, может, что-то во мне осталось, что ты не успел истратить? Прошу тебя, ради Бога, в которого ты поверил, оставь меня в покое, у меня нет больше сил помогать тебе. Отпусти меня, Лев Ильич!

Он вскочил, протянул к ней руки.

— Сиди. Я уйду, — сказала она. — Ночуй, коли охота. А я, может, сегодня не вернусь. А то тебя совсем, гляжу, загнали — по углам ночуешь. Еще разок за тебя сделаю. Я уйду, не ты. А ты в полном порядке. И совесть будет чистая. Для тебя это самое главное?

## 5

Лев Ильич сидел в «тихой комнате», привалившись к спинке продавленного дивана, и бессмысленно смотрел в мутное стекло на освещенную солнцем обшарпанную стену. Он не знал, сколько так сидит, ни о чем не думал, как в поямелье вертелись обрывки мыслей, разговоров, фразы, он пытался сосредоточиться и хоть одну из них сказать до конца: то почему-то не было глагола — сказуемого, то подлежащего. «А ну-ка, — попробовал сосредоточиться Лев Ильич, — составлю-ка я фразу, а то ведь кончится плачевно... Плачевно или смешно?»

Он всю ночь так просидел, не здесь, а на кухне, в своем бывшем доме. Люба ушла, не взглянув к нему, хлопнула дверь. Они с Надей попили чаю, не разговаривали; Надя шмыгала носом, ушла спать. Странное безразличие охватило его, он не только не мог, и не хотел ни о чем думать: подумать — значит решить, а на это у него сил не было. А что думать, решать? Все решилось без него. Вот и завертелись нескончаемые разговоры, фразы, в которых не было глагола, и оттого они казались коротенькими, пустыми, страшными своей недосказанностью...

Он задремал за столом под утро, опомнившись, когда у Нади затрещал будильник. Зажарил ей яичницу, и они вместе вышли.

Он проводил ее до школы, держал за воротник, как в детстве, когда таскал в детский сад и шутил, что хотя б скорей вышла замуж — муж бы и водил в детский сад. Сейчас он сам держался за нее.

А утро было хорошее, ясное, и Надя за ночь успокоилась, сказала, прощаясь:

— Пап, ничего такого ужасного нет. У меня — и ты, и мама. Так что за меня не огорчайся... — и улыбнулась широко и счастливо. — И еще теперь Игорь будет!

— Конечно, — сказал Лев Ильич, — пусть он тебя в школу провожает...

Дверь в «тихую комнату» раскрылась, всунулась Ксения Федоровна.

— Сидишь? — Она вошла бочком и присела на краешек стула. — Ты чего так сидишь, я давеча заглядывала, а ты не слышал.

— Задумался.

— Чаю согреть?

Лев Ильич удивленно посмотрел на нее.

— Лев Ильич, батюшка, прости меня старую...

— Ты чего, Ксения Федоровна, что случилось?

— Взяла грех на душу, злѣба накопелѣ. Порядок, вишь, соблюдаю.

— Ну и хорошо. Тебе за это деньги платят. За порядок.

— Какие деньги — помирать скоро... Ты какую книжку читал?

— Книжку? — не понял Лев Ильич. — Какую книжку?.. А! Евангелие. У тебя нету?

— Прости меня, старую,— она вытерла кончиком платка по-старушечьи покрасневшие веки.— Это я на тебя сказала.

— Ксения Федоровна, я понять не могу. Ты что убиваешься?

— Я думала, ты в церкву для насмешки ходишь. И девку сбиваешь: в церкву, а потом вином ее поишь.

Лев Ильич непонимающе глядел на нее.

— Крону я про тебя пересказала: и что в церкви лоб крестил, и что в машинном бюро девку вином потчевал.

— Сказала, и ладно. Ты не со зла.

— Со зла, батюшка, у меня обида.

— Ладно, Ксения Федоровна, какие секреты, когда в церкви. Не печалься. Не со зла — ты за церковь обиделась.

— Ты про меня не подумай...

— Зачем мне думать? У тебя Свидетель, верно?

— Христос свидетель,— Ксения Федоровна пожевала губами, глядя в сторону.

— Не расстраивайся, сказала, не сказала...

— Ты на меня не взыщи, на дуру необразованную. Тебя Крон с работы погонит.

— К лучшему, Ксения Федоровна, я сижу, а дела не делаю.

— К лучшему, не к лучшему, а пить-есть надо. Согреть чайку-то?..

Лев Ильич пил чай с баранками, отгаивал, даже повеселел — все правильно было, а что тяжко — чего ж хотеть, чтоб сладко? Жив покуда, а там видно будет...

В комнату влетел курьер.

— Эх, Лев Ильич, сегодня мы загуляем!

— Поперли, добежался?

— Загадка природы, свидетельство, что, как говорят классики, все перевернулось, смешалось и правды нет не только тут, но и там, выше.

— Не знаю насчет правды, здесь ее не может быть, а там — Истина. Что, по-твоему, выше? .

— Схоластика! Вот вам соцреалистический парадокс: меня, который и прочее, не трогают, а вас — оплот и столп нашего производства, гонят с работы. Где, по-вашему, правда?

— Невелика загадка, это не правда, а мелкая житейская данность.

— Так считаете?.. Диалектик! По-вашему, справедливо?

— Вполне.

— Не ропщете? Даете, Лев Ильич! Молоток!

— Что случилось, откуда такие сведения?

— Совсем забыл! Я к вам по личному поручению его сиятельства фон Крона.

Срочно и немедленно с вещами и документами в кабинет главного!

— Садись, чаю попьем.

— Значит, там истина, а здесь правда?

— Несомненно.

— Давайте пари. Десять пива или бутылка водки. Без шуток и парадоксов. Если вызывают, чтоб расписаться за премию, я проиграл. Если гонят — с вас, как мученика за идею.

— Согласен. Без пари. Дело для тебя беспроигрышное.

Кабинет главного редактора был у них самым большим помещением, здесь происходили заседания, собрания, отмечали юбилеи и торжественные даты, здесь же посреди кабинета ставили на стульях гроб, когда и такое случалось на их производстве. Редактор сидел за большим, блестящим лакированной поверхностью столом. Он болезненно любил чистоту, а может, как думал порой Лев Ильич и даже перекинулся об этом с курьером, чувствовал отвращение к делу, которым ему приходилось заниматься. На столе лежал только красиво заточенный большой карандаш, которым Виктор Романович тихонько постукивал, глядя в окно и редко на своего собеседника. Когда Лев Ильич открыл дверь, он медленно повернул к нему крупную голову: лицо было бы значительным, когда б не безразличные, вечно сонные, небольшие глаза, безо всякой своей мысли — скучно ему было. Когда-то Виктор Романович Голованов делал карьеру, был редактором большой газеты, его прочили в ЦК, но что-то случилось, не то в биографии откопали долго скрываемое пятно, не то дома произошло нечто нежелательное, а может, поторопился или, напротив, не успел за стремительностью времени, в тот момент шатнувшегося назад ли, вбок — не среагировал на неожиданность, которую следовало предвидеть. Ну а коль нет нюха — какая карьера. Порой, глядя, как на совещаниях, когда рвутся в ключья редакционные страсти и Крон заходится в праведном гневе, отстаивая некий



высший интерес, главный редактор тихонько отстукивает карандашом на лакированном столе только ему слышную мелодию, Лев Ильич думал, что он просто отсутствует — нет его здесь. Наверно, жизнь начинается у него в пятницу вечером, когда за ним захопывается дверь его квартиры; он развязывает галстук, надевает старенькие штаны, мягкие туфли; накрытый скатертью стол уже увенчан пузатым графинчиком, раскрасневшаяся на кухне жена вносит на блюде что-то, от чего захватывает дух, входит дочь в новом, немислимом платье — видел как-то Лев Ильич, как она прошуршала длинной юбкой по редакционному коридору... Он напрочь позабывает все, что хотел бы, нет, но должен целую неделю слышать, подписывать, кого-то убеждать, уговаривать, принимать решения, отвечать на телефонные звонки... Впереди — два дня жизни! И можно говорить о чем-то человеческом, хотя бы о новом платье, об удавшемся пироге с капустой, о предстоящем отпуске, рассказать анекдот, поиграть с собакой... Пусть все не так, пусть жена раздражена, а дочь плачет из-за девичьей обиды, пирог подгорел, а платье безнадежно испорчено, он хочет поехать в деревню, а жена тащит в Крым, — но это нормальные радости и огорчения, и он — Виктор Романович, еще не старый, сильный человек, мужчина, глава семьи, может реагировать — смеяться или негодовать, проявляться, а не играть восемь часов в обрыдшую, пустую и никому не нужную игру, со значительным видом выслушивать подчиненных и понимающе кивать, информируя или получая инструкции у начальства, зная, что и там та же давно всем опостылевшая, пустая игра. А ведь их журнал не худшее место, все-таки природа, которую нужно спасти или делать вид, что спасаешь; в газете похуже, там приходилось утверждать, что губить ту же самую природу еще более важно...

— Лев Ильич, как ваш очерк? — спросил редактор, осторожно опустив карандаш на стол. — Пошла третья неделя, как вы вернулись из командировки.

— Сожалею, Виктор Романович, оказался несостоятельным.

— Может быть, следовало посоветоваться с руководством? Почему вы не поставили нас в известность — меня или Бориса Яковлевича? — и редактор кивнул Крону, сидевшему у окна в кресле.

Он свое дело сделал. Остальное его не интересовало, пусть трудится Крон.

— Что ж по таким мелочам тревожить руководство. Может, справлюсь, — Лев Ильич достал сигареты, чиркнул спичкой, и редактор тут же вытащил из тумбы чистую стеклянную пепельницу.

— Я думаю, мы не станем тратить дорогое время на обсуждение проблемы творческих возможностей Гольцева, — шевельнулся в кресле Крон. — Мы коммунисты и будем говорить откровенно.

— Ты забыл, Боря, что я беспартийный, — безмятежно заметил Лев Ильич.

Редактор смотрел в окно поверх головы Крона, и Льва Ильича обожгло любопытство: знать бы, о чем он сейчас думает?

— Вы работаете в большевистской печати, а она часть общепартийного дела. Статья Ленина о партийной литературе для вас не обязательна? Как вы, кстати, теперь к ней относитесь? — с нажимом спросил Крон.

— Так же, как и раньше. Как, впрочем, и ты, — откровенно усмехнулся и в первый раз посмотрел на него Лев Ильич.

Крон задохнулся от ярости.

Странные у них были отношения. Крон появился в редакции лет десять назад. Года на два постарше Льва Ильича, широкий костистый лоб с прилизанными жидкими черными волосами, широко сидящие внимательные глаза. «Череп», — назвал его кто-то в редакции. Он стал секретарем журнала, доброжелательный, безо всякого чванства, требовательный, но по делу, справедливый, угощал корректоров конфетами, пил со всеми сотрудниками — свой, рубаха-парень. А со Львом Ильичом особенная у них началась дружба: Крон был один, приехал из Ленинграда, жить негде, Люба ему нашла комнату, он много повидал, был на войне, пришел на праздник — вся грудь в орденах, говорил остро, смело, у него не было запретных тем. Лев Ильич порадовался: не паршивый интеллигент, как он сам, у которых смелость — болтовня после веселого обеда, тут из глубины, так сказать, жизни, а это подороже... Потом умер старичок замредактора, Крон сел в его кресло, а так как секретаря не было, он и секретарствовал — хозяин в журнале. А Виктору Романовичу того и надо: карандашиком постукивал. И тут Крон начал показывать зубы: из кабинета не выходил, с корректоршами шутить перестал, Ксения Федоровна и менявшиеся курьеры разносили его приказы по комнатам... Но Лев Ильич с ним не из-за того разошелся. Собственно, они и не ссорились. Но как-то, когда Лев Ильич застрял в редакции, у

них начался разговор, кончившийся далеко за полночь у Крона в новой квартире, — он ее как раз получил, две комнаты в хорошем доме.

Пили коньяк, Крон мог много, но тут перебрал, соскочили тормоза. Тогда Лев Ильич его и увидел впервые без галстука и без белой рубашки: обида, злоба на весь белый свет... Контрразведчиком был на войне Боря Крон — мальчик, а уже капитан. Какая жизнь открывалась, какие возможности — посторонись, не попадись ненароком! Но тут 49-й год, а он — Борис Яковлевич Крон, нашлись враги, кому-то перешел дорожку, чудом уцелел... Тогда он и поступил на факультет журналистики... Да не нужен ему этот самый факультет! Не успел, из глотки вытащили, погубили жизнь!..

Вот тогда Лев Ильич и заскучал — вот они, «смелые разговоры», «человек из глубинки». Больше они не пили, Крон его избегал, едва ли стыдно было, он примитивно возненавидел Льва Ильича, не часто, верно, открывался, да и вообще о таком лучше молчать...

— Виктор Романович, — сказал Крон зловеще тихим голосом, — несомненно откровенное нарушение трудовой дисциплины. Гольцев не просто не справился с заданием по командировке, он намеренно сорвал работу. А материал ждут тысячи читателей!..

— Виктор Романович, вы действительно убеждены, что мой очерк о страданиях и переживаниях волжской стерляди читатели ждут больше, чем, скажем, саму стерлядь?..

Редактор смотрел в окно, поворачивал карандаш между пальцами, и Лев Ильич вдруг обозлился: ну что он все делает чужими руками, сам бы проявился...

— Как, впрочем, и весь наш журнал — с первой страницы до объявлений, никакого отношения не имеет к тому, что волнует людей, хотя бы и в том, что происходит в природе благодаря нашим, на ее хребте, подвигам и развлечениям.

Он добился своего: редактор повернул крупную голову, в глазах появилось что-то осмысленное. «Страх, что ли?»

— Я думаю, десятки тысяч подписчиков нашего журнала имеют по этому поводу иное мнение, как, впрочем, и директивные органы.

— Про директивные вам видней, а что до читателей — так ведь и я читатель. Виктор Романович, ну положи руку на сердце, придет ли вам в голову когда-нибудь дикая мысль снять с полки в аш журнал — не в этом кабинете, а дома, в субботу или в воскресенье?

Редактор опять отвернулся — он и так позволил себе слишком много. Зато Крон подпрыгнул в кресле.

— Как заговорил! Тут не нарушение трудовой дисциплины, другим пахнет!.. Что касается вашей командировки, Гольцев, мы решим в рабочем порядке, вместе с месткомом.

— Опять мне присутствовать, — заметил Лев Ильич, — я пока что непрременный член этой организации.

Крон не обратил внимания на реплику.

— Нам стало известно, что вы бываете в церкви. Это правда? — теперь Лев Ильич внимательно посмотрел Крону в лицо: у него были такие же бешеные глаза, как тогда, ночью, когда они пили коньяк. Лев Ильич не ответил. — Вы что — крестились?

— А ты что — допрашиваешь меня?

— Я спрашиваю вас.

— А по какому праву?

— Видите ли, Лев Ильич... — редактор поморщился. Ох, как не хотелось ему вести этот разговор! И если он когда-то сорвался на том, что отстал, не сориентировался, то кому, как не Виктору Романовичу Голованову — старому газетному волку, было понять, как безнадежно отстал его заместитель — мумия, реликт. «Выставить бы его в музей...» — вот он, может, о чем думает! — обрадовался своей догадке Лев Ильич. — Видите ли, Лев Ильич, — с тихой значительностью говорил редактор, — в нашей Конституции записана свобода совести и религиозных культов. Но вы должны и нас понять: журнал со столь определенной мировоззренческой позицией едва ли могут делать люди, придерживающиеся, так сказать, другого мировоззрения...

— Пусть ответит прямо и не вялет! — крикнул Крон.

— Я не хочу говорить об этом здесь, в этой комнате, — сказал Лев Ильич, обводя глазами вылизанный кабинет главного редактора с портретами Ленина и Энгельса на стенах.

— Где же вы соизволите говорить? — спросил Крон.

— Честно сказать, с тобой я совсем об этом говорить не стану. Но если вас, Виктор Романович, это всерьез интересует, давайте встретимся. Я буду рад поговорить

с главным редактором журнала, занимающегося проблемами природы. Буду рад рассказать вам о том, что мне так поздно, но открылось. Может быть, и для вас это будет небесполезным.

— Вы зря шутите, — зловеще сказал Крон.

— Видите ли, Лев Ильич, — снова повернул к нему голову редактор, и на этот раз глаза у него стали потверже. «Какой мужик был бы, если б не здесь, да в другое время!» — подумал Лев Ильич. — Есть вещи и темы, — сказал редактор, — в дискуссию о которых мы не вступаем. До поры. Тем более, тут все ясно.

— Кто мы? И что вам ясно?

— Мы — коммунисты. Не думаете же вы всерьез, что мы с вами в выбранном вами месте станем обсуждать бытие Божие или догмат о непорочном зачатии?..

«Бедный человек, — думал Лев Ильич, — а ведь он наверняка крещеный, и наверно бабка водила его к причастию. Неужто забыл? Я же запомнил, хотя и не был крещен. А почему он забыл?..»

— Простите меня, Виктор Романович, я действительно подумал, что вам захочется об этом поговорить. Что ж, что вы коммунист? Вы человек и созданы по образу и подобию...

Редактор посмотрел на Крона и на часы на руке.

— Да, — подхватил Крон, — нам достаточно. Пожалуй, и месткома не понадобится... Вы напрасно улыбаетесь...

— Нет, почему же напрасно, — сказал Лев Ильич, — я вспомнил, что те же самые слова слышал однажды, в пятидесятом году на Сахалине, когда меня выгоняли из редакции. И тоже от такого, как ты, еврея. Только тогда меня гнали за то, что я еврей, а сейчас за то, что православный. А редакция одна и та же — партийная, как, впрочем, и Конституция. Не забавно ли?

— Это еще не все! — в бешенстве крикнул Крон. — Вы так просто отсюда не уйдете! Мало того, что бываете в церкви и разводите религиозную пропаганду, вы и молодых работников редакции туда водите — не знаю, для какой цели. Сначала в церковь, потом в редакцию с бутылкой водки, а потом — в постель?

Лев Ильич встал и тихонько пошел прочь.

— Мы вас предупредили — за две недели! — крикнул ему в спину Крон. — Или вы найдете приличествующее объяснение, или... пеняйте на себя. Вам больше никогда не видать работы в советской печати, да и вообще...

Лев Ильич дошел было до двери, но тут не выдержал, обернулся.

— Эх, Боря, Боря, — сказал он, — а не пошел бы ты на...

## 6

Курьер ждал его в коридоре, курил, привалившись к стене.

Лев Ильич вытащил деньги.

— Давай в магазин...

— Лев Ильич, — курьер отвел его руку с деньгами, — вы на меня не сердитесь, я по студенческой привычке мелю чушь. Правда поперли? Куда ж вы теперь?

— Я думаю, на уголок, в пельменную, а туда принесем.

— Я не об этом... Что станете делать?

— Завтрашний день сам будет заботиться о своем, — вон как нам сказано, — довольно для каждого дня своей заботы... Идем или нет, а то я в стенах редакции начинаю заниматься религиозной пропагандой... Стоп! — остановился Лев Ильич. — Ты меня прости, ради Бога, давай отложим, сегодня у меня дело, никак не вспомню какое...

Надо было предупредить Таню, Крон не оставит ее в покое... Лев Ильич открыл дверь машбюро и увидел Федю.

Таня вспыхнула.

— Федя вас ждет-ждет. Он к вам пришел.

Лев Ильич подвинул себе стул и сел. Зачем он сюда пришел — плевать ей теперь на Крона, на редакцию, всегда найдет себе работу и... этого прокормит. «Вот тебе и «русский мальчик»!..»

— Я за вами, — сказал Федя, — нас ждет Марк.

— Какой еще Марк?

— Так мы же с вами договорились!..

— Да, конечно... Мне, собственно, все равно... Почему у него имя такое?.. Он еврей, что ли?

— Чего? — открыл рот Федя. — Марк Кузьмич Калашников... Вы, Лев Ильич, издеваетесь надо мной?

— Извините. Я не то хотел спросить. Ладно, я его сам... Мне действительно все равно — Марк так Марк...

Ксения Федоровна ждала его в прихожей, стояла у двери — сухонькая, в платочке, помаргивала глазками-щелочками. Лев Ильич и забыл про нее, неуютно ему стало — и перед ней в чем-то виноват...

— Не держи на меня зла, батюшка, — сложила руки старушка.

Лев Ильич наклонился и поцеловал ее в сухонькую щеку.

— Храни тебя Христос, — прошептала она.

...Дверь была не заперта, стучала машинка.

— Раздевайтесь! — услышал Лев Ильич звонкий голос. — Проходите...

В коридорчике однокомнатной квартиры на полу были свалены книги, пачки перевязанных веревкой газет, в углу лыжные ботинки, несколько пар лыж.

Лев Ильич снял пальто, поискал вешалку, не нашел, положил пальто на газеты и шагнул вслед за Федей в комнату.

Широкая ободранная тахта, ученический письменный стол, несколько стульев, полка с книгами под потолок. Хозяин сидел к ним спиной, быстро стучал на машинке. Не оборачиваясь, он поднял руку, помахал и продолжал печатать. На голой стене с ободранными обоями Лев Ильич увидел приклеенный лист белой бумаги с жирно отпечатанными строчками. Он подошел поближе.

«Ненавижу ваши идеи, но готов умереть за то, чтобы они могли быть свободно высказаны.

Вольтер».

— Жуткая история, — поежился Лев Ильич, — безысход.

Хозяин с треском выдернул из машинки лист бумаги и встал. Он был невысок, широкоплеч, в серенькой вязаной рубашке, с засученными рукавами, светлая подстриженная борода делала лицо еще более круглым, в прозрачных ясных глазах, еще погруженных в то, что он только что делал, проглядывала улыбка.

— А что вас так напугало?

— Слова какие — «ненавижу», «умереть» — в такой короткой фразе и два таких слова.

— А мысль?

— По мне, жалкая мысль.

— Сильно! А почему?

— Не верю я ему. Чисто галльское остроумство, парадокс, вроде того, что если б Бога не было, Его надо б выдумать.

— А Бог есть?

— А вы в этом усомнились?

— Нет, по мне, так Его и выдумывать не следует. Добровольно лезть в ярмо, к рабству внешнему прибавлять еще более гнусное — внутреннее.

— Тогда только помирать, и действительно все равно за что — хоть за то, что ненавидишь. Не все ль равно, когда даже любить не способен.

— А вот тут мы с вами поспорим.

— Сила! — закричал Федя. — Вот это разговор, сразу быка за рога!

— Кстати, — сказал Лев Ильич, — я только что получил еще одно свидетельство бытия Божия... Нет, два, а может быть, три...

— Сразу? — засмеялся Марк, улыбка у него была широкая, открытая.

— Одно за другим. Сначала меня с работы прогнали за то, что верю в Бога. Значит, есть? Я в него верю, а они верят в то, что я верю. Федя на моих глазах влюбился в женщину, а она так той любви просила у Бога...

— Два, — сказал Марк, улыбаясь.

— Несчастливая убогая старушонка, которая меня заложила из ревности к своей вере, такой ощутила мгновенный ад в душе, а я за это такую вину перед ней, что куда больше...

— Это не совсем понятно.

— А это тайна. Бог — обязательно тайна, которую можно услышать, а объяснить нельзя... Дадите чаю?

— Будет вам чай, по всем правилам заварю. А ты что не раздеваешься?

— Мне... тут, одним словом...

— Ага, понятно.

— Ничего вам не может быть понятно! — крикнул Федя, заливаясь краской.

Лев Ильич моргнул поднявшему было брови Марку. Тот смолчал.

Звякнули в дверь.

— Открыто! — крикнул Марк и шагнул в коридор.

«Можно?» — услышал Лев Ильич Танин голосок. Федя кинулся из комнаты. «Познакомьтесь, Марк — это Таня». — «Раздевайтесь, сейчас буду чаем поить». — «Спасибо, мы пошли. У нас...» — Федя говорил сурово, готовый пресечь любую улыбку.

Лев Ильич вышел в коридор. Таня подняла на него глаза — она его явно не видела. «Ну и хорошо, — подумал он, — не мне же такое...»

— Лев Ильич, идите сюда! — позвал его Марк из кухни.

На плите пыхтел чайник, Марк колдовал над заваркой.

— Это и есть одно из доказательств бытия Божия?.. — спросил он. — Убедительно.

Лев Ильич присел на табуретку возле покрытого пластиком стола у темнеющего на глазах окна. На подоконнике стоял транзистор с торчащей антенной. Марк повернул выключатель, под потолком зажглась голая, без абажура лампочка, поставил чашки, банку варенья.

— Вина нет..

Лев Ильич молчал.

— Вас действительно с работы гонят?

— Оно к лучшему.

— Что думаете делать?

— А я еще не думал. Пойду сторожем в детский сад.

— Сколько лет вы там проработали?

— Пятнадцать.

— Ого! Хотите сделать заявление?

— Что? — изумился Лев Ильич. — Кому?

— О гонении за веру, на конкретном примере. Для прессы, — он кивнул на транзистор. — Или я; про случай с вами.

— Ну сделал. Дальше что? Меня восстанавливают?

— Едва ли. Скорей всего нет. Но нельзя давать спуска.

— Чем вы занимаетесь, Марк?

— Где я работаю? В одном институте. Вроде детского сада, который вы себе придумали. Только денег побольше.

— Но я действительно буду сторожем, если меня возьмут.

— Что значит «действительно»?

— Это будет моим занятием.

— И все?

— И все.

— Тут я вам не поверю, простите. Если вы даже будете работать каждый день, хотя сторож посменно, в детском саду у ночного сторожа весь день свободен, шестнадцать часов вам в любом случае девать будет некуда.

— Знаете, Марк, если мы говорим всерьез, а не просто упражняемся в остроумии, то мне вам нелегко ответить. Верней, объяснить. Но поскольку вас интересуют факты, а выводы, как я понял, вы делаете самостоятельно... Меня гонят с работы не только за то, что я хожу в церковь, в приказе напишут другое: «невыполнение задания по командировке». И это будет справедливо. Я вернулся две недели назад, получал зарплату и ничего для редакции не сделал.

— За это не выгоняют человека, проработавшего пятнадцать лет.

— Я не об этом — выгоняют, не выгоняют. Я к тому, что у меня было не шестнадцать часов свободных, а по двадцать четыре каждый день. И у меня не было не только часа пустого времени, но и минуты, я прожил за эти две недели — с тех пор как крестился, такую жизнь, какой, наверно, не было все предыдущие сорок семь. Это к разговору о том, чем я буду заниматься.

— То есть собственными переживаниями?

— Назовите хоть так.

— Или спасением собственной души, если научно?

— Это верней и по существу.

— Ну а остальные, все вокруг — кто страдает, кого убивают, кто иначе относится к проблеме участия в общественной жизни?

Лев Ильич не ответил.

— И вы находите такую позицию достойной? — спросил Марк.

— Спасение собственной души — не эгоизм и не трусость. Вторая главнейшая заповедь Господня: возлюби ближнего, как самого себя.

— Абстракции. Со столь пассивной позицией с преступлениями, или, по-вашему, со злом, не справишься.

— Помилуйте, Марк, обратитесь к собственному опыту, разве любовь бывает пассивной?

— Любовь в современном мире, где зло угрожает самому существованию человечества, всего лишь хобби, во всяком случае, не дело для человека, чувствующего ответственность.

— Ответственность за что?

— За жизнь ближнего, которого надо не возлюбить, как вы говорите, а избавить от страданий.

— А за себя?

— Собой я заниматься не имею права. У меня нет на это времени, и двадцать четыре часа мало, чтоб не как-то там туманно-мистически, а реально спасти ближнего.

— Тогда вы последовательный человек, и Вольтер в точности выражает вашу философию: считаете, что я безответственный эгоист-себялюбец, а готовы не задумываясь писать заявление в мою защиту. Не чушь ли?

— Видите, как странно: христианин утверждает, что возлюбил ближнего, а защищать даже себя не хочет — не то чтоб других! А я, отрицая эту любовь, готов за вас в петлю. Чья позиция благородней?

— Есть категории более существенные для христианина.

— Какие же?

— Ну, скажем, чувство вины, кротость...

— Опять литература, да и не лучшие образцы. Молью трачены, гнилью, нафталином разит от двухтысячелетних тряпок — плащей с кровавым подбоем... Абстракции!..

— Чай у вас замечательный, — сказал Лев Ильич, знакомая печаль стиснула ему сердце, — но... едва ли это составляет круг ваших профессиональных занятий. Судя по тому, что вы говорите. А мне, между прочим, не ответили — в чем они?

— Я считаю своим долгом принципиально и в любом случае выступать в защиту прав человека.

— Ну да, даже тех, которые вам лично несимпатичны.

— Не за идеи, а за права.

— Права? Это понятней: право на труд, на образование, свобода печати, демонстраций...

— Свобода совести, свобода выбора местожительства, — сказал Марк. Он говорил спокойно, твердо, ни разу не повысил голос, глаза у него были внимательные, может быть, снисходительность уловил Лев Ильич.

— Понятно. Готовы защищать тех, кому трудно здесь, и тех, кто хочет, чтоб было полегче, а потому едет туда.

— Разумеется. Это одна из основных свобод.

— А вы сами не хотите осуществить это свое право?

— Нет. Каждый человек должен знать, что может реально обладать этим правом. Это дает человеку уверенность, он чувствует себя действительно гражданином мира, может в любую минуту отрясти прах и хлопнуть дверью. Но... можете ловить меня на противоречии, ваше дело, но сегодня уехать отсюда — значит убежать от Распятия, говоря вашим языком. Видите, я знаю терминологию...

— Знаете? А что это такое? Вы думаете, Он распялся за то, чтоб у всех была ванна с кафелем и всеобщая грамотность? Это же главное, что побуждает «отрясать прах» и «хлопать дверью» — нет возможности жить как хочется и заниматься тем, к чему имеешь склонность.

— Да, право на нормальную цивилизованную жизнь и право на образование, реализацию дарования — элементарные права, и никакое общество не должно их ущемлять... А кто за вас вступится, если я уеду? За эту страну, в которой в лучшем случае у людей хватает сил не участвовать во лжи? Это им сегодня вменяется в подвиг.

— Но позвольте, Марк, значит, любовь для вас не хобби, чем же, как не любовью, может быть одушевлена ваша деятельность? Несомненно, любовь к людям, которые здесь обеспамятели, к стране, которая все потеряла, — к России?

Марк чертил ложечкой на столе.

— Значит, я угадал? — повторил Лев Ильич. — А если есть любовь, она может стать началом...

— Не знаю, — поднял голову Марк. — Если она и есть, я ее хотел бы в себе выправить. Нельзя любить страну, в которой уничтожены десятки миллионов людей, народ, который, как вы сами сказали, обеспамятел, все в себе растоптал. Если я буду

любить, если я дам любви очнуться в себе, я не смогу ненавидеть, а без ненависти к этой мерзости с ней не станешь сражаться — каждый день и каждый час. Не будешь готов принять любую муку.

— Действительно страшно, когда русский человек становится последовательным — ломает свою природу, насильно топит любовь в ненависти... Да уж идола вы себе избрали — ничего более антирусского, чем хохмы Вольтера, и вообразить невозможно. А надо же, в восемнадцатом веке его именем клялись... Неужто мало еще за двести лет аукнулось? До того дойти, что стыдиться в себе любви к несчастным, затоптанном, себя потерявшим... И это в русском человеке? Какие тут права, свободы, если у вас у самого нет права любить? Если нельзя на насильи построить справедливость, фундамент, в основании которого будет слезинка того самого ребенка, расползется, то и на ненависти вы ничего не соорудите — не свяжутся кирпичики... Никогда не поверю в такое вымученное рыцарство — защиту меня, которого вы не любите, моих идей, которые презираете? Игра это, Марк, простите меня.

— Что ж, я вам голову морочу? — спокойно сказал Марк, только глаза потемнели.

— Вы не сердитесь, мы с вами истину выясняем, я понимаю и ваше мужество и чистоту...

— Благодарю вас.

— Это не комплименты, я хочу понять. Хорошо, вы защищаете права человека, записанные в Конституции и декларациях. Благородно. Жертвенность, подвижничество, видов у вас, несомненно, никаких. Прекрасно, особенно по сравнению с теми, кто мелет языком, произносит гневные тирады, злорадствует, запершись на кухне, а сам боится телефона, стука в дверь и послушно жлет, чтоб не потерять зарплату. Какие могут быть сравнения!.. Но... Один случай, другой, десятый, сотый, тысячный. Вы каждый раз выступаете — нельзя давать спуску. Согласен. А система в этом есть, в чем ваша концепция, философия? Это хаос какой-то. Конституция — еще не программа организации жизни общества.

— Странно, — сказал Марк, — мне казалось, за всем этим, как вы говорите, хаосом фактов, за самим принципом ни в коем случае не давать спуску в любой, на первый взгляд, мелочи — такая ясная и четкая программа! Демократизация всех государственных институтов, суверенность законодательной и судебной власти — и даже при сохранении принципа социальной справедливости вся страна мгновенно преображается. Все и каждый изменится, стоит лишь почувствовать право быть человеком, а не трусливым животным...

— Это после того, что произошло в растоптанной и смятой стране, в которой атеизм вытравил представления о духовных и моральных ценностях, о добре и зле, исклечил людей выдуманными предрассудками, поработил унижительным страхом? В стране с невероятной преступностью и развращенностью снизу доверху вы предлагаете сразу ввести неограниченные политические и гражданские свободы? И после этого говорите об ответственности и о своей готовности умереть за права человека? Умереть-то вы несомненно умрете, но как будет с правами, и значительно более элементарными, чем право печати и демонстраций?

— В Америке, которой двести лет, не демократические институты, не демократизм сознания нации и не суверенность судебной власти сняли проворовавшего президента? А нас, которым тысяча лет, все еще за руку надо водить да розгами воспитывать? Этим, по-вашему, вбивают человеку уважение к собственным правам?

— Сначала та демократия избрала жулика президентом — есть над чем поразмыслить. Да и к чести ли умиляться чужой демократией! Какая память короткая. Неужто Хиросиму можно забыть? Что-то я не слышал о суде над американским президентом. Не было его в Нюрнберге. А ведь следовало, закрыв тот процесс, открыть новый. Что могло быть чудовищней этого жуткого эксперимента! Или речь шла о спасении нации? Вы говорите о мерзости деспотического режима, а что может быть более мерзко, чем демократия, за а б ы в ш а я о такой вине перед человечеством, перед другим народом? Свободная нация, до сих пор не покаявшаяся в таком злодеянии!..

— Человек должен, обязан участвовать в жизни страны, во всяком случае, на первых, самых трудных ее порах.

— Вот видите! Да мы только и слышим о трудной поре, которая сменяется еще более тяжелой... Почему-то все забывают, что свобода не только для тебя — для всех! И для соседа, которого раздражает, что ты приходишь поздно и тебя навещают женщины, для начальника, которого злит борода его сотрудников, для пенсионера, ненавидящего собак, и для другого пенсионера, готового перестрелять всех кошек... Я уж не говорю о вещах более сложных — о проблемах национальных... Власть

большинства! Нет более унижительной зависимости, чем зависимость от демократического произвола коллектива. У наших интеллигентов спутаны все нравственные координаты, они считают унижением поклониться Господу в храме, пасть на колени — они свободные люди и не признают рабства! — а тут же эти гордецы бегут кокетничать с секретаршей-столоначальника, от которого зависит их диссертация. Если это свободное большинство — сосед, начальник, пенсионеры — предьявит вам права, гарантированные им суверенным законом?.. И если можно обмануть режим, равнодушный ко всему на свете, кроме своего брюха, то демократию с миллионами глаз и суверенностью судебной власти, горящую принципами социальной справедливости, но забывшую о нравственном законе, — не провести. Тем более если социальная справедливость станет идолом, молохом. Самый добрый человек, обезумевший от таких коллективных идей, становится зверем — мало вам исторических примеров? Коль суббота выше человека!

— Что вы предложите?

— Нет народных масс, есть люди, личность, и каждый должен понять себя, осознать собственный нравственный долг. Общество должно заботиться о личности — о создании возможностей для ее духовного совершенствования, подчиняться высшему нравственному закону, который не права, записанные в Конституции, а Заповеди, возведенные Господом.

— Опять навязывая в зубах болтовня — что она дала за две тысячи лет?

— Только благодаря ей мы с вами разговариваем, а не грызем друг другу глотки. Судьба этой страны действительно в наших руках, Марк, какими бы они ни казались нам слабыми. Но жертва нужна не во имя материального благополучия и справедливости — это иллюзия, изначально нелепая в мире, где не может быть справедливости и счастья, но во имя того, чтоб вернуть людям их душу, то, что было у них отнято, испакошено. В том и наша вина, коль мы еще в состоянии мыслить и себя судить. Только истина освобождает человека, только любовь способна реализовать личность. Самое страшное, что здесь за полвека произошло, — у людей отняли веру, а вы предлагаете взамен какие-то права, обеспечение права отсюда уехать? Важно, необходимо, поклон вам в землю — хлеб в протянутую руку, облегчение страданий невинных, загубленных... Но разве мы с вами об этом? Неужели страшный опыт нашей жизни, судьба страны — впустую, и вы твердите все то же, что и сто лет назад?

— Если для вас помочь человеку, которому плохо, трудно, голодно, страшно, — бессмыслица, если он лишен элементарных прав, а вы в его протянутую руку положите проповедь... нам не договориться...

— Почему же? — сказал Лев Ильич. — Разве проповедь не поможет осмыслить страдания? Страдания, как и любовь, дарованы народу, как даруется гениальность, это свидетельство непостижимости Замысла и того самого бытия, над которым вы потешаетесь. Трагедия ваша в том, что самые добрые дела, а вы за них готовы принять муку, если толкнула на них не любовь, а ненависть, могут так страшно и неожиданно обернуться! Схватимся — опять поздно... «Ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» — Пушкина, между прочим, слова. Сможете ли вы понять его же, другие слова, может быть, самое пронзительное из того, что сказано об этой стране: ни за что на свете он не хотел бы переменить отечества или иметь другую историю, кроме истории наших предков — такой, какой нам Бог ее дал. Наивность и беззащитность этих слов для вас в лучшем случае только литература...

— Что вы мне голову морочите! — первый раз услышал Лев Ильич у Марка раздражение. — Вы нормальный мужик, чуть старше меня, любите выпить, мы с вами одни и те же книжки читали, по тем же улицам бегали. Вы... серьезно во всю эту околесицу верите?

— Какую околесицу?

— Ну не знаю... Будто Бог кому-то является и что-то приличествующее моменту возвещает.

— Преподобному Серафиму Саровскому Матерь Божия являлась двенадцать раз. И он — убогий Серафим — летал над цветущим лугом, ногами не касаясь земли. Один человек видел, которому Серафим запретил до времени рассказывать.

— Ужас какой, — мрачно сказал Марк. — И на этом основании вы строите предположения и концепции о спасении этой богоносной страны и отвергаете реальную возможность помогать людям? Людям жрать нечего — а вы им байки подсовываете... Им работать не дают, за свободное слово — в лагерь, а вы лепечете, что все на благо, и стало быть, об этой стране Господь особо печется...

— Как интересно, — сказал Лев Ильич, — мы с вами три часа разговариваем, а я ничего о вас не знаю, даже догадаться не могу — кто вы такой? Ну хоть какая-то



живая деталь, жест — закричали бы, чашку разбили, про птичку вспомнили или кошку — в чем еще люди проявляются?

— Птички, цветочки, кошка — пожалуйста, а про людей...

— Знаете, Марк, я не только не видел, представить не мог, что возможен человек, которому бы до такой степени нечего было делать внутри себя, который бы так был обращен вовне...

— Спасибо. Complimentов от вас я никак не ожидал.

— Ну чтоб было понятней. Мне сначала показалось, вы... Дон Кихот. Мне Федя о вас рассказывал, я сам слышал о таких, как вы, мечтал познакомиться, но не решался — у меня и права нет. Обыватель. Интеллигент стесняется так себя называть, но это правда. Конечно, я обыватель, а государство — стена. Поэтому поразительно, что появляются такие люди, как вы. Сколько вас? А перед вами чудовищный левиафан. А вы твердо, чисто, до конца идете на свой подвиг... Но вы так страшно говорите о том, чего просто не знаете! Если бы смогли прочесть открытыми глазами, непременно бы услышали слова о том, что уготовано тем, кто напоил Его, когда Он жаждал, принял Его, когда Он был странник, одел, когда Он был наг, посетил Его в больнице, в тюрьме... Если вы сделаете это любому из малых сих — больному, узнику, страннику, жаждущему, — вы это сделаете и для Него! Но поймите, Марк, — только во имя любви! Будет вера или вы бунтуете против Христа, но если вы любите и во имя любви жертвуете собой за ближнего — остальное не важно, найдете себя, а в конечном счете непременно обретете Бога, Который и есть Любовь. А у вас все замешано на ненависти, вы ею кормитесь. Потому я не могу вас понять... Дон Кихот? Он плакал, его унижали, над ним смеялись — весь мир потешается до сих пор! А как он любил! Да если вы попытаетесь выразить одним знаком, одной мыслью — разве это не любовь, в ней сошлось все, чем жил и от чего умер дон Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный Добрым... Нет, вы не Дон Кихот, вы... ветряная мельница.

— Это как стена, — сказал Марк и поднял на Льва Ильича-загуманенные болью глаза. — Как стена. Об нее можно только голову расшибить. И крылья у нее, верно, каменные — отбрасывают... Я не Дон Кихот, не безумец, но что делать с этой жуткой и тупой бессмысленной стеной — отступить? Она еще сто лет простоят... Вы ее почему-то мельницей называли — так я вас понял?

Лев Ильич смутился и ничего не ответил.

— Может быть, я что-то не так говорил, вы не поняли — почему все время о ненависти? — искренняя обида зазвенела в его голосе. — Я не о людях, я о государственных институтах, но они-то нами, нашими усилиями, нашей трусостью созданы и поддерживаются. Кому же, как не нам, пытаться их исправить? Но пока они существуют и в них зло — на нас на всех вина. Мир был так прекрасен, человек так совершенен — жуткое недоразумение, что устроились эти пакости... Как же с ними не бороться?

— Простите, — сказал Лев Ильич. — Меня простите. Но это не недоразумение. Это трагедия — такое непонимание. То, что вы разделяете дикую бессмыслицу, и то, что делается человеческими руками. Весь мир лежит во зле, Марк, при чем здесь институты?

Марк встал, упершись кулаками в стол.

Лев Ильич тоже встал.

Их разделяла узкая пластиковая доска, но Льву Ильичу показалось, между ними океан, материк, и у него нет и никогда не достанет сил докричаться.

— Господи, — сказал он, — если б Ты научил меня словам, которые вы могли бы услышать! О том, что истинная свобода не в свободе гражданской и не в сытости, она только в том, чтоб любить Бога, ближнего и своих врагов. Но как сказать это вам, который готов умереть за мое гражданское освобождение, за то, чтоб меня накормили? Как могу это сказать я — перепутанный, связанный своими грехами, страстями и слабостями?

## 7

На мгновение он задохнулся от пыли, ослеп и оглох. Он бы упал, во всяком случае остановился... Но падать было некуда, да и стоять он не мог. Он двинулся дальше, задыхаясь, ничего вокруг не различая. Смертельно болела намертво защемленная чем-то рука, ноги подкашивались от тяжести, навалившейся на спину.

— Заснул, что ли? Выбрал место — топай отсюда, пока морду не ободрали!..

По всей вероятности, лошадь, не видная сейчас Льву Ильичу, в клубах вздымавшейся до неба пыли, шлепнула копытом в оставшуюся, несмотря на жару, лужу, обдала его грязью, пахнула жаром, потом и вонью в лицо. Он попытался освободить правую руку, не смог, шагнул дальше — и все вспомнил.

Он был прикован к железному пруту вместе с такими же, как он, горемыками. Один из них навалился сзади, перед глазами покачивался в такт шагам знакомый затылок идущего впереди, а тех, что были дальше и сзади, Лев Ильич и не мог видеть.

Пыль рассеялась, и он различил круглое бабье лицо с мертвыми глазами, оно обернулось с тяжелого битюга, поднимавшего мохнатыми ногами клубы пыли.

— Не нравится? Чего морду веротишь?.. Пьянь рваная... Когда вас повеьведут, как тараканов! Заснул — у бабы, что ль, своей? Да какая баба ляжет с таким, чем он ее ковырять станет... Давай, давай, топай, а то позову кого надо...

Битюг грохнул копытом о камень, двинулся дальше, и Лев Ильич, удерживая закаменевшей рукой железный прут и омертвевшей спиной поддерживая навалившегося на него, продолжал брести по дороге.

Он уже все вспомнил, осознал себя, боль в спине и руке была не только единственной реальностью в призрачности и фантастичности открывшейся ему картины, эта боль и давала надежду: захлестнувшее горло чувство вины перед теми, кто тащился вместе с ним... Кто, как не он, был причиной, что все они оказались рядом с ним? Только он знал, что виноват во всем. Он предал их на муку, запутал якобы дружбой, а когда пришла пора расплачиваться, тень его вины упала на них. Что ж теперь кричать о том, что виноват он один, почему раньше молчал, кто услышит? Оставалось напрячь силы и тащить проклятый прут, стараясь хоть этим облегчить другим их ношу.

Как бы он смог объяснить свою вину перед ними? Но именно это ему и предстояло: облечь в доступные тупому закону слова свое четкое ощущение вины. «Но я не могу!.. — шептал Лев Ильич запекшимися губами. — Я не знаю этих слов и не знаю ваших законов...»

И он представил себе друзей, которыми бывал всегда так счастлив и горд, о которых возникала его первая мысль утром, думая о которых, он засыпал, — чем жила и что такое была эта дружба? Он шептал их имена, вспоминал, как их сводила судьба и как случилось, что теперь никого не осталось. Он вспомнил одного, которого знал не менее двадцати лет, чью доброту пил, как лимонад, не думая, чего она может стоить; о втором, чью житейскую мудрость принимал снисходительно, позабыв про опыт, ее выковавший; как в душе потешался над наивностью и чистотой третьего; как взваливал на четвертого свою откровенность, не задумываясь, каково ему приходится, зная все о нем, продолжать его любить. Как в слепом эгоизме полагал, что может брать бесконечно, убежденный, что имеет на это право, ибо всегда отдаст все, что у него есть. Почему его не останавливало, что к нему за тем же не обращались? А между тем тут, несомненно, и была разгадка. Просто у него не доставало мужества и сил справиться со своими пустяками, неурядицами, а его не хотели тревожить, преодолевая куда более тяжкое. А то, что сейчас, когда все они по его вине оказались прикованными к пруту, когда за все сделанное ими для него пришлось расплачиваться им же, пусть наравне с ним, — но им-то за что? Как это объяснить — не Богу, Который и без того знает и слышит каждое твое дыхание, а тем, в судейских мантиях, кто уже решил их судьбу? Разве было у него право обречь хоть кого-то на муку здесь, если им дела нет до того, что будет с ними там? Он должен был найти слова, которые бы их здесь освободили, здесь облегчили им жизнь, если они не знали другой, у него не было права обречь их на эту дорогу. Дружба есть равенство душ, — было сказано тысячу лет назад. А стремился ли он, Лев Ильич, к такому равенству?..

Он снова услышал дребезжащий, скрежещущий грохот, повернул голову, насколько позволял навалившийся ему на спину, и ему открылось розовое дрожащее марево. Это был не тот свет, что так поразил его среди бела дня, бивший в узкие окна иудейского судилища, — пространство было велико, степь без конца и без края, свет рассеивался, бледный, сиреневый, чуть сгущавшийся к горизонту. И в этом розовом свете в степи он увидел приближавшуюся к ним колымагу: ветхую, с качавшимися во все стороны, готовыми вот-вот отвалиться деревянными колесами, влекомую парой разбитых на ноги, разномастных кляч. Колымага тарахтела без дороги, бородачатый кучер в малахе и в подпоясанном веревкой рваном армяке загораживал широкой спиной седока, торчали выгоревший рыжий цилиндр и медная подзорная труба. Как ни медленно выплывала из степи колымага, она должна была достичь дороги раньше, чем пройдет едва шагавшая, нанизанная на прут связка живых людей.

Седок приподнялся: он был стар, как его кучер, как лошади и как колымага, на нем был старинного покроя длиннополый сюртук, платок прикрывал тощую шею, на худом, с редкой бородачкой лице блестели глаза.

— Эй! — кричал он тонким стариковским фальцетом. — Поберегись! Стой!.. — С неожиданным проворством он спрыгнул и побежал к дороге.

Связка, на которую был нанизан Лев Ильич, качнулась раз-другой и встала.

— Осади! — кричал с битюга мужик с бабьим лицом. — Чего надо?

— Слодей! — кричал на бегу старик, размахивая подозрительной трубой. — Кто разрешал проклятый прут? Ты не знаешь, кто он запретил? Расковать!..

— Ты кто такой будешь? — конвойный озадаченно чесал под малахаем голову. — Чего раскричался? Много вас начальников, всех не упомянешь...

— Я тебя буду много наказывать. Расковать!

— Да я с тобой!.. — заревел в бешенстве мужик на битюге и двинулся на маленького старичка, и тут бы он его смял, кабы кучер не стегнул кляч и они, громыхнув колымагой и чудом не перевернув ее, не выкатили на дорогу, загородив старика. Кучер шепнул что-то конвойному, и тот, матюгнувшись, отвел душу, опоясав битюга плетью.

— Да они разбегутся, не знаю, как вас величать, только прут спасает против этих мошенников — поговорите с ними.

— А фто я поговорю, — живо ответил старик. — Ты кто будешь, голубчик, — обратился он к кому-то в голове связки. — За фто тебя?

— Ни за что, — услышал Лев Ильич. — Выпил у одной бабы, а там мужик оказался, из жидов. Слово за слово, я думал, с ним можно разговаривать — объяснил по-хорошему, чтоб мотал отсюда, пока цел, вроде грамотный, должен понимать. Бог, говорит, нас свел, а потому разговор на пользу, трояк выдал от полноты чувств, а гляди — Бог-то Бог, да и сам не будь плох, доложил куда следует.

«Да это ж Вася!» — узнал Лев Ильич голос актера.

— Фто же тебе присудили?

— Пять и три по рокам — за разжигание национальной розни, — был ответ.

— Ну а ты, голубчик? — спрашивал старик дальше.

— У меня нечто противоположное, — услышал Лев Ильич знакомый голос. — Я полагаю, что евреям здесь нечего делать — вред они принесли неисчислимый, а себе еще больший. Место их там, где нужна их кровь, где ее пролить — подвиг, а не бессмыслица. Я всегда говорю об этом, ни разу не было осечки — а тут, видите...

— Сколько получил?

— Те же пять и три, и то же разжигание.

«Володя-сионист...» — мелькнуло у Льва Ильича.

— Ну а тебя, голубчик?

— Я попросил бы вас, сударь, без фамильярности, — услышал Лев Ильич профессорский баритон своего друга Саши. — Я считал своим долгом говорить, что общезвестно, хотя и предается забвению, что подтверждает мысли и идеи великих людей всех времен и народов. Я всего лишь изложил, что так или иначе говорили, писали, о чем, если хотите, свидетельствовали не какие-нибудь Гитлер или Розенберг — ту же самую мысль об угрожающей человечеству опасности, вы понимаете, сударь, — опасности от кого? Ту же мысль, но глубоко, с присущим их гениальности своеобразием высказывали, не стовариваясь, Цицерон, Сенека, Тацит, Геродот, Магомет, Эразм Роттердамский, Лютер, Джордано Бруно, Вольтер, Франклин, Наполеон, Франц Лист, Ренан и Черчилль. Я всего лишь привел или, не помню, хотел привести слова Петра Великого, утверждавшего в развитие этой идеи, что он предпочитает видеть в своей стране магометан и язычников, нежели евреев. Он говорил, что они явным обманом и мошенничеством устраивают свои дела, подкупают чиновников и, несмотря на императорское запрещение, становятся равноправными... И вот к чему это привело — я на пруте, а он...

— Ты мне не ешь симпатичен, прости, голубчик, но это, впрочем, не имеет значения... Фто с тобой? — спросил он стоявшего перед Львом Ильичом.

— Все люди рождены свободными, — услышал Лев Ильич голос Марка. — Черные, белые и рыжие. То, что я оказался нанизан на прут вместе с ними, свидетельство бездарности закона, готового бить и правого и виноватого, натравливать людей друг на друга, даже не пытаясь выяснить их правду. Отсутствие свободы и права приводит к человеконенавистничеству. Освободите нас, и все, что нас разъединяет, весь этот средневековый ужас и предрассудки окажутся химерами, живущими только ночью.

— За фто же тебя посадили на прут?

— Я никогда не поверю, что дело в моей откровенности. Но если остаться при факте... Я только что разговаривал с человеком, которому открыл, что, впрочем, и не скрываю...

— Кто ты такой? — услышал Лев Ильич.

Старик стоял перед ним, в глазах его сверкали слезы, он коснулся медной трубкой прикованной к пруту руки Льва Ильича.

— Это он! — закричал в ухо Льва Ильича навалившийся ему на спину. — Это он и есть — мешумед, гвоздь ему в задницу! Видели ли вы когда-нибудь, ваше превосходительство, еврея, который бы крестил лоб над гробом своего дядюшки? Не дай вам Бог увидеть это печальное и страшное происшествие! Когда мне говорят, что еврей украл или продал копейку за рубль — я его пожалею. Я его пойму, если он стал начальник, женился на гойке и ездит в черном автомобиле — еврей хочет жить и у него есть темперамент. Но когда он плюет в могилу своего дяди...

— Я тебя еще не спрашивал, голубчик, подожди...

— Как я могу ждать, когда он стоит перед вами, когда он висит на том же пруте, что и я, будто он мне родной брат, чтоб у заклятых врагов вашего превосходительства было сто таких братьев!..

— Федор Петрович, — сказал Лев Ильич, — освободите их всех, вы же видите, они ни в чем не виноваты.

— А ты? — спросил доктор Гааз, конечно, это был он, — в чем ты есть виноват?

— Если я стану перечислять, эти несчастные умрут голодной смертью и ваша доброта окажется для них злом. Соболаговолите распорядиться об их освобождении, а мне теперь все равно.

— Ты говоришь как человек, думающий о спасении души, способный к сердечному сокрушению. Фто ты сам и весь мир стал тебе тяжек и горек, говорит о том, фто ты есть на верном пути... Но, значит, правда, что они про тебя свидетельствуют — их несчастье находится в зависимости от твоей слабости?

— Ах, Федор Петрович, — сказал Лев Ильич, — разве стоит чего-нибудь эта правда рядом с тем, что предстоит пережить этим людям... Если им легче оттого, что во мне они нашли виноватого — пусть себе! Я виноват уже в том, что ничем не смог им помочь, что их ожесточение несколько не утишилось от их несчастья... Их я знаю мало, но есть люди мне близкие, которых моя вина подвесила на таком пруте... Что мне еще одно обвинение в том, чего я не совершал, когда я знаю, что сделал и продолжаю делать, несмотря на то, что мне открылась Истина, даны Заповеди, которые следует всего лишь соблюдать? Свобода, сказал один мудрый человек, не в отсутствии оков, а в невинности. Что мне делать, Федор Петрович, когда знание греха не дает мне возможности утишить мой страсти и помыслы?

— Мы об этом поговорим, голубчик, а пока нас ждут дела важнейшие. Ты прав, когда не боишься того, что говорят о тебе, — всем нельзя угодить, мало ли кто что скажет, святых и то осуждают, а нам, грешным, не избежать непонимания. Только кротостью и терпением можно оградиться от несправедливых упреков и клеветы. Они себе больше вредят. А что тебе может сделать человек, который все равно умрет, — сегодня он есть, а завтра его не будет. Изменился ли мир, голубчик, чуть не за две тысячи лет, с тех пор как узнал Спасителя? Одни говорят, что несколько не изменился, другие — что мир стал неузнаваем. И как для тех, так и для других это служит доказательством неисполнения пророчеств, а то и прямо ведет к афеизму. Можно ли, голубчик, возразить им, а главное — нужно ли? Если смерть Спасителя, распятого за нас, недостаточное доказательство, что мы можем слабыми своими силами? Люди сами себя не понимают, а ты хочешь, чтобы они поверили тебе, вздумавшему о спасении собственной души? Разве стезя добродетели широка, а стезя порока узка, а не наоборот? Что ж ты удивляешься, что то и дело зависаешь над бездной? — потому и зависаешь, что она широка, потому и проходишь, не заметив добродетели, что та тропа узка. Я тоже жил, как и подобает моему положению, состоянию и учености. У меня был выезд цугом, хороший дом в Москве, суконная фабрика в Тишках, ученые занятия, известность... Что все это рядом с несчастьями, что открылись мне в этой проклятой людьми, но несомненно отмеченной Богом стране? Все, что у меня осталось, — подзорная труба и возможность ночью взглянуть на звезды. Много ль мне удалось сделать или мало — разве нам считать, у тебя всегда есть Свидетель: отвернулся ли ты, прошел мимо несчастного, несправедливости, помог больному и сироте? Нет больших или малых дел — ты не за себя хлопочешь... И знаешь, голубчик, пусть тебе не верят, смеются... Разве не смешную я представляю фигуру на этой колымаге — она вот-вот развалится, — запряженной этими клячами, они вот-вот подохнут... По Москве говорят, что нам четверым — с моим Егором —

уже четыреста лет! А мир — такой же, как был, только города настроили, дороги замостили, корабли плавают, мироздание разгадали, лиссабонское землетрясение объяснят, гильотину в Париже — сделай одолжение! А про Спасителя Христа им скажи, что жить без него никак у вас не получится — засмеют... Ладно, голубчик, поговорим, коль останется время.

— Послушай, любезный, — обратился он к конвойному, нетерпеливо прислушивающемуся к затянувшимся переговорам, — из того, что я услышал, я могу сделать заключение, что все они невинны перед Богом, престившим нам наши слабости и грехи, проистекающие от нашего несовершенства. Такого чудовищного наказания, к тому ж отмененного моими хлопотами, они никак не заслуживают. Первым делом сними их с прута, ибо тут ты несомненно нарушил распоряжение...

— Да вы что, гражданин начальник! — закричал конвойный. — Сместесь надо мной? Не знаю, какой ваш мандат, только не я их нанизывал, не я буду снимать. Своя голова дороже. Да и нету невинных: взяли — сиди!

— Да ты фто! — закричала фальцетом доктор Гааз. — Ты о Христе позабыл, за нас за всех невинно принявшем смерти!..

— Ребята! — крикнул Марк, его затылок и шея перед глазами Льва Ильича стали багровыми, он поднял над головой дрожавший прут. — Свобода не милостыня — ее берут силой! При счете «три» кидайте дьявольский прут влево — он оборвется! Раз, два...

— Слышите! — орал конвойный. — Вы что, оглохли?

— Три! — крикнул Марк, и колонна с грохотом швырнула прут, рухнувший вместе с ними на колымагу доктора Гааза, опрокинула ее, двух кляч, кучера, битюга с конвойным и раньше других самого доктора.

— Еще раз! — звонко кричал Марк. — Свобода или смерть! Раз, два...

Лев Ильич, с ужасом глядя на раздавленного Федора Петровича, заражаясь общим азартом, раскачивал гигантский прут...

— Три! — громовым голосом гаркнул Марк.

Прут оборвался, зазвенел, и Лев Ильич так ясно услышал последний крик доктора Гааза...

— Да опомнитесь! Покажите документы!..

Он почувствовал, что рука освободилась, теперь его крепко держали за плечо. Он поднял голову и очнулся.

Над ним стоял милиционер. Рядом визжала уборочная машина. Он сидел на полу, прижавшись к вокзальной скамье, под здоровенным провонявшим рыбой мешком, навалившимся ему на плечи. А ведь все это время он не спал — иногда подремывал, видел и визжащую, брызгавшую опилками машину, и бабу за ней, которая ворчала всякий раз, когда проезжала мимо, заставляя его подбирать ноги, и идущего к нему через зад милиционера. Устал Лев Ильич, многовато ему было, не по зубам.

### 8

Опять была знакомая, радующая его тишиной комната с зелеными зарослями на окнах. Перед иконой в углу теплилась лампадка, в комнате было убрано; Маша, видно, отвзтракала, на влажной клеенке лежало Евангелие, из которого Лев Ильич уже однажды читал; тихонько позвякивали розовые колокольчики герани, и ему вспомнилось, как все это для него началось с такого же розового позвякивания. Он вспоминал об этом всю дорогу, шагая теми же переулками от вокзала, заглянул в открывшуюся столовую и, не увидев Маши за кассой, свернул по хрустящему ледку во двор. Маша не удивилась, глянула на него, открыв дверь, тихонько охнула, а теперь сидела напротив, поставив локти на стол и опершись подбородком на раскрытые ладони. Она была в беленькой кофточке и в темной юбке, только что вымытые влажные волосы тяжелым узлом были схвачены на затылке, и Лев Ильич снова подивился, какая она каждый раз бывает другая. Глаза у нее были непривычно тихие, губы не накрашены — она вроде бы перестала краситься с тех пор, как он ее впервые увидел: губы казались нежными, по-девичьи пухлыми, и вся она словно помолодела, очистилась, как будто сбросила с себя что-то.

Он, уже свернув во двор, подумал, что это единственный дом в городе, в котором он родился и прожил жизнь, единственный дом, куда может незванным в любое время ввалиться, где ничего не нужно объяснять и ни о чем не станут спрашивать... А сколько он виделся с этой женщиной, что знает о ней?.. Но было что-то другое, что их, ничего друг другу не сказавших, так крепко и навсегда соединило. То, что он плакал перед ней, или что-то раньше, когда слышал ее дыхание за спиной, стоя перед

священником, — что никто и никогда не отнимет. Но разве она одна там была? Нет, что-то еще произошло...

— Игорь спит, что ли? — спросил Лев Ильич.

— Ушел. Работу ищет, может, не возьмут в армию — за ум взялся, — тихо улынулась Маша. — Чай станешь пить?

— Как Алексей Михайлович? — спросил Лев Ильич.

— Умер. Сегодня после службы отпуют у отца Кирилла.

— Ты была там?

— В воскресенье была, как вы ушли, поздно вечером. С отцом Кириллом ездили. Игорь там ночевал. Тихо отошел. У него и сил не было. Ларисе тяжело, я-то ладно — у меня Игорь. Вот когда узелок развязался.

— Вот ты почему такая...

— Какая? Освободилась, что ли?.. Может, и так. Поздно уже, прошло мое время — как не было.

— А я на тебя смотрю — молодая, красивая, губы как у девушки.

— Была девушка, да враз выйду в бабушки... Я знаю, что ты про меня подумал, когда впервые встретились и я тебя компотом попотчевала. Люблю заводить таких, как ты. А поверишь — никогда бабой не была.

— Я тебе во всем верю.

— Нам бы с тобой десять лет назад встретиться — может, свой узелок сама бы развязала. Двадцать лет старика ходила утешать. Не вдова — не мужняя жена. Или все себя виноватой считала?..

— А если б двадцать лет назад? — спросил Лев Ильич.

— Не знаю. И представить не могу, кем бы я оказалась...

— Ты его любила, Маша?

— Фермора? Откуда я, Лев Ильич, могла понимать? Девчонка, сколько мне было?

А он такой, как ты. Только у тебя все на личности написано, не знаю, как ты жену обманываешь, а Фермора я никогда не могла понять — правда, и ума не было. Зачем я ему была нужна? Согрешил, а человек совестливый. Он со мной мало разговаривал, сидит, бывало, смотрит... Или он рисовать меня хотел...

— Нарисовал?

— Как же... Показать?.. Идем, поможешь.

Лев Ильич придерживал табуретку. Маша перебирала холсты на шкафу.

— Держи. Идем к срету.

Картина была небольшая, темно-красная. Маша сидела за столом, накрытым цветной скатертью. Перед ней горела свеча в старинном подсвечнике, лежало Евангелие и рассыпанная колода карт. Она была, как и сейчас, в беленькой кофточке, кутала плечи старенькой шалькой, гладко зачесанные волосы открывали чистый белый лоб и опять, как в картине у Алексея Михайловича, главным были глаза портрета: живые, словно бы меняющиеся — или свет так падал? — удивительные для такой молоденькой, простоватой девушки — тихие, ласковые. Но чем больше смотрел в них Лев Ильич, тем отчетливей проступала такая печаль, что, казалось, вот-вот они и впрямь наполнятся и прольются слезами...

— Какой замечательный художник! — воскликнул Лев Ильич.

— Не похожа. Я сроду не грустила. Ему так надо было. Я потому и спрятала. Ты представь, Лев Ильич, мы с ним год, пусть два прожили, а я потом чуть не двадцать лет с этими картинами — не смех ли? Я вот сказала тебе... — она сделала движенье убрать картину.

— Подожди, — попросил Лев Ильич, — пусть постоит.

— Влюбишься — что делать будем? Как-никак я тебе крестная... Али грешить, так грешить?.. Я тебе говорю — никогда не была бабой, а знаешь, сколько во мне бабьего? Не с Фермором, я ему для модели требовалась, потом, за эти годы... Если б тебя встретить... Я потому эту... твою невзлюбила — какая она баба, свистушка и расчет имеет для себя. Не нравятся мне такие. Я гляжу, и у тебя с ней не сладилось?

— А ведь он любил тебя, Маша, — не ответил Лев Ильич, вглядываясь в портрет. — Может, он тебя лучше тебя понимал, видел, какой ты, как говоришь, бабой станешь, как эти двадцать лет без него проживешь, сына вырастишь, как, если случится, себя ради кого-то... А себя не... потеряешь... — Лев Ильич вспомнил Любу и едва не задохнулся.

— Сердце болит?.. Что ж я расселась, чаю тебе надо!..

Маша подхватила и загремела на кухне чайником.

Лев Ильич глядел на портрет, в глаза, наполнявшиеся слезами, и думал о том, можно ли понять человека так, чтоб угадать его судьбу? Наверно, можно, коль

считать, что случайности нет, что все за тебя продумано и открыто твоей свободе, она тоже дана заранее... Что-то не так было — какая свобода, если она дана, — и он усмехнулся, вспомнив ночной бред и Марка, раскачивавшего стальной прут: «Свобода — не милостыня!..» Нет, тут о другой свободе шла речь.

И он вспомнил себя десять лет назад, когда Маша сказала, надо б им встретиться. Другие свои встречи... Так редко отказывается человек от соблазна, никогда не хватает на это сил, но так хорошо бывает, когда у него на это сил остается...

— Отпустило? — Маша стояла перед ним с заварным чайником и чашками.

— Может, хорошо, Маша, что мы с тобой не встретились — и двадцать лет назад, и десять. Ничего б хорошего не получилось. А сейчас смотри — замечательно.

— Куда лучше: ты за сердце хватаешься, а я нерастраченным хвастаюсь...

— Понимаешь, Маша, — говорил Лев Ильич, — человек рождается свободным... Нет, глупость. Свобода рождается в человеке одновременно с его появлением на свет Божий. Как в современных вычислительных машинах, очень просто: десятки тысяч вариантов, а ответ один — «да» или «нет». И перед человеком с самого рождения до смерти бесконечно мелькают варианты — бесчисленное количество, в самых разных комбинациях, на каждом шагу, и нужно всего лишь сказать — «да» или «нет». В этом свобода, в этом потрясающий замысел Бога о человеке — потому что здесь Он бессилен, Он заранее связал себе руки, отказавшись говорить за нас, а Он Своему Слову не изменяет. Но человек так редко, а если говорит о нашей обыкновенной скотской жизни — никогда не говорит «нет», он' всегда твердит «да!». «Да!» — навстречу любой слабости, искушению...! Этих «да» за жизнь накапливается столько, что когда человек наконец опоминается, когда видит этот частокод «да!» — то «нет» кажется ему таким маленьким, слабеньким... «Как мерзко», — говорит себе человек и впадает в ничтожество. «Нет» для него уже бессмысленно, на «да» не хватает сил и азарта... Но ведь это неправда, потому что и робкое, однажды шепотом произнесенное «нет» стоит всего частокода, потому что если ты все-таки скажешь «нет» — пусть чепуха, нечем гордиться! — но ты уже не один, ангелы ликуют, сам услышишь шелест их крыльев, тебя приподнимет — и шаг за шагом, ступенька за ступенькой...

— Ты говоришь почти так же непонятно, как Фермор молчал, — сказала Маша. — Глядишь на портрет и говоришь — а к кому ты обращаешься? То, что там нарисовано, не имеет ко мне отношения. Я с самого начала сказала «нет», а теперь раскаялась. Да и это неправда: не пожалела, скучно мне стало.

— В этом, наверно, и есть гениальность художника, — продолжал, не слушая ее, Лев Ильич, — он в каком-то озарении, обыкновенному человеку, нам с тобой, невозможно, а ему внятно, он понимает предел свободы в человеке, о котором думает или изображает. Он не тебя здесь нарисовал, верно. Не тебя внешнюю. Ты говоришь, смеешься — не грустишь, бабой не была — разве это в тебе главное? Он тебя в тебе увидел — в девочке, твою свободу измерил, ее беспредельность, этой силе, а в ней твоему страданию поклонился — и все это красками на холсте. И свое восхищение; и свою горечь за тебя, бессилие помочь, когда его не будет рядом, и главное — любовь и печаль. Не только к тебе, ты тут не одна, ты вместе со столом и комнатой вписана в мир, что мается вокруг тебя, да и сам художник, я его в глаза не видел, и он здесь стоит и на меня твоими глазами смотрит...

— Экий ты, Лев Ильич, проповедник, все про меня рассказал. Тебе бы с Фермором обсуждать, а меня не нужно. Модель! Нарисовал, обсудили, приглубили разок-другой — не большой грех, зато картина с натуры, иди себе на двадцать лет... Куда, ты говоришь, мне со свободой, которую Фермор во мне открыл, чего мне с ней делать, позабыла?

— Да... — покрутил головой Лев Ильич.

— Ты такой же, как он. Только рисовать не умеешь. Это я другой стала — не про меня портрет. Теперь ты бы мне в самый раз. А что толку, Лев Ильич, прошла жизнь, вот в чем печаль — погляди на меня...

Он и без того глядел на нее. Это была другая женщина — не девочка на портрете. Но все та же — Маша! Вот в чем была гениальность Фермора: он то увидел, что она про себя не знала, а знала бы, ничем не поняла. Она и тогда отдала все, что в ней было, и на минуту о будущем не позаботилась — сохранить бы на черный день! Все отдала, а потому сохранила. Девичья прелесть ушла, зато бабья загадка — на любителя, кому пряники, а кому соленые огурцы. Те же глаза глядели на Льва Ильича, та же беззащитность в отсутствии расчета и печаль, плывущая из глубины, — такая печаль, разрыв-тоска, что у него опять захолонуло сердце.

Он ничего не ответил, протянул руку, пододвинул Евангелие и раскрыл.

— «И увидел я новое небо, — прочитал он вслух, — и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни воплей, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло...» Что это? — спросил Лев Ильич и поднял на нее глаза. — Что это, Маша, как понять?..

— Каждый понимает по своему разумению, — сказала Маша. — А я тебя так полюбила, Лев Ильич, прости меня, ты же не можешь обо мне плохо подумать? Так полюбила, что за тебя понимаю. Это о тебе сказано, про твою печаль и про твою надежду. Прежнее пройдет, Лев Ильич, разве в наших сроках дело. Но потому, что мы живы, — вот печаль откуда. Но потому, что Он будет с нами, — вот в чем надежда... А я всегда буду здесь, ты помни. Что б ни было с тобой — не забудь. Ты не так на меня глядишь, — она засмеялась, глаза вспыхнули, стали отчаянными, веселыми, как в первую их встречу в столовой, — тебя портрет сбил с толку. — И она повернула его лицом к стене. — Гляди, видишь, я какая? Ты приходи, любой приходи. Дел-то с нашей бедой разобраться — один ты, что ли? У меня, знаешь, сколько сил?

— Маша... — благодарно прошептал Лев Ильич.

И тут длинно, резко в тишине квартиры, как железом по железу, задребезжал телефон...

— Тебя, — сказала, вернувшись из коридора, Маша; Лев Ильич с удивлением глядел на ее вспыхнувшее лицо и совсем другие, потемневшие глаза. — Валяй, проявляй свободу.

— Меня? — недоумевал Лев Ильич.

Он подошел к телефону, с тоской взял трубку, держа в опущенной руке, глядя на нее как кролик на змею. В трубке защелкало, потом издали, глухо послышалась музыка — старая, с юности знакомая мелодия...

Он прижал трубку к уху.

«Счастье мое, — хрипела трубка, — я нашел в нашей дружбе с тобой... Ты для меня и любовь и мечты...»

«Слышишь?» — ударило в ухо, будто рядом, за стеной — он не сразу узнал голос.

— Кто это? — спросил Лев Ильич.

«Счастье мое, это молодость в сердце поет...», — пропел тот же голос — не пластинка. — А ты говоришь «кто»? Эх, Лев Ильич, «счастье мое»... Я должна тебя видеть. Немедленно».

— Что с тобой, Вера? — со страхом спросил Лев Ильич.

9

Нет, тут все было понятно, какая загадка? — как он мог не поехать, не услышать того, что дрожало в ее голосе поверх жалкой бравады. Это он и услышал, потому и бросил Машу на полфразе, в разговоре, наверно, для нее не простом, коль двадцать лет не решалась начать... А может, обычный механизм сработал: что считаться с женщиной, которая тебе так беззащитно признается в любви, садись ей на шею — все равно повезет!.. Нет, отмахнулся Лев Ильич, разве такие у него с Машей отношения... Конечно же, высшие отношения, а потому зачем с ними считаться, всегда можно отодвинуть в угоду тому, что поплотше, высшее всегда поймет, простит, на то, мол, и высшее, останется с тобой, а что пониже, можно и потерять... Не так разве, что уж услышал Лев Ильич в воркующем, нежно-самоуверенном голосе, промурлыкавшем пошленький мотивчик его юности? Воркующую пошлость он услышал, а остальное домыслил — спасать кинулся по первому слову!

Нет, так тоже нельзя, — Лев Ильич на ходу промокнул грязным платком горящее лицо, — зачем перебарщивать, тоже небось грех. С Машей у него одно, а тут — другое, недоставало кинуться ей на шею...

Он между тем четко шел, улицы перебегал, сворачивал, маршрут наметил еще там, сжав в кулаке телефонную трубку: выбрал, проявил, осуществил свою свободу Лев Ильич, щелкала его вычислительная машина, отсчитывала варианты, потрескивала!

Теперь он твердо знал, понял: начало всему с ним случившемуся не там, куда он так торопился. Спервоначально показалось: поезд, невероятность встречи, разговор, подхвативший все, что в нем и без того говорило, то, как взяли за руку и привели... Кто взял, к чему привели?



Другая была встреча, она и стала главной, все определила, а в ней не было ничего невероятного, что бы его остановило или озадачило. Не было разговора, которого он так жаждал, не было воркующей нежности, по которой так истосковался. Вот где была встреча, которой он не узнал, ни за что принял — водку, подкрашенный компотиком, проглотил, комнату пришел снимать, а оно вон чем обернулось! А теперь что в нем изменилось, где опыт, чему он его научил? От настоящего, подлинного сломя голову кинулся бежать по первому знаку, едва ему заигранная пластиночка прохрипела...

Она хрипела на всю лестничную площадку, как только остановился лифт: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...»

Вера обняла на пороге. От нее пахло вином, на ней было легкое платье с глубоким вырезом, янтарные бусы лежали на обнаженной груди, он ее никогда не видел в платье — свитер да джинсы...

— Пришел, пришел! Ко мне пришел!..

— С какой ты радости с утра?

— Что пьяная, что «утомленное солнце»!.. Конечно, у нас Великий пост! А если мой последний пост, если у меня Пасхи не будет, тогда как?.. Снимай свое дурацкое пальто, милый, самый дорогой на свете человек... А если у меня и этого света больше не будет, если ты последнее, что у меня здесь осталось?.. Тогда можно? Ну-ка, я на тебя посмотрю, черт, темно! Такой, как должен быть, только ты такой... Наташка! Можно к тебе? Сейчас я его тебе представлю... — и, касаясь горячими губами его уха, шепнула: — Замечательная баба, увидишь, самая моя близкая — навсегда, со школы, на всю жизнь...

Она схватила его за руку, протасила по темному, хрипящему пластинкой коридорчику и распахнула дверь в комнату. Посреди нее в коляске лежал распеленутый младенец, а возле стола с разложенными пеленками спиной к окну — лица не разглядеть — маленькая, круглая, из нескольких шаров составленная женщина, в халатике, в тапочках на босу ногу.

— Вот он! — Вера схватила Льва Ильича за волосы и дернула вниз. — Кладается тебе — у тебя остается. Мое тебе завещание на этом свете. Поздно схватилась, да, видишь, успела...

Ошеломленный Лев Ильич только моргал глазами.

— Не смотри, что он тихий, — Вера держала Льва Ильича за волосы, — он знаешь, что у Юди учинил! На целый год хватит расклебывать. Что ты, я такого в жизни не слышала!.. А ты на нашу Варвару погляди! Наташк, смотри, как на мужика вытаращила!.. Понимает настоящего мужика — ну девочка, а, Лев Ильич?..

Крошечная девочка сучила толстенькими ножонками, пускала пузыри, не сводя глаз со Льва Ильича.

— Наташка!.. — захохотала Вера, отпустив Льва Ильича. — Ты на него посмотри... Покраснел, ну покраснел же!..

— Ладно тебе, — оборвала Наташа и бросила на девочку пеленку, а та тут же сбросила ее. — Напугаешь. Идите на кухню, я перепеленаю.

— Разве не чудо! Трехмесячную девочку нагишом увидел — покраснел! — не унималась Вера.

— Ладно тебе, — повторила Наташа.

— Господи, Наташа! Ну может ли быть, что я никогда всего этого не увижу? Тебя толстую, с Варькой не поговорю, с этим чудачком не поцелуюсь, пластинки идиотские... Ты под них, Лев Ильич, под них учился танцевать?.. А мы с Наташкой в седьмом классе на первой танцплощадке... У нее — не у меня, у нее! — был кавалер, а на меня и не посмотрели, а? Ну что она против меня!.. Отдашь пластинки, я тебе взамен Льва Ильича оставлю — сторговались?.. И Варьку мне в придачу, зачем она тебе? Вы со Львом Ильичом не таких наделаете!..

Девочка еще раз брыкнула ножками, сморщилась, покраснела и неожиданно басом закричала.

— Уходите! — разозлилась Наташа. — Я сказала, ты ее напугаешь...

На столе на маленькой кухоньке стояли две бутылки портвейна, разрезанный торт, яблоки.

— Бабы поминки, — сказала Вера. — Выпей за меня. — И, расплескивая вино на клеенку, налила полный, с верхом стакан.

Красивая была женщина Вера Лепендина, в девичестве Никонова: и рассыпавшиеся по плечам темно-русые волосы, и зеленые, непрестанно менявшиеся глаза с небольшой косинкой над широкими скулами, и тонкие брови над ними, чуть оттопыренная нижняя губа, а под ней ямочка на подбородке, и стройная шея в

глубоком вырезе платья над высокой грудью, и угадываемое под легким платьем... Что там было гадать Льву Ильичу.

— И я с тобой выпью,— подняла она стакан.— За меня — не пожалеешь... что выпил?.. Спасибо. Уважил... Первая моя мысль была тебя увидеть — сбылось! Помнишь, у отца Кирилла, когда соблазнять вздумал... Ты меня или я тебя, кто кого соблазнил?.. Ты сказал, что умеешь глянуть разок, отвернуться, а потом рассматривать, пока не сморгнешь?.. И я теперь так — наляжусь на тебя на этом свете, а потом моргать не буду. Это моя первая мысль. Вторая — чтоб ты выпил за меня. И она сбылась. Ну а третья, как Бог даст, я тебя и так не забуду. Так даже лучше... Чтoб больше ничего такого не было, без обмана... Напугался? Эх ты, миленький, да не трону я тебя...

— Что с тобой, Верочка, ничего не могу понять. Ты и там, у... Эппель недоговаривала, начинала, обрывала себя и теперь...

— Признайся, Лев Ильич, ты про меня подумал — я из ее гнезда курочка? Подумал? А у меня Наташка есть. Во как перепутано...

Она вдруг села за стол, потухла, вытащила из пачки сигарету, зажгла спичку и, затянувшись, совсем другим голосом сказала:

— Правильно подумал. В том и дело, что я оттуда.

Смутная догадка мелькнула у Льва Ильича, он ее отогнал, но она вернулась, и он вспомнил рассказ Веры о себе, в котором что-то не было договорено, и то, как странно она начинала и бросала, не досказав, в комнате с мебелью «Людовик XV», и то, как просила его непременно снова прийти туда, хотя и видела, что ему трудно, будто для того, чтоб что-то решить...

— Не может быть! — сказал он, глядя в ее глаза, вдруг ставшие холодными и безразличными.

— Понял? Ну и слава Богу, не объяснять.

— Не может быть, повторил Лев Ильич,— я тебя так знаю...

— Ты — меня? — засмеялась Вера.— Это я, чудо ты мое, обо всем догадалась, и не потому, что ты свою биографию художественно изобразил, так и то удивил — над трехмесячной девчонкой покраснел, а про меня только... Что сейчас говорить, раньше надо было. Если бы был подогадливей. На то и рассчитывала. Я за тебя ухватила еще в поезде. Все было кончено — с плеч долой, с нянкой распрощалась. Отец у няньки похоронен в Коломне. А тут ты — как снег на голову. Как в чудо не поверить, когда живое чудо сидит рядом и на меня во все глаза смотрит?

— Что же ты...

— Я в тебя и вцепилась — небось я тебе позвонила в первое же утро, не позабыл? И там я сама — ты бы меня, как гимназист, еще полгода соблазнял, а у меня одна неделя оставалась. А когда заметалась, к Юдифи вытащила... Не то было место. Нет, это ты был не тот. Если б и там — еще не поздно было...

— Что поздно, Вера, о чем ты?

— Ладно, что уж теперь загадками. Об этом по-русски грубовато, но точно сказано, когда человек хочет и рыбку съесть и... Одним словом, чтоб все у него было в полном порядке. А я мало выпила, чтоб так откровенничать. Да и не стану больше, ты на меня тоску нагнал... Я подумала, еще в поезде, с таким бы все сначала, лишь бы тут остаться, а за это любую цену... Но ты такой рыбкой оказался — с тобой всю жизнь и просидишь возле шалашика, ты и заборчика не поставишь... А я не смогу, мне и забор нужен, и домик с садиком, и гараж подземный... Годишься ты для такой великой стройки?

Лев Ильич молчал, ни о чем не спрашивал — захочет, расскажет.

— Уезжаю я, Лев Ильич. Навсегда.

— Куда? — глуповато спросил Лев Ильич.

— Все, миленький. Паспорт у мужа в кармане, завтра визы. Прощай, Лев Ильич, не судьба.

— Верочка... — сказал он хрипло, — ты не можешь, не должна...

— Пустяки какие — должна, не должна! Кому я должна — не тебе ли? — и опять она посмотрела на него чужими, холодными глазами, ожесточение почудилось Льву Ильичу.

— Ты себя губишь, — сказал он. — Знаешь, что губишь, зачем? Ты и здесь с ним пропадала, но тут стены помогали, — он кивнул на кухню, с развешанными пеленками, на столик, уставленный детскими бутылочками, — а там что?

— А ничего, — просто ответила она. — Что ты ко мне привязался? Все подписано. Зачем раньше молчал? Может, я хочу себя погубить, а может, мне та погубитель слаще здешнего раба, который ты мне пообещать собираешься. Я объяснила, мне нужен

подземный гараж. А из твоего рая я все равно бы убежала — к такому же Лепендину. Все, что ль, они уедут?

— Неправда, — сказал Лев Ильич. — Не может того быть, ты... там не могла меня обмануть.

— Ах, простите, коли что не так! Станешь мне меня объяснять?

— Да нет же, Верочка! Ну ладно, может, я... неспособен сейчас конкретно, врасплох ведь, хотя давно следовало догадаться, но не обо мне — о тебе речь! Ты же не зря ко мне кинулась, ты мне все сказала?..

— Я к тебе затем кинулась, что хотела здесь... в тебе остаться. Я тебе говорила — не веришь? А заодно и тебя попытать. Что я еще могу сделать?.. Ладно, Лев Ильич, доживу, давно нет Верки Никоновой, не туда шагнула, поздно...

«Все об одном, — мелькнуло у Льва Ильича, — такие разные, ничего общего нет, а все им «поздно»...»

— Не надо, Лев Ильич, — попросила Вера и положила руку ему на колено. — Не нужно, миленький. Счастье, что у меня сил не достало, чтоб все поломать и остаться с тобой. Как хочешь понимай, но все равно хорошо. Я тебе не нужна — я порченная, ты по доброте не заметил. Я правда счастлива, что тебя под конец встретила, а теперь не забуду. Научил запоминать — не сморгну... Тебе знаешь какая баба нужна — не жена, я Любу знаю, она как я, может, получше, это не трудно. Одна порода. Тебе бы Машу — ту, из столовой. Я сразу подумала, как она к нам подседа из-за кассы. Ты ее спроси, что она обо мне понимает, даром что простая баба, а поумней нас, ученых. И покрепче. Небось обиделась на меня из-за комнаты — что обманула? Но главное знаешь что? Она никогда тебе счет не предъявит. А я бы обязательно предъявила, все бы вспомнила — а ты мой счет не оплатишь...

«Когда она правду говорит? — думал Лев Ильич. — Или ей так легче — ради меня приносит себя в жертву?»

— Хоть одно доброе дело напоследок сделала — тебя не погубила, руки тебе не связала. У тебя, Лев Ильич, правда начинается жизнь. Все есть, чего во мне сроду не было, как и у моего родителя. Коля ни при чем. Если б нам раньше встретиться! Ладно, знать буду, не из пустыни бегу — в пустыню. Коля все здесь проклял, а я любовь оставляю — тем и спасусь... Все, миленький, хватит. Не могу больше, — она подошла к двери, распахнула ее и крикнула: — Наташа! Иди сюда, он мне всю душу вымотал!..

Наташа вкатилась в кухню. Она едва успела переодеться: на ней было криво застегнутое платье с намокшей тяжелой грудью, из-под короткого подола, открывавшего толстые колени в перекрученных чулках, выглядывала рубашка, над ушами торчали туго заплетенные косички-хвостики, пережваченные ленточками — белой и зеленой. круглые глаза за торчащими кирпичными щеками посверкивали как угли.

— Я тебя просила, чтоб тихо, — буркнула она, — еле укачала. Уезжаешь — уезжай, а Варьку не тронь...

— Ах вот ты как со мной? — остановилась у стены Вера. — Мы последний раз в жизни видимся, а ты...

— Посему мы сейчас выпьем разгонную, а тогда, если что есть, друг другу скажем...

Она прочно уселась, налила полный стакан и подняла перед собой.

— Вот так, — сказала она. — Сначала надо выпить, тогда разберемся. За тебя, Верочка.

Рука у нее была маленькая, крепкая, она пила бережно, вдумчиво, с поразившим Льва Ильича уважением к напитку, будто это был не поганый портвейн, которым у нас опохмеляются, а вино, о котором мы читали только в романах, никогда его в глаза не видевши.

— Со мной теперь так можно разговаривать? — повторила Вера.

Она не садилась, стояла у стены, в глазах закипали слезы.

— Первое, что я тебе хочу сказать, — Наташа поставила стакан и жадно закурила. — Вы меня простите... — она галантно трянула косичками, — Лев Ильич, я не ошиблась? У меня времени мало, через пятнадцать минут нам с Варькой гулять, так что если что не так... Мы, верно, последний раз, не до светских ужимок, — она сделала гримаску, означавшую, видимо, светскую улыбку.

— Я могу выйти, — сказал Лев Ильич.

Наташа посмотрела на него, хотела что-то сказать, махнула рукой с сигаретой и забыла о нем.

— Ты думала, я над твоим подвигом стану слезьми умываться? — спросила она, оборотившись к Вере.

— Я думала, ты по крайней мере поймешь, что мы больше никогда не увидимся, — ответила Вера.

— Значит, так, — сказала Наташа, — пластинки я тебе не дам.

Вера сделала было движение, но Наташа ее прервала.

— Погоди... Не велика ценность — заграничное дерьмо. Но мы под них целоваться учились, я еще доживу, Варьку научу. Другие отсюда иконы вывозят... Я в вашем христианстве не много понимаю — не сравниваю, но если в моих силах не дать мою собственную — да и твою, твою, дура! — юность, душу вывезти, неужто думаешь, я это не сделаю? Да если б хоть любила своего Лепендина, любила бы так, что для тебя ни меня с Варькой, ни пластинок этих идиотских — ничего на свете не было, разве я б тебе чего сказала? Все забори, беги, закрыв глаза, за любовь, пусть все прахом идет! Но я-то знаю, меня не обманешь, знаю, что стоит твоя любовь. Да хоть бы он гением был, которому для его гениальности обязательно Атлантический океан, а у нас только Тихий — не годится. Я б нашла какого ни то фирмача, он бы приволок ведро воды из Атлантического — на тебе, залейся! Проблема — Атлантический океан! А не так, пусть бы плакал над погубленным гением, нам эти слезы подороже его открытий. Так ведь не гений — жулик твой Лепендин, и ты это знаешь лучше меня. Что же тебя туда тащит — расчет поганый, который мне не понять, я в те цифры не обучена. Потому я не дам тебе пластинки, чтоб ты в своем бунгало, или не знаю, что вы там купите-построите, в своей комнатке с какой-нибудь такой же, как ты, засыхой, под калужскую водку, которую за большие доллары купите, да под эти пластинки соплями обливались? Не хочу, не верю — нет тут трагедии, нету любви, ложь, которая, стало быть, всегда была, а теперь наружу вышла.

— Ты... соображаешь... — начала было Вера, белая, как стена, у которой стояла.

— Соображаю. Я тебе всегда правду говорила, а теперь, когда никогда не увидимся... Кто ее тебе скажет — этот вот? — она бегло глянула на Льва Ильича. — Ничего не скажет, он тебя и знать не знает.

— Наташка! — крикнула Вера.

— Да я лучше перебью пластинки! — закричала, срываясь с места, Наташа. — Все переколочу, только чтоб туда, в твое поганое бунгало, не попали!..

— Господи! — прорыдала Вера, распахнула дверь, сорвала с вешалки пальто, вбежала в кухню, схватилась руками за горло, да и выбежала вон, грохнув входной дверью.

Все это произошло так быстро, что Лев Ильич опомниться не успел.

Наташа снова села к столу, взяла бутылку, она чуть было не выскользнула у нее из рук.

— Да налейте ж вы... мужчина! — сказала она. — Раз выбрали, за ней не побежали...

Лев Ильич налил ей стакан. Она подняла его, рука у нее дрожала, отхлебнула и сказала, посмотрев на Льва Ильича:

— На погосте живучи, всех не оплачешь — вон как сказано, — и заплакала, проливая вино на платье.

## 10

«Теперь...» — подумал Лев Ильич. Нет, не так было примитивно, во всяком случае, не совсем так он подумал. Наверно, не смог бы разобраться, найти логику и смысл в своем решении. Другое дело, если б он отыскал эту логику и смысл, он бы, скорей всего, этого не сделал, его примитив толкнул, надо было учинить над собой что-то особенное...

Это произошло неожиданно, напало на него врасплох, подстерегло в мгновение оглушительной слабости и ко всему безразличия. Он беспечно и тупо брел по улицам, ничего не замечая, у него стоял в ушах Верин крик — безнадежный, отчаянный, он казнил себя за свою вину перед ней: если б догадался и вовремя сказал, нашел в себе силы, проявил житейскую мудрость, о себе забыл... Если б то да это... Но все тише, все более ускользавшими были запоздалые мысли и сокрушения, тем более в глубине души твердо знал, что она права, не годился он для этой роли, не умел, не смог бы, да и не нужны были б ни ему, ни ей его силы и житейская мудрость. Безнадежное было дело, и с самого начала обречено.

Он вдруг остановился. Проулок круто сбегал вниз, делал крутой поворот, а внизу на месте сломанного дома открылся пустырь. Было холодно, в проулочке дул ветер, как в трубе, нес мокрый снег... «Погодушку черт послал...» — бормотнул Лев Ильич да осекся — сыростью потянуло.

Он плотней надвинул кепку, застегнулся, раздумывая, вниз, что ль, идти или отвернуть, раз такой ветер.

На пустыре лежал снег — слежавшийся, потемневший, ноздреватый. А посреди большущая проталина, едва припорошенная, с сухой прошлогодней травой и листьями. Льва Ильича что-то остановило, он успел подумать об обреченном снеге и, словно бы тоже мертвой, но готовой вот-вот очнуться земле; пригреет солнышко, живая вода sprysнет и... Но земля его сейчас поразила: мертвая, заледеневшая, пустая и так бесстыдно обнажившаяся, раскинувшаяся, ждущая и готовящая себя...

Вот она что ему напомнила, вот на что был похож темный зев; сжиравший снег, падавший на него мокрыми хлопьями!

Но он не бросился прочь, не отвернулся, его приковал к себе пустырь с тем, что ему в нем привиделось... Нет, не пустырь, проулок, снег и ветер, бивший в лицо, — все это было в нем, ждало, затаившись до времени, а тут оно пришло!

Он удивился, что не почувствовал ни жалости, только что вроде бы его сокрушавшей, ни раскаяния от того, что не смог помочь, — только что об этом думал? Он увидел ее такой, какой она была час назад, до того как кинулась в дверь: вырез платья, открывавший стройную шею и высокую грудь с лежавшими на ней крупными бусами, он вспомнил ее у отца Кирилла — без бус и без платья, ощутил прикосновение ее рук, губ... И — кинулся бежать.

Он его быстро разыскал, память была цепкая, да его вело что-то; заскочил в магазин, шел не глядя, хоть и дорогу выбрал другую, перед церквушкой свернул в сторону, лишь над домами сверкнул крест на колоколенке — что ему было теперь идти «за угол»? У него была другая цель...

Костя не проявил радости: у него, мол, дело, что ж так, без звонка. Но Лев Ильич не захотел услышать, протопал в комнату. Он немного поутих, дрожь отпустила. Он был рад, что пришел: крыша, стены — не улица.

— Что у вас стряслось? — спросил Костя. Он казался раздосадованным, а может быть, с того раза потерял интерес ко Льву Ильичу. — На чем теперь споткнулись?

— Очень я вам помешал? — не ответил Лев Ильич. — Ну помешал, не помешал — мне деваться некуда. — И выставил на стол бутылку водки.

— Убедительно, — сказал Костя. — Трогательно. Только зачем ко мне? У вас дама есть, если охота убить время. Пастырь — на случай, если споткнулись. Я вам объяснил в прошлый раз — я больше не занимаюсь спасением душ.

— Послушайте, Костя, вы сколько раз ко мне приходили, ну возникали передо мной?.. А я к вам сам — первый. Неужели прогоните?

— Сидите, жалко, что ли, тем более такой аргумент, — он кивнул на бутылку. — У меня дело было... Да такое, что когда срывается, всякий раз хорошо.

— Женщина?

Костя не ответил, захватил со стола чайник и шагнул в коридор.

Лев Ильич огляделся. Та же комнатка: прикрытый пледом матрас, груда книг, лампадка перед иконами, на столе раскрытая толстая тетрадь, исписанная мелким, ровным почерком. На стене гравюра под стеклом в рамочке. В тот раз он ее не заметил.

Лев Ильич подошел поближе: колченогий, похожий на комара чертенок, перед Христом на крыше храма.

— Объясните, Костя, — повернулся Лев Ильич на стук двери, — почему Спасителю было предложено только три, якобы все остальные суммирующие искушения, а не было еще одного — главного?

— Про евреев, что ли? У Него на сей счет комплексов не существовало. Или про Церковь? Так Он Сам Ею был.

— Нет, Костя. Не про евреев и не про Церковь. Какая тут хитрость! А с умным человеком поговоришь — все станет ясно. И не про власть, до которой мне лично нет дела. Не про хлеб — что тут искушаться? Мне, обывателю. Как-нибудь прокормлюсь. А думать о человечестве у меня масштаба не хватает. И не про чудо: покажи мне — я поверю. А нет — стало быть, того не стою.

— Что же вас, смиренника, в таком случае мучает?

— Есть искушение — самое страшное, на котором весь свет стоит со дня сотворения и от него стонет. Святые в пустыню убегали, а оттуда не знаю куда — обратно, что ли? То, с чего все началось, на чем Адам проворовался, а Новый Адам о нем чуть ли не молчит. Предлагает вырвать глаз, правую руку, а надо б радикальную операцию с рождения. Только как тогда с человечеством — как исполнится Обетование о спасении, ежели род прекратится, кого спасать?

— Глубоко копаете...— Костя расставил стаканы, нарезал сыр, вытащил банку шпрот.— Я вам говорил, Лев Ильич, занялись бы общественно полезным трудом — что вы лезете не в свое дело?

— Позвольте, Костя. Почему вы меня понять не хотите? Думаете, я водку принес, чтоб богословские проблемы обсуждать?

— Что тогда ерунду спрашиваете, сваливаете в одну кучу? Сравнили Искушения в пустыне и похотливые страстишки, которые и грехом-то называют по литературной традиции. Спасителя, что ли, можно было искушать вожделением? На это и дьявол бы не решился, едва ли так глуп.

— Грех или испытание, про это никому не известно,— заметил Лев Ильич.— Но именно здесь все и срываются: убить — не убью, украсть — не украду, могу, если поднапрячься, и не лгать, а тут как быть?

— Грешите. Я думал, вас что-то стоящее тревожит.

— Но ведь сказано...

— Ну кодь сказано, не грешите...

— Вы всерьез? — спросил Лев Ильич.

— Всерьез про-это и говорить неинтересно. Ну разбейте себе лоб в вашей церкви, простойте весь пост на коленях, а Пасха придет, головку приподымете, непременно за юбку, хоть глазом, да зацепитесь. Воображение все остальное дорисует. Особенно после поста... Пить будем или разговаривать?

— Замечательно! — зазвенело что-то в душе Льва Ильича, давно он того в себе не слышал. Он разлил водку по стаканам.— Значит, дело гиблое — все равно согрешишь?

— Да не согрешишь — разрешаю вас, седьмая заповедь специально вписана, чтоб знали свое место. А то и благодать на вас в крещении, и про теодицею понимаете... Тогда вырывайте себе глаза, правые руки, а всего верней — оперируйтесь. Вместо обрезания, на седьмые-сутки. Где вам найти другой выход.

— А вы нашли, Костя?

— Он-меня нашел, позвал. Я за вас всех буду отмаливать.

— Ваше здоровье, Костя, в таком случае обо мне не позабудьте.

— Напрасно иронизируете,— Костя тихонько выщедил водку, подцепил шпротинку, закурил сигарету.— Я бы на вашем месте не смеялся.

— Да что вы, Костя, какой смех! Я средь бела дня такого страху натерпелся, только подле вас опомнился. Если-смелось — от радости, от себя убежал. Вам спасибо.

— Что у вас все-таки стряслось? — помягчел Костя.— Странный вы мужик, раз от разу меня удивляете. Простите за откровенность, такой застарелый инфантилизм становится чудачеством, вроде бы безвредным, но и... смысла никакого...

— Хотите, Костя, откровенность за откровенность? Знаете, почему, а верней, зачем я к вам прибежал?

— Вы сказали — деваться некуда.

— А! — отмахнулся Лев Ильич.— Я эту ночь проторчал на вокзале в прекрасной, между прочим, компании... Объясните, кстати, феномен: христианин заботится о собственном благочестии, мудрует с седьмой заповедью, а неверующий рыцарь готов принять за него любую муку — не странно ли?

— Это вы христианин?

— К примеру.

— А рыцарь кто?

— Имярек. Тут, скажем, по соседству проживает.

— Давайте, Лев Ильич, раз и навсегда определимся. Сегодня, через двадцать веков после пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти, за нас распятого, всякий некрещеный обречен геенне огненной — ад ему обеспечен. Можете не хлопотать и себя не беспокоить. Всякий же крещеный молитвами тех, кого Господь избрал, будет спасен. Все просто. Налейте водки — у вас ловко получается.

— Страшная история,— сказал Лев Ильич и плеснул водку мимо стакана.— Я, копошащийся в самом себе, думающий только, как бы невинность соблудности и приобрести капитал, вокруг седьмой заповеди описывающий круги, в полном порядке, а он — за меня готовый принять смерть?.. В чем его-то грех?

— Все, кто не записан в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное. Что вам еще надо? Не мной сказано, Господом, через того, кому Он открылся.

Он выпил водку, закурил сыром и закурил новую сигарету.

— Если это так...— Лев Ильич вспомнил Марка,— тогда озеро предпочтительнее. Хотя бы из чувства справедливости.

— Ну поехали! Проклятые интеллигенты! Сколько столетий вы укоряете Господа в несправедливости — еще Иов пытался, кудаками размахивал: беззаконные, мол, торжествуют, а он, праведник, — в дерьме. Так он действительно был праведник, требовал суда у Господа, знал за собой непорочность, всего лишь замысел о себе не мог разгадать. Но вы-то, Лев Ильич? Вы думаете, прыгнете в озеро, сваритесь — и на этом ваше удовольствие закончится? Еще на берегу речь произнесете, как за други свои готовы принять муку, а дамочки платками станут махать, в ладошки хлопать?.. Вам там кипеть не час и не десять, не год и не сто лет, не тысячу и не десять тысяч — вы про это способны подумать? Да не кипеть! Все, что с вами здесь происходит, от чего вы бегаєте со своей водкой да по вокзалам ночуете — в тысячи крат увеличится, ваши пустячные переживания насчет того, что бабу не приголубили или, наоборот, лишний раз на нее ниже пояса глянули, в такую муку выльются, такой скрежет зубовой! Ночи у вас не будет, чтоб поспать, передохнуть, не сталинская тюрьма, не гитлеровский концлагерь, где свет то не гасят, то не зажигают, но день ночью так ли, иначе, но сменяется, — тут все эти тысячи лет никакого продыха, вокруг визг и над вами издевательство, всех своих присных увидите, каждая их к вам претензия в такой процент вырастет, кому рубль задолжали, он его вам миллионы лет будет припоминать, да не канючить — душу из вас за тот рубль миллионы лет тянуть. Посчитайте, мало ли у вас таких кредиторов?

Лев Ильич вытер пот со лба.

— Пошадите, Костя.

— Ага! Станете прыгать из солидарности, чтоб убавлять чувство справедливости?

— А если отвернусь, — сказал Лев Ильич, — если забуду о нем, обреченном на такую муку, тот рубль мне не отыграется?

— Я вам сказал, кому что и за что положено. В прошлый раз говорил, к ем человек спасается и будет спасен. Не верите, предпочитаете ходить в церковь, пеняйте на себя... Черт меня забери, давал же зарок ни с кем не говорить! — в бешенстве крикнул Костя. — Опять вынуждаете! Зачем пришли, договаривайте?

— Зачем я пришел?.. — переспросил Лев Ильич, переводя дыхание.

В нем нарастал знакомый свист, визг, его снова раскачивали качели, сердце падало: ну зачем он пришел сюда, знал же, нельзя, ни в коем случае, забыть должен был адрес.. Затем и прицел, что знал, сейчас его раскачали, размяли, приготовили... «К чему?» — с ужасом спросил он себя.

Костя насторожился, встал было...

— Сосед пришел? — спросил Лев Ильич, — «тегемон»? Несчастный мужик.

— Нашли несчастного! — Костя блеснул на него глазами, погладил усы. — Нет его, в ночную смену. Жена укладывает мальчишку... Пускай ее. Так в чем у вас дело?

— Помните, как мы с вами встретились, Костя, в посезде?.. Веру помните?.. Так вот, все, что произошло — весь этот невероятный ужас или счастье, не знаю, не могу сейчас придумать название, все связано с вами и с ней. С вами и с ней! Вы меня поймите, меня неудержимо тянет к вам — к ней и к вам. Мне иногда кажется, не вы мне говорите, а я себе сам через вас... Не она меня тащит, у нее своя судьба, там все конечно, а я в ней, через нее такую мерзость откровенно в себе — такую непосильно-сладостную жуть, что ради нее... Вы знаете, Костя, — прошептал Лев Ильич, недоуменно озираясь, — я на все готов, на самую эту мерзость, о которой в себе и не знал.

— А, та дамочка, которая бывает в церкви и своими формами... Ага. Головка может закружиться... Понятно, вот откуда седьмая заповедь! Только я тут при чем? Я ее знать не знаю, да и на каком уровне вы меня с ней объединили? Темно что-то, болезнь у вас. Я не раз говорил: оставьте, не для вас. Сидите тихоночко — мне предоставьте. Хваленый отец Кирилл с его благодатью... А уж не крестная ли ваша? А кто?.. Ладно, не мое дело... Вот в чем загадка: мы вас вдвоем встретили, взяли за руку, она в постельку, а я куда?.. Успокойтесь, Лев Ильич, дама она привлекательная, наверное, дело свое знает, что вам сокрушаться? Я же вам говорю... — У Кости блестели глаза, голос стал звонким, поразвизнел. — Забудьте про эту заповедь — литература. Разрешаю вас. Я. Подумайте, Лев Ильич, ну о каком бы спасении могла идти речь, когда б таким шалостям следовало придавать значение? Добьетесь вы успеха или нет — велика ли разница — возжелали! Справитесь с этой, а за углом, да в той же вашей церкви другую увидите — глаза есть, не вырвали? Да и зачем членовредительство, изуверство? По-вашему, провокация, что ли, — пустить человека в мир, перед этим миром беззащитным? Научить его греху, для греха лучшим образом снарядить, а потом ему же учитывать? Правильно вы заметили, — он ткнул дымящейся сигаретой в гравюру на стене, — про это и речи там быть не могло. Че-пу-ха. Да и что, для себя одного, что ли, стараетесь? Ей доставляет радость, материализуете

свою нежность, не одни слова-серенады — современной женщине с такими формами... Вполне гуманно: первым делом вы ее осчастливите... Я на интеллигентский язык перевожу, чтоб было понятней...

— Погодите, Костя,— попросил Лев Ильич, он уже чувствовал, как погружается во что-то вязкое, оно ползет по телу...— Вы себе все время, на каждом шагу противоречите, ваша разорванность, она и пугает меня больше всего, она и есть первый признак...

— Чего? — спросил Костя, покраснев от злости.— Какие еще вам признаки открылись? Вам надо вашу похоть освятить в церкви, чтоб отец Кирилл на вас наложил руки — и тогда, с его благословения вы пребудете «плоть единая»? Плоть у вас оттого станет другой? Оттого, что он пошаманит? И это вам Христос заповедал?

— Сказано, Костя, всякий, кто посмотрит...

— Ну а коли сказано — не смотрите. Мы с этого и начали. У меня противоречия. А вы — без противоречий? Глаза вам дадены? И все прочее, как я понял, в полном порядке — куды денетесь? Противоречия у меня нашел! Уж не черта ли вы углядели в противоречиях и разорванности?

— Черта! — выдохнул Лев Ильич.

Костя захохотал, Лев Ильич глянул на него и обомлел — он и не заметил, как это произошло: Костя сидел верхом на стуле, выбросив ноги в те же клетчатых штанах, усы топорщились от смеха.

— Наконец-то! — смеялся Костя.— Долго тебя приходится обрабатывать, чтоб вырвать признание. Дошло. Сегодня дело пойдет поживей, а то высокие материи: церковь, иудеи, вот где камешек-то запрятан! Я и в те разы замечал интерес, а все сбивался. Переоценил клиента.

— Чего надо? — с отвращением спросил Лев Ильич.

— Вашу милость. Только с потрохами, чтоб не вывернулся, за вашим братом глаз да глаз, чуть что — жаловаться бегаете. Кончай канитель, голубчик, много времени на тебя потрачено. Оно у нас относительное, а лишнего нету.

— Можешь мне... Веру предоставить? — спросил Лев Ильич, холодея от собственных слов.

— Делов-то,— отмахнулся его собеседник.— Вера, Маша, кто еще? Наташу — шаровидную, не желаешь, глянул на коленки? Такая, брат, экзотика, лично я бы предпочел, чем с красавицей — банальности.. Уговорил, заметано? Или Варю подождем — лет десять, самая сладость, десять лет как минута мелькнут... Чего морщиться, верно тебя баба подсекла — краской залился, младенчика увидев,— чист, нечего сказать!

— Болтовня пустая,— с тоской сказал Лев Ильич.— Неужто думаешь на такой пошлости изловить? При чем тут Маша, Наташа... Варя. Глуп ты до омерзения.. Человек никогда так глуп не бывает, а таких дураков навиделся. Я люблю Веру, понимаешь — л ю б л ю. Где тебе понять, не твоего ума категория.

— Как не понять! Поэзия, цветы, мадригалы — а с чертом в сговор вступил! Или мне послышалось — меня просил свою, как ты выражаешься, любовь сюда доставить? Ай-ай, ослышался...

— Хватит паянничать. Я хотел испытать, чтоб не хвастался.

— Тоже мне подвиг. Ты сам сегодня мог повернуть дело, кабы уши не развесил и на чужие коленки не загляделся. Чего за ней не побежал, она бы в слезах на что хошь пошла — такой надрыв самая сладость. Или помещения нет? Сообразил бы, и она догадлива — пол-Москвы подруги. Можно кушетку Людовика Пятнадцатого обновить, да ее без тебя обновили, тебе в диковину...

— Хватит,— сказал Лев Ильич,— надоело. Знаешь, что такое свобода? Господь Бог над ней не властен, не то что ты. «Нет!» — говорю я, и весь сказ.

Собеседник его снова захохотал, распушив усы.

— Уморил! Свобода, говоришь? С тобой в цирк ходить не надо. Да когда ты «нет» сказал в таком деле, хоть раз был такой случай за твой пятьдесят лет?

— Был...— ответил Лев Ильич, но как-то не твердо сказалось.

— Ага,— засмеялся тот,— стыдно стало! Мы еще проверим те случаи. Подозреваю, никогда не было твоего «нет», обстоятельства мешали и уж несомненно внешние, от тебя не зависящие. Может, у них, к примеру, зубы болели, извиняюсь, или еще чего?

— Все,— сказал Лев Ильич,— кончай балаган.

— Да что ты поговорить не даешь! В какие-то веки про клубничку, а ты образованные пошли — теодицея, догматы, заповеди... Что ты, кстати, к седьмой прицепился? Чего она тебе далась? Умный человек, еврей, а на такой, прости, срунде, как на апельсиновой корке... Стоп, язык мой — враг мой! Ну да уж очень ты мне



смешон и симпатичен — скажу. Только между нами, надеюсь на твою скромность — лишних ушей меж нами нет, а то и мне за такую откровенность не поздоровится. Неужели тебе в голову не приходило, у тебя же вкус — ну прости меня, голубчик, ну мадам же литература! Мыслимое ли дело всерьез полагать, что кто-то способен совершить сей подвиг? Не делом, так словом, не словом, так глазом, не глазом, так дланью, помыслом, обонянием — не наяву, так во сне, а какие сны на этот счет заворачивают! Я тебе скажу, только серьезно прошу — не заложил. Эта заповедь — наших рук дело. Мы ее и вписали под сурдинку, проскочило! Не до того было, спешка, сдавали в набор, кто-то, не помню, замешкался, а там гранки, верстка, подписанная — тиснули! Заднего хода, сам понимаешь, быть не могло, на то и расчет. И получилось — все в наших руках через эту самую, через седьмую. Потому что или ты терпишь-терпишь, пока не взорвешься, а тут бери тебя голыми руками, или, если особенно не копыраешься, вроде как ты сам навстречу со своим «да!» — того легче...

— Ты же сам говорил, пустяк — ну нарушил...

— Это не я сказал, путаетесь, сударь. Какой же пустяк, когда заповедь, когда предлободен Царства Божьего не наследуют, когда вырвать глаз, руку, член, который тебя совращает, — читали, знаем. То есть на самом-то деле, конечно, пустяк, потому что мы вписали, но об этом никто, кроме тебя, не знает, а ты слово дал — не проболтаешься. С тобой все в порядке — наш! Никто не знает, все думают: преступил, готов! Как во всем мироздании не усомниться, когда сил нет, когда ни у кого на это нет сил!

— Неужто ни у кого? — замирая, спросил Лев Ильич. — Есть же сильные люди, подвижники...

— Перестань, не мальчик. Почитай про отшельников и пустынников, да не антирелигиозную болтовню, а их же собственные сочинения — какие им живые картинки в кельях мерещатся, какими стенаниями оглашаются те заповедные места! Лучше патриархально в «Яму», как описано в отечественной литературе, или на Каланчовку, к Казанскому вокзалу, в связи с эмансипацией... Хочешь, исторический факт, могу на источнике сослаться — Атиллу помнишь?

— Какого Атиллу?

— А еще интеллигент! Гунны — до Батия, до Киева, когда пресвятой Руси в пеленках не было?.. Вспомнил? Когда Азия, Европа трепетали, когда Верона, Мантуя, Милан, Парма лежали в руинах? Когда папа вышел к нему из Рима христарадничать, а тот плюнул, забрал выкуп и вышел из Италии?.. Помнишь, какой он был — предводитель тысячных толп жутких азиатов: маленький, почти карлик, с огромной головой, с калмыцкими глазами, в них никто не мог смотреть, судьбу племен мгновенно решал этот взгляд... «Где коснутся копыта коня моего — там больше не вырастет трава!» И не вырастала. А как он жил — этот человек с несметным, никому не снившимся богатством, «бич Божий», как сам он себя называл, человек с беспредельной властью? Спал на войлоке, пил воду из деревянного лотка, ни на седле, ни на лошади, ни на одежде, ни на рукоятке меча не было у него никаких украшений, никогда не знал женщин — аскет, воин — бич Божий! А как сей б и ч кончил? Правда, позабыл?.. Сочетался браком с дочерью бактрианского царя. Пиршество, упился вином, ушел с молодой женой в шатер, кинулся в сладострастие, коего не знал, — за один раз всю свою железную жизнь выпил, как летописец свидетельствует. Кровь пошла из ушей, из носа, изо рта... А ты говоришь — заповедь...

— Что надо? — спросил Лев Ильич. Он еле сидел, ни на что не было у него сил.

— Значит, так. Я твою просьбу исполню, доставлю тебе твою красавицу, ты не Атиллу, за твою жизнь можно не беспокоиться. Но... не один будешь забавляться, играть в кошки-мышки, мы тебя так должны повязать, чтоб не дикнул, не выкрутился. Мы вместе с тобой...

— Пошел вон! — закричал Лев Ильич, схватил со стола бутылку, замахнулся...

— Что с вами? — услышал он Костю.

Тот внимательно в него всматривался. «Сколько это со мной продолжалось, Господи?» — со стыдом и отчаянием думал Лев Ильич.

— Опять плохо себя чувствуете или развезло? — спрашивал Костя. — Вы действительно ночь на вокзале?.. Ложитесь. Да и поздно, мне тоже надо выспаться, по ночам работаю... Куда вам о заповеди рассуждать, тем более о седьмой. Надо себя привести в порядок...

Они лежали в темноте, Костя на полу, посверкивал сигаретой.

— А что у вас, Лев Ильич, с Верой, простите мою нескромность, поссорились? Вроде бы роман намечался, или разбилось о быт?

— Все я потерял, Костя,— ответил Лев Ильич,— и Веры у меня нет, и Любовь меня оставила, а Надежды я несомненно не стою.

## 11

Он проснулся оттого, что скрипнула дверь. В комнате стояла душная, жаркая тишина, только за окном ровно, как электрический движок, постукивала какая-то машина. В свете, падавшем из окна, забивавшем едва теплившуюся лампадку, резким пятном белела дверь. Она медленно внутрь подавалась, открывая черноту коридора.

Он следил за ней, пытаясь понять... Вчера он заснул сразу, как провалился — сказалась ночь на вокзале и безумный день, закончившийся диким, под водку, разговором с Костей. Засыпая, он успел подумать, что так и не знает Костю, ему уже трудно отделать то, что тот говорит, от собственного бреда, что в конце концов ему Костя ничего плохого не сделал: выручил — раз, не прогнал — два, хотя в этот вечер он Косте явно в чем-то мешал. А что до того, что он о себе говорит, что, так сказать, либерализм его доморощенного богословия вызывает раздражение и протест, что противоречия и путаница в очевидном, тщеславие, прямое богохульство заходят так далеко, что места нет не только Церкви, но и православию... Будто оно может быть без Церкви! Что тут можно сказать, да и много ли он, Лев Ильич, в этом знает, тверд ли в вере, а потому не бестактность ли впутываться в разговоры и требовать ответа на то, что сам не способен понять?..

Он обрадовался своему спокойствию и трезвости, но так и не успел додумать — уснул.

...Темный провал увеличивался, и вместе с остановившейся дверью его заполнила белая, призрачная, все более рельефно определявшаяся фигура.

Лев Ильич следил за ней всего лишь с интересом — он не мог понять, что происходит, шурил, хотел протереть глаза, но вдруг почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове от ужаса: из темноты коридора в комнату медленно вливала женщина. Она была в белом до пят платье или ночной рубашке, с обнаженной грудью, едва прикрытой кружевами и черными, до пояса рассыпавшимися волосами. На круглом бледном лице, показавшемся Льву Ильичу знакомым, хотя он знал, что никогда не видел его, блестели черные глаза, глупейшая улыбка раздвинула черные в этом свете губы, блеснули зубы, она не видела его, да и не могла видеть, неверный свет из окна освещал только дверь, а он лежал головой к окну. Она улыбалась себе, и так, не закрывая черного рта, вытянув руки со светящимися пальцами и черными ногтями, пританцовывая, двинулась к нему.

Лев Ильич не успел закричать, леденящий душу ужас охватил его, он смотрел не отрываясь в ее лицо, а она, все так же улыбаясь, подошла к нему вплотную, наклонилась, полные груди выскользнули из рубашки, она подняла одеяло и, забираясь под него, хрипловато, задыхаясь, прошептала:

— Котик, уснул, заждался? Иди ко мне, миленький...

Господи,— успел подумать Лев Ильич,— никакая это не комната — поезд, тот самый, где мы встретились, то-самое купе... Но почему ночь — был день, он отлично помнил, как смотрел в окно на пристанционные постройку, в стену поползла зеркальная дверь, отражая водокачку, столпившиеся у переезда грузовики, и со своим чемоданом она шагнула в купе, в его жизнь... Значит, они были вместе, заранее сговорились, пришли по его душу, разыграв с самого начала эту омерзительную комедию, передавали его друг другу, и стоило ему сбежать от одной, как он тут же оказывался в лапах другого?.. Но кроме того, они в м е с т е — она сейчас шагнула к нему с его полки, заползает под одеяло... «Какая полка, она в дверь вошла!..»

Она уже забралась в постель. Он отодвинулся, вдавился в стену, слышал ее горячее дыхание, волосы шекотали...

Изогнувшись под одеялом, она скользнула к нему, обняла горячими руками и прошептала срывающимся хриплым шепотом:

— Котик, ну что же ты, я так искучилась...

«Господи Иисусе, помилуй меня...» — стукнуло сердце Льва Ильича, останавливаясь от ужаса.

— Ты что, ополоумела?..— услышал он бешеный свистящий шепот и не сразу узнал Костю.— Ты куда?..

— Ох! — сдавленно выдохнула женщина, разжала руки, выскользнула из постели, шлепнув босыми ногами...

Он видел в темноте смутные фигуры: ее — в белой до пят рубашке, и Костю — в трусах, с черной волосатой грудью. Костя схватил ее за волосы, а она, уткнувшись ему в плечо, тряслась от смеха.

Потом Костя оторвался от нее, подошел к матрасу, на котором лежал Лев Ильич, и наклонился. Лев Ильич прикрыл глаза и сквозь ресницы смотрел в смутно-видневшееся лицо с напряженными, беженными глазами.

— Спит, — прошептал Костя, разогнувшись. — Я б тебя убил, дура. Идем отсюда.

Они вышли, исчезнув в темноте коридора. Дверь скрипнула и закрылась.

Лев Ильич не двигался и ни о чем не думал. Холодный пот на лице высыхал в духоте комнаты. Он нащупал в темноте пиджак, висевший рядом на стуле, нашарил коробок и чиркнул спичкой, поднес огонек к часам на руке. Была половина второго.

## 12

Лев Ильич ходил по переулку мимо церковной ограды. Дойдет до угла — и обратно. Он пришел к началу службы, видел, как люди проходили в калитку, торопливо крестились на надвратную икону, и не только старушки — молодые мужики, бородачи-интеллигенты, девочки, чуть постарше его Нади, в брючках, без платков...

Проще всего было б, конечно, войти... Нет, не мог Лев Ильич, свыше его сил, прежде здесь, за оградой справиться с собой...

Он кое-как промаялся ночь, под утро снова скрипнула дверь, Костя подошел к нему, постоял, наклонился; улегся возле стеночки, повозился и заснул. Он выждал, пока рассвело, захватил со стула одежду, ботинки, в коридоре оделся и тихонько прикрыл дверь. Он боялся, вот-вот вернется сосед, включит аппаратуру, весь дом проснется, а видеть их вместе или поврозь было слишком тягостно.

Обидится, надо бы записку оставить? Едва ли, не такой человек. «А какой?» — спросил себя Лев Ильич. Нет, не о нем думать, с собой бы разобраться...

Прошел милиционер, покосился на Льва Ильича. Он стоял, глядя на пробежавших к храму людей, обедня началась.

Вышел мужик на деревянной ноге, прикрыл калиточку, вытащил из кармана молоток, подправил петлю, поглядел на Льва Ильича. Наверно, сторож.

Лев Ильич перешел переулок.

— Скажите, отец Кирилл Суханов служит сегодня?

Тот не ответил, приладил петлю, подергал калитку туда-сюда, закрыл ее и только тогда поднял на Льва Ильича прищуренные глаза под тяжелыми бровями:

— А вам на что?

Он был в солдатской ушанке, засаленная гимнастерка под телогрейкой открывала жилистую стариковскую шею.

— Повидаться нужно...

— Видайся, с кем тебе нужно, а здесь служба, нечего стоять... — мужик шагнул за калитку, закрыл и застучал колотушкой к церкви.

Лев Ильич подумал, перешел на другую сторону и снова принялся ходить по переулку. Он твердо решил дождаться, другого выхода у него не было, а идти к нему домой, как в храм, не мог он себе этого позволить.

Он курил одну сигарету за другой, голова плыла, его подташнивало, хорошо хоть ветра не было, снега, с утра подмерзло, а сейчас потихоньку подтаивало...

Он старался ни о чем не думать, боялся, мало ли куда его потянет, есть сейчас дело — ждать, вот и жди, велик подвиг погулять по переулочку — следовало бы камень на шею повесить, с ним походить. Он и ходил, старался реже глядеть на часы — время быстрей бежало. А куда спешить — не в редакцию, не к Любе, да и Машу следовало оставить в покое...

«А может, в редакцию...» — шевельнулась мысль. Никто его не выгонял, без месткома невозможно, все, что Крон наговорил, — две копейки цена, смолчать раз-другой — и обойдется. Закрыться в «тихой комнате», за два дня написать очерк. Материал в портфеле. Почему не написать о трагедии несчастной стерляди, которой никак не удастся попасть на стол и в магазины? О том, как загадили Волгу, испакостили нерестилища, залили Каспий нефтью, а где ей гулять?.. И он вспомнил Красноводск, по которому три недели назад ходил со своим блокнотиком, беседы с молодой ихтиологиней, гневные тирады против браконьеров в местных газетах, запустение и развал на промыслах; гигантских осетров, стоящих на зимовальных ямах, — а их нефтью, а их баржами! И роскошные ужины с черной икрой, осетриной, воблой, которые ему — столичному корреспонденту, устраивало райкомовское на-

альство. «Диалектика,— сказал, подвыпив, секретарь,— они браконьеры, а мы — пасаем природу...» А можно и в историческом плане: какая это удивительная ревность, реликт — стерлядь и осетр, как Русь в княжеские времена ими славилась, так ее готовили да подавали, разводили, не дожидаясь милостей от природы, как благодаря искусственному разведению удалось сохранить стадо чудо-рыбы — вопреки, так сказать, объективным условиям и обстоятельствам... Вроде элегии в историческом аспекте. А через десять дней зарплата, а через месяц-другой за элегию — гонорар... «Вот видите,— скажет Виктор Романович, главный редактор,— хорошо потрудились, бывают в нашем деле промахи, настроения, дело творческое...» Как-нибудь и на уху пригласит, у него, как и в райкоме, небось и осетры плавают да и икра водится — диалектика...

«Господи Иисусе Христе,— прошептал Лев Ильич запекшимися губами,— Сыне Божий, помилуй меня грешного, спаси и защити... Прости меня ради Христа...»

И тут увидел отца Кирилла. Тот подходил к калитке, народ давно шел из церкви, оборачиваясь и крестясь на икону, а он глядел и не видел... Отец Кирилл в шляпе, с портфелем, за ним хромал мужик на деревянной ноге...

Лев Ильич кинулся через проулочек.

Над ухом взвизгнули тормоза, громыкнула машина, ее развернуло, он бегло глянул на огромный грузовик, высунувшийся шофер с сигаретой в зубах блеснул на него яростными глазами, выплюнул сигарету и рванул с места.

Отец Кирилл оторопело смотрел через калитку.

— Отец Кирилл...— бормотнул Лев Ильич, подходя и берясь за ограду.

— Что вы, милый, разве можно так...— сокрушенно сказал отец Кирилл, торопливо проходя в калитку. Он покраснел от волнения.

Лев Ильич шагнул к нему, тот поднял было руку, готовясь благословить, Лев Ильич отшатнулся. Отец Кирилл опустил руку.

— Разве так ходят по Москве?— сказал он.— Вы были на службе? Народу много, я не разглядел...

— Я с вами должен, если у вас время. Я не могу на службу...

Отец Кирилл молча смотрел на него. Потом вздохнул и взял Льва Ильича за локоть.

— Пойдемте... погуляем. Я люблю пешком, а сегодня погода...

Они вышли на улицу.

— Мне сегодня померещилось...— сказал Лев Ильич.— Стал вспоминать, кто меня привел к крещению, и что потом, и по сей день... Я не сравниваю себя с теми, кому, может, и есть на чем споткнуться, кто благочестив, добр... Но зачем меня испытывать — праведник я, что ли? Верно тот в моем бреду сказал: он, мол, и так в наших руках...

— Вон вы до чего добрались.

— Добрался. Стою против церкви, всю службу отгулял, а зайти боюсь.

— Куда же вам, если не в храм. К Кому...

Лев Ильич молчал.

— Похоронили Алексей Михайловича,— сказал отец Кирилл.— Напророчил, что не переживет поста.

— Я вчера был у Маши.

— Были? — остро глянул на него из-под шляпы отец Кирилл.— Спокойно умер. У всех просил прощения. Вас вспомнил, велел кланяться. Не забуду, говорит, как он смотрел на картину...

— Видите, как,— сказал Лев Ильич,— а я на похороны не пошел, хотя знал...

— Сейчас поеду к Ларисе Алексеевне. Вот кому трудно. Вчера возбуждение, люди. И сегодня. А вот через неделю... Давайте как-нибудь вместе заглянем, она одинокий человек. Ну Господь милостив...

Они уже шли по бульвару, мимо пустых скамеек.

— Посидим,— предложил отец Кирилл,— вы, я гляжу, бледный — нехорошо?

У Льва Ильича кружилась голова, ноги дрожали. «Перекурим»,— решил он.

— Я вижу, Лев Ильич, как вам тяжело,— говорил отец Кирилл.— В вас вы прежний умираете, стремительно, быстро — отсюда болезненность. Я запомню ваше лицо, когда вы выскочили ко мне из-под колес... Дай вам Бог силы. Трудно, что говорить: тебе предстоит победить мир, а ты всего лишь человек... У Иакова сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убий»; посему если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона...»

Страшные слова, а для современного слуха вовсе несообразные — невозможно понять равенство перед Божиим судом убийцы и прелюбодея.

— Я об этом... — опустил голову Лев Ильич, — не знаю, как для других, а я и есть убийца.

Отец Кирилл помолчал.

— Мы с вами говорили, помнится... — сказал он. — Удивительно, что, думая о наказании за собственную слабость, человек приходит в такой ужас, что уже добровольно идет навстречу греху. Очень по-русски, между прочим: а, все равно, мол пропадать. Где ж радость спасения, понимание, что произошло с Петром-апостолом, с разбойником, с блудницей, с блудным сыном? Как не надеяться на доброту и любовь Того, Кто и есть Любовь и Доброта? Все дело в искренности раскаяния, в готовности осудить себя последним судом — кто тогда отнимет у вас надежду?..

Отец Кирилл неожиданно, как в прошлый раз, широко, по-мальчишески улыбнулся.

— Есть такая история — не история, а место в сочинениях Паскаля, знаменитое пари с человеком, не желавшим, не способным поверить в Бога, — с атеистом... Паскаль утверждает, что Бог есть, оппонент отрицает. Я смысл пересказываю. Условия такие: оппонент в течение трех, скажем, лет будет жить христианской жизнью и в конце срока несомненно уверует. Если это произойдет, он в своем проигрыше выигрывает все. В противном случае он ничего не теряет, ибо остается при своих. Если бы вы имели в виду выиграть три жизни, говорит Паскаль, а шанс был бы один из ста — и то стоило бы рискнуть, иначе просто глупо, пусть выигрыш сомнителен. А тут выигрыш равен не трем жизням — вечности! Что вы при этом потеряете? Эти три года вы будете верны, честны, смиренны, признательны, благотворительны, искренни, будете бескорыстным другом... Правда, лишитесь всего, что дает зачумленный мир на своем пиру: наслаждений, суеты, славы, удовольствий, но взамен будут иные — высшие. И за это время поймете такую несомненность выигрыша, такое ничтожество в том, чем рискуете, что не сможете не признать, что держали пари против несомненного, не жертвуя ничем. А я, говорит Паскаль, буду молиться за вас перед Богом, и вам поможет Его сила.

— Изящно, — улыбнулся и Лев Ильич, ему стало легче, вчерашний ужас сползал с него. — От ума, конечно, не от сердца, но...

— Разумеется! Но представьте, как однажды, доведенный до отчаяния бесплодными дискуссиями о бытии Божиим с кем-нибудь из друзей — и это после Возрождения, — человек осознал себя венцом творения: все знает и все может! — он и заключил такое пари, как акт отчаяния — пусть не в сердце, но все-таки пробиться...

— А я вспомнил другое пари, дискуссию, не знаю, по какой ассоциации, — улыбался Лев Ильич; они шли по бульвару, у него тихонько плыла голова, спасибо ноги не дрожали. — Безумный спор, кончившийся сражением Дон Кихота с цирюльником по поводу принадлежавшего тому бритвенного тазу, Дон Кихот назвал его шлемом Мамбрина. А вокруг люди — одни посвящены в безумие Дон Кихота, подзуживают его для развлечения и издевательства; другие не посвящены, и вся ситуация представляется им невероятной: разумные, почтенные люди несут явную околесицу... Дон Кихот как человек добрый делает попытку разъяснить. Дело в том, говорит он, что все они находятся в заколдованном замке, и местные чародеи творят с ними всякого рода несообразности, на один и тот же предмет они смотрят по-разному, и что для него шлем Мамбрина, для них бритвенный таз... Не по тем ли причинам, отец Кирилл, в нашем современном, явно заколдованном мире то, что для одних реально, для других безумие и об истине нельзя договориться? Едва ли поможет и пари Паскаля — в истину нужно поверить. Но если поверишь, сколько бы тебя по тазу ни долбили, пусть голову проломают — для меня все равно шлем Мамбрина!

— Да, — сказал отец Кирилл, — но тут враг и дожидается, подбрасывает человеку детский вопрос: так все-таки таз или шлем?

— Вот видите! Как бережешься?..

— Трудно. Слова эти безумны в мире... Держитесь, не мы выбрали путь — Он нас нашел. А устоять в добродетели зависит не от нас — от благодати Божией...

Они подошли к метро в конце бульвара. Было людно, их толкали, не поговоришь.

— Мне надо ехать, — сказал отец Кирилл. — Лариса Алексеевна одна.

Лев Ильич стянул кепку. Его толкнули сзади, на них оглядывались, он ни на кого не обращал внимания.

— Благословите, батюшка, мне очень нужно.

Отец Кирилл благословил его, Лев Ильич поцеловал ему руку, они трижды поцеловались.

Отец Кирилл обернулся в дверях метро.

— К Маше непременно приходите! — крикнул он.

Лев Ильич стоял, забыв в кулаке кепку, потом повернулся и, широко шагая, двинулся куда глаза глядят. Хорошо ему стало, легко — море по колено, только голова плыла, кружилась... «Нашел...» — шепнуло в нем что-то.

Он сбегал со ступенек на мостовую, поскользнулся на подтаявшей наледи, нелепо взмахнул рукой с зажатым в ней портфелем, попытался удержаться и, чувствуя, что падает неловко, нехорошо, грохнулся во весь рост, навзничь, прямо навстречу летящему на него, закрывшему весь свет троллейбусу.

Дикая боль обожгла его, он и не слышал, крикнул он или нет. Для него все исчезло.

### 13

Комната была маленькой, узкой, в одно окно. У белой, тускло отсвечивающей маслом стены стоял стул, а больше глазу не на чем было остановиться. В приоткрытую дверь доносились голоса, слов не разобрать — под окном выла машина; в открытую форточку несло выхлопными газами, это, видно, и привело его в чувство...

В голове позванивало, потрескивало; медленно, лениво Лев Ильич пытался понять: белые масляные стены, узкая комната, он на чем-то высокоом, жестком...

Он оперся руками и сел. Резануло в левой руке, он схватился за нее правой — и все вспомнил.

Он снова лег и закрыл глаза. Пожалуй, так было хуже: в голове поплыло, как тогда, перед тем как упасть.

Значит, в больнице, добегался. Жив, слава Тебе, Господи. И вроде цел.

Он открыл глаза, шевельнул одной ногой, другой, поднял ноющую руку, заставил себя ее согнуть, еще раз ощупал. Болело в локте. Локоть был и так больной, ушибленный. Тоже пижонство подвело. Первый раз они были с Любой у моря (оставили годовалую Надю) втроем, с Иваном, — фантастическая была жизнь; ночью пили, а утром Лев Ильич вспоминал, взвешивая, раскладывая сказанное, примысленное... Шторм гремел всю ночь, с утра толпились на набережной, широкого пляжа внизу как не бывало, грязная, вспенившаяся на вершине волна выползала из моря, с нарастающим скрежетом катилась к берегу, быстрее, быстрее, а потом с пушечным грохотом разбивалась и уползала обратно, тащила огромные валуны, слизывала гальку, а навстречу ей шла новая, — и так бесконечно, как чудовищная машина, которую не остановить... Ветра уже не было, высоко работал верховой, рваные ключья туч, такие ж серые, как море, исчезали за горами, проглядывало, словно запорошенное пылью, солнце; и все это вместе — безветрие, грохот прибора и разорванные ключья туч, так похоже было на то, что происходило не таким уж ранним похмельным утром в смятенной душе Льва Ильича, что он глянул разок-другой на бледную, в темных полукружьях под глазами Любу, на спокойного, как всегда, молчаливого Ивана, перемахнул парапет, у самой стеночки скинул брюки, рубашку и, позабыв на руке часы, шагнул навстречу волне, показавшейся снизу гигантской, как безглазая стена высоченного дома.

Стоял такой грохот, что он не услышал крика Любы, он только подхлестнул бы его. Он пробежал несколько шагов по скрипевшей, ползшей под ногами гальке, и, когда мутная, бешено вращавшаяся стена зависла над головой, нырнул в нее, вытянув руки, стремясь уйти поглубже, проскочить мелькавшие у глаз здоровенные камни.

Он не рассчитал, опоздал на какое-то мгновение, не успел пронырнуть, его как щепку несколько раз крутануло и выбросило назад, к парапету, где он, оглохший, ослепший, дрожащими руками вцепился в землю, в камни, изо всех сил удерживаясь, не давая утащить себя обратно вместе с гремевшей галькой. И так, перебежками, то прижимаясь к стене, то проскакивая, когда волна откатывалась, захватив мокрые, грязные тряпки, он с позором бежал от серого, безглазого чудища, в стороне от пляжа кое-как оделся и только тут заметил, как болит распухший, вздувшийся локоть на левой руке.

Он и сейчас вздулся; долгая история, вспомнил Лев Ильич, недели две, как бы не месяц будет о себе напоминать.

Машина под окном, пронзительно взвыв, смолкла, и в наступившей тишине он отчетливо услышал слова за дверью: «...без сознания. Сейчас придет врач, еще не смотрели...»

Он, стало быть, без сознания. А от чего потерял сознание, от боли? А почему тогда, под водой, не потерял? Или молод был, водичкой sprыснуло? «Сейчас бы пива холодного... — подумал он и усмехнулся. — Еще о благочестии размышляю!..» Какое благочестие, когда он до т а к о г о, как сказал отец Кирилл, добрался. «До какого — т а к о г о?» Вот о чем он его позабыл спросить, а верней, тот сам его спросил, а он не ответил, испугался, а надо это бы выяснить. Было с ним все-таки это — или бред, его слабость, грех, оборачивающийся страшной реальностью?..

Он вздрогнул и сел на жесткой койке, прижав здоровую руку к груди, — ясно, отчетливо услышал вместе со стуком распахнувшейся где-то двери голос, крик, не узнать его он никак бы не мог...

«Здесь у вас Гольцев?!»

«Потише, видите, я занята...»

«Вера? — ударил Льва Ильича тот же голос. — А вы почему здесь?»

«Здравствуйте, Люба, я... Даже не знаю, как объяснить... Мне позвонили... Я должна была... да и сейчас не могу тут сидеть...»

Лев Ильич в ужасе опустил на койку и закрыл глаза: какой ему еще реальности, мало доказательств?.. А в уши лезли и лезли голоса из-за неплотно прикрытой двери.

«Ах, вот оно что?.. У меня мелькнуло что-то такое, откуда, думаю, Эппель взялась, вот он, ларчик...»

«Погодите, Люба, вы не о том говорите, я... уезжаю...»

«В чем дело, женщины? — раздался новый голос за дверью. — Что вы тут делаете? Что за базар у тебя, Лиза?..»

«Это к тому, которого сейчас привезли, никак в себя не придет...»

За окном взвыла, заверещала машина, все потонуло в грохоте, и Лев Ильич с облегчением вдохнул сизый дымок, потянувшийся в форточку, — может, опять примерещилось?

Открылась дверь, и вошла женщина в белом халате.

— А говорят, без сознания, гвалт на всю больницу... — грубовато сказала она, подходя к Льву Ильичу. — Что молчите, что с вами?

Лев Ильич не ответил, он и про руку позабыл, холодный пот бежал по спине: «Слава Тебе, Господи, врач, больница — не Страшный Суд...»

Женщина шагнула к окну и захлопнула форточку.

— Тут и мертвого подымут, не только... — она обернулась к Льву Ильичу, села возле него и взяла его за руку.

Лев Ильич поморщился.

— Локоть зашиб, ничего страшного, извините. Он у меня больной.

— Извините-не извините, попали к нам. Раздеться можете?

— Не нужно, доктор, я сейчас встану, пойду.

— Ну-ка сядьте.

Лев Ильич сел, чувствуя, как плывет голова.

— Голова кружится?

— Нет, — соврал он. — Зашиб руку, потерял сознание от боли.

— От руки сознание не теряют. Разденьтесь... до пояса, — она встала и отошла к окну.

Лев Ильич спустил ноги, неудобно было, не койка — каталка. Встал, покачнулся, снял пальто, пиджак, с трудом, закусив губу, стянул свитер, рубашку.

Женщина подошла, ощупала локоть. Пальцы у нее неожиданно оказались мягкими, бережными.

— Очень больно?

— Ерунда, — улыбнулся Лев Ильич. — А как вы дотронулись, совсем прошло.

— Ишь какой, — женщина посмотрела ему в глаза, — что же мне, так теперь вас и трогать? Видно, есть кому, — она кивнула на дверь и хохотнула, приоткрыв жирно намазанные толстые губы. — А еще крест нацепил. — Она вытащила из кармана халата стетоскоп. — Кружится голова?

— Нет, — упорствовал Лев Ильич.

— Что ж краснеете?.. Нет так нет... А Бог-то, видать, есть, если под колесом лежали, а всего лишь локоть зашибли. Как он троллейбус остановил... Где еще болит? Лев Ильич пожал плечами.

— Ноги, голова?..

— Перекурим, — вспомнил Лев Ильич, — голова кружилась.

— Давайте давление измерим... Пили вчера?

— Да, — сказал Лев Ильич, — а сегодня с утра ничего не ел. Даже чаю не выпил.

— Поститесь, как моя мать — так она не пьет и не курит... Давление почти в норме... В приемном покое редко такого мужика встретишь. Или в пост нельзя?

Лев Ильич не нашелся ответить.

— Оденьтесь и полежите полчаса, пусть забирают. Больше не шалите. Бог-то, может, и есть, но тоже шалунов не жалует.

— Спасибо, доктор...

— Мне-то за что? Вы бы водителя поблагодарили, если б не он, никакой бы вам Бог не помог. Ложитесь...

Она вышла, оставив дверь притворенной.

«Кто здесь за больным?..— услышал Лев Ильич ее голос.— Обе? Еще бы... Вы кто ему будете?»

За дверью молчали.

«Отказываетесь, что ли? Только что базар был, а теперь язык проглотили...»

«Что с ним?» — услышал Лев Ильич голос Любы.

«Вспомнили. Ничего страшного. Локоток зашиб. Головка закружилась. Пусть полежит полчаса — забирайте. Кормить его надо с утра, чтоб голодный не бегал — не мальчик. А то кто-нибудь подберет. Такие не валяются. Я бы на вашем месте... А это что?»

«Его документы, из кармана вытащили. И записная книжка. Я по ней позвонила — телефону сверху. А в паспорте штамп — он в редакции работает, туда тоже...»

«Запишите, Лиза, а я потом... Можете зайти, только по одной, а то, видать, впечатлительный...»

Стукнула дверь, она, наверно, вышла. Зазвонил телефон.

«Приемный... Где?.. В поликлинике? Бегу, пусть подождет... Что ж сразу не позвонила?.. Полчаса ждет?.. Скажи, бегу, бегу...»

Еще раз стукнула дверь. Лев Ильич слушал установившуюся тишину, да и машина утихомирилась...

«Мне за мою жизнь больше всего надоела... темнота,— услышал он Любу.— Как вы сюда попали?»

«Вам же сказали — открыли книжку, вон на столе, позвонили».

«А в книжку как? Или там один телефон?.. Мне уже из редакции сообщили... Зачем я спрашиваю, какое мое дело? По привычке, семнадцать лет привыкала, не сразу отвыкнешь. Теперь вы привыкайте, вон как аттестуют, не валяются, говорит. Слава Богу, подобрали, душа не болит».

«Выслушайте меня, Люба, я уезжаю... Я случайно здесь».

«Много случайностей. Поменьше правдоподобней было б. Незачем мне голову морочить... А я по глупости с ним поделилась, Вера, мол, Лепендина не дождалась, пока поздно будет, загодя рассчиталась с мужем. Действительно дура: ума палата — ключ потерял... А ваш не такой же? Все из одного теста, нагладелась на наших мужиков, этой-то, может, в новинку... Ладно, еще отговорю, не дай Бог. Подобрали, пользуйтесь на здоровье. Вы еще ничего из себя, лет на десять меня помоложе, продержитесь. А там и вы ему, коль силы будут, не все заберет, ручкой сделаете. Только чтоб меня не вспомнил, да уж тогда что...»

«Послушайте, Люба, я понимаю, вы нервничаете. Мы действительно встретились со Львом Ильичом в поезде, еще где-то два-три раза наши пути пересеклись, но вы напрасно, у меня и в мыслях, и планы совсем другие...»

«Что это вы, голубушка, избавьте меня — не мыслями ли, не планами со мной собираетесь делиться, давайте без откровенностей, на что мне?.. Только планы планами, а не об одной же себе думать. Он у меня за семнадцать лет ни разу под колесо не кидался, да и без чая утром не отпускала... Ну что я говорю-то, Господи! — крикнула она.— Не слушайте меня, забудьте! Я радоваться должна, он, значит, правда вас любит, не любил бы, не случилось, у нас всякое бывало, но для него дом — я, Надя — всегда первое. То, другое, но я-то знала, чувствовала, что мы для него. Если он, такой, как есть, с тем, что в нем, да чтоб ему решиться...»

«Люба! — крикнула Вера, и там загремел стул.— Не нужен он мне, ваш Лев Ильич, уезжаю я, вы не слышите меня? Совсем уезжаю, с мужем, с Колей Лепендиным, навсегда...»

Там стало тихо.

«...Я вам не Люба,— зазвенел Любин голос,— а Любовь Дмитриевна...»

«Мне сейчас за визой,— перебила Вера,— ну что вы в самом деле, зачем это мне?..»



«Вот, значит, как...— медленно сказала Люба,— вот, стало быть, отчего он... в ровном месте, под колесо... У него любовь, а вы и ждать не захотели? Я вам, а вы. Недооценила... Напакостили и бежите...»

«Встать, что ли,— лихорадочно соображал Лев Ильич,— это уже невозможно... Пожалуй, слишком театральным было б его появление, а ему не до эффектов. И голова звенит еще пуще...»

«Да разве можно с ним так? — звенел Любин голос.— Как вы могли? Я-то ладно во всем виновата, у нас с самого начала не жизнь — насмерть, кто кого... Да если можно было исправить... Нет уже меня, понимаете — нет! Но вы-то что?.. Конечно Коля пошкарней, вон что вам нужно, быстренько сориентировались, распознали.. Да ты... ты — шлюха, а я-то тут...»

«Вы меня, Любовь Дмитриевна, от откровенностей останавливали, а сами таким делитесь — мне тоже ни к чему. Не знаю, за что у вас шло сражение семнадцать лет чего не поделили — дочь вырастили, что еще? А ежели так страдаете, найдете выход. Наверно, не так там было, когда он за чужие юбки цеплялся. А со мной все. Я все перечеркнула, все забыла. Нет меня тут больше. И совсем меня нет, не так, как вас, у вас вон еще сколько сил, страсть какая! А я мертвая, понятно вам? Живой была бы, отсюда не уехала. Мертвые не бегают, ошибаетесь — они... Помирать все равно где. И от него бы не отказалась, если б была живой. Неправда, что Лепендин... это не так — не вам понять».

«Господи! — крикнула Люба.— Какой же он несчастный, бедный, бедный Лев Ильич!..»

И дверь хлопнула.

Лев Ильич лежал с закрытыми глазами: «Теперь все, что ли?..» Потом услышал, как быстро, срываясь, набрали номер телефона.

«Коля?..— услышал он.— Это я... Понимаешь... Когда сейчас?.. Жив-здоров. У него случайно в записной книжке оказался наш телефон... Не знаю, почему именно нам. Кому-то надо было позвонить... Любе?.. Нет-нет, не звони, ее нет... Я звонила. Его надо увезти отсюда... Ну да, действительно, почему мы должны заниматься... Но раз я здесь... Погоди, а завтра нельзя?.. Ну хорошо, что ты злишься! Паспорт мой у тебя?.. И билеты обязательно сегодня?.. Конечно, лучше завтра, что за истерика. Значит, завтра?.. Ну не кричи, еду, еду. Значит, где?.. На углу возле сберкассы?.. Не опоздаю...»

Брякнула трубка, и сразу открылась дверь. Она, наверно, подошла к нему, наклонилась, он слышал ее дыхание, боялся приоткрыть глаза, не задрожали б ресницы...

— Прощай, Лев Ильич,— прошептала Вера,— теперь навсегда. Ты знаешь, все не так. Ты знаешь меня, ты мне веришь... поверь всему. Прости меня...

Стукнула одна дверь, вторая, в ушах звенело от тишины.

Он полежал еще несколько минут, медленно приподнялся, сполз с каталки, с трудом натянул свитер, пиджак, захватил пальто, портфель и открыл дверь. В соседней комнате никого не было, отодвинутые от стены, как живые, стулья — вот здесь они только что сидели.

На столе возле телефона лежала его записная книжка и паспорт. Он раскрыл — паспорт был действительно его.

Он сунул в карман книжку, паспорт и открыл дверь в коридор.

## 14

Он дошел только до угла, надо было переходить улицу, а тут конец рабочего дня, безумные машины, толчея на мостовой, рев, он приостановился, дрожали ноги.

«Напугали, теперь до смерти по одной стороне буду ходить?..— он нашарил сигареты, спички.— Ну раз могу курить...»

Его обдуло ветерком, он с трудом прикурил, морщась от боли в локте, поставил у ног портфель — и загляделся в небо, привалившись к стене дома, прямо на углу. Солнце садилось, не видное отсюда, за домами, а небо розовело сквозь дымку. За город ему захотелось: чтоб деревья росли свободно, не в асфальте, чтоб мокрая земля, оживающая на глазах, зелень неведомо откуда, чтоб пахнуло прошлогодней прелой хвоей, потянуло дымком... Сколько еще прекрасного на свете! Раз остался жив, надо жить.

Он смотрел через улицу. Движение перекрыли, толпа сгрудившихся машин будто топталась на месте, ждала своей минуты, а там, на том берегу широкой, как река, улицы, девушка сбегала с тротуара и кинулась, не глядя, без пешеходной дорожки: тоненькая, длинноногая, в растегнутом дешевеньком кожаном пальтишке, козынку

нее с головы смахнуло ветром, она подхватила ее на лету, ближе, ближе, — как в последний раз бежала.

— Папочка! — закричала она. — Папочка-а!..

Лев Ильич оторвался от стены и бросился ей навстречу.

Они сошлись посреди мостовой, ближе к его краю. Он схватил ее, обнял, чувствуя за губах ее соленые слезы, гладил волосы и все не верил — она, его Надя!

Вокруг уже рычали, объезжали их, машины, толкотня, грохот, он ничего не замечал, кроме ее мокрых глаз — ему ничего больше и не надо было.

Они так и простояли обнявшись, пока снова стихло, выбрались на тротуар и двинулись было — он все ее обнимал...

— Портфель! — засмеялся Лев Ильич.

И портфель валялся на углу у стеночки, как он его оставил...

## 15

На этот раз он был осмотрительнее, а может, просто опытней: не ткнулся на первую попадающую скамейку, на самом виду, на ходу, на первое бросившееся в глаза место, которое потом ночью пришлось уступить старику с мешком, провонявшим рыбой, он прошел подалее, походил между рядами скамеек, на которых сидели, лежали люди, с бесконечным тупым ожиданием глядевшие на него и его не видевшие. Так тут было и год, и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Так, наверно, было и пятьдесят лет тому, когда он не мог этого видеть. Россия-то была не на новых, возникших на залитых асфальтом костях особнячков, проспектах, где разгуливали сейчас по-весеннему яркие, длинноволосые франты, останавливались сверкавшие черным лаком машины, а из них, воровски озираясь, выпрыгивали краснорожие, с бегаящими белыми глазами, торопливо проходили в высокие подъезды одинаковых домов, таких же, как их машины, шляпы, костюмы, рубашки, галстуки, исподнее... Наверно, и это было не совсем так, там тоже бьется сердце, под выданным со склада исподним; а о чем плачет ночами душа, когда тело под казенным ли, пуховым одеялом сотрясают судороги корыстных, честолюбивых или плотских страстей, увлажняется трусливым потом... «Душа-то все равно христианка», — сказал ему отец Кирилл.

Все это была Россия. И не проклинать ее следовало, подыскивая клокоцущие звонкие рифмы, призывая мор, глад и холод, зная, что современная рифма оплачивается звонкой монетой, а чем громче проклинаешь, холодеет от собственной смелости, тем больше получишь, коль останешься цел, а там — пройдай и будь ты проклята! И уже не жалкие проспекты — провинциальные в напыщенном стремлении быть похожими на то, что бесконечно клеймят в газетах, развешанных на тех же проспектах, не доморощенные, трогательные в провинциальной безвкусице франты — курносые и конопатые, как в маскараде, с жиденькими волосенками на пестрых плечах... Всегда тут так было, еще с Петра, с Алексея Михайловича и раньше — с Иванов, тот же жалкий маскарад. Но разве в нем была Россия, а не в том, что билось и мучилось под цветными заморскими тряпками?..

«Где ж она все-таки, Россия, что она такое, не миф ли она действительно...»

Лев Ильич уселся в уголке, хорошее было местечко, рядом бабка бодро сидела, обхватив руками деревянный чемодан с замочком, недреманно смотрела перед собой, а напротив солдатик жевал булку, закусывал вареной колбасой, от куска отрывая молодыми звонкими зубами, запивал лимонадом из бутылки... И Льву Ильичу стало хорошо — ничего ему больше не надо. «Да уж привык...» — подумал он рассеянно.

Теперь со все не утихавшим в нем изумлением он думал о Наде. Почему она с таким упорством об этом спрашивала? Что он мог ответить — да и разве в ответе дело, а не в том, что он непонятно как вызрел в ней, зазелен, что она задалась им, ничего о том не умея понять. А ведь и ему давно б тем вопросом задаться...

Он проводил Надю до дому, бережно держа за руку, поймав себя на счастливой робости перед ней. Вот в чем надежда — в том, что они выросли другими, легко перешагнув засасывающую, чавкающую под ногами грязь, в чем он столько лет барахтался, да и едва ли отмоется. Как не бывало! Будто открылся родник, источник, размыл плотину, просочилась окрашенная забытой, живой кровью живая вода, хлынула на истосковавшуюся, жаждущую, ждущую влаги землю...

Снова, как в прошлый раз, в дальнем углу зала ожидания, уставленного рядами скамей, взвыла машина, но сегодня она была подалее — вот он, опыт! — спать не мешала. Но ему не спалось: он искал разгадку, он должен был ответить Наде, он ушел от ее вопроса, она и не заметила, отвлеклась, а с самим собой от ответа было не уйти.

Он поднял голову. Старушка рядом спала, навалившись на чемодан, солдаты открыв рот, откинувшись на спинку скамьи, фуражка валялась на полу, он что-то бормотал, не открывая глаз, не разобрать было — команды, что ли, сам себе подавал Лев Ильич уселся плотнее, поудобней, сунул под бок портфель, устроил половичек большую руку...

«Ты приходи, — услышал вдруг Лев Ильич. — Я всегда буду здесь, ты про то помни Любуй приходи — о том не забудь».

«Папочка! — услышал он. — Что же ты, неужто меня все еще не понял?..»

«Понял, — сказал Лев Ильич с ощущением невыразимого счастья. — Любовь ищет своего и всего надеется».

Смолкла, взвизгнув напоследок, машина, бабка рядом тихонько посасывала обхватив обеими руками чемодан, солдатик напрогив бормотнул, взмахнул рукой крикнул: «Встать!..» — и тут же дернулся, открыл глаза, поморгал, поднял с пол фуражку и спросил Льва Ильича охрипшим со сна ломким баском:

— Сызрань не объявляли?

## 16

Туалет был чистенький, ремонт, видно, только закончился, еще не запакостили, навидался Лев Ильич вокзальных туалетов. Он даже на дверь оглянулся, войдя: может, не туда его занесло, погонят? Никого нет, можно и побриться... ..

Он раскрыл портфель, вытащил чистую рубашку, пропотевшую записнул поглубже, переделал, стало полегче, да и локоть проходил, иногда только от резкого движения напоминал о себе, достал новое лезвие — «жиллет» у него был припрятан, он его берег, а сегодня захотелось. «Во все чистое, как перед концом», — мелькнуло у него. Он смутно чувствовал — день предстоит особенный, почему — не знал, ночью в бреду или во сне было додумал, но тот своей «Сызранью» помешал, перебил...

Он открыл воду — привык в командировках бриться холодной, взял пену, лезвие доставляло удовольствие, снимал с себя вместе с двухдневной щетиной какую-то пакость... И вдруг остановился с намыленной щекой.

Он себя увидел — что-то его поразило. Привык, никогда не смотрел, и бреясь — заглядишься, порежешься, да и что глядеть, не барышня, надоед за столько лет.

А тут увидел, смысл небритую щеку... Стального цвета рубашка ему шла, он ее любил, хотя старенькая, села, узковата в широких плечах, подчеркивала раннюю седину в каштановых когда-то, густых еще волосах, виски совсем стали белыми. Он откинул волосы, падавшие на высокий лоб, открыл пересекавшую его поперек морщину. Крупный нос с едва заметной горбинкой, утолщавшийся к низу, с большими ноздрями, резко очерченные губы, подбородок не тяжелый, но сейчас, когда щеки запали, казавшийся широким, четким, две складки от носа вниз... Чужое было лицо, не он, не его.

Он смотрел себе в глаза — светло-карие, с дрожащим в глубине робким удивлением перед тем, что не здесь, конечно, им открылось, не в этом зеркале в вокзальном туалете, а удивившимся чему-то в себе. Сквозь неизбежную печаль ему почудилось в них ожидание предстоящего, знание страдания, которого не избежать, удивление перед собой, открывшим это в себе, но не испугавшимся, в нем увидевшим надежду.

Вот где он был — не нос, лоб, подбородок, плечи — то чужое, случайное, а может, и нарочно надетое. «Вот он где я, — подумал Лев Ильич, — отыскался, вылутился, пророс росточек».

И он ухватил мысль, толкнувшуюся ночью в сердце, понял ее. И вздохнул, как от чего-то, чего уже не избежать...

Лев Ильич бежал по улице, размахивая портфелем, поглядывал на часы — слава Богу, стрелка перемещалась медленно, да тут все было вымерено, всю жизнь пробегал. День начинался ясным, вчера по закату определил, что будет хорошо, не ошибся. Весна, никуда не денешься, к Пасхе совсем станет тепло, сухо. Может, неловко приходиться так рано? Ловко-неловко, а когда опоздаю — ловко будет? Главное не опоздать. Да и не может быть, ему всегда везло. К тому же он четко слышал, как она сказала: «билеты з а в т р а». Ну а завтра значит сегодня — в четверг. «Сегодня я ее остановлю, — бормотал он, — я не для себя...» Вся беда, вся его путаница, жалкая неразбериха всегда были в том, что он старался для себя, искал свою выгоду, в какие бы красивые одежды она ни обряжалась. Теперь с этим конечно, он перед собой был чист, в эту ночь увидел, а там, перед зеркалом, поглядев себе в глаза, понял, что предстояло делать.

Он не думал о том, что скажет, словно его появление само по себе так должно было ее поразить — какие еще слова; а то, что она собралась, сложила вещи — даже прошало задачу: возьмет ее за руку, она ведь все время этого и ждала... Еще не поздно, не опоздал, успел, еще и билетов не взяли...

Он на мгновение приостановился, узнав знакомое место: тот же проулок круго бегал вниз... Где-то тут позавчера и была та проталина... Он глянул — снег разбросан, искромсан, да хотя бы то же самое, теперь он сам стал другим — ничего такого не надо. Все в нем, не за окном, не в доме — в себя надо глядеть.

К Косте надо было сворачивать налево, а ему направо. «И это хорошо», — мелькнуло у него. Он издали увидел дом с балконами, узнал, да, знал этот район!.. Перебежал двор, у подъезда перегородила дорогу темно-красная машина — «Жигу-ти»-фургон. «Успел, не уехали!» — как ударило его.

Он вбежал в подъезд, глянул номер на первом этаже, просчитал этажи и махнул мимо лифта на пятый этаж. «Еще застряну, — со страхом подумал он, — так понадежней». Он позвонил задыхаясь, сердце стучало, в пальто было жарко, большую руку неловко повернул, опершись о перила... Ему показалось, долго не открывали. Он позвонил еще раз, не отпускал кнопку, потом ударил кулаком — дверь медленно внутрь отворилась, пропуская его.

Коридор был ярко освещен, завален вещами, он бегло на все это глянул и обомлел: перед ним, расставив ноги в джинсах, в белой маечке, засученной на крепких руках, стоял чернокудрый красавец с бараными глазами — тот самый...

— Вот те раз, — он изумленно свистнул, — сам пожаловал?

— Коля или Вера дома? — спросил Лев Ильич, испугавшись, что все-таки опоздал.

— Кого ж вам — Колю или Веру? — не двинулся с места чернокудрый.

Лев Ильич, боясь, что теряет время, шагнул вперед, но тот поднял руку, преграждая дорогу.

— Не так быстро, чего вам здесь надо?

— Кто там? — услышал Лев Ильич мужской голос за закрытой дверью.

— Смотри, какой гость, — отозвался чернокудрый, — сам приполз, я думаю, придется искать, чтоб проститься.

Распахнулась дверь комнаты, на пороге стоял Коля Лепендин, голый до пояса, в джинсах, с веревкой в руке. «Собираются... Успел, успел», — все так же замороченно думал Лев Ильич.

— Погляди, Николай, каков Ромео...

— Здравствуй, Коля, — шагнул к нему Лев Ильич, но чернокудрый не отходил и снова поднял руку вровень с грудью Льва Ильича. — Нам нужно поговорить. Вера дома?

— Это еще об чем? — прищурился Коля. — У меня и времени нет. Мы сейчас за билетами...

— Об этом, о билетах... Вера не может, не должна уезжать.

— Чего? — захохотал чернокудрый. — Коля, ты слышишь?

Распахнулась дверь другой комнаты, выскочила Вера в черном свитерочке, в джинсах («Что это они все в джинсах, как в форме?» — успел подумать Лев Ильич), со стопкой белья, прижимая его подбородком, непричесанная, бледная, увидела Льва Ильича и отпрянула.

Чернокудрый шагнул за ней и хлопнул дверью, закрыл, заслонил ее широкой спиной.

— Чего надо? — на этот раз без шутовства, с угрозой спросил он, в бараньих глазах заплескалось бешенство.

— Послушай, Коля, — сказал Лев Ильич, — мы с тобой столько лет знакомы, но я б никогда не стал тебя отговаривать, убеждать — у каждого свое право, своя судьба, а что ты ее такой выбрал, пусть Господь тебя судит. Ты человек, как я понимаю, четкий в своих действиях... Но Вера... Ты ее лучше меня знаешь, она вся здесь, корнями, душой — наша, она пропадет, замучается, она и сейчас потерялась...

Коля слушал его в полном изумлении, механически наматывая веревку на руку.

— Ты мне поверь, — несло Льва Ильича, где уж ему было оценить нелепость ситуации, — никакой моей корысти или расчета. То есть, конечно, если бы Вера захотела, я буду счастлив, ты можешь быть уверен, я умру здесь ради нее, все сделаю, чтоб ей быть счастливой. Но она будет дома, отгадет, успокоится, найдет себя, ты не только о себе, о ней подумай — ну куда она, такая до ногтей русская — куда ей ехать?

— Ты что... сбрендил? — хрипло выдохнул Коля Лепендин. — Откуда тебе знать про ее... ногти?

— Да и мальчика,— спешил Лев Ильич, совсем обезумев,— разве можно «лишать родины? Знаешь, я наглядился на молодых — куда нам, наше дело, вери уезжать да пропадать, если не... Нет, не так, но в них вся надежда, в них Росс очнется — разве можно мальчика? Здесь каждый на счету, и он тебе не простит, к вырастет...

— Что?! — крикнул Коля.— Какого мальчика? Андрюшку моего?.. Саша, слышишь? — теперь он так же изумленно спрашивал чернокудрого.

— Я-то слышу, я не пойму, зачем тебе это слушать.

— Понимаешь, Коля, это как над пропастью...— продолжал Лев Ильич, смутн начиная понимать, что делает что-то не то, а кроме того, это глупо и бессмысленн но уже и остановиться не мог.— Она, может, ждет, чтоб ей протянули руку, падае понимаешь, падает и...

За спиной чернокудрого раскрылась дверь, он невольно сделал шаг назад, и пс его рукой проскочил мальчишка — белобрысый, с глазами, как у Веры, с косинко.

— Здавайтесь...— сказал он, не выговаривая «р».— Папа, ну газгеши, я возьм атлас СССР и наши сказки? Мама говогит, их там не найти...

Чернокудрый поймал его за воротник, отшвырнул в комнату и снова захлопну дверь.

— Ты просто городской сумасшедший,— сказал Коля Лепендин,— убирайся вои Я, может, и поговорил бы с тобой, руки чешутся, да у меня время считано. Вот у номер на закуску...

Он повернулся голой спиной и пошел в комнату.

— Тебе и нельзя,— весело сказал чернокудрый,— личный момент! Все должн быть чисто. А у меня с ним разговор простой и право есть. Свое собственное. Наше Я его еще тогда, как Валерия провожали, для себя выбрал, надо память оставить, нем все сходится...— И шагнул от двери.

Лев Ильич уже опомнился, понял, что будет дальше. Такое нелепое предприяти и должно было закончиться какой-нибудь дикостью. Он и в детстве не был драчуном случалось; вынуждали, не умел драться, но когда очень становилось обидно, когд хватывало бешенство, его бывало трудно остановить, все-таки и вес был, и отчаян- ность... Но сейчас-то какая обида, на себя разве? Откуда бешенству взяться, отчаян- ности...

Он впервые всмотрелся в него, разглядел: «Саша его, что ли, зовут?» Веселая злоба играла у него в глазах. «Ишь командос...» — мелькнуло у Льва Ильича.

Снова распахнулась дверь: Вера — белая как стена, стояла на пороге, прижав руки к груди.

Лев Ильич на мгновение оторвался от Саши, краем глаза следил, ждал — не ему же первому бить. Но так и не уследил, тот и половчей был, умелый, да и сам же сказал, всерьез готовился, давно его выбрал. Он не видел руки, не ждал отсюда — тот ударил левой, резко, точно, Лев Ильич упал бы, если б не дверь, у которой стоял, медленно стал сползать, услышал, как Вера сдавленно вскрикнула, отшатнулась в комнату, захлопнула дверь, и удивился, что так и нет в нем ни обиды, ни злобы — ничего, что заставляло кидаться в драку. И тогда Саша ударил его правой.

Он, видно, на мгновение потерял сознание, потому что вдруг увидел возле себя Колю Лепендина с той же веревкой, а когда тот подошел, не заметил. «Уж не свяжут ли?» — усмехнулся он, пытаясь улыбнуться, и не смог раздвинуть разбитые губы.

— Будет, Саша, только этого нам сейчас недоставало...— сказал Коля Лепен- дин.— Он уже готов. Сбрызни его водичкой...

— Может, добавить? — спросил Саша.— Чтоб запомнил, чтоб нас вспомнил, когда его тут православными сапогами станут топтать...

— Будет,— повторил Коля, глядя на Льва Ильича все с тем же застывшим в глазах удивлением.

Саша отошел, тут же вернулся, выплеснул в лицо Льву Ильичу кружку воды, открыл дверь, приподнял его и вышвырнул обмякшее тело на лестничную площадку. Рядом с ним шлепнулся его портфель.

Дверь захлопнулась.

Лев Ильич полулежал, привалившись к бетонной стене на площадке лестницы, свесив ноги на две ступеньки. Все плыло перед глазами, а мысли были спокойные, медленно сменяли одна другую, поворачивались перед ним, он с разных сторон их

засматривал, взвешивал и только тогда отпускал. Будто он сделал свое дело, а теперь, наконец, торопиться совсем было некуда.

Значит, с этим покончено. Совсем, навсегда. Или нет? Еще хочешь попробовать? «Нет, — ответил себе Лев Ильич. — Больше не хочу». А разве только до семи раз, а не... Нет, здесь было уже семижды семьдесят... Он с трудом оторвался от стены, вытащил из кармана грязный платок, вытер лицо — платок стал красным, мокрым. Он выбрал местечко почище, приложил ко рту. «Второй раз он мог бы и не бить — это уже свинство...» Да что теперь говорить, это ты мог бы не приходить, мало было ее разговора по телефону — слышал, лежа на каталке?.. Но после того она к нему подошла, как же, когда услышал ее сдерживаемое дыхание, когда навсегда прости-лась. Ну так навсегда же, зачем не поверил?.. Нет, здесь все было кончено, и мокрый, кровью пропитанный платок тому свидетельство.

Отсюда надо уходить, подумал он, они вот-вот откроют дверь, а там мальчик. Мальчику на это совсем ни к чему смотреть — зачем напоследок... «Может, разрешат увезти сказки...» Он попытался подняться и не смог.

Пролетом выше открылась дверь.

— А машина в гараже? — услышал он женский голос.

И глухо, видно, из глубины коридора, ответил мужской:

— У подъезда. Иду, иду...

«Вон, значит, чья машина...» — зачем-то отметил Лев Ильич.

Каблочки стучали громче, ближе и замерли возле него.

— Только этого не доставало!.. До чего дошли, Петро! Полюбуйся, что тут у них!

Мало, что две ночи спать не дают, крик на весь дом, они и с утра начинают...

Лев Ильич с трудом повернул голову. Он увидел длинный кожаный сапожок на высоком каблукке, поднял голову — полная, в прозрачном чулке ножка, круглое колено...

Ножка поднялась и ткнула его острым носком в бок.

— У, мразь!.. — прошипела женщина. — Хотя бы все друг друга перебили и уматывались, дышать можно будет...

Женщина побежала вниз, Лев Ильич видел темно-зеленую замшевую спину, рассыпавшиеся по ней золотистые локоны. На следующей площадке она обернулась: на румянном лице блестели сузившиеся глазки. Она высунула язык, верхняя губка приподнялась, обнажив ровные, белые зубы, как на рекламе зубной пасты...

— Шлем Мамбрина... — пробормотал Лев Ильич, отнимая платок от разбитого рта, и сплюнул тягучую красную слюну.

Женщина выкрикнула что-то нечленораздельное и побежала вниз, отстукивая ступеньки.

Наверху щелкнула дверь, скрежетнул, поворачиваясь, ключ в замке, приближались новые шаги. Теперь Лев Ильич увидел новенький, блестящий черным лаком полуботинок, ярко-красный носок, а над ним расклепленную, в стрелочку брючину.

— Чего это с тобой, друг, в такую рань и готов?

Лев Ильич недоверчиво косился на полуботинок.

— Сказал бы чего — жив, нет?

Полуботинок постучал каблук, потом носком, появился второй, и они дружно двинулись вниз, прыгая через ступеньку; открылась широкая, светло-желтая замшевая спина.

На площадке он так же, как и она, обернулся, тоже прищурил глаза и свистнул, удивленно сложив бледные губы:

— Ну и отделали тебя, друг, не наступил ли кто ненароком?

— Во своя прииде, — сказал, с трудом разжимая губы, Лев Ильич, — и свои Его не прииша...

— Готов, — констатировала замшевая куртка, — спекся.

— Петро! — взвизгнул снизу знакомый уже Льву Ильичу голос. — Дверь на второй ключ запри, от этих... французов всего можно ждать!..

Замшевая куртка покачала головой, отвернулась от Льва Ильича и побежала вниз.

Хлопнула дверь подъезда, зафырчала машина, ему показалось, он услышал какое-то движение за дверью на площадке. Он оперся руками так, что хрустнул, по сердцу резанул большой локоть, встал, снова нагнулся — это было особенно трудно — поднять портфель, качнулся от стенки к перилам и пошел, закрывая глаза на поворотах, когда в голове все поворачивалось, обгоняя его, ступеньки вставали дыбом, и лучше на них было не смотреть.

На улице стало полегче — ветерок, свежесть, солнышко; рано еще, да и не торопился он никуда, хотя и знал: вот что самым-то главным теперь в нем было, — знал, куда путь держит.

Так он и шел: медленно, как воду, пробуя ногой тротуар. Он уже забыл с заклопнувшейся за ним двери подъезда, о лестнице, по которой с таким трудом только что спускался, закрывая глаза на поворотах, о площадке, на которой остался выплонутый им ступок его крови, о квартире, где сейчас складывали чемоданы, подбивали бабки в пустой надежде забрать с собой прожитую жизнь.

Нельзя ее забрать — вот она медленно поворачивалась перед Львом Ильичом разномастными, старыми, обшарпанными, новыми — нелепыми домами, грязными дворами, блеклым, в дымке небом. Нельзя ее перечеркнуть, забыть в себе, забить — она проросла, кровью впиталась, качает ее сердце, гоняет по телу, а иначе и ногой не двинешь. Это там можно: собрал чемодан, купил билет — и вот уже новое небо. То там, а то — здесь. А может, и ошибался Лев Ильич, это ведь общий закон — от себя не сбежишь. Конечно, не знал, что там. Да и не хотел узнавать. В нем теперь другое з н а н и е стучалось.

«За что это мне, Господи?» — услышал он в себе когда-то шевельнувшуюся в нем, не додуманную мысль. Велика ли заслуга, что у него ничего нет, разве сам он хоть от чего-то отказался? Это Господь так его любит — за что, почему, ну что он стоит! — Сам все у него забрал, где-то далеко остались и дом, и постылая работа, и друзья, и женщина, которую вздумал спасти... Если б своей волей избрал подаренную ему свободу, сам бы распрощился со своей жалкой жизнью... На это у него не хватило бы сил, а значит, и это Господь решил за него... А он все еще думает, вспоминает, перебирает — жалеет, что ль, вон какая печаль его вдруг пронзила! Что-то оставалось в нем, оно и плакало, выбаливаясь. Долгий еще путь ему предстоит, и чего только не будет на этом пути, но он уже шел, он был другим, знал, что возложивший руку на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия...

Он подумал, что всего три недели назад — нет, две недели, сегодня четверг... Значит... восемнадцать дней назад, в поезде, он, еще не сказав, понял в себе, услышал сердцевину, зернышко, луковку, а все эти дни одну за одной снимал с себя шелуху, добираясь... Добрался ли? Нет, конечно, но все ближе, ближе, и какое это счастье было осознавать, чувствовать биение, теплоту ожившего сердца, зная, что оно непременно будет нужно кому-то, что все мы кому-то еще нужны...

Он поднимался по переулочку, поглядывал вверх на выроставшую над ним белую приземистую башню. Ее венчали купола, крест горел в голубевшем сквозь дымку небе, башня занимала всю вершину бывшего здесь когда-то холма, вросла в него прочно — века стояла — не сдвинешь. На паперти никого не было. Он стянул кепку, шагнул в притвор. Две старушонки забормотали, увидев его, он выгреб из кармана мелочь, перекрестился и ступил в церковь.

Он поразился малолетству: старухи стояли, как выстроенные, на равном расстоянии одна от другой вдоль стен, парами, образуя правильную геометрическую фигуру... «Как кристалл», — радостно подумал Лев Ильич: старухи обозначали вершины, точки пересечения, он ступал по одной из граней, а все вместе это и называлось чудом гармонии.

Прямо перед собой он увидел Царские врата, наглухо, как крепом, затянутые черным воздухом; шагнул вправо к конторке, попросил свечу, не заметил, как глянула на него прислужница, и медленно пошел по проходу между старухами к Царским вратам. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, — услышал он чистый речитатив, один голос, хора вовсе не было. — Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вина...»

Он прошел к Распятию, затеплил свечечку, прилепил ее рядом с другой, трепетавшей живым огоньком, перекрестился, отступил на несколько шагов и стал прямо против Царских врат между двумя старухами.

Тихий восторг задрожал в его душе. Как это произошло — он сделал всего несколько шагов, переступил порог, одна стена отделяет от города, живущего совсем другой, безумной жизнью, а тут...

«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не унижитит...»

Он увидел священника. Тот вышел из боковой двери — старенький, шаркающий, в темном облачении, с белой бородой, стал у Царских врат, глянул перед собой, ткнулся глазами в Льва Ильича.

— Госноди и Владыко живота моего, — сказал он глухим, проникшим Льва Ильича голосом, отчего у того мороз пробежал по спине, — дух праздности, уныния,

обоначалия и празднословия не даждь ми...— Он повалился на колени, приложившись лбом, с трудом начал подниматься с колен.

Лев Ильич увидел боковым зрением, что и старухи рядом бухнулись оземь, ропливо стал на колени, ощутил лбом прохладу камня и, поднимаясь, услышал:

— Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу моему.

Теперь Лев Ильич успел, вместе с ним упал на колени и поклонился с восторгом.

— Эй, Господи, Царю,— произнес священник, поднявшись,— даруй ми зрети оя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Лев Ильич еще раз упал на колени вслед за священником, одновременно со старухами — они были вместе, он знал, что они повторяют те же слова, что и он, — и молился!

И тут он снова вздрогнул от неожиданности — от тишины, внезапно объявшей рам. До того кто-то шелестел, бормотал, на клиросе читали молитвы, за спиной то-то двигался — а здесь ничего, мертвая тишина упала, и в ней Лев Ильич увидел священника, крестившегося и кланявшегося поясно, по-стариковски, с трудом наспрамяясь. И старухи рядом как крыльями черными взмахивали, кланяясь и наспрамяясь.

У Льва Ильича уже кружилась голова, но он так счастлив был неведомым ему ощущением, что он не один, вместе — ощущение Ц е р к в и его посетило и сотрясло.

Священник последний раз выпрямился и твердо взглянул перед собой, прямо в глаза Льву Ильичу.

— Господи и Владыко живота моего,— сказал он тихо,— дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...

Он еще раз упал на колени, Лев Ильич за ним; священник поднялся и, перекрестившись, ушел в те же боковые двери.

Льву Ильичу показалось, он весь как бы насквозь высветлился, очистился, голова плыла — о, ему было за кого молиться и кого помянуть, за кого умолять Спасителя, раньше всего понимая свою вину перед всеми.

«Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное...» — услышал он четкий, быстрый речитатив.

Старуха рядом пала на колени, крестясь, он следом за ней, и тут с легким треском, как разодрался креп, отошел черный воздух — и поток голубого просвещенного солнцем света хлынул в храм сквозь радужные резные Царские врата.

Лев Ильич застыл на коленях.

«...Блажени плачущие, яко тии утешатся,— продолжал все так же, не прерываясь, безо всяких переходов тот же голос.— Блажени кротцыи, яко тии наследят землю...»

Лев Ильич не поднимался с колен, да у него и сил сейчас не было. Вот она, лазурь вечности, о которой недавно читал,— не в книге, не в чьих-то словах, он сам в ней, струящейся к нему из Царских врат. Ему показалось, его накрыло, приподняло и вынесло на волне голубого, пронизанного солнцем, не способного теперь уже иссякнуть в его жизни света. Он увидел в нем все, что было и есть, что было всегда, еще до того, как стало все, время кончилось — его уже не было, оно сошлось в мгновенье, одновременно: и первый день Бытия, когда Господь приколачивал звезды к небосводу, и начало истории, и ее центр — Распятие и две тысячи лет спустя и сегодня,— одновременно и сразу присутствовало в этом свете, отсекавшем все, что подлежало отсечению. Он увидел и тут же узнал в клубящемся розовом мареве горстку пастухов, выходящих со своими стадами из Харрана; беснующуюся, рвущую на себе разноцветные одежды толпу перед храмом в Иерусалиме; штабеля трупов с занесенными снегом глазами где-то здесь, рядом — и себя, стоявшего на коленях посреди русской церкви в льющемся и льющемся потоке голубого солнечного света. «Се, скиния Бога с человеками,— вспомнились ему Слова,— и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их...»

Да, он был там, где должен был быть. Это была его судьба, его жизнь, неотделимая от судьбы и жизни всего, что плыло сейчас вокруг него. И он знал, что у него не может быть другой жизни или другой судьбы. И готов был радоваться и веселиться тому, что, быть может, Господь будет так милостив к нему, что отметит его поношением за Имя Свое и его ижденут и прорекут всяк зол глагол на него лжуще Его ради. И ему позволено платить и платить по неоплатным счетам всей кровью и всей любовью, которой горело сейчас его сердце.

Он испугался, что упадет, голова гудела, плыло перед глазами. Он встал, напрягши все силы, перекрестился, поклонившись в пояс, и пошел между старухами к выходу, прижимая платок к мокрому лицу.



Паперть и теперь была пуста, его качнуло о косяк, он не удержался и груз сполз на каменную ступеньку.

Сейчас пройдет, — думал он, — это от счастья, слишком хорошо мне — за что

И все было хорошо — не только в сердце, переполненном радостью, но и дои вокруг маленькой площади, переулочек, начинавшийся здесь, круто бежавший вне редкие в этот час прохожие — все было его, родное, и на всем, на чем бы и останавливались затуманенные слезами глаза, он видел как бы начертанные солнечными литерами одно имя... «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло...»

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, — прошептал Лев Ильич, отнимая платок ото рта, — помилуй мя, грешнаго...

Платок был мокрый, в крови, густая капля упала на камень, на котором он сидел и тут же он услышал, как глухо стукнула в кепке, брошенной на колени, монета.

Он вздрогнул и поднял голову.

Над ним стояла немолодая женщина в плисовой черной жакетке, перепоясанно на груди крест-накрест платком, держала за руку девочку в платочке, в валенках галошами. Они, видно, выходили из церкви следом за ним и тут у порога наткнулись на него.

Лев Ильич узнал ее сразу — та самая, из поезда. Он попытался встать и не смог

— Сиди, сиди, мил человек, не тревожь себя, отдыхай, — сказала женщина конечно, она не узнала его, сколько таких, как он, мелькали перед ней за эти дни. Да его и мудрено было б узнать. — Экой ты несчастной...

Она полезла за пазуху, вытащила белую тряпицу, неторопливо и бережно развернула, вынула просфору, разломила пополам над тряпицей и протянула Льву Ильичу.

— Как знала, со вчера сберегла. Покушай, батюшка, сил-то и наберешься.

Лев Ильич принял просфору с половиной креста и буквами «ИС» — теми самыми, что сияли перед ним в солнечном свете.

Женщина еще раз разломила оставшуюся половинку, один кусок протянула девочке, второй завернула в тряпицу и спрятала за пазухой.

— Пойдем, внученька, — сказала она, крепко взяв девочку за руку, и еще раз взглянула на Льва Ильича. — Храни тебя Христос, батюшка.

Она широко, по-мужски перекрестилась, оборотясь на церковь, и шагнула с паперти.



---

ЛЕВ ЛОСЕВ

\*

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

\* \*

\*

Воскресенье. Тепло. Кисея занавески полна  
восклицаниями грузчика, кои благопристойны и кратки,  
мягким стуком хлебных лотков, то есть тем, что и есть тишина.  
Спит жена. Ей деревья снятся и грядки.

Бесконечно начало вовлечения в эту игру  
листьев, запаха хлеба, занавески кисейной,  
солнца, синего утра, когда я умру,  
воскресенья.

### По дороге

В какой ты завел меня лес?  
Какую траву подминаю?

«Ты веришь, что Лазарь воскрес?»  
«Я верю, но не понимаю...»  
«Что ж, после поймешь».  
«Отольешь, уж если того конвоира  
цитировать<sup>1</sup>. Все это ложь».  
«Ты веришь, что дочь Иaira  
воскресла, и дали ей есть,  
и, вставши, поела девица?»  
«В благую ты веруешь весть?»  
«Не знаю, все как-то двоятся...»

В ответах тоскливый сквозняк,  
но розовый воздух в вопросах.  
Цветет вопросительный знак,  
изогнут, как странничий посох.

\* \*

\*

«Что, плохи наши лекаря?»  
«Нехороши, но в них ли дело...»  
«Что пишешь?» «Для календаря  
пишу, как ты всегда хотела,  
чтоб я писал». «Чтоб ты писал,  
чтоб дивный календарь без чисел,  
как с ветки лист живой, свисал

---

<sup>1</sup> В 60-е годы в Псковской области поймали и приговорили к расстрелу уникального нацистского пособника — еврея (ему удалось скрыть свое еврейство от немцев). Рассказывали, что некогда до конца вел себя браво — когда его вели на расстрел, заявил: «Имею последнее желание — отлить». «Там отольешь», — ответил конвоир. (Здесь и далее примечания автора.)

и всякий вымысел превысил.

.....  
 Названию «июнь» июнь  
 неунывающий посвищет,  
 а на листе «декабрь» декабрь,  
 как дикий зверь, по дебрям рыщет,  
 чтобы бесчисленно чисты  
 именовались дни недели,  
 чтоб таяли его листы,  
 пылали жаром, пламенели.  
 Хронометрировать восход,  
 заход, предсказывать погоду,  
 догадываясь, кто дает  
 советы мне и садоводу».

#### В белой комнате

Дюма, слегка сойдя с ума,  
 мог написать такой роман:  
 «Пятнадцать лет спустя,  
 или Книга, исчезающая по мере чтения».

.....  
 Чтоб эту книгу сочинить,  
 не слишком бидся беллетрист.  
 Чуть-чуть вначале зачернить  
 пришлось бумаги белой лист,  
 но стал светлее белый свет,  
 когда сломался карандаш,  
 когда сюжет сошел не нет,  
 когда расседся пейзаж —  
 деревня, домик под горой, —  
 а в эпилоге и герой.  
 Пустынен эпилог,  
 как койка о белой простыней  
 под победенною стеной,  
 как белый потолок.

#### Памяти Юры Михайлова

Мой стих искал тебя...

*Вяземский.*

Не гладкие четки, не писанный лик,  
 хватает на сердце зарубок.  
 Весь век свой под Богом ты был как бы бык.  
 Век краток. Бог крепок. Бык хрупок.

В шампанской стране меня слух поджидал.  
 Вот где диалог наш надломан:  
 то Вяземский вяжется, то Мандельштам,  
 то глупый «смерть-Реймс» палиндромон.

«Что ж делать — Бог лучших прибрал», — говорят.  
 Прибрал? Как письмо иль монету?  
 То сильный, то слабый, ты был мне как брат.  
 Бог милостив. Брата вот нету.

Девятый уж день по тебе я молчу,  
 молюсь, чтоб тебя не забыли,  
 светящейся Розе, цветному Лучу,  
 крутящейся солнечной Пыли.

Из Марка Стрэнда<sup>2</sup>

## 1. На пустыре

Столь ржав в крапиве старый таз,  
 что ты зажмуриваешь глаз,  
 столь рыж.  
 Ты ежишься внутри плаща,  
 а с неба дождь ползет, луща  
 толь крыш  
 отсутствующих. Сквозь окно,  
 которого здесь нет давно,  
 узрим  
 прямоугольное пятно  
 там, где висело полотно  
 «Гольфстрим».  
 Там шлюпки вздыблена корма,  
 там двум матросам задарма  
 конец.  
 И, если глаз не поднимать,  
 увидишь: обнимает мать  
 отец.  
 Вот он махнул тебе рукой  
 пустой, неясной, никакой.  
 Притырь  
 сворованный у смерти миг.  
 Дождь капает за воротник.  
 Пустырь.

## 2. Один день

В дверях он долго шаркает нейлоном  
 и замечает равнодушным тоном,  
 что подмораживать как будто начало.  
 Она, управившись с посудой, подметает,  
 при этом кажется ей, что напоминает  
 жизнь, но всегда к полудню понимает,  
 что вспоминать-то, в общем, нечего.

Он отпирает лавку ровно в девять.  
 Давно привыкший ничего не делать,  
 он в 5.15 дома, как всегда.  
 Они жуют на ужин бутерброды,  
 ТВ вещает им прогноз погоды,  
 прогноз им обещает холода.

Потом пройтись по своему безлюдью,  
 на встречный ветер опираясь грудью,  
 они идут, подняв воротники.  
 А ветер трудится, как прачка над лоханью,  
 рвет прямо с губ клубочки их дыханья  
 и прочь уносит, в сторону реки.

<sup>2</sup> Звукосмысловой стороной современная поэзия на английском языке настолько отличается от русской, что я не вижу возможности эквиритмического перевода. Возможно, с формальной точки зрения, это мои оригинальные стихи, за которые Марк Стрэнд, поэт — лауреат США 1990/91 года, никакой ответственности не несет, но сам я убежден, что увиденное и описанное мной в этих трех стихотворениях — поэтический мир Марка Стрэнда.

## 3. По белому

Вот лежит белый снег,  
 белый снег принимаю.  
 Вот идет человек,  
 белый снег приминаю.  
 Взглядом по небесам  
 он скользит опустелым,  
 по прозрачным лесам,  
 по пустынным пробелам.  
 Под сугробы легли  
 бездыханные шлюпки.

Октаэдры легки,  
 шестигранники хрупки.  
 Вот идет человек,  
 белым облачком дышит,  
 видит он белый снег,  
 снега паденье слышит,  
 видит цепи озер  
 леденелые звенья  
 и как бел кругозор  
 за пределами зренья.

## Забывтые деревни

В российских чащобах им нету числа,  
 все только пути не найдем —  
 мосты обвалились, метель занесла,  
 тропу завалил бурелом.

Там пашут в апреле, а в августе жнут,  
 там в шапке не сядут за стол,  
 спокойно второго пришествия ждут,  
 поклонятся, кто б ни пришел —

урядник на тройке, архангел с трубой,  
 прохожий в немецком пальто.  
 Там лечат болезни водой и травой.  
 Там не помирает никто.

Их на зиму в сон погружает Господь,  
 в снега укрывает до стрех —  
 ни прорубь поправить, ни дров поколоть,  
 ни санок, ни игр, ни потех.

Покой на полатях вклинают тела,  
 а души — веселые сны.  
 В овчинах запуталось столько тепла,  
 что хватит до самой весны.

СПА.



## П. КРАСНОВ

\*

## РУБАХА

*Быль*

**Д**ождь побывал здесь дня два назад, перед самым приездом моим сюда. Но все, что вокруг еще дышало им, не хотело дождь забывать, и вечером вчерашним еще держался по укромным низинкам туманец некий, как бы лдымок большой той грозы, провалившей напрямик через сельцо, через все ородьбы его и курмыши<sup>1</sup>, огородные в приречных зарослях клинья, выгоны — через всю степь. Он и для моих нехитрых дел кстати был, дождь. И пробираясь тренней темью по улице и стараясь не попасть ненароком в колеяную жижу — как ни схватчива майская грязь, а и ей тоже нужно было время, — я никак утчего-то не мог или, сказать уж вернее, не хотел доспорить затеянное с одним знакомым своим давнишнее словопренье...

Сазан! Его не заменишь никем, сазана. Это сам он может клевать по-кара-зинуому или как хочешь, особенно сытый или, допустим, мелкий, — но ведь никак не наоборот. А уж белью всякой, язем там или голавлем, не заменить тем более. Да и лещом тоже — ну что лещ? Поманежит малость поплавок, потягает, а кватанул чуть воздуху — и в садке, считай. С сазаном эти штуки не проходят.

В том и дело, что соединяет он в себе все. Привередливый, насадку для него иной раз подыскать — легче жене угодить, с карасем они тут на пару. Об осторожности говорить нечего, в лодку на крупного теперь не садись, да и на берегу комара на себе не шлепни — все видит, слышит. Ну а насчет того, что умом люди называют, величальные чему поют свои... Тот же знакомый рассказывал, сам видел: как-то перегородили они сетью речушку — неподалеку тут, в Казахстане, — а вода чистая, покойная, все видать. Три сазана подошли по дну. Постояли так, вдоль прошлись, вернулись. Потом покрупней который, килограммов так на шесть, с развороту в сеть, прошиб, а за ним в эту рванину спокойно так, прямо как в калитку, другие два следом. И дальше своей дорожкой, как в старину писали, потекли. Смех смехом, но это лишь люди могут в одну какую-нибудь сетешку набиться — не продохнуть, не вытащить никакому «ловцу человек». Да еще караси. На сазана с нею не рассчитывай, разве что один-другой какой понечайке пилой своей зацепится, подзапутается — ну это с кем не бывает... Спрашивается: какой ему еще ум нужен? Чтоб и на крючок не идти? Так ведь крючок не сеть, крючок — дело божье...

Нет, спор, конечно, пустой был, самый что ни на есть человеческий, и крутился в голове, и переиначивался мною так и этак лишь потому еще, что шел-то я к пруду как раз к нему, к сазану. Вроде и усмехался себе, и сам не сразу заметил, что волнуясь-то, оказывается, никак не шуточно — ждал уж очень долго, все задумки свои перебирал, передумал наперед. Сказать же, что все вокруг уже надоело, значило не сказать ничего. С этой вот не то что мыслью, а каким-то ожесточеньем, тихим и нехорошим, приходит теперь в город к нашему брату горожанину каждая весна — больше, кажется, чем с переплеском капли, с забытым влажным, парусиной пахнувшим ветром с реки и прочей лирикой... Пришла и эта. Все осточертело: город спертый с мутными от вечного раздраженья окнами, второй шкурой приросшая к тебе работа, будни семейные с праздниками, застой с перестройкой — все, весь неладный этот обиход, в котором варимся мы, формуемся, выделяемся во что-то, нам самим не вполне понятное, невразумительное, не знаешь порой, чего и от себя-то ждать.

<sup>1</sup> Курмыш (местн.) — ряд, порядок изб, расположенный наособицу.

Но, сказать прямо, ничто там и никто не надоедает так, не теснит те всячески, как человек — друг твой и брат по улице, соперник во всем и соглядат вечный, выделанный, как и ты, выдубленный городом человек... Слишком мно тут его, переизбыток непомерный, дурной, все людское, что еще есть хорошег калечащий, и пожаловаться некому — сами набились, натискались. С этим доходишь, как раз к лету. И вот, из какой-нибудь давки очередной распредел тельной выдравшись, решаешь: все, хватит! Лица эти, рты в поту выделений вс физиологично до предела... хватит! В глушь хоть какую, к воде, к черту отсюд

И вот едешь, мятый-перемятый, оравнодушевший ко всему, к той же деревн нашей, какая безвыедно, без всякого тебе отпуска ковыряется годами в гря: своей невылазной и навозе, в болезнях да бесхлебье; едешь, только свой озабоченный, ей чужой и мало-таки любимый там, с этим вот своим наборо отпускника или там дачника, что-то вроде стандартного набора лесок и поплаво

Нет, скучные это материи — значит, лучше о сазане думать. О сазанье именно воде, есть такая в голых степных прудах: не дремотная, нет, — молчалива и не то что бесстрастная, но какая-то даже чужеватая к тебе, пришельцу, все свс от тебя скрывающая, — готовая передернуться враз ликом отчужденным, всх диться бестолково, раздраженно, как пойдет выделявать на кругах какой-нибуд двух-трехфунтовый даже сазанчик... Тут ко всему готовься, уж он провери удилище твое на гибкость, а леску — на разрыв, так замотает вокруг пустяково: какой-нибудь коряжки или в пучке чахлого камыша, что когда вызводишь е наконец, вытянешь, то ни крючка не найдешь, ни даже грузила, не то что самог сазана. Упористостью, силой никто с ним близко не станет; и еще красив крепьщ, и полновесен, в крупной, с искристыми звездочками чешуе, вес глубоким темным лаком словно облитой, с коричнево-красными широким своими плавниками — да, все крупно, сильно в нем и красиво...

Так думал я, уже за село выйдя и продираясь сквозь прошлогодние и новые вымахавшие уже бурьяны по тропке к плотине, всю-то росу собрав, и сопровождали меня в едва только начавшем светать небе три самых ранних, может небесных спутника человека: тонкий, ломкий тающий месяц, новорожденный над ним светоносная Венера, а напротив, на темном западном скате средь редки звезд, тусклая, красная, с тяжелым отсветом лампада Марса — по всем, похоже, убитным... Шел, тропинка спускалась все ниже, петляя в промокшем до нитки кустарнике; еще весна бродила в окрестностях, шиповник цвел и бересклет, и все сильней заглушали мои рыбацьи мысли слитный лягушачий хор ночной, настойчивые, даже навязчивые какие-то выкликанья кукушек и поверх всего торжествующий, все покрывающий соловьиный немолчный гром...

Первый взял еще по мерклой серой воде: глаз не спуская с поплавок, тремя темными колышками торчащими на затуманенной глади, я вдруг не обнаружил одного и не успел еще подумать — не клонуло ли, дескать? — как удилище дернуло резко, свалило в воду и поволокло — едва успел схватить... Уже его двумя руками удерживая, в дугу согнувшегося (рыба кинулась в глубину, от плотины), я сумел кое-как отбросить ногой в сторону две другие удочки, иначе перепутает все как есть, и завернул все-таки сазана — а был это, конечно, он... Тот метнулся направо, к камышу. Леска с дрожью страстной, со стоном даже каким-то резала, рвала воду — и, как ни старался я опять заворотить его, с ходу замахнул-таки за кувшинки, сгрело их в панически тонущую кучку, леска ослабла на миг, опять дернулась, камыши толкнуло там, закачало; глухой послышался, но сильный всплеск, рыбок. Осклизаясь и едва не съехавши в воду, я все тянул влево, мешали нависшие кусты, свое ж удилище мешало, слишком здесь длинное; и листья кувшинок медленно стали, словно нехотя, всплывать. И поплавок, в них запутавшийся, вырвался наконец, взлетел и шлепнулся в воду у моих ног...

Дрожащими руками я прикурил папироску, ничего не слыша кругом, таг колотилось сердце. Сносимый неслышным ветерком, туманчик полз по успокоившейся, уже высветленной небом воде, роса была на всем, зримо отяжелела кусты, ознобила траву; гремел и шелкал не переставая над самой головой соловей, ничуть не потревоженный всем происшедшим внизу, и вторил ему неподалеку самозабвенный другой — самое утро... Я поднял леску — с поплавком, грузилом, но без крючка как бы пустую теперь, никчемную; стал навязывать новый. Пальцы плохо слушались, торопились — нет, две другие удочки сначала поставить, определить... Пару раз вздохнул глубоко, вдохнул запахов рогаза, горькости допухов — из бывших сельских, понятие в этом есть, — еще раз оглядел

юе хозяйство раскиданное, незадачливое... Куда спешить? Раньше получаса перь все равно не возьмет, наделали шуму.

И хоть оно хорошее вставало, утро, погожее, и бог бы с ним, с сазаном, — о все крутила сердце великая досада. Изнывало сердце, и ни усмешка над этими зоиими дрожащими пальцами не помогала, ни вполне здоровое, но и фальшивое се-таки человеческое рассуждение, что если уж кому было плохо, так это сазану, збой обманутому, и не ты за жизнь свою бился изо всех своих сил, а он... Он-то н, ныло внутри, где-то под ложечкой, а килограмма небось на два был, уж это е меньше. Леска ноль четыре на поводке, узлы накануне все наново перевязал, а клинч — смерть, а не узел... Ну, такой боровок развязывать твои узлы не танет. Два, а то и все три кило, даже и на кругах себя не дал поводить... Дальшивил я, известное дело, но стыдно не было. Вот чего не было, того не было.

Поплавок, не качнув, с места и все стремительней повело в глубину, я юдсек, и увесистый сазанчик заходил на леске, все к тем же кувшинкам думая йти, — но тут уж сила была моя. Позволив ему сделать круг почета, чтобы ритомидся малость, я без всякого подсачка выводок его на отлогий бережок. Дело, судя по всему, налаживалось, досада почти сошла — врешь, еще порыба-ним! Светлая, белесая подымалась на безоблачном восходе корона солнца, жорую обещая жару; кропила иногда, словно всплакивала надо мной ветла, под которой выпало мне устроиться, а средь лягушачьего укоряющего, на манер античного, хора, средь всего этого утреннего гама, какой в многодетных семьях бывает, некая неведомая птица печально все вопрошала: «Витю видел?...» — так что мне, в самом деле имеющего друга Витю, пришлось ей вслух сказать:

— Да видел, видел... на прошлой неделе видел, чего пристала?

И спохватился, потому что кто-то шел сюда плотиной. Еще подумает, что вот, мол, рыбак до ручки дошел, сам уже с собой разговаривает... И оглянулся.

Шли двое, впереди мальчишка поспешал, а за ним с некой вольностью шагал молодой, лет двадцати, может, пяти мужчина, парень еще, в яркой оранжевой, расстегнутой до пула шелковой рубаше и грязных цлавках, босой, с удочкой через плечо, — цыгане!.. Я их вчера еще видел на недалекой отсюда отмели за плотиной — не этих, а других, то есть, собственно говоря, не цыган, а женщин их с малой при них ребятнею. Они не купались, не бельишко полоскали, как это у наших баб водится, смачно шлепая вальками на всю тихую, вечернюю, с трепетом внимающую им округу; и вовсе не за водой мягкой, речной пришли, для шелока, каким опять сейчас взялись мыть головы в бане, — сошлись да и заговорились, как у колодца; нет, рыбачили они... Что уж там нашло на карасей — неизвестно, только на сей раз облюбовали почему-то именно отмель эту, вроде не совсем подходящую им, с заметным течением. И клевали, знаете, на удивленье, ждять не заставляли: сам видел, как цыганки сноровно, с хищной какой-то ловкостью таскали их, величиной с ладошку всего, одного за другим, — «на заказ», любой рыбак позавидовал бы. Когда я рассказал о том старухе, хозяйке своей, у которой третье вот уже лето квартировал в избушке на краю — в крайних чаще добрые люди живут, — она многозначительно покивала, полу-закрыв глаза, сказала: «Слово знают, не иначе. Эт-та пройды такие... поискать таких!»

По правде сказать, недолголюбиво я, кто на дармовщинку живет, не люблю — может, потому, что задаром самому ничего и никогда не давалось, чего и добыешься если, то все как-то с надсадой, без радости. Да и где, спросить, таких-то любят? Без них обирал хватает, успевай поворачивайся; а как еще табор на село навалится, шаромыжничать начнет... Мать их боялась, как только появлялись они — замок отыскивала тотчас, какой в другое время совсем, считай, не нужен был, не от соседей же запирается. Дом запирала, сама тут же во дворе часами возилась, приглядывала, а единственного телочка с вольной луговины привести посылала, в котушке припереть. Так он и звался, тот замок, цыганским...

Чем-то привлекал он к себе сразу — да, мужчина уже, матереют они раньше нашего. Не то чтобы располагал, предрассудок здесь сильней, но и настроженности не вызывал — или, может, обстановка тут сказывалась, смягчала?

Нет, красив бывает все же человек, когда вот так свободен в каждом движенье, волен средь набравшего силу лета, когда ни оглядываться ни на кого не надо, ни притворяться — на тропке средь ветел тенистых, росую проблески-вающих трав, у ласковой воды...

Мы встретились взглядами. Еще секунду-другую в его ночных, тю-женеки влажных глазах держалась эта рассеянность воли: вольной, бездумность — ee



благая — и тут же мысль в них мелькнула, цепкость, и уже он говорил, подход с этим их акцентом, всем знакомым:

— Слушай, крючка нет. Оторвался. Дай, а?

Я и сам успел это увидеть: удилище на плече, а леска следом тянется по траве, цепляясь за что ни попало, сдерживаясь с лопушка на лопушок, — кнут нас так носят, не удочки. И, странно, в этом тоже была свобода — она, которую так не хватает иногда нам, оседлым...

Оторвался ну и оторвался, что ж. Всякое бывает, а брату своему, куряке и рыбаку, не откажешь. Он стоял надо мной, над душой — этого они не стесняются, — пока вынимал я и раскрывал коробочку свою заветную. И присел потом и смотрел равнодушно, как выбирал я крючок ему — средних, на всякую рыбу размеров. Взял, стал его разглядывать, пока я закрывал коробочку свою...

— А, ш-шорт!..

Так и есть, уронил. Шарит смуглыми пальцами по притоптанной, в редких травинках земле, там и терять-то негде, каждая песчинка на виду... нет, ищет Головой качает, цокает — ищет, глаза опущены, а пальцы какие-то не то что суелливые, но старательные, слишком долго ищут, и как раз там, где и без того видно, что нет. Шустер. Ну бог с ним, лишь бы ушел. Даю еще один крючок, он кивает мелко, с благодарностью, а уж сам конец лески своей сует:

— Привяжи, а?

Мне вообще-то вся эта возня на берегу совсем ни к чему — он что, этого не понимает? Оглядываюсь на свои поплавки, досаую, но и делать нечего — привязываю. А он уже стоит, ждет, красивое, почти что возмужалое лицо его не выражает ничего, кроме равнодушия. Даже и следа нет того заискиванья или фальшивой той самоуглубленности, с какой полминуты всего назад искал он непотерянное. Он добился, чего хотел, и ждет, вот и все. Как добился, чего, у кого — дело десятое; главное, что добился. А с миру по нитке, как известно, — голому рубашка. И даже не какая-нибудь там сиротская, абы тело прикрыть, а вот эта — яркая, аж глаза ломит, на нее глядячи.

Стоит, ждет, хоть бы сказал что, а я думаю: нет, не мужчина еще, лет двадцать так, — и почему-то силосо вспомнить, видел ли когда в жизни цыганскую улыбку. Не из театра «Ромэн», напрокат какая, по телевизору, а настоящую. Печаль их в глазах всегдашнюю и, может, непритворную даже, что от неплохого знания людей вполне возможна в них, — это сколько хочешь. А еще больше равнодушия ко всем, кто не «рома» и не клиент. Но вот чтоб улыбку потеплей, скажем, поискренней, даже и меж собой — нет, что-то не приходилось. Ведь пытаюсь припомнить, зимой как-то чуть не час друга прождал на вокзале у справочной, а они рядом как раз на полу расположились со всеми перинами своими и мешками, резко галдели, смеялись, ребяенок еще один их верещал, форменную истерику закатил, чем-то разозленный не по-детски, — нет, не вспомнить... Иль наказал их кто, что ли?

Дождлся со скукой, кивнул, уже не глядя, — не мог не кивнуть, и пошел; а куда цыганенок тот делся, я даже и не заметил как-то за делом, не стало — и все. Невольно по хозяйству своему глазами пробежал по разложенному — вроде на месте все. А тут потянуло, от полавка я лишь кружок на воде застал разбегающийся, возьмет вот сейчас какой-нибудь там подгулявший сазанишка и клонет... На то она и рыбалка, так иной раз чудесит — диву даешься.

Но и чудеса авторитет свой беречь умеют — клонуло у меня. Впрочем, бестолково как-то клонуло, по-рачьи, они тут водятся, раки: закачало, потом вроде повело как-то боком, я подсек, но — впустую. И когда, червяка перенасаживая, оглянулся на соседа, увидел картину, какую ожидал: тупо, еще не поняв толком, что произошло, уставился рыбачок на воду, удилище подняв, леска натянута, а коряжничек тот качается полусгнившими верхушками, дышит там — зацеп...

Что ни говори, а злорадство было сильнее меня — так вам надо, так... А то нашармака все, на дармовщинку. И еще один знакомый вспомнился, комбайнер, промышлявший к столу парой всего стареньких вершей: как снаряжал он их приманкой, жмыхом и черствыми кусками хлеба и вздыхал, двор оглядывая свой: «Сколько его, хлеба, надо — и рогатой скотине и безрогой... Курам посыпь, пороссятам замеси, корове там, телку тоже в пойло добавь. Рыбе — и той вот дай. Все до хлеба охотники, всем дай.» Вправду оно так — всем, даже воробьям на дворе его, прожорливым голубям в городском каком-нибудь сквере, цыгану

тоже — в магазине за бесценку. Дай, да еще поклонись: спасибо, мол, что ловню нашу убогую не забываете...

Он раз дернул, другой — не тут-то было, крючок засел накрепко, видно. И ходил, рубахой мельтеша, почти забегал по берегу, то с одной стороны пытаюсь, с другой высвободить его, подергивая и кривясь несдержанно, как-то мучительно даже, жгло донельзя его... Ну, пошел базар, прощай, рыбалка. Коряжник ргался и раскачивался, волну разводя, заныряли и мои поплавки; а тут еще, скользнувшись и едва не упав, оборвался он с бережка, въехал босой ногою в дугу, бог знает что обещающей; подсесть не пришлось, и еще один сазанчик буянил в моем садке, несогласный с неволей, — за полкило так...

Цыган уже топтался за моей спиной, зачарованно глядел. Да в ком он не избудит охотника — сазан, ходящий на дугах упругих, крутых, а потом с плеском, неукротимостью всей своей наверх вымахнувший, золотым блеснувший боком в искрах брызг, в водовороте... Он чуть не стоптал меня в нетерпенье — как, видно, хотелось сазана ему этого, чтоб цыганкам своим принести его, росить к кострищу... Не было для него меня, моего наличия тут, на рыбацьем моем месте. Сазан — есть, вон как рванулся он, леска с бурунчиком аж пошла; этот... И я бы уж давно, конечно, оскорбился, озлился диковатым его нетерпением этим и пренебрежением ко мне, едва ль не большим азартом, отовым стоптать, — но не до того было. И может, к лучшему, что не до того.

— Слушай...

Я обернулся и опять увидел эти просительные собачьи глаза... да что их у него, две пары, что ли, — одна на смену другой? Ты ж мужик, в конце концов!..

Он, видно, что-то почувствовал, нагнулся ниже, глянул беспокойней — и лепотом, неожиданно горячим, рассчитанным, перед которым не всяк устоит, высипел:

— Этих, слушай, как их... глистов — дай!..

— Дать-то дам... мешаешь ты мне, — сказал наконец я, отводя взгляд от просительно-жарких его, беззащитных одновременно глаз.

Он как не слышал, ему главное было — выпросить:

— Дай, а?!

Дал. Зажав червей в горсти, он, забыв опять обо мне, жадно оглядывал воду, берега. И кажется, не прочь был расположиться прямо здесь вот, хоть на ведерке моем с прикормом, — да куда забросить? Узкое место, прогал, можно сказать, трех удочек — и тех много... Еще раз глянув с досадой на мои снасти, отошел — метров на семь-восемь отошел всего влево, за ствол невысокой кривой ветлы, стал примериваться.

Вот еще рыбацка бог послал... Меня уже разбирала злость; он что, издевается, что ли? По рыбацким понятиям, это все равно было что на голову сесть, в десятке-то метров... Впрочем, какой он рыбак, крючок привязать не может. Он и удочку-то, может, первый раз в руках держит; и потом, коряжник там, слева, вон верхушки даже видны его в воде, прутняк какой-то... не видит? Не видит, уже и червя насадил кое-как, наспех, болтается червь, и к воде подступился, примеривается... Ну-ну, порыбачь. Порыбачь, завистой, а мы поглядим.

Нет, так тоже не дело, надо сказать.

— Коряги там, смотри...

Как бы не так, услышит он... Все, вся страсть его — там, где ходит жадная до висельника червя его рыба, нетерпеливая, только его и ждавшая, и главное теперь — время не упустить, удачу свою. А в удачу свою он больше, чем в отца-мать, верит и уж видит, как рыба эта, пусть осторожная, но глупая и жадная, ходит, вертится вокруг насадки его и как самая большая, но все равно жадная тоже и глупая, одним появлением своим отгоняет на почтительное расстояние других, подходит...

Всей природной, кошачьей какой-то ловкостью извернувшись и лишь чудом ветки не задев нависшие, закинул-таки леску он. Яркий, рыбу пугать, магазинный поплавок шлепнулся, разогнал мирные отраженья и заплесал, плохо огруженный, как раз посреди чистого пятка воды... Ловок, что скажешь. И чем еще черт не шутит, подумалось вдруг, — взбаламутил... И выбрался, бросил удилище на землю и сел, зло выкатив белки туда, на коряжку.

— Ну все, — уже громким, вздернувшимся поневоле голосом недобро сказал я. — Не пойдет рыба теперь...

Он мельком и растерянно оглянулся на меня, опять уставился туда, как-то зябко руками колени обхватив, как накупавшийся мальчишка. Вроде как заду-

мался, и это, видно, непривычно ему было, неудобно — как тесный саг который поскорей стянуть хочется, стащить с ноги...

У меня аж в груди заболело от злости: столько готовиться, погоду жда сроки вымерять эти... и тут нашли, достали! Солнце поднялось из-за дальн косогора целиком и сгоняло уже туманец, сбивало к тенистым подбережы остатки его проворно расплзались по камышовым заводям, по кустам и ос береговой, еще холодной, — скоро совсем очистит, до стеклянной ломко отгладит воду, а там уж и жара... Отрыбачился. Мало того что сазан ушел, тепе и других не жди, разве мелкоту какую. И что за обличье бог дал, по улице х не ходи: одному закурить, другой поболтать адресуется, третьему время ска или как пройти-проехать — как раз тогда, когда сам куда-нибудь рвец опаздываешь... Да всегда-то его нет, времени; и вот раз в году выберешься цейтнотов этих вечных, грызни городской, понадеешься денек хоть одно побыть, лиц этих не видеть, распятых в толчее глаз, ртов, вода чтоб да камыш, и тут тебя найдут, не оставят...

Не поленился ведь рано встать, сволочь, без крючка единого, без насади на реку понесло, через овражки эти, ерики всякие, кусты, где сам черт н сломит, — нашел!..

Я, наверное, с такой ненавистью глядел, что он забеспокоился, оглянул опять и, помедлив, встал, схватился за старенькое, у кого-то из-под застрех сарая, видно, стянутое удилишко... Рви, дурак! Он дернул, уже явно примеряяс к прочности лески... Да не так, рукой за леску надо, с натягом. Рви, скрипел душой, — и к шуту отсюда, к шатрам своим или что там у вас... С рубахо дурацкой этой, бестолково яркой какой-то, назойливой, с глазами ночным. своими, бабьими — к чертям, хватит! Вот он, берег, большой, — а я с идиотам не занимался... почему я-то должен? Почему всегда я?!

Накопилось, что скажешь... Все, вся обида на жизнь вдруг вылезла, почти ребячья, на всю несуразность эту, своей и чужой, на одинокость в толпе подневольность эту всему, затырканность... Рабы, и что от нас ждать еще? Не дай бог, если дождется кто.

Но чувствительность у него была — на удивленье, звериная прямо. На каждый взгляд мой, движенье он не то что отзывался, нет — упреждал их, казалось, опережал торопливым, коротким, не долетавшим до меня взглядом, так что и глаза уже его я перестал видеть — не давал глаз... И когда, от безнадеги всей этой сменив без нужды червя на крайней удочке и руки вытерев, бросил я тряпку под ноги, он воткнул вдруг удилище в землю стоймя и, как был, в рубашке прямо, шагнул в воду...

Этого и я не ожидал — такого, по рыбачьим понятиям, свинства, в десятке-то метров от поплавок моих... А он, оступаясь и загребая руками, уже валил к той коряжке, и тина за ним взбаламученная, и плавник мелкий всякий тянулись грязной полоскою...

И не дошел: вода уже была по плечи, и хоть рукой, кажется, подать было до торчащих этих веточек, но дальше сразу и круто шла глубина — на плотине сидим... Отворотя перекошенное не зябкостью, а скорее, может, раздраженьем лицо и по шею погрузясь, он попытался дотянуться до них — схватился за них, обломил пару прутиков, но и только. Не хватало еще нырнуть идиоту, перебаламутить вконец... Нет, не решался вроде: то ли голову свою черно-кучерявую, с гордым таким посадом, мочить не хотел, то ли вовсе не умел плавать, корсар вокзалов, оступится — спасай тогда... Не решился, и тянуть, раздумывать в таком положении уже нельзя было никак и даже смешно; схватился за леску, дернул, оборвал и попятился. И развернулся, погреб к берегу.

И так скоро все это произошло, не успеть остановить, и как-то нелепо так, не нужно никому, зряшно, что я со злостью еще, с досадою одно только, может, и успел подумать: да зачем это, мол... дам я тебе крючок, дурак, — дам!..

А он выбрел, он выбрался на берег, остановился на миг и как-то отчужденно, с удивленьем будто посмотрел на леску в руках, бросил; и стал расстегивать две нижние пуговицы рубахи мокрой своей, от воды почему-то не потемневшей почти, все такой же оранжево-ярой. На одну лишь пуговицу хватило терпенья, вторую оторвал, содрал рубаху с загорелых плеч, рукава раскатались, мешали, — и, комом смяв, швырнул с силой... Полетела она, расправляясь, шелково как-то шурша, сыро шлепнулась о воду. И, не взглянув, глаз не скосив на меня даже, будто опять не было никакого наличия моего тут, выдернул удилишко и быстро

шел туда, откуда появился полчаса, может, или весь час назад, тропой меж тухов и уж полную листву набравших зарослей лозняка...

Я сидел один, наконец-то один, а его как вовсе не бывало. Никогда. И даже летая им по спешности ветка не качалась уже, замерла, как все другие — как в крутом, утренним солнцем пронизанное, пригретое и малость будто оглохшее соловьев... Оказывается, всё пели соловьи, гремели и перекликались не рестава. Только рубаха эта, полурасправившись, как-то боком — одним краем поверху, другим вниз, в глубину, — застыла на гладкой, дневной, следного туманца и тайны лишившейся воде.

Но это лишь казалось так, что застыла: каким-то неведомым, глазу незаметным течением все понемногу относило ее, подвигало неслышно — и, кажется, мои полавки... Рубаху-то зачем? И при чем тут рубаха? Он, может, и не хотел того — нет, конечно, — но мне оттого было ничуть не лучше. Под пугало это, и еще после всего, что тут было, никакая рыба теперь, конечно, не подойдет. Исидел... И, главное, нельзя даже было закинуть на нее, рубаху, удочку, ручком зацепить и выволочь, к шуту, ее, мешали к самой воде почти опущенные, как в раздумье, ветки кривобокой соседки ветлы. И с того места, где он был, тоже теперь не подцепить, уже под ветки подплыла она; иное бы дело сразу... Да и вообще, если уж на то пошло, неважное место выбрал я для рыбалки: клевистое, что скажешь, но тесное. Нет, тесно. Хорошего сазана тут все равно не вывести, камыш да кусты.

И город сзади, город — недалеко, как ни уезжай, подпирает. И от этого подпора, что ли, какой внутри нас давно, до конца теперь его не избыть, или с другого чего, с досады, может, — нелепое пришло, непредставимое: ведь можно и так... ни в сопелочку, как говорится, ни в дуделочку. Живут же.

Но и это было поздно.

---

Ч и т а й т е в 1 9 9 2 г о д у :

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Забубенная головушка.  
Вечерние раздумья.

Заключительные главы из книги «Последний поклон».

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ

\*

## ИЗ КАРАЧАРОВСКИХ ЗАПИСЕЙ

«Я САМ БЫЛ РОССИЯ...»

Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился без малого столетие назад, 30 мая 1892 года, в урочище Осеки близ Калуги в семье Сергея Никитича Соколова (от имени деда добавка к фамилии: Микитов), управляющего лесным имением. Впоследствии жили в смоленской лесной деревне Кислово на реке Гердоте... Умер Иван Сергеевич 20 февраля 1975 года в московской квартире на проспекте Мира; согласно завещанию его кремировали, урна с прахом захоронена на семейном кладбище в Гатчине, в той же могиле покоится прах прошедшей жизнь об руку с мужем, ненамного пережившей его Лидии Ивановны.

За свои долгие годы Иван Сергеевич Соколов-Микитов побывал в Питере, Ревеле, плывал матросом на судах, был медбратом на первой мировой войне; в революцию и гражданскую войну бушлат матроса послужил ему охранной грамотой; от чего уклонился, так это от горлодранства и смертоубийства. После революции опять отправился в плавание, был интернирован в Англии; год провел в ночлежках Гулля... Об этом повесть «Чижикова Лавра» — исповедь человека, оказавшегося не по своей воле в самой благоустроенной стране мира, о невозможности там прижиться. Я не знаю в нашей литературе другой такой вещи по искренности тона, по простоте душевной, по точности обрисовки характера русского человека на чужбине, хотя с тех пор (повесть написана в 1925 году) прохлынули еще две волны эмиграции из России, в значительной степени насильственной. «Чижикова Лавра» написана намеренно безыскусно, без всякой политики, словами той простоты, какая может быть только на духу:

«Очень я скучаю по родине.

Бывает, хоть головой о косяк. До того вдруг здешнее станет в противность. <...>

Тут человеку погибнуть самое распостое дело. И ни единая не заметит душа».

На возвратном пути из Англии в Россию Соколов-Микитов оказался в Берлине, активно печатался в эмигрантских русских изданиях, больше всего в газете «Руль». Писал и печатал «Письма из деревни», о том, что увидел, пережил на родной Смоленщине в первые послереволюционные годы. «Письма» пока что не собраны, почти не опубликованы, между тем в них, как нигде в последующих сочинениях, сказалась острая чуткость писателя к социальным перепадам, к появлению в крестьянском мире новой фигуры не работающего на земле указчика, неприятие «переустройства мира» по-большевистски.

Вернувшись в родные места, писатель создает в конце двадцатых годов свои лучшие вещи в традициях русской реалистической прозы, духовно высокой, с социальными мотивациями и богатой психологической палитрой. В этих вещах можно усмотреть близость — хотя бы по отношению к предмету литературы, к душе человеческой — с Бунинным, Купринным, Ремизовым, Пришвинным. Писателю надлежало стать в ряд со светилами русской словесности, при особливости почерка, собственном взгляде на мир... Вспомним в этой связи хотя бы рассказ о гимназистке Аве Городцовой, первой ученице, некрасивой, гордой своей бедностью среди купеческих, чиновничьих дочек, своим отцом, учителем уездного училища, слывшим бунтовщиков-революционеров: «вслух говаривал такие вещи, что от него шарахались, как от чумного». Когда объявили Февральскую революцию, местного главного жандарма свели в острог, на допросе он выдал Авиного

отца как платного осведомителя. Ава застрелилась из отцовского револьвера в беседке над обрывом. Сюжетный остов рассказа прост, но какие в нем тончайшего рисунка лица, характеры, отношения, как передана атмосфера гимназии, уездного городка в предгрозовое время с покриками угольщика: «Уголья! Уголья!.. Во-от березовы сахарны уголья!», с новоспеченными прапорщиками и первыми ранеными с фронта...

Соколов-Микитов написал «Аву» в 1927 году. Начиная с тридцатых годов он избегал социально-психологических сюжетов, интерес его сосредоточился исключительно на природе, пространстве, на человеке, преодолевающем природу и пространство; с самого начала свойственный писателю трагизм ушел в глубокий подтекст. Из путевых очерков, из предисловий к сочинениям Соколова-Микитова, юбилейных статей у нескольких поколений читателей отложилось в памяти, что был такой певец природы, жизнелюб, охотник, неутомимый странствователь, мореплаватель. Все это сущая правда — снаружи; а что внутри, что совершалось в душе, об этом почти не говорилось в книгах Соколова-Микитова, душевных движений он наружу не выпускал...

Покуда Иван Сергеевич был жив, я пользовался случаем побывать у него — в шестидесятые годы в Ленинграде на Московском проспекте, затем в «карачаровском домике» на Волге, — послушать его рассказы из собственной жизни; он доставал их из поместительной кошелки памяти, одаривал тех, кто оказывался за столом. Некоторые рассказы перерабатывались в литературный текст, другие, непечатные, оставались в памяти услышавших. Одну из историй Иван Сергеевич рассказывал с особенным вкусом. Началась война, ввели монополюку на водку; в то время они с Александром Грином жили в Питере, в номерах на Пушкинской. Душа горела, а выпить было нечего (почти как в наше время). Ездили в Царское Село, там продавали португальское вино «Порто» — портвейн в больших черных бутылках, оплетенных соломкой. В этой соломке и состояла соль рассказа: два русских писателя, не разделявших общего ура-патриотического настроения, — как сказали бы нынче, асоциальных, — складывали из соломки костер у себя в номере, выражая таким образом протест против «монополюки». Из окон валил дым, приезжали пожарные... Иван Сергеевич имел свою версию происхождения «Великой Октябрьской революции»: «Если бы не ввели монополюку на водку, то и революции бы не было», — он сардонически усмехался в усы, но глаза, как колодцы, отражали невидимые днем звезды, глубину многознания.

Слышал я от Ивана Сергеевича и о том, как в 21-м году в Берлине он пришел к Горькому поделиться жизненными планами. Алексей Максимыч выслушал его и сказал примерно так, по-нижегородски налегая на «о»: «В Россию задумал вернуться? Смотри, Иван... Большевики тебе пузо вспорют, кишку вынут, гвоздем к столбу приколотят, всю жизнь тебя вокруг столба гонять будут, пока все кишки не вымотают».

Рассказывал Соколов-Микитов и о последнем письме к нему Бунина, переданном с оказией. Собственно, дело было в последней фразе: «Я никогда не вернусь в страну, где за одно слово правды вырывают язык».

Понятно, что таким настроениям не находилось места на страницах сочинений Соколова-Микитова. С какого-то «чугунного поворота» (соколово-микитовское выражение) в своей судьбе писатель выводит за скобки «социальный анализ», политику, даже и самый быт, демонстрирует как будто непричастность, неприсутствие в реальном идеологическом климате. Он ищет такие жизненные ситуации, в которых брэнность человеческой твари и высота духа проявляются в «чистом виде». В 1933 году он участвует в экспедиции по спасению ледокола «Малыгин». Об этом, о гибели спасательного судна «Руслан» рассказано в эпопее «Спасание корабля» в отвлеченно-патетическом тоне.

Но время от времени при всем «мужественном стоицизме» и «сострадательном олимпизме», при целой системе средств избежать откровенности, не проговориться Иван Сергеевич высказывает твердое несогласие с установочными, официальными оценками. На склоне лет в автобиографическом рассказе «Свидание с детством» прорываются строки по-бунински отчаянно, заостренно-полемиические:

«Слово «родина» звучит для меня книжно. Я чувствовал неразрывную связь с живой Россией, видел доброе и злое, исчезавшее, что можно было жалеть и любить. Но никогда не чувствовал я пылкой, трагической любви, никогда не волновал меня возглас петербургского поэта: «Россия, нищая Россия!» Я знал и видел Россию кровью моего сердца; жесткие трагические недостатки, пороки, которыми болел народ, я чувствовал в самом себе <...> я сам был Россия, человек с печальной, нерадостной судьбой».

Будто вырвался из души возглас-вздых — столько в нем настоявшейся горечи, боли, несогласия с общепринятой ложью... Судьба писателя может быть уподоблена некоему дереву: крона зеленеет на виду у всех, а корни сокрыты под почвой. То, что на виду, литературное наследие, освоено, по достоинству оценено; подпочвенная, корневая ипостась судьбы и личности оставалась до последнего времени под спудом, под запретом; о многом не сохранилось письменного свидетельства.

Мы никогда, например, не узнаем, о чем разговаривали Соколов-Микитов и Твардовский в Карачарове на берегу Волги. Твардовский приезжал к карачаровскому патриарху

как на исповедь, для очищения души и для благословения (лишь немного известно из опубликованной их переписки). Иван Сергеевич обладал духовной силою, правом, завещанным ему той, бунинской, Россией, из которой он вышел, — правом благословлять.

В келью к «карачаровскому старцу» текли разнообразие лица, кто по духовной надобности, кто так, из любопытства. Знаю, что побывал в Карачарове у Ивана Сергеевича выдворяемый из отечества Виктор Платонович Некрасов. О чем говорили? Кто-нибудь знает, у карачаровского домика были уши... Не только же о видах на клюкву на болоте по ту сторону Волги. Хотя, помню, говаривали и о клюкве.

После смерти Ивана Сергеевича и Лидии Ивановны в Карачарове всякий май устраиваются соколовско-микитовские чтения для отдыхающих гигантского пансионата. На одном из чтений выступил как-то генерал Малофеев — боевой генерал, артиллерист, совсем уже старенький, шурин Ивана Сергеевича (напомню, шурин — брат жены, сам постоянно забываю); подружились они, когда одному далеко было до генерала, другому до известного писателя, — так вот, генерал предупредил собравшуюся публику, что расскажет поведенное ему когда-то Иваном Сергеевичем под мертвым секретом. «Раньше нельзя было и заикнуться, а теперь, пока сам живой, кое-что еще помню...» — и генерал рассказал в подробностях, будто с ним самим было, как ночью в том самом году в квартиру постучали, вошли двое, до утра все перерыли. Хозяин квартиры изготавился идти куда поведут. Ночные посетители ушли на рассвете, взяли расписку о неразглашении, оставили Ивана Сергеевича — до следующего визита. Едва они за порог, Соколов-Микитов опрометью к сердечному другу Федину — поделиться; иначе он не мог. Так и жил в постоянном ожидании ночного визита. Жил он тогда в Ленинграде, на канале Грибоедова; писателей из этого дома выковыривали ночами поодиночке, отправляли туда, откуда большинство не возвращалось, как с того света (Николай Заболоцкий вернулся через десять лет — в Москву). Кто следующий, не знали, в каждую ночь пускались, как в последнюю судную ночь.

Обещанное Горьким в 21-м году в Берлине сбывалось: большевики гоняли вокруг столба, выматывали кишки только за то, что Господь дал русскому человеку талант.

Положение Соколова-Микитова усугублялось его публикациями начала двадцатых годов в эмигрантской прессе, вызывающе несогласными с тем, что утверждали большевики. Кажется, возьми из архива, положи на стол кому надо — и ставь к стенке. Так и жил Иван Сергеевич недопоставленным к стенке, ожидающим, когда поставят.

Между прочим, Сталин не обошел Соколова-Микитова своим личным вниманием, как и Михаила Булгакова и Михаила Шолохова: выделить из массы крупную личность, талант — тут вождь не ошибался. После спасения ледокола «Малыгин» Соколова-Микитова как участника экспедиции пригласили в Кремль на политбюро, Сталин предложил ему свою поддержку. Личное внимание Сталина постоянно ощущалось писателем, как взрывное устройство под домом с тикающим часовым механизмом.

Однажды Александр Трифонович Твардовский спросил у Ивана Сергеевича (у И. С. в записной книжке: «поразительно сказал Твардовский»): «Как вас с такими глазами не расстреляли?» За что же, собственно, расстреливать? Не за прекрасные же, в самом деле, глаза? Мы знаем, что тогда в вину вменялись и мысли, даже не изреченные, по навету. Соколов-Микитов жил заложником собственных напечатанных строк. Всего один пример — из заметки «Крепота и тощета» (газета «Руль», Берлин, 15 июня 1921 года):

«В корне российского большевизма, а попросту необузданного своевольтства, лежит одна замечательная, но не всеми замеченная черта: большевизм в России укреплен сытими. (Позволим себе продолжить эту давнюю мысль Соколова-Микитова в наше недавнее, в сегодняшнее: первоначально сытые большевики за годы своевласть трансформировали эту свою особенность в ненасытное обжорство. — Г. Г.) Вспомните первые дни: сытые, полнокровные матросы и сытые латыши, сшибшие учредилку, и которыми в первые месяцы исключительно держалась власть; сытые матросы, латыши и китайцы до сих пор составляют ядро Красной армии, без которого она давным бы давно распалась. У вдохновителей большевизма не увидите истощенных, чахоточных физиономий, которые так часто встречаются у вождей эсеров и анархистов. Взглядитесь (у С.-М. так написано «взглядитесь») — это требует особой пристальности взгляда. — Г. Г.) в портрет верховного вождя большевизма: сытость, хитренькая круглота и беспредельное самодовольство, — три психологических стержня, на которые прочно насажен российский большевизм».

С этой стороны в этиологию большевизма не заглядывал и Горький, когда недальновидно публиковал в «Новой жизни» в 1917 году свои «Несвоевременные мысли».

Впрочем, о Горьком у Соколова-Микитова, в чем убедимся ниже, тоже свое, ни от кого не зависимое мнение. С наибольшей полнотой это свойство ума, интеллекта Ивана Сергеевича — не согласие с чужим мнением, а только так, как собственная душа подсказает, — открылось в записных книжках 50—60-х годов; записи велись главным образом в Карачарове; в те годы сочинения Соколова-Микитова издавались щедро, им сопутствовал успех... Карачаровские записи дают понятие о том, насколько все относительно, двудонно в этой судьбе.

Строчки из записных книжек, очень выборочно, включены в книгу «Давние встречи», она вышла в Ленинграде в 1976 году. С помощью литературоведа П. П. Ширмакова, — мы не раз с ним встречались в доме Ивана Сергеевича в Ленинграде и Карачарове, вместе проводили писателя в последний путь, — удалось кое-что выудить, воспроизвести из архива. Пропуски, отточия в тексте не потому, что непечатно, а потому, что не удалось разобрать почерк. Вот эти записи.

## 1955

**Н**икогда не думай о себе, о своих несчастьях. Как бы ни были велики эти несчастья, — всегда помни: кто-то несчастнее тебя! И никогда не любуйся собственными несчастьями. В этом и есть твердость духа...

Только в редкий час можешь рассказать другу... Но ведь таких часов почти нет. И, разумеется, нет таких друзей.

Истинное горе должно быть молчаливо.

В чем смысл постигающих нас несчастий? Большим несчастьем испытывается человек... Постигшее несчастье или возвышает, или убивает...

Страшная судьба Гоголя: не мог видеть в людях добра, сам не был добрым. Хороши, трогательны у Гоголя только старосветские помещики. Все остальные — хари...

Толстой любил людей больше Достоевского. Умел жалеть, знал свои слабости.

Язычество — поклонение матери-природе, силам ее. Христианство — отрицание природы. Во всем Евангелии о природе сказано два-три слова. Остальное — притчи, тяжкие предсказания и угрозы: «Не мир, но меч принес». Светопреставление. Страшный суд и ад.

Христиане истребили веселье на языческой земле... Начиналось христианство с погромов... И вся история революционного (церковного) христианства: войны, кровь... А дальше — золото... римские папы, власть, костры инквизиции, и кровь, кровь. В крови потопила себя христианская цивилизация.

В церковные христианские обряды народ вложил свое, языческое, и масленица, и «радуница», и чудотворец Николай, и Егорий Храбрый...

Только это и осталось в народном христианстве... Вера в чудотворную икону Богородицы — языческая...

«Будьте как дети!» Это и есть призыв к языческому. Дети всего ближе к природе. Все дети — язычники.

Просматривал свои очерки, печатавшиеся много раз. Позорно, слабо, неряшливо, «по принуждению». А ведь только это и печатали, этим кормился. Настоящее только «Детство» (да и то слабовато), кое-какие рассказы. Ну какой я писатель... А если и писатель, то в том, что «не написано»...

(В этом месте позволю себе комментарий как публикатор. Безоглядная полемичность Соколова-Микитова проявляется даже в отношении к каноническому Господу Богу и, как видим, к себе самому. Наше право не согласиться с автором записок (че для печати писанных), но нет у нас права усомниться в искренности его суждений: перед нами раскрывается страждущая человеческая душа. — Г.Г.)

Чем ближе к концу, к смерти, — ложь невыносимее, боль больнее, острее и слух и глаз. Что мог переносить в себе и в других, — переносить больше неумоги.

Смерть — избавление, смерть — покой — <...>

Смерть — полет в Бесконечное, к звездам. Чего же страшиться смерти, избавительницы нашей...

Как легко и просто, опрятно, целомудренно умирают животные...

Не смерти нужно бояться, жизни: жизнь мучает, жизнь держит в когтях. Войны, насилия — боязнь смерти. Стоит победить боязнь, — все кончится, наступит освобождение. Без боязни смерти невозможно никакое насилие (именно поэтому и пугают смертной казнью).

Зачем мы родимся, зачем умираем, зачем мы живем? Все тайна. Все знает один Бог.



Убить одного человека — преступление, карается законом. Убивать на войн расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы жизней — подвиг, поощряет <...> наградой. Но вот войны-то и развратили всех, все соскочило с зарубок... «Убить человека что трубку выкурить». И как, чем остановишь? Новой войной? Новым преступлениями?

Ложь, ложь, ложь... Ложь во всех позах, в смраде дыхания. Задыхаемся от смрад лжи... О, Господи!

Страшна русская жизнь, но еще страшнее русская смерть, русское наше одиночество, наша безысходная тоска. И как унылы, разорены, забыты наши кладбища могилы отцов и дедов. Да и кто у нас помнит могилу деда? И жизнь наша всегда была грош, не стоила «выеденного яйца». В этом и отрицательная «сила» наша, и нашей крайней отчаянности. С этой «силой» можно разрушить весь мир, но и можно сломать голову, исчезнуть с лица земли. Так исчезли другие народы, оставив лишь тревожные и печальные воспоминания.

О чем думать, о чем гадать, как не о судьбе народа своего, от которой неотделима личная судьба каждого из нас?..

Недоверчив, мрачен в душе своей русский человек. И веселье его больше угарное, напускное: вот-вот после песни возьмется за нож. И это самое ужасное: «жизнь — копейка!» На любое, самое ужасное и жестокое преступление легко склонить нашего брата.

Необыкновенно чистоплотный негодяй... Похож на пресмыкающееся: ящерицу, змею, которые тоже очень чисты, «чистоплотны»...

Боже мой, как несчастлив, как изуродован современный «цивилизованный» человек, теперь уже живущий в страхе неминуемой гибели, и как, в сущности, безнадежно и мрачно его близкое будущее.

## 1956

Сколько бы ни гордились, человек стал беспомощней и зависимей, чем во времена пещерного (каменного) века.

Счастье и доброту и радость убивает страх.

Сколько в нашей природе мрачного, грустного, нежного и как отложилось, отозвалось все это в характере человека.

Как и береза, осина — наше, русское дерево. А сколько в ней горечи, тонкой жалостности... Как трепыхаются, — будто живые, — даже в тихий день на тоненьких веточках ее поникшие листья, в какой яркий пламень, в темный багрец окрашена в позднюю осень. Кто родился и жил в русской деревне, не может забыть горького запаха осины, чудесно влившееся в букет русского лиственного леса.

Зябко жить на земле человеку.

Улыбнемся и мы солнышку, люди, самые неприспособленные на земле существа!

Боже мой, как фальшивы восторги перед нашими «великими достижениями», которые в конце концов сулят великие <...> голод и нищету (о рабстве и говорить нечего).

Как много и часто мы спорили о России, о нашем русском «народе». В сущности вся великая литература от Пушкина до Толстого... Спор продолжался до последних пор, до самого «переворота» (Чехов, Бунин, Горький и др.). И вот пришло наше будущее — и все прахом легло... И ничего не осталось <...> от чувствительных русских дворян с их великой литературой, ни даже самого народа, о котором шли такие жаркие споры <...> ни от могил (могилы обосраны).

Все значительное — трагично. Трагична сама жизнь людей: войны, распри, кровопролития, как бы торжественно они ни именовались. Трагична история самой нашей планеты. И так мало верится в болтовню чеховских и горьковских героев <...> тех и других, обещающих рай земной или небесный, одинаково сомнительный <...> И о «золотом веке» истории, о человеко-божестве...

## 1962

...Дует с «холодного угла»... По полю, как допотопное чудовище, ползает, ревет трактор. Колхозам приказано сеять «бобовые», горох. Клеверные поля вспаханы. Впечатление такое, что всем правит — наперекор разуму — злая, безличная сила...

Литератор и писатель. Различны понятия этих слов. Никак нельзя назвать «литераторами» Пушкина, Гоголя, Толстого. Литераторами были Белинский, Чернышевский и, разумеется, Горький, пустивший в оборот сне словечко.

Как непохожи дети: есть отвратительные и есть милые, как цветы. Смотришь на отвратительных, видишь: будущий мерзавец, прохвост. Милые дети — радость. Им радуешься, как чистым цветам земли.

Как бы ни была сложна и печальна жизнь, благодарю Бога за то, что мне дал: за любовь, за свет, за чистоту сердца. Зла никому не желал, не желаю. И когда придется из жизни уходить, скажу: благословенна любовь, благословенна жизнь, желание смерти — полет в вечность.

Страшная русская сказка: Мужик и Смерть. Всю свою жизнь за спиной в котомке мужик носит свою смерть. Так-то и я.

Если жизнь — бодрствование, а смерть — сон, отдохновение, то самоубийство, лишение себя жизни — лекарство от мучительной бессонницы. Принять снотворное.

Идея монархии: «утишающий»... Ну, а что нам дала монархия? Миропомазанных палачей, отце- и детоубийц, идиотов, распутников, блядей. В Англии монархия выродилась в игру, в занятное народное зрелище. Очень приятно иметь свою хорошенькую королеву, полюбоваться на пышные выезды, как на балет.

Боже мой! какая лютая непроходимая тоска, тяжкая душевная боль. И эти видения: глаза Аринушки, Алёнино обреченное лицо. Жить — мучение, убить себя, уснуть, отправиться в «Путешествие» — вот клапан <...> Что бы ни говорили, у человека единственное несомненное право — распорядиться своей жизнью. В этом праве нет ничего преступного. Преступно мучить, лгать, унижать.

(В семье Соколовых-Микитовых было три дочери: Ирина, Елена, Лидия. Ирину звали Ариной, Елену Аленой... Младшую вскоре унесла болезнь. Через десять лет не стало старшей. Вся сила любви родительских сердец пролилась на среднюю — Алену... Она утонула в озере на Карельском перешейке в 1951 году. — Г.Г.)

Трехмиллионный норвежский народ гордится именами своих великих людей. Живет на камнях, в лесу. А мы? С нашим черноземом, с несметными нашими богатствами. Боже мой!

«Рай земной» менее реален, чем церковное «мира скончание». И так же, как о рае небесном, все очень туманно и неясно: те же райские яблочки, птички, «всем по потребностям». Вот ад — это, по крайней мере, все отчетливо, ясно: сковороды, котлы со смолою (тут фантазия беспредельна), атомные бомбы...

<...> в Евангелии ни слова не сказано о природе — о Солнце, о Земле — об Отце и Матери нашей (б. м. отвращение к природе — это еврейское), а если и есть отдельные упоминания, то это Мертвое море, бесплодная смоковница, Гефсиманский сад... Кровь! Крестные муки! Искушение кровью! Обреченность человека на крест и крестные муки. Какой страшный, жуткий смысл в этих словах. И не потому

ли в истории человечества именно христиане столько пролили крови, столько совершили жесточайших казней...

Таких лютых казней не снилось даже язычникам в эпоху человеческих жертвоприношений...

«Стихийное», «по своей воле» сшибание крестов с церковей по всей «святой Руси» — это месть языческого народа за поверженных в реки идолов, через тысячу лет.

Пришвин точно всю жизнь в зеркало смотрится...

А вот Чехов — светлая душа, и как любил, жалел людей, хотя и был «колючий». И ни капельки самообожания, лукавого мудрствования. Чехов в зеркальце не смотрелся...

И у Горького что-то от «монастырского»; был книжник и фарисей, любил фимиам и елей и очень любил «денежки»... умел «деньги делать». Любил поучать и обличать (фарисейство). Любил <...> богослужебный слог, часто употреблял церковные словечки: «сиречь» и пр. Сочинил житие — свое собственное, как многие отцы церкви... И читают <...> как «священное писание», как «жития»...

История человечества полна страданий. Народы приходили и уходили. Возникали и исчезали цивилизации. Формы насилия менялись. Но все, в основном, оставалось. Что обещает человечеству современная цивилизация? Угрозу гибели и войну, в тысячу раз грознее войн прошлого, или спасение, взлет?..

В «непротивлении злу» <...> великая сила и бессмертие...

Слабый может быть очень жестоким. Жестокость и есть признак слабости. Уверенному в своей силе зачем быть жестоким? Он милостив, доброжелателен, добродушен и добр.

Зло делать проще, поэтому так распространено зло...

Если основа добра — самопожертвование, то зависть — основа зла...

Способность любви так же редко дается людям, как всякая одаренность. Как часто выдают за любовь подделку. Основа (истинной) любви — (материнство) самоотвержение, жалость. Для матери нет разницы между ребенком уродливым и прелестным. Урода, несчастного, негодяя она больше жалеет. Такова подлинная любовь. А какая цена любви, не имеющей этой материнской основы?

Нет ли в нас чего-то детского, языческого? Мы как дети: нас так легко <...> повернуть на зло и на добро <...> И так дешево ценим мы жизнь, счастье, которого никогда не замечали.. Как детски трогательны мы и как корыстны <...> как добродушны и как чудовищно жестоки, как отважны и как позорно трусливы, как трудолюбивы <...> и как равнодушно ленивы, как любим «родимую землю» и как навсегда от нее отрекаемся, — да и вообще от всего отрекаемся, от самого даже святого. В минуту все забываем, кидаемся подчас на худое, чужое и чуждое, ломаем себе и другим головы. И все «ни за понюх табаку» <...> Вот тут-то <...> тут — Достоевский, у которого самого две «пропасти» в душе.

Боль душевная и боль физическая протекает одинаково.

Но душевная боль (не приступами) невыносимее, острее. Чувствуешь облегчение, когда острая боль физическая заслоняет душевную невыносимую боль.

Что же изменилось? Боль осталась все та же. Оторвет ногу на «империалистической» или «отечественной» войне — солдату больно одинаково, и вряд ли кто-нибудь с оторванной ногой способен думать себе в утешение, что отдал ногу «за правое дело», за <...> отечество или «за царя». И страдания те же. И та же смерть. Весь вопрос в том <...> где больше страдания, где — участия, милосердия и любви.

Нужно ли записывать то, что видишь и слышишь ежедневно? Наверное, нужно и, наверное, — это главное. Но как трудно! И как много видишь и слышишь чепухи, сколько получится «отсева», пустой шелухи. Самое важное — видеть основное, отличать нужное от ненужного. И, б. м., это лучше видят посторонние? Самые верные свидетельства о быте, укладе древней Руси оставили иностранцы <...>

Раскачка, разумеется, пошла не та, но все остается по-старому: всю «внутреннюю» трагедию нашу <...> всю «историю» отражает переписка Курбского с Грозным. Оба ненавидят и обличают <...>

Очень возможно, что многие теперь ведут дневники, пишут «записки», с тайной уверенностью, что это все пригодится. Так ли? Так ли уж достоверны и правдивы дневники, написанные «для себя» и для «потомства»? Кое-что, разумеется, останется <...> Там, где только «жалобы», или одно «восхищение», или фотографические зарисовки (такие, разумеется, нужнее, хотя и не угадаешь, что именно зарисовывать), без пользы пропадет. К чему кинутся потомки, изучая <...> нашу эпоху? Как всегда, — к летописям, к «сказаниям», к «документам». Но много ли у нас теперь летописцев? А что представит потомок о наших днях по «художественной литературе»? (По Чехову мы можем представить людей, эпоху.) <...> Разве кое-что останется от «Тихого Дона» <...>

Охотники, как и писатели, есть талантливые и бездарные. Талантливость охотника не в том, что он умеет найти и обойти зверя и много приносит добычи (это лишь ремесло охоты). Современный «охотник» жаден, жесток. Главное для него — побольше наколотить, настрелять дичи. Он почти не задумывается, не примечает — как прекрасен, привлекателен живой мир природы. В этой природе он только душитель, палач. Он не жалеет подчас и самого себя, мучает изнурительной и ненужной бегомней, неудобными ночлегами, бессмысленной гоньбой, после которой приходит изнуренный, совершенно забывая, что усталый до крайности человек не способен воспринимать радостно и не многим отличается от запойного пьяницы. Да и слишком уж мучаем мы себя этой бесполезной, подчас опасной для жизни бегомней, <...> очень похожей на <...> одурение.

И в нынешних «охотничьих» рассказах, которых написано теперь так много, авторы любят один перед другим похвастать слишком «тонким» знанием. Из многих знакомых охотников — больше всех ценю покойного Н. А. Зворыкина. Это был подлинный охотник — поэт и знаток природы. Но ведь он никогда не щеголял знанием «тонкостей» и после пятидесяти лет, как многие *настоящие* охотники (в том числе и Аксаков), не брал в руки ружья.

Среди деревенских охотников в прошлые времена я встречал таких охотников-поэтов. То же в литературе <...> Берут количеством, объемом, а нечего читать, нечему истинно радоваться, книги <...> не радуют, не возвышают.

Не только зайцев и рыбы стало мало <...> опустошены реки, вырублены леса. Вот в этом-то больше всего «от проклятого прошлого».

Образец фальши, подхалимства, блудословия — «Русский лес» Леонова. Ни одного слова правды. Фальшивый язык, надуманные люди и — главное — ни капли любви к лесу, к природе ... И все это с ужимками, с циничной развязностью, с претензией на «значительность».

Боже мой, да есть ли на всей земле более несчастный, более измученный народ?! Мы как бы родились несчастными. И эта наигранная удаля, «бесшабашная» наша веселость, готовность сломить себе шею... И вместе с прославленной удаляю <...> Давно все носим с чужого плеча. И свое давно все растратили. Думаем чужою головою, подражаем чужому (и, конечно, плохому). И отвратительная неряшливость наша, отвращение к труду. Дикая страсть к разрушению, даже собственной жизни. Ребенок не пройдет мимо, чтобы не сломать деревца, не растоптать цветка. Воспитание детей (а в этом самое главное) у нас ужасное. И все это при трогательности русского характера, русской души. Да ведь и вопили писатели наши об этом родовом нщем двойном свойстве. Разве от ненависти к народу только вопили? В фальшивом восхвалении, умолчании недостатков наших больше цинизма...

(Как видим, у Соколова-Микитова своя концепция русского национального характера, «русского пути» в связи с отношением к христианству, а также уроками собственной

судьбы русского писателя «при социализме». В чем невозможно заподозрить Ивана Сергеевича, так это в русофобии (более русского человека — в полном, лучшем смысле — трудно себе представить) или «чаадаевщине», исходе в другую веру. Совершенно органический, не выказывающий себя патриотизм Соколова-Микитова включал в себя как нравственный императив скромность, критическую самооценку. Словно заглядывая в наши дни, предвидя наше размежевание по «русскому пункту», писатель остерегается от кичливости, самодовольства, национальной фанатерии, понимая, что крайности сходятся. — Г.Г.)

Ночью перечитывал рассказик Чехова «Счастье». Степь, овцы, люди, древние курганы. Разговоры о кладах, овечьи думы, овечьи мечты. Боже мой, какая тоска, какое отчаяние, какой безысходный русский пессимизм. Как честно показана народная Россия! В этом весь Чехов, писатель удивительно русский и такой печальный, как был печален Гоголь (но разве он ненавидел, он страдал); как печальна и трагична Россия. Как не похож он на Горького!

Назовите хоть одну веселую русскую песню. Даже от «Барыни» и «Комаринского» мороз по коже дерет.

Не будь коротких «эстрадных» рассказиков (подчас очень глубоких и печальных) да чеховских пьес с говорливыми интеллигентами, тоскующими дамами, офицерами и профессорами, — Чехова, пожалуй, и не прославили бы. Ну кто из «широких» читателей Чехова помнит «Студента» или «Архиерея»? Знают «Налима», «Хирургию», «Вишневый сад». Чехов умер давно, но как и поэны современные! И какой <...> зоркий глаз, какой точный и чистый язык! Ну кто может теперь так писать <...> Пишут толстенные книги, высасывая из пальца или папиросы. Никогда еще писатель не был таким барином <...> Народ изучает по домработницам, по шоферам. И никогда-то не были так избалованы, никогда так не надувались. Первым дуться, «умничать» в литературе стал Горький. За умничанием легче всего скрыть равнодушие, пустоту души — в этом он «основоположник» <...>

Вчера у местных писателей. После первой рюмки все кричат, как на деревенской свадьбе, никто никого не слушает... «Без тормозов» — черта русская, дикая, так и живут все «без тормозов», без умения управлять чувством, языком, мыслью. Сумбур, шум. Вообще любит нынешний человек шум: рев репродукторов, матерщину...

Говорят о «литературной смене», о молодежи. Но какая же может быть смена? Учиться у Панферова и Полевого? Старшее поколение современных писателей — корнями уходит в прошлое, только верхушка гнилая. Ну, а где корни у молодых? Литературный институт? Будь у меня сын, дочь, самое горькое <...> было бы, если бы затеяли идти в Л. И. Говорить об этом нечего, всем известно: не в Лит. инст., а в живой жизни растет и воспитывается писатель. И первый наш институт — воспитание, жизнь, семья, природа, первый профессор словесности — родная мать.

Горький — явление <...> от него все пошло. Подмена ума умствованием <...> презрение к страданиям, необыкновенная развязность. Дурной надуманный язык (Лев Толстой все это видел, беспощадно высказал). Дурная напыщенность и — как ни странно — плохое знание жизни, людей. Все шито на одну колодку, все говорят одним языком <...> Все умничают.

Чехов — противоположность Горькому, знал жизнь, людей. Не презирал их страданий, слабостей. Да и не так любил деньги, славу. И жил не так.

Книге кланялся Горький, как «образованный» лакей <...> старавшийся казаться образованнее господ. Истинной культуры у него не бывало <...>

У всех врагов и злопыхателей <...> одна коренная ошибка: свергнуть ненавистную им Советскую власть они бессильны! Это невозможно, как невозможно насильно повернуть или изменить <...> ход истории. Все, кто «дерзал», погибли, в том числе Гитлер, имеющий в истории значение лишь эпизодическое. Уже то, что один за другим разбивали головы наши враги, показывает, как глубок исторический корень пути, конца которого никто не знает, даже те, кто считает себя вершителями и зачинателями историч. прогресса.

Нет такой головы, чтобы могла предсказать точно, что станет через сто, двести или тысячу лет. Земной рай или пустыня? А если так, о чем же думать, чего страшиться? Видишь и слышишь одно: «море по колена» и «мать твою...» Самый циничный, самый неверующий, самый отчаявшийся мы народ <...> На этом-то все и держится. Вертится.

Вкус воспитывает или природа или самая высокая цивилизация. Взгляни на орнамент дикарей или на поморские крестики <...> Какое чувство меры, какая игра красок! Вот это чувство красоты безнадежно теперь утрачено. И пишем и говорим, не чувствуя никакой меры. Не замечаем безобразного — вот что всего страшнее и всего безнадежнее.

Что же бояться смерти? Придет, накроет крылом <...> Не смерть — нас мучает жизнь. У жизни мы на цепи. И как неохотно расстается жизнь со своей жертвой. Потому так и страшны последние мгновения. <...> их-то и страшишься.

Победила смерть — наступает покой. Спокойные лица у мертвых.

Хорошо бы верить так, как веруют простые бабы, как в детстве мы верили «в боженку», нашего ангела-хранителя. Как верили дикари в силу природы.

Но что дает вера в будущее, которое столь неясно и туманно, как поповский рай и райские румяные яблочки? В младенческой и дикарской вере была, по крайней мере, поэзия. А тут что? Древняя религия требовала неизбежных жертв, человеческие жертвоприношения совершались редко, заклались больше «тельцы». Здесь на гигантский жертвенник нового страшного божества кладутся миллионы человеческих жизней, кровь льется рекой. И все в жертву недостижимому божеству Будущего, которого можно этак и возненавидеть.

Несчастье не соединяет людей, а разъединяет. Где нищета, там раздор, воровство и разбой, где теснота, там драки и ссоры (поножовщина). Дать людям немного простора — как все изменится! Человек станет радоваться человеку.

Насильственное объединение ожесточает. Мы забыли, что самое приятное — делать добро.

Даже маленькая услуга, которую сделал ближнему, ободряет. День, начатый добром, — счастливый день. Даже если солнце не светит, и то светло.

Всему можно верить, любым «преобразованиям» и переменам, совершаемым якобы для «блага народа». Одному никогда не поверю, — что зло можно сотворить добро. Чем сильнее насилие, тем зла и ненависти больше. Это закон непреложный, подобный физическому закону, другого закона <...> нет. Так подсказывает сердце, так утверждает сознание.

Не все ли равно, какой вывеской прикрыто насилие, какие придумываются для оправдания зла формы? Зло всегда зло, добро всегда добро.

Зло «доступнее» добра. Поэтому зло распространеннее. Совершая зло, не приходится ничем жертвовать, добро требует самопожертвования. Отниму, обижу, убью — так просто! Отдам, поддержу, прощу, возьму на себя — это труднее.

Мы разучились отличать добро от зла (живем по готовым формам), и зло растет уже неукротимо.

От этого такое ожесточение.

Невероятным образом злое в нас сочетается с трогательным и добрым. Мы разбойники, мы и дети. Не в этом ли разгадка необычайной «талантливости» нашей, исключительного русского размаха, гоголевской знаменитой тройки?

Летим сломя голову, и с места не двинемся. И уж сторонятся, подчас восхищаются нами народы. Мчится тройка — по ухабам, по буеракам, ломает кости, ломает колеса, ломает головы. И уж как будто много тысяч верст отмахали <...> уж падают от усталости измученные лошади, а все погоняем, все кричим. Тысячу верст проскакали, а дороги-то прежние и седоки <...> старые знакомые: Чичиков, Петрушка и Селифан.

(Помните, точно такой же ход мысли вызвала «Русь-тройка» у совхозного механика Романа Звягина в шукшинском рассказе «Забуксовал»? Сын Валерка вслух учил «Птипу-тройку», отец прислушивался, и вдруг его осенило:

«— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так... Ну? А тут Русь-тройка... А?

— Ну. И что?

— Как что?! Русь-тройка все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...»

Рассказ «Забуксовал» написан в 1973 году, за год до смерти Василия Шукшина, за два года до смерти Соколова-Микитова. Два русских писателя жили тогда в Москве через улицу друг от друга и не знали об этом. — Г.Г.)

Был слабым, мерзким, ничтожным, но, кажется, никогда не был еще негодяем: на чужом горе не строил своего благополучия.

Но почему же так мучительно <...> точно совершил множество преступлений, и никакого помилования нет. Истинные преступники и негодяи не раскаиваются, им и в голову не приходит, что можно раскаиваться, мучиться и страдать. Над муками совести они смеются.

Так часто преступники и убийцы попадают чуть ли не в святцы. Их принято считать людьми сильными, «великими». А самое понятие «совесть» давным-давно перевернуто.

Страхи все те же, что были когда-то в детстве, когда просыпался в холодном поту, молился и клал в рот нателный крестик. Горела в углу лампадка, был виден знакомый лик Спасителя, так строго смотревшего на меня. Какие молитвы я шептал и засыпал успокоенный (очень возможно, что эти страхи находили от того, что в комнате было жарко натоплено и мы задыхались).

Вот бы уметь молиться, как молился в детстве, как молятся верующие бабы. У же не могу так (как-то стыдно, смешно совершать телодвижения, креститься, бить поклоны). Но все еще молюсь и крещусь. Это от детского...

И, Боже мой, как иногда страшно, какая *пустота*! Попы и монахи сказали бы: от безбожия, мучает дьявол. Там, где нет веры, пусто.

Но ведь отлично спят неверующие <...>

Не только в «счастливое будущее», — никто не верит в завтрашний день! Да и никогда не отличались мы доверием: мужик не верил барину, барин не верил мужику. Так все и во всем. И — дело давешнее: всегда охотнее верил русский человек самой нелепой небылице, чем чистой и прозрачной, как стеклышко, правде. В этой природной недоверчивости несчастная рабская черта наша. На этом и попались (как кур во щи)...

И Пушкина и Толстого народ знал лишь понаслышке. Знали и прославляли их одни образованные люди, которых была лишь тончайшая прослойка. Какое дело мужикам и бабам до Онегина и Карениной? — господская дурь! Народ читал разбойника Чуркина да жития святых (разбойников чуркиных и теперь предпочитают читать). Что же говорить, что «дорог» был Толстой? Те, кто так думают, ошибаются, — как ошибались рязанский и тамбовский губернаторы, жандармское начальство, распорядившееся послать в Астапово наряды стражников и городовых. Совершенно справедливо телеграфировал обеспокоенному начальству командированный в Астапово жандармский ротмистр Савицкий: «Все спокойно, волнений нет».

«Тихий Дон» Шолохова потому народен, что там о разбойниках: режут, стреляют, кровь проливают. Такую «разбойничью» тему «народ» любит. А что же про вздохи и ахи писать, в «высокую материю» вдаваться? Истинные «народные» герои всегда были разбойники.

Боже мой, — как радуется в человеке светлое! Есть, есть в людях хорошее! И никогда-то не был «человеконенавистником», и как неправы те, кому кажусь «мрачным». Еще можно поспорить, кто больше *любит жизнь*.

А если и скажешь горькое,— разве от зла? Вот самые те «сахар-медовичи», льстецы и луны с <...> лягушачьими сердцами,— кого любят они?

Из них-то и выходят наши мучители...

Истинно счастливы, благополучны были лишь маленькие, малолюдные страны (разумеется, пока не наступит сапогом «могучий» сосед): Швейцария, Дания, Норвегия. Там на счету люди и дорого самое дорогое — жизнь и труд человека.

У китайцев «буддийское» отношение к смерти, внедренное в душу тысячелетиями: там, на том свете будет «нирвана», отдых рукам и ногам. И в этой вере в «нирвану» и равнодушии к смерти — их сила и слабость.

Может ли быть подлинно счастлив и весел человек на земле, жаждущий «небесного отдыха», и что (кто?) может быть сильнее человека, смерти совсем не боящегося?

Подлинная причина этой странной веры и непрерывных гражданских войн — страшное многолюдство: человек в Китае, как мусор и сор.

Можно ли переделать за тридцать или триста лет народ, вывести все, что пластовалось в его душу тысячелетиями, веками,— всем ходом истории, географических и природных условий? Можно искусственно изменить быт, разворошить и раскидать муравейник, можно построить новые города и устроить великие кровопускания — и все же в глубине души народ долго останется прежним, сохранит что-то от приобретенного предшествовавшими веками <...> И если цел, невредим останется он на земле, если не растворится, не расплавится совсем душа,— себя непременно покажет.

(Примерно в то же время, когда И. С. Соколов-Микитов в Карачарове выводил судьбу своего народа из «географических и природных условий», Л. Н. Гумилев вырабатывал теорию этногенеза в зависимости от биосферы Земли, то есть опять же от «природных условий». Надежду писателя на то, что народ... «себя непременно покажет, если не растворится», ученый связывает с «пассионарностью» — вспышкой активности, источник коей в состоянии биосферы. Жизнелюбивый, полный огня и страсти, очень «литературный» Гумилев в выкладках ума на будущее не то чтобы мрачен, а планетарно свободен, как и «карачаровский старец»: «Биосфера, способная прокормить людей, не в состоянии насытить их стремление покрыть поверхность планеты хламом, выведенным из цикла конверсии биоценозов. В этой фазе этнос, как Антей, теряет связь с почвой, т. е. с жизнью, и наступает неизбежный упадок».

Обращаюсь к этому примеру не для «сближения позиций», тем более не для соизмерения величин и вкладов, а чтобы продемонстрировать общую направленность умов в одно время у одной нации (этноса). Умов никогда не бывало в избытке; Гумилев, обозначая обладателей умов (и сопутствующих ему признаков крупной личности) как «некоторое количество пассионарных особей», говорит, что «они самим фактом своего существования нарушают привычную обстановку, потому что не могут жить повседневными заботами, без увлекающей их цели». — Г.Г.)

Если споткнулся, упал и не умел подняться,— сам за все и отвечай. И никогда, никогда не ищи сочувствия (!!!), как бы ни было глубоко и непоправимо твое горе. Как и природа, люди — неведомо для тебя — участием своим лишь «подчеркнут» твою обреченность. <...> Собери все силы и будь мужественным и, главное, никому не мешай <...>

За много веков существования христианства построено множество великолепных городов, возникли и разрушались могущественные империи, возводились великолепные храмы и дворцы,— но от самой сути христианского учения («возлюби ближнего своего») не оставалось и «на понюх табаку» <...> по щекам хлестали друг дружку <...> и почти никогда не пресекались реки крови. Не будет ли то же самое и с новой, уже без Бога и Христа, религией, обещающей великое, небывалое «братство и мир всех народов» <...> Уже под другими названиями и все, как в христианстве.

Да и как любить можно, если никаких грехов нет и нет падений и все по одной лишь линейке и все «блестит». На народном языке и не было слова «любить» — «жалеть», т. е. любить можно лишь то, что несчастно, грешно, что переживает «падение» (в этом и смысл любви христианской, «сошествие Христа на Землю» — о



чем только и твердил Достоевский)... И потому так дорога Россия с ее беспутьем, ее «осенними потемками», *своя* Россия, в которой — кто знает, — может быть, вершится теперь самое <...> дело.

Отчего так чудесно пахнет лесная земляника и так тонко благоухают цветы на самом далеком, почти недосыгаемом Севере (даже самые обыкновенные незабудки там удивительно пахнут), и почему так нежны, так поразительны эти цветы, вянущие от одного прикосновения, всходящие прямо из-под снега, стойко переносящие стужу и ветер? Кто и как объяснит это чудо?

Ничтожное, что сделано Мичуриным (один из великого множества мичуриных), делалось всегда и во все века, начиная от каменного, когда человек приручил волка и сделал из волка преданную себе собаку. И никто никогда этим не похвалялся и не воздвигал себя в божественный сан. Мичурин понадобился только для того, чтобы показать, что «человек может делать сам все» и истинный Бог давно свергнут. Но если одними мичуринскими переделками ограничивается божественное могущество человека, — как жалок, как ничтожен этот человек, нагло назвавший себя Богом.

Пишут трилогии, пудовые романы, а вот чеховской «Душечки», «Архиерея», бунинского «Сверчка», толстовских «Поликушки», «Гусаров», «Хозяина и работника», тургеневских рассказов — и в помине нет. А этим-то и велика была русская литература, быть может, единственная в мире: своею человеческой глубиной и сердечностью.

Если есть у тебя сила, не показывай никому свое горе... Не ищи ни у кого сочувствия, поступай, как совершается в самой природе. Уединись, покорно отдайся судьбе, — никогда никому не завидуя, виновников горя не ищи...

Ни капиталов, ни счастья, ни покоя не имел и не имею, а здоровье и молодость не вернешь. Жалко одного внука, но — где и в чем лежит его счастье?

(Внук Саша жил в семье деда с бабушкой, даже взял себе фамилию деда; на него пролилась вся любовь Ивана Сергеевича и Лидии Ивановны. Нынче Александр Сергеевич Соколов — доктор музыковедения, преподает в Московской консерватории, живет в квартире деда на проспекте Мира. В кабинете Ивана Сергеевича все так, как было при жизни писателя. На попечении внука и дом в Карачарове — любимая обитель «карачаровского старца»)

Однажды по телевидению была передача о Соколове-Микитове, показывали «карачаровский домик». На другую ночь архаровцы совершили набег на обитель, взломали кровлю, потолок, учинили внутри разгром, нагадили. Сокровищ в домике не нашлось, их не было и при жизни писателя. — Г.Г.)

В церковном христианстве так много языческого, но без поклонения матери нашей Природе. Земную доступную природу сменили непостижимые небеса («Будьте как птицы небесные!»). В церковных обрядах от язычества осталось лишь дурное: золоченые облачения, иконы (в православной церкви особенно много грубой и безвкусной восточной пышности). От идеи первоначального христианства («будьте как дети») следа не осталось. Почти вся история церковного христианства — изуверство, кровь, пытки и муки, костры, и дальше — пустота, неверие, поповский цинизм. В нас, русских <...> людях насильно навязанное восточное христианство лишь разожгло ненависть к природе, страсть нашу к всеобщему разрушению. Начиная с Перуна <...> все разрушали, все разметали, — не щадили собственной жизни и крови своей, которую возместить невозможно <...> Да и были разве истинными христианами — с чудотворными нашими иконами, с упрямыми и тупыми раскольниками, колдунами и бабой-Ягой, с «престольными» праздниками, русскими «поминками», молебнами, дьяконами и попами, ничуть не отличавшимися от колдунов.

Ну, какие же христиане, что было в нас от святой истинной Руси?.. Если остались детьми, то детьми злыми, безжалостными (такими-то так часто бывают дети).

Не верю, не верю выдуманному восточному некогда «православию» нашему, не верю Федору Михайловичу Достоевскому, надуманным его героям, *прославлявшим «русского» Христа*. Верю толстовскому Алеше Горщку. Да и почти все русские простые люди (крестьяне), *лучшие* из них, которых знал, были равнодушны к религии, а если ходили в церковь, соблюдали праздники, то по-язычески, *что лишь*

обычай и языческую старину. Никаких «христианских» идей у них не было, молились, как Алеша Горшок, «только руками». Подавали нищим, помогали слабому, кормили сирот, и все это не зная «церковного писания», без поповских нравоучений (попы-то обычно и бывали жаднее всех). Эти простые неискушенные люди, т. е. в сущности настоящие язычники, близки Богу больше начетчиков и фарисеев (к этим начетчикам и фарисеям можно причислить и нашу безбожную «интеллигенцию»).

Что дало нам православие, Византия, сама обреченная на упадок и развал? Аляповатые церковные облачения, иконы в серебряных окладах... Рублев, София, Нередица — исключения (своей старины мы никогда не берегли). Да и безобразно неряшливы, не бережливы мы были всегда. Уважали <...> неволю. Издеваться над тем, кто не похож на нас. И как редко в истории нашей светлые вспышки сознания <...> И все это при необыкновенной талантливости нашей, при необычайной склонности переинимать.

Да и только ли одно восточное христианство, Византия? А татарщина, смуты, вражда, крошечное наше невежество, суровый наш климат, непроходимые леса, непролазные болота, запущенные <...> пространства, в которых, по гоголевскому слову, «есть где разгуляться». Иван Грозный, Петр, бироновщина, Распутин, бесчисленные российские прохвосты, жулики, дураки, Чичиков, Ноздрев... О, Боже мой, Боже...

Жадность, жестокость, цинизм, лукавство, распущенность, воровство — вот они, исторические качества наши, и все это наряду с трогательной детскостью, простотой, добродушием. И какая сторона «народной души» сильнее? Пугачев и Распутин или «святая чистая Русь»? Никому никогда не верили, особенно людям правдивым, честным, искренно «покладавшим души своя» за народное счастье <...> Герои народных песен — кто «больше пролил кровушки», кто больше «погулял, пошалил, загубил душ христианских». Хороши и святорусские богатыри наши, с самим князем Володимиром — «Красное Солнышко», хороши богатырь Илья:

Он начал по городу похаживать —  
 На божни храмы да он постреливать.  
 А с церковей-то он кресты повывломал,  
 Золоты он маковки повыстрелял.  
 С колоколов языки-то он повыдергал.  
 Заходил Илья в дома питейные,  
 Говорил Илья да таковы слова:  
 «Выходите-ка, голь кабацкие,  
 А на ту площадь на стрелецкую,  
 Подбирайте маковки да золоченые,  
 Подбирайте вы кресты серебряны,  
 А несите-ка в дома питейные...

В этом-то и «суть» наша, суть «богатырства» нашего, остальное выдумали «господа», на кроватях лежучи, разезжая по разным заграницам...

Толстой в каторге не был, на «эшафот» не ступал, а тюрьму — в «Воскресении» — описал и правдивее и человечнее, чем Достоевский в «Мертвом доме». Да и поменьше по заграницам ездил, знал мужиков, крестьянскую Россию — Россию <...> основную, а не петербургских «монстров», Раскольниковых и Подростков, вымышленных «идиотов». Толстовский мужик — мужик, барин — барин. И все как в подлинной жизни, которую нельзя выдумать.

Достоевский архаичен, надуман в книжном своем языке. По-прежнему свеж Толстой, хотя и недосыгаемо далеки от нашего времени любимые герои его...

Пришвин <...> На своем эгоизме, со своей эгоистической философией, отдавал сердце лишь себе самому и «своим книгам», питаясь, впрочем, «соками» <...> Был криклив, но вряд ли храбр... Как городской барин и интеллигент <...>

Никогда не чувствовал любви, трепета («благоговения») перед Америкой, за всю жизнь не сказал ни одного словечка с живым американцем, за границей всегда чувствовал себя «инородным телом», на моряков-американцев смотрел, как <...> И никогда, никогда не тянуло в Америку, не манил «бизнес», американский материализм.

А вот эти, кто лает <...> на Америку — все эти Симоновы, Эренбурги — типичнейшие бизнесмены на «американский» лад, — да эти-то и мечтают только об Америке, об американском успехе. Их личная жизнь это доказывает, «изворотливость» совести <...> У этих и мера и вес: «здесь» они только потому, что «там» такой славы и «мощи», такого почета добиться труднее.

Гоголь — «непереводимый», ненужный для других народов, а мы все понимаем <...> И у других народов бывали свои Гоголи — и это подлинное. И Пушкин был не принят и не интересен (считали подражателем Байрону). Для нас Пушкин — все. Были доходчивы Толстой, Достоевский, из последних — Чехов. (Бунин — его «Деревня», — разумеется, не понимали, да и не только там, а и у нас)...

Самое удивительное в истории человечества — многовековое «существование» разных государственных систем и враждующие между собою религии, служащие предметом для возникновения борьбы...

От прежних <...> монархий, с абсолютной божественной властью деспота, украшавшего себя пышными регалиями, давным-давно ничего не осталось <...>

Но, быть может, необходима эта кровопролитная борьба, которую тысячелетиями ведет между собою все человечество. И не существенно, какими причинами вызывается эта кровопролитная борьба: спором за власть, за «пространство», за преимущество политических систем... Самое важное: всегда льется кровь и везде витает насилие. Но, м. б., все остановилось бы без этой необходимой Природе борьбы? Да и в самой Природе, к которой принадлежит человек (как бы ни гордился и себя ни называл), происходит тоже «кровопролитная», жестокая борьба — один погибает в этой борьбе, другие приходят, — и все движется...

(На этом заканчивается карачаровская записная книжка и наше короткое приобщение к неп прочитанному Соколову-Микитову, потаенной беседе писателя с самим собой; в ней отразилась диалектика русской души, которая «так много помнит».

Уверен, что архив Ивана Сергеевича Соколова-Микитова заключает в себе неоценимый материал для того, кто задастся вопросом, что значило «родиться в России с умом и талантом» на сломе эпох. — Г.Г.)

Читайте в 1992 году:

И. С. КАРПОВ

По волнам житейского моря

Автобиографическое повествование крестьянина, выразительный «человеческий документ» — о судьбах русского народа и Церкви в XX столетии. Предисловие Г. В. Маркелова. Подготовка текста Г. В. Маркелова и С. С. Гречишкина.

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МИХАИЛ БЕРГ

\*

## ЧЕРЕЗ ЛЕТУ И ОБРАТНО

**О**дна моя знакомая уверяет, что может узнать возвращающихся оттуда по глазам. Словно побывали они в каком-то запредельном, чуть ли не в загробном мире, узнали там нечто важное о жизни здесь, вернулись и смотрят на все иначе, хотя и не могут словами выразить это свое новое знание. «И у тебя другие глаза», — сказала мне она. Что же увидел я за три недели жизни в Германии, коль скоро глаза мои изменились (если, конечно, изменились)?

Я жил в Гамбурге и Мюнхене, побывал в Западном Берлине, проезжал Ганновер, Гёттинген, Аугсбург. Чтобы взгляд изменился, надо было, чтобы меня что-то поразило, удивило, — хрусталик сдвинулся, переместился, воплощая оставленный ему природой люфт. Выбор экспозиции. Кстати, в Германии впервые в жизни я начал фотографировать. Фотографировать — сильно сказано: пользовался врученным мне перед отъездом японским полуавтоматом «Pentax», частенько, очевидно, раздражая своих спутников, ибо останавливался на ходу, щелкал затвором, просил перемотать мне пленку, пока не научился делать это сам с грехом пополам. С грехом пополам — это формула жизни. Пример вещей, определяемых этой формулой: коктейль «Кровавая Мэри» (или «Кровавая Маша», как именуют его на Западе), дружба, любовь, Ленинград-Петербург, Запад, Восток, жизнь.

Не могу сказать, что всю жизнь мечтал о Западе. И дело даже не в том, что всегда относился к западной жизни с предубеждением, недоверием, даже легким славянофильским презрением, осуждая в ней гедонистическую тягу к наслаждениям (см. Шпенглера, Бердяева, Достоевского). Хотя мой (да и многих других) патриотизм определялся формулой «люблю эту бедную землю, потому что иной не видал». Не видал, да и не особенно рвался увидеть. Если мне и снились сладкие западные сны, то чаще всего это был русский книжный магазин, куда я заходил, сопровождаемый звоном дверного колокольчика, и тут же видел все те книги, которые мечтал прочесть, полистать, просто убедиться, что они на самом деле существуют не в слепых машинописных копиях, доступных мне в былые времена, а в цветных суперсах, с лебединым выводком списка изданий на задней стороне обложки. Я видел Розанова, Ремизова, Набокова, Солженицына, Шестова, Бродского, Сашу Соколова, журналы, альманахи, антиквариат. Как из-под земли появлялся хозяин магазина с трубкой и бородой, похожий на Макса Фриша, вел меня в угол, на что-то указывал с улыбкой; я нагибался, брал с полки скромно оформленную книжицу, с замиранием сердца открывал, на самом деле уже зная, что увижу. Конечно, это была моя книга, изданная без ведома автора, что составляло особую прелесть. Сюжет подразумевал продолжение, в общем-то, очевидное.

Правда, еще раньше, лет двадцать назад, во время студенческой молодости, меня посещал другой западный сон: мне снились джинсы. Всевозможных покроев, размеров, фирм; они лежали стопками, висели на вешалках вместе с куртками, жилетами, рубашками: «Lee», «Levis», «Super rifle», «Wrangler», последние по-русски упорно назывались «врангелем». В 60-х джинсы были не то, что сейчас. Они были флагом, знаком, эмблемой противостояния, оппозиции, отщепенства. При этом они должны были сидеть, подходить именно тебе, то есть резервировать именно для тебя место в сообществе негласного сопротивления существующему порядку. Из джинсовой ткани шилась свобода или ее иллюзия, легко рифмующаяся с многочисленными синонимами: рок, «Beatles», сейшен, кайф, торч. В иконе западной жизни джинсы были левкасом, а типографские знаки свободных эмигрантских изданий ткали образ полиграфического рая без цензур и редакторов с погонами под пиджаком. Иначе говоря, Запад — это вавилонская библиотека, все читатели которой ходят в джинсах. Застойное представление.

Я получил визу и разрешение весной пятого года *perestrojki*, когда многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью, принеся куда меньше радости, чем ожидалось, а джинсы и их вареные мутанты превратились в униформу кооператоров, означая теперь уже совсем иное. Безвозвратно ушла целая эпоха жизни, жизни напряженной, опасной и творчески счастливой, ибо жизнь и творчество «на грани смерти и тюрьмы» — это не респектабельно-бессильное писание, когда все или многое можно и одновременно всем или почти никому не нужно. Я ехал по частному приглашению и вместе с тем по делам, устанавливать связи в издательствах, университетских и эмигрантских кругах, и вез с собой помимо чемодана чужих рукописей еще и свою жену вместе с ее тайными и страстными желаниями покончить наконец с нищенской жизнью, купив себе нечто такое, что могло бы символизировать головокружительный разворот в ее существовании с постепенным переходом к более если не респектабельному, то пристойному образу жизни.

На полуночном Варшавском вокзале нас никто не провожал; за исключением одного моего коллеги, принесшего прямо на перрон кое-что из необходимых мне в Германии материалов, писем, которые я для верности должен был отправить уже оттуда; стояли, курили, накрытые с головой желтым дряблым светом перронного фонаря; оставалось пять минут, сотрудник уже откланялся, наградив нас напоследок малопримечательным анекдотом, объясняющим, почему железные дороги в России имеют рельсы, положенные на 8,5 сантиметра шире, чем в Европе. Это к разговору о Гродно, таможне, Польше, колесах, на которые нас там поставят, но вот уже качнулся пейзаж за окном, смазался и пошел набирать импрессионистические обороты.

Пожалуй, удивительное началось уже в вагоне. Я был много наслышан о международных поездах, сервисе, благородных, старой выучки проводниках, шикарными ресторанах, часто последние годы ездил на чопорной «Красной стреле» в Москву и обратно; хотя наибольшее впечатление вагонной роскоши оставил поезд Сухуми — Тбилиси, где лет двадцать назад, путешествуя с хиппующей командой по Кавказу, я провел несколько ночных часов. Тот вагон блестел, сверкал, сиял, весь отделанный красным деревом, зеркалами и начищенным металлом, мягко растворяющим отражения, туалет был похож на зеркальный шкаф, а пахло здесь, как на выставке цветов.

Нижнюю ступень вагонной табели о рангах занимал состав Новороссийск — Ростов-на-Дону, в котором, несмотря на обещанную плацкарту, не было не только белья, но и большинства стекол в окнах, не закрывались двери в туалетах, полных воды и подозрительно-мерзкой жижи на полу, хотя самой воды не было ни в кранах, ни в титане, дуло изо всех щелей, проводник-хам, ссылаясь на отсутствие белья, не выдал и матрасы, — и за бессонную ночь на голой полке под сквозняками я заплатил простудой. Поезд Ленинград — Берлин был чем-то средним между вышеописанным и провинциальной электричкой.

Граница, и прежде всего русская граница, многослойна, как мистический трактат, и открыть для себя все слои, миновать все уровни, а затем, главное, вернуться обратно мало кому удавалось. Все записки Достоевского о Западе, при всей его пронизательности и пронзительности, испещрены оговорками, что этого он не увидел, того не заметил, хотя за всей этой нарочитой уязвостью скрыто желание сохранный, защитить свою целостность, необходимую для того, чтобы остаться русским писателем. Пушкин не случайно не попал за границу. Гоголь недаром сошел с ума в Риме. Печерин, кажется, все понял и остался там. Один из немногих, кому все открылось и кто сумел вернуться, был Чаадаев, и он тоже недаром был объявлен сумасшедшим. Он действительно вышел за границы русского ума, сознания и русской жизни и посмотрел на нее со стороны. Пресловутый железный занавес, если отбросить политические резоны, действительно выполнял функцию санитарного кордона сознания, предохраняя умы от воздействия двойного притяжения, преодолеть которое, не обладая духовной и интеллектуальной силой Чаадаева, почти невозможно. Недаром среди тех русских, которых я увидел на Западе, так много было людей несомненно умных и приятных, но опустошенных, с глазами, обращенными внутрь, и никто из них даже не мыслил о возвращении. Но я забегая вперед.

Граница преодолевается по слоям. Первый (внешний и до недавнего времени самый строгий и неприступный — ОВИР) был преодолен с легкостью, усиленной неизбежными опасениями и общерусской готовностью всегда к самому худшему. Мою благонадежность ничего не стоило поставить под сомнение. Всего три года назад, уже в царствие перестройки, мне последний раз грозили диссидентской политической статьей за публикацию в журнале, выходящем на Западе. Но ОВИР вместо грозного отставника за дубовым столом обернулся миловидной девушкой, любезной на провинциальный манер.

Второй слой — граница как таковая. То есть таможенный и пограничный контроль в поезде, прибывающем в пограничный Гродно. По расписанию Гродно ожидался, кажется, в три или четыре дня. Я не был спокоен, ожидая таможеню. Я не вез никакой контрабанды, но жизнь, определяемая формулой «с грехом пополам», делала греховным и меня. Более всего я беспокоился за большую дорожную сумку, полную рукописей и журнальных материалов. В таможенной декларации, врученной за час до границы, мелким шрифтом было дано указание предъявить таможеннику все рукописи и машинописные материалы, провозимые через границу. Я же не собирался этого делать, рассчитывая проскочить, зная о таможенном цейтноте, или предъявить несколько официальных бумаг, и среди них письмо от Фонда культуры, в котором мне поручалось установление контактов с деятелями культуры и эмиграции в Германии, для чего согласно тексту я и вез с собой письменные материалы. Неловкость ситуации была вынужденной, моя шепетильность восставала против нарушения этих (да и других) правил, но поделаться ничего я не мог. Еще в Ленинграде я пытался получить разрешение на провоз своих бумаг, но не сумел, не потому что мне запретили, а потому что не нашел ведомства, способного дать мне такое разрешение. Сама система нашей жизни формировала круговую поруку мелкой и крупной нечестности, заинтересованной в том, чтобы никто не остался без греха. Капля вины, выпрыскиваемая в душу, делала из обыкновенного человека советского человека, и на этом было настояно общество.

Я, однако, умел разговаривать с советскими чиновниками, педалируя в них ощущение собственной виноватости, поворачивая ситуацию выгодной для меня стороной. Не рассчитывая особенно на первый вариант, я на всякий случай подготовился ко второму, но он не понадобился, может быть, именно потому, что я подготовился слишком тщательно. Нас с женой не попросили открыть ни одной сумки, ни одного чемодана, только задали вопрос о подарках, которые мы везли. К чести советских таможенников надо сказать, что вообще советская таможня оказалась самой легкой и любезной из всех остальных. Люфт в неустойчивом законодательстве компенсировался легким юмором и неназойливостью спешащих чиновников. Поезд стоял в Гродно минут сорок минус десять минут опоздания; правда, до польской границы мы ехали вместе с пограничным контролем, который сначала спросил об оружии, а затем прогромыхал сапогами одних солдатиков по крыше, пока другие солдатиквы вскрывали люки в купе и коридоре, ища, очевидно, пулеметы, вернее, отработывая заскорузлые параграфы унылого циркуляра.

Суматоха была устроена немалая, хотя нас она уже почти не касалась, но была, вероятно, редуцированной частью церемониала подготовки советского гражданина к потере девственности — нас готовили к тому, что сейчас, буквально сейчас, мы пересечем границу. Исчезли за окном вагона пустые платформы Гродно: милые собачки с проводниками, зеленые фуражки погранвойск, черные с золотом мундиры таможенников, здание вокзала, напминающее крематорий, ни одного гражданского лица и партикулярного платья, елки, палки, березы, осины, покосившиеся сараи, кривые заборы, чудная тропка, виляющая в лес, взрыхленная полоса вдоль железнодорожных путей, которая началась километров за пятьдесят до Гродно и продолжалась до потери интереса в Польше; нейтральная полоса безо всяких цветов, но с банальной колочей проволокой, пустынные дороги, переезды, шлагбаумы; прощай, немытая Россия!

Никогда не думал, что процесс дефлорации может быть таким несущественным. Я ничего не почувствовал, пересекая границу, хотя и пытался отыскать в пейзаже иноземные черты: вон на столбах, проволоке и откосе птицы какие-то незнакомые черные сидят — кажется, это грачи, только помельче наших. Вон у рыжей псины рядом с будочкой воина с ружьем польская морда, хотя если поискать по российским просторам... Но форма у воителей точно другая: фуражка, почти конфедератка, да нет, фуражка.

Поезд медленно, осторожно въехал в какую-то зону; нас покатали по запасным путям туда-обратно, держа на голодном пайке скудных впечатлений пограничной станции, загнали в угол, поставили визави с поездом Берлин — Ленинград, возвращавшимся о т т у д а, а затем рокировали с ним вагонными тележками. Стояли мы около четырех часов. Была распита бутылка вина за безмятежность таможенного контроля, обглодана курица, совершено несколько променадов с обзорением польской перспективы и пассажиров соседних вагонов, но напряжение последних дней не спадало. Последних дней? Последних лет. Я принадлежал к тем немногим или многим, которые со скепсисом и разочарованием смотрели на происходящее. Предчувствие очередной ошибки. Потеря воли к жизни и ощущения будущего у целого народа. Поразительная власть банального, проявляемая в виде единственного выхода из любых обстоятельств. И дополнительно к общему — личный разлад: достаточно

очевидная оппозиция к застоному времени сменилась менее очевидной (и оттого более мучительной) оппозицией к его демократическому продолжению.

Я начал заниматься журналом именно потому, что не находил себе и своим взглядам места в обществе. Этимологические статьи различных словарей понятия «пошлое» и «банальное» толковали как общеупотребительное, доступное всем. Но «доступное всем», «общее» не гарантировало правильности выбора, с неправомерностью выбора было так же трудно согласиться, как с функцией вечного отщепенца. Я тоже любил Россию и не мог согласиться, что моя любовь глупее других.

Я не видел простых выходов из тупика, в котором оказалась моя родина. Требовалось углубление и осмысление. Для этого создавался и наш журнал «Вестник новой литературы». Я делал его с небольшим числом сторонников, опираясь на тонкий слой русских писателей, талант которых созрел в застойные времена... Я ехал за границу, чтобы освежиться. Я был как все, поезд тронулся. Я был со всеми, кто ехал в нем.

В Польше вагон опустел наполовину. На границе мы перевели часы на европейское время; тем, чей путь заканчивался в Польше, поменяли деньги из «дипломатов» со специальными отделениями, набитыми разноцветными бумажками. То, о чем мы наслышались страшных рассказов, случилось с двумя парами на весь состав: их ссадили с поезда вместе с вещами из-за того, что они не прошли таможенно.

Варшава была поздно вечером. И до и после я слышал о мрачности варшавского вокзала, но он понравился мне больше Хафтбанхофа в Гамбурге, Мюнхене и Западном Берлине. «Понравился» не то слово, он неожиданно совпал с образом фантастического и одновременно чужого, отстраненно-европейского в жизни: подземные, как в метро, перроны, трудновыразимое чувство отчуждения от жизни и окружающих, которое обернулось телевизионным западным водоворотом. Из убогого вагонного коридора, в котором тон задавался грязными полами, оборванными занавесками, нелюбезной, ненавидящей пассажиров проводницей и белорусскими провинциалами, едущими в гости к бедным польским родственникам, мы вышли на западную подземную улицу, наполненную музыкой, цветами, лотками, польскими полицейскими и западными туристами.

Я вышел на перрон в Варшаве и, несколько оглушенный обилием несоветских впечатлений, расшифровывать которые у меня не было времени, двинулся из хвоста в голову на поиски нужного мне польского вагона, который в отличие от остальных, прицепленных здесь же, следовал не до Восточного Берлина, а до Западного. Я хотел договориться с проводником, чтобы не делать сложную пересадку в Восточном Берлине.

Сначала я шел не торопясь, оберегая достоинство независимого пассажира, миновал один вагон, другой, третий, пятый. Конца не было видно. Я ускорил шаг, на всякий случай прикидывая, что буду делать, если отстану от поезда. Ни денег, ни документов... Десять вагонов, пятнадцать; польских среди них не было. Я перешел на легкую трусцу. С другой стороны платформы стоял серебристо-голубой поезд, очевидно, сверхскоростной экспресс, едущий неизвестно откуда и неизвестно куда. В нем все сверкало, поляроидные стекла зеркально отсвечивали; заглядевшись, я подвернул ногу в незастегнутой кроссовке. И, чертыхаясь, припустил дальше. Вот наконец цветастые польские вагоны. Кинулся в один, другой. Дезодорированный воздух, несмотря на обилие курящей, попсовой, как говорили раньше, публики, тесные коридоры, набитые студенческого вида молодежью; здесь всюю хипповали, сидели на полу, пили из горлышка кока-колу, из банок — пиво, флиртывали, крутили музыку; на мой ломаный английский: «To West Berlin or to East Berlin?» — отвечали неграмотно. Проводников не было и в помине. Посмотрел на часы, оставалось минуты три, и я бросился обратно. Успел я только-только.

За окном посвистывала ночная Польша. Вся граница немного напоминала Прибалтику, которую мы открывали для себя как за границу двадцать лет назад. Только Тарту, Таллинн, Каунас или Рига на свежее восприятие были более удивительными, чем мелькающие за окном домики, заборы, дороги, перелески. По сравнению с Россией — ужоженной, по сравнению с Прибалтикой — почти Прибалтика.

Ближе к ночи хмурую проводницу сменила менее хмурая сменщица, которая дала нам несколько советов. По ее словам, переходить в польские вагоны, идущие до Зоо, надо после Франкfurта-на-Одере, то есть спустя две таможни — польскую и восточногерманскую, но договориться можно и сейчас. Я отправился в тот же путь, что и в Варшаве, только не по перрону, а вагонами. Потратил минут сорок — и опять меня постигла неудача. Во втором или третьем польском вагоне дверь была закрыта, и, несмотря на мой стук, мне не открыли. Здесь уже не было советской власти, а оккупантов не любят везде. Знакомое по Прибалтике ощущение, двойственное по

своей сути. С одной стороны, ты понимаешь ненависть народа к оккупантам (сколько раз в Эстонии или Литве на невинный вопрос, как проехать или пройти туда-то или туда-то, собеседник, делая вид, что не понимает по-русски, не отвечает либо с любезной улыбкой, от которой светлело на сердце, посылал в прямо противоположную сторону). С другой стороны — не объяснять же каждому встречному, что ты тоже за их свободу, что сам страдаешь от советской власти. Это понятно. Но когда с тобой обходятся как с оккупантом, ты ощущаешь не личину советского гражданина, которому есть за что отвечать, а достоинство просто человека, посягать на которое не позволено никому.

Ночью поезд совсем опустел. Гости поляков рассеялись по городам и весям спящей страны, мы тихо дремали. Ночью было две таможи и два пограничных контроля. Сначала раздавался полицейский бесцеремонный стук, распахивалась дверь, чья-то рука с метками на рукаве нашаривала выключатель — вспыхивал режущий глаза свет, следовали слова, которые можно было понять, даже не зная языка: паспорта, визы. Был ли в этой процедуре элемент нарочитого хамства, либо служба такова, но я не глядя давал наши документы и опять закрывал глаза. Здесь нужно сказать, что к нам, едущим в Западную Германию, относились иначе, чем к тем, кто ехал в Польшу или ГДР. С закрытыми глазами я ощущал, как отсвет льстивого уважения перед Западом падал и на нас, едущих к настоящим, а не подневольным немцам. Свет тух, опять провал в сон, через пять минут все сначала: стук, рука, свет, паспорта. То была таможня, это пограничный контроль. Или, наоборот, сначала пограничный контроль, а затем таможня. Без разницы. Я сбрасывал простыню, не смотря доставал паспорта.

Во Франкфурте-на-Одере мы встали. Было часа четыре утра. На путях стояла грузовая платформа с трейлерами для автотуристов — красочные домики на колесах со всеми прелестями и удобствами цивилизованного быта; Одер был не похож ни на Дон, ни на Волгу.

Никогда не забуду, как в течение получаса я продирался с огромными, громоздкими сумками через десять советских и семь польских вагонов, забитых до отказа. Оставим этот сюжет для отдельного рассказа. Как говорит один мой приятель, это была нечеловеческая музыка. В тамбуре того вагона, который вроде бы шел до Западного Берлина, стояли человек десять, в него умудрились втиснуться еще человек двадцать пять из русских вагонов. Мои сумки потерялись под ногами стоящих, слава Богу, они были такие тяжелые, что украсть их было нелегким делом. Вокруг были поляки, которые вели себя вполне деликатно и с пониманием ситуации, за исключением одного подвыпившего молодого пана, который, невзирая на духоту (с ней кондиционеры уже не справлялись), непрерывно курил и упрекал нас, мешающих его комфортабельному стоянию в тамбуре, за неразумность. Толпа прижала его к противоположным от меня дверям, рядом с моей женой; он был пьян в четыре утра и вместе с дымом выплескивал на нас свои упреки.

Здесь нужно сказать вот о чем. У меня было тяжелое дворовое детство, из которого я вышел с непоколебимым убеждением, что для мужчины достоинство выше жизни. Лучше отдать жизнь, чем унизиться. И сил, физических и духовных, обычно хватало для того, чтобы не отступать от этого правила.

Нас отцепили в одно мгновение. Раз — ловкие железнодорожники перевесили какие-то рукава и резиной отороченные кишки, соединявшие вагон. Два — открыли дверь, сквозь нас протиснулось какое-то число выходящих на этом последнем островке социалистической земли. Три — вошла последняя соцтаможня и пограничный контроль, с трудом пробравшийся в глубь вагона. И мы уже уехали. Прощай, Восток, здравствуй, дикий Запад!

В этот день нам трижды пришлось пересекать границу двух миров. Сначала из Восточной Германии в Западный Берлин, затем из Западного Берлина опять в Восточную Германию, а потом из Восточной Германии в Западную...

Пройдя западноберлинскую таможню и получив очередную отметку в паспорте, мы, прижавшись к стеклу, сидели в несколько поредевшем поезде и смотрели на приближающееся здание вокзала. Было часов восемь утра, когда мы вытащили свой багаж на перрон вокзала Зоо. Часть перрона, кажется, была оцеплена канатами, что-то рядом ремонтировалось. Поезд на Гамбург, как нам сказали в справочном бюро гостиницы «Москва» в Ленинграде, отходил только днем. Мы собирались сдать наши вещи в камеру хранения, позавтракать и пойти погулять по Западному Берлину. Человек, давший мне фотоаппарат «Pentax» и попросивший передать объектив своему приятелю в Гамбурге, одному из самых известных немецких фотографов, нарисовал нам даже схему города вокруг Зоо, объяснив, где мы при желании сможем обменять чеки Американского коммерческого банка на западногерманские марки,



где находится то, се, пятое-десятое. Но пока нужно было добраться до камеры хранения. Здесь пришлось пустить в обращение мой ломаный английский, сформировавшийся годами студенческой юности и двумя-тремя (за пятнадцать лет) неудачными попытками улучшить его самостоятельно. Практики у меня почти не было, за исключением случайных встреч с западными славистами время от времени в том или ином ленинградском доме. Моя жена знала язык намного лучше, так как дополнительно к институту имела за плечами два года государственных курсов, а кроме того, была более способной к языкам. Но забегая вперед скажу, что она мало помогала мне существовать в условиях языковой блокады: и с чиновниками и в магазинах объяснялся я; она же не смогла преодолеть свой комплекс неуверенности, усиленный еще комплексом бедности, несмотря на то, что мы были в сто раз богаче обычных советских туристов, едущих на Запад по путевке. Однако определенно беднее последних западногерманских безработных. Но какое нам до этого дело? Почему мы должны были стесняться спрашивать и искать дешевые вещи в магазинах, срачивая любое покупаемое существотельное с прилагательным cheap (дешевый)? Мы были бедны в России, но не страдали от этого. Были бедны в Германии, и моей жене стало от этого неловко. Конечно, разница есть. В России любое богатство так или иначе соединялось с представлением о нечестности его владельца. Если богат продавец — у него нечистые руки, если шикует партийный функционер или писатель — у него нечистая совесть. Быть богатым в России неприлично. В Германии совершенно иная иерархия ценностей. Богатство здесь говорит о деловитости и удачливости и не намекает на подмоченную репутацию. Тут богатство уважаемо, но нас никто не заставлял принимать правила чужой игры. Правда, чужая жизнь — это силовое поле, которое изменяет (или пытается изменить) любое живое существо, попадающее в него. Мне самому было трудно чувствовать себя русским писателем, существующим между небом и землей, поневоле я ощутил, что я к тому же и советский человек, впервые выпущенный за границу. Но женщины куда более социальные существа, к тому же снабженные сильным механизмом адаптации, и на них новые условия всегда сказываются быстрее и сильнее.

(Кстати, почти всех увиденных мною в Германии эмигрантов можно было бы разделить на тех, кто подключился к условиям западной жизни и научился уважать их, и на тех, кто, отвергая адаптацию, оставался в новых условиях тем же социальным диссидентом, каким был в России, презирая не только структуру и ценности общества, в котором жил, но и их носителей — местных обывателей, или «аборигенов».)

Но я забежал вперед. Мы с женою вышли из поезда на перрон Zoo и побрели, опираясь на мой ломаный английский.

Мы вышли на площадь, немного покрутились, пытаюсь сориентироваться в соответствии с планом, нарисованным на бумажке. Было раннее утро, магазины еще закрыты, машины катили почти беззвучно, двухэтажные автобусы не выпускали за собой шлейф дыма и миазмов, прохожие выглядели удивительно беззаботно и непривычно молчаливо. Мы брели по незнакомому городу, глаза на витрины, иногда заходили в магазины и лавки; я искал книжный магазин, где продавались бы русские книги (кстати, так получилось, что я так и не нашел русского книжного магазина либо отдела с русскими книгами ни в Берлине, ни в Гамбурге, а когда в Мюнхене меня привели в магазин Нейманиса, где я получил в подарок несколько сотен русских книг, то это тоже был склад магазина, а не сам магазин, и витрин, застекленных витрин, что создают столь лелеемое ощущение покупателя, я так и не увидел).

Мы шли куда глаза глядят, стараясь не особенно удаляться от Zoo, чтобы не заблудиться, иногда останавливались, я наводил на резкость свой «Pentax», щелкал, делая очередной снимок, чаще всего имея в виду какого-нибудь конкретного человека, которому в России будет интересно это снимок посмотреть.

В одном тихом скверике мы присели отдохнуть, выпили по банке пива, ноги гудели, выкурили по сигаретке. Наш разговор, бессистемный, вбирающий впечатления от прогулки, велся, однако, на российские темы, даже не темы, а тему: тему нашей среды.

Та культурная среда, к которой мы принадлежали в России, переживала кризис. Кризис переживала литературная оппозиция, в силу политических и эстетических причин загнанная обществом в подполье, чем общество, как ни странно, оказало, не желая этого, огромную услугу если не всем, то некоторым. Тем, для кого давящий жесткий пресс превратился в акустический купол, который резонировал, усиливал шепот, превращая его в крик. «Вторая культура» появилась как уникальнейшая и непредвиденная реакция на существование общества с мнимыми ценностями, с нарушенной иерархией естественных ценностей, когда истинные ценности оказались

под запретом. И эта ситуация породила несколько десятков художников и поэтов, получивших мировое признание или стоящих на границе этого признания (правда, и погубила не одну сотню человеческих судеб и жизней). Но так было в старое доброе время застоя, а теперь «вторая культура» переживала кризис. Давящий пресс медленно пошел вверх, давление ослабло, ослабло чуть-чуть, но изменяя при этом акустику, акустические свойства духовного пространства, окружавшего художника, что повлекло за собой изменение смысла его творчества. Как и принципов восприятия. К этому, как ни странно, никто не был готов. И для многих это обернулось трагедией либо необоримыми трудностями, признаться в которых, однако, было непросто.

Я начал работать над журналом, пытаюсь найти выход из почти безвыходного положения. Пресс политической цензуры ослабевал на глазах, ограничения эстетической цензуры снимались куда медленней и неохотней. У поэта в обществе, условно говоря, три традиционных вакансии: быть, что называется, действующим поэтом, придворным или опальным. Мой журнал должен был помочь опальным поэтам стать действующими, минимально потеряв от этого перехода.

Конечно, разговаривая со своей женой в западногерманском скверике, где на белой скамейке, будто украденной с аллеи Керн в Михайловском, да и раньше, пока мы брели, крутя головами, по улицам и улочкам, говорил я несколько иначе, добавляя непреременные «ну ты понимаешь» и «ты знаешь», но смысл был примерно таков. Странным и болезненным оказалось то, что мы все, научившиеся жить в обществе и одновременно вне его, оказались зависимыми от общества; и только оно изменилось, как на нас, независимых художниках и писателях, это отразилось раньше, чем на всех остальных. Требовалось многое понять. К моменту моего отъезда было подготовлено три первых номера; мы не сомневались, что выход в свет нашего журнала будет событием не только литературного, но и общественного масштаба; журнал делали всего несколько человек; честно говоря, я немного устал.

Улица вокруг блистала чистотой, машины катили почти бесшумно, только дизельные двигатели «мерседесов» урчали суровой; у самого края тротуара пахло не бензином и выхлопными газами, а кофе и поджаристыми булочками; ватерклозет, примостившийся на краю скверика и напротив готического собора, оказался бесплатным, хотя нас и пугали, что здесь платное все; правда, рядом с дверью, за которой озонировал, блистал, сиял бесплатный сортир, размещался и сортир платный, но мы его счастливо миновали. Кстати, каждый свой шаг я фиксировал очередным кадром на своем «Рентах», а когда кончилась пленка, вышел на перекресток, выловил из толпы человека с фотоаппаратом и попросил заменить мне пленку. На меня взглянули несколько оторопело, но помогли.

Как человек на сколько-то там процентов (чуть ли не на 90) состоит из воды, так и его сознание и жизнь (очевидно, на столько же процентов) состоят из общих мест и определяются общественными стереотипами. Причем не только у обывателя, но и у самого что ни есть оригинального художника, или мыслителя, или даже уникального антиобщественного типа, разница лишь в том, что общественные стереотипы обывателя как бы расчесаны на пробор, а у фантастического типа растрепаны. «Необщее выражение лица» состоит из привычных элементов, только взятых в непривычных сочетаниях. То же сочетание стереотипов, только взятых со своими числителями, знаменателями и своими знаками: плюс, минус, инверсия. И путешествие за границу превращается в сравнение словарей стереотипов на разных языках.

У нас дома, в России, считается приличным попросить у незнакомого человека прикурить («Огонька, спичек не найдется?»), а иногда и закурить («Простите, сигаретой не угостите?») — это не нонсенс, самый интеллигентный человек как в провинции, так и в столице может обратиться к любому с такой просьбой. Как и попросить разменять деньги, скажем, в автобусе или у телефона-автомата (протягивая пятак на ладони с просьбой двух копеек). Менее приемлема просто просьба двух копеек, хотя такое тоже понятно, впрочем, как и душевное обращение в дверях винного магазина: «Браток (бать, сынок), десять копеек не добавишь? На бутылку не хватает». А к кому из нас не подходили подозрительные личности с просьбой дать три, пять, десять рублей, обрамляя просьбу рассказом о выходе из больницы, потере кошелек, срочной необходимостью ехать к большой матери, брату, сестре, дочке в Тулу, Зеленогорск или Йошкар-Олу, с заверением, что деньги будут высланы точно по приезде. И те, кто дает (вглядываясь, всматриваясь в лицо: алкаш или действительно не врет?), мучаясь от собственной толстокожести или, напротив, презирая себя за излишнюю доверчивость и мягкотелость, знают, что по крайней мере в одном случае из пяти действительно пришлют через неделю или полгода. Главное, такая просьба возможна в принципе, в разной степени, но приемлема, находится в реестре допустимых отношений в обществе.

На Западе все это в равной степени недопустимо. Обращаться к незнакомому человеку на улице равносильно экстренной ситуации, за исключением разве что вопроса: как пройти или проехать по такому-то адресу? То есть это не значит, что если вы попросите монету для таксофона, то вам не дадут, почти наверняка дадут, как и дадут деньги нищим, собирающим дань на самых центральных улицах и у всех посещаемых памятников. Сам я подобное испытал дважды, прося на остановках в Мюнхене прикурить (огонька), а взамен получал в подарок зажигалку.

Пробили какие-то вокзальные склянки, из туннеля вылетел серо-голубой поезд, подкатил, остановился. Места на наших билетах были не указаны, мы выбрали купе посвободнее, где уже ехала севшая, очевидно, на Фридрихштрассе пожилая дама. Купе были и для курящих и для некурящих (мы выбрали для курящих), курить можно было и в коридорах, и в тамбуре, и в ресторане, и в маленьких барах, расположенных чуть ли не в каждом вагоне. Мы сели в вагон первого класса, где были купе с мягкими сиденьями на шесть человек, с огромными и удобными полками для вещей; все окна и в купе и в коридорах мягко открывались. Кстати, курить в Германии (при активной антитабачной пропаганде) можно было везде, где только это не запрещалось специальными предупреждениями: с сигаретой заходили в магазин, аптеку, кафе, видеотеку, кинотеатр.

Железнодорожные вагоны второго класса были устроены несколько иначе, они также делились стеклянной перегородкой на две части: для курящих и некурящих, — и состояли из просторно расположенных мягких кресел типа самолетных, повернутых друг к другу попарно (посередине журнальный столик) или по-гусиному в затылок друг другу. В пути по коридору непрерывно шныряли продавцы с тележками, предлагая все что хочешь: от обеда до легкого завтрака с соком, пивом, водой, вином и т. д. Кстати, достаточно вкусная, ничем не примечательная минеральная вода стоила почти столько же, сколько и пиво, зато дешевле самых дешевых, хотя тоже вкусных французских вин, но в поезде все стоило в два раза дороже, чем в магазине.

В Гамбурге нас встречали. Это были мои знакомые еще по Ленинграду: она — немка, студентка университета, русистка, он — мой бывший сослуживец по котельной. Чисто «второкультурное» знакомство. Котельная застойного периода — место встреч самых разнообразных людей, ибо здесь люди переживали трудную пору. Я попал в котельную не сразу, а под давлением обстоятельств: перед Олимпийскими играми в Москве меня вынудили уйти с должности музейного сотрудника, потом выкурили с библиотечной синектуры — и все за такие пустяки, как публикации на Западе и одна или две передачи по западному радио. В котельных в это время работали, с одной стороны, поэты и художники, находящиеся в оппозиции к режиму, а с другой — «деловые люди»: фарцовщики, валютчики, подпольные предприниматели, которым надо было иметь штамп в паспорте и запись в трудовой книжке, чтобы не привязывалась милиция и было время заниматься своими делами. Мой гамбургский приятель был в то время представителем «золотой провинциальной молодежи», сын директора крупного запорожского завода, испытывавший крушение личных планов и приехавший в Ленинград с одной только мыслью: уехать на Запад. Это были охотники за западными невестами. Они составляли целый слой веселых молодых людей, презирающих Советы и исповедующих одну цель в жизни, которую в большинстве своем они достигли. В основном они подхватывали девиц-студенток из Европы, приезжающих за экзотическим опытом медвежьей русской жизни; наивные путешественники тут же попадали в лапы ловких обольстителей, которые предлагали им, привыкшим к степенной, несколько сонной и правильной жизни в небольших или больших европейских городах, стиль жизни богемы, стиль, усвоенный фарцовщиками и студентами куда в большей степени, чем представителями натуральной богемы — молодыми, но нищими художниками и поэтами, работавшими в котельных и сторожами не только ради трудоустройства, но и ради заработка. Стиль действовал безошибочно — дневные и ночные тусовки, вольность манер и обращения, желчный, насмешливый скептицизм; в глазах староевропейских дурочек фарцовщики становились диссидентами, авантюристы самого мелкого пошиба — героями, неудавшиеся студенты — непризнанными гениями. Скоропалительная свадьба с ордой немецких либо финских родственников по высшему разряду, отъезд на родину невест, а затем стремительный развод, после чего муж, в котором разочаровалась молодая жена, продолжал жить либо на пособие щедрого капиталистического государства, либо на алименты бывшей жены. Пособие (или «социал») было достаточным, чтобы снять приличную квартиру (правда, не в центре), сытно есть, пить, покупать вещи и работать по-черному, то есть без оформления (при оформлении на работу «социал» не выплачивался), если хотелось дополнительно заработать. Для советских шалопаев, привыкших плевать на общественное мнение, это был рай, единственным недостат-

ком которого было то обстоятельство, что общественное мнение презирало людей, не желающих работать, к тому же обманывающих государство. Советский человек асоциален, его асоциальность есть следствие недоверия к государству, всегда его обманывавшему. Но западный человек так же принципиально социален — он подчиняется законам не по принуждению, а убежденный в их правоте. Русская (а затем и советская) история и культура сформировали из некоторых наших соотечественников уникальный тип антиобщественного человека, который по большому счету не верит никому и ничему, в то время как западная цивилизация шлифовала характер индивидуума, правилом жизни которого было: я уважаю окружающих, потому что уважаю себя и хочу, чтобы меня уважали другие. Такой советский человек не уважает никого, потому что не уважает себя. С этим неразрешимым противоречием приходилось сталкиваться тем великовозрастным лоботрясам, которые рассеялись по Европе, увозя с собой советские стереотипы, препятствующие приятно западной жизни по существу.

Мой приятель, назовем его Феликс, был человеком несколько иного склада. От большинства его компании, приехавшей в полустолничный Питер из провинциального южного городка, дабы уехать на Запад, что почти всем из них удалось, его отличали две особенности. Первое: ему повезло — девочка-студентка, которую он подцепил, оказалась прекрасной женой, тонкой, умной и красивой бабой. Ей так понравилось в России, что она была готова остаться здесь навсегда. Ей нравилось тут если не все, то многое, причем не советская экзотика, а русская открытость всем ветрам и вечным вопросам, когда каждый второй, несмотря на специальность, философ и спорщик, а жизнь прожигается с яростной и прекрасной беспощадностью. Феликса года полтора не выпускали; как и многие в трудном положении, страдая, он становился духовней, интересней; разлука — что может быть прекраснее для любви, а непритязательная интрижка с нехитрой подоплекой чем дальше, тем больше стала походить на любовь, причем, и это главное, обоюдную.

Второй особенностью Феликса было то, что он умел и любил работать. Не был ленив, имел хрестоматийные золотые руки и вкус к труду. У себя в Запорожье или Мелитополе учился в институте, уйдя с последнего курса после одной истории. Пока служил в армии, от него ушла жена; его комиссовали вследствие начавшейся гангрены и удаления части стопы. Развод, Ленинград, работа в котельной, отъезд. Возможно, Феликс был один из немногих, для кого отъезд — благо. Уже через два года он сносно говорил по-немецки (в то время как другие даже не учили язык), учился в художественном институте, изучал дизайн и работал в фирме по устройству интерьеров, все повышал и повышал свой рейтинг.

Письма Феликса были вполне русско-советские. В тяжелую минуту он мог признаться в тоске, одиночестве, помечтать о возвращении, о совместной встрече Нового года, о прекрасном, ни с чем не сравнимом грязном снеге, хлопкоющем на Невском в сочельник. Но чаще со смаком сообщал прейскурант немецких цен, с вызовом доказывая, что всего через пару лет жизни в Германии может позволить себе больше, чем профессор в России. Что может позволить себе жить по-человечески, в то время как мы все обречены на материальное и духовное унижение. Это было продолжением давнишнего спора: в чем смысл русской жизни? Я был уверен, что русский человек (не только по крови, русским становится каждый, в течение нескольких поколений проживший и прижившийся в России) может жить только в России. Да и вообще русская жизнь (даже в советском исполнении) самая полная, пронзительная жизнь на свете, ибо ее условия, мучительные, унижительные, губительные, заставляя человека страдать, одновременно заставляют пользоваться не только поверхностными, но и глубинными свойствами души. Русско-советская жизнь оказалась построенной (будто специально) по советам Роберта Музиля: «Человека нужно стеснить в его возможности, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями, трудностями и ограничениями, как безумца смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, приобретет, может быть, ценность, зрелость и прочность».

Но что можно возразить человеку, который не желает страдать, не хочет, чтобы его ограничивали, и хочет жить, не испытывая себя на прочность, а спокойно, достойно и по-человечески?

Уже потом, в Мюнхене, я узнал, как прозвали в Европе всех нас, советских граждан, путешествующих по загранице в эпоху перестройки: «Дети Горбачева». Это был один из подарков интеллигенции в купе с возможностью читать и писать в либеральном духе. И если опираться на известную пословицу «дареному коню в зубы не смотрят», то либеральная интеллигенция должна была бы чувствовать себя благодарной Горбачеву. Но если подробнее рассмотреть ситуацию, то благодарить

особенно было не за что. Горбачев ассоциировался с теми приставными (и сменными) руками государства, которые сначала сжали горло до помутнения в глазах, а когда тело стало обмякать и оседать, отпустили, ослабили хватку. Спасибо, что не придумали до конца? Спасибо за возвращение суверенных прав дышать и жить? В народе говорят: клин клином вышибают. Было пролито море крови и слез, в главной артерии страны застрял тромб, замешанный на этой крови, слезах и клубке несправедливости, причиненной себе и другим. Тромбофлебит. И выйти из этого состояния, заплатив легким гриппом под названием «перестройка и гласность», — опасное заблуждение. Бытовало мнение, что единственное лекарство — постепенная демократизация на западный манер. Находясь на Западе, я все время примерял западноевропейский костюм на корявое тело своей родины, сравнивал, искал соответствия и противоречия. Старался смотреть и думать.

Наше пребывание в Германии условно можно было разделить на три периода: первая неделя в Гамбурге, неделя в Мюнхене, последняя неделя в Гамбурге. Первую неделю в Гамбурге нас, что называется, водили за ручку. Дом, в котором мы жили, располагался недалеко от порта, напротив памятника Бисмарку, в устье улицы Рипер-бан — самого злачного места в Европе. Мы, конечно, гуляли и по центру города, были на Ратушной площади, ходили пешком больше, чем за год жизни в Ленинграде, но самое сильное впечатление оставили рыбный рынок в воскресенье утром, развлекательный центр «Дом», «блошиный рынок» (мы побывали на маленьком в предместье Гамбурга и на большом в Мюнхене) и, конечно, Рипер-бан.

«Дом» (по-русски «Дом») располагался в пяти минутах ходьбы от Ноймауштрассе, где мы жили, и нас повели туда в первый же вечер по приезде, после ужина. Во-первых, о названии «Дом». Здесь некогда находился огромный собор, разбомбленный во время последней войны, и городские власти решили не восстанавливать его, оставив это место навсегда пустым. На нем устраивали летние ярмарки или, как это повелось в последние годы, отдавали устроителям различных аттракционов. Работал «Дом», кажется, до четырех часов утра. Это была широкая улица, извиляющаяся змеей, делающая восьмерки, общей длиной километров десять, а по обе стороны шли впритык друг к другу всевозможные аттракционы вперемежку с тирами, сувенирными лавками, пивнушками, ресторанами, кафе — все сверкало, переливалось огнями, глаза в прямом смысле слова разбегались. Аттракционы были самые разнообразные — от более или менее похожих на чехословацкий луна-парк в парке Победы (карусели, качели, машины, американские горы, колеса обозрения, ружейные и пистолетные тир) до совершенно невообразимых путешествий в страну ужасов, индейцев, диснейленд для взрослых и самых маленьких, секс-шоу для подростков и взрослых, кегельбаны и прочее, прочее. Ребенку, чтобы попробовать все, очевидно, не хватало бы каникул — настоящая страна чудес, где есть все, что пожелаешь, плюс то, на что хватает воображения, с прибавлением того, на что воображения не хватает. Десятиметровые двигающиеся Кинг-Конги, сделанные с удивительной достоверностью, огнедышащие драконы, летающие змеи; первый раз мы с женой пожалели, что не взяли с собой нашего семилетнего сына.

Винные лавки удивляли разнообразием ассортимента, впрочем, как и сувенирные, здесь опять же можно было купить все, начиная от полного ковбойского снаряжения до радиотехники. Толпа неторопливо катила вдоль обеих сторон взад и вперед, ни у одной из лавок не было очереди, потому что все лавки повторялись буквально через пять — десять метров; было непонятно, как они не прогорают, ибо купить все, что было выставлено на обозрение, представлялось явно невозможным. То же самое потом не давало нам покоя, когда мы, гуляя по городу, заходили в тот или иной магазин: в лучшем случае в магазине были один или два покупателя, а иногда не было ни одного. Тогда на звон дверного колокольчика появлялись несколько продавцов и с радостной улыбкой соскучившихся родственников начинали вас расспрашивать: «Что вы желаете?»

То же самое было во время нашей ночной прогулки по стране аттракционов «Дом» — продавцов было никак не меньше покупателей. Но продавцы были веселы, любезны, довольны, значит, их дела шли неплохо. Однако самое главное ощущение, родившееся впервые именно во время прогулки по «Дому», вернее не родившееся, а оформившееся именно тогда, было связано с самой толпой, густым потоком катившей вдоль берегов улицы развлечений. Народу было много, различного возраста и положения: команды молодежи, парочки, солидные и пожилые люди с детьми, просто праздные гуляки, — но никто не толкался, было шумно, у каждого аттракциона своя музыка из мощнейших динамиков. Я внимательно всматривался в лица, следил за поведением экзотических типов (вон прощди наголо обритые цанки в коже и заклепках, вон чудак с мелкими косточками до пояса, вон джентльмен в стародавнем фраке) — и вдруг ощутил, понял, чего мне не хватает по привычке: легкого чувства

опасности, толпа была неагрессивна. В воздухе не витал микроб враждебности, возможного столкновения в любой момент, русской драки почти без повода, компенсирующей неудовлетворенность собой и выпускающей пары.

Потом я провел небольшой социологический опрос, расспрашивая знакомых русских, живущих в Германии, и почти все со мной согласились. Живя здесь год, три, семь, десять, никто ни разу не видел ни одной драки, ни одного скандала в очереди. Правда, один из опрошенных видел не драку, а убийство прямо из окна своей квартиры: сначала услышал звук выстрела, выглянул — три черноволосых человека палили друг в друга, прячась за корпус машины; один довалился на землю, на белой рубашке расплылось красное кровавое пятно, двое других продолжали палить друг в друга, пока один из них не свалился, вернее привалился к борту машины, после чего второй вскочил в зеленый «рено» и быстро укатил, не забыв показать на перекрестке сигнал поворота. Мой приятель тут же позвонил в полицию и потом должен был составлять словесный портрет уехавшего, того быстро нашли — это была компания хорватских террористов, выяснявшая отношения.

Три недели я провел в Германии и, общаясь в основном с русскими, видел, однако, тысячи людей в самых различных обстоятельствах — и чем дальше, тем больше меня изумляло полное отсутствие агрессивности, напряженности, недовольства в людях. Как раз перед отъездом поздно ночью я делал пересадку на станции метро «Маяковская» в Ленинграде, поднимался по маленькому эскалатору, а потом долго ждал последней электрички — мимо шла не вполне характерная для утра и дня, но вполне характерная для вечера толпа: подвыпившие компании, парочки, возвращающиеся из гостей... Все пространство под сводами станции было напряжено, исчерчено силовыми линиями неудовлетворенности, воинственности, хмурого задора, исходящими от компаний, отдельных прохожих, подвыпивших молодых мужчин. Большинство мужских лиц говорило о том, что их обладатели не хотят быть теми, кто они есть, лицо, походка, манеры что-то изображали — ощущалась попытка выдать себя за другого, более независимого, удачливого, бесшабашного человека, которому плевать на общепринятые правила, ибо он их выше, вне их, презирует свое окружение, а сам принадлежит к другому миру, построенному по иным меркам, в основном на западный манер. Мимика и манеры компенсировали неравновесие между желаемым и имеемым, было отчетливое присутствие игры, роли, которой почти каждый встречный дополнял свою жизнь, не удовлетворенный ее реальным содержанием. И почти каждый второй подвыпивший мужчина был агрессивен, готов к нападению, к защите своего права на роль, им выбранную или ему навязанную; поведение было отчетливо демонстративно. Вот это сочетание подчеркнутой асоциальности, недоверия к правилам человеческого общежития с глубокой личной неудовлетворенностью, подсознательного социального протеста с агрессивностью к окружающим, ответственным за несовпадение амбиций, потребностей, желаний с реальностью, — отсутствовало или почти не ощущалось в Германии. Немецкая толпа не излучала недовольства, а была спокойна и добродушна и как следствие — полное отсутствие скандалов, ссор в общественных местах и общий доброжелательный фон отношений. В России человек из толпы ощущает себя обманутым обществом и за отсутствие «дальнего порядка» мстит нарушению «ближнего порядка». В Германии человек толпы принципиально социален, он не отделяет себя от общества и принимает его законы, противоречие же закону воспринимает как катастрофу.

Всем известно отношение западных людей, особенно немцев, к правилам уличного движения. Вплоть до курьезов. Мне рассказали о свидетеле одной уличной сценки. Поздно ночью он шел по совершенно пустынному Кельну, без машин и людей. На перекрестке, просматриваемом во все концы, стоял, качаясь, пьяный немец, дожидаясь, когда зажжется зеленый свет. Он покачивался, как осина на ветру, держась обеими руками за столб. Зажегся желтый, потом зеленый. Немец покачнулся, сполз по столбу вниз, стал на четвереньки и так полез через дорогу. Вот это и называется активным правосознанием.

Русские, живущие в Германии, говорили мне, что только здесь, да и то не сразу, стали освобождаться от неизбывного советского напряжения на улице, которого многие из нас даже не замечают, настолько оно вошло в плоть и кровь. Без подавляемого страха возвращаются поздно домой, даже если путь лежит через парковую зону или пустырь; правда, я никаких пустырей в Германии не видел, но раз говорят, значит, они есть. Этим я не хочу сказать, что в Германии нет преступников, они, конечно, тоже есть, как и пустыри, но это исключительно профессионалы. Барьер, отделяющий законопослушного гражданина от преступника, настолько высок, что человек, решивший поставить себя вне общества, должен преодолеть огромную моральную и психологическую высоту, в то время как в России это то же самое, что с тротуара сойти на мостовую.

Даже молодежный протест (о котором мы слышаны) против буржуазного или просто взрослого истэблишмента проявляется совершенно в особых формах: здесь не ходят по улицам с гитарами, транзисторами и кассетниками, задирая прохожих, не калечат телефоны-автоматы, не режут обивку сидений в автобусах и трамваях. Я видел несколько молодежных компаний, панков и рокеров, подвыпивших, развеселых, толкающих друг друга, но сквозь такие компании посторонние проходят как сквозь воздух; панки ни к кому не пристают, ибо опять же не работают на публику, не демонстрируют окружающим свою «отвязанность» от общества, а существуют в этой «отвязанности», вполне камерной, ограниченной, возрастной, не излучая при этом агрессивность и враждебность по отношению ко всем остальным.

Я видел в порту брошенный дом, который захватили панки под свое жилье, не пускали в него полицию, разрисовали, раскрасили не только его, но и симметричный дом по другую сторону Эльбы, создав огромное настенное панно шириной и высотой в несколько десятков метров; и я готов предположить (и даже уверен), что среди панков или среди иных слоев есть люди с уголовными наклонностями, что в Гамбурге убивают, воруют и насилюют, но это очевидная для всех аномалия, к человеку из толпы, излучающему спокойствие, достоинство и доброжелательность, это никакого отношения не имеет.

В России мы постоянно становимся свидетелями флирта, заигрывания молодых людей с женщинами в транспорте, на улицах, в магазине. По сравнению с Германией Россия выглядит сексуально озабоченной страной, и почти любое обращение мужчины к женщине декодируется сначала на наличие в нем эротического подтекста, а затем только следует ответ на его содержательную часть; невинная просьба разменять пять копеек может содержать предложение познакомиться с подразумеваемым продолжением. Ничего подобного не может иметь места в Германии. На улицах, пляже, в бассейне, в общественных местах половых различий не существовало, женщина ощущала себя не женщиной, которую видят как женщину и могут сделать ей то или иное предложение, а просто человеком. Помню, как в детстве нас всех удивляло, что на Западе существуют пляжи и бани, где мужчины и женщины купаются и загорают вместе нагишом. Пользуясь советским фразеологическим оборотом, нет никакой половой разницы между мужчиной и женщиной в общественном месте.

Может показаться, что все вышесказанное находится в противоречии с обилием секс-заведений, порноизданий, продающихся на каждом углу, легальной индустрией проституции и прочим, что для русского в определенной мере является одним из символов западной жизни и вызывает ложное ощущение половой распущенности и общего падения нравов. Надо ли говорить, что западная жизнь во многом более целомудренна и раскрепощенность отнюдь не является синонимом распущенности.

Так получилось, что на Рипер-бан мы отправились вечером четвертого или пятого дня пребывания в Гамбурге. Для живущих на Западе мы интересны еще и тем, что обладаем свежим восприятием, за которым, очевидно, любопытно наблюдать, как мы в Ленинграде наблюдали за реакциями нашего сына, впервые приведенного в зоопарк. Помню, как во время нашего первого посещения зоопарка специально, чтобы посмотреть на зверей глазами ребенка, с нами отправилась приятельница моей жены. Также и в Гамбурге, когда наши хозяева предложили вечером прогуляться по Рипер-бан, вместе с нами решила пойти целая компания немцев, состоявшая из двух братьев Катрин и жены одного из них.

Разговор велся на трех языках: русском — между нами, Феликсом и Катрин, английском — для выражения самых простых формул вежливости, и немецком — когда Катрин или Феликс общались со своими родственниками. Конечно, мне было интересно, о чем говорили люди по-немецки. Что обсуждают между собой брат и сестра, не видевшиеся месяц или два. Катрин ездила к своим родителям пару раз в месяц, а с братьями виделась несколько раз в год, хотя жили они в одном городе. Родители бывали у них еще реже, это было в порядке вещей, причем отношения у них были, по общим отзывам, прекрасные.

Отец Катрин был юристом, несколько лет назад вышедшим на пенсию и тут же поступившим учиться на исторический факультет университета просто потому, что интересовался историей. Учащийся в университете пенсионеров было немало, позволять себе это мог почти каждый. Отец Катрин во время последней войны попал к нам в плен, из которого вынес если не любовь, то по меньшей мере острый интерес к России. Отчасти поэтому Катрин и пошла учиться на факультет русского языка и литературы, кроме того, в школе у нее была хорошая учительница русского, имевшая на нее особое влияние.

Отношения между родителями и детьми в Европе принципиально иные, нежели у нас в России. Самые нежные и любящие отношения предполагают здесь определенную дистанцию, предел сближения и взаимопроникновения, переступить который считается ненужным и неприличным. Забота родителей о взрослых детях не переходит в опеку, а взрослым детям не приходит в голову, в свою очередь, требовать от родителей больше, чем те дают. Причем отличие от России заключается не только в социальных условиях, делающих независимость реальной, но и в отсутствии импульсно-патриархального принципа, лежащего в основе почти всех вещей и понятий российской действительности. Забота и любовь в России требовательна и тиранична и зиждется на убеждении, что любящий лучше знает, что нужно любимому; любовь в России не предполагает и не предоставляет свободы, а, напротив, является оправданием и обоснованием фамильярной категоричности. Эгоцентричная убежденность в собственной правоте не оставляет места для двух мирно сосуществующих принципов, а предполагает бореие за свое понимание, навязываемое другому.

Было часов девять вечера, по дуге мы обогнули Бисмарка и парк у его ног, где днем жители соседних домов выгуливали своих собак, и через три минуты вышли на Рипер-бан — жизнь здесь была ключом. Потом, через неделю, я прошел по Рипер-бан днем: пустынная, ярко изукрашенная улица с дорогами магазинами, открытыми допоздна и в выходные, ночью по столпотворению напоминала вечерний Невский. Когда-то, в незапамятные времена, на Рипер-бан жили люди, делающие канаты, здесь их смолити, закручивали, рядом располагался порт, по обеим сторонам ютились морские гостиницы, гуляли и развлекались моряки, и все было устроено для их удовольствия. Сюда стекались женщины легкого поведения со всего города, через каждые двадцать метров зазывал посетителям новый публичный дом, кабачок, ресторан, лавка, магазин; моряки хлестали ром, резались на ножах и разносили по всему свету триппер и сифилис как бесплатное приложение к острым удовольствиям.

Своей компанией мы пробирались сквозь густую вечернюю толпу. На островке посередине улицы (вроде островка безопасности) был установлен сверкающий изнутри павильон очередного шоу, а вокруг стояли негры и латиноамериканцы. «Катрин, кто это такие?» — «Кто? А, здесь назначают свидания девушкам, как бы место под часами». — «А почему все черные?» — «Разве? Не знаю, так получилось». Черные и темнокожие парни стояли каждый сам по себе, поглядывая на толпу, и если расшифровывать их согласно итальянским кинематографическим стереотипам, умноженным на советскую подозрительность, то от их вида ничего хорошо ожидать не приходилось. Здесь же все просчитывалось иначе: стоят негры и пусть стоят, белой девушке можно пройти сквозь них, как игле сквозь мочку уха, и ее не заташат в утробу секс-заведения, по-русски — просто не пощупают.

Я шел с одним из братьев Катрин, мы пытались общаться на плохом английском, что, впрочем, почти не мешало мне видеть все, что происходит вокруг. Не доходя до очередного перекрестка, наша компания остановилась, нам сообщили, что вдоль следующей улицы, идущей вбок от Рипер-бан, будут стоять уличные проститутки и что дальше по этой улице расположен тупичок с наиболее известным во всем мире публичным домом, где дамы сидят в стеклянных витринах и куда вход разрешен только мужчинам. Вроде бы иногда туда пытаются зайти и любопытствующие женщины, но это вызывает возмущение, скандал и переполох среди местных обитательниц. Переглядываясь и обмениваясь репликами, мы перешли мостовую и направились вдоль менее освещенной и более узкой улочки вверх от Рипер-бан. Действительно, начиная от угла и дальше, на расстоянии вытянутой руки друг от друга стояли панельные девы, экипированные по-разному; вечер был холодный, на нас самих были теплые куртки и шарфы, дамы тоже, как рыбаки на зимней рыбалке, были подготовлены к долгому стоянию на месте — в основном в утепленных брюках и свитерах; обычные на вид, достаточно симпатичные, приятные девушки без очевидной печати порочности на лицах топтались на месте, на одной были даже теплые варежки, переговаривались, вели себя отнюдь не вызывающе, на пытливые взгляды отвечали скромно; пока мы шли вверх по улице, никто к нам не приставал, не обращался. Пройдя еще немного, мы остановились перед железными воротами со знаком: вход с фотоаппаратами и женщинами запрещен. Около ворот стояли пересмеивающиеся компании, затем мужчины прощались с женщинами, которые провожали их шутивными напутствиями, и шли за ворота. Мы тоже оставили наших дам и вошли внутрь. Неглубокий тупичок, по обе стороны освещенные витрины, у каждой свой вход, три ступеньки и приоткрытая дверь; в каждой витрине, по-особому освещенной в основном неестественным светом и дополнительным колером с примесью лимонного, фиолетового, сиреневого, фисташкового, розового, голубого, сидела на стуле хозяйка в дезабилье или мини-бикини, и почти все в туфлях на



высоком каблуке — для удлинения ног; каждая занималась своим делом: одна расчесывала волосы, другая красила ногти на ногах, третья доводила макияж, четвертая листала какой-то иллюстрированный журнал, пятая пила кофе и курила. Задние планы перекрывались сдвинутыми шторами, но кое-где шторы задернуты были небрежно, и в просвете виднелась комната, широкая постель (на советском жаргоне — станок), простенький интерьер. Ситуация напоминала выставку аквариумных рыбок; свет, идущий из углов, рождал ощущение, что рыбки (или видят неотчетливо) посетителей, те неторопливо переходили от одной витрины к другой, останавливаться считалось неприличным, ибо свидетельствовало о серьезных намерениях. С каждой стороны было по семь-восемь витрин и соответственно столько же обитательниц. На удивление, красивых или особенно симпатичных среди них не было, две или три по толщине и выражению физиономий вообще напоминали пропитых проституток с вокзала — не особенно стройные тетки, только что ото сна; зрелище было любопытное, но не эротическое. Лишь около одной из дверей стоял мужчина и о чем-то договаривался, остальные проходили мимо; мы дошли до конца, развернулись, пошли вдоль другой стороны. Дамы с расчетом были подобраны на разный вкус: блондинки, брюнетки, статные, стройные, толстые, одна отвратительно жирная; разных национальностей.

Идя обратно, оживленно обменивались впечатлениями, наши женщины жарко нас расспрашивали — их это волновало больше, чем нас. «Ну, тебе какую-нибудь захотелось?» — спросила, толкая в бок, моя жена. Я честно отвечал, что нет.

Шли и говорили о том, кто здесь становится проституткой; нам рассказывали разные истории — про одну школьницу, которая рано вышла замуж, родила, а потом бросила мужа и дочку и пошла на панель... Физиологических причин и резонансов тут было больше, чем социальных. Нас обогнал высокий молодой человек с собакой на поводке — сутенер, сказали мне про него.

Свернули на Рипер-бан, пошли в обратную сторону по другой стороне улицы: сверкали рекламы, густым потоком шли блестящие автомобили, толпа не убывала; в программе стояло выпить пива где-нибудь за чертой Рипер-бан, где все дешевле.

Свобода в России и на Западе при более внимательном рассмотрении — это совершенно разные понятия. На Западе свобода — это свобода внутри закона, в России свобода — вне закона. Для западного правосознания русские несвободны, потому что их законы не дают возможностей для свободного существования, а для русского сознания западная жизнь несвободна, ибо западный гражданин — раб своей законопослушности. Западный свод законов — это Венеция, перемещаться можно только внутри каналов; русским синонимом свободы является воля, по Далю: «...производ действий, отсутствие неволи, насилования, принуждения». По Ушакову: «...полная, ничем не сдерживаемая свобода в проявлении чувств, в действиях или поступках». То есть анархическая свобода.

Западная свобода синонимична свободе светского человека (скажем, представителя высшего света в России XIX века) — это непринужденность, уверенность, независимость в силу точного знания правил, знания, как надо, точное ощущение границ приличий и свободное перемещение внутри этих границ. Русская воля — это подсознательный протест против каких бы то ни было границ, кроме, что называется, естественных, но и эти естественные границы и законы, толкуемые иногда очень строго, попадая в поле традиционного русского правосознания, предполагают возможность исключения из правил, ибо в силу русского понимания любое правило имеет исключение. Думаю, что трудность в создании русского правового государства куда глубже, нежели «привычка к традиционному плохим русским законам», они, законы, оттого и плохи, что значат немного. Оттого и прощается властям лицемерие, что, умом понимая необходимость точных законов, натура сомневается, если не протестует. Даже осуждая, ненавидя, русский человек оставляет место для понимания, и это русское понимание (синоним хрестоматийной широты) превращает непрерывную линию в штриховую и штрихпунктирную, ибо знает, что в любой непрерывности должны быть разрывы. Здесь, кстати, исток того чувства достоинства, независимости и спокойного доброжелательства, которое отличает западного гражданина от советского; достоинство и независимость защищены и подкреплены точным знанием законов, внутри которых человек чувствует себя свободным по сравнению с советским гражданином, подключенным к круговой поруке внутреннего несогласия с законом как принципом жизни, и поэтому ощущает себя и свою жизнь хоть отчасти (и в разной степени), но греховными. Оттого русско-советское достоинство всегда с примесью позы, в нем ошутим привкус неестественности, неловкости, как при вставании на цыпочки. И внешняя тяга к западному образу жизни, к

жизни по закону, подрывается тайным несогласием и невозможностью согласиться с жизнью по расписанию.

Западная жизнь почти лишена иронии в привычной для нас форме, ибо стремление к устойчивости и спокойствию вытесняет из жизни все, что может поставить устойчивость и спокойствие под сомнение или удар. Мы даже не представляем, как странно выглядит общение и обыкновенный разговор без ироничного подтекста, к которому мы привыкли. Во-первых, общение становится более поверхностным, ибо любое углубление чревато возможностью конфликта; во-вторых, более церемонным (даже среди близких людей), так как выход за пределы правил тайт опасную неопределенность. С этим связано и то чувство уважения и спокойного доброжелательства, с которым один человек обращается здесь к другому. Ибо это чувство уважения относится не к человеку как таковому, а к личности гражданина, подкрепляясь при этом обоюдной уверенностью, что никаких неприятностей от этого общения не последует.

Мы сидим в невероятно уютном заведении и пьем пиво. Та же компания, те же языки общения. Когда говорят по-немецки, Катрин из вежливости переводит. Один ее брат, моряк, сейчас в отпуске, другой работает в концерне «Мерседеса», увлечен своей работой, разрабатывает новые конструкции автомобилей, много получает. Феликс тоже недавно прибавил в заработке, хозяин фирмы его очень ценит. Когда Феликс окончит институт дизайнеров, то будет получать еще больше. Здесь все довольны своей работой, работают с увлечением, никто не клянет на чем свет стоит свое начальство, желает только зарабатывать больше, чтобы снять квартиру получше, в более престижном районе, иметь возможность путешествовать, купить новую, более дорогую и престижную машину, отдать детей в более престижную школу (престижная здесь почти однозначна лучшей). Ровный, спокойный гул голосов, поговорили, обменялись новостями, выпили по кружечке пива. «А не сыграть ли нам в кости?» — «Может, в карты?» — «Да нет, лучше в кости». Зовут прислуживающего в заведении, тот приносит покерные кости, начинается игра. Если тебе выпадает хорошая комбинация, все за тебя радуются, неудачная — утешают. Все доброжелательны, довольны жизнью, поверхностны, уверены в себе и в уважении к себе окружающих, неинтересны. Неинтересны, уверенны, доброжелательны, довольны жизнью, поверхностны не потому, что действительно таковы есть на самом деле (какие они есть на самом деле, я не знаю, хотя в России в такой компании за одним столом я никогда бы не оказался), а потому, что приоткрыты именно в таком ракурсе, который позволял увидеть их именно поверхностно, на уровне внешних проявлений. Проявлять же более глубокие чувства не принято, неприлично, по сути, непристойно. Уже в Мюнхене одна русская дама рассказала мне о своей подруге, с которой виделась и общалась чуть ли не каждый день. Вдруг подруга пропала, день, другой, неделя, месяц — дама навела справки; подруга уехала из Германии. Появилась она через год или полтора как ни в чем не бывало, с добродушной улыбочкой на лице. «Где ты была?» — «Понимаешь, — с сияющим лицом, — у меня был рак, я легла на операцию, долго приходила в себя, теперь все в порядке, чувствую себя прекрасно». — «Почему же ты не сказала?» — «Это мои проблемы, я не хотела осложнить тебе жизнь».

Здесь не принято жаловаться, просить о помощи, вообще просить, рассчитывать на поддержку; в Америке, говорят, все еще более лакированное, там с уст не сходит резиновая улыбка довольства; в общественном месте можно открыто помочиться, заплакать — никогда. Традицией выработан психологический тип удачливого человека, которому все стремятся соответствовать. Этот тип наиболее удобен, устойчив, воспроизводя психологические реакции человека, у которого все прекрасно, все удается.

В России встреча двух знакомых часто начинается или заканчивается жалобами на жизнь. И дело здесь не только в том, что для жалоб есть основания, — дело в том, что как на Западе неприлично жаловаться, так в России неприлично хвастаться и радоваться своим успехам. И опять же дело не только в том, что хвастаться и радоваться неприлично, ибо этим ты можешь обидеть собеседника, у которого, вполне вероятно, все не так хорошо, как у тебя. Как ни странно, это невыгодно. Почему? Получаешь много денег (помимо подозрений, что ты вор) — тогда плати за кофе, за совместную выпивку, дай в долг. Приобрел мебель? Помоги приобрести мне. Купил, достал новые интересные книги? Дай почитать. Мало того что скажут, что ты гордец, так еще и подумают, что дурак (дуракам везет — не случайно в России поговорка). Напротив, жаловаться на жизнь, ругать ее, даже если внешне ты вполне благополучен, считается хорошим тоном. Во-первых, мы любим сочувствовать и жалеть (особенно тех, кому хуже, чем нам). Во-вторых, мы завистливы (и не любим

тех, кому лучше, чем нам, особенно если они слишком выставляют свою удачу). В-третьих, редуцированная религиозность (жизнь — юдоль скорби) настраивает нас на убеждение, что человек рожден не для счастья, и жизнь рассматривается как черновик (особенно когда вокруг такой бардак). В-четвертых, редуцированное суеверие: хвалиться — гневить Бога, жаловаться — молить об удаче. А кроме того и чисто социальные условия, в соответствии с которыми человеку удобнее быть несчастным, так как с несчастного, невезучего меньший спрос. В общем, наиболее удобен, жизненно устойчив и наиболее распространен в России психологический тип человека, сетующего на жизнь, вызывающего легкое сочувствие (но не перебарщивай, не занудствуй, не требуй немедленной помощи). В то время как на Западе наиболее устойчив и удобен психологический тип бодрого оптимиста, которому во всем спешествует удача. Надо ли говорить, что эта психологическая национальная установка, являясь результатом действия самых разнообразных сил, сама влияет на создание психологической атмосферы жизни?

Первую неделю я потратил на установление контактов с университетами, различными людьми, рассылал рекомендательные письма, договаривался о лекциях, которые должен был читать, и одновременно покупал себе машину.

Все оказалось сложнее, чем я ожидал. Первое: не рассчитав, я приехал в самом начале пасхальных каникул, которые должны были продлиться примерно две недели. Моей аудиторией могли быть только русисты, студенты и преподаватели, знающие русский язык и заинтересованные русской проблематикой, кроме того, советские эмигранты, не чуждые интереса к своей родине, но в Гамбурге русская колония была малочисленна, раздроблена, состояла, в основном, из слоя негуманитариев; если бы я остался еще на месяц, то все можно было устроить и здесь, в Гамбурге, и в Кельне, Бохуме, куда меня приглашали, и в Штутгарте, где меня ждали, но я по самым разным обстоятельствам не мог остаться в Германии так долго.

С машиной тоже все оказалось куда сложнее, чем я предполагал. Машины в Гамбурге продавались на каждом углу; это были маленькие, средние, крупные частные стоянки, тупички возле авторемонтных мастерских или просто стояла застекленная будочка вроде нашего пивного ларька, а возле нее десяток машин, на ветровом стекле каждой — паспортные данные: год выпуска, пробег, цена. То же самое возле бензоколонок и автомобильных салонов: внутри за стеклянными витринами — новые машины, вокруг — бывшие в употреблении. Кроме того, несколько местных газет печатали объявления о купле-продаже, которые занимали в газете три, пять, семь, десять страниц; продавалось все, начиная от мелочей и кончая поместьями; машины шли по категории: до пятисот, до тысячи марок, от полутора и так далее, вплоть до самых современных моделей, ценой в пятьдесят — семьдесят тысяч. Для дающего объявления объявление ничего не стоило, какой бы длины оно ни было, владелец газеты окупал расходы за счет тех, кто покупал газеты, желая приобрести нужную ему вещь по объявлению.

Хозяином машины, которую я в конце концов приобрел, оказался пристойного вида афганец, уверенно говоривший по-русски. У этого афганца приятель Феликса, который нас и познакомил, уже купил несколько машин, перепродав их впоследствии в Союзе. В Союзе он был фарцовщиком, здесь стал бизнесменом, за год жизни в Германии сделавшим себе небольшое, но состояние. И афганец, и приятель Феликса разъезжали на «крутых» автомашинах: один на «мерседесе», другой на «вольво», — наше путешествие от одной стоянки к другой, с заездом в гараж и сменой машин напоминало детективный фильм. Сдержанные и благородные манеры афганца, подозрительно хорошо говорящего по-русски, приятель Феликса, продающий здесь палехские шкатулки и покупающий автомобили, то, что я выложил аванс афганцу без всякой расписки, то есть на доверии (которого я на самом деле не испытывал, но Катрин сказала, что здесь никто не обманывает — это невыгодно), шикарные машины, воспринимаемые как должное, — все это не укладывалось в мой строй жизни, но я подчинялся логике событий.

Машину я решил отправить морем на сухогрузе, а не гнать ее своим ходом. Во-первых, это было дешевле. Во-вторых, движение на немецких дорогах не сравнимо с движением на советских: на автобанах (автомагистралах) со многими полосами машины, едущие со скоростью 140—150, не выезжают на крайнюю левую полосу, где спортивные «порши», «мерседесы» и «саабы» мчатся со скоростью 200—250 километров. В городах, где вообще-то ограничение скорости 50 километров, все ездят 80—100, но не так, как у нас, а сплошным потоком, с дистанцией 5—6 метров, потому что водитель следит только за своей и другими машинами, ему не нужно бояться ямы, посторонних предметов на дороге, как и того, что на мостовую

выбежит лихая пенсионерка, ребенок, бездомная собака или кошка, — это, по сути дела, исключено.

Дороги чисты, люди строго и педантично соблюдают правила дорожного движения, а бездомных животных просто не существует. Кстати, отношение к животным — это особая тема. Здесь только отмечу, что на продолжение потомства для вашей кошки или собаки (не важно, есть у нее родословная или нет) нужно специальное разрешение, которое выдается только при условии, что вы предоставите гарантии, что ни один котенок или щенок не будет утоплен или останется без хозяина. А какая еда, какие консервы продаются для кошек и собак (с обязательным расчетом калорий, белка и углеводов)! И не дай Бог какой-нибудь хозяин ударит на улице своего питомца — это кончится вызовом полиции и крупным штрафом.

Так что водитель может не опасаться, что у него под колесами окажется четвероногий друг.

Надо ли говорить, что отношения с деньгами в Германии у меня складывались совершенно иные, нежели в России. Дома я не считал деньги, потому что их никогда не было: зарплаты хватало на то, чтобы сводить концы с концами, ничего, по сути, не покупая. В Германии я стал считать деньги, ибо появилась возможность выбора. Что мы знаем о своей жизни? Нас выпустили за границу первый раз, обменяв на двоих приличную для нас сумму, но первый раз мог стать и последним: кто знает? Мужчине, увлеченному делом, нужно немного, женщине, даже понимающей умом (вернее, вынужденной согласиться), что грех — это все, без чего можно прожить, всегда мало всего; женщина — прорва, воронка, всасывающая в себя соки жизни, ибо и есть сама жизнь. Жена — необходимое заземление для мужа, пуповина, привязывающая его к земле и традициям человеческого рода, в том числе самым простым. Моя жена почти никогда не просила для себя, ибо просить было нечего. И никогда не упрекала, что у нас ничего нет. Помню все те немногие случаи, когда она хотела что-то купить, а я ей не разрешал. Во время нашего свадебного путешествия в Риге, куда мы отправились на подаренные нам деньги, она увидела, и ей страстно захотелось купить себе, легкий плащик — он ей очень шел, с волажчиками, как тогда было модно, с приподнятыми плечиками, «волшебный» прозвала она этот плащик; я отказал ей, ибо деньги предназначались на покупку проигрывателя и магнитофона, а на остальное денег могло и не хватить (и действительно, не хватило), но на всю жизнь запомнил, как она была огорчена, как оглянулась, прошептала «волшебный плащик», но никогда меня потом не упрекнула. Мы жили, по моим представлениям, нормально, по ее — нищенски, но сколько бы раз в жизни ни ставился я перед возможностью предать что-то в себе, уступить требованиям конъюнктуры, я всегда мог опереться не только на свою твердость, но и на ее гордость. «Да пошли они все!» — говорила она, и я никогда не слышал от нее сетований и не чувствовал зависти к другим: мол, вот такой-то и такой-то дурак дураком, а уже две книги выпустил и не сегодня завтра в Союз писателей вступит. Прочитав книгу одного знакомого, не такую и плохую, правда, с щедрой дарственной надписью, она сказала: «Не понимаю, написал халтуру, получил деньги, так спрячь книгу, чтобы никто не видел, а он выставляется, книжки подписывает — стыдоба!» Но женщине, чтобы не увядать, чтобы ощущать себя женщиной, всегда нужно хоть немного мишуры, надо быть не хуже других; наша жизнь не позволяла этого, ей было тяжело. Такова планида у писательских жен: пока молода, живешь лишенная многих маленьких радостей, а когда приходит успех и достаток, молодость уже кончилась и многое из того, что хотелось, уже не нужно. В моей жизни был десяток написанных и неопубликованных на родине книг, два года работы над журналом; успеха, то есть признания обществом, не было, но мне он и не был нужен. Более того, успех у общества, которое мы презирали, компрометировал; не только из-за чувства самосохранения (нет — и не надо), не только в силу убеждений (вспомним: меня хвалят эти — что же во мне плохого?), не только в соответствии с присущим мне недоверием к верности демократических суждений (Чехов говорил: есть что-то неприятное и подозрительное в том, чем увлекается толпа, и что-то невероятно привлекательное в том, что она отвергает), но и потому, что знал, насколько истинная радость удовлетворения от сделанного выше и сильнее суетной радости от чужих похвал. Здесь не место говорить о массовом и элитарном искусстве. Но реальной для меня была не оппозиция «массовое — элитарное», а массовое (банальное, пошлое, доступное всем) — штучное, индивидуальное. Массовый товар — штучный товар. Массовое сознание и штучное, индивидуальное. Это так, к слову. Хотя последние годы мне не удавалось писать так, чтобы я был доволен в полной мере. «Не пишется», — говорит писатель в таких случаях, зная на самом деле, что может написать и описать что угодно, за исключением того, что ему надо, написав не только

нечто новое для себя, но и новое по существу, хоть немного, но раздвигая границы языка и литературы и переводя себя по границе работы как по мосту в новую жизнь. «Не пишется» — опасный период; можно не выдержать и сделать ложный шаг или прийти к ложному убеждению. Пример ложных убеждений: 1) не пишется мне, не должно писаться и другим, потому что время литературы прошло; 2) сейчас время не литературы, а чего-то несомненно более важного: жизни, нравственности, публицистики; моя обязанность как писателя — влиять на общественную жизнь и нравы; 3) когда не пишется, я просто человек, муж, отец; пока я писал, моя семья страдала, теперь я должен возместить ей потери, зарабатывая пером, ибо я все-таки профессионал. И так далее. Сами по себе эти убеждения могут быть и истинными, но логика их взаимоувязанности чаще всего является ложной, а сам вывод — оправданием.

Я избрал другой путь (хотя кто докажет, что и он не уловка): стал работать над созданием журнала, видя в нем, с одной стороны, оптический прибор, с другой — мост перехода из старого, уже потерявшего смысл состояния жизни в новое, но еще обретенное; с третьей — создание если не самого этого состояния новой жизни, то по меньшей мере стропил, перекрытий, каркаса. А все вместе, как сказал поэт, способ «прожить и молча перейти в искусственную галерею из неба и резной кости».

Уже в Мюнхене меня познакомили с классификацией советских туристов эпохи перестройки. Приезжающих на Запад первый раз называли пылесосами — им все рады, и родственники и друзья, снабжают их в качестве подарков кипой старых вещей, пылящихся в шкафах и на антресолях; приезжающих второй раз называют соковыжималками, имея в виду, что уже проехала волна «пылесосов» и следующие уже выжимают последние соки. Приезжающих в третий раз называют мстителями Горбачева — здесь комментарии излишни: открытые границы во многом легли на плечи западных доброжелателей русской свободы.

Мы были первый раз на Западе, первый раз в Мюнхене, в первой волне «пылесосов», нам все были рады, и нам понравилось в Мюнхене больше, чем в Гамбурге. Быть может, потому, что общались в основном с русскими эмигрантами нашего и близкого к нам круга; быть может, потому, что жили предоставленные сами себе — сами за себя платили, жили в гостинице, бродили по незнакомому городу.

Наша гостиница располагалась недалеко от Английского сада и «Радио Свобода». Это был небольшой двухэтажный пансион, очень уютный и недорогой: на втором этаже ванна и душ, холодильник, набитый всевозможными напитками, соком, пивом, коньяком и другим спиртным, внизу холл, устланный коврами, освещенный рассеянным светом бра, на столиках журналы и путеводители; хозяйка — кинематографический образ владелицы пансиона, пожилая, энергичная немка в брюках, с загорелым улыбающимся лицом, которое почему-то очень легко представлялось с гримасой гнева, хотя мы, конечно, видели ее только радушно улыбающейся. Нам отвели угловой номер на первом этаже — четыре окна, две огромные кровати, умывальник с двумя наборами разнокалиберных полотенец и салфеток, столик, кресла.

В гостиницу нас привез русский писатель, живущий в Мюнхене постоянно, — он встретил нас на вокзале. Я забыл сказать, что в Мюнхене неожиданно вместе с нашим знакомым нас встретила и жара. По календарю конец марта, а здесь жара, как в июле в Крыму. Еще на перроне (в поезде было не жарко и не холодно — работали кондиционеры) мы начали (а в такси от вокзала до гостиницы продолжили) раздеваться, стягивая куртки и свитера (в Гамбурге было холодно, однажды даже шел снег), пока не оказались в футболках. Мюнхен действительно был на широте Крыма, но ведь в марте в Крыму редко бывает под тридцать. А тут все дни нашего пребывания стояло испепеляющее пекло. Потом нам объяснили, что климат здесь невероятно переменчивый и определяется ветрами и горами. А один ветер, так называемый фён, входит даже в юридический арсенал приемов защиты: заявления о расторжении брака по поводу измены во время фёна не принимаются, для совершенных преступлений фён служит смягчающим обстоятельством, ибо доказано, что во время фёна многие ощущают нервное беспокойство, некоторые становятся слегка ненормальными (что, на мой вкус, не так и плохо для слишком «нормальных» и благоразумных немцев).

В принципе в Мюнхене было много достопримечательностей, музеев, исторических памятников, имеющих как немецкие, так и русские корни, иногда странно переплетающиеся. Один знакомый рассказывал нам, что присутствовал при показе советским туристам, проезжавшим в автобусе возле Хафтбанхофа, знаменитой пивной, в которой в разное время любили бывать Ленин и Гитлер, о чем и свидетельствовала мемориальная доска при входе. Переводчица спокойно перевела только про Гитлера, советские туристы довольно загудели. Гид, немного понимавший по-русски, повторил: Ленин и Гитлер. Та опять перевела только про Гитлера. Повторил еще раз

и наконец спросил: «Почему вы не все переводите?» Переводчица испуганно оглянулась и ответила: «Этого не может быть!»

Однажды, гуляя вечером, мы наткнулись на колонну с золотым ангелом, воспетым в стихах Тютчева (долго жившего в Мюнхене) и воспринимаемым как метафора.

Долго жил в Мюнхене и Кандинский, здесь есть его музей, но мы не пошли туда. Мы вообще не пошли ни в один музей, и не только потому, что с этими музеями я был знаком по альбомам, в свое время просиживая вечера (после работы в Публичке) за рассмотрением альбомов и каталогов в рукописном отделе. Но и само понятие жизни с возрастом сужалось; если когда-то жизнь прежде всего была литература, искусство, музыка, живопись, театр и так далее, то как-то незаметно из жизни ушел театр, затем музыка, а потом и живопись, хотя среди друзей и знакомых было много художников и музыкантов. То, что, скажем, живопись ушла, не означало, что она умерла, она существовала, но как бы отдельно от жизни, и теперь требовалось усилие, чтобы в нее войти, и далеко не всегда хотелось это усилие делать. К сожалению, с течением времени сужалось и само понятие «литература», но об этом нужно говорить особо.

Кстати, и сами достопримечательности в разных культурах означают разные вещи. Так, если в европейской традиции достопримечательности — это чаще всего архитектурные и скульптурные памятники, творения рук человеческих, то для американцев наиболее важные достопримечательности — творения природы. Пресловутые «семь чудес света» в Америке — это семь пейзажей, среди них известный ниагарский водопад, вызывающий поклонение публики. Подобное невозможно в России. Нельзя сказать, что у нас не любят природу, но любят по-своему, к природе какое-то само собой разумеющееся домашнее отношение. Но точно не любят длинных и пространных описаний природы в книгах, более того, даже интеллигентные читатели подчас пропускают или бегло просматривают такие описания, испытывая, правда, от этого чувство подавляемого стыда. Этот стыд — редуцированное чувство вины, вызванное ощущением негармоничности жизни, своего неустойчивого положения в ней, недоверия к природе, лишенной в России самодостаточного значения. В России нет ни Ниагары, ни Фудзиямы, ни Арарата, нет ни одного вида, пейзажа, который являлся бы национальной святыней, символизировал Россию и служил бы местом поклонения. Можно, конечно, анализировать это обстоятельство, сказать, что характерный русский пейзаж — это не живописный водопад или гора, а равнина: рощица, поле, проселочная дорога, лесок на горизонте, нечто несфокусированное, не собранное воедино, а принципиально растяжимое, расплывчатое, размытое. И также не сфокусировано и размыто чувство природы и вообще эстетическое чувство, попадающее в поле между двумя полюсами: подсознательным требованием полной гармонии, идеала и отрицанием любых промежуточных положений; известное «либо все, либо ничего», в пределе доходящее до саморазрушения. В чем причина некрасивого русско-советского быта? Что первично: бытие или сознание? Некрасивая жизнь, нетехнологичность ее (а технология сопряжена эстетике, чувству композиции, недаром самая высокая технологичность у японцев, создателей икебаны) — следствие ли это социального устройства, заведенного большевистской властью, или сама власть есть следствие растроненного в крови, в душах остервенелого стремления к идеалу? В любом случае попытка буквально воплотить идеал в жизни, материализовать его ведет к потере соразмерности жизни, к ее бесформенности, к отсутствию ее эстетического восприятия.

Германия традиционно считалась антагонистом России в Европе, хотя не менее редки замечания о глубокой родственности двух стран, вероятнее всего из-за идеализма, лежащего в основании национальных характеров. Глубокая метафизичность, свойственная и русскому и немецкому уму, делала понятными для двух народов проявления русского и немецкого гения в искусстве и философии и одновременно приводила к принципиально разному образу жизни. Россия и Германия противостояли друг другу, условно говоря, как хаос и порядок, порыв и терпение, чувство и рассудок. И, конечно, отношение русского анархического характера к немецкому порядку никогда не было спокойным. Этот порядок одновременно и привлекал — как то, чего самому не хватает, — но и отвращал как глубоко противный русскому менталитету. Особенно это касалось русских, постоянно проживавших в Германии.

В Мюнхене русских жило много, в основном политические эмигранты последних десятилетий. Казалось бы, они уехали (или были изгнаны) из-за неприятия советского образа жизни. Все, кого я видел, с кем общался, разговаривал, сидел вместе за столом по вечерам, были хорошо устроены, много зарабатывали, печатали то, что хотели, и все благодаря немецкому порядку, который почти все ненавидели, заодно распространяя свою нелюбовь на самих немцев. Не на немецкую философию или

немецкую литературу, а на немецкую толпу, немецких обывателей, бюргеров, немецкий покой, рассудочность и немецкий порядок.

Что такое русская жизнь, не укладывающаяся в рамки, в свое время лучше всех изобразил, конечно, Лесков. У него целая серия рассказов о переходной поре после крестьянской реформы, когда либеральные помещики, воодушевленные порывом, стали вводить всевозможные новшества, облегчающие жизнь крестьянству: новую технику, английские машины взамен дедовских плугов, строить крестьянам хорошие дома, бани, библиотеки, школы (мол, хорошо работает тот, кто по-человечески живет). И Лесков точно и подробно описывал, почему крестьяне, не подчиняясь основанной на добрых помыслах регламентации, продолжали мыться в баньках по-черному, новую баню используя только как отхожее место. А в прекрасном рассказе, кажется «Язвительный», как в магическом кристалле отражена судьба всех либеральных преобразований: герой рассказа, чиновник, приезжает в одну из деревень расследовать причины крестьянского бунта, в результате которого были сожжены вновь заведенные постройки и убит иностранец-управляющий.

Выяснилось, что он измучил всех добрым, уважительным и одновременно строгим, деловым отношением. В частности, чтобы пресечь частые отлучки молодых и здоровых мужиков на заработки в другие губернии (ибо мужики, уезжая, больше пропивали, прогуливали, чем зарабатывали, отчего страдали их семьи), он построил все те заводыки, на которые они рвались, в самой деревне (мол, хочешь подработать — работай, не покидая семью), что своей очевидной выгодой вызвало, к его удивлению, глупое возмущение. Но разразился бунт, после того как в качестве наказания одного из беглецов, рубахи-парня и любимца девок, управляющий посадил последнего посреди поля, на котором работали крестьяне, в кресло, привязав его чисто символически одной, кажется, ниткой к ручке кресла. Это стоило жизни управляющему и пожара помещику, уничтожившего поместье и постройки. Причем крестьяне были уверены в своей правоте, оскорбленные до глубины души прежде всего тем, что живого человека посадили «на ниточку». Вот эта невозможность подчиниться невидимым («на ниточках») правилам благоразумия и порядка и есть русская жизнь, не укладывающаяся в рамки. Европейский порядок и состоит из таких «ниточек» самоограничения, которые регламентируют жизнь, делая ее осмысленной; аккуратной, достойной, сытой. Русскому человеку, как сказал поэт, лучше жить в «кале и парше», чем ощущать зависимость от «ниточек», будь они хоть тысячу раз целесообразны. Лучше иметь такие законы и такую власть, которые можно презирать, не доверяя им и не подчиняясь, или только делать вид, что подчиняешься, оставляя за собой последнее право неподчинения, чем жить среди законов, слишком целесообразных, правильных, очевидных и не оставляющих для человека возможности наплевать на все, все разорвать и, чувствуя свою внутреннюю правоту, все отринуть.

Большая половина живших в Мюнхене русских работала на «Радио Свобода». Мне рассказывали, что, несмотря на то, что работавшие на станции (почти не важно кем — директором, радиожурналистом, музыкальным редактором или уборщицей) зарабатывали не меньше, чем немецкий профессор, в туалете постоянно воровали туалетную бумагу (стоящую тут копейки, о ее доступности, разнообразии сортов, цветов и оттенков я не говорю), устраивали чисто русские скандалы, писали друг на друга жалобы и доносы. В русском человеке живет жажда абсолютной гармонии, жажда сильная, нетерпеливая, разрушительная, ибо если гармония не абсолютная, а на «ниточках», то такая гармония, такая жизнь не нужна, даже если к ней и есть стремление. Но ни один из тех русских, с кем я встречался в Германии, не собирался возвращаться в Россию.

Конечно, «Радио Свобода» — это особая тема, я ограничусь лишь несколькими замечаниями. Для большинства постоянных сотрудников «Свобода» была золотой клеткой — нигде в Европе русскому литератору, журналисту, интеллектуалу нельзя было заработать больше, чем здесь. Войти в число постоянных сотрудников оказывалось непросто, желающих было намного больше, чем вакансий, но зато, войдя в штат, человек мог быть уверен, что обеспечен до конца своих дней. В соответствии с традицией (и, кажется, уставом) уволить работника, даже самого нерадивого, не было почти никакой возможности, и за всю историю радиостанции никто просто так не был уволен. Мне рассказывали забавные случаи, когда о том или ином работнике узнавали, что он советский агент и работает на КГБ. Случались даже коллективные жалобы на сослуживца начальству, что так, мол, и так, имярек по таким-то данным — советский шпион. Начальство станции вызывало непосредственного начальника подозреваемого и спрашивало: как он работает, есть ли к нему претензии по работе? Нет претензий, так пусть работает, хочет работать еще на кого-то и у него на это хватает времени и сил — пусть работает, это его личное дело. Было очевидно, что

какой-то процент работников, набираемых в основном из оппозиционно настроенных эмигрантов, естественно, подослан, но, во-первых, с тем, о ком это было точно известно, в некотором смысле было даже легче, а во-вторых, даже законы Германии не позволяли увольнять человека «за убеждения». Дело доходило до курьезов. Выявили как советско-гдээрзовского шпиона одного высокопоставленного чиновника бундесвера, тот успел сбежать в ГДР, выждал десять, кажется, лет, являющиеся сроком давности за шпионаж, затем вернулся в ФРГ, подал документы на пенсию и получил ее. Богу — Богово, кесарю — кесарево...

В Мюнхене мы были предоставлены сами себе и за исключением часов моих выступлений, работы, встреч и вечеров, которые мы проводили в том или ином доме, гуляли по городу. С грехом пополам мы научились пользоваться трамваем, который вез нас от гостиницы, где мы остановились, в центр. Мы купили талоны в находившемся в трамвае автомате и прокомпостировали их в автомате, стоявшем рядом. На талоне автомат ставил число и час, по этим же талонам в течение какого-то времени можно было пересаживаться с трамвая на трамвай и даже возвратиться назад. Мы овладели этой премудростью весьма поверхностно, ибо чтобы пользоваться трамваем максимально выгодно для себя, надо было изучить четыре толстых тома справочников, имеющихся в каждом трамвае, но нам было не до того. Кстати, самые различные справочники и своды правил были тут на каждом шагу: в телефоне-автомате, из которого можно было, опустив монетку, позвонить в любую точку земного шара, за исключением Союза, на вокзале, в гостинице...

Почти все, что мы купили, приобреталось в магазинах по сниженным ценам либо на распродажах — в одной из них, думаю, сошла бы с ума добрая половина очереди в Пассаже или Гостином дворе: это было огромное двухэтажное помещение (вероятно, закрывающийся по неизвестным причинам магазин), где грудями, кучами до потолка были свалены вещи: в этой куче вещи стоили 5 марок, в этой 15, в этой 35, 49 и так далее. Несколько человек со скужающими физиономиями бродили вокруг. Никто не падал в обморок, не бился в истерике от необозримого изобилия, что, говорят, иногда случается с советскими провинциалами, попадающими в гастрономические отделы супермаркетов.

Раз уж я затронул эту тему, то, возможно, имеет смысл рассказать о двух рынках, на которых мы побывали: так называемом блошином и рыбном. «Блошинные рынки» обычно устраивались по выходным, сначала по субботам и воскресеньям, потом из-за протестов церкви и общественности только по воскресеньям, да и то не каждую неделю. Иногда эти рынки имели специализацию: например, рынок фотографического оборудования или радиотоваров, хотя тут же было и все остальное, только в меньшем количестве. Я был на неспециализированном «блошином рынке», обойти который можно было лишь за несколько часов, а осмотреть все предлагаемое трудно было бы и за месяц. Здесь имелось все: от рухляди, сваленной в кучу, всевозможных мелочей (часов, инструментов, разной одежды, порножурналов, кассет, шнуров, наушников, книг, магнитофонов, пластинок, посуды, оружия, ювелирных изделий, безделушек, запчастей) до товаров совершенно новых, привезенных сюда магазинами, не желающими терять выходной день, в который все магазины были закрыты. Иногда трикотаж и одежда продавались наборами в одном прозрачном, но закрытом пакете: упаковывалось несколько вещей общей стоимостью 3, 5 или 15 марок; вы покупали кога в мешке — в свитере могла оказаться дырочка или пятно, но могли попасться и новые вещи. Кстати, на выходе во многих супермаркетах тоже стояли огромные корзины с некондиционными или вышедшими из моды товарами: трикотаж или обувь, где пару нужно было искать и подбирать самому. Иногда оказывалось, что одну и ту же пару обуви или костюм можно было купить по двум совершенно различным ценам: при входе в корзинах в пять — семь раз дешевле, а в отделе соответственно дороже.

Но, однако, наиболее сильное и необычное впечатление произвел рыбный рынок — на нем (правда, в меньшем разнообразии) были и обычные вещи ширпотреба, но главное было даже не в том, что продавалось, а в том, как. На рыбном рынке в Гамбурге практиковалась особая форма рекламы своего товара, превращающаяся в целое представление со своими постоянными героями. Продавец выступал в роли своеобразного актера-застывалы: вместе с помощником он стоял на прилавке, чаще всего в фургоне автомобиля, где грудой лежали ананасы или угри, и речитативом, напевом, прибаутками разговаривал с окружающей его хохочущей толпой, иногда швыряя в толпу ради поощрения упакованного в целлофан угря или ананас, упаковку форели или связку бананов. Даже не зная языка, можно было примерно понять, что он говорит. Кинув в толпу один или два свертка бесплатно, на следующий он устанавливал цену, и благодарная толпа тут же его покупала, участвуя в своеобразном аукционе. Наиболее знаменитым был один рыбный торговец, которого неоднократно



показывали как достопримечательность Гамбурга чуть ли не по всем телепрограммам мира; он настолько входил в раж, что, говорят, иногда работал себе в убыток, слишком увлекаясь, и отдавал больше, чем продавал. Гортанные выкрики, хохот, ажиотаж, довольная толпа, состоящая из молодых и пожилых, подростков и солидных людей, богатых и среднего достатка; приходилось протискиваться, пробираться, но в результате не возникало недовольства, обиды, раздражения, ни одного скандала или угрюмого лица, никто не лез на рожон, не вставал в позу, не выплескивал скопившегося неудовлетворения собой на окружающих.

Еще был обратный путь из Мюнхена в Гамбург, где мы провели четыре или пять дней, прогулки по городу, по Эльбе, последние покупки, встречи, среди прочих — с профессором-русистом и его очаровательной женой, всех интересовал наш журнал: как же, первый независимый журнал за столько-то лет, и не самиздат, а массовым тиражом. В мыслях мы все чаще переносились домой, хотелось вернуться и захитить несколько иной, чем раньше, спокойной, неторопливой, красивой жизнью; и изда-лека это казалось легче, выполнимей, реальней, нежели оказалось в действительности. Трудно было согласиться, что достойная, спокойная, красивая и одновременно насыщенная жизнь невозможна в России, но путь обратно в отличие от пути в Германию был дорогой с постепенно гаснущим напором иллюзий и мечтаний, постепенно погружавшей — нет, не во мрак, но в бледно-сумрачный свет новой российской действительности...

Подожел наш поезд. О, я навсегда запомню этот путь длиной метров в шестьсот, от зала ожидания до вагона: четырнадцать тяжелых мест не шутка. Я так вспотел и устал, что сквозь зубы дал себе слово, что больше никогда не буду ездить по Европе с таким багажом, делая пересадку в Берлине, где носильщиков и тележек не сыщешь днем с огнем. У вагона, до которого я добрался на последнем издыхании, нас ожидала веселенькая встреча: тетка-проводница, родная советская проводница в черной шинели и с помятой физиономией пьющей полной блондинки, раздраженно сказала: «Билеты?» Я подал билеты вместе с бумажкой, на которой стояли номера вагона и мест. «Это что такое?» Я пояснил. «Это не билеты, у вас билетов нет, я вас не посажу». — «Да ведь мы через агентство заказывали, у вас должны быть наши фамилии и номера в списке пассажиров». — «Какой такой список пассажиров, вы что, с луны свалились, это у поляков, может, есть список пассажиров. У нас только билеты, идите в кассу и компостируйте, я вас без билетов не посажу». Слома голову я побежал в кассу. Там уже какие-то русские умоляли кассира поменять им билеты на завтра на билеты на сегодня. «Девушка, — сказал я, пытаясь придать лицу независимо-невозмутимое и одновременно обольстительное выражение, — мне говорят, компостировать надо». Сказал наполовину по-английски, наполовину по-русски, стал опять объяснять, ничего не помогало. У них ничего нет, никаких данных о нас нет, список пассажиров должен быть у проводника вагона. «Да это у поляков, слышите, списки пассажиров, у нас никаких списков не бывает, у нас только билеты, мы через агентство заказывали, вот номер телефона». Какого телефона? В Гамбурге? В Берлине — ну так звоните туда. На меня смотрели с легкой жалостью, как на сумасшедшего. Я кинулся к начальнику перевозок транзитных пассажиров, стал объяснять, опять побежал к вагону, опять обратно. До отправления оставалось пять минут.

Что еще сказать о пути назад? С билетами все, очевидно, устроилось, нас больше не тормозили, поезд был такой же затрапезный, как и поезд Ленинград — Берлин, с сервисом на уровне электрички Нахапетовка — Шепетовка. В Польше к нам посадили бабулю, возвращавшуюся от своих польских родственников вместе с семьей. Как шмонали этих несчастных людей поляки! Открывали все чемоданы, проверяли бирочки и ценники, выворачивали карманы; бедную бабушку родственники одели в три кофты, таможенники их заставили снять: по новым правилам можно было вывозить из Польши и Германии покупок и подарков на общую сумму, кажется, сто рублей, которые мы потратили на вокзале за пять минут. В соседнем купе кто-то доказывал, что ботинки на его ногах куплены в Гомеле два года назад: «Да вы посмотрите, я уже набойки два раза менял!» Осматривали строго, дотошно и унизиительно. Наша бабуля везла какие-то жалкие детские вещички. «Это для внучки кофточка, это ползунки», — заискивающе пыталась разжалобить она строгую таможенницу. К нам, заваленным западным барахлом, видиками, магнитофонами, каскетами, таможенники сразу теряли интерес, убедившись, что мы транзитные пассажиры и едем с Запада. Дискриминация!

Советские таможенники были куда великодушней! «Что везете, есть радиотовары?» — «Есть». Я начал было перечислять. «Покупки, подарки, на какую сумму?» — «На обменную». — «Видеокассеты есть?» — «Есть, по три на человека, на меня и

жену». «Почему по три?» — улыбнулся он и покачал головой. Потом я узнал, что можно только по две, но в Германии нам сказали, что по три, мы так и купили. «Книги, печатные издания, религиозная литература?» — спросил он, окидывая коробки с книгами. «Да, и книги, и печатные издания, и литература». — «Советские, иностранные?» — «И советские и несоветские, разные». — «Несоветские — какие авторы?» «Авторы?» — переспросил я, помня, что единственное, что я не должен называть, это Солженицын, которого я вез почти всего, полный комплект «Континента» (60 томов) и так далее. «Авторы? Ну, Синявский, Эткинд, э-э, Соколов, э-э, потом этот, как его... Таня, как фамилия Сережи?» «Какого Сережи?» — испуганно расширила глаза жена. «Сережа, да, Юрьенен!» — «Хорошо, довольно, счастливого пути!» И вся недолга, а мы-то готовились.

Я вернулся весной и, конечно, ужаснулся, как у нас все плохо, и прежде всего отсутствие в людях жизненной силы, которая если и была, то иссякла, и лица по сравнению с довольной, здоровой, деятельной физиономией западного человека поразили выражением усталости, опустошенности, озабоченности; как захватил всех поток пошлости: и умных, и глупых, и либеральных, и консервативных, и левых, и правых; как явственно выступило отсутствие в работе мысли настоящих идей, без которых жизнь не может развиваться, а лишь возвращается на старые пути, намекая на бурную бесконечность общественной жизни, без общего плана и идеалов.

Прошло семь месяцев после моего возвращения; вокруг все разваливалось, все как загипнотизированные толковали о грядущей катастрофе, будет катастрофа, даже если она будет, это конец, а не этап; никто не хотел смотреть дальше, прозревать будущее, в американские посольства и консульства стояла очередь за визами, как некогда за джинсами; уезжали, убегали сломя голову, ссылаясь на необходимость спасать детей от резни, погромов, отравленной воды и воздуха, опять искали врагов, русофобов, «реставрировали образа». Но чем дальше, тем больше тускнел для меня западный идеал, или, точнее, приходило понимание несовместимости одного с другим, и хотя накатывало иногда отчаянье, бессилие, отвращение и неожиданно вспоминалась та или иная лакомая черта западной жизни вроде того, что как же это так, я у них даже грузовиков на улицах не видел, все есть, полки ломятся от товаров, а грузовиков, разгрузки-погрузки, людей в спецовках, ящиков, соломы нет вообще, и, как мне сказали, всё перевозят в багажниках легковушек или пикапах, предел — микроавтобус, разукрашенный, как елка. И понималось: нет, не будет у нас никогда пристойной жизни, без доли унижения, убожества, скандала, но ведь какую прекрасную (пусть и ужасную) жизнь мы уже прожили, пока было трудно и невыносимо до разрыва. А если выбирать (а у них там и в гости просто так, без приглашения не ходят), то я выбираю прекрасную и ужасную, ибо негде не страдают, не мучаются, не мучают других и не любят так, как в России.

1989, 1991.

Читайте в 1992 году:

ДАНИИЛ ХАРМС

«Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние»

Записные книжки. Письма. Дневники. 1928—1939.  
 Публикация Владимира Глоцера.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

П. И. НОВГОРОДЦЕВ  
(1866 — 1924)

\*

## НА ПУТЯХ К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ

Удивительный расцвет русской культуры начала XX века, получивший название русского духовного Ренессанса, в основе своей имел начавшийся процесс освобождения интеллигенции от всеохватной вовлеченности в политическую злобу дня. «Раскрылся, — пишет Н. А. Бердяев, — новый мир, чуждый традиционному сознанию русской интеллигенции, мир бескорыстной истины, мир духовной свободы, не подчиненный социальному детерминизму и утилитаризму. В этом течении произошло освобождение от исключительной подавленности социальной и политической проблемой, которая характерна была для старой русской интеллигенции... Революционизм, социализм перестали быть религией<sup>1</sup>. Слишком короткий срок был отпущен этому неудержимому процессу раскрепощения, слишком тонкий слой носителей этого «нового мышления» успел вырасти, но драгоценный опыт этих людей как никакой другой нужен сегодня нам, спешащим по их «живому следу» в надежде, что на этот раз процесс кристаллизации нового опередит процесс распада и последующего за ним взрыва.

Если поиграть парадоксами, то можно сказать, что значение духовной работы выдающегося философа, главы московской школы философии права Павла Ивановича Новгородцева состоит в большом вкладе в освобождение русской политической мысли от порабощенности политикой. Это вовсе не было связано с его политической индифферентностью. Один из крупнейших русских теоретиков либерализма, он был и видным политиком, одним из создателей кадетской партии, членом ее центрального комитета, депутатом 1-й Государственной думы, активным участником белого движения. Но в то время как значительное число, да, пожалуй, даже большинство, собравшихся под знамена русских либеральных партий по своим действиям и душевной структуре фактически оставались радикалами, Новгородцев глубоко осознал, что самые прочные основы правового строя закладываются не на баррикадах и не на парламентских трибунах и что быть либералом — это значит понимать существенную, но подчиненную роль политики и ее важнейшего инструмента — государства — в хозяйстве человеческого бытия. «В момент высшего торжества идеи права, — писал Новгородцев, — государство было провозглашено «земным богом»; за ним признана была исключительная и всемогущая роль в деле нравственного прогресса. Опыт XIX века заставил отступить от этого взгляда к более скромному воззрению. Для осуществления поставленных задач государство должно было призвать на помощь нравственные факторы. Однако сведенное с прежней высоты, утратив свое божественное значение, оно сохранило практическую ценность необходимой и целесообразной организации, оказывающей человечеству элементарные, но незаменимые услуги<sup>2</sup>.

Родился Павел Иванович Новгородцев 28 февраля 1866 года на Украине, в городе Бахмут (ныне Артемовск Луганской области), в семье «харьковского 2-й гильдии купца» Ивана Тимофеевича Новгородцева. В 1884 году, окончив с золотой медалью екатеринославскую гимназию, он зачисляется на первый курс естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, но уже через месяц переводится на юридический факультет, который в 1888 году оканчивает, и остается при нем для подготовки к профессорскому званию. Более четырех лет с перерывами он проводит в заграничных командировках, где подготавливает две диссертации, которые успешно защищает — в 1897 году на степень магистра («Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба»), а в 1902 году на степень доктора государственного права («Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве»), — и с 1896 года начинает свою преподавательскую деятельность в стенах Московского университета, с 1903 года в должности профессора.

Здесь проявился талант Новгородцева как исследователя и его незаурядный преподавательский дар. Он привлекал к себе слушателей и учеников не только необъятной эрудицией и дисциплиной мысли, но и своей личностью. Личность же стала притягательным центром всех его философских размышлений. Здесь его учителем и вдохновителем был Сократ.

Составление, вступительная статья и комментарии А. В. СОБОЛЕВА.

<sup>1</sup> Бердяев Н. А., «Русская религиозная мысль и революция» («Версты» (Берлин), 1928, № 3, стр. 52).

<sup>2</sup> Новгородцев П. Кризис современного правосознания. М. 1909, стр. 387 — 388.

«Сократ, — замечает в своих университетских лекциях Новгородцев, — принадлежал к числу тех учителей человечества, которые проповедовали не только свою доктрину, но и свою личность. Их влияние есть тайна их индивидуальности; ее нельзя выразить словами, ее можно только чувствовать... И прежде чем мы поняли глубину излагаемой системы, мы уже чувствуем нравственную силу личности. А в отношении к Сократу это самое главное»<sup>3</sup>.

Уже в раннем периоде своего творчества Новгородцев выступил против историзма, против попыток рассматривать историю как некий органический процесс или безличный поток, захватывающий и растворяющий в себе личность. В таком случае высшим судом оказывается суд истории, снимающий ответственность с личности, в обязанность которой вменяется лишь угадывание ведущей тенденции и подчинение ей. Исповедующее такой историзм социалистическое движение вдохновляется надеждой одноразового и окончательного исправления хода истории, чтобы в дальнейшем уже можно было полностью полагаться на его автоматизм. Несмотря на бешеную энергию, развиваемую этим движением, в основе его лежит непобедимая интеллектуальная и нравственная лень. «Для разрешения всех вопросов, — метко указывал С. П. Булгаков, — Маркс рекомендует одно универсальное средство... ослепить себя гамом и шумом улицы, и там в этом раме, в заботах дня найдешь исход всем сомнениям. Мне это приглашение философские и религиозные сомнения лечить «практикой» жизни, в которой бы некогда было дохнуть и подумать... кажется чем-то равносильным приглашению напиться до бесчувствия... Приглашение вывалиться в «гущу жизни», которое в последнее время стало последним словом уличной философии и рецептом для разрешения всех философских вопросов и сомнений, и у Маркса играет роль ultima ratio философии...»<sup>4</sup>

Творчество Новгородцева пронизано одной главной интуицией — интуицией нравственной ответственности личности за все свои поступки и за все происходящее в истории. Не суд истории (зачастую неправый, «решения» которого постоянно отменяются дальнейшим ходом общественного развития), а нравственный суд над историей — вот что должно быть ориентиром для каждой личности. В речи, произнесенной перед защитой докторской диссертации, выражая сжато итоги своей духовной работы, Новгородцев сказал: «Если бы я теперь захотел точнее определить тот главный интерес, который определил направление моего последнего труда, то я должен сказать, что он заключается в исследовании вопроса о самостоятельном значении нравственного начала... он представляет собою разрыв с традициями исключительного историзма и социологизма и переток к системе нравственного идеализма... человек... призывается к нравственному суду над историей... То, что мы вносим, то, что мы предлагаем... это — вечные основы морального сознания, и прежде всего — принцип личности и ее безусловного значения...»<sup>5</sup>

Если попытаться резюмировать результаты работы школы Новгородцева над проблемой правового государства и несколько форсировать выводы, то можно было бы сказать, что правовое государство — это государство, функционирующее в обществе, в котором произошла институционализация нравственного суда над государством. Не только исполнительная власть должна быть ограничена законодательной властью, но и законодательная деятельность должна быть подконтрольна судебной власти, причем не только со стороны конституционного суда, но и со стороны нравственного суда компетентного общественного мнения. Это мнение вырабатывается разветвленной системой свободных ассоциаций — научных, художественных и т.п., — составляющих важнейший элемент гражданского общества. В развитом гражданском обществе осуществляется «производство» очень важного и высоко ценящегося продукта, а именно — нравственных и профессиональных репутаций. В таком обществе затруднена манипуляция общественным мнением, и поистине мнения начинают править миром, но только мнения, укорененные в гуманитарном знании и религиозном ведении. Структурированная, творчески постоянно воспроизводимая, основанная на религиозном знании сокровенных глубин человеческой личности духовная атмосфера, то есть то, что в современной политологии получило наименование политической культуры<sup>7</sup>, оказывается важнейшим условием появления на свет правового государства, в котором не закон, а право выступает в качестве главного критерия оценки политических институтов и их действий.

Вокруг Новгородцева и его идей сложилась целая школа философов права и социальных философов. Непосредственными его учениками являлись И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, Н. Н. Алексеев, В. А. Савальский, А. С. Яценко. Его идеи разрабатывались С. Л. Франком (которого, кстати говоря, именно Новгородцев привлек к участию в известном сборнике «Проблемы идеализма»), С. И. Гессеном и другими. Основанный Новгородцевым уже в годы эмиграции в Праге Русский юридический факультет также выпустил целый ряд выдающихся ученых, на которых отразилось влияние традиции школы Новгородцева. Среди них следует прежде всего упомянуть В. В. Леонтовича, автора фундаментального труда по истории русского либерализма<sup>8</sup>, а также Г. М. Каткова. Но особенно важно отметить в ряду последователей Новгородцева выдающегося православного богослова и историка русской культуры Г. В. Флоровского. «Одно имя, — пишет он, — я должен здесь назвать, дорогое для меня имя покойного П. И. Новгородцева, образ верности, никогда

<sup>3</sup> Новгородцев П. И., Сократ и Платон. М. 1901, стр. 6.

<sup>4</sup> Последний довод (лат.).

<sup>5</sup> Булгаков Сергей. Два града. М. 1911, т. 1, стр. 77 — 78.

<sup>6</sup> Новгородцев П. О задачах современной философии права. СПб. 1902, стр. 2, 7, 8.

<sup>7</sup> О том, что под политической культурой в современной политологии понимается не мастерство владения политическими инструментами, а общая духовная атмосфера в обществе или идеология в самом широком смысле слова, см. «Ideology, philosophy and politics». Publ. for the Calgary inst. for the humanities. Ed. by Perel A. — Waterloo, 1983, s. 111 — 113.

<sup>8</sup> Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762 — 1914. Париж, 1980.

не умирающий в памяти моего сердца. Ему я обязан больше, чем сколько можно выразить словом. «Закон истины был во устах у него» (Малахия II. 6)<sup>9</sup>.

На первый взгляд кажется странным говорить о влиянии на богословскую мысль человека, почти до самых последних дней не высказывавшегося по религиозным и тем более богословским вопросам. И, однако, это влияние несомненно, и прежде всего, по-видимому, для Флоровского было особенно ценно безупречно православное понимание Новгородцевым границы между знанием «горнего» и знанием «земного». «Потустороннее, вечное, горнее, — пишет о Новгородцеве Флоровский, — было для него самым очевидным и достоверным, — более достоверным, чем здешнее, земное. И здешнее, земное становилось как бы прозрачным: сквозь него струились ослепительные лучи приспосуженного света. В этой живой, почти наивной интуиции Безусловного был источник большой духовной силы. И лежала на всем духовном облике покойного печать какой-то торжественной сосредоточенности и покоя»<sup>10</sup>. Другие мемуаристы тоже свидетельствуют о глубокой религиозности Новгородцева, но он никогда не позволял подменить анализ социальной реальности квазирелигиозными рассуждениями об обществе. Он был убежден, что из Евангелия нельзя вывести никаких прямых и однозначных социально-политических следствий и что единственным идеалом для христианина является личность Христа. Божественное присутствие обнаруживается для православного христианина как свет, как благодатные энергии, которые нельзя транспонировать в социально-политические институты. А ведь даже такие выдающиеся русские религиозные философы, как В. Ф. Эрн, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, подпадали под влияние идей «христианского социализма» и пытались, например, богословскую идею «соборности» приложить к социальному проектированию. Резко критикуя попытку Н. А. Бердяева в работе «Новое средневековье» совершить этот перенос, Г. В. Флоровский имел все основания подчеркнуть: «Нельзя забывать, что христианская философия есть и н д и в и д у а л и з м, и не подобает соборность благодатную смешивать с соборностью натуральной»<sup>11</sup>.

Главный труд всей жизни Новгородцева — законченный и изданный в 1917 году первый том задуманной им трилогии «Об общественном идеале» — посвящен анализу, пожалуй, самой опасной в истории попытки свести небо на землю и построить рай на земле, какую предприняли в теоретическом и практическом плане К. Маркс и его последователи. «Здесь мы имеем, — дает оценку этому труду С. И. Гессен, — лучшее и наиболее исчерпывающее изложение марксизма в мировой литературе вопроса»<sup>12</sup>. Книга за короткое время выдержала четыре издания (два из них за границей) и стала, как выразился один из эмигрантов, для многих «книгой-путницей»<sup>13</sup>.

В своем анализе марксизма Новгородцев, разумеется, опирался на работы других русских философов (и прежде всего С. Н. Булгакова и Н. А. Бердяева), выявивших личностное и религиозное ядро марксизма. Но если Булгаков и Бердяев подчеркивали нравственную порочность марксизма, то Новгородцев, вслед за П. Б. Струве, делает акцент на его научной несостоятельности. Он показывает наличие в марксизме двух абсолютно несовместимых комплексов идей — основанного на научном анализе эволюционного учения об обществе и всеобщерелигиозного революционного учения. При этом последнее Маркс хочет представить как логический вывод из первого, в то время как на самом деле первое призвано лишь придать видимость научной респектабельности марксизму в целом. Логическая убедительность незаметно переносится на все целое, сообщая ему убедительность психологическую. Цементирующим элементом, помогающим заглушить в социалисте его логическую совесть, служит внушаемая марксизмом вера в неизбежный и близкий захват власти. Новгородцев приходит к выводу о явной зависимости синтеза Маркса «от субъективной веры в близость и неотвратимость социальной революции»<sup>14</sup>.

Как только перспектива захвата власти отдалась, так марксизм начинал разваливаться на различные течения, опирающиеся на цитаты из разных работ Маркса. «Неудивительно, — пишет Новгородцев, — если впоследствии самые противоположные течения марксизма ссылаются на своего родоначальника: это объясняется тем, что при наличии в его системе противоречивых оснований эти основания уже у него самого приходят к обособлению и столкновению»<sup>15</sup>.

От имени науки Маркс оправдывает самые низменные инстинкты: можно убивать и экспроприровать, ибо это дело свято. Он апеллирует к тем, кто находится в тотальном отчуждении от общества, порвал все социальные связи и, будучи духовно опустошенным и озлобленным, готов идти на, так сказать, «беспредел». Все находящееся вне социализма не имеет права на существование. «Своим учением, — пишет Новгородцев, — Маркс не только осыпал психологические и моральные основы этого движения: его материалистической эвдемонизм, его революционный оптимизм, его страсть к уравнию, его классовые инстинкты. Он сделал более того: от оторвал это движение от всего остального потока исторической жизни, от того целого, которое составляет содержание человеческой истории; он замкнул его в себе и в этой замкнутости и обособленности объявил всеобъемлющим и всемогущим. Отрвав рабочее движение от связи с целым, он бросил его на все остальное содержание культурной жизни человечества, на учреждение и законы, на быт и

<sup>9</sup> Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж. 1937, стр. VI.

<sup>10</sup> Флоровский Г. В., «Памяти П. И. Новгородцева» («Россия и Славянство» (Париж), 27 апреля 1929 года).

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 1496, оп. 1, ед. хр. 857, л. 27 об.

<sup>12</sup> Сергий [Гессен С. И.], «Обзор русской философской литературы за время революции (1917 — 1921)» («Новая русская книга» (Берлин), 1923, № 3 — 4, стр. 6).

<sup>13</sup> Аничков Е. В. На грани. Православие и культура. Берлин. 1923, стр. 146.

<sup>14</sup> Новгородцев П. Об общественном идеале. М. 1917, стр. 281.

<sup>15</sup> Там же, стр. 280.

нравы, на идеи и верования, составляющие наряду со многим отжившим и устаревшим также и вековечные основы человеческих отношений»<sup>16</sup>.

Заменяя способ логического обоснования психологическим и превратив социализм в религию, Маркс сделал его неуязвимым со стороны научной критики. Никакие интеллектуальные аргументы на марксистов подействовать не могут, и только отсутствию их на практике, марксистский социализм погибнет, если выдвораивающее общество найдет в себе силы отторгнуть его. Еще до победы Октябрьской революции Новгородцев писал: «...мы должны с не оставляющей сомнения резкостью подчеркнуть, что историческое осуществление социалистических начал явится вместе с тем и полным крушением марксизма»<sup>17</sup>. Он только не мог вообразить, во что обойдется человечеству интеллектуальная невеняемость марксизма и необходимость прибегнуть к «историческому» аргументу.

Февральскую революцию Новгородцев встретил с большой тревогой. Являясь последовательным либералом, он считал, что правовой строй развивается только эволюционным путем, что представительная демократия — лишь одна из форм правового государства и эту форму нельзя фетишизировать. Сама по себе демократическая форма правления не спасает от всех бед. Скорее она есть показатель того, что беды уже преодолены и в обществе упрочились религиозно-нравственные основы, позволяющие раскрыть благотельные, а не разрушительные стороны демократии. «Опытные и мудрые, — писал Новгородцев, — конечно... знают, что демократия, как всякая другая форма государства, сильна только тогда, когда над ней стоит справедливость, когда народ не забыл, что в мире есть Высшая Воля, перед которой народная воля должна преклониться. Они знают, что будущее демократии, как и всякой другой формы, зависит от будущности религии»<sup>18</sup>.

Пришедшие к власти псевдолибералы-атеисты не могли даже понять, почему все быстрее раскручивается маховик распада, не понимали, что свобода только в меру внутреннего самоограничения может заявлять о своих правах. Уже через полтора месяца после начала Февральской революции Новгородцев, выступая на заседании Московского юридического общества, предостерегал своих соратников, что свобода может стать фурией разрушения. «Свобода истинная и положительная, — говорил он, — всегда носит в самой себе свою границу, свой разумный предел, который превращает ее в право. И, напротив, свобода, не знающая такого предела, утрачивает свой правовой смысл...»<sup>19</sup>.

Вспоминая о настроениях П. И. Новгородцева в период между двух революций, И. А. Ильин пишет: «Он не участвовал во Временном правительстве. Ни в каких его комбинациях и видоизменениях. В эти тягостные постыдные месяцы семнадцатого года он был весь — зоркость, тревога, отвращение. Он один из первых понял обреченность этого безволия, этой сентиментальности, этого сочетания интернационального авантюризма с исторической мечтательностью... Он понимал всю радикальность необходимых средств...»<sup>20</sup>. В июле 1917 года Новгородцев призвал к установлению военной диктатуры, чтобы «закончить с большевистской революцией»<sup>21</sup>, а 12 октября в речи, произнесенной на 2-м Московском совещании общественных деятелей, он призвал «собрать все, что может объединиться на началах высших, чем интересы классов и групп»<sup>22</sup>.

После большевистского переворота Новгородцев стал активным деятелем «Правого центра» кадетской партии. 18 мая 1918 года он был предупрежден, что на его арест выписан ордер. Угроза расстрела была вполне реальной. А между тем на следующий день он должен был выступать оппонентом в Московском университете на защите диссертации своего ученика И. А. Ильина.

«19 мая в 10 ч. утра, — вспоминает И. А. Ильин, — я уже знал, что всю ночь у него шел обиход, что дома его не нашли, что семья его заключена в его квартире, что ученые рукописи его во власти коммунистов, что у него оставлена засада. В два часа дня факультет был в сборе; царил тревога и неизвестность; диспут не мог состояться при одном оппоненте (князь Е. Н. Трубецкой). В два с половиной приехал Павел Иванович, бодрый, уравновешенный. Все знали, в какой он опасности и что он должен пережить. Он начал свои возражения около трех часов; до шести длились наши реплики. В семь диспут был закончен. Его самообладание, его духовная сила — были изумительны.

Тревожно простился я с ним, уходящим: я знал уже, что такое подвал на Лубянке.

— Поберегите себя, Павел Иванович! Они будут искать вас...

— Помните ли вы, — сказал он, — слова Сократа, что с человеком, исполняющим свой долг, не может случиться зла ни в жизни, ни по смерти»<sup>23</sup>.

Новгородцев участвовал в подготовленном нелегально в Москве летом 1918 года сборнике «Из глубины», в котором опубликовал статью «О путях и задачах русской интеллигенции», и тогда же покинул Москву и уехал на Украину. Участвовал в белом движении, являясь членом Совета государственного объединения России, недолгое время преподавал в Симферопольском университете и в 1920 году эмигрировал, перебравшись сначала в Берлин, а затем в Прагу, где при содействии чешского правительства основал 18 мая 1922 года Русский юридический факультет, который возглавлял вплоть до своей кончины 23 апреля 1924 года.

<sup>16</sup> Новгородцев П. И. Об общественном идеале. Издание третье. Берлин. 1921, стр. 314.

<sup>17</sup> Новгородцев П. Об общественном идеале. М. 1917, стр. 504.

<sup>18</sup> Новгородцев П. И. Демократия на распутье. София — Берлин. 1923, стр. 105.

<sup>19</sup> Новгородцев П., «Правовые устои новой жизни» («Русская свобода» (Петроград — Москва), 1917, № 14 — 15, стр. 24—25).

<sup>20</sup> Ильин И. А., «Памяти П. И. Новгородцева» («Русская мысль» (Берлин), 1924, № IX—XII, стр. 373).

<sup>21</sup> Думова Н. Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М. 1988, стр. 195.

<sup>22</sup> «Новое время», 13 октября 1917 года.

<sup>23</sup> Ильин И. А., «Памяти П. И. Новгородцева», стр. 274.

В эмигрантский период он опубликовал лишь несколько статей, хотя еще в 1921 году в журнале «Русская книга» было объявлено, что у него в то время уже имелись в разной степени завершенности работы «Правовое государство, его основания, возможности и пределы», «Принцип федерализма с точки зрения единства России» и «Кризис европейской культуры и русская идея». В последний период своей жизни Новгородцев пересмотрел свое прежнее недоверие к наследию славянофилов и Достоевского в отношении философии права. Он увидел в них теперь исследователей самых глубоких основ правового государства, ведь мера правовой автономии личности задается той ее глубиной, на которой в ней живут объединяющие святыни. «Путь автономной морали и демократической политики, — пишет Новгородцев в своей последней статье, опубликованной уже после его смерти, — привел к разрушению в человеческой душе вечных связей и вековых святынь. Вот почему мы ставим теперь на место автономной морали теonomicкую мораль и на место демократии, народовластия — азиократию, власть святынь. Не всеисцеляющие какие-либо формы спасут нас, а благодатное просвещение душ»<sup>24</sup>.

В советской литературе не существует сколько-нибудь серьезного анализа социально-философских взглядов П. И. Новгородцева, тогда как на Западе имеется по крайней мере две основательных работы, посвященных его творческому наследию. В работе Дж. Патнэма «Русские альтернативы марксизму»<sup>25</sup> отмечается, что помимо других влияний Новгородцев испытал на себе значительное воздействие английской либеральной мысли. Патнэм даже сравнивает значение Новгородцева для русского либерализма со значением Джона Стюарта Милля для либерализма английского. И тот и другой подводили философский фундамент под либерализм и модернизировали его, чтобы он мог отвечать новым задачам. Но если Милль делал это в стране, где либерализм прочно утвердился и представлял собой реальную силу, то Новгородцев пытался осмыслить опыт всей истории европейского либерализма и решать те новые теоретические проблемы, которые русским либерализмом еще не были включены в повестку дня.

Эту же сторону отметил и А. Валицкий в своей книге «Философия права русского либерализма»<sup>26</sup>. Он пишет, что в трудах Новгородцева дан исчерпывающий исторический и критический анализ юридического мировоззрения, его возникновения, развития и кризиса. Валицкий справедливо подчеркивает, что Новгородцев является также теоретиком русского неолиберализма, вслед за Вл. Соловьевым утвердившим принцип «права человека на достойное существование». Последние страницы публикуемых лекций Новгородцева подтверждают такую оценку. В своих философских взглядах Новгородцев всегда стоял на позициях классического либерализма и ни разу на протяжении всей своей жизни не соблазнился социалистическими идеями. Либерализм допускает вмешательство государства в экономическую жизнь только в той мере, в какой общество не утрачивает контроля над государством, высшей целью которого остается защита прав и свобод граждан. Социализм же допускает свободу в той мере, в какой государство сохраняет контроль над обществом. Метафизическим основанием либерализма остается животворящая творческая свобода. Метафизическим основанием социализма — воля к власти, подкрепленная верой в обладание истиной в последней инстанции. Трудно не согласиться с русским философом Ф. А. Степунем, утверждавшим, что «в основе социализма лежит дурная бесконечность воли к власти во имя власти»<sup>27</sup>. Новгородцев никогда не писал об экономических программах либерализма, но, думается, он бы признал справедливость афоризма, имевшего хождение в дореволюционной России: «Дай человеку в собственность ключок пустыни — и он превратит его в цветущий сад. Дай человеку в пользование цветущий сад — и он превратит его в пустыню».

## ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА XVI — XIX ВЕКОВ

### Фрагменты

#### ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНИЯ XVIII ВЕКА

**В** то время, когда в Германии высказывались взгляды, свидетельствовавшие о начавшейся реакции против рационализма, в другом ряде учений, по преимуществу исходивших из Франции, продолжалась критическая и созидательная работа рационалистической мысли. Если французские учения не всегда отличались оригинальностью, то они как нельзя более предназначены были для того, чтобы в легкой, доступной и привлекательной форме распространить в массах общие идеи европейского просвещения. Едва ли когда-нибудь ранее политическая литература становилась до такой степени общим вкусом, почти всенародным явлением, как в эту эпоху. Новые формулы и идеи, способ выражения и стиль французских писателей разошлись широко по всем концам Франции, и не только Франции — вся Европа приобщилась к этому увлечению. Конечно, это широкое распространение литературных формул и

<sup>24</sup> Новгородцев П. И., «Восстановление святынь» («Путь» (Париж), 1926, № 4, стр. 70).

<sup>25</sup> Putnam Y. F. Russian alternatives to marxism. Knoxville. 1976.

<sup>26</sup> Walicki A. Legal philosophies of Russian liberalism. Oxford. 1987.

<sup>27</sup> Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Берлин. 1923, стр. 238.

форм не всегда шло в глубину сознания, не всегда становилось твердым убеждением. Для многих это были только красивые и модные, а главное — привлекательные по своей смелости фразы. Как выражался один из представителей французской аристократической молодежи, в это время одинаково охотно «вкушали и выгоды патрициата, и прелести плебейской философии». Приятно было поговорить об опасных перспективах и смелых планах и затем сознавать, что все это остается на бумаге...

Вера в просвещение, как бы основательна она ни была, не давала никаких определенных указаний для изменения существующего строя. А между тем люди более практического склада ждали именно таких указаний. Ответить на эту потребность призваны были Монтескье и Руссо. Этим прежде всего объясняется громадный успех, который они имели. Когда Монтескье выступил со своей теорией разделения властей, заявляя, что он открыл тайну политической свободы, его учение было принято с необыкновенным воодушевлением. Теперь стали думать, что знают не только что следует изменить, но и как должно осуществить это изменение. Стали думать, что теория разделения властей представляет некоторого рода философский камень, при помощи которого можно дурное государственное устройство превратить в хорошее.

Насколько сильно было впечатление от теории разделения властей, ясно, между прочим, и из того, что французское общество этой эпохи не заметило в книге ничего другого и — что особенно любопытно — не заметило ее главной мысли. Монтескье никогда не выдавал разделения властей за тот чудодейственный принцип, за который его приняли. Он полагал основу всех законов в нравах народных и в той совокупности условий — естественных, политических и бытовых, — которые определяют их характер, определяя то, что он называл «духом законов». Эта историческая точка зрения Монтескье не была усвоена его современниками; ее оценили позднее, в XIX веке. Но для того чтобы иметь ясное представление об этом писателе, надо прежде всего ознакомиться именно с этим основным его мировоззрением.

В этом отношении любопытно отметить, что еще в более раннем своем произведении, «О причинах величия и упадка римлян», появившемся в 1734 году, Монтескье, в отличие от многих своих современников, стал на более правильную историческую точку зрения. В сущности, это сочинение можно рассматривать, как первую попытку объяснить развитие римской истории при помощи более глубоких научных представлений о значении народного характера, внешних условий и политических учреждений. Мы находим в этой книге замечательное место, в котором Монтескье высказывает идею о значении общих причин, скрывающихся в глубине истории, для хода исторических событий. Обсуждая замечание Плутарха, что римляне обязаны своими успехами счастью, Монтескье говорит: «Не счастье управляет миром. Существуют общие причины, нравственные и физические, которые действуют в каждом государстве, то поддерживая его, то разрушая. Все события истории находятся в зависимости от этих причин, и если какое частное событие приводит государство к гибели, то это значит, что за ним, за этим частным поводом, скрывалась более общая причина, вследствие которой государство должно было погибнуть». Монтескье формулирует затем свой взгляд в общем положении, которое является удачным и верным выражением исторического взгляда: «Основной ход истории влечет за собой все частные случаи». Здесь с ясностью высказывается мысль о том, что все частные события повинуются некоторому общему закону, управляющему ходом событий.

Монтескье повторяет эту точку зрения и в «Духе законов» — в специальном приложении к развитию учреждений и права. В I книге «*Esprit des lois*», говоря о различных и многообразных условиях, под влиянием которых складываются учреждения, он замечает: «Вообще законы должны настолько соответствовать характеру народа, для которого они созданы, что следует считать величайшей случайностью, если законы одной нации могут оказаться пригодными для другой». В противоположность общему убеждению своего века, считавшего возможным установить одинаковое идеальное право для всех стран, Монтескье требует, чтобы в каждом государстве законы сообразовывались с сущностью и принципом данной формы правления, с физическими условиями страны, с бытовыми особенностями жизни народов. Совокупность отношений, в которых находятся законы ко всем этим условиям, и составляет то, что называется «духом законов».

Соответственно с этим определением вся книга Монтескье представляет собою не что иное, как историко-политический трактат, который рассматривает связь учреждений с теми разнообразными условиями, от которых они зависят. Рассуждения о политической свободе составляют только часть этого обширного и сложного трактата. В XVIII веке обратили внимание по преимуществу на эту часть сочинения: каждый век берет из великих произведений то, что ему нужно для его потребности, что соответствует его собственному духу. В эпоху Монтескье общество было настроено совершенно не исторически. Все его ученые рассуждения о значении почвы, климата и других естественных условий, о различии форм правления в зависимости от различных исторических обстоятельств или вовсе не читались, или прочитывались бегло, не делая ни малейшего впечатления на читателей. Бесполезно было говорить об истории обществу, которое видело в ней только груду старых развалин, загромож-



давших путь к дальнейшему развитию. В разгар мечтаний о будущем и стремлений вперед что значили напоминания о прошлом, с которым, по словам историков, следовало сообразоваться? Лишь в Германии, еще в конце XVIII века, и эта заслуга Монтескье была оценена. Имя его постоянно упоминается здесь в спорах исторического и философского направления. В XIX веке о нем с признательностью говорил Савиньи; Гегель и Эдуард Ганс хвалят его за исторический смысл, и, наконец, более близкий к нам писатель Рудольф Геринг в своей общеизвестной брошюре «Борьба за право» заявляет, что он лишь развивает мысли, которые впервые были высказаны Монтескье. Геринг имеет при этом в виду взгляды французского писателя на значение внешних условий для развития права. Не может быть сомнения, что в развитии исторического созерцания Монтескье имел не менее крупное значение, чем в утверждении на континенте идеи политической свободы.

Мы теперь хорошо знаем, что главная цель Монтескье была не политическая, а историческая — дать изображение различных форм, соответствующих различию исторических условий. Однако, несмотря на объективность автора, на его историческое изложение, мы без труда можем отгадать его симпатии. Он говорит о всех формах правления и каждую из них находит пригодной для своего времени; но очевидно, что родной и привычной для него формой является монархия, ограниченная представительными учреждениями. И в XVIII веке обломки старых представительных учреждений удержались еще во Франции под именем провинциальных парламентов. Монтескье был президентом одного из таких парламентов, он вырос на традициях старого представительного аристократического строя. Отсюда его идеал: монархия, умеряемая представительными собраниями и духом корпораций. Он понимает под монархией такое правление, где правит один, но на основании точных законов, и где между народом и монархом стоят посредствующие инстанции. «Уничтожьте в монархии прерогативы сеншоров, духовенства, родов, и у нас скоро будет или демократия, или деспотия». «Где нет дворянства, — говорит он в другом месте, — там нет монарха, а есть только деспот».

Это был тот самый голос свободного члена представительных аристократических учреждений, который не замирал во Франции начиная с XVI века и по XVIII век, как ни усиливалась монархия. Но эти чисто местные французские традиции свободного режима Монтескье восполняет картиной английской конституции, причем подыскивает для свободного строя более глубокую основу — разделение властей. Эта часть его сочинения и стала особенно известной.

Это знаменитая XI книга его «Духа законов». Приступая к разъяснению своей теории, Монтескье избирает в качестве примера английскую конституцию, которая, покоясь на принципе разделения властей, обеспечивает политическую свободу. Но предварительно он считает нужным выяснить, что следует понимать под политической свободой. По мнению Монтескье, политическая свобода состоит не в том, чтобы делать все что хочется, а в том, чтобы делать все, что позволяют законы. Для того чтобы возможна была подобная свобода, необходимо такое государственное устройство, при котором никто не был бы вынужден делать того, к чему не обязывают его законы; и никто не встречал бы препятствий делать то, что законы ему разрешают. Это достигается проведением в жизнь начала законности, в господстве которого состоит сущность свободного режима. Теория разделения властей имеет в виду разъяснить те условия, при которых могут быть осуществлены на практике начала свободы и законности. В государстве можно различить три власти — законодательную, исполнительную и судебную. Для того чтобы свобода была утверждена в народе, власти эти должны быть разделены. Когда в одном и том же лице или в одном и том же учреждении власть законодательная соединяется с исполнительной, — нет свободы, ибо законодатели будут издавать тиранические законы, чтобы исполнять их тиранически. Не может быть также свободы и тогда, если власть судебная не отделена от законодательной и исполнительной. Судебная власть, соединясь с законодательной, становится произвольной, ибо в этом случае сам судья издает законы и приводит их в силу, т.е. делает что хочет. Если она соединяется с исполнительной, судья может стать притеснителем. Всего хуже, если три власти соединены в одном и том же лице или учреждении.

Высказав общий принцип разделения властей, Монтескье разъясняет затем, как каждая отдельная власть должна быть организована в целях успешного действия.

Во-первых, судебная власть должна принадлежать не какому-либо постоянному учреждению, а лицам, избираемым из среды народа на определенное время.

Законодательная власть в свободном государстве может принадлежать только народу, ибо каждый человек, считающийся свободным, сам должен управлять собою. Но так как в больших государствах это невозможно, а в малых сопряжено с большими неудобствами, то приходится прибегать к избранию представителей. Задача представительного собрания должна сводиться к тому, чтобы издавать законы и наблюдать за правильным их исполнением. В вопросе об организации законодательного собрания Монтескье, как поклонник английских порядков, высказывается за систему двух палат, из которых верхняя должна быть аристократической, составленной из наследственных прервов. Однако в отношении к избирательной системе он стоит за всеобщую

подачу голосов: право голоса при выборе представителей должно принадлежать всем гражданам, за исключением тех, которые находятся в столь приниженном положении, что не могут иметь самостоятельной воли.

Что касается, наконец, власти исполнительной, то она должна находиться в руках монарха. Исполнение требует почти всегда действия быстрого, поэтому гораздо лучше, если оно предоставлено одному, а не многим. С другой стороны, оно должно быть поручено лицу, независимому от законодательного собрания, во избежание совпадения двух властей, которое может угрожать гражданской свободе. Точно так же и министры как органы исполнительной власти по той же причине не должны выбираться из состава законодательных палат. Но как же должны относиться друг к другу разделенные власти? Монтескье часто упрекали в том, что он недостаточно разъясняет возможность их совместного действия. Посмотрим, что говорит он по этому поводу.

Законодательный корпус не может быть постоянно в сборе. Это и бесполезно для дела, и неудобно для самих представителей. Кроме того, это затруднительно и для исполнительной власти, которая в этом случае более думала бы об охране своих прав на исполнение, чем о самом исполнении. Нельзя, однако, допустить и того, чтобы законодательный корпус долго оставался в бездействии, ибо это дало бы в руки исполнительному органу абсолютную власть и вызвало бы его самого к законодательству. Необходимо, чтобы представители собирались в известные сроки. Право определять эти сроки и созывать в определенное время представителей лучше всего предоставить исполнительной власти, которая по ходу дела может судить, когда именно требуется законодательная деятельность. Необходимо также, чтобы исполнительная власть могла останавливать решения законодательного корпуса и распускать его, ибо иначе он мог бы забрать в свои руки всю власть и сделать ее беспощадным. Напротив, законодательной власти нельзя предоставить права останавливать исполнительную, ибо таким образом могли бы задерживаться дела; однако она должна наблюдать за правильным исполнением законов и в случае замеченных уклонений привлекать к ответственности министров, через которых действует монарх. Сам монарх должен оставаться безответственным: иначе он стал бы в зависимость от законодательного собрания, которое в таком случае получило бы незаконный перевес над исполнительной властью. Но привлекая министров к ответственности, народные представители не могут судить их сами, так как они являются при этом заинтересованной стороной. Лучше всего предоставить в этом случае суд аристократической палате, которая занимает срединное положение между королем и министрами, с одной стороны, и народными представителями — с другой.

Так изображает Монтескье нормальное соотношение властей в государстве. Законодательное собрание, составленное из двух палат, из которых каждая сдерживает друг друга; самостоятельная исполнительная власть, которая сдерживает законодательную и сама контролируется ею; наконец, суд, независимый от законодательства и правительства, — таково устройство власти в свободном государстве. Задерживая друг друга, замечает Монтескье, три власти, по-видимому, должны были бы прийти в бездействие, но так как силою вещей они должны двигаться, то они и будут двигаться согласно.

Такова сущность знаменитой теории Монтескье. Не прошло и десяти лет после появления «Духа законов», как теория эта получила громкую известность. Делом в специальном сочинении об английской конституции принял ее в качестве основы для своего изложения. Его примеру последовал и знаменитый комментатор английских основных законов юрист Блэкстон. Благодаря этим двум писателям теория Монтескье приобрела и в кругу специалистов значение непререкаемой аксиомы. Вскоре она была приложена и на практике. Когда позднейшие французские деятели, отвергнув основы старого порядка, пришли к необходимости нового законодательного творчества, они открыли в книге Монтескье готовый фундамент для своих построений. Английский режим явился для них идеалом, а теория Монтескье лучшим истолкованием этого идеала. В учредительном собрании 1789 года большинство членов стоит за английские порядки. Расходясь между собою и с Монтескье в частностях, все они были согласны в преклонении пред английской конституцией и в признании разделения властей за существеннейшую черту ее. Последователи Монтескье шли даже далее своего учителя в том отношении, что требовали еще более строгого разделения законодательной власти и исполнительной. Так, например, Мабли думал, что одно право короля созывать и распускать парламент делает немислимым равновесие властей. Национальное собрание поступило по совету Мабли и провело принцип разделения властей в той строгой форме, в которой он требовал. Оно признало за палатами право расходиться и собираться независимо от воли короля и постановлять действительные законы помимо его согласия. Так именно была построена конституция 1791 года и затем позднейшая, так называемая консульская конституция VIII года республики. Но в обоих случаях опыт показал всю непрактичность полного обособления властей. Каждый раз между законодательной и исполнительной властями, лишенными возможности законного воздействия друг на друга, устанавливались враждебные отношения, которые в первом случае окончи-

лись уничтожением королевской власти, а во втором, в эпоху консульства, победой исполнительной власти над законодательным корпусом, что привело к установлению наполеоновского режима.

После первых увлечений теорией Монтескье наступило время критического отношения к ней. Попытки исправления ее в позднейшей литературе мы отметим на своем месте, а пока скажем, что более детальное изучение английского строя не вполне подтвердило выводы Монтескье, а отчасти обнаружило в них и крупные ошибки. Такого обособления властей, какое рисовал в своем «Духе законов» Монтескье, списывая их как будто бы с английского оригинала, на самом деле в Англии не было. Монтескье просмотрел тот факт, что английские министры избираются из среды парламентского большинства и что, только опираясь на поддержку этого большинства, они могут играть активную роль, не подвергаясь опасности постоянных препятствий со стороны парламента. Вместе с тем такой порядок вещей облегчает и законодательному собранию бдительный надзор над исполнительной властью: являясь постоянно в его среде, министры всегда на виду у народных представителей и всегда могут подвергнуться запросу относительно своих действий. Именно эта зависимость министров от парламентского большинства обеспечивает в Англии правильное течение политической жизни соответственно обществу и мнению страны и указаниям ее представителей. Этот порядок окончательно утверждается в Англии только в XIX веке, но зарождение его относится еще к XVII столетию; а в то время, когда случилось посетить Англию Монтескье, он, во всяком случае, был явлением характерным для английского устройства, если и не столь заметным, как в наше время. Только односторонним увлечением принятой теорией можно объяснить, почему Монтескье, забывая об английской действительности, требует, чтобы министры не выбирались из парламентской среды, между тем как в этом именно и состоит сущность английского устройства.

Но каковы бы ни были недостатки учения Монтескье, он, во всяком случае, верно понял великое значение разделения властей как необходимого условия для водворения в государстве начала законности. Позднейшие исследователи подчеркнули необходимость единения отдельных отраслей власти в целях успешного и согласного их действия; но они не могли устранить того принципа, который защищал Монтескье. С этих пор обсуждение его уже не сходило со страниц политических трактатов. <...>

## РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XIX ВЕКЕ. БЕНТАМ. БЕНЖАМЕН КОНСТАН И ТОКВИЛЬ

Идеал правового государства, утвержденный французской революцией, послужил в XIX веке предметом разнообразной критики: одни писатели стараются его усовершенствовать, другие — отвергнуть, но все отправляются от этого основного явления мысли и жизни нового времени. Мы должны теперь представить в общем очерке эти различные направления политической философии истекшего столетия, поскольку они касаются рассматриваемого нами идеала.

Я начну с характеристики тех ученых, которые, критикуя французские идеи, старались их исправить, ввести в сочетание с новыми понятиями и, таким образом, построить более прочные системы. Писатели этой группы, в сущности, продолжают предшествующее развитие, и как ни относятся они иногда критически к идеям французской революции, тем не менее они не отвергают вполне этих идей, а только стараются их усовершенствовать. Таким образом, мы всюду видим выдающихся политических мыслителей, залагающих фундамент для новейшей теории правового государства. В Англии эта роль принадлежит Бентаму, во Франции — Бенжамену Констану и Токвилю, в Германии — Гегелю и Лоренцу Штейну.

Бентам был одним из тех писателей, которые всего более критиковали французские идеи, чтобы затем повторить, в сущности, все основное их содержание. Критика Бентама была направлена против отвлеченного характера тех начал, которые провозглашены были французской революцией. С этой стороны он особенно горячо нападал на Декларацию прав, находя в ней собрание начал, неприложимых на практике и способных только породить анархию. Вместе с этим он отвергал и те основные политические идеи, которые пользовались такой славой в XVIII веке: и идею первобытного договора, и теорию народного суверенитета, и принцип разделения властей. Во вторую половину своей литературной деятельности Бентам изменил в этом отношении свои взгляды и склонился к демократическим воззрениям, весьма близким к существовавшей французской доктрине. Но в одном отношении он остался неизменным: он всегда стоял за деятельное и прогрессивное развитие законодательства. Отсюда объясняется, что в более раннюю пору своего писательства он нападал не только на «анархические софизмы» французской доктрины, но также и на софизмы консервативной партии и, в частности, на оптимистический консерватизм знаменитых в то время «Комментариев на законы Англии» Блэкстона, в которых умахлялась реформирующая роль законодательной власти и существующее английское право выдавалось за высшее проявление разума. В противоположность этому и в связи с

традицией, шедшей от Гоббса, Бентам подчеркивал значение суверенной верховной власти, которая, по его мнению, не может иметь определенных границ и в своей деятельности должна руководиться только началом пользы. Эти положения вслед за Бентамом усвоил Остин (Austin), положивший их в основу так называемой аналитической школы юриспруденции, имеющей значение в Англии и в настоящее время.

Нападение Бентама на «Комментарии» Блэкстона имеет еще и тот интерес, что этим нападением наносился серьезный удар теории разделения властей, в которой Монтескье думал найти ключ к объяснению государственного строя Англии. Блэкстон следовал в этом отношении теории французского писателя и вместе с ним видел в английской конституции высший идеал государственного устройства. В противоположность этому Бентам доказывал, что на самом деле в Англии отдельные власти и отдельные части государственного устройства находятся во взаимной зависимости и что этим именно объясняется их систематический и непрерывный ход. Несомненно, он затрагивал здесь самое слабое место в теории Монтескье. Еще важнее, может быть, чем это критическое указание, было отрицательное отношение Бентама к тому направлению мысли, которое, восхищенное успехами, достигнутыми Англией, считало ее тогдашнее устройство за предел совершенства. Во Франции этот взгляд находил противовес в учении Руссо. В Англии он нашел горячего противника в лице Бентама.

То же отношение к законодательным преобразованиям, которое сделало Бентама противником Блэкстона, привело его затем к демократическим идеям, так как постепенно он пришел к убеждению, что только при демократическом устройстве государства можно рассчитывать на успешный ход реформ. Став на эту точку зрения, Бентам развил последовательную программу либеральной демократии, основанной на начале «всеобщей, тайной, равной и ежегодной подачи голосов». Высшим философским началом этой программы было «наибольшее счастье наибольшего количества людей», а высшим политическим принципом — понятие народного суверенитета. Расширение избирательного права представлялось Бентаму самым верным средством к практическому осуществлению этого принципа. С этим демократическим идеалом он связывал представление о неприкосновенности личной свободы и частной деятельности граждан. Настаивая на реформах существующих законов с целью приблизить их к идеалу всеобщего счастья, он требовал, чтобы эти реформы не касались частной сферы и свободы самоопределения. Вместе с Адамом Смитом, требовавшим свободы для экономической области, Бентам утвердил в Англии доктрину государственного невмешательства, которая около ста лет являлась определяющей для английских либералов. Но и вообще вся его демократическая программа с ее прямыми и ясными лозунгами имела огромный успех. Она формулировала те начала, которые в течение почти всего XIX века определяли в Англии идеал правового государства.

Во Франции эта роль выпала на долю Бенжамена Констана, который считается основателем французского либерализма XIX века и первым выдающимся систематиком конституционного права. В этом отношении он имел большое значение и для науки и для практики и за пределами Франции. По блеску своего стиля и по таланту изложения Бенжамен Констан значительно уступает своим великим предшественникам XVIII столетия; но он превосходит их систематичностью и законченностью своих взглядов. Он не был призван, подобно Монтескье или Руссо, стать глашатаем новых принципов, которые должны были преобразить существующие отношения; но зато как нельзя более он был способен подвести итоги предшествующему развитию и извлечь из него поучительные для будущего заключения. Его постоянным стремлением было выяснить не какие-либо новые и неизведанные формы, а некоторые элементарные условия для прочного соотношения общественных сил, сдерживаемых духом умеренности и взаимного признания. При этом он думал, что самым верным основанием для прочного общественного порядка является свобода. Под конец своей жизни в предисловии к своим «*Melanges de Litterature et de Politique*» (1829) он сам следующим образом определял основную задачу своей деятельности: «В продолжение сорока лет я защищал один и тот же принцип — свободу во всем: в религии, философии, в литературе, в промышленности, в политике, разумея под свободой торжество личности над властью, желающею управлять посредством насилия, и над массами, предьявляющими со стороны большинства право подчинения себе меньшинства». О том, каким образом Бенжамен Констан прилагал свой принцип к обсуждению основных политических вопросов, лучше всего можно судить из его отношения к доктрине французской революции. В напечатанных им в 1815 году «Началах политики» он объявляет принцип народного суверенитета единственным законным основанием государства. Вне этого может быть только власть, основанная на силе и потому незаконная. В этом отношении Бенжамен Констан вполне сходитя с Руссо. Однако идеи Руссо, по его мнению, требуют поправки: он считает необходимым признать, что личные права остаются неприкосновенными для верховной власти, как бы ни была она устроена. Руссо считал возможным разрешить задачу справедливого устройства, обеспечив для всех граждан участие в верховной власти. При таком устройстве он требовал полного отчуждения всех личных прав государству. Бенжамен Констан находит, что неограниченная верховная власть, кому бы она ни

принадлежала, является деспотизмом. Против неограниченности народного верховенства он возражает во имя свободы личности.

Значение этого возражения уяснится нам еще более, если мы обратим внимание на то, что Бенжамен Констан вносит поправку и в само понятие Руссо о свободе. В своей знаменитой речи «О свободе древних по сравнению со свободой новых» (1819) Бенжамен Констан развивает ту мысль, что Руссо и его последователи поняли свободу узко и односторонне. Они следовали в этом отношении идеалам древних, которые не знали индивидуальных целей и довольствовались свободой, выражающейся в правах политических, т.е. в правах участия в управлении государством. У новых народов, напротив, первую потребностью является личная независимость. Политическая свобода служит гарантией личной свободы, но она не может ее заменить. Эти определения Бенжамена Констан стали прочным достоянием политической науки и сохраняют значение до наших дней.

Став на точку зрения неприскосновенности личной свободы, Бенжамен Констан вместе с тем хорошо сознавал — и в этом новая заслуга его сравнительно с воззрениями XVIII века, — что недостаточно провозгласить личные права, их надо обеспечить прочными гарантиями. При построении теории правового государства он постоянно возвращается к этой мысли, стараясь указать исковое обеспечение и в представительных учреждениях, и в разделении властей, и в развитии общественного мнения.

Что касается самого построения конституционного права, то в этом отношении Бенжамен Констан следует по пути, указанному Монтескье. Он не пытается сам придумать образцовую и еще неизведанную конституцию, а отправляется от опыта, пройденного Англией. «Если я часто восхищался формой английского правления, — писал он о себе, — если желал, чтобы французская монархия возвышалась на тех же самых основах, то это происходило оттого, что полуторареховой опыт, имевший в результате своем благоденствие, получил большее значение в моих глазах. Я рекомендовал не рабское подражание, но глубокое изучение английской конституции и приложение ее у нас во всем том, что может подходить к нам». Таким образом, Бенжамен Констан, в юности бывший сторонником республики III года, сделался теоретиком конституционной монархии, в которой он на основании примера Англии стал видеть лучшую форму охраны свободы.

Что касается подробностей его теории конституционализма, то здесь прежде всего необходимо указать, что, подобно Монтескье, и он видел основную гарантию свободы в разделении властей; но он насчитывал не три власти, а пять, так как законодательная власть в его теории делится на две власти: власть, представляющую постоянство и воплощающуюся в наследственной палате, и власть, представляющую общественное мнение в палате избираемой; затем, как у Монтескье, следовали власти исполнительная и судебная, а над всеми ними Бенжамен ставил еще королевскую власть, приводящую их в соглашение в случаях временных столкновений. Нельзя сказать, чтобы это пятичленное деление было более удачно, чем деление Монтескье, и значение этого своеобразного повторения теории, уже ранее известной, заключалось не в том видоизменении, которое вносил в нее Бенжамен Констан, а в том особом положении, которое в связи с этой теорией он отводил в конституционном государстве монарху. Власть монархическая (*puissance royale*) представлялась ему как «нейтральная, возвышающаяся над различиями интересов и мнений, царящая над человеческими волнениями» и приводящая все остальные власти к согласию и примирению. С этим представлением о нейтральном положении королевской власти Бенжамен Констан связывал учение об ответственности министров. Это была одна из самых существенных его заслуг в истолковании английской конституции. Лабуле, один из наиболее выдающихся последователей Бенжамена Констан во второй половине XIX века, говорит, что он внес этот принцип — нейтралитета королевской власти и ответственности министров — во Францию. Но можно прибавить, что он был одним из тех, которые всего более способствовали утверждению этого принципа и вообще на континенте Европы. Впоследствии Тьер думал найти краткое формулирование этого отношения в положении, которое стало знаменитым: «*le roi regne et ne gouverne pas*» (король царствует и не управляет). Это положение едва ли покрывает мысль Бенжамена Констан, который, возвышая монарха над сферой подчиненного управления, приписывал ему деятельную роль в примирении конфликтов, вытекающую из необходимости соглашения раздельно действующих властей. В этом стремлении найти орган для соглашения отдельных властей сказывается верная мысль, вытекающая из правильного понимания недостатков теории Монтескье. Бенжамен Констан не осветил этого вопроса до конца, но он понял, во всяком случае, потребность приведения властей к единству.

На вопросе об ответственности министров Бенжамен Констан останавливается с большой обстоятельностью. В этом отношении он также понял то — что было неясно для Монтескье, — что одним из самых существенных преимуществ английской конституции является принцип парламентской ответственности, при котором министры приводятся в ближайшую зависимость от законодательных собраний и несут последствия не только своих правонарушений, но и политических ошибок,

лишающих их доверия народных представителей. При этом он указывал на важные преимущества, связанные с тем, чтобы министры выходили из среды представительства. Принцип парламентаризма находит в Бенжамене Констане ясного своего выразителя. Это было той системой управления, которую он желал для Франции.

Усвоение принципа двух палат (с признанием порядка наследственной пэрии) и начала ограниченного избирательного права довершает верность Бенжамена Констана основам английской конституции. В некоторых подробностях он впоследствии изменил свои взгляды, как, напр., в вопросе о возможности повсюду утвердить наследственную пэрию. Но в общем он остался верен ранее усвоенным началам. Если прибавить к этому, что согласно своему основному убеждению он давал в своей теории значительное место учению о личных правах и что он отстаивал начало местного самоуправления в ущерб мертвящей централизации, мы получим полное представление о том идеале, который предносился Бенжамену Констану. Это был идеал конституционной монархии, основанный на началах английской конституции. В первой половине XIX века эти начала, уже осуществленные в Англии, еще только усваивались Европой, и учение Бенжамена Констана пришлось как нельзя более по духу времени. Напротив, те демократические взгляды, которые развивал Бентам и в которых выражалось недовольство тогдашними формами английской конституции, в то время на континенте Европы еще не могли иметь успеха.

В предисловии к собранию сочинений Бенжамена Констана, изданных в 1861 году под заглавием «Курс конституционной политики» («Cours de politique constitutionnelle»), Лабале говорит, что для этих сочинений «условия времени не имеют значения». Теперь, когда прошло около полувека с тех пор как были написаны эти слова, нам яснее видно, для каких элементов в учении Бенжамена Констана время действительно не имело значения и для каких оно оказалось разрушительным, унеся их с собою в область истории. После того как и истолкование английской конституции сделало новые и значительные успехи, и сама английская конституция пережила новый ряд знаменательных изменений, теория Бенжамена Констана уже не представляется нам такой незыблемой. Но в одном отношении и теперь приходится сказать, что Лабале был прав, поскольку он имел в виду в сочинениях Бенжамена Констана «защиту не политических форм, всегда подверженных разрушению; но незыблемых принципов свободы и справедливости». Ставя в свободном государстве во главу угла принцип личности и ограничивая им начало народного суверенитета, он высказал взгляд, которому суждено было играть огромную роль в политической мысли последующего времени. После него этот взгляд с новым обоснованием — при помощи опыта североамериканской республики — повторил Токвиль. От Токвиля его заимствовал Джон Стюарт Милль, который считал идею об ограничении народного суверенитета принципом личности самой существенной поправкой к теории Бентама. В наши дни вслед за целым рядом более ранних писателей XIX века та же мысль о правах личности повторяют столь различные по направлению представители государственной науки, как Еллинек, Эсмен и Дюги. В особенности интересно, может быть, признание Дюги, строящего свою систему не на принципе личности, а на понятии солидарности и утверждающего, однако, что «если выборные парламенты были противопоставлены деспотизму королей, то теперь следует защищать не прикосновенное право личности против грозного деспотизма парламентов». Мы узнаем тут старую мысль Бенжамена Констана. Конечно, в наше время вся конструкция отношений между личностью и государством, как мы увидим далее, формулируется иначе, но основная мысль остается та же. И можем ли мы сказать, что эта мысль когда-либо устареет, пока сохраняется противоположность между личностью и обществом?

Наряду с Бенжаменом Констаном из числа других французских писателей первой половины XIX века необходимо выдвинуть Токвиля. Если Бенжамен Констан исходит в своих заключениях из основ английской конституции и продолжает традицию, шедшую от Монтескье, то у Токвиля мы видим новую попытку поставить демократическую проблему в связи с изучением строя североамериканской республики. Но точно так же, как Бенжамен Констан, он исходит из опыта действительности. Не предлагая новых начал, он анализирует настоящее и прошлое, чтобы отсюда вывести поучение для будущего. В соответствии с этим и демократическая проблема ставится у него на практическую почву. Он не скрывает слабых сторон демократического устройства, о которых знает из жизни; но он знает также, что утверждение демократии есть неизбежная необходимость. Он ясно видел, что Европа идет к этому, и хотел указать опасности, связанные с демократией, для того чтобы их предотвратить или ослабить. В этом отношении его сочинение «О демократии в Америке» и до сих пор сохраняет свое значение. Более поздний и также замечательный в своем роде анализ Брайса при видимом разногласии с некоторыми выводами Токвиля, в сущности, подтверждает его общие заключения.

О том, как смотрел Токвиль на демократию, лучше всего можно судить из следующих слов его введения: «Великая демократическая революция совершается среди нас, все ее видят, но не все судят о ней одинаково. Одни рассматривают ее как нечто новое и, принимая ее за случайность, надеются, что могут еще ее остановить;

тогда как другие считают ее непреодолимой, потому что она кажется им фактом самым непрерывным, самым древним и самым постоянным, который известен в истории». Становясь на сторону второго взгляда, Токвиль заключает, что в соответствии с этим и должна создаваться новая политическая наука, которая могла бы направить демократию на надлежащие пути: «il faut une scienu politique nouvelle a un monde tout nouveau». Много раз потом обсуждалась демократическая проблема во французской политической науке, но все эти обсуждения только укрепляли положение Токвиля о неизбежности демократических реформ, пока наконец они не сделали его бесспорным и общепринятым. Надо удивляться проницательности, с которой Токвиль поставил вопрос о демократии. До него, как замечает Анри Мишель, демократия была для одних «идеалом», «блестящей мечтой», осуществление которой казалось легким, для других синонимом «переворота, анархии, грабежей, убийств». Токвиль хочет уменьшить страхи одних и пылкость других; он берет демократию как факт и изучает ее как факт в ее подробностях и условиях. Такая постановка вопроса сама по себе была уже огромной заслугой. По сравнению со знаменитой демократической доктриной XVIII века, изложенной в «Общественном договоре» Руссо, учение Токвиля делает шаг вперед в том смысле, что в нем расчлняются понятия, которые у Руссо рассматривались как совпадающие и однозначные. Утвердив народный суверенитет, по мнению Руссо, мы утверждаем этим самым равенство и свободу, обеспечиваем неизменную справедливость. Токвиль находит, что между этими понятиями нет такой необходимой гармонии. «Если вы верите, что человек, облеченный неограниченной властью, может употреблять эту власть во вред своим противникам, отчего же вы не хотите допустить, что так же может поступить и большинство. Разве люди, соединяясь вместе, изменяют свои характеры?» В противоположность учению о естественном совпадении интересов личности с интересами большинства — точка зрения, на которой стояли и Руссо и Бентам, — Токвиль говорит о возможной «тирании большинства» и о необходимости оградить против нее права личности. С другой стороны, он не находит также гармонии между понятиями равенства и свободы: они не только не совпадают между собою, но иногда противоречат друг другу, как, напр., в том случае, когда страсть к равенству, пробуждающаяся в народе, заставляет его забывать о свободе. Но одного равенства, думает Токвиль, еще недостаточно для утверждения нормального политического быта; равенство может быть и в рабстве, оно может сочетаться с чрезмерным усилением государственной власти и с подавлением личности. Естественным средством против этого является свобода. Таким образом, основная задача, которую предстоит разрешить будущему, по мнению Токвиля, заключается в том, чтобы сочетать демократию со свободой и обеспечить беспрепятственное развитие личности при господстве демократических учреждений.

Свои общие положения Токвиль подкрепляет блестящим анализом форм североамериканского устройства. В американской жизни он находил известные благоприятные условия, охраняющие свободу, как, напр., развитие местных общественных учреждений, способствующих демократизации, и независимое положение суда. Но здесь же он убедился и в возможности тех опасностей, которые связаны с естественным развитием демократии.

Политическое учение Токвиля выдвинуло целый ряд новых вопросов высокой важности. Подобно тому как от Бенжамена Констана идет школа французского либерализма, Токвиль полагает начало демократическому течению политической мысли.

## ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX СТОЛЕТИЯ

Бентам, Бенжамен Констан, Гегель, Лоренц Штейн характеризуют с разных сторон господствующее направление государственной науки, как оно сложилось в разных странах Европы в первой половине XIX века. Если мы сравним с их учениями те положения, к которым пришла политическая мысль в своем последующем развитии, мы должны будем отметить целый ряд важных и существенных перемены. Если во вторую половину истекшего столетия мы не встречаем в области политики ярких и руководящих писателей, это не значит, что этот период не ознаменовался постановкой новых проблем. Движение мысли совершается тут менее заметно, с меньшим шумом, но это не мешает ему быть глубоким и непрерывным.

Определяя в немногих словах ту перемену, которая произошла в общем направлении политической мысли к началу XX века, мы должны сказать, что старые идеи подверглись здесь существенной переработке. Идея народного суверенитета, принцип разделения властей, принцип личных прав — все эти начала старой политической доктрины в наше время получают иное определение и иное практическое значение. Хотя и до сих пор можно указать сторонников старой конституционной школы — самым выдающимся из них следует признать французского писателя Эсмена, — хотя в современной литературе есть даже и писатели, некоторыми идеями совпадающие с представителем реакционной доктрины начала XX века Галлером — таков немецкий

юрист Зейдель, — однако рядом с этим вырабатываются новые взгляды, далеко отклоняющиеся от формул политической теории первой половины прошлого века.

Тот преимущественный интерес, который ранее принадлежал конституционной монархии, считавшейся наилучшим воплощением идеала правового государства, постепенно переходит к представительной демократии, которая, как показывает пример Англии, может сочетаться и с монархическим началом. С другой стороны, опыт применения республиканских форм в Соединенных Штатах Северной Америки и во Франции показал, что эти формы не носят в себе непременно семян разложения, как предполагал это Лоренц Штейн, хотя и он уже должен был сделать оговорку для Северной Америки. Таким образом, противоположение монархии и республики утратило свое прежнее теоретическое значение. Вместе с тем центр тяжести был перенесен на вопросы внутренней организации управления и представительства. В этом отношении последовательно были выдвинуты вопросы о местном самоуправлении, о референдуме, об организации всеобщего избирательного права, об усилении исполнительной власти при соответствующем укреплении ее зависимости от народа путем непосредственного избрания.

В связи с утверждением повсюду конституционных форм английская конституция перестает играть то руководящее значение для политической мысли, которое принадлежало ей ранее со времени Монтескье. Она становится лишь одним из конкретных примеров правового государства, имеющего и свои бесспорные преимущества, но также и свои недостатки. В самой Англии раздаются весьма авторитетные голоса не только в пользу реформы некоторых сторон ее политического устройства (в этом направлении уже и осуществлено весьма важное требование прав верхней палаты), но также и в пользу заимствования новых учреждений, как, напр., референдум, успевшего обнаружить свои достоинства в Швейцарии. Но независимо от этих предположений английская конституция не только со времен Монтескье и Бентама, но даже с тех пор, как писал о ней Беджот (в начале 60-х годов прошлого века), значительно изменилась. Беджот справедливо выдвинул в английском строе его значение как системы самоуправления общества — на эту сторону школа Бенжамена Констана, сосредоточившая свое внимание на вопросе об организации власти, не обратила внимания, а для Лоренца Штейна такое указание могло бы только подтвердить его мысль об отуплении английского парламента от начала самостоятельности государства по отношению к обществу. Не отрицая основного факта, раскрытого Беджотом, следовавшие за ним писатели — Дайси и особенно Сидней Лоу — указали в позднейшей эволюции английского парламентаризма новое явление — возросшую власть кабинета министров, по существу руководящего в настоящее время и исполнением и законодательством. Старая теория разделения властей, с ее стремлением подчеркивать их обособление, совершенно ниспровергается этим явлением, свидетельствующим, как раз наоборот, об усилившейся их связи и взаимной зависимости. Никто не станет теперь видеть секрета английской свободы в теории Монтескье; объяснение ее мы скорее найдем в указании Беджота, которое, впрочем, сделалось и общим положением государственной науки, что в Англии власть носит характер зависимый и ответственный по отношению к обществу. Само собою разумеется, что остается в силе та сторона теории разделения властей, которую никто не оспаривает и которая заключается в требовании распределения функций между разными органами. И в свое время теория Монтескье имела значение главным образом в том отношении, что она противопоставлялась неорганизованному сочетанию отдельных функций в руках власти независимой и безответственной.

Опыт широкого применения конституционных форм на континенте Европы успел обнаружить наряду с их превосходством по сравнению с прежними формами также и их несовершенство. В этом отношении наибольшее внимание выпадает на долю того политического элемента, который является жизненным нервом правового государства, т.е. системы представительства. Победоносное распространение идеи всеобщего избирательного права далеко не разрешило задачи правильного представительства народной воли. Если, и вообще говоря, эта задача не разрешима вполне, то здесь возможны усовершенствования. В сторону этих усовершенствований, или, как выражается французский писатель Бенуа, в сторону организации всеобщего голосования, и направляются усилия современной политической мысли. Условий для такой организации ищут или в переходе к пропорциональным системам, или в представительстве профессиональных групп, или, наконец, в особой организации самих выборов. Требование референдума, высказываемое различными писателями в Англии и Франции, по существу, имеет ту же цель — обеспечить наилучшее выражение народной воли. Сюда же следует отнести и ожидания, поддержанные в последнее время и Еллинеком, что развивающаяся самоорганизация общества, объединяя отдельных лиц во множество взаимно перекрещивающихся групп, вместе с тем вызовет к жизни новые силы для выражения народных нужд, помимо официально признанных органов правительства и представительства. Приведет ли эта самоорганизация общества к переустройству государства на новых началах, как это предполагает Дюги в своем новейшем труде («Le droit social, le droit individuel, et la transformation de l'Etat», 1908), или же только к восполнению существующих государ-



ственных органов новыми органами для выяснения интересов отдельных общественных групп, во всяком случае, остается незыблемой основная идея устройства правового государства путем самоуправления общества на началах представительства. В этом самоуправлении по-прежнему видят лучший способ для охраны индивидуальных прав и утверждения свободы; но вместе с тем ищут для него новых формул и форм, которые могли бы наилучшим образом утвердить идею, по существу, непререкаемую и бесспорную.

Однако как далеко ни идут представители государственной науки в вопросе о представительстве современного государства, они все же сохраняют и ту, другую идею — единства государства и права, — которая с самого начала была противопоставлена началу средневековой раздробленности. Писатели, наиболее близко подходящие к идее расслоения общества по группам и профессиям, как Бенуа и в особенности Дюги, все же твердо стоят за идею единого государства, контролирующего и наблюдающего за разнообразием входящих в него групп. С этой точки зрения нападки Дюги на принцип суверенитета представляются не более как недоразумением, так как они касаются не идеального существа этого принципа, а той внешней оболочки, с которой он сочетался иногда в истории, т.е. идеи всемогущего и всевластного государства.

Но более существенные перемены совершились в последнее время не столько во взглядах на организацию государства, сколько в воззрениях на его функции, на задачи его деятельности. С этой стороны можно сказать, что правовое государство с конца XIX века вошло в новую стадию развития. Теоретики первой половины этого века полагали, что государственная деятельность должна ограничиваться охраной прав граждан; они выступали с требованием полного невмешательства в частную жизнь граждан, в экономическую сферу. Это считалось наилучшим средством обеспечить свободу и равенство. В Англии этот взгляд был выражен Бентамом, во Франции — Бенжаменом Констаном, в Германии — Вильгельмом Гумбольдтом. Свобода и равенство понимались тут чисто формально, юридически, в смысле обеспечения их в законе путем устранения юридических неравенств и стеснений. Для своего времени, когда надо было уничтожить тягостный гнет старого порядка, осуществление свободы и равенства в этом смысле являлось огромным шагом вперед, и неудивительно, что первоначально вся задача правового государства представлялась исчерпывающей с достижением этой цели. Однако политическое развитие XIX века обнаружало, что для осуществления начал равенства и свободы требуется не только устранение юридических препятствий к их утверждению, но также и некоторых материальных, положительных условий их реализации. В жизненной борьбе свобода и равенство для слабых и изнемогающих превращаются в отвлеченное понятие, лишенное действительного значения. Требуется влиятельная поддержка государства и общества, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается, достигнуть действительной свободы и настоящего равенства с другими. Проникаясь этим сознанием, европейские государства одно за другим вступают с конца XIX века на путь социальных реформ. Задача, которая ставится в этой области, представляется бесконечно более трудной и сложной по сравнению с той задачей, которую правовое государство ставило себе ранее. Для того чтобы устранить юридические неравенства и стеснения, достаточно было отмены старых законов с соответствующим преобразованием различных учреждений. Осуществление равенства и свободы в положительном смысле требует продолжительной деятельности устройства жизни при помощи создания лучших материальных условий общественного развития. Современная политическая мысль, ставя государству эту трудную задачу, не ждет ее немедленного осуществления, как и вообще устраняет мысль о скором достижении всеобщей гармонии.

В этом отношении новая точка зрения коренным образом отличается от той, которая так часто высказывалась в XIX веке. Рассматривая философию Гегеля, мы видели, как ему представлялось, что высшая ступень развития мирового духа уже достигнута. Мы видели, как целый ряд писателей прошлого века находил в той или иной политической форме истинное и всецелое выражение начал разума. В наши дни, выражаясь словами английского юриста Дайси, для добросовестного мыслителя невозможно думать, что в мире воображаемом или действительном можно открыть какую-либо совершенную конституцию, способную служить образцом для исправления недостатков существующих государственных форм.

По-прежнему верят в прогресс, в необходимость стремления к идеалу, но исчезает мысль о том, что абсолютный идеал может быть осуществлен во временных относительных формах.

Текст печатается по изданию: Новгородцев П. И. Лекции по истории новой философии права XVI — XIX вв. М., 1912, стр. 213 — 232, 285 — 300, 336 — 344.

*Для настоящей публикации нами отобраны не основные теоретические работы П. И. Новгородцева, которые вскоре появятся в приложении к журналу «Вопросы философии», а отрывки из его университетских лекций. В дореволюционной России учебные пособия не подготавливались заранее профессорами, а издавались студентами, которые, объединившись в группы, тщательно записывали слова лектора, распределив между собой разделы. Поэтому такие записи хотя и просматривались*

лектором, но, как правило, не отличаются тщательностью отделки, зато доносят до нас живой голос автора. О впечатлениях, которые производили на слушателей лекции и беседы Новгородцева, прекрасно говорит в своих воспоминаниях его ученик Иван Александрович Ильин:

«Мы, начинающие студенты, слушали его по-особенному, многого не понимая, напряженно ловя каждое слово, напряженно вникая: он говорил о главном; не о формах, не о средствах; отвлеченно, но о живом; он говорил о целях жизни и прежде всего о праве ученого исследовать и обосновывать эти цели. Вокруг него, его трудов, докладов и лекций шла полемика, идейная борьба... Слагалось идейное бродилло, закладывались основы духовного понимания жизни, общественности и политики... Он обладал исключительным чутьем к т.е.е. Интуитивно улавливая, как бы подслушивая внутренним слухом, где и как бьется сердце Предмета, он отыскивал то умопостижаемое место, в котором завязан узел проблем...» («Памяти П. И. Новгородцева», стр. 270 — 271).

Среди многочисленных воспоминаний о П. И. Новгородцеве, написанных его современниками, наиболее проникновенные строки принадлежат Г. В. Флоровскому.

Г. В. Флоровский

## ПАМЯТИ П. И. НОВГОРОДЦЕВА

В кратком поминальном слове немного можно сказать. И только отдельные черты дорогого образа удастся воскресить и припомнить.

В одной из своих последних статей, определяя типические и своеобразные черты русского православного сознания, П. И. Новгородцев на первом месте называл созерцательность. В этом слышалось и личное признание. Этим нежным и, может быть, неудачно выбранным словом он указывал свое самое глубокое и первичное прозрение... «Созерцательность, — говорил он, — означает такую обращенность души к Богу, при которой главные помыслы, стремления и упования сосредоточиваются на божественном и небесном». Это значит: переживать жизнь как нравственный и религиозный долг, как некое мирское священнодействие, — священнослужение Добра. Таким самочувствием и восприятием определялось все мировоззрение П. И. Новгородцева. Потустороннее, вечное, горнее было для него самым очевидным и достоверным, — более достоверным и действительным, чем здешнее, земное. И здешнее, земное становилось как бы прозрачным: сквозь него струились ослепительные лучи присносущего света... В этой живой, почти наивной интуиции Безусловного был источник большой духовной силы. И лежала на всем духовном облике покойного печать какой-то торжественной сосредоточенности и покоя. Это не отрывало его от земли. Все обаяние и красота образа П. И. Новгородцева в том и заключались, что в равной мере он видел и хотел видеть и горнее и долнее, — возводил каждый житейский вопрос до высоты нравственно-философской проблемы и обратно развертывал метафизические идеи в систему практических постулатов и прикладных заданий. Так окрыленность духа животворила житейское действие.

Писал П. И. Новгородцев сравнительно немного. И во всем, что писал, ставил и решал всегда один и тот же неизменный вопрос — вопрос о нравственном действии, о нравственном творчестве в жизни. Он начинал свою литературно-философскую деятельность в эпоху видимого господства позитивизма. Это было время, когда, по резкому выражению Дайси, «лучше было быть заподозренным в мелком воровстве, чем в недостатке историзма». И с этим духом времени Новгородцев прежде всего вступил в борьбу. Он верно почувствовал: историзм, как «отвлеченное» мировоззрение, неизбежно приводит к нравственному безразличию и бездействию. Если жизнь определяется только игрою естественных и непреборимых органических сил, она тем самым освобождается от нравственного надзора и суда. Нравственные оценки теряют практический смысл. И остается только в рабской покорности смириться перед силою грубого факта. В таком смиреннии, в таком квиетизме Новгородцев видел великую ложь и соблазн, малодушие и идолопоклонство. Этой ложной абсолютизации летаргического факта он противопоставлял самоочевидную абсолютность категорического долженствования. Это не было отвлеченным морализмом. Нравственное сознание не строит воображаемого идеального мира и не ради этого мечтательного призрака судит существующий порядок. Проблема нравственного действия состоит в том, что жизнь должна определяться вдохновением Добра; и если этого нет, она подлежит суду и осуждению. Новгородцев отрицал возможность и осуществимость идеальных или абсолютных форм жизни. Но он твердо верил в силу Добра, в мощь нравственного подвига и потому с таким спокойствием утверждал право и обязанность нравственного протеста и противления всему тому в жизни, что не есть осуществление Добра. Всю жизнь размышлял он над проблемою нравственного идеала и наконец подвел итоги своего напряженного раздумья во вдохновенной и пылкой книге «Об общественном идеале», которой суждено было выйти в свет только в канун октябрьского переворота.

Для П. И. Новгородцева это не была злободневная книга. Она выношена в глубинах размышляющего духа и даже написана была до великой войны. Это не торопливый отклик на внешние катастрофы. Это философское рассуждение, а не публицистический памфлет. И вместе с тем это — книга великих разочарований и отречений, книга взрывчатая и

разрушительная. Но разрушительный пафос обращен в ней против кумиров и внушается благоговением пред подлинной святynieй. Потому так бесстрашно низвергаются кумиры, что незыблемо стоит алтарь Всевышнему. Нельзя не изумляться, читая эту пламенную книгу: взрывчатые мысли облечены здесь в такую строгую и стройную художественно законченную форму, — тревога мысли таинственно сочетается с чувством меры. И в этом сказывается великая вера.

П. И. Новгородцев был убежденным индивидуалистом. «Непреклонная личность», непреклонная во имя Добра, была для него «образ и путь Абсолютного в истории». Но при этом разумел он конкретную полноту личного бытия, не уединенное самовластие субъективного произвола. И личность находит себя только в любви, только отдаваясь. Уединенная самодовлеющая особь, это — продукт незаконного преувеличенного отвлечения: в действительности мы знаем только людей, живущих в общении и в общезитии совершающих свой жизненный путь. Поэтому исходя из индивидуализма как из безусловного начала всякой нравственности и даже отождествляя индивидуализм и нравственность, так что «вне автономной личности нет вовсе и нравственности», Новгородцев и исполнение нравственности видел в задании и идеале вселенской солидарности.

Безусловная ценность лица и любовное принятие множественности лиц совпадали в его восприятии. Настойчивый призыв к самоопределению, к свободе и творчеству означал для него прежде всего, что нельзя и несправедливо жить для себя одного и про себя. Безусловное, раскрывающееся, как добро, в каждой душе, требует любви и рождает любовь — «автономный закон личной воли сам собою переходит в нравственную норму общения». Вселенскость, целостность, соборность, любовь — все это равнозначные понятия, вытекающие одно из другого и исполняющие друг друга. Поэтому в мысли Достоевского о всеобщей и всецелой ответственности Новгородцев и видел основание для деятельной творческой работы. В этом чувстве побеждается недобрая разобщенность. Но эта любовь достигается только в личном подвиге, в подвиге внутреннего обновления каждой отдельной личности. Чем более вырастают духовно отдельные люди, тем ближе становятся друг к другу: ибо только через безусловное только в Боге открывается до конца чужое сердце. «Взаимная любовь всех во Христе» — в этом видел П. И. Новгородцев единственное основание и безусловную цель жизни. Но прибавлял: «Царства Божия нельзя построить в порядке земного делания, и тем не менее вся жизнь земная должна быть овеяна мыслью об этом самом Царстве». Смысл истории осуществим только за ее пределами, ибо превышает земную меру... Новгородцев исходил из Канта, но ему не пришлось ломать самого себя, чтобы в непрестанном самоуглублении прийти к полноте православной веры.

В последние годы пред П. И. Новгородцевым по-новому открылась проблема общественного утопизма, с которым он всегда и вдохновенно боролся. Он увидел, как глубоко обоснован он в самом духовном складе европейского Запада, насколько связан он с особенностями западной религиозной стихии. И понял, что тот кризис общественного сознания, о котором он уже давно говорил, есть, в сущности, кризис Запада. В последние годы Новгородцев напряженно задумывался над Достоевским. У него видел он начала новой, русской и православной, общественной философии, которой, казалось ему, суждено обновить и усталые души европейских людей. Общественный идеал открылся для него в церковной соборности. В этом не было у него утопических преувеличений. Он не соблазнился теократией. Может быть, с еще большей силой он почувствовал ограниченность всякого мирского делания. Но с большею силою почувствовал и всю созидательную мощь добра и любви — на этом утверждался, как и всегда, его лучшие упования. Он верил в подвиг. И русского подвига ждал, подвига в духе и в силе духа.

В таинственные и великие дни страстной седмицы, пять лет тому назад, стояли мы у открытого гроба. Боль последнего прощания смешивалась с тревогой неожиданного сиротства. Но от гроба веяло благодатным покоем. Не тем могильным покоем, который меньше жизни, есть только отсутствие и отрицание жизни. Но тем, который больше жизни, ибо есть жизнь бесконечная. И становилось ясно: смерть есть путь и разлучение, не конец. И легко было повторить: Блажен путь, вонже идеши днесь душе яко уготовася тебе место упокоения...

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАМЯНОВ

\*

## В ТЕСНОТЕ И ОБИДЕ,

ИЛИ

## «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

1

**П**редставляете: мышь юркнула в валенок, кот — за нею. Сгоряча протиснулся в голенище, а мышь удрала через дырку в подошве. И, значит, на очереди вопрос: скоро ли кот выберется на волю, пятясь и волоча валенок на себе? Не позавидуешь коту, если со стороны помощи нет — гуманитарной, как принято сейчас ее называть.

Вот и с обществом может стрястись нечто подобное, если, подстегивая себя азартными возгласами «вперед!», оно пробивает кротовый ход в никуда, а верней — в кромешность морального оупения, коррупции, непробудной экономической беспоточи и т.п. Притом ход настолько тесный, что там и не развернешься, а надумали выбраться, махнув рукой на всю затею, — пятытесь.

Именно в такой позиции застаёт современника искусство рубежа 80 — 90-х годов. Рыл он, значит, минный подкоп под старый мир, а теперь дергается в тесном лазе, не умея освободиться. Для части нынешних повествователей его дерганья — потеха. Но не о них сейчас речь. Речь о литературе, стряхнувшей с себя долгую оторопь и готовой чутко прислушаться к заветам прежнего, додирективного искусства.

Примем в расчет, что новейшие поколения россиян образовали цепочку застрявших (термин Руслана Кирсева, вынесенный им в заголовок повести «Застраивший»), сбившихся с направления, вернее — сбитых с толку азартными планировщиками будущего. Ситуация уникальная, ибо по части общенародных починов, предельных ускорений на тупиковых путях мы — первопроходцы. Нет, в истории, конечно, и прежде случалось всякое: исчезали народы, гибли цивилизации, но не по плану и без опоры на передовую теорию. Нам же приходится размышлять о судьбе человеческих ценностей в постутопическом обществе, когда развёлся государственный миф, иссяк азарт социального эксперимента...

К раздумьям на эту тему располагают и книги возвращённых авторов, не терявших и в пору массовой пылкости трезвого взгляда на сам эксперимент, его устроителей, на судьбы тех, кому выпала подопытная роль.

Откроем для начала одну из таких книг, где рассказана история неоперившегося юнца, вчерашнего студента, которого сталинский режим переместил из вузовской аудитории в рудничный забой, дабы идейно перековать. Имя студента звонкое, как удар металла о металл, — Ким. И родители, которым при заполнении метрики пришла на ум эта политическая аббревиатура, видно, загодя наметили для сына прямой и светлый путь под знаком серпа и молота. Ким, однако, запнулся уже на раннем этапе, затеяв рискованную полемику с преподавателем-обществоведом. А дальше для неосторожного спорщика — путь под землю, в забой, где вчерашний студент, не обученный делу, тычется из штрека в штрек, проползает по каким-то вентиляционным отводам, обдираясь о комья руды, торчащую арматуру, рискуя обвалить на себя глыбу ли, просевшую балку; проползает с мечтой о воле, глотке чистого воздуха.

Первый такой опыт завершился все же благополучно. Но только первый. А перед очередным погружением под землю Ким вдруг испытал пугающее чувство «ненависти, сильной до омерзенья». К чему же? К падающим хлопьям снега, ночному воздуху, звездам, деревьям. И удивился, «как жил спокойно среди всего этого, а иногда даже этим восхищался».

Невольно всплывает аналогия с эпизодом из «Тихого Дона», где Григорий Мелехов увидел над собой сияющий чёрный диск солнца...

О студенте, отправленном «на перековку», мы недавно прочитали в повести Фридриха Горенштейна «Зима 53-го года» («Искусство кино», 1990, № 7—9), вернувшейся к нам из 60-х. Ситуация тут как будто незамысловата, даже серийна: воспитанник партии и комсомола на миг вышагнул из строя и сразу же услышал, как заклацали затворы конвойных. А переживание Кима перед спуском в шахту (оно предсмертное, ибо назад ему уже не выбраться), этот эмоциональный «пик вниз», беспредель, безысход, сродни мелеховскому.

Но Григорий Мелехов обучен приемам боя, готов выстрелить навскидку, упредив маневр противника. А желторотый Ким ничему не обучен, шарит глазами в поисках гонителя, не умея распознать того в лицо. Да и мудрено распознать, если вместо лица — личина. У Мелехова под ногой было твердое поле боя, у Кима — ползучая осыпь, вокруг рукотворные горы-терриконы и линяло-кумачовый дизайн для взбадривания тружеников. Сами же труженики успели приноровиться к скрипу пропагандистской машины, починам, липовым показателям, умело расслабляются где только можно, а из новичка, тем паче образованного, да еще с «принципами», лепят клоуна себе по потеху.

Так на какого гонителя раньше озираться Киму? На товарищей-однокурсников, в меру глумливых и циничных, но способных и пожалеть салагу? На хама и очковтирателя — начальника участка? На руководителя рангом повыше, которому и секунды хватило, дабы углядеть в Киме дезертира с трудового фронта и потрясателя основ? Гонитель навис над душой, но его черты смазаны, выражение текуче — от фельдфебельской жесткости до слащаво-улыбчивого покровительства.

Герой шолоховской эпопеи действовал и противодействовал нажимам в структуре социального разлома, до конца сохранив запас стойкости, четкость и строгость внутренней осанки. А персонажу Ф. Горенштейна выпало перекачаться из студенческого кулька в горняцкую рогожку в условиях деформации социальных структур, когда все кристаллы истолчены, прежнее дно стало покрывкой, общество распалось на правящую люмпен-аристократию и лукавых крепостных, приноровившихся к бестолочи Системы, а равно к ее кумачовой драпировке.

Мелехову некому было передать сбереженный нравственный капитал, а герою «Зимы 53-го...» некому наследовать: связь с глубиной прошлого обрублена. Неокрепшему, внутренне безупорному юнцу из пятидесят третьего не дано противостоять царящему злу, а дано при-падать к земле (противо-лежать), извиваясь в подземных лазах, уворачиваясь от нависших глыб.

Образ черного солнца — знак трагедии. Архитектура этого жанра вряд ли мыслима без кариад на фасаде, а иначе говоря — без трагического героя, способного удерживать тяжелый свод. Григорий Мелехов не позволяет жанровому своду прогнуться (не случайно среди персонажей легальной советской литературы он стоит особняком), ибо духовно сопряжен жанру, по сути, не советскому. Своим самостоянием Григорий не позволяет оборваться связи времен.

С тех пор у нас неоднократно живописались герои трагической судьбы, но если мерить мерками трагедии — то «недоростки» (статьи, успех документированных трагедийных повествований — о войне ли, буднях ГУЛАГа, Чернобыле — прямо связан с тем, что их архитектурным планом кариады не предусмотрены). Так и Ким из повести Ф. Горенштейна — трагическая жертва, но не трагический герой.

Мелехов на своем оборонительном пятачке доведен, домучен «до полной гибели всерьез», но, уходя, остается примером несломленной нравственной воли, ясной памяти, сбереженной в пору великой смуты. Вопрос: как о с т а т ь с я юному герою Ф. Горенштейна, не выпав из цепи преемства? И шире: не опасно ли провисла эта цепь, будет ли опять востребован мелеховский (говоря условно) счет ценностей после долгого перерыва?

Посмотрите: герой Ф. Горенштейна годами юноша, а душой — подросток, комнатное растение на ледяном ветру. К чему его, собственно, влечет? К теплой домашности, покровительству умудренных старших, детски-беззаботному компанейству, к дружбе с необыкновенной девушкой. А что его сильнее всего ранит? Поспешность и небрежность сторонних оценок, когда он еще не узан, но уже распознан, причислен к серии («Так ты из каких? Ага, из этих...»). Например, свел его случай с девушкой. Конечно же, ничуть не похожей на остальных. Довелось даже провести ночь под одной с нею крышей. А посреди ночи повлекло Кима хоть краем глаза взглянуть на спящую подругу. Но в каком-нибудь метре от изголовья подруги он был пригвожден к полу ее свежим голосом: «Сволочь паршивая». Вот и разнеживайся в этом суровом мире!

Что же автор? Он сдержанно эпичен. Ни в одном абзаце не прорвется бережная, мягко высланная интонация — специально для легкоранимого героя. Авторский тон почти протоколен. И приди эта повесть к читателю в свой срок, она бы диковато смотрелась на фоне преддиссидентской молодежной прозы конца 50-х, 60-х. Там — легкое веяние фронды, тут — социализм дыбом (достаточно такого зрелища: в клубе шахтоуправления среди призывных кумачей — вереница гробов с телами мальчишек-фезеушников, погибших при аварии).

Но сейчас речь о другом. Писательское поколение Аксенова и Гладилина начинало с праздника, поздравляя вчерашних десятиклассников с освобождением от школьной рутини. И рассказ об их первых трудовых опытах вело растроганным баском старшего брата, которому наперед известно, где споткнется и каких шишек набьет младшенький. Конечно, старшему подойдет в таких случаях тон легкого подтрунивания и любовной иронии. Он и соблюдался, обозначая степень авторской умудренности рядом с милым наивом неоперившихся юнцов. То есть автору доставалась роль духовного лидера, может, и светоча, но в теплом семейном кругу, где ближайший его конкурент — все тот же братик с новеньким аттестатом зрелости. А вот у Ф. Горенштейна (при автобиографичности ряда сюжетных линий) ни намека на «семейственность»: центральный персонаж повествователю ни сват ни брат.

Добавим: Ф. Горенштейн не в пример большинству прозаиков-сверстников почти демонстративно отказывает своему герою в праве на исповедь и доверительное изъяснение чувств, обходя приманки расхожего «психологизма». Вроде бы странно: душа героя вся изранена, а нам рассказывают о муках и насаде его плоти — как он с утробным стоном, с вывертом и хрустом суставов выгребается из-под глыбы; рвет рычаг путевой стрелки перед самым наездом вагонетки; отдирает от тела рубаху, присохшую к рубцам; захлебывается, простите, собственной рвотой... Где тут развернуться силам души? Действует аварийная служба рефлексов.

Вопрос, быть или не быть вот этой жизни, опущен ниже некуда — на уровень нервных, мышечных реакций; вбирает в себя разом писк новорожденного и хрип агонии. Целая жизнь — от и до — втиснута в короткую конвульсию.

Но и в паузах между авралами душевность Кима лишена особых примет. У нее есть сослагательное наклонение («Когда бы мною распорядились...»), но нет изъяснительного, ибо, кроме желания отвлечься, развлечься, пройти через возрастные искусы, ей нечего изъяснить. Так что ростки душевности тут не высоко поднялись над уровнем простой рефлекторики. Оттого, надо полагать, повествователь не ростками душевности занят, а стонами, корчами плоти, которую вне всяких иносказаний «смешивают с землей».

Некогда литераторам 60-х сильно полюбилось прилагательное «инфантильный». Наверно, потому, что оно удобно и без риска попасть под цензорский карандаш прилагалось к облику молодого современника. Да еще служило ключиком к исчерпывающему объяснению, отчего же он никак, не возмужает: школа, мол, виновата, оторванная от производства, и родители, сдувающие пылинки с дитяти. В качестве социальной микстуры против «такого долгого детства» дружно прописывалась «романтика трудных дорог». А где дороги трудны, там — что? На жаргоне критиков — неуклонное (вариант — «трудное») становление е героя.

Ф. Горенштейну тогда не позволили нарушить благолепие этих игр — в диагнозы-рецепты: читателю «Зимы 53-го...» стало бы вовсе невмоготу выслушивать от сверстников Ф. Горенштейна робкие эвфемизмы про затянувшееся детство и сказочки о «трудном становлении».

Попытайтесь-ка этот словесный обносок тоталитаризма — «становление» — приложить к кафкианскому, допустим, персонажу. Дик, не правда ли? А ведь кафкианский персонаж лишь по специальному уговору между автором и публикой был втянут в фантазмагорию. Его прототипу за чертой гротеска жилось по нашим меркам сносно. Советские же прототипы обычно приходили из не в ы д у м а н н о г о гротеска в фирменную соцреалистическую идиллию, где им гарантировано «трудное становление».

Что же предпринял Ф. Горенштейн? Он бережно перенес примелькавшийся или, скажем так, дикорастущий гротеск «победившего социализма» в книгу, не прибегая к гротесковым приемам. То есть, взяв, по сути, кафкианскую «планово-пыточную» ситуацию, позволил ей выговориться будничным языком при сохранении нормальных бытовых пропорций и производственного колорита. При этом персональные отличия жертвы, приносимой идолю Порядка, обозначены опять же по-кафкиански пунктирно и бегло: на пыточном конвейере — юнец, духовно не оперившийся, хотя и с добрыми задатками, недоличность, скорее жертвенный агнец. Отсюда художественный парадокс, незнакомый легальной литературе 60-х: легкоранимый subtilный герой, оказавшийся разом в тесноте и обиде, представлен муками плоти; «роман воспитания» захлебывается на самом старте, ибо воспитуемый «занят» — ему ломают кости.

Собственно, у Ф. Горенштейна и его литературных сверстников неодинакова стартовая позиция: те ведут речь о трудностях и задержках роста, он — о затаптывании ростков; те — об отклонениях от нормы, он — о норме, вывернутой наизнанку. Так ведь и портретирует он явление аномальное — тоталитаризм.

Как и подобает временщику-скорохвату, тоталитаризм, слышать не желая о связи времен, загоняет человека в болотце пятилеток, где время бурливо, но непроточно, а микроклимат благоприятен для произрастания («неуклонное становления») спецгражданина с таким-то сроком годности. Можно ли вообразить трагического героя Мелехова в условиях пятилеток и «борьбы за урожай»? Вопрос риторический.

Но ведь 60-е — уже иная пора? Верно. Именно тогда под глухое ворчание ортодоксов молодая критика принялась возрождать ошельмованное понятие «духовность». То был сигнал о возвращении к доавральному счету времени. Сигнал, однако, предварительный, ибо наше барахтанье в непроточном водоеме затянулось и много важного позабыто.

Тогдашние речи о душе и духе звучали не столько вызовом, сколько просьбой о послаблении (оттого охранители не сразу всполошились): сердце, мол, зашлось от духоты, дайте хоть чуточку свободы вдоха-выдоха! Но теперь, с возвращением задержанной литературы, выясняется, что и тогда она не соглашалась мерить одухотворенность героя «чуточной» мерой и принимать полуобморочные состояния души за светлое ее воскресение.

Способен ли человеческий дух восстановить, скажем так, свою взлетную силу после многолетней анемии? Вопрос, поставленный перед нами опять же возвращенной литературой, которая пришла к нам со стороны, из-за охраняемых (властью) пределов, откуда все виднее, а если еще проще — с воли.

## 2

Был у людей Бог и — не стало. Церкви обращены в руины либо загажены, храмовые праздники отменены, даже хранение Библии небезопасно. В целом комплексе антирелигиозных мер тоталитаризма — расчетливое поощрение летаргии духа: можно не соблюдать, не чтить, не смущаться низостью дел и помыслов, не знать предания, мало того — глумиться над знанием. Причем если прежде просвещенный атеист на свой страх и риск избирал неведение, доработавшись, а то и пострадавись до него, то теперь оно каждому доставалось даром. Трудиться над вечными вопросами веры уже незачем. Духовный непокой сменялся всеведением, сомнение — самомнением. Присвоив себе роль пророка-безбожника, провозвестника грядущего рая на земле, государство взамен прежней веры вручало подданным фирменный пропагандистский костыль, который, если на него усердно напирать, способен изменить нашу осанку. То есть хотя самим Горьким нам завещана устремленность «вперед и выше», но из-за вздернутых плеч (как у всякого, кто передвигается на костылях) мы несколько набычены и тяжеловыны, слозим взором по земле, упуская из виду зори на горизонте.

Вспомните, что вышло у платоновских мечтателей, затеявших возведение чудобашни. Котлован, обширная воронка, где будущие верхолазы-строители пока что долбят грунт, распаивая не врата небесные, а земное лоно, «спуская остатки своей теплой силы в камень». И когда один из землекопов, узнав о смерти девочки Насти, бросился заглушать горе работой, то на излете своего порыва «скрылся в тишину недр почти во весь свой рост».

Интересная закономерность: вместо воспарений — сползание в земляную воронку. Самозакапывание. Вертикаль взлета меняет направление на противоположное. Мечтатели порываются ввысь, а нас не оставляет впечатление грузности их порывов, будто в воздухе кувьрается подброшенный топор. Кажется, на месте взлетов действует некая магнитная аномалия. И ни Бог, ни дьявол тут решительно ни при чем. Во всяком случае, символика ада, рая, богоборчества у Платонова отсутствует. Заметьте: художник не менее острого интереса к духовной сфере, чем классики прошлого века, но просто пишет жизнь «обмирщенного» духа, но и обходит стороной мучительную (для старых классиков) коллизию вера — безверие. Мир вокруг него безблагодатен, и человек, отпавший от церковной традиции, балансирующий на грани жизни — смерть, обращен к вселенской необъятности таким, в общем-то, неожиданным качеством, как «энергоемкость».

Непревзойденный в литературе нашего века уловитель витальных энергий Платонов несколько не заблуждается насчет чевенгурского коммунара либо энтузиаста землекопа, чья душа «искрит» на грозовом фоне, но себе не хозяйка. По сути, от автора «Котлована» и «Чевенгура» мы узнаем не столько о духовных порывах и внутренней работе, сколько о сюрпризах психики, взбодороженной на всю глубину.

Смотрите: писатель насмешничает, казалось бы, над святым чувством землекопа Чиклина, когда тот яростно врывается в грунт, услышав о смерти Насти. Не кощунственны ли тут иронические обертоны? Но читателю «Котлована» известно, что землекопы берегли и лелеяли девочку-сиротку как «фактического жителя социализма... вещество создания и целевую установку партии». Так что к нормальной человеческой теплоте тут подбавлен едкий пар фанатизма, способного исказить любую норму. Об искажении нормы нам как раз и не позволят забыть иронические модуляции в авторском рассказе про Чиклина, который, задав работу своей лопате, скоро «скрылся в тишину недр».

А вот когда сердцами героев владеет ничем не замутненное чувство любви-самоотдачи, либо сострадания к гибнущему народу, либо материнского страха за дитя, тут иронические модуляции не слышны, ибо мелькает свет надежды на то, что новые поколения, выбитые из цепочки преемства революцией, не спялят в ее топке все найжитое до них. Так спялят или не спялят? Мучительный для нашего века вопрос...

У Платонова толпы полунищих россиян, пронзенных «чувством существования», порываются на космическую орбиту, пробуя охватить взором и планету и пределы собственной судьбы с головокружительных высот. Это ли не феномен раскрепощения духа? Очень похоже! Но если вникнуть — аварийное свечение (с чадом и дымом) самих психических «механизмов», запущенных рывком на полные обороты. Своей причудливостью проза Платонова отлично передает характер схваченного им явления, которое можно обозначить как обменчивый спиритуализм плоти.

«Если Бога нет, то все позволено», — остерегал Достоевский. Тех платоновских романтиков, чье место — среди «пешеходных нищих масс» («Впрок»), окружает мир; откуда Бог изгнан, а заменившей его партией позволено (даже велено) все, что сулит ей выигрш. Как в таких условиях сберець себя человеческой душе? В поисках ответа Платонов всякий раз с трепетной надеждой приглядывается к работе творческих сил, которыми природа одарила его механиков-умельцев, чудо-мелиораторов, задумчивых скрипачей, просто — к таланту любви: не тут ли противовес «пролетарскому однородному человеку» («Чевенгур») как антропологической небывалости? Вопрос, быть или не быть будущему, начинается для Платонова с вопроса о ресурсах духовности (не вовсе ли утасли?) «нового человека» с его девизом «отречемся от старого мира». Но только ли для Платонова?..

Самый, наверно, яркий художник русского послеоктябрьского рассеянья — Владимир Набоков трудился, по сути, над очень похожей задачей. Для своего героя-скитальца Сирин-Набоков ищет целебное средство от недуга безпорности в мире. Таких средств два. Это образ родины, куда обратный путь закрыт, но которая всегда с тобой, и — дар.

Союз с музами — особое из достояний. А условия его строги. Их честное соблюдение — залог жизнестойкости. Отсюда культ меры и вкуса, интеллектуальная опрятность, чуткость к внутреннему строю родного языка — все, что шлифуется веками и в чем, кстати, одна из форм длящейся работы Прошлого. Не случайно самый бездарный из набоковских антигероев, политический диктатор, удостоился характеристики «непомнящий» («Истребление тиранов»). А ключевой для понимания Набокова роман назван «Дар».

Не в пример Платонову Набоков мог лишь издали следить, как у него на родине выковыливались люди-«гвозди». Гонцы из-за кордона, где вершится невиданный эксперимент, иногда мелькают на периферии набоковских сюжетов. То выглянет некий кремлевский порученец, прибывший со спецзаданием на Запад, то сановная жена, выдвигенка, так сказать, из сухаревских торговых, пообтершавшая в совнаркомовском полусвете. И всякий раз возле этих фигур — сложная смесь запахов: чад политической кухни, где всегда все бурлит, но готовят из отбросов, дух застоя, нравственной дремучести и низколобого высокомерия. Впрочем, авторские впечатления о гонцах «оттуда», повторяю, эпизодичны. Зато в романе «Дар» подробно портретируется отечественный мыслитель, признанный большевиками за предтечу, — Николай Гаврилович Чернышевский. В каком именно смысле давний властитель дум, который самого В.И. Ульянова-Ленина «всего перепыхал», предтеча? В идеологическом? Нет, в обширной работе Годунова-Чердынцева, героя «Дара», о Чернышевском акцент падает не на идеологию, а на особую духовную выправку вождя шестидесятников, открывшего секрет, как об-разумить массу неразумных эгоистов, вылепив из несовершенного материала тип «нового человека».

Себя-то вождь радикалов-разночинцев очень рано сумел приневолить к «разумности», сообщив своей героической судьбе снижающие ее черты трагифарса. Они как раз и определяют тональность реферата-эссе, встроенного в роман, где предтече большевиков возражает одна из жертв революционной ломки — российский интеллигент-изгнанник, для которого хотя бы то утешительно, что он может смеяться последним. Не над судьбой, конечно, вилюйского узника — над спесивостью ума, дерзнувшего опереться на логическую выкладку, дабы поднять и опрокинуть неподъемное — весь отстоявшийся людской уклад.

И тут весомым аргументом в споре со схематиком-рационалистом становятся отточенный набоковский стиль, ритм, пластика, выразительность деталей. В изяществе стиля — чудо воскрешения уже отчитанных лет, оставивших после себя лад и меру. Поэзия (набоковской прозы — в частности) всегда памятлива, любит сближать далековатое, вызывать на переключку века, обращаться лицом к преданию, удостоверять тем самым, что новое чувство, которое сейчас торопит писательское перо, весьма знатного рода, впустую не отгорит и чаду в мир не напустит.

В том, собственно, и дар художника, что он дарит миру новизну, не обирая предания. И неудивительно та саркастическая пристальность, с какой в трактате о Чернышевском подмечаются бурсакистские неуклюжести его стиля: читателю предложено убедиться, как заплетается язык у порвавшего с преданием, как, повздорив с самой Природой, он наталкивается на сопротивление грамматики, заговор синтаксиса и обречен на косноязычие.

Чернышевский привлечен у Набокова к очень суровому, даже пристрастному суду прежде всего по обвинению в духовном плебействе, зашоренной узости мысли,



согласной считаться лишь с собой, со своими аляповатыми схемами преобразования мира и поворота всей Жизни в сторону фаланстера-казармы.

Главный спор Набокова с вождем различинцев развертывается на уровне его речевых навыков и утопических текстов, которые при заметной их нескладнице приняты на огромной части планеты как дар, пособие по выковке «нового человека». Бездарность одобренной и претворяемой утопии чревата хаосом, и Набокову в раме ее стили уже виден человек-мутант, образумленный до нравственного отупения, потери лица и полной незащитности перед сюрпризами своего подсознания. Мутант-беспочвенник с кушым объемом памяти — постоянный набоковский антигерой, тронутый внутренней порчей, пусть он и с иноземной фамилией, как, допустим, Гумберт Гумберт («Лолита»), избывающий свою витальную энергию в погоне за «нимфетками»...

Выпадение исторической памяти, внутренняя безупрочность — модный недуг XX века. Поддается ли он врачеванию? Посмотрите хотя бы на булгаковского Ивана Бездомного, одолевшего к концу лишь полнедуга — слабость к дурному сочинительству. Его духовное здоровье подкошено, а пережитая встряска отяжелела Иванушкину голову болезненным недоумением, оставив после себя тревожные сны — по праздничным полнолуниям. А ведь Иванушка — тот самый «человеческий материал», который кромсали как хотели устроители небывалого общества.

Восстановима ли нравственная природа человека после варварских над нею опытов? Восстановима ли кровная связь с Прошлым, откуда эта природа брала питательные соки, или связи с ним напрочь обрублены? Для больших русских художников нашего столетия вопросы важнейшие. Причем если у старых классиков под особым ударением была антитеза вера — неверие, то теперь акцент сдвинут на антитезу, так скажем, мирскую: талант доверия к жизни — бездарность произвола над нею. Резче прежнего обозначилась жизнеохранная роль искусства.

Оказавшись перед разъявленной пастью идеократий, крупные наши художники тревожатся о судьбе рода: ведь податливость нахрапу утопистов-схематиков чревата не просто гражданскими потрясениями, но сотрясанием основ родового бытия, антропологической катастрофой, когда человек скатывается по эволюционным ступеням вниз чуть ли не к неандертальству.

Наш учительный XIX век предупреждал: велика опасность эпидемии вседозволенности, разгула бонапартистских вождельний, а значит, пока не поздно, «смирись, гордый человек», не охаживай жизнь кнутом! Век XX, особенно не жалуя учительских кафедр, эстетически самоулубился, не сводя, однако, взгляда с разгулявшихся бонапартов и расстрелованных ими масс, истребляющих друг друга и природу-матушку под призывные кличи идеологов. Предвиденное сбылось. Прямым наследникам классики, таким, как Платонов, Булгаков, Набоков, чья творческая зрелость совпала со зрелостью идеократий, открывался отличный обзор в обе стороны времени: подступы к нынешнему дню полны предвестий, перспектива окрашена в тона антиутопий, а сам бегущий день хоть и задымлен факелами шестивий, камильницами во славу диктаторов, но болезненных и предсказуемых процессов не скрывает.

### 3

Но вот век перевалил за половину, потом за три четверти, дерганье харизматических лидеров на трибунах или экранах перестало впечатлять, обозначилась пора старческого маразма диктатур. И как же дети, внуки Иванушки Бездомного? Сумели вовремя очнуться? А если нет, до какой ступени лестницы (эволюционной) скатились? С булгаковского-платоновской широтой этот вопрос сейчас, пожалуй, не ставится: широта обзора вообще трудно дается нашей текущей литературе — настолько она привыкла авралить, брать быка за рога, разгребать ближние завалы, поверх которых не так и далеко видно. И тем не менее...

Есть у наших действующих авторов интерес к осанке современника, о котором точно известно, что от государства ему положены путеводные костыли такого-то образца (о чем упоминалось выше): шагай вперед, комсомольское племя! Так вот, многими замечено, что осанка выработалась сутуловатая. С наклоном вниз. Будто действует властная тяга недр и требуется вжиматься в грунт либо пробивать в нем лазы. Новая повесть Владимира Маканина так и озаглавлена — «Лаз».

Речь там о трудных перемещениях давнего персонажа маканинской прозы Ключарева сверху вниз и обратно, о рейдах туда-сюда из верхнего города, где понятия «купить», «достать», «магазин» еще не совсем абстрактны, но на любом углу можно получить пулю либо нож под ребро, в подземный город-«схран», где нет ни бед, ни тревог, но маловато кислорода. Да, верно, на сей раз Маканина привлек жанр социальной фантастики или антиутопии, как незадолго до того Александра Кабакова («Невозвращенец»), Анатолия Курчаткина («Записки экстремиста»), Людмилу Петрушевскую («Новые робинзоны»).

Впрочем, временные интервалы между «Лазом» и новинками, близкими ему по жанру, настолько незначительны, что равнение на предшественников здесь практически исключено. Скажем так: к высотам жанра наши авторы двигались не цепочкой,

а рассыпанным строем. И потом: весь футурологический антураж у Маканина меркнет рядом с «приключениями плоти» героя, который, курсируя между волей и недрами, всякий раз оказывается на грани погребения. Дело в том, что у горловины лаза есть коварное свойство — сокращаться и стискивать проходчика, вроде бы горловина эта медлит с выбором: а не оставить ли его тут насовсем — как затычку? И тот, изгибаясь, с мукой выпрастывается из теснин, отвоевывая у лаза-мучителя сустав за суставом, чтобы еще пожить и семью не обездолжить.

За четверть века до появления «Лаза» юный Ким из повести Ф. Горенштейна точно так же проталкивался из земляных нор к свету. Раз нынешний мир так устроен, что людям назначено погребение или полупогребение при жизни, земля совсем не прочь потучнеть, похрумкав косточками хоть мальчишки-студента, ничего не успевшего ни понять, ни повидать, хоть зрелого отца семейства, — нашла бы да заработала властная сила, совлекающая с поверхности в недра.

Что же это за сила и как вернее ее обозначить? Задав такой вопрос текущей литературе, попробуем сгруппировать полученные ответы.

На самом виду — простейший инстинкт самосохранения, когда человек укрывается от ошалевшего мира, как солдат при обстреле — в окопе, блиндаже, дренажной трубе. У Л. Петрушевской в «Новых робинзонах» рассказано, как одно дальновидное семейство принялось пятиться от очагов цивилизации. Подгоняемое «манией бегства», оно избрало укрытием сперва дачку-развалюху, потом избушку на отшибе, лагуну среди леса, а в перспективе у робинзонов — землянка, вырытая загодя. Собственно, и Ключарев из «Лаза», погружаясь в покой и тишь пещерного города, двигался тем же путем, но круче забирая вглубь.

Далее: сознательность и трудовой подъем. Речь — об остро нацеленных энтузиастах, как у А. Курчаткина в «Записках экстремиста», где группа метростроителей ради успеха своего предприятия вообще не выбирается наверх, пока дело (а тянулось оно десятилетия) не доделано.

Подземному транспорту теперь почет и от прозы и от критики. По ходу дебатов вокруг повести С. Антонова «Васька» Владимир Турбин отметил интересное обстоятельство: судя по обильной станции-дворцов образца 30-х, зодчие дерзали воплотить в объемах, линиях, материале образ сверкающего завтра, кажется, не догадавшись, что обещанный народам земной рай незаметно подменили подземным.

В. Турбин советует читателю-пассажиру, спустившись на эскалаторе, полюбопытствовать: а что у него над головой? Полюбопытствовали. Над головой — небесная лазурь, барашки облаков, шпили кремлевских башен и на лазурном фоне, как прежде пелось, «летит стальная эскадрилья». Все это наглядная потолочная агитация: проникайте, граждане! А между тем выше нарисованного неба («Высокое небо потолок», — скажет Маканин) — пласт грунта в десятки метров толщиной, и поднебесьем прикинулся свод хорошо оборудованной пещеры.

Такая вот занятная символика: рой, дескать, глубже, романтик промфинплана, а мы тебе под землю и небушко спустим, чтоб поменьше отвлекался. У С. Антонова первые метростроельцы врубались в грунт самозабвенно, переноса в туннели и шахты открыленность громадем планов, классовую злость, любовные восторги либо разочарования, — замурзанные ангелы, перепутавшие в опрокинутом мире горние сферы с горными выработками. Туда, в недра, совлечена едва ли не вся полнота их земного бытия, подмененного подземным.

Как видим, проза при поддержке критики нащупывает метафизическую основу таких ударных начинаний общества, как сооружение метро.

И наконец: внерассудочная тяга персонажей зарываться в недра, когда наверху им вроде бы ничто не грозит. Землекопов из недавней повести В. Маканина «Утрата» к числу прожектеров, перекройщиков мировой истории никак не отнесешь. Это уголовный сброд, прилепившийся к фантазеру-закоперщику, которому ударил в голову план — пробить под речным руслом туннель. Конечно, не многим более полезный, чем яма в человеческий рост, какую отрыл платоновский Чиклин из «Котлована», когда явилась нужда как-то избыть энергию глота.

Естественно, при сумбуре в головах и душах артельщиков картина диковинных работ под руслом избытует описаниями телесных корчей, натуг, вспышек мрачного азарта без каких-либо проблемков «идеализма», если, конечно, не посчитать «идеальной» бестолочь адовой работы за просто так — может, ради зарубки в памяти, может, из желания себя же удивить: эк чего спроворили! Скажете: иного и быть не могло, ведь отпетый народ описан. Хорошо. Сошлюсь еще раз на кризисный момент в истории благовоспитанного мальчика Кима, когда перед последним спуском в шахту тот испытал прилив ненависти к звездам, деревьям, снегу... О чем была тогда Кимова мечта? Поверить трудно, но — о шахте, скользких балках, острых комьях породы. Избавление виделось там, где проще и не так надсадно душе, как наверху. Под землей Ким кто? Комок плоти, охраняемой механизмом рефлексов, а стоит отсюда выбраться — и душа будет стиснута болейшей, чем плоть под глыбой. Ринуться вниз, забиться в тяготах плоти — таков выход из безысходности.

Ф. Горенштейну уже тогда, в 60-е, достало мужества не отвести взора от ситуации, где человек вынужден бежать от себя, взаимодействуя с перекошенным миром не как

существо одухотворенное, а как «колония клеток», тело, биомасса, понемногу либо ярким факелом сжигающая свой ресурс. Таков, если угодно, диалектический переход от предписанной гражданам «высокой сознательности» к торжеству телесного и за и сумраку подсознания.

Подобного рода диалектику раньше многих (но позднее Ф. Горенштейна) обнаружил В. Маканин и в обычной для себя манере легкого подтрунивания стал подлавливать персонажей на извивах и наклонах их фигур, кренищихся долу как бы с намеком на пластунство (припомним широко обсуждавшуюся «Отдушину» — там это есть), потом, резко отступив от жизнеподобия к условности, детально изложил приключения... червя, который ни за что не хотел умирать («Голоса»). Отсюда уже тянется пунктир к землекопам-уголовникам, проползающим под руслом реки. А в промешутке между «Голосами» и «Утротой» написана «Предтеча» (начало 80-х), где встречаем редкостный для Маканина случай, когда персонаж противится авторской воле.

По ряду признаков (критика на них останавливалась), В. Маканин хотел бы отдать должное знахарю-целителю Якушкину, центральному лицу повести, оценив по обычному житейскому счету бескорыстное, нет, пламенное служение старика страждущему люду. Не получилось. Обычный житейский счет разошелся со строгим счетом искусства, которое, задавая свой «почему?», отвергает полуответы. Как же так вышло, что из закопавшегося в бытовое и мелочное, нетвердого в нравственной азбуке старика вдруг получились праведник? Открылось духовное зрение? Тогда надо построить допросить его прошлое и писать новую версию истории Савла, ставшего апостолом Павлом, или толстовского отца Сергия. Но Маканина интересует случай т е м н о г о просветления, когда психика раскрепостилась, а дух по-прежнему закрепошен и незряч. Недаром к редкому поприщу Якушкина привела мозговая травма. Дар исцелителя не пронесен через жизнь, не культивирован хотя бы самую малость, а выбит ударом бревна по черепу.

Так что обширная паства экстрасенса должна быть толику благодарных чувств адресовать бревну. И как нам отозваться на теплоту якушкинской самоотдачи, если очевидно: не душа знахаря горит — выгорают запасы его нервно-психической энергии, которая копилась-копилась да и хлынула наружу, как топливо из пробитого бака. Когда же ее запасов осталось всего чуть и знахарский дар начал угасать, экстрасенс заматался, попробовал добывать целебные корни. И при описании его нового промысла меркнут последние «утепляющие» краски, зато четко проступает памятная нам (хотя бы по Платонову) символика: «Он влез в нору головой, расширив ее, — влез плечами... (Зарывшийся старик был как о т р а ж е н и е человека, простирающего руки к небу, где вместо светлого неба — чернота земли)», «Старик зарылся в землю почти весь...»

Маканин-художник живо приструнил Маканина-заступника за честь экстрасенса, не позволив Якушкину сохранить нимб вокруг чела, потому что вышла бы фальшь и смешные критерии, как в тех образчиках «соцреализма», где пылкий энтузиаст, выпущенный на вибростенд борьбы за план, начинал излучать апостольское сияние. Все наоборот! — говорит независимая литература, разрабатывая особую метафизику тоталитарного мира, где человек грузен, оседает вниз в поисках — среди недр — то ли трудовой славы, то ли укрытия, то ли полигона для застоявшихся сил и «где вместо светлого неба — чернота земли».

Незаметно получил развитие образ, мелькнувший у В. В. Розанова через какой-нибудь год после Октября: «Мы все стоим у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается». Тут как бы ранний набросок той картины фальстарта при взлете, которая будет развернута совместными усилиями новейших прозаиков.

Картина мрачна? Во-первых, не мрачней самой реальности; во-вторых, есть чем утешиться: художники, запечатлев человека, загнанного в «подполье», не путают верх и низ, тьму и свет, «отражение человека» — с человеком, простирающим руки к небу, не выпускают из поля зрения шкалу ценностей, по которой некогда отмерчалась нравственная высота Андрея Болконского, Пьера, отца Сергия или князя Мышкина. Не вовсе, значит, позабыта додирективная мера вещей.

## 4

При тоталитаризме у человека и адресованного ему искусства общие утраты. Что прежде было — сплыло. Сознанию надлежит вжаться в установленные рамки. При этом напрочь отсекается метафизика (необязательно религиозная) бытия, которая программой утилизации человека и культуры не предусмотрено. А значит, неизвестно, как и на какие душевные струны принять теперь хоралы Баха, жалобы дермонтовского Демона, аустерлицкое небо князя Андрея, молчание Христа из легенды о Великом инквизиторе...

Человеку за отмеренные ему сроки надо побывать в разных уголках вселенной, дабы и там и там встретить разбросанные частицы себя самого, собрать их во внутренний космос, а значит, духовно состояться, хоть как-то оправдав родовые муки матери. Ради пресечения таких самовольных отлучек (куда-то ввысь) режим берет в

руки кусачки и обкусывает ненужные для дела струны людских душ. Так на ранней ступени Великого Эксперимента сделался, по сути, однострунным Михаил Кошевой из «Тихого Дона», чья роль на стадии развязки — отловить и вычесть из новой жизни Григория Мелехова. По строгому эпопейному счету моральные поправки Кошевому тут исключены: он загонщик при охоте режима на человека.

Каков же для автора выход, если полнота власти у кошевых? Либо отложить рукопись до лучших времен, либо сколько-то уступить режиму. Шолохов выбрал второе, постаравшись не слишком выплясывать Мишкино предательство. Но, бросив партократии кое-какие подачки, автор отказался ей в угоду поступиться и крупницей правды Гришкиной судьбы, а в итоге принципу партийности удалось лишь кое-где по краям засалить образную ткань «Тихого Дона». То было нарушением нормы, ибо принцип и путь свойственно вгрызаться в самую сердцевину текста.

Так, значит, неперемнная спутница партийности — фальшь? Не станем спешить с таким утверждением и спросим себя: как могло случиться, что правофланговый в ряду эталонных персонажей литературы для молодежи Павка Корчагин прошел через вакханалию братоубийства, не замарав «белых одежд», избежав и подобия морального испытания, какое подкосило репутацию шолоховского Кошевого?.. Так ведь Павкины антагонисты как на подбор — ничтожества. А встань против Корчагина булгаковский Алексей Турбин, или Мелехов, или доктор Живаго, тут же во всей романной постройке перегорели бы пробки и погас свет, ибо резко поднялось духовное напряжение в сети. Искренностью романтического пафоса роман обязан безбрежности своего философского наива, полноте авторского неведения насчет другой, не корчагинской правды.

Видные современники Островского — Фадеев, Тренев, Шолохов (как автор «Поднятой целины») — действительно ухитрились сталкивать Левинсона, Кошкина, Семена Давыдова с противниками, предварительно ушибленными хозяйской авторской рукой и очень удобными для битья: Обласканным той же рукой рыцарям революции оставалось морально добывать шуплых интеллигентиков типа Мечика или патологически алчных «кулаков» вроде Титка Бородина. Островский же в обычном расхожем смысле, конечно, не лукавил. Он просто доверился лукавой агитсхеме, приняв за отправное «дано» короткую формулу-сцепку «благородная идея — ясный жизненный путь». А в той сцепке знак тире — одновременно и знак вычитания. Отбрасывается и вычитается вся сложность мотивов и стимулов, которые правят нашей волей в обход интеллекта.

Макаинские проходчики под речным дном или старик землеройщик тоже на свой лад энтузиасты не хуже Корчагина, но при этом невольники собственной природы, а не идеи, вколоченной в сознание. Корчагину же доверено провозглашать правду кратчайшей зависимости: «...свет и иде — светлый путь тех, кто встал под ее знамена», — то есть правду авторского заблуждения, совпавшего с фальшью и примитивностью казенных доктрин.

Критик Е.Невзглядова в статье «Пытался выразить глубокую идею...» («Литературная газета», 13.03.91) задает вопрос: «Павленко, Николаева, Бабаевский, Гладков и т. д. и т. п. — где они берут начало, откуда они?» И коротко отвечает: «Да нигде и ниоткуда...» Согласимся: в двумерном пространстве литературы, подотчетной инстанциям, нет памяти о Гомере, Шекспире, Гете, Чехове. Однако тут есть память о чередѣ утопистов, «новых людях» Н. Г. Чернышевского, есть авторский бодрый настрой — шагать вперед и выше. А на деле шагать тупиковыми путями мысли, сулящей человечеству вырождение.

Сознавая такую угрозу, Набоков и выманил из-за спин большевиков на авансцену фигуру их предтечи, настройщика однострунных душ, выманил для распроса: что за тип культуры утвердится в кругу не просто новых — сверхновых людей, вырванных из цепи преемства, отвернувшихся от белого ради причастности к небывалому? А впрочем, и до романа «Дар», где отведено место Чернышевскому, Набоков воздал должное «тому особому запаху — запаху тюремных библиотек, — который исходил от советской словесности» («Подвиг»).

Политизированная словесность с ее специфическими запахами, за движением которой из-за кордона следил Набоков, уже не содержала и крупницы «гностических откровений о человеке» (Н.Бердяев), охотно открывенная о его безстаточном использовании — в интересах дела, — об авральные минуты, занятых только собой и по-младенчески беспамятных.

Человеку полагалось брать разгон и воспарять по примеру «летающих пролетариев» Маяковского, но, отлученный от самого себя как существа духовного, от «глубокой метафизики жизни» (Н.Бердяев), он, не набрав высоты, сваливался вниз, становясь подобием землеройного снаряда. Признанный «материалом», сырьевым ресурсом перекройщиков мира, человек уже готов был занять место среди полезных ископаемых. О чем и свидетельствовала литература, не утратившая вкуса к «метафизике жизни».

А сейчас, оставив за спиной этапы большого пути и подбивая итоги, наша словесность ужасается: до чего же много расплодилось психически ущербных! Ударившись в «дебиловедение», некоторые мастера «другой» прозы или новейшего

постмодернизма избрали ампула потешников над слабостями питомцев идеократии, но в таких литературных играх и забавах слишком удручает многократное повторение ходов. Иное дело — серьезная озадаченность феноменом «дебильства». Она сродни нынешним экологическим тревогам.

О центральном лице повести Михаила Кураева «Петя по дороге в Царствие Небесное» («Знамя», 1991, №2), автоинспекторе Пете, читатель узнает, что его разум «был развит ровно настолько, чтобы принимать окружающую его жизнь за единственно возможную». Тут природа невольно подыграла партократии, обеспечив ей Петины восторги при любых зигзагах политкурса, оградив ум автоинспектора от чуждых веяний или сомнений. Но как ни угоден диктатуре легковёрный дебил, с ним тоже держи ухо востро: слишком бесхитростен, усерден не по разуму, а еще есть у него способность к расширенному воспроизводству себе подобных. Поди-ка ограничь ее! Впрочем, поскольку по части дальних расчетов тоталитарный режим не большой мастак, Петя для режима раньше всего — правильный советский полудурок, от головы до пят с в о й.

То как раз и беспокоит автора, и он, прерывая изложение, сообщает нам ряд сведений из области физиологии мозга, пишет об «инфекционных психозах», о выпадении у граждан «долгосрочной памяти» при сохранении памяти оперативной и в связи с «феноменом Пети» ждет от специалистов интереса к теме «Психические изменения при моральной дистрофии власти».

Сдобренная медико-психиатрической информацией история автоинспектора прочитывается еще и как заметки эпидемиолога, разъясняющего, что за вирус гуляет среди нас. А вирус, или вибрион социальной горячки, тем прилипчивей, что его десятилетиями выращивало и привечало государство.

Это теперь опомнившаяся культура бьет тревогу по поводу «инфекционных психозов» и выпадения «долгосрочной памяти». Прежде подобные вещи именовались иначе: революционный порыв, энтузиазм, классовый гнев, непримиримость к пережиткам. И разве было не лестно взбодренным призывами корчагинцам начинать Историю с красной строки и на чистом листе?

Беспамятная культура вбирала в себя энергию их романтической взвинченности, но, как ни зажигательны возгласы «время, вперед!», у Времени свой рабочий режим, и многих энтузиастов-застрельщиков (кого, как поется, «пуля стрелка миновала») впереди по его ходу стерегут возрастные недуги.

И вот обремененный годами режим на глазах грузнеет, хиреет, уже не гаркает, а покрхтывает, нашаривая старческой рукой валидол. Удобно ли по-прежнему культивировать бурливую минуту, когда социальная лихорадка сменилась анемией, штурм и натиск — усталостью, а днепрострой — долгостроем?..

Одряхлевший режим обзавелся своими ветеранами, чей путь по секундомеру не проследить, а с ними в кругозор культуры явочно вторгался поток Времени, мешая оперативной памяти подавлять долгосрочную.

Отводя взор от бодрых ударников и застрельщиков, литература в свой срок занялась гражданами преклонного возраста, сперва сельскими (деревенская проза), после городскими. Покорные общему закону, прежде чем «пойти на дно времен» (В.Набоков), наши старожилы вынуждены разглядывать себя давних уже при вечернем освещении, подчас ужасаясь своему былому «революционному» туподушию (как старик из одноименного романа Ю.Трифонов) и позволяя читательским затекшим шеем отдохнуть от равнения на вечно юных корчагинцев. Иными словами, д л и н н ы е биографии служат восстановлению нашей памяти, обрубленной авралами и лязгом казенной пропаганды.

«Она отдыхала от жизни» — сказано о героине повести Марины Палей «Евгеша и Аннушка» («Знамя», 1990, №7), старенькой Аннушке, доскрипывающей в своей сырой клетушке до бессроного отдыха. Уныние Аннушкиных телесных немочей наглядней всего передает почти сценическая метафора перемены кувшинов: один кувшин предстоит опорожнить в туалете, другой наполнить под краном и доставить к месту «отдыха», картина которого на свой лад оживлена многотрудными рейдами Аннушки туда-сюда. Между тем ее соседка по коммуналке Евгеша скрашивает свои пенсионные будни хозяйственной хлопотней, упорядоченной не меньше Аннушкиных походов с двумя сосудами. «Я не могу понять, какая сила заставляет ее варить кофе, чтобы завтра снова, ровно в семь, варить кофе. Меня поражает этот слепой беспесельный механический з а в о д», — замечает героиня-повествовательница.

Некогда один из чеховских персонажей, наблюдая, как самозабвенно его знакомая снует между гостиной, кухней и детской, задался вопросом: много ли смысла во всем этом мелькании? «Ему было странно, что эта здоровая, молодая, неглупая женщина, в сущности такой большой, сложный организм, всю свою энергию, все силы жизни расходует на такую несложную, мелкую работу, как устройство этого гнезда...» («У знакомых»). Примерно таково же недоумение молодой героини-рассказчицы из повести Марины Палей: на что расходуются «все силы жизни»? И шире: не обидно ли, сообразно ли своему природному достоинству завершаются ж и з н и двух ленинградок, хлебнувших лиха за годы зрелого и перезрелого социализма?

Дружными усилиями наших быто- и нравописателей создана обширная галерея городских типов (а среди них — бабушек из коммуналок), психологически очень чутких к изломам пути и поступи отечественного тоталитаризма. Еще мало кому известная Марина Палей, успешно быто- и нравописуя, вовсе не увлечена задачей расширить галерею типов. Ей интересней вопрос разрешить: как распорядилось время жизни двух пенсионерок, от которой те одышливо и трудно отдыхают? А распорядилось оно круто, выставив первым условием, чтобы о душе они и думать позабыли, а с утра до ночи хлопотали о хлебе едином, о начальной милости к ним, социально «меченным» (обе — дочери репрессированных), да полагались на автоматизм — цитирую — «простых и грубых охранительных реакций».

Забывавшие вперед ума жизнезащитные рефлексы позволяли соседкам-подружкам раньше срока не попадаться на глаза косяковой. Дотягивать до пенсий. А что же сам ум? Тот плелся следом за рефлексами, охраняя их с тылу, — примерно как в случае с кураевским Петей, чьей хранительницей была ясноокая верноподданническая глупость, залог согласия с царящим режимом. Замордованные им обительницы питерских углов тоже по-Петину покладисты и правоверны. Для одной (Евгении) никакие заморские порядки не сравнятся с советскими, вторая (Аннушка) хоть по мелочам слегка фрондерствует, но полна почтения к нашим генсекам-звездоносцам («Нет, ты только подумай, какой умный!»).

Что ж, если для обеих небо наглухо заколочено, путь к Богу перекрыт заградпостами атеистов, то на вакансии верховного авторитета призываются земные правители... Стоп. Уж не сатирическими ли красками нарисованы два портрета? Нет, написаны они с любовью и состраданием. Но тон авторской сердечности не гасит сквозного вопроса о «большом, сложном организме» (если чеховскими словами), который расходует «всю свою энергию, все силы жизни» на отсрочку последнего вздоха и часа: ведь было, наверно, заповедано нечто высшее живым-то душам?

Вовсе ли затерялось заповеданное на фоне каждодневной мороки? Да нет же, пробивается наружу сквозь оболочку предрассудков, умственной косоности, лени, сквозь сеть автоматических навыков, смягчающих удары о быт. Нам предложено оценить незлобие, бесхитрость двух старых женщин, более того — святую их простоту, которую нещадно эксплуатируют дальние родичи, выгребая у теток последние пенсионные медяки. Но для Марины Палей важно, что доброта и простосердечие ее героинь как бы бесхозны, не принадлежат к единому строю души, а словно заплутались в ней, неухоженной и безнадзорной.

«Здесь перевитый, перезапутанный узел, где святость сердечная, истинная неотделима от святости подневольной, почти равнозначной задавленности; самоумаление — от заботы и униженности; терпение — от страха высунуться, возмутиться», — справедливо замечает Евг. Шкловский, положительно оценивая повесть в своем обзоре журнальной прозы 1990-го («Ускользящая реальность». — «Литературное обозрение», 1991, №2). Требуется, однако, уточнить: у М. Палей речь идет не просто о чересполосице или прихотливом переплетении («перезапутанных узлах») добрых и злых начал, но раньше всего — об атрофии нравственной воли, которая не держит, так сказать, вожжей, не управляет силами души, а высшие свои prerogatives передоверила все тем же «охранительным реакциям»: авось в случае чего выручат!

Да так оно, наверно, и к лучшему, думаю я, читатель. Не будь духовное зрение двух старых женщин близким к нулю, им при подпорченных биографиях стократ сложней было бы выжить: мигом бы они рассекретились перед первым же кадровиком — угадчиком, кто есть кто. То есть думаю я так следом за героиней-рассказчицей, представленной в повести не судьбой (та — «за кадром»), а строем сознания, если угодно — онтологическим.

Героиня-рассказчица с пытливостью почти болезненной наблюдает завершение двух грубо заземленных ж и з н е й: неужто подобное мыслимо как норма бытия — по-бурацки насадный путь в потемках? Нет, непроглядность все же прорежена рассеянным светом доброты ли, душевности... Только свет какой-то остаточный, словно издалека пробившийся. Из глубин родовой прапамяти? А может, то искрит механизм наследственности?

Как и в примерах, рассмотренных нами прежде (в частности, из Маканина), тут даже добрые свойства души трудно выпутываются из нравственной неразберихи. А единого строя души нет. Нет внутреннего ла да. «Господи, да неужто так он нам и предначертан с некоторых пор — путь без просвета, без выношенного слова от души к Миру?» — вот общий тон вопрошающего повествования Марины Палей, напомним — дебютантки. То, собственно, и обнадеживает, что сегодня возможен, даже по-своему закономерен в первой же публикации молодого автора упор на последние, бытийного ряда вопросы: так куда же нас заводит насилие над нашей нравственной природой, если мы не умеем ему противостоять?

Природе свойственно самой залечивать нанесенные ей раны, если, конечно, те не смертельны. Человеческой природе тоже. Но сначала требуется уяснить размеры беды. Тут искусство предложит свое веское заключение лишь в том случае, если его не провели на мякине мифа о «новом мире» и «новом человеке». А ведь так изначально и повелось, что для серьезного искусства человек — существо древнее,

как сам мир, навигатор в потоке Времени и восприемник длинной череды таких же навигаторов; загонять его в сеть ударных планов и утопических проектов значит обрекать на деградацию.

Сейчас хорошо видно, как под стоны критики о «мертвом сезоне» и бескнижье активно взаимодействуют возвращенные классики XX века, крепкие мастера с установившейся репутацией, и недавние дебютанты — те авторы, чей аналитизм достигает уровня «гностических откровений о человеке».

Согласными усилиями серьезных художников нахрап волевых преобразователей человеческой природы аттестован сообразно их заслугам. Оказалось, что, услышав команду «взлет!», средний человек живо припомнил свою пещерную предысторию и скомандовал себе «спуск!» — подалее от высот духовности, под покров и защиту мышечной, нервной рефлекторики («охранительных реакций»).

Но прошло время, и, кажется, пора выбирать на свет Божий. Ох и трудно (как тому когу, которому мы посочувствовали в начале статьи)! Тут ведь и социум вынужден пятиться из экономических теснин и завалов, и человеку, стиснутому со всех сторон, пора на простор, дабы вновь обрести себя. Комплексная задача.

Так допытимся ли наконец до устья лаза? Лучезарными прогнозами на этот счет трезвое искусство не богато. Обнадеживает, однако, сбереженное им качество трезвости, безошибочная диагностика многих хворей, приставших к нам на тупиковом «светлом пути».

Недуги приняли хроническую форму? Отрадного мало. Но, наведя справки у искусства, мы по крайней мере не станем кичиться своим отменным здоровьем.



Политика и наука

## ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЬШОГО ШЕФА

Леопольд Треппер. Большая игра. Воспоминания советского разведчика. Перевод с французского И. Шрайбера. М. Политиздат. 1990. 382 стр.

Жиль Перро. Красная капелла. Документальный роман. Перевод с французского В. Жуковой. «Иностранная литература». 1990, № 1, 2.

Жиль Перро. Красная капелла. М. «ДЭМ». 1990. 318 стр.

«12 ноября 1941 года, в тот самый день, когда начальники немецких штабов трех армейских соединений Восточного фронта соберутся в Орше, чтобы разработать план окончательного прорыва к русской столице, которую от передовых бронетанковых частей отделяют не более двадцати пяти километров, Центр получает из Брюсселя следующее донесение:

«...Осуществление плана III, имеющего целью Кавказ, первоначально назначенное на ноябрь, перенесено на весну 1942 года.

Переброска частей должна быть закончена к 1 мая. Материально-техническое обеспечение операции начинается 1 февраля. Линия развертывания для наступления на Кавказ: Лозовая — Балаклея — Чугуев — Бедгород — Ахтырка — Красноград. Штаб-квартира в Харькове. Подробности позднее».

Москву взять не удастся. Сталин смог подняться к столице свежие дивизии из-за Урала, потому что агент Рихард Зорге убедил его: Япония не ударит в спину России со стороны Сибири. Русский солдат еще сражается под стенами Москвы, а «Красная капелла» своей исторической радиogramмой от 12 ноября уже назначает ему встречу с немецкой армией через девять месяцев на далекой Волге, в Сталинграде.

Зорге помог избежать поражения под Москвой, Треппер и его люди сделают возможную победу под Сталинградом».

Так писал французский публицист Жиль Перро в документальном повествовании «Красная капелла», изданном в Париже еще в 1967 году. Понадобилось двадцать три года, чтобы перевод этой книги наконец-то появился в журнале «Иностранная литература», и к именам героев, приблизивших победу в прошлой войне, прибавилось еще одно, доселе неизвестное нам, — Леопольд Треппер. Спустя месяца два после того, как номера журнала с романом Жили Перро начали свой путь к читателю, была подписана к печати и книга самого Треппера «Большая игра». Она вышла у нас через пятнадцать лет после ее первого французского издания и через восемь лет после смерти автора, Большого шефа «Красной капеллы» — огромной разведывательной груп-

пы, еще до начала второй мировой войны охватившей несколько стран Центральной Европы.

В роскошно изданном томе энциклопедии «Великая Отечественная война», который вышел в юбилейном 1985 году, в связи с «Красной капеллой» называются только два имени: Х. Шульце-Бойзен и А. Хариак. Ни слова ни о Треппере, ни о десятках и даже сотнях его соратников и помощников, — а ведь только в одном Берлине после провала, вызванного, кстати, непростительной оплошностью Центра, гестапо арестовало сто восемнадцать человек!

Может, все же деятельность Треппера была не так уж значительна? Жиль Перро, изучивший все доступные ему материалы, встречавшийся не только с Треппером и участвовавшими членами его группы, но и с бывшими гестаповцами, упорно охотившимися за Большим шефом и, наконец, его заплучившими, свидетельствует:

«По мнению всех специалистов в области шпионажа, с которыми консультировался автор, Треппер был равен Зорге во всем, что касается сбора важной информации, и был значительно сильнее его в организационной работе».

В советской мифологии один из самых популярных и благостных — миф о так называемых бойцах невидимого фронта. Неувядаемые шедевры вроде «Шита и меча» или «Семнадцать мгновений весны» превратили его в сакральный стереотип. Герой этого мифа, пряча благородное сердце под ненавистным эсэсовским мундиром, ежедневно и ежечасно ощущая отеческую заботу всеведущего и вседущего Центра, совершает подвиги во имя отчизны и возвращения с победой в распростертые объятия благодарной матери Родины...

Разумеется, ни слова в этом мифе о моральных затруднениях человека, выбирающего стезю шпиона, сознательно идущего на раздвоение личности, а часто и на сделку с собственной совестью (как это было с Зорге, вынужденным вступить в национал-социалистическую партию). Из воспоминаний Л. Треппера, в высшей степени откровенных и исповедальных, убеждаемся: да, такие затруднения были, и не сразу эти люди — и Треппер,



и Зорге — согласились преступить моральный порог. И секретный разговор в кабинете корпусного комиссара Я. Берзина, возглавлявшего тогда советскую военную разведку, навсегда определил в 1935 году дальнейшую судьбу еврея из польского местечка Новы Тарг, ставшего коммунистом в Палестине, а оттуда попавшего в Москву, в один из коминтерновских вузов — Университет национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского, потому что речь шла о борьбе с самым опасным и страшным врагом — гитлеровским фашизмом.

Люди идеи, латышские революционеры Ян Берзин и Оскар Стигта, занимавший у Берзина пост начальника отдела стран Западной Европы ГРУ Генштаба Красной Армии, — именно они смогли найти, подготовить к работе в разведке и выступавать настоящими профессионалами таких же фанатично преданных идее революционеров, как Рихард Зорге, Леопольд Треппер и Шандор Радо, — три неподражаемых аса советской разведки во второй мировой войне. Но как разительно отличается их судьба от мифических штирлицев!

...Следователь на Лубянке, допрашивая Треппера уже после дня Победы, которую Большой шеф и его люди, говоря словами песни, «приближали, как могли», признался своему подследственному:

— Ваша судьба, как и судьба всех бывших кадров группы Берзина, была предreshена еще до вашего первого допроса.

Бериевский заместитель Абакумов тоже не скрывал этого:

— Если бы вы не сотрудничали с этой контрреволюционной кликой Тухачевского — Берзина, то были бы сегодня высокоуважаемым человеком...

За близкое, доверительное знакомство с Берзиным пришлось поплатиться жизнью и Рихарду Зорге, — так считает Леопольд Треппер. «Взяты под подозрение после исчезновения Берзина, он стал для Москвы «двойным агентом», к тому же еще и... троцкистом! Его донесения не расшифровывались месяцами, вплоть до дня, когда Центр — наконец-то! — понял неопценное военное значение поставляемой им информации». Японский генерал Томинага, с которым Трепперу выпало сидеть в одной тюремной камере, сообщил советскому разведчику:

— Трижды мы обращались в русское посольство в Токио с предложениями обменять Зорге и всякий раз получали один и тот же ответ: «Человек по имени Рихард Зорге нам неизвестен».

Кстати, в сталинских застенках Трепперу случилось встретиться и с Клаузеном, бывшим радистом Рихарда Зорге:

«Он прибывает из Владивостока, где долго пролежал в больнице. Сильно отошавший, с искаженным и болезненным лицом, согбенный болезнью, он лишь с трудом может выгнуться во весь рост. Сломленный морально и «потерявший голову», он не понимает, почему после долгих лет, проведенных в японских тюрьмах, сразу же по возвращении в Совет-

ский Союз он был вновь арестован. Честно говоря, для любого здравомыслящего человека, не уловившего логику НКВД, дела такого рода действительно непостижимы».

От Клаузена Треппер узнал, что Рихард Зорге, которого арестовали в 1941 году, был казнен японцами лишь 7 ноября 1944 года. Самого Треппера, благополучно выскользнувшего из лап гестапо и вернувшегося после освобождения Парижа в Москву на самолете, немедленно препроводили на Лубянку. Из «великолепной тройки» советского шпионажа только Шандору Радо, отказавшемуся вернуться в Советский Союз, удалось избежать (да и то ненадолго!) печальной участи своих коллег.

Редакция журнала «Иностранная литература», публикуя роман Жиль Перро, снабдила его послесловием журналиста Александра Игнатова, где тот «благодарит московского литератора Валентина Томина, сделавшего за последние годы очень много для раскрытия тайны Треппера и его группы».

Да, путь к благодарным объятиям родины оказался для Треппера намного длиннее, чем у героев помянутого мифа. Вспомним к тому же, что для этого понадобилось сорок пять лет со дня окончания войны и восемь лет с того часа, когда прах Леопольда Треппера упокоился на израильском кладбище. И отношение к герою войны ярко иллюстрирует помещенная в книге репродукция справки, выданной жене Треппера Министерством обороны СССР в октябре 1945 года в том, что ее муж «действительно пропал без вести при обстоятельствах, не дающих право ходатайствовать о получении пенсии».

«Пропавший без вести» Большой шеф сидел в то время в советской тюрьме, где над ним витали окровавленные тени расстрелянных где-то неподалеку после страшных пыток корпусного комиссара Берзина и полковника Стигги.

Лишь в мае 1954 года он снова входит в знакомый берзинский кабинет уже свободным человеком. Немолодой генерал долго жмет ему руку.

— Наконец-то! Наконец-то!

Не без удивления и досады Треппер задает ему вопрос:

— Почему же за все эти годы вы не сделали ничего, чтобы защитить меня?

В ответ он смеется:

— Мы находились в тех же местах, что и вы...

В 1957 году Леопольду Трепперу позволили вернуться на родину, в Польшу. Здесь его и нашел Жиль Перро, собиравший материал для своего документального рассказа о «Красной капелле». Материал оказался уникальным. Хитроумная сеть агентуры, созданная Треппером во Франции, в Бельгии и Германии еще задолго до нападения Гитлера на СССР. Бесперебойная передача ценнейшей информации в Центр во время войны. И, наконец, после неудач, провалов и арестов, в которых большую роль сыграли непростительные ошибки Центра, когда сам Треппер оказался в руках гестаповцев, он задумывает и блестяще осу-

ществляет Большую Игру. Разыграв готовность пойти на сотрудничество с гестапо, он, рискуя жизнью, предупреждает Москву и делает возможной «радиоигру» советской разведки с немецкой, в ходе которой была демаскирована вражеская дезинформация и в документах оказалось само гестапо, «Большая игра» велась до самого конца войны. А вскоре и сам Треппер, ускользнув от гестаповцев, ставших было ему доверять, скрылся и на свободе дождался освобождения Парижа...

Публикация книги французского публициста открыла правду о «Красной капелле» (или «Красном оркестре» — эту кличку дали подпольной группе сами немецкие контрразведчики, поскольку работа радиста, передающего шифровку, напоминает игру пианиста). Была прорвана, как выражается Треппер, информационная блокада «вопреки отсутствию сведений о нашей одиссее в канонизированных мифах о движении Сопротивления».

Чем же вызвана эта информационная блокада? Причину замалчивания истинного положения дел с «Красной капеллой» выразил на одном из допросов Треппера на Лубянке генерал Абакумов вопросом:

— Скажите, почему в вашей разведывательной сети так много евреев?

— Евреи, товарищ генерал, ведут двойную борьбу: против нацизма, а также против истребления своего народа, — ответил Большой шеф.

Однако антисемитские настроения не без помощи «старшего брата» все больше начинают распространяться в коммунистических партиях Восточной Европы. Несмотря на сенсационные открытия книги Жюль Перро, на родине Треппера, в Польше, не торопятся рассказать о Большом шефе и героях «Красной капеллы». 17 июня 1967 года, выступая на съезде Объединенных профсоюзов, первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка произнес антисемитскую речь. «...Через двадцать пять с лишним лет после окончания войны, — пишет Треппер, — в стране Варшавского гетто, где евреи страдали больше, чем где бы то ни было, от нацистского варварства, гидра антисемитизма вновь восстала из пепла».

Начинается новый этап испытаний для Треппера и его жены. Главу воспоминаний, ему посвященную, Большой шеф не без некоторого пафоса озаглавил «Последний бой». Стоит привести небольшую цитату с описанием событий, нам совершенно неизвестных, так как эту позорную страницу послужившей польской истории наши органы массовой информации постарались обойти молчанием:

«Как раз окончилась шестидневная война на Ближнем Востоке, и Гомулка воспользовался этим случаем, чтобы заявить: «Еврейская община — это пятая колонна!» Министр внутренних дел генерал Мочар, пресса, телевидение и ораторы на рабочих собраниях развернули антисемитскую кампанию неслыханной резкости. Манифестации польских студентов весной 1968 года в Варшаве дали правителям страны новый предлог для продолжения этой травли. Утверждалось, что именно еврейские

студенты спровоцировали столкновения между полицией и польскими студентами. Нападки были обращены главным образом против возглавляемого мною социально-культурного союза. Сотни еврейских студентов были отчислены из университета, старых заслуженных коммунистов исключили из партии. Мочар организовал «стихийную» демонстрацию с выкриками: «Отправьте этих свиней к Даяну!» При таком историческом разгуле еще немного — и произошел бы маленький погром».

Став, по его собственному выражению, «подозрительным лицом» на своей родине, не получив ответа на меморандум, отправленный Гомулке, Треппер обратился к польским властям с просьбой разрешить ему эмигрировать в Израиль. Для него начинаются заботы «отказника». За Треппера вступается мировая общественность. Однако в выезде ему отказывают, за ним устанавливается полицейская слежка, госбезопасность устраивает провокацию.

В довершение всего делается попытка объявить его предателем. Руководитель французской разведки Роше в газете «Монд» публикует статью «Дело Треппера», где обвиняет Большого шефа в «крайне подозрительном поведении» после ареста абвером в конце ноября 1942 года и утверждает: «Никто не может отрицать, что Треппер ради спасения своей жизни вступил, по крайней мере, в некоторое сотрудничество с врагом».

Треппер возбуждает против Роше судебное дело. И, хотя его не пустили в Париж, а ведущее дело от его имени адвоката Суле-Ляриьера в Польше преследовали, даже выкрадывая у него документы, — все же процесс состоялся и закончился победой Большого шефа. В своем обращении к суду французский писатель и деятель Сопротивления Веркор заявил: «Я считаю Леопольда Треппера великим героем движения Сопротивления против нацистской Германии. Будучи во время второй мировой войны дирижером «Красного оркестра», он содействовал окончательной победе над врагом в бесконечно большей степени, чем это было возможно, например, для такого человека, как я...»

Но даже для такого закаленного борца, как Треппер, этих испытаний оказалось многовато. Серьезно заболев, он направил в ЦК ПОРП письмо: «Если в течение четырнадцати дней не произойдут перемены, я начну голодовку, которая прекратится только с моим выездом из Польши или с моей смертью».

«Через несколько дней чиновник из Министерства внутренних дел и представитель ведомства здравоохранения сообщили мне, что польские инстанции разрешают мне выехать в Лондон на лечение...»

Так Леопольд Треппер вторично — и уже навсегда — покинул свою негостеприимную родину. Это было осенью 1973 года.

Еще не зная, что случится с Треппером в Польше, его биограф Жюль Перро, подытоживая события своего документального повествования, писал:

«Попав на Лубянку, когда вторая мировая война еще не закончилась, Треппер вышел оттуда в конце «холодной войны»... Детство и

юность сыновей у него украли. Отняли десять лет жизни, которые не в силах вернуть никакое свидетельство о реабилитации. Его заставили пережить и другое — он узнал, в каком отчаянии умирали те, кто пожертвовал всем и взамен не получил ничего, кроме неблагодарности и несправедливости. Кто захотел бы поменяться с ним судьбой?

Не возвращаясь больше к мифу о штирлицах, который две эти книги разбивают в прах, посмотрим лучше, что об этом скажет сам Тренпер:

«...Я принадлежу к поколению, ставшему жертвой мировой истории. Люди, которые в ходе октябрьских боев присягнули коммунизму, которых понес вперед сильный ветер революции, не могли даже подозревать, что спустя

десятилетия от Ленина не оставят ничего, кроме его забальзамированного тела на Красной площади. Революция выродилась, и мы присутствовали при этом...

Мы хотели изменить человека и потерпели неудачу. Этот век породил два чудовища — фашизм и сталинизм, и наш идеал потонул в этом апокалипсисе. Абсолютная идея, придававшая особый смысл нашей жизни, обрела черты, искажившие ее до неузнаваемости. Наше поражение запрещает нам давать уроки другим, но поскольку история наделена слишком большим воображением, чтобы повториться вновь, то нам все же дозволено на что-то надеяться».

Рэм ТРОФИМОВ.

Рига.

Читайте в 1992 году:

АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС

С надеждой в сердце

Перевела с испанского Е. Богущ. Вступительное слово В. Селюнина.  
Автобиографическая книга известного кубинского диссидента о кастровских тюрьмах.

«...Бойтель кричал и спорил с охранником. Я не знал, о чем шла речь.

Бойтель объяснил, что его укололи палкой. По правде сказать, я плохо понял, что он имел в виду, пока охранник не добрался до моей камеры. Он держал длинную деревянную палку, и я сразу же сообразил, что произошло.

Бойтель спал, а охранник, потихоньку просунув эту палку, ткнул его и разбудил.

С тех пор «палки Хо Ши Мина» станут нашей пыткой, доводя нас почти до сумасшествия. От них некуда было скрыться, ибо охранник сверху господствовал над всей камерой и мог колоть куда ему вздумается. Конец палки был тупой, не ранил, но причинял боль и не давал спать.

Я совсем обессилел. Недостаток сна и напряжение разрушительно действовали на меня. Тогда я обращался к Богу. Я никогда не просил его вызволить меня оттуда. Я не считал, что Бог существует для выполнения подобного рода просьб. Я хотел от него только одного: позволить мне выстоять, дать мне веру и крепость духа, чтобы устоять в этом положении, не заболеть ненавистью. И его присутствие, которое я чувствовал, превратило мою веру в непобедимое оружие».

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ЕЩЕ РАЗ О «ЗАГАДКЕ СМЕРТИ СТАЛИНА»

1

«3 агадка...» впервые вышла на русском в 1975 году, а потом была переведена и на ряд европейских и азиатских языков. В Советском Союзе она, как и другие мои книги, сразу попала под арест — в спецхран. Тем не менее по разным каналам она доходила и до русского читателя. «Загадка...» была и первой моей книгой, которую освободили из-под ареста в начале 1990 года. Тогда же важнейший фрагмент из нее был напечатан в «Слове» — литературно-художественном и общественно-политическом журнале Госкомпечати СССР.

Еще в декабре 1989 года, до освобождения моих книг из-под ареста, инициатором печатания меня в СССР явился журнал «Новый мир», попросив у меня разрешение напечатать в очередном номере журнала главу из «Происхождения партократии». С точки зрения все еще существовавшей цензуры с ее острым догматическим взглядом, журнал совершил святотатственный поступок — он выбрал самую стержневую, по его же определению, главу: «X съезд и осадное положение в партии». Она посвящена Ленину как основоположнику партократии. Догматики из ЦК КПСС, вероятно, взбунтовались, и мартовский номер журнала 1990 года, в котором была напечатана эта глава, вышел с опозданием на несколько месяцев, а последующие номера задержались еще дольше.

Несмотря на гласность, отмену цензуры, на поток разоблачительной литературы о Сталине и его преступлениях, сама центральная тема моей книги — какой смертью умер Сталин — все еще мало исследована.

Недавно мне довелось ознакомиться с письмом дочери Сталина Светланы Аллилуевой на имя главного редактора нью-йоркского «Нового журнала» Романа Гуля. История и содержание этого письма вкратце таковы. Как явствует из переписки между Аллилуевой и Гулем, узнав из печати о появлении книги «Загадка смерти Сталина», С. Аллилуева обратилась к Р. Гулю с просьбой достать ей эту книгу. Отправляя ей собственный экземпляр, Р. Гуль попросил С. Аллилуеву написать рецензию на нее, добавив, что «я тоже, может быть, напишу об этой книге. Ничего не значит, что в «Новом журнале» будет два-три отзыва о книге, она того стоит, по-моему. Тем более что Ваш отзыв (напишите, пожалуйста, как Вы хотели, мне просто письмо о книге, это лучше всего) — отзыв исключительно важный (будь он положительный или отрицательный)» («Новый журнал», 1986, № 165). Соответствующее «письмо-отзыв» С. Аллилуева и написала Гулю: «Только для Вас, личное письмо. Господину Авторханову, если желаете, покажите...» Р. Гуль не нашел нужным показать его мне. Я прочел его впервые после смерти Гуля в «Н. ж.». С. Аллилуева допускает: «Что оппозиция Сталину была наверху в 1952 — 1953 годах — весьма вероятно». Сделав мне комплимент: «Надо сказать, что г-н Авторханов обладает исключительным знанием жизни советской верхушки», С. Аллилуева тем не менее отводила мою версию, что Сталин умер в результате заговора Берия. Как видно из дальнейшего содержания ее письма, С. Аллилуева термин «заговор» понимает очень узко. Заговоры могут быть в разных формах: как в действиях, так и в бездействии. Заговор против Сталина не был, конечно, заговором прямых действий, чтобы его убить, но был, выражаясь юридическим языком, заговором «преступного бездействия», когда Сталину, получившему тяжкий удар, дали умереть, не вызывая врачей. С. Аллилуева выставляет на этот счет два тезиса, один противоречащий другому: 1) «Никакого заговора или приведения в исполнение такового, в злодейское исполнение, — я не видела и не вижу», и 2) «Из моих двух книг ясно: семидесятирехлетнему старику с повышенным кровяным давлением безусловно помогли помереть тем, что оставили его в состоянии удара без врачебной помощи в течение 12 (и больше...) часов» (слова «помогли помереть» выделены Аллилуевой, а остальные мной. — А. А.) (там же, письмо С. Аллилуевой датировано 23.01.77). Вот это «помогли помереть» Сталину невызовом врачей я и считал в книге наиболее вероятной формой заговора Берия против жизни Сталина.

Отводила С. Аллилуева и другую мою версию — ее брат умер не от алкоголизма, а от политики, иначе говоря, его убрали как опасного свидетеля. Она писала: «Брата моего Василия я бы очень хотела видеть таким бравым храбрым генералом, каким его рисует г-н А. К сожалению, брат был разрушен алкоголем физически и умственно... Не будем и здесь подозревать убийства...» (выделено С. Аллилуевой. — А. А.). Письмо С. Аллилуева кончается загадочно: «Мои две книги содержат все,

что я знала: надо лишь уметь читать их внимательно. Спасибо за это Авторханову, однако — по comments».

Через двадцать пять лет после своих первых книг и более десяти лет после критики моей «Загадки...» С. Аллилуева написала новую «Книгу для внучек», которая будет опубликована в журнале «Октябрь» в Москве. Отрывок из нее напечатала газета «Московские новости» (21.10.90). В новой книге С. Аллилуева пересмотрела некоторые свои старые оценки и внесла очень важные дополнения, которые связаны с событиями в Кремле накануне и в первые дни после смерти Сталина. Она пишет: «Здесь уместно, мне думается, вспомнить о двух событиях, которые произошли зимой 1952 — 1953 годов, событиях, предшествовавших и последовавших за смертью моего отца. Я не писала о них в своих ранних книгах. И значение их как-то больше раскрывается именно со временем, из перспективы. Сейчас мне кажется, что я вижу определенную связь между ними, чего я не видела ясно, когда писала «Двадцать писем». В обоих этих событиях странно фигурировал один и тот же человек... Я полагаю, что необходимо сейчас дополнить мои старые книги нижеследующими фактами. Последний разговор с моим отцом произошел у меня в январе или феврале 1953 года. Он внезапно позвонил мне тогда и спросил, как обычно, безо всяких обиняков: «Это ты передала мне письмо от Надирашвили?» «Нет, папа, я не знаю такого». «Ладно». — И он повесил трубку». После смерти Сталина, когда в Колонном зале проходили люди мимо его открытого гроба, дочь Сталина заметила в составе большой грузинской делегации «высокого грузного человека в одежде рабочего, который остановился, задерживая ход других. Он «снял шапку и заплакал, размазывая по лицу слезы и утирая их своей бесформенной шапкой. Не заметить и не запомнить его крупную фигуру было невозможно». Через день или два этот же самый грузин явился на квартиру С. Аллилуевой. «Здравствуйте, — сказал он с сильным грузинским акцентом. — Я Надирашвили». Это имя Аллилуевой еще недавно назвал отец. С. Аллилуева пустила его в квартиру. Он сел, показал ей туго набитую бумагами папку и заплакал. «„Поздно! Поздно!“ — только и сказал он, добавив, что Берия „хотел меня убить... он никогда не поймает меня...“ И тут же спросил адреса маршалов Жукова и Ворошилова. „Я должен увидеть Жукова. Я должен все ему передать. Я все собрал об этом человеке. Он меня не поймает“».

Аллилуева продолжает: «Через день... раздался звонок телефона, и я с удивлением узнала, что мне звонит не кто иной, как сам Берия». Берия вежливо, «по-братски», справлялся о делах С. Аллилуевой, говорил, что правительство назначит ей пенсию, и неожиданно перешел к делу: «Этот человек — Надирашвили, который был у тебя, — где он остановился?» Удивительно, что С. Аллилуева, которая писала в своей книге, что Берия был хитрее Сталина, даже сейчас не понимает, что весь этот театр, начиная от плача Надирашвили в Колонном зале и кончая его визитом к ней, всего лишь разведывательная провокация Берия, а Надирашвили — это просто агентурный псевдоним сексота Берия. Такой же театр Берия, несомненно, устроил и вокруг ее доверчивого и темпераментного брата Василия. Вероятно, Василий поддался провокации, что могло служить непосредственным поводом для его ареста, а Аллилуева отделалась строгим выговором с предупреждением «за содействие известному клеветнику Надирашвили». Выговор закатил ей по доносу того же Берия известный инквизитор Шкирятов. После расстрела Берия выговор сняли, но брата не освободили. Это свидетельствует о том, что Василия с воли убрал не один Берия, а вся четверка. Новая книга С. Аллилуевой проливает свет и на события, связанные с разгромом «внутреннего кабинета» Сталина во главе с генералом Поскребышевым. В «Загадке...» я писал, что заговор против Сталина мог быть успешным лишь после ликвидации верноподанных ему генералов: начальника «внутреннего кабинета» генерала Поскребышева, начальника личной охраны генерала Власика, — а также личного врача Сталина академика Виноградова. Я утверждал, что Берия, вероятно, косвенными путями спровоцировал Сталина, чтобы тот собственноручно и провел эту операцию. Теперь становится ясно, что Берия использовал для этой цели того же Надирашвили. Почему?

Ответ на этот вопрос вытекает из дальнейшего изложения Аллилуевой: «Когда во вторую половину дня 1 марта 1953 года прислуга нашла отца лежащим в о з л е с т о л и к а с т е л е ф о н а м и на полу без сознания и потребовала, чтобы вызвали немедленно ВРАЧА, никто этого не сделал. Безусловно, такие старые служаки, как Власик и Поскребышев, немедленно распорядились бы без уведомления правительства и врач прибыл бы тут же». Вот чтобы этого не случилось, Берия доносами его мнимого врага Надирашвили спровоцировал вечно подозрительного Сталина убрать из своего окружения преданных ему людей. С. Аллилуева констатирует этот факт, не понимая его подоплеку, когда пишет: «Таинственный Надирашвили, как я полагаю, все же сумел как-то передать Сталину что-то насчет деятельности Берия. Последовали немедленные аресты ближайших к Сталину лиц: генерала охраны Н. С. Власика, личного секретаря А. Н. Поскребышева. Это были январь — февраль 1953 года. Академик В. Н. Виноградов уже находился в тюрьме». «Таинственный Надирашвили», разумеется, не писал ничего «насчет деятельности Берия», ибо Сталин убрал не Берия, а своих верных и преданных помощников.

В цепи косвенных улик заговора Берия против Сталина, которые я собрал в «Загадке...», «таинственный Надирашвили» как раз и был недостающим звеном. Я утверждал, что именно Берия спровоцировал Сталина на разгром своего «внутреннего кабинета». Почему надо было заговор начать с разгрома этого кабинета? Напомню, что я писал в «Загадке...»: «Лишите Сталина этого «кабинета», и тогда он в ваших руках — таков и был план Берия. Надо было убрать от Сталина его личного врача, начальника его личной охраны, начальника его личного кабинета, его представителя в Кремле — коменданта Кремля. Их можно было убрать только руками самого Сталина. Здесь Берия был в своей стихии».

К своим прежним наблюдениям, что руководители правительства «помогли умереть» Сталину тем, что не вызвали врачей после его удара, Аллилуева добавляет новые существенные факты: «Врача так и не позвали в течение последующих 12 — 14 часов, когда на даче в Кунцеве разыгрывалась драма: обслуга и охрана, взбунтовавшись, требовали немедленного вызова врача, а правительство уверяло их, что «не надо паниковать». Берия же утверждал, что «ничего не случилось, о н с п и т». И с этим вердиктом правительство уехало, чтобы вновь возвратиться обратно через несколько часов, так как вся охрана дачи и вся обслуга теперь уже не на шутку разъярились. Наконец члены правительства потребовали, чтобы больного перенесли в другую комнату, раздели и положили на постель — ВСЕ ЕЩЕ без врачей... Наконец на следующее утро начался весь цирк с Академией медицинских наук — как будто для определения диагноза нужна а к а д е м и я! Не ранее чем в 10 часов утра прибыли наконец врачи... Вся прислуга и охрана, требовавшие немедленного вызова врача, были уволены. Всем было велено молчать... Они молчали. Но... в 1966 году одна из проработавших на даче в Кунцеве в течение почти двадцати лет пришла ко мне и рассказала всю вышеприведенную историю». Аллилуева сообщает, что она «не писала об этом в «Двадцати письмах»... Я не хотела, чтобы в 1967 году, когда я не вернулась в СССР, кто-либо на Западе мог бы подумать, что я «бежала» просто из чувства личной обиды или мести». Она добавляет, что о смерти брата тоже не написала все, что знает.

Причина смерти Сталина абсолютно ясна — намеренное не оказание своевременной медицинской помощи больному, но загадкой все еще остается другой вопрос: был удар естественный или он был вызван искусственно медицинскими агентами Берия в ту последнюю ночь 27 февраля, когда четверка пила со Сталиным. Вероятно, это еще долго останется тайной Кремля.

Новые данные С. Аллилуевой подтверждают мою версию о судьбе брата, которую она отрицала в письме Р. Гулю. Теперь она пишет: «Ему (брату Василию. — А. А.) тоже «помогли умереть» в его казанской ссылке, приставив к нему информантку из КГБ под видом медицинской сестры. О том, что она была платным агентом КГБ, знали (и предупреждали меня) в Институте Вишневского, где она работала и где Василий лежал некоторое время на обследовании... Василий, конечно, знал куда больше, чем я, так как с ним говорили все обслуживающие кунцевской дачи в те же дни марта 1953 года. Он пытался встретиться с иностранными корреспондентами и говорить с ними. За ним следили и в конце концов арестовали его. Правительство не желало иметь его на свободе. Позже КГБ просто «помог» ему умереть». Я чувствую, что даже теперь, в эру гласности, С. Аллилуева не хочет или не свободна рассказать, на чем были основаны обвинения Василия, когда он заявлял, что «они убили отца, они его отравили!» Ведь она же засвидетельствовала нам, что он кричал об этом не только в Кунцеве, но и на похоронах Сталина на Красной площади.

Другой наблюдатель — тоже высокого ранга, сын Георгия Маленкова, доктор биологических наук Андрей Георгиевич Маленков — также пишет о событиях, связанных со смертью Сталина. Орывок из его будущей книги опубликовал «Журналист» (1991, № 2). Из него я хочу привести здесь то место, которое касается нашей темы: «Деспотическая личная власть Сталина строилась на баланс трех сил: парткратии, репрессивных органов и технократов». По А. Маленкову, партократию возглавлял Хрущев, технократию — Маленков, а репрессивные органы, естественно, Берия. Однако «Сталину нужен был баланс сил. Но чем ближе становился его неизбежный конец, тем больше полагался Сталин на Маленкова... в борьбе с Маленковым Берия не мог рассчитывать на поддержку Сталина. Поэтому он решает создать почву для устранения их обоих. С этой целью он раздувает «дело врачей», придав ему зловещую истерическую окраску и размах. Расчет был прост: обвинив кремлевских медиков в умышленном неправильном лечении и отравлении представителей высшей власти, можно безопасно убрать и Маленкова и Сталина, используя «медицинские методы»... Отец, как я знаю, сразу же понял смысл этой кампании, но для подозрительного Сталина необходимы были конкретные доказательства — ведь «дело врачей» вел Рюмин, только что возвышенный Сталиным. Поэтому отец поручает С. Д. Игнатьеву неотступно следить за Рюминым и его командой. И уже через месяц Игнатьев докладывает отцу, что у него есть данные, раскрывающие истинный замысел «дела врачей». Маленков и Игнатьев докладывают эти данные Сталину, и тот произносит не оставляющую сомнений фразу: «В этом деле ищите Большого Мингрела» (на мафиозном жаргоне — Берия). Над Берия нависла непос-

редственная угроза: он стал опасен самому Сталину. Тогда Берия решается на прямую борьбу с грозным Хозяином. В декабре 1952 г. он организует налет на дачу Сталина, устраняет всех преданных Сталину людей (в частности, Поскребышева, Власика) и окружает его своими людьми. Готовится последняя акция режима, которая должна была уничтожить его творца. Я не знаю, завершил ли Берия этот замысел или Сталин умер своей смертью. Во всяком случае, отрицать возможность того, что Берия убил Сталина, тоже нет полных оснований».

Однако объективные факты говорят за то, что в заговоре Берия участвовали также Маленков, Хрущев и Булганин. Ведь только они вместе с Берия провели ночь рядом с умирающим Сталиным, они караулили его смерть, они же вместе с Берия отказались вызвать врача к больному, пока ясно не обозначился летальный исход. Бесспорно и другое: четверка была искусственной и противоречивой комбинацией, созданной по расчету. Каждый из четверки — Берия, Маленков, Хрущев, Булганин — метил самого себя в наследники Сталина: Берия, Маленков и Хрущев претендовали на это по своим рангам в иерархии вождей, а Булганин, как выражаются американцы, в качестве темной лошади, то есть бесцветного компромиссного кандидата.

В своей работе я разбирал только одну политическую сторону загадки смерти Сталина: организовался ли в Кремле заговор против жизни Сталина. Анализируя все доступные мне официальные и неофициальные документы о политической обстановке в стране и на верхах Кремля к началу 1953 года, взвешивая все аспекты знаменитого дела кремлевских врачей-«убийц» и его политико-стратегического умысла, присматриваясь к объективной логике развития политических событий накануне и в первые дни после смерти Сталина, изучая материалы XX съезда КПСС и кампании по разоблачению культа личности Сталина, читая, наконец, мемуары Хрущева и Аллилуевой, я пришел в своей книге к выводу: не в том загадка смерти Сталина, был ли он умерщвлен, а в том, как это произошло. Этого вывода я держусь до сих пор. Близка к нему и Светлана Аллилуева, которая так неубедительно оспаривала его в письме-отзыве.

Для исследования первой стороны загадки я опирался на так называемые косвенные улики, но чтобы выяснить вторую сторону загадки, как Сталин был умерщвлен, нужны улики прямые — судебно-медицинские. Накануне или в первые дни болезни Сталина четверка во главе с Берия сняла с постов министра здравоохранения СССР, а также начальника Лечебно-санитарного управления Кремля. Обе должности заняли доверенные люди Берия. Цель ясна: они должны руководить комиссией по «лечению» Сталина. После смерти Сталина создается и другая комиссия во главе с теми же лицами — эта комиссия должна подтвердить, что первая комиссия правильно поставила диагноз болезни Сталина и правильно его лечила, тем более, как указывало официальное коммюнике, «лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства». Вторая комиссия засвидетельствовала то, что от нее требовали: «Данные патологоанатомического исследования установили необратимый характер болезни И.В. Сталина». Никому эти «данные» не известны. Они остались секретными. К тому же, чтобы исследовать данные вскрытия трупа о том, не стал ли покойник жертвой преступления, нужна не комиссия врачей, пусть даже из академиков, а нужны эксперты из специальной области медицины — судебной. Разумеется, таких экспертов в составе комиссии не было, и поэтому подлинная причина смерти Сталина осталась неизвестной. Также осталась неизвестной и причина смерти Василия Сталина. С. Аллилуева замечает: «19 марта 1962 года он (Василий) умер при загадочных обстоятельствах. Не было медицинского заключения, вскрытия... Мы так и не знаем в семье, от чего он умер... еще не хотят раскрытия всех обстоятельств».

Если правовое государство не пустышка, то надо расследовать не только преступления Сталина, но и преступления против Сталина и его сына. Такое расследование возможно и сейчас, поскольку их останки не были преданы кремации, а некоторые из членов бериевских комиссий, вероятно, еще живут.

## 2

Передо мною лежит сейчас стенографический отчет пленума ЦК КПСС от 2 — 7 июля 1953 года, на котором обсуждалось «дело Берия». Этот отчет тридцать восемь лет держался в строгом секрете и только теперь впервые опубликован в «Известиях ЦК КПСС» (1991, № 1, 2). На этом пленуме с докладом о заговоре Берия против партии и правительства выступил Г. М. Маленков. В прениях участвовали все члены сталинского Политбюро плюс ряд министров и местных секретарей партии. И докладчик и ораторы в прениях доказали одно: не было заговора Берия против нового руководства, а был заговор этого нового руководства против Берия, который возглавляла группа в составе Хрущева, Маленкова, Булганина, Кагановича и Молотова. Другие члены сталинского Политбюро, Ворошилов и Микоян, присоединились к заговору против Берия на самом заседании Президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 года, на котором Берия был арестован и, вероятно, через несколько часов расстрелян, ибо следующие слова Кагановича на пленуме я не считаю случайной обмолвкой: «Цент-

ральный Комитет уничтожил авантюриста Берия» («Известия ЦК КПСС», 1991, № 1, стр. 192 — 193). За что же? За то, что Берия хотел провести десталинизацию во внутренней и внешней политике, что мы увидим из анализа докладов и прений.

Я проанализировал отчет июльского пленума ЦК КПСС с тем вниманием, какое заслуживает этот исторический документ в свете уже исследованных мною событий и проблем в «Загадке смерти Сталина». Такой анализ только подкрепил меня в старом убеждении, что в последние месяцы жизни Сталина внутри руководства сложилось два заговора: один — заговор четверки (Берия, Маленков, Хрущев, Булганин) во главе с Берией против Сталина, второй — заговор внутри четверки (Хрущев, Маленков, Булганин) во главе с Хрущевым против Берия. Позволю себе напомнить, что говорится в «Загадке...» в отношении обоих заговоров. Сначала о заговоре против Берия. Хрущев рассказывал, что еще тогда, когда Сталин заболел, он говорил Булганину: «Если Сталин умрет, Берия хочет стать министром госбезопасности. Если он им станет, то это начало конца для всех нас... Мы абсолютно не должны допустить этого. Булганин сказал, что он согласен со мною... Я сказал, что я поговорю обо всем этом с т. Маленковым». Это я взял из английского текста «Khrushchev Remembers», опубликованного в Америке. Кремль заставил пенсионера Хрущева объявить на страницах «Правды» свои подлинные воспоминания, продиктованные им на магнитофон, фальшивкой ЦРУ.

Отчет пленума подтверждает, что заговор троих из четверки — Хрущева, Маленкова и Булганина — состоялся еще тогда, когда Сталин боролся со смертью. Вот выступление Хрущева на пленуме: «...примерно за сутки до смерти товарища Сталина я товарищу Булганину сказал: «...после смерти Сталина Берия будет всеми способами рваться к посту министра внутренних дел... это приведет к очень плохим последствиям для партии». Булганин: „Был такой разговор“» (там же, стр. 149 — 150). А вот и выступление Булганина: «Товарищ Никита Сергеевич Хрущев перед кончиной товарища Сталина действительно говорил мне о Берия... „Как видишь... мы стоим накануне смерти нашего вождя, но я предвижу и боюсь, что Берия нам сильно осложнит дело. Я предвижу, что, когда умрет Сталин, он рванется к МВД. А зачем, ты думаешь, ему нужно МВД? Затем, чтобы... подчинить себе партию и государство“» (там же, стр. 172 — 173).

Так что заговор против Берия образовался еще внутри большого заговора против самого Сталина. Однако заговор против Берия совсем не означал, что тройка этим самым хочет реабилитировать Сталина и осудить Берия за то, что он поднял кампанию против культа личности Сталина. Именно так поняли разоблачения Берия старые соратники Сталина Ворошилов, Каганович, Андреев. Они, члены Президиума ЦК, как и весь ЦК, не знали и не могли знать, что осуждение культа личности и свержение Сталина — совместное решение всех членов четверки. Не потому они свергли Берия, что тот вместе с ними низверг Сталина с трона диктатора, а потому, что он хотел сам занять его место. Вот из-за этой неосведомленности и звучали такие речи на пленуме:

Каганович: «Начал он (Берия. — А. А.) атаку на партию с атаки на Сталина. На другой день после смерти Сталина, когда еще Сталин лежал в Колонном зале, он фактически начал готовить переворот, начал свергать мертвого Сталина, он стал мутить, пакостить, то рассказывал, что Сталин говорил про тебя то-то, про другого то-то, то говорил, что Сталин и против него, Берия, шел. Он нам... говорил: «Сталин не знал, что если бы он меня попробовал арестовать, то чекисты устроили бы восстание». Говорил это?» Голоса из Президиума: «Говорил». «Берия враждебно относился к заявлениям о том, что Сталин великий продолжатель дела Ленина, Маркса — Энгельса... и все это подносилось под видом того, что нам нужно жить теперь по-новому» (там же, стр. 196 — 197; выделено мною. — А. А.);

Андреев: Берия «начал дискредитировать имя товарища Сталина... Он делал это сознательно, чтобы имя товарища Сталина похоронить и чтобы легче прийти к власти... имя товарища Сталина исчезло (из печати. — А. А.)... это его рука... Появился откуда-то вопрос о культе личности. Почему стал этот вопрос?... Это проделки Берия». Ворошилов из Президиума: «Правильно» (там же, № 2, стр. 185).

Эти выступления бывших членов сталинского Политбюро в защиту Сталина и его политики как продолжателя дела Ленина поставили тройку (Маленкова, Хрущева и Булганина) перед тяжелой необходимостью: как осудить культ личности Сталина, не обеляя самого Берия? В заключительном слове Маленков вынужден был осудить культ Сталина, но уже в чисто деловом аспекте: «Здесь на Пленуме ЦК говорили о культе личности, и, надо сказать, говорили неправильно... Прежде всего, надо открыто признать, и мы предлагаем записать это в решении Пленума ЦК, что в нашей пропаганде за последние годы имело место отступление от марксистско-ленинского понимания вопроса о роли личности в истории... Вы должны знать, что культ личности т. Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры, методы коллективности в работе были отброшены» (там же, стр. 195). Маленков добавил, что съезд не созывался тринадцать лет, годами не созывались пленумы ЦК, Политбюро не работало. «Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных



решений и в последние годы стал наносить серьезный ущерб делу руководства партией и страной» (там же). Маленков сослался и на известное выступление Сталина против Молотова и Микояна на октябрьском пленуме ЦК (1952), потом Маленков обратился к залу с вопросом: «Разве Пленум ЦК, все мы были согласны с этим? Нет! А ведь все мы молчали. Почему? Потому что до абсурда довели культ личности и наступила полная бесконтрольность. Хотим ли мы чего-либо подобного в дальнейшем? Решительно — нет» (там же, стр. 196). Маленков тут же покритиковал и «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталина, которые он, как и все ораторы, так высоко возносил в отчетном докладе ЦК КПСС XIX съезду партии. Насколько прочно и глубоко всосался в кровь и мозг партократии «священный» образ «бога» Сталина, показывает тот памятный факт, что даже после такого выступления тогдашнего первого лидера партии и государства Маленкова, поддержанного вторым лидером — Хрущевым, а также соответствующим постановлением данного пленума ЦК КПСС, в стране вспыхнула с прежним размахом новая эпидемия культа Сталина. Что же касается уголовных преступлений Берия против нового руководства, то многие обвинения надуманны, притянуты за уши, а серьезные политические обвинения против Берия, наоборот, свидетельствуют о правоте и политической дальнорзоркости Берия. Маленков обвинил его в следующем:

1) Берия подслушивал наши телефонные разговоры и шпионил против нас через наших личных охранников;

2) Берия хотел ликвидировать ГДР и создать объединенную буржуазную Германию;

3) Берия хотел восстановить нормальные отношения с Югославией;

4) Берия объявил амнистию заключенных, чтобы поднять свой авторитет;

5) Берия атомными делами занимался, игнорируя ЦК, и без ведома ЦК организовал взрыв водородной бомбы;

6) Берия еще при Сталине сеял недоверие между членами руководства;

7) Берия добился от ЦК КПСС принятия ошибочного решения о проведении в союзных республиках новой национальной политики на основе новой «коренизации», то есть на руководящие посты в аппаратах партии и государства республик назначать представителей коренных национальностей, этим он намеренно хотел поссорить националов с русскими (как пример Маленков указал на решения ЦК КПСС об Украине, Литве);

8) Берия, обходя ЦК, лично освобождал от имени МВД СССР арестованных Сталиным с 1946 по 1953 год генералов, министров, врачей-«вредителей», «мингрельцев» и других, чтобы поднять свой авторитет;

9) Берия — «преступно разложившийся человек» (там же, №1, стр. 143 — 151).

Ко всем этим обвинениям Хрущев от себя добавил еще такое «страшное» обвинение: по докладу Ракоши о Венгрии Берия сказал, что государственными делами должно заниматься правительство, а «ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой» (там же, стр. 153). Находя список уголовных обвинений Маленкова в адрес Берия недостаточно весомым, Хрущев предложил объявить Берия шпионом буквально в следующих словах: «Берия может быть и шпион» (там же). Резолюция пленума ЦК потом запишет: Берия был «агентом международного империализма» (там же, стр. 205).

После войны Берия непосредственно не руководил органами госбезопасности, но надзирал над ними в качестве заместителя Сталина по Совету Министров СССР. Берия весьма критически относился к деятельности «органов» после своего ухода оттуда. Это, может быть, конечно, просто профессиональная ревность бывшего шефа, но сам же Хрущев замечает: «Он иногда сам возмущался тем, что делалось в МВД или в МГБ» (там же, стр. 153). Микоян в своей речи на пленуме сообщил, чем мотивировал Берия свое желание вновь возглавить МВД СССР. Микоян начал с того, что подтвердил: «Надо сказать, что товарищ Сталин в последнее время не доверял Берия. Берия вынужден был признать на последнем для него заседании Президиума ЦК, что товарищ Сталин ему не доверял, что мингрельское дело создано было для того, чтобы на этом основании арестовать Берия, что Сталин не успел довести до конца то, что хотел» (там же, № 2, стр. 150).

Потом Микоян выставил весьма важное свидетельство о мотивах Берия возглавить МВД СССР после Сталина: «Как-то я его спрашивал: зачем тебе НКВД? А он отвечал: надо восстановить законность, нельзя терпеть такое положение в стране. У нас много арестованных, их надо освободить и зря людей не посылать в лагеря. НКВД надо сократить, у нас не охрана, а надзор за нами... оставить по одному-два человека для охраны членов Правительства. Вот такие утверждения он делал» (там же, стр. 150 — 151). Конечно, и Хрущев и Микоян считают все это «двуручничеством» Берия.

Я остаюсь при своем мнении, что и пленум ЦК в июле 1953 года и Верховный суд СССР в декабре 1953 года судили не живого Берия из тюрьмы, а мертвеца. Поэтому не зачитывались показания Берия на предварительном следствии перед пленумом ЦК в июле 1953 года, поэтому не сообщались показания Берия и перед Верховным судом в декабре 1953 года. Вероятно, большинство членов пленума ЦК были о смерти Берия информированы, кроме его близких друзей и подручных Берия

в аппарате партии, как, например, первый секретарь ЦК Азербайджана и кандидат в члены Президиума ЦК КПСС Багиров. Отсюда понятен и смех в зале, вызванный ответом Багирова на одну из реплик Маленкова. Багиров в своей очень путаной и пугливой речи начал рассказывать, что Берия недавно звонил ему, что он хочет создать новые республиканские ордена. Когда Маленков начал атаковать Багирова вопросами, какие ордена и для кого, то растерявшийся Багиров сказал: спросите об этом Берия, — что и вызвало смех в зале.

Анализируя многочисленные улики, изучая атмосферу внутри и на верхах партии, логику развития политических событий, психологию их ведущих участников, я пришел в «Загадке смерти Сталина» к выводу: еще при жизни больного Сталина его ученики произвели политический переворот против диктатора. Напомню, что сказано на этот счет в книге: «Четверка — Берия, Маленков, Хрущев и Булганин — совершила в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 года переворот, завалированный ссылкой на болезнь Сталина, временно отошедшего от власти. Четверка немедленно распределила между собою власть в обход Президиума ЦК КПСС. Всем же остальным наследникам Сталина из Политбюро — старым, законным, но не участвовавшим в перевороте, — достались вторые роли». Подтверждается ли этот вывод из анализа материалов июльского пленума? Глупо было бы думать, что кто-нибудь из участников переворота признается в этом перед сталинским ЦК, но зато горбачевский ЦК — вольно или невольно — выдал великую тайну в своем воистину историческом примечании 41 к речи Молотова: «5 марта 1953 г. состоялось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР, которое продолжалось с 20 час. до 20 час. 40 мин., т. е. закончилось за 1 час 10 мин. до смерти И. В. Сталина а (как сообщалось в извещении о кончине И. В. Сталина, он умер 5 марта 1953 г. в 21 час 50 мин.). На заседании приняты решения по организационным вопросам — о Председателе и первых заместителях Председателя Совета Министров СССР, о Президиуме Совета Министров СССР и его составе, о Председателе и секретаре Президиума Верховного Совета СССР, об объединении ряда министерств и назначении министров, о председателе Госплана СССР и председателе ВЦСПС, а также о составе Президиума и секретарей ЦК КПСС. Постановление совместного заседания было опубликовано в печати 7 марта 1953 г. без указания даты его проведения» (там же, № 1, стр. 160; выделено мною. — А. А.). Тут уж действительно нет сомнения: власть Сталина перешла к его диадохам, когда Сталин еще дышал. Теперь уже понятно и то, почему Хрущев и Микоян так настойчиво подчеркивали в своих речах на пленуме, что врачи с самого начала болезни Сталина им заявили, что смерть Сталина неизбежна. Ложь, призванная оправдать захват власти у все еще живого Сталина. Это не во врачебной этике — заявить, что пациент, да еще такой, как Сталин, не имеет шансов на выздоровление. Ведь тот же Хрущев рассказывал, что один из врачей продолжал лечить мертвого Сталина, пока кто-то из четверки не сказал: «Ты что, не видишь, человек умер».

Какую политику хотел проводить Берия, став после смерти Сталина фактическим правителем страны? В «Загадке...» я ответил на этот вопрос так: «Берия был не только полицейским: как политик он был намного выше своих коллег и понимал, что со Сталиным кончилась целая эпоха, что отныне стать великим и успешно править страной может только анти-Сталин... десталинизация политической жизни вообще и национальной политики в особенности были теми двумя китами, на которых Берия собирался строить свою новую программу». (Я должен извиниться перед читателями, что занялся самоцитированием, это потому, что как раз «Загадку смерти Сталина» литературные кагебисты объявили мифическим произведением.) Выступления организаторов заговора против Берия с абсолютной достоверностью свидетельствуют, что Берия хотел не ремонтировать сталинскую систему, а уничтожить ее, что не устраивало никого — ни заговорщиков против Берия, ни партию с армией. Какая же была бериевская альтернатива в конкретном плане, остается под вопросом. В свете развития дальнейших событий, особенно в эпоху Горбачева, становится ясно, как далеко смотрел Берия. Из выступлений антибериевских заговорщиков на пленуме все-таки видны и некоторые приоритеты будущей политики Берия:

- 1) ликвидация репрессивной системы Сталина — Берия;
- 2) консолидация политики в европейских странах-сателлитах, начав ее с ликвидации «социализма» в ГДР и объединения двух Германий;
- 3) предупредить развал СССР, вернувшись к ленинской политике «коренизации»;
- 4) перемещение власти от партаппарата к госаппарату.

Вот это все не устраивало партократию, отсюда и заговор против Берия. Огромную роль, конечно, играли и личные мотивы в действиях заговорщиков. После смерти Сталина соучастники антисталинского заговора увидели, что поменяли одного диктатора на другого. Лишенный дипломатического дара Сталина в обращении с потенциальными противниками и находясь в эйфории от блестящего успеха своего заговора против Сталина, Берия, переоценив себя, начал рубить сплеча. Уже первый его шаг был опрометчивым — послесталинское правительство фактически было назначено им вопреки требованию Молотова рекомендовать правительство от имени

ЦК КПСС, а не от имени одного Берия (Молотов рассказывал на пленуме о своем звонке Берия на этот счет и об отказе Берия принять его предложение). Такие его действия оценены в постановлении пленума ЦК как попытка поставить политическую полицию над партией. Абсурд. Еще с 30-х годов сам Сталин поставил ее над партией, а Берия только воспользовался этим наследием культа личности, чтобы оперативно организовать новое «временное правительство», а дальше будет видно. Во «временном правительстве» Берия взял на себя роль второго лидера, чтобы править первым. Все это видели, и никто этим как будто не возмущался. Не возмущался и сам юридически первый лидер, классик данной системы — Маленков, не возмущался бесцветный бюрократ Булганин, правда, возмущались Молотов и Каганович: первый тем, что Берия не соблюдает традиционного порядка назначения правительства через ЦК КПСС, а второй тем, что Берия в присутствии всего Президиума ЦК говорит о Сталине всякие «пакости». Ворошилов и Микоян оказались вообще невозмутимыми: им был хорош Сталин, теперь им хорош и Берия. Однако один «возмутитель» все-таки нашелся, который у Берия числился в политических клоунах, способный в его глазах на роль затейника, а не серьезного политика, — Хрущев. Но «затейник» оказался в сталинском искусстве внезапных ударов на класс выше самого Берия. Как мы узнали из выступлений Хрущева и Булганина на пленуме, Хрущев, завербовавший еще во время болезни Сталина Маленкова и Булганина против Берия (все трое жили в одном доме, что облегчило задачу конспирации при встречах), начал искать новых союзников. После смерти Сталина Хрущев очень легко убедил Молотова и Кагановича, что Берия был и остался их врагом и метит в диктатора.

Таким образом, в реорганизованном Президиуме ЦК КПСС создалось авторитетное большинство против Берия. Одновременно Хрущев и Булганин подобрали и команду из среды военных во главе с маршалом Жуковым для ареста Берия. Техника исполнения заговора была до гениальности проста: арестовать Берия на очередном заседании правительства. Прежде всего Хрущев и по его режиссуре Маленков провели предварительную подготовку во время их единенных прогулок с Берия, внушая ему, что в их лице он имеет глубоко преданных единомышленников и верных соратников (участие в заговоре против Сталина — лучшее доказательство).

Хрущев рассказал на пленуме, какова была цель такой «дружбы»: «Некоторые говорили: как же так, Маленков часто под руку ходит с Берия... Хрущев с ним также ходит... Я считаю, что до поры до времени это хождение нам пользу приносило и было нужно. В четверг (25 июня 1953 г.) мы — Маленков, я и Берия — ехали в одной машине, хотя мы знали, что он интриган, что он меня интригует против Маленкова и против других... Прощается он, руку жмет, я ему тоже отвечаю «горячим» пожатием: ну, думаю, подлец, последнее пожатие, завтра в 2 часа мы тебя подождем. (С м е х.) Мы тебе не руку пожем, а хвост подождем... С таким вероломным человеком только так надо было поступить. Если бы мы ему сказали, хоть немного раньше, что он негодяй, то я убежден, что он расправился бы с нами... по х о р о н и т тебя, речь п р о и з н е с е т и табличку повесит: «Здесь покоится деятель партии и правительства»... Он способен на это. Он способен подлить отраву» (там же, стр.158; выделено мною. — А. А.). Хрущев признался, что с вероломным Берия он поступил вероломно. Искусство вероломства их учил сам Сталин, которого они лишили жизни и власти тоже вероломно. Каким учитель, таковы и ученики...

А. АВТОРХАНОВ.

## КОРОТКО О КНИГАХ

\*

**I. КРЕСТНАЯ НОША.** Трагедия казачества. Часть 1-я. Составитель В. Сидоров. «Дон», 1990, № 5 — 7.

«К 70-летию исхода россиян из России» — таких юбилеев мы еще не отмечали, а именно под такой шапкой опубликованы в журнале «Дон» письма казаков на чужбину.

В 20 — 30-е годы во Франции, Чехословакии, Германии выходили многочисленные журналы казачьей эмиграции, где ежемесячные обзоры жизни казаков-изгнанников печатались под рубрикой «На чужбине», а в рубрике «На родине» шли перепечатки или выборки из советских газет и непременно письма — с Дона, Кубани, Терека, из Оренбуржья, Сибири. Публикуемые ныне письма были взяты составителем из журналов «Казачий путь», «Казачья лава», «Казачий союз», «Путь казачества», «Вестник Казачьего союза», «Вольное казачество», «Родимый край». Бог весть какими путями попадали эти письма за рубеж, и нет ничего удивительного в том, что их в те годы публиковали, тщательно вымарав приметы отправителя, а иногда и адресата — во избежание серьезных неприятностей для оставшихся на родине. И все равно за ними встают совершенно живые лица, звучат неповторимые голоса. «Дорогой сыночек Ваня, — читаем мы в письме с Дона от 22 июня 1924 года, — мы этот год собираемся умирать, потому что голод предстоит еще больше, чем был в 21 — 22-м годах. Весенний хлеб совсем погиб, а на озимые тоже мало надеи. А налог само собой отдай, хотя заработай, а им выплати. Дитенок Ваня, не думай, что мы не хотим, чтобы ты приехал домой. Представь себе — сердце разрывается, когда станем думать и обсуждать, что за это время у нас глаза засыплются землей и больше не увидят тебя. Но все-таки мы обдумали и решили оставить тебя на свете. Если же мы будем умирать, то думаем, что ты не должен умирать».

«Если нам еще страдать, то лучше пусть вы в стороне живы, чем с нами мертвы» — этот мотив проходит через все письма и является подлинно народным ответом тем, кто и ныне продолжает упрекать изгнанников в недостатке патриотизма: зачем, мол, ушли, зачем не вернулись. На самом деле и возвращались тоже — как оказывалось, на смерть, на муку, этому есть примеры в письмах. «Умирать нужно казаку, а не жить» — это настроение сразу бросается в глаза в письмах с родины, полных множества деталей, примет нового быта, житейских историй и рождающихся преданий. Год 1933-й. Пишут с Кубани о разорении деревенского храма — в самый церковный праздник Казанской иконы Божьей матери.

«Народ рыдал, но всех разгоняли по домам. На ночь поставили стражу из одного человека... Ровно в 12 часов ночи он, то есть сторож, услышал женский плач и увидел свет (в церкви не было ни одной лампадки). Рыдающий голос восклицал: «Боже мой, Боже мой, что вы наделали!»... Собралось несколько милиционеров... Со взведенными курками винтовок двинулись они к церкви. Да, действительно, видят свет и слышат голос. Только они одну ногу поставили, все прекратилось... и вся станица уверилась, что это было видением Божией материи».

«Что вы наделали...? Кто — вы, кто — они?.. «Детскими играми, — уверен составитель Владимир Сидоров, — кажутся розыски, что есть кто по национальности среди фигур (революционеров. — А. В.) первого ряда. Ведь они все немцы, в том изначально чистом смысле слова, какой значит немец, не разумеющие по-русски. В них ни в ком не было тени сомнения, что Россия даст... сделать с собой то, что вздумалось им в озлобляющих, ожесточающих, утверждающих в дьявольской гордыне ссылках, эмиграции, подполье». Оказалось, что Россию можно разорить, но невозможно превратить ее в чистый лист, на котором будет написано только то, что хочется разорителям. И этот ее летящий к нам из прошлого запечатленный стон не только ранит, но и укрепляет нас».

**II. АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ.** Циники. Роман. М. «Современник». 1990. 109 стр.

**АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ.** Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. Л. «Художественная литература». 1988. 480 стр.

Когда так бурно идет процесс возвращения к читателю «забытых» писательских имен, неудивительно, что вспоминаются фигуры не только первого, но и второго, и даже третьего ряда. Анатолий Борисович Мариенгоф (1897 — 1962) хотя и дожил до 60-х годов, но имя его прочно ассоциируется у нас с годами 20-ми, а именно с имажинизмом — литературным течением, в которое входили Рюрик Иванов, А. Кусиков, В. Шершеневич, братья Николай и Борис Эрдманы и, как известно, временно Сергей Есенин, к которому Мариенгоф был тогда близок. «Мариенгоф был, возможно, не талантливей, чем Крученых, — писал о нем недавно Юрий Карачивский, — но Мариенгоф стремился быть талантливым. Он... не возводил бездарность в ранг гениальности... Он сочинил плохие стихи, но он не выворачивал вверх дном критерии, так

чтоб эти стихи считались хорошими». Сам русский имажинизм, объединивший способ и даже талантливых людей, как метод оказался, по моему убеждению, бесплодной умозрительной выдумкой; генезис этого направления в значительной степени относится к психологии творческого поведения — попытке прорваться в литературу «командой», что подтверждают и воспоминания самого Мариенгофа.

Ленинградский сборник, составленный Б.Авериним, напоминает нам о Мариенгоф-прозаике. Роман «Циники» (1928) замечателен в первую очередь тем, что в 1929 году он вместе со знаменитым романом Замятина «Мы» был осужден как «антиобщественные проявления в области литературы». Наиболее известную, скандально знаменитую книгу Мариенгофа о Сергее Есенине «Роман без вранья» (1926) на долгие годы упрятали в спецхран. Некогда (в стихотворении «Прощание с Мариенгофом») Есенин обращался к нему так: «Возлюбленный мой! дай мне руки — я по-иному не привык, — хочу омыть их в час разлуки я желтой пеной головь». Мариенгоф простился с ним иначе. Я вовсе не берусь утверждать, что великий поэт был ангелом в быту, в повседневной, частной жизни. Дело совсем в другом. В том, с каким глумливым сладострастием подбирает мемуарист эпизод к эпизоду, показывая публике «злую», «нечистую» сторону есенинского характера. И все это при неизбежной (как мне показалось) любви к Есенину и нескрываемой ненависти к женщинам своего бывшего друга — Зинаиде Райх, Айседоре Дункан... Казалось бы, близкий друг мог сообщить нам о поэте нечто очень важное, но увы... «Есенинская трагедия, — читаем в книге Мариенгофа «Мой век...» (1953 — 1956), — чрезвычайно проста... Футуристы в таких случаях говорили: «Просто, как мычание». А врачи это называют «клиникой!» Ведь в клинике тоже все просто, как мычание. Даже и сам Есенин в «Черном человеке» сказал об этом откровенно и ясно:

Осыпает мозги алкоголь.

Вот он и осыпал. И сразу становится очевидно, что этому мемуаристу либо (несмотря на массу пикантных деталей) нечего сказать о великом поэте, либо он продолжает — еще с конца 20-х годов — обрабатывать все тот же «социальный заказ» относительно якобы чисто личных причин гибели поэта. И это тоже как-то характеризует самого Мариенгофа. Думаю, что обе мемуарные книги Мариенгофа в гораздо большей степени свидетельствуют о времени, общественной атмосфере и о самом мемуаристе, чем о ком-либо конкретном из его персонажей. В сущности, его книги — о самом себе. Причем он «объективно» сообщает нам о себе вовсе не то, что собирался рассказать. У нас формируется не тот образ автора, который этот автор пытался сам создать. Литература в этом отношении беспощадна. Позволю себе большую цитату из «Романа без вранья»: «У меня сыздетства беспричинная ненависть к студенческой фуражке: «Gaudeamus» ввергало в бешенство. В

старших классах гимназии, считая студентов тупее армейского штабс-капитана, мечтал вышнее получить за границей (и не получил его нигде. — А. В.). И разве не справедливо течение судеб русского студенчества, заполнившего в годы войны школы прапорщиков и юнкерские училища и ставшего доподлинными юнкерами и прапорщиками? В дни Керенского на полях Галиции они подставляли собственный лоб под немецкую пулю ради воодушевления не желающих воевать солдат. (Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, спросил первым словом: «А где здесь плен?») В октябре (1917 года. — А. В.) за стенами военных училищ отстреливались до последнего патрона и последней пулеметной ленты...» И все это — по Мариенгофу — свидетельство «тупости»?.. Помните, как во сне явился Алексею Турбин глумливый кошмар в клетчатых брюках и сказал: «Русскому человеку честь — одно только лишнее время». «Ах ты! — вскричал во сне Турбин. — Г-гадина, да я тебя», полез во сне достать браунинг, и кошмар исчез.

В последней главе мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» тон внезапно меняется, в рассказе о самоубийстве его сына Кирилла у повествователя выступают живые слезы. Но поздно. Образ автора, которому трудно сочувствовать, сопереживать, у читателя сформировался. Юношу очень жалко, а отца уже нет.

Что же касается утверждения Б.Аверина, что Мариенгоф стоит в одном ряду с такими писателями, как Платонов и Замятин, то это явное преувеличение.

Андрей Василевский.

\*

**ПИСАТЕЛИ СОВЕТУЮТСЯ, НЕГОДУЮТ, БЛАГОДАРИТ.** О чем думали и что переживали русские писатели XIX — начала XX века при издании своих произведений. По страницам переписки. М. «Книга». 1990. 416 стр.

Кто из пишущих не проклинал издательских, журнальных, газетных редакторов! Кто с ними не спорил! Ведь сколько бы ни отменяли цензуру, она никогда не отменится, пока есть редакторы. Ослабля идеологическая цензура, осталась вкусовая; нет комиссарского надзирающего ока, но по-прежнему в редакторских пальцах ферула школьного учителя словесности. Ибо как бы ни был угнетен редактор текущими заботами, дублированием корректорских трудов по устранению опечаток и неточностей, за ним остается право на «совершенствование авторской рукописи» (как учит нас в статье «Редактирование» Краткая литературная энциклопедия). И снова редактор чертит на полях вашего произведения: «стиль! стиль! стиль!» Да что он там чертит, разбойник? Хочет, чтоб мы жили его, а не своей жизнью? Зачем нам вообще эти усовершенствователи?

Однако 114 русских писателей, за исключением немногих (Чернышевский наотрез отвергал любых редакторов!), свидетельствуют: редакторы нужны. Высказывания этих

писателей собраны в книге, выпущенной одним из авторитетнейших отечественных специалистов по редакторско-издательскому делу А.Э.Мильчиным. Книга эта не имеет у нас аналогов и отличается историко-литературной направленностью от прежних изданий, автором, составителем или титульным редактором которых был Мильчин («Методика и редактирование текста», «Краткий справочник книголюбца» и др.). Здесь собрано 1196 выдержек из писем русских писателей на одну тему: подготовка рукописи к печати.

Однако нужны писателю не первые попавшиеся, не назначенные издательским или журнальным начальством, считает Мильчин, «самый желанный для писателя редактор — доверенное лицо, человек, мнением которого писатель дорожит, вкусу которого доверяет... Другому писателю он, может быть, и не подойдет, а этому необходим, как был необходим И. С. Тургеневу — П. В. Анненков, Л.Н.Толстому — Н. Н. Страхов, Н. В. Гоголю — А.С.Пушкин, а затем В. А. Жуковский».

Такой конфидент надобен прежде всего потому, что у сочинителя все, что у нормальных людей заглазно, — навывнос. И никакая уверенность в своем слове не заменит даже у наглейшего из графоманов потребности услышать честное мнение близкого человека. Но как соблюсти эту естественную для пишущего потребность с нашей реальной издательской практикой? Мильчин формулирует два условия нормальной, без взаимной нервозности, подготовки рукописи к печати: 1) «каждому писателю — свой редактор»; 2) «каждому произведению — свой редакторский подход, своя форма сотрудничества и отношений с автором; свой метод анализа и оценки». А.Э.Мильчин, имеющий достаточно солидный опыт редакторской работы, утверждал это же и раньше. Но, согласитесь, одно дело объявить свое мнение на основании собственной практики, и совсем другое — доказать это мнение на безусловном историческом материале. А тут мнение доказывается устами людей, создавших русскую литературу, обращаясь в императив всего русского писательского сословия.

Замечательный случай, когда историческая истина имеет живой сегодняшний смысл. Только бы вняли ему современные редакторы...

Что же до смысла исторического, книга сделана не просто культурно, но в высшей степени культурно. Все реплики размещены по восьми разделам («Редакционные замечания: как принимает их писатель», «Издатель — писатель: этика отношений», «Редактор в оценке писателя» и др.). Каждая из 1196 реплик сопровождается указанием на издание, по которому она публикуется, реплики, требующие историко-литературных разъяснений, прокомментированы. К каждому случаю обсуждения между писателем и его конфидентом той или иной рукописи приложена справка о том, как писатель отреагировал — какие исправления внес в текст, что оставил без изменения и т. п. И, конечно, есть указатели — предметно-тематический, именной, авторов писем. Словом, душе историка есть чему радоваться. Все-таки вышло спра-

вочное издание не просто по редакторско-издательскому делу, но куда шире — по истории русской литературы.

А. Песков.

\*

В. В. СОГРИН. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. М. «Наука». 1989. 280 стр.

«Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и все они наделены создателем определенными неотчуждаемыми правами, к которым принадлежат жизнь, свобода, стремление к счастью. Для обеспечения этих прав люди учредили правительство, берущие на себя справедливую власть с согласия управляемых. Всякий раз, когда какая-либо форма правления ведет к нарушению этих принципов, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких началах, какие, по мнению народа, более всего способствуют его безопасности и счастью...»

Если бы Томас Джефферсон написал только Декларацию независимости США, откуда взяты эти строки, он уже одним этим вошел бы в историю.

Новое прочтение биографии четвертого президента Соединенных Штатов Америки предложил советский историк Владимир Согрин. Почему новое? Прежде всего потому, что у нас уже выходили работы, посвященные яркой личности Джефферсона. Добродетельные сами по себе, они неизбежно несли отпечаток своего времени, когда считалось хорошим тоном искать (и, разумеется, находить) изначальные «органические пороки» в политической системе нашего главного оппонента — США. Кстати, не избежал тогда этих обязательных поисков и автор рецензируемой книги.

Иные времена — иные песни. Мне уже приходилось встречаться с вопросом: почему их отцы-основатели были так приличны, а наши так нехороши? В самом деле, если в течение семидесяти лет, как нас постоянно убеждали, мы все время идем по ленинскому пути (пусть даже со всеми отклонениями и отступлениями), а в народе растет убеждение, что это путь в никуда, неизбежно возникают закономерные сомнения и в ленинизме и в Ленине. В пятый раз собираемся мы менять конституцию, а правового государства как не было, так и нет. А «у них» вот уже более двухсот лет действует (и, заметим, исправно) Конституция 1783 года, пусть даже и с 26 поправками (это за два-то столетия!). Я уж не говорю о жизненном уровне жутко эксплуатируемых трудящихся. Об этом лучше умолчать.

Можно сколько угодно утверждать, что такая постановка вопроса неправомерна, но ведь его поставила сама жизнь, и от этого никуда не уйти. Тем более от него не может уходить историк, исследующий политическую биографию крупного государственного деятеля, оказавшего влияние на развитие своей страны, а быть может, и на мировое развитие. Исторические деятели безусловно несут свою долю ответственности за то положение, в ко-

тором оказываются страны и народы. Они в ответе и за день сегодняшний (что, разумеется, ни в малейшей степени не снимает первостепенной ответственности с живущего поколения). Разве не безразветленно продолжающиеся у нас призывы к реанимации учения «вечно живого», принесшего столько горя и страданий миллионам, перекладывание вины за его несостоятельность на нерадивых последователей, а фактически — на поколения в жертву принесенного народа?

Не берусь пересказывать содержание книги В. Согрина, рекомендуя читателю самому познакомиться с ней. Ограничусь лишь кратким ответом на вопрос: какова роль Томаса Джефферсона в истории США и чем он остался памятен своему народу? Ну конечно же, прежде всего Декларацией независимости 4 июля 1776 года, положившей начало собственно американской национальной истории. Именно Джефферсон наделил американцев равными юридическими и политическими правами. К сожалению, просветитель-демократ не дождался отмены рабства, которое он клеймил как «отвратительную продажу тел и душ». Джефферсону Америка обязана прошедшей все испытания двухпартийной системой, гарантирующей общество от любых угроз как слева, так и справа и обеспечивающей мирные, реформистские способы разрешения острых противоречий. Джефферсон выработал механизм конституционного ограничения президентской власти. Как справедливо подчеркивает В. Согрин, наследие Джефферсона и за двести лет не превратилось в музейный экспонат, оно обнаружило гораздо большую жизнеспособность, нежели тысячи идей и доктрин, выдвигавшихся впоследствии вплоть

до наших дней. Самое главное — Джефферсон заложил основы правового государства в США, что и снискало ему благодарную память потомков.

Пример созидательной деятельности Джефферсона и других отцов-основателей убедительно показывает, что политические теории только тогда жизненны и плодотворны, когда они основаны не на утопиях, не на отвлеченных схемах или неких абстрактных «интересах трудящихся», а на уважении к каждой неповторимой человеческой личности и только через это — ко всей общности людей. Интересы личности и общества должны не противопоставляться, а дополнять друг друга. Это органическое единство не может быть нарушено без трагических последствий как для личности, так и для общества. Там, где попираются права человека, общество не может быть ни здоровым, ни тем более благополучным. Не оттого ли человеческие издержки от буржуазных революций в Англии, США или даже во Франции несоизмеримы с колоссальными жертвами революций социалистических, что последние отвергали права отдельной личности, включая само ее право на существование, и предпочитали оперировать такими понятиями, как «трудящиеся», «рабочий класс», «крестьянство», «буржуазия»... К чему это привело, известно: пострадали все, а обманутые трудящиеся — сильнее прочих.

Историческая ответственность политического деятеля перед своим народом — это, пожалуй, основная тема содержательной книги В. Согрина.

**Петр Черкасов,**  
*доктор исторических наук.*

# РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

\*

**ПОСЕВ** — общественно-политический журнал, орган Народно-Трудового Союза (НТС).

Первый номер еженедельника «Посев» вышел в лагере беженцев из России в селении Менхегоф близ города Касселя (Германия) 11 ноября 1945 г. тиражом 200 экз. В 1947 г. редакция «Посева» базировалась в Лимбурге, затем в 1952 г. обосновалась во Франкфурте-на-Майне, где и размещается в настоящее время.

Первым редактором «Посева» был Б.Б.Серафимов (Прянишников), в 1947 г. его сменил А. Светов. В дальнейшем журнал редактировали — А. Светланин (1958 — 1965), А. Артемов (1965 — 1967), Е. Романов (1968—1970), Л. Пар (1970 — 1974), Я. Трушнович (1974 — 1984), Е. Миркович (1984 — 1989). В настоящее время журнал выходит шесть раз в году и редактирует его А. М. Югов.

На протяжении более сорока пяти лет редакция журнала, отвергая учения о классовом характере истории, последовательно защищает принцип солидарности, идею служения будущей свободной от оков тоталитаризма России. Не предпринимая форм будущего государственного устройства России, НТС видит в ее оснований сочетание личных и гражданских свобод, осознание каждым своей доли ответственности за общее дело и за принимаемые решения. Детальное рассмотрение социальной доктрины российских солидаристов заслуживает серьезного обсуждения, но выходит за пределы нашего краткого обзора, в котором мы отметим лишь некоторые наиболее значительные материалы в журнале «Посев» (1990, № 1 — 6).

На обложке первого номера (1990) помещена фотография А.Д.Сахарова. В том же номере его памяти посвящена статья В.Поремского «Великий подвижник». Рассматривая многогранную деятельность А.Д., оценивая все его «общечеловеческие заслуги», автор приходит к выводу, что линию поведения Сахарова определяло чисто религиозное отношение к жизни. «Россия знает таких людей и издревле называла их страстотерпцами и подвижниками», — пишет в заключении статьи В. Поремский. Под заголовком «Несгибаемый противник тоталитаризма» опубликован в том же первом номере ретроспективный обзор статей в журнале «Посев», посвященных А. Д. с 1968 по 1984 г. «Мы публиковали статьи и заявления академика Сахарова, — отмечается в обзоре, — все долгие годы, когда советская пресса трусливо молчала, а то и хуже — поливала покойного академика грязью. В течение почти двадцати лет (1968 — 1986) советские газеты миллионными

тиражами стряпали по адресу Сахарова грязные, лживые статьи и фельетоны, организовывали «возмущенные» письма пастухов и академиков. И ведь ни один орган того или иного ЦК, встав на путь гласности (?), так и не извинился перед А. Д. Сахаровым».

Свящ. Павел Адельгейм рассматривает сложную проблему взаимоотношений Церкви и атеистического государства в наши дни и «анализирует опыт и перспективы возвращения и восстановления храмов в конкретных условиях советской действительности» («Тупики нашего возрождения», № 2). Псковский священник приходит к выводу, что «без сотрудничества и без содействия со стороны государства разговор о восстановлении храмов останется беспредметным, а дело, имеющее несомненное значение для нашего культурного и нравственного возрождения, зайдет в тупик». В статье «Обнадеживающие перемены» (№ 4) Е. Миркович касается наметившихся перемен в отношениях между Церковью и государством и выражает осторожную надежду, что «искус лжегосударственности», «государствопоклонство», определявшее долгие годы церковно-государственные отношения, может быть преодолено на пути возвращения к соборному управлению и внешней автономии Церкви. За подписью Б.П. в № 6 помещен некролог о Кирилле Фотиева — руководителя религиозных программ «Радио Свобода» и редактора катехизиса «Жив Бог» (1988), скончавшегося 28 августа 1990 г. в Мюнхене. В ретроспективном обзоре (№ 6) приведены выдержки из статей о Кирилле Фотиева в журнале «Посев» за разные годы.

Многолетний узник брежневско-андроповских лагерей писатель Леонид Бородин в мае 1990 г. побывал в США. В Нью-Йорке состоялась встреча Л.Бородина с представителями русской эмиграции. Запись беседы с писателем напечатана в № 4 журнала. Л. Бородин рассказал об ушедших — о Ю. Галанскове, В. Стусе, Ю. Литвине, с кем он встретился за колючей проволокой, — о начале своего литературного пути, изложил свою концепцию национального возрождения России. Конфликт между писателями В. Максимовым и Г.Владимовым и издательством «Посев», опубликовавшим в 70 — 80-е гг. книги обоих писателей, разбирает редактор самиздательской газеты «Обзор» Михаил Лапыгин (№ 4).

Десятилетиями советская историческая наука руководствовалась постулатом историка-марксиста М.Н.Покровского: «история — это политика, опрокинутая в прошлое». «Из-за такого подхода советская история утратила научную ценность, приняла характер трагико-



мического чтива, переполнила спецхран противоречивыми изысканиями, а теперь даже изъята из комплекса школьных знаний, так что выпускники больше не в состоянии судить, какие исторические деятели были «прогрессивными для того времени», а какие «тормозили развитие»... В таком трагикомическом положении оказался и другой школьный предмет — география, — замечает автор статьи «Политика, опрокинутая в географию» А. Артемов (№ 1). «Бесконечные переименования привели к хаосу, вызвали и вызывают непомерные и бессмысленные расходы, к тому же полны юмористики и абсурдов. А. Артемов приводит много примеров новых наименований и переименований городов и мест рождения юбиляров в советский период истории и заключает свою мысль, высказывая предположение, что «самой острой проблемой оказывается наименование «творения Петрова»... Можно надеяться, что скоро октябрьско-ноябрьский холод мертвого ленинского имени перестанет омрачать главный порт страны, парадный вход отчего дома».

В разделе «Страницы истории» необходимо выделить чрезвычайно ценную статью Н. Рутыча «К 50-летию советско-финской войны» (№ 2). «Эту войну клика Сталина развязала таким же преступно-блатным способом, как клика Брежнева через сорок лет развязала позорную войну в Афганистане», — подчеркивает Н. Рутыч. Автор оценивает силы противоборствующих сторон, указывает на огромное превосходство советской военной машины и попутно уделяет внимание некоторым аспектам пропагандистской кампании, развернувшейся в СССР с началом военных действий. Войну принято было рассматривать как освободительную борьбу народных масс Финляндии, и в связи с этим обстоятельством Н. Рутыч отмечает: «Главное Политическое Управление РККА под руководством Мехлиса тут же мобилизовало многих писателей на поддержку этой лживой схемы. Например, в своих репортажах Сурков пишет: „...однажды отряд белофиннов напал на батарею“, „Наглые белофинны приблизились...“ и т. д. У Вс. Вишневского все только „белофинское“, в том числе и „белофинские залпы“. „Белофинны“ не сходят со страниц рассказа Н. Тихонова „Комбриг Вещев“, и

даже в стихах А. Твардовского „Мать героя“ — „Белых целую ораву разгромил ваш сын-герой“».

Писателей вынуждали писать «белофинны», как двадцать лет назад писали «белополяки» или «белогвардейцы». Этим подчеркивалось, что дело идет не о вторжении в Финляндию, а о «справедливой», «освободительной» войне, и даже не о войне, а о действиях против «белых банд».

Н. Рутыч приводит наиболее вероятные данные о потерях Красной Армии в ходе военных операций и называет цифру — 200 тысяч убитых. (Ту же цифру — примерно 200 тысяч убитых и умерших от ран — находим и в статье Б. Соколова «Зимняя война. Цена потерь». — «Московские новости», 1989, № 49.) Особого внимания заслуживает и сообщение Н. Рутыча о судьбе пленных красноармейцев, возвращенных финнами советской стороне после перемирия. «О судьбе этих пленных вот уже 50 лет ничего не известно. Не встречал их и никто из выживших и оставивших свои воспоминания заключенных сталинских лагерей...» Глухое молчание советских историков дает все основания предполагать, что около 5,5 тысячи пленных красноармейцев (Н. Р. здесь ссылается на данные, приводимые Алланом Чью в книге «Белая смерть») были расстреляны органами НКВД где-то между Петрозаводском и Кандалакшей, и, таким образом, заключает Н. Рутыч, можно «обратиться... к поискам этой еще одной Катюши».

Хотелось бы отметить еще некоторые заслуживающие внимания публикации: например, статью Р. Редлиха «О парламентаризме» (№ 4), серию статей Я. Трушновича по истории НТС (№ 1 — 6), а также материалы «круглого стола», посвященного обсуждению брошюры А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию?» (№ 6).

На протяжении многих лет журнал «Посев» постоянно находился в поле зрения КГБ, неукомительно изымался на обысках и всегда фигурировал в судебных приговорах по ст. 70 и 190-1 УК РСФСР, но сейчас издательство «Терра» в Москве наладило выпуск журнала «Посев», идентичный по содержанию франкфуртскому изданию. Первые номера «Посева» за 1991 г. уже появились в продаже.

А. Н. Богословский.

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1990 — 1991 ГОДЫ

\*

1990

## РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Сол Беллоу. Лови момент. Повесть. Перевела с английского Е. Суриц. Предисловие А. Мулярчика. IV — 123.

Василь Быков. Облава. Повесть. Авторизованный перевод с белорусского Валентина Тараса. I — 97.

Андрей Волос. Рассказы. VI — 140.

Зуфар Гареев. Каникулы. Рассказ. VIII — 109.

Юрий Домбровский. Ручка, ножка, огурчик... Рассказ. Публикация К. Ф. Домбровской-Турумовой. I — 142.

Иван Евсеенко. Петушинные Дворики. Повесть. V — 111.

Борис Екимов. «Пресвятая дева-богородица...». Рассказ. VII — 93.

Ирина Емельянова. Дочери света. III — 130.

Руслан Киреев. Играем в снежки среди ночи. Поздняя проза. VI — 119.

Владимир Крушин. Два рассказа. II — 91.

Михаил Кураев. Маленькая домашняя тайна. Из семейной хроник. III — 9.

Григорий Медведев. След инверсии. Рассказ. III — 122.

Я. Петрушевская. Песни восточных славян. VIII — 7.

Валентин Попов. Боря-боец. Рассказ. I — 152.

Вячеслав Пьещух. Анамнез и Эпикриз. Рассказ. IV — 5.

Александр Солженицын. В круге первом. Роман. I — 5; II — 6; III — 31; IV — 23; V — 6. — Раковый корпус. Повесть. VI — 4; VII — 7; VIII — 21.

Алан Черчесов. И будет лето... Рассказ. III — 142.

## СТИХИ И ПОЭМЫ

Сергей Аверинцев. Благовещение. III — 3.

Вадим Антонов. Гадюки. VII — 113.

Эдуард Балашов. Два стихотворения. VI — 117.

Валентин Берестов. Минутный заслон. I — 141.

В. Брайнин-Пассек. Ледяной смычок. IV — 21.

Татьяна Ефименко. И тень летит за тенью.

Ирина Гитович — Необходимы уточнения. VI — 172.

Леонид Завальнюк. Им даже уроки смерти не впрок. II — 3.

Натан Злотников. Жребий. VII — 90.

Юрий Карабчиевский. Кто ближе в этот миг. VI — 118.

Нина Краснова. Встретились два мужика... II — 5.

Юрий Кублановский. Потаенный лик. II — 106.

Инна Лиснянская. Земные дети. VI — 138.

Леонид Мартынов. Два стихотворения. Публикация Г. Суховой-Мартыновой. III — 140.

Лариса Миллер. Окнами на волю. VIII — 19.

Сергей Надеев. Кроны и небеса. VIII — 108.

На подвиги обречены: Борис Тедерс, Николай Зусик, Михаил Тимошечкин.

Предисловие Николая Старшинова. V — 3.

Олеся Николаева. Семейный праздник. I — 3.

Осенний поезд: Дмитрий Щедровицкий, Аркадий Пресман, Лев Котюков, Владимир Леонович. VIII — 3.

Михаил Поздняев. Дитя человеческое. VII — 4.

Александр Ревич. Дом на Плющихе. III — 119.

Евгений Рейн. Ночной дозор. I — 95.

Давид Самойлов. Я вырос в железной скворешне... VI — 3.

Ян Сатуновский. Мирумгород. Вступительное слово и публикация Владимира Глоцера. II — 108.

Ольга Седакова. Потому что все мы были. V — 161.

Лев Смирнов. Вода из колодца. V — 109.

Владимир Соколов. «Когда я был слаб и затерт...». VII — 3.

Лариса Сушкова. Подарки. VII — 92.

Леон Тоом. Три стихотворения. Публикация А. Тоома. II — 89.

Юрий Уваров. Трамвайное кольцо. IV — 3.

Олег Хлебников. Шаги из круга. IV — 122.

Иван Шепета. Неизвестные поэты. IV — 121.

Владимир Шировский. Стихи разных лет. Публикация А. Доррер. I — 164.

**Андрей Дмитриевич Сахаров.** I — 271.

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Наталья Вовси-Михоэлс. Мой отец — Солонмон Михоэлс. Воспоминания о жизни и гибели. III — 226.

М. С. Волошина. Записи военных лет. Публикация, примечания и послесловие Вл. Купченко. V — 200.

А. Кондратович. Последний год. Из «Новомирского дневника». Публикация В. А. Кондратович. II — 195.

Корней Чуковский. Дневник. Вступительное слово Мирона Петровского. Подготовка тек-

ста, публикация и комментарии Елены Чуковской. VII — 140; VIII — 124.

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Андрей Битов. Записки из-за угла. II — 142.  
С. Залыгин. Год Солженицына. I — 233.—  
О Твардовском. VI — 188.

### ПУБЛИЦИСТИКА

А. Авторханов. X съезд и осадное положение в партии. III — 193.

И. Базилев, П. Эмерсон. Консенсус. III — 217.

Б. Д. Бруцкус. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта. Ю. Голанд — Перечитывая работу Б. Бруцкуса. VIII — 174.

М. Восленский. Номенклатура. Фрагменты книги. VI — 205.

Виктор Данилов-Данильян. Новые опасности экономического романтизма. V — 184.

Алексей Кива. Кризис «жанра». III — 206.

Лев Симкин. Правосудие и власть. VII — 178.

Александр Ципко. Хороши ли наши принципы? Предисловие С. Залыгина. IV — 173.

Виктор Ярошенко. Партии интересов. II — 113.

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

П. Пэнэжко. Поездка в Загорье. Земельный вопрос на хуторе и в его окрестностях. VI — 194.

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Иван Елагин. Нет в мире ничего обыкновенней. Последние стихи. Публикация И. Матвеевой-Елагиной. Подготовил текст Е. Випковского. *Валентина Синкевич* — Последние дни Ивана Елагина. III — 187.

«Жили, собственно, Россией...». Из наследия Юрия Казакова. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания Т. Судник и И. Кузьмичева. VII — 114.

В. Г. Короленко. Земли! Земли! Мысли, воспоминания, картины. Публикация и комментарии П. И. Негретова. I — 168.

Елизавета Кузьмина-Караваева. Убери меня с твоей земли. Вступительное слово и подготовка текстов М. Ю. Рошина. V — 178.

Георгий Оболдуев. Устойчивое неравенство. Стихи. Публикация и предисловие Владимира Глоцера. VIII — 116.

Борис Пастернак: неизвестная проза. Публикация, вступление, послесловие и примечания М. А. Рапковской. V — 165.

А. Твардовский. Наброски и черновики. Вступительное слово, публикация и примечания М. И. Твардовской. VI — 178.

Владислав Ходасевич. Статьи. Записная книжка. Составление и подготовка текста статей С. Г. Бочарова и И. П. Хабарова. Примечания к статьям С. Г. Бочарова. Публикация архивного материала и комментарии к нему С. И. Богатыревой. III — 160.

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«Высокий стойкий дух». Переписка Бориса Пастернака и Марии Юдиной. Публикация Е. Б. Пастернака, А. М. Кузнецова. Вступительная статья Е. Б. Пастернака. Примечания А. М. Кузнецова. II — 166.— Евгений

Пастернак. Нобелевская премия Бориса Пастернака. II — 191.

Д. Медриш. После выстрела. Пушкин: «Песня о Георгии Черном». VI — 231.

### Из истории русской общественной мысли

Н. А. Бердяев. Судьба человека в современном мире. Статьи, письма. Составление, вступительная статья, публикация архивных материалов и комментариев Р. А. Гальцевой. I — 207.

«Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. Подготовка текста К. Н. Суворовой. Вступительная заметка, составление и примечания В. А. Черных. V — 219.

Е. Н. Трубецкой. О христианском отношении к современным событиям. Статьи. Письма. Составление, вступительная статья, публикация архивных материалов и примечания Александра Носова. VII — 195.

С. Л. Франк. По ту сторону «правого» и «левого». Статьи по социальной философии. Составление, вступительная статья и комментарии А. Казакова. IV — 205.

### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Григорий Резниченко. И стакана чистой воды не прибавилось... I — 201.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Битов. Оdnоклассники. К 90-летию О. В. Волкова и В. В. Набокова. V — 224.

Симона Вейль. «Илиада», или Поэма о силе. Перевели с французского Кэтрин Темерсон и Александр Суконик. Вступительное слово С. Аверинцева. Послесловие Александра Суконика. VI — 249.

Галина Гордеева. Свободная тайна, или Давай улетим. VII — 230.

С. Джимбинов. Эпитафия спецхрану?.. V — 243.

Евгений Добренко. Фундаментальный лексикон. Литература позднего сталинизма. II — 237.

В. Камянов. Спор о прошлом после штурма будущего. VIII — 215.

Сергей Костырко. Подводные камни свободы. III — 249.

Алла Латынина. Солженицын и мы. I — 241.

Ксения Мяло. Посвящение в небытие. VIII — 229.

Е. Тамарченко. Идея правды в «Тихом Доне». VI — 237.

Мариятта Чудакова. Сквозь звезды к терниям. Смена литературных циклов. IV — 242.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

#### Литература и искусство

Александр Агеев. Скепсис и надежда Леонида Добычина (Леонид Добычин. Город Эн. Рассказы). VII — 240.

О. Алякринский. «...исполнены всякой неправды» (Кэтрин Энн Портер. Корабль дураков. Роман). II — 253.

Глеб Анищенко. Деревянный Христос и эпоха голых годов (Бор. Пильняк. Красное дерево. Повесть). VIII — 243.

Андрей Василевский. Опыты занимательной футуро(эсхаго)логии. II (Михаил Велдер. Нежелательный вариант. Милая пьеска. Александр Кабаков. Невозвращенец. Киноповесть. Елизавета Куциня. «...ун неаткаригу!»). Владимир Малягин. В Большом кольце. Драма-эпизод. V — 258.

Ирина Васюченко. Арлекин против Кошера (Сигизмунд Кржижановский. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного). VI — 264.

И. Винокурова. Жестокая, милая жизнь (Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Николай Гумилев. Стихи. Поэмы. Н. Гумилев. Стихи. Письма о русской поэзии). V — 253.

М. Злобина. «...и остаться самим собой»? (М. Пришвин. 1930 год. М. Пришвин. 1931 — 1932 годы). VIII — 248.

Ю. Кублановский. Аналитическая исповедь Лидии Гинзбург (Лидия Гинзбург. Литература в поисках реальности. Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом). VII — 243.

А. Нежный. Современный паломник (Борис Дедюхин. Сердца сокрушенные. Рассказы из жизни современных монастырей). VI — 261.

М. Новикова. Зачем нам история? (Вячеслав Пьесух. Роммаг /романтический материализм/). II — 251.

А. Рагчин. Национальный космос и личная мифология (Георгий Гачев. Национальные образы мира. Георгий Гачев. Воспоминание об отцах. Документальное повествование. Георгий Гачев. Жизнемысли). II — 257.

А. Чудаков. «В России надо жить долго» (В. Каверин. Эпизод. Мемуары). VII — 246.

### Политика и наука

Л. Аннинский. Лик матери (Доднесь тяготест. Выпуск 1. Записки вашей современницы). VIII — 256.

Н. Бросова, Л. Лисюткина. Реабилитация здравого смысла (50/50. Опыт словаря нового мышления). VI — 267.

Андрей Василевский. Разорение. III (И. А. Бунин. Окаянные дни. И. А. Бунин. Гегель, фрак, метель. Иван Бунин. Окаянные дни. Фрагменты («Даугава»). Иван Бунин. Окаянные дни. Фрагменты («Слово»). Иван Бунин. Окаянные дни. Дневник писателя 1918 — 1919 годов). II — 264.

Вс. Вильчек. За гребнем успеха (Постижение. Социология. Социальная политика. Экономическая реформа). III — 258.

Александр Доброходов. Ряд мозаичный и прерывистый... (Московский университет в воспоминаниях современников/1755 — 1917/). VII — 249.

Виктор Леглер. Ненавязчивая мудрость (Эрик Берн. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотноше-

ний). Люди, которые играют в игры (Психология человеческой судьбы). Сирил Норткот Паркинсон. Законы Паркинсона. Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить). IV — 263.

Алексей Руткевич. Мятельный век одной теории (Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции). I — 259. — Имперский век (Александр Кравчук. Нерон. Исторический роман). V — 262.

Д. Фельдман. Преступление и... оправдание (Красная книга ВЧК. Издание 2-е, уточненное). VIII — 252.

Петр Черкасов. «Ленин или Корнилов?» (Г. З. Иоффе. «Белое дело». Генерал Корнилов). II — 260.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Александр Бабореко. Осенняя клюква. I — 263.

Ю. А. Израэль. Письмо в редакцию. VII — 265.

Л. Лебединский. О некоторых музыкальных цитатах в произведениях Д. Шостаковича. III — 262.

Р. Е. Майборода. Стоит ли Откровение подкреплять научными доводами? VII — 257.

Г. У. Медведев. Дозы правды и совести. VII — 266.

М. Петров. В дополнение к «делу Н. С. Гумилева». V — 264.

Г. Померанц. Мнимые загадки. IV — 266.

В. Свищов. Партияна ли философия? VIII — 261.

Ю. Чайковский. Крайности сходятся. VII — 253.

Ю. Шрейдер. Неправомерная альтернатива. VII — 259.

### КОРОТКО О КНИГАХ

Ст. Рассадин.— Григорий Канович. Козленок за два гроша. Роман. С. Воловец.— Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма. I — 269.

Г. Асланова.— Е. А. Маймин. Афанасий Афанасьевич Фет. Книга для учащихся. Ив. Толстой.— Владислав Ходасевич. Стихотворения. В. Вахрушев.— Уильям Мейкпис Теккерей. Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. И. Мочалов.— П. Л. Капица. Письма о науке. 1930 — 1980. С. Кормилов.— Юрий Прокушев. И неподкупный голос мой... Поэты России. II — 268.

Михаил Золотоносов.— Ленинградская панорама. Литературно-критический сборник. Елизавета Пастернак.— Французская элегия XVIII — XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. Арсен Зинченко.— О Станиславе Косиоре. Воспоминания, очерки, статьи. Яков Кротов.— Н. А. Бердяев. Эрос и личность. Философия пола и любви. И. Зорич.— Г. И. Катышев, В. Р. Михеев. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. III — 268.

Андрей Василевский.— Вавилонская башня и другие древние легенды. Под общей редакцией Корнея Чуковского. Библейские легенды в пересказе Михаила Бартенева. IV — 271.

Д. Фельдман.— Борис Костюковский, Семен Табачников. Время не властно. Повесть о Дмитрии Курском. С. Субботин.— Воспоминания о Павле Васильеве. Татьяна Бек.— Александр Зорин. Вверх по водопаду. Книга стихотворений. Александр Зорин. Гнездо. Стихи. Илья Фоянков.— Наталья Астафьева. Заветы. Книга стихов. Юрий В. Давыдов.— Радий Фиш. Спящие пробудятся. Исторический роман. Л. Загаляскай.— В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни. V — 267.

В. Вахрушев.— Джеймс Джойс. Улисс. Роман. VI — 271.

Сергей Костырко.— Маро Маркарян. Из огня любви и печали. Книга стихов. Илья Фоянков.— Молодая поэзия 89. Стихи, статьи, тексты; Порыв. Новые имена. Сборник стихов. А. Иглицкий.— Ю. В. Емельянов. Заметки о Бухарине. Революция, история, личность. VII — 268.

Андрей Василевский.— Константин Воробьев. Заметки сердца. Из архива писателя. М. Кучерская.— Я. Харон. Злые песни Гийома дю Вентре (Прозаический комментарий к поэтической биографии). VIII — 270.

К подписчикам «Нового мира» 1990 года. VII — 271.

Книжные новинки. I — VIII — 272.

## 1991

Сергей Залыгин. Литература и природа. I — 10.  
Д. С. Лихачев. Русская культура в современном мире. I — 3.

Александр Солженицын. На возврате дыхания и сознания. Раскаianie и самоограничение. Образованщина. V — 3.

### РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Леонид Бежин. Калоши счастья. Записки случайного философа. XI — 5.

Василий Белов. Год великого перелома. Хроника девяти месяцев. III — 4; IV — 91.

Андрей Бычков. Наши за границей. Рассказ. II — 105.

Афанасий Герасимов. Повесть о дубчесских скитах. Предисловие и комментарии Н. Н. Покровского. IX — 91.

Год памяти: 1910 — 1990.  
Л. Н. Толстой. Из неопубликованного: «*Война и мир*». Новая глава. Публикация и комментарий Н. П. Великановой; /*Искания истинной веры*/. Публикация и комментарий Т. Г. Никифоровой; *Письма Л. Н. Толстого в копировальных книгах*. Публикация и комментарий Л. В. Гладковой; *Вопросы Л. Н. Толстого духобору*. Публикация и комментарий О. А. Голинженко; *А. Л. Толстая — Письмо к А. И. Толстой-Поповой и П. С. Попову*. Публикация и комментарий Н. А. Калининой. VII — 3.

Олег Ждан. Впотьмах. Провинциальные рассказы. X — 9.

Сергей Залыгин. Новости экономики. Рассказ. VII — 29.

Сергей Каледин. Поп и работник. Сцены пригородского быта. XI — 87.

Евгения Киселева. Кишмарева, Киселева, Тюричева. Публикация и послесловие Елены Ольшанской. Вступление Олега Чухонцева. II — 9.

П. Краснов. Рубаха. Белье. XII — 157.

Анатолий Кривошосов. Я человек исторический. Повесть. V — 50; VI — 21.

Владимир Лобас. Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста. I — 81; II — 110; III — 82.

Владимир Маканин. Там была пара... Рассказ; Лаз. Повесть. V — 83. — Сюр в пролетарском районе. Рассказы. IX — 111.

Владимир Микушевич. Звездозвук. V — 145.  
Марина Палей. Кабирия с Обводного канала. Повесть. III — 47.

Валерий Пискунов. Чью душу желаете? Повесть. IV — 4.

Андрей Платонов. Счастливая Москва. Роман. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментарий Н. В. Корниенко. Послесловие Сергея Залыгина. IX — 9.

Н. Покровский. За страницей «Архипелага ГУЛАГ». IX — 77.

Феликс Светов. Отверзи ми двери. Роман. X — 48; XI — 148; XII — 89.

Георгий Семенов. Путешествие души. Повесть. I — 19; II — 28.

Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. VI — 6; VII — 65; VIII — 5; XI — 119; XII — 5.

Виктория Токарева. Я есть. Ты есть. Он есть. Рассказ. IX — 129.

Борис Филиппов. Три рассказа. XII — 81.

Владимир Янинский. Капуста. IX — 152.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

Мария Авакумова. Балтийские медитации. X — 5.

Владимир Адмони. Ночные встречи. XII — 77.

А мы виновны без вины: Русские югославские поэты — Екатерина Таубер, Илья Голенщев-Кутузов, Алексей Дураков, Лидия Алексеева. Подготовка текстов и вступительное слово Галины Долматовой. IX — 156.

Геннадий Беззубов. Далеко лететь отсюда... V — 47.

Магдалина Вериго. Воронка мальстрема. Стихи. Проза. Предисловие М. Чудаковой, М. Левина. V — 134.

Сергей Гандлевский. Отгоревать и не проклясть. IX — 104.

Николай Година. Шесть соток свободы. VII — 161.

Ольга Гречко. Мне на плечи садились бабочки. XI — 3.

Владимир Еременко. Белый свет. X — 3.

Ольга Ермолаева. Шаликово. VII — 27.

Заводь: Сергей Пахомов, Федор Сухов, Юрий Беличенко. IV — 89.

Александр Зорин. Прощание. XI — 147.

Из современной американской поэзии: Маргарет Баррингер, Ричард Уилбер, Джон Эшберя. Перевели Галина Нерпина, Евгений Храмов, Андрей Вознесенский, Виктор Топоров, Александр Ткаченко. VIII — 127.

И наклонился кругом сад: Вячеслав Салий, Игорь Тарасевич, Александр Сорочкин, Даниил Гориневский. IX — 6.

Бахыт Кенжеев. Время действия. IX — 3.

Тимур Кибиров. Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации. IX — 107.

Владимир Костров. Мы ведь друг друга пока не любили. VII — 61.

Юрий Крыжановский. Один из многих. I — 79.

Юрий Кублановский. Памяти алапаевских узников. VIII — 125.

Александр Кушнер. Четыре стихотворения. VI — 119.

Лев Лосев. Из новых стихов. XII — 153.

Валентин Лукьянов. Где нить судьбы моей искрится. VII — 159.

Иван Макаров. Эхо. II — 104.

Александр Межиров. Из книги «День благодарения». II — 4.

Арво Метс. Осколки времени. IX — 110.

Чеслав Милош. Стихи разных лет. Перевел с польского Владимир Британицкий. II — 147.

Зинаида Миркина. В молчанье. X — 128.

Арсений Несмелов. В этот день. Подготовка текстов и предисловие Бориса Можая. IV — 135.

Ольга Николаева. Из твоих рук. III — 45.

Надежда Полякова. Надпись. VI — 117.

Ольга Постникова. Понтийская соль. XII — 3.

Евгений Рейн. Бушует черноморский вал. XI — 117.

Алексей Решетов. Иная речь. V — 82.

Игорь Селзнев. Потапов и другие. X — 46.

Борис Сиротин. Святой Кирилл. I — 18.

Нонна Слепакова. Пружина. VI — 4.

Геннадий Ступин. Холм. II — 102.

Дмитрий Сухарев. Да здравствуют музы, начальники! VIII — 3.

Лев Таран. Обыкновенная жизнь. X — 44.

Марина Тарасова. Се пустыня, как белая скатерть... II — 3.

Сергей Таск. Изогнуло, как подкову, горизонт... IV — 3.

Вадим Фадин. Бывало, люди отмечали даты... V — 49.

Илья Фоняков. Сегодня. VI — 173.

Моисей Цетлин. Сверстница времени. IV — 87.

Игорь Чиннов. Заморские земли. XII — 79.

Георг Эмин. К тебе из тьмы. Перевел с армянского Владимир Леонович. VI — 3.

Федор Ярцев. Солдаты-призраки. III — 3.

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Дама в зеленом: Уолтер Рэли, Томас Уайетт, Джон Дони, неизвестный автор. Из поэзии английского Возрождения. Вступительное слово и перевод Григория Кружкова. IV — 147.

Ибо знаю надежду. Кумранские гимны. Перевод с древнееврейского, вступительное слово и комментарии Д. Щедровицкого. I — 122.

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. Глаголев. За други своя. Публикация, подготовка текста, примечания и предисловие П. Проценко. X — 130.

Иван Твардовский. «У нас нет пленных». Страницы пережитого. X — 140.

Корней Чуковский. Дневник. Окончание. Подготовка текста, публикация и комментарий Елены Чуковской. V — 160.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Иосиф Бродский. О Марине Цветаевой. II — 151.

Сергей Зальгин. Трифонов, Шукшин и мы. XI — 221.

Иван Соколов-Микитов. Из карачаровских записей. Публикация, предисловие и комментарий Глеба Горышвина. XII — 164.

Александр Солженицын. ...Колелет твой треножник. V — 148.

## ПУБЛИЦИСТИКА

А. Авторханов. Ленин в судьбах России. Главы из книги. I — 165.

Звезда Полян. 1986 — 1991: Г. Шаширин. Чернобыльская трагедия; А. Воробьев. Чернобыльская катастрофа пять лет спустя. IX — 164.

Виктор Леглер. Уроки кооперации. IV — 163.

«Насилие — не рычаг истории...». I — 159.

Ю. Степанчук. В ожидании чуда. Наше развитие — в японских координатах. II — 181.

Ф. А. Хайек. Дорога к рабству. Перевела с английского Н. Ставиская. VII — 177; VIII — 181.

Александр Шмелев. Открытое общество и конкуренция. II — 200.

Ю. Шрейдер. Синдром освобождения. XI — 231.

Владимир Шубкин. Грустная правда. VI — 174.

Виктор Ярошенко. Энергия распада. Очерки политических обстоятельств 1989 — 1990 годов. III — 173.

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

П. Пэнэжко. На семи оврагах. IV — 154.

## НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Михаил Берг. Через Лету и обратно. XII — 179.

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Борис Божнев. Из книги «Борьба за несуществование». Стихи. XI — 219.

Михаил Зенкевич. Невидимая свирель. Стихи. Публикация и подготовка текста С. Е. Зенкевича. III — 134.

Л. Пантелеев. Я верую. Главы из автобиографической книги. Публикация и предисловие Владимира Глоцера. VIII — 132.

Андрей Платонов. Из неопубликованного. Рассказ. Сценарий. Наброски. Записи. Публикация и составление М. А. Платоновой. Вступительная статья, подготовка текста и комментарий Н. В. Корниенко. I — 130.

Борис Слудский. Я прорвусь и уйду. Стихи. Публикация Ю. Болдырева. I — 156.

Марина Цветаева. Кедр. Апология. Публикация и послесловие Л. М. Турчинского. VII — 162.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Авторханов. Загадка смерти Сталина. Главы из книги. V — 194.

М. Восленский. Феодалный социализм. Место номенклатуры в истории. IX — 184.

Из архива Зинаиды Шаховской. VII — 231.

Н. Лебедева. Катынские голоса. II — 208.

Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона, 1909 — 1918. Вступительная статья, публикация и комментарий В. Проскуриной. III — 215.

И. Сурат. О «Памятнике». X — 193.

*К 120-летию со дня рождения И. А. Бунина*

Вопреки недешевым вымыслам... Письмо И. А. Бунина в редакцию «Октября». Вступительная заметка и публикация Д. Г. Санникова. VI — 240.

*Из истории русской общественной мысли*

И. А. Ильин. О сопротивлении злу. Вступительная статья и составление Б. Н. Любимова. X — 197.

П. И. Новгородцев. На путях к правовому государству. Составление, вступительная статья и комментарий А. В. Соболева. Г. В. Флоровский — Памяти П. И. Новгородцева. XII — 202.

Полюса евразийства: Л. П. Карсавин. Государство и кризис демократии. Перевели с литовского Г. Мажейкис и И. Савкин; Георгий Флоровский. Евразийский соблазн. Составление А. В. Соболева и И. А. Савкина. Вступительная статья А. В. Соболева. Комментарий Г. Мажейкиса, И. А. Савкина, А. В. Соболева. I — 180.

Ф. А. Степуш. Мысли о России. Вступительная статья и составление Вадима Борисова. Письмо к О. А. Шор. Публикация и комментарий Д. В. Иванова и А. Б. Шнишкина. VI — 201.

П. Б. Струве. За свободу и величие России. Вступительная статья, составление, публикация архивных материалов и комментарий Н. А. Струве. IV — 213.

## РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Анна Вичини. Центр исследований «Христианская Россия». Перевела с итальянского Т. Д. Вентцель. II — 223.

Антоний, митрополит Суражский. Без записок. Примечания и подготовка текста Е. Майданович. Предисловие С. Аверинцева. I — 212.

Сергей Фудель. Воспоминания. Публикация и подготовка текста Н. Плотникова. Предисловие Владимира Воробьева. Комментарий В. Борисова. III — 188; IV — 182.

## В МИРЕ ИСКУССТВА

Борис Любимов. «Большевики» уходят со сцены? Заметки о театральном репертуаре. IV — 233.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Архангельский. Между свободой и равенством. Общественное сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника»: 1986 — 1990. II — 225.

П. Вайль, А. Генис. Страна слов. IV — 239.

В. Камянов. В тесноте и обиде, или «Новый человек» на земле и под землей. XII — 219.

Наум Лейдерман, Марк Липовецкий. Между хаосом и космосом. Рассказ в контексте времени. VII — 240.

Елена Невзгядова. Несвоевременные мысли о поэзии. X — 225.

Андрей Немзер. Конец прекрасной эпохи. Заметки на полях книги о критике и критиках. V — 241. — Сила и бессилие соблазна. IX — 202.

В. Непомнящий. Номо libet (Юрий Домбровский). V — 234.

Вл. Новиков. Освобождение классики. III — 243.

Марина Новикова. Христос, Велес — и Пилат. «Неохристианские» и «неоязыческие» мотивы в современной отечественной культуре. VI — 242.

Ответные размышления: Павел Чеботарев — О поэте и политизированном сознании; Эдуард Стеценко — В чем же противоречие; Валерий Большаков — Еще о «массовой культуре»; Ольга Николаева — Антикатарсис. VIII — 248.

Владимир Потапов. Схватка с левиафаном. Литература в кругу идеологий. I — 231.

Борис Тарасов. Вечное предостережение. «Бесы» и современность. VIII — 234.

Евгений Храмов. Представление окончено. X — 235.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство*

Аида Абушвили. Станный жанр (Григол Робакидзе. Убиенная душа. Роман). IX — 243.

Сергей Аверинцев. «Были очи острее точимой косы...» (Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. Надежда Мандельштам. Вторая книга). I — 236.

Александр Агеев. Приручение абсурда (Славомир Мрожек. Сатирические рассказы и пьесы). VII — 261.

Л. Аннинский. «Как выбрать мед тоски из сатанинских сот?» (Борис Чичибабин. Колокол. Борис Чичибабин. Мои шестидесятые. Стихотворения). VI — 255.

Юрий Архипов. По ту сторону явного (Густав Майринк. Голем. Вальдургиева

ночь. Густав Мейринк. Голем. Роман). IX — 224.

Галина Гордеева. Собеседница и наследница (Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери). II — 246.

Игорь Дедков. Осенней порой 41-го года (Владимир Корнилов. Девочки и дамочки. Повесть). VII — 258.

Игорь Золотуский. Трапеза любви («Размышления о Божественной Литургии» Н. В. Гоголя; Н. В. Гоголь. Размышления о божественной литургии). IX — 221.

Вячеслав В. Иванов. У истоков русского футуризма (Бenedикт Лившиц. Полуторглазый стрелец). VI — 262.

Сергей Костырко. Выжить, чтобы жить (Н. Берберова. Железная женщина. Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и о ее друзьях. Н. Берберова. Курсив мой. Главы из книги. Н. Берберова. Курсив мой (Автобиография). Нина Берберова. Аккомпаниаторша. Повесть). IX — 216.

Юрий Кублановский. Поэзия нового измерения (Иосиф Бродский. Осенний крик ястреба. Стихотворения 1962 — 1989 годов. Иосиф Бродский. Часть речи. Избранные стихи 1962 — 1988). II — 242.

Марк Липовецкий. Поэтика без компромиссов (Александр Иванченко. Автопортрет с догом. Роман, повести. Александр Иванченко. Путь Шестого патриарха). XI — 249.

Андрей Немзер. Странная вещь, непонятная вещь (Василий Аксенов. Ожог. Василий Аксенов. Остров Крым. Роман). XI — 243.

В. Непомнящий. Вне суеты (Музыкальный мир Георгия Свиридова). II — 250.

Ольга Николаева. «...без бытия» (Елена Шварц. Стихи. Елена Шварц. Исторические стихи). X — 244.

Александр Носов. Эпилог исторической драмы (Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Андрей Белый. Начало века. Андрей Белый. Между двух революций). IV — 252.

Мирон Петровский. Художественное народоведение Софьи Федорченко (Софья Федорченко. Народ на войне). VII — 266.

Владимир Потапов. Свет в чужой стороне (Геннадий Головин. День рождения покойника. Геннадий Головин. Терпение и надежда. Геннадий Головин. Чужая сторона. Повесть). V — 249.— Обочинные люди (А. Гаврилов. В преддверии новой жизни. Рассказы). VII — 264.

Вл. Славецкий. Гармонии таинственная власть (Евгений Курдаков. Из первых рук. Стихи и баллады. Евгений Курдаков. В центре мира). X — 248.

Лазарь Флейшман. Первая советская монография о Борисе Пастернаке (Е. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии). V — 252.

Е. Храмов. Китежанин (Даниил Андреев. Русские боги. Стихотворения и поэмы). VI — 258.

### Политика и наука

Р. Баландин. Книга тревоги с лукавым подтекстом (Г. Хефлинг. Тревога в 2000 году /Бомбы замедленного действия на нашей планете/). IX — 226.

Андрей Василевский. Разорение. IV (С. П. Мельгунов. Красный террор в России. 1918 — 1923 /СП «РУССО», «Р. С.»/. С. П. Мельгунов. Красный террор в России. 1918 — 1923 /«Наш современник», 1991, № 1—3/). II — 252.

Мира Петрова. «...остался самим собой» (В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. 1917—1921). VI — 263.

Рэм Трофимов. Возвращение Большого шфа (Леопольд Треппер. Большая игра. Воспоминания советского разведчика. Жиль Перро. Красная капелла. Документальный роман. Жиль Перро. Красная капелла). XII — 231.

### Забывшие книги

Л. Пияшева. На заре «социалистических завоеваний» (П. И. Лященко. Русское зерновое хозяйство в системе мирового хозяйства). IX — 229.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. Авторханов. Еще раз о «Загадке смерти Сталина». XII — 235.

«Архипелаг ГУЛАГ» читают на родине. Публикацию подготовили В. М. Борисов и Н. Г. Левитская. Примечания Д. Г. Юрасова. IX — 233.

«Конвоир» П. П. Парадизов. IX — 249.

В. П. Маслов. Экспертизы и эксперименты. I — 243.

Н. Г. Минина. На кого же списать миллионы гектаров? IX — 251.

Рафаэль Мустафин. В жерновах эпохи. V — 268.

И. А. Никулин. Вирус гигантомании. V — 257.

С. Н. Носов. Сны культуры. III — 252.

А. Фенько. Ау, родина, где ты?.. III — 251.

### КОРОТКО О КНИГАХ

Сергей Носов.— I. Н. Анциферов. Душа Петербурга. II. Лидия Иванова. Воспоминания. Книга об отце. III. Э. Голлербах. Город муз. Повесть о Царском Селе. I — 253.

В. Турбин.— С. Вайман. Гармонии таинственная власть. Об органической поэтике. С. Федякин.— Светлана Семенова. Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. В. Вахрушев.— Джек Линдсей. Поль Сезанн. Георгий Носков.— Как мы живем. V — 269.

Павел Басинский.— Анатолий Курчаткин. Записки экстремиста (Строительство метро в нашем городе). А. Коган.— Григорий Шурмак. Нас время учило. Повесть. Александр Агеев.— Петр Кожевников. Ученик. Петр Кожевников. Личная неосторожность. Повесть. В. Буцков.— Н. Нароков. Мнимые величины. Роман. Андрей



Василевский.— Д. С. Мережковский. Записная книжка. 1919—1920. VI — 267.

Ю. Смелков.— Марк Сергеев. Жизнь и злоключения Абрама Петрова — арапа Петра Великого. Зачем я ею очарован... Виталий Камышев.— Инна Ростовцева. Между словом и молчанием. О современной поэзии. В. Оскоцкий.— Николай Сафонов. Записки адвоката. Крымские татары. VII — 270.

Андрей Василевский.— I. Айзек Башевис Зингер. Шоша. Роман. Исаак Башевис Зингер. Рассказы разных лет. Айзек Башевис Зингер. Мертвый скрипач. Рассказ. Исаак Башевис-Зингер. Маленькие сапожники. II. Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910 — 1930-е годы. VIII — 266.

Майя Кучерская.— I. Лидия Чуковская. Процесс исключения. II. Петро Григоренко. Воспоминания. IX — 254.

И. Винокурова.— I. Евгений Рейн. Темнота зеркал. Стихотворения и поэмы. II. То время — эти голоса. Ленинград. Поэты «оттепели». Сборник стихов. А. Песков.— Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в. Алекс Сэн-

доу.— Revue des études slaves. Т. 59. Alexandre Puchkin. А. В. Давидян, А. В. Жуковская.— А. Н. Архангельский. Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». X — 251.

В. Вахрушев.— I. Уильям Фолкнер. Притча. Роман. II. Генри Миллер. Тропик Рака. Роман. III. Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерли. Роман. XI — 253.

Андрей Василевский.— I. Крестная ноша. Трагедия казачества. II. Анатолий Мариенгоф. Циники. Роман. Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. А. Песков.— Писатели советуются, негодуют, благодарят. О чем думали и что переживали русские писатели XIX — начала XX века при издании своих произведений. По страницам переписки. Петр Черкасов.— В. В. Согрин. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. XII — 243.

Русская книга за рубежом. Составитель А. Н. Богословский (X — А. В. Василевский). I — IV, IX—XI — 256; XII — 247.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати». Цена одного номера по подписке на 1992-г. — 4 р. 70 к., за год — 56 р. 40 к.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Д. А. Гранин, В. А. Костров (зам. главного редактора), Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селонин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 29.07.91 г. Подписано к печати 05.10.91 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Диапозитивы изготовлены в редакции газеты «Курортный вестник», отпечатано в типографии № 2 комбината печати «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

Тираж 895.000 экз. (3-й завод 360.001—610.000 экз.). Зак. 01420121. Цена 2 р. 10 к.

**В 1992 году «Новый мир»  
предполагает опубликовать:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и уюиты (роман);  
**ПЕТР БАЛАКШИН.** Финал в Китае (фрагменты книги);  
**МИХАИЛ БЕРГ.** Через Лету и обратно (путевая проза);  
**АНДРЕЙ БИТОВ.** Япония как она есть (повесть);  
**АНДРЕЙ ВОЛОС.** Кудыч (повесть);  
**В. ГАВРИЛИН.** Мысли о музыке;  
**В. ДОМОГАЦКИЙ.** Кладовка (попытка консервации);  
**АНАТОЛИЙ КИМ.** Кентавр (роман); Рассказы;  
**М. КУРАЕВ.** Зеркало Монтачки (повесть);  
**АЛЛА ЛАТЫНИНА.** Что разрушать и что консервировать?  
**ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Новая повесть;  
**ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.** И Аз воздам (роман);  
**ФРАНСУА МОРИАК.** Во что я верю (перевод с французского);  
**МАРИНА ПАЛЕЙ.** Рассказы;  
**ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА С ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙАР;**  
**Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Время ночь (повесть); Рассказы;  
**МИХАИЛ РОЩИН.** Америка (фрагменты книги);  
**Н. САРРОТ.** Дар речи (перевод с французского);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.** Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»); Статьи, интервью, выступления;  
**АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ.** Из философского и поэтического наследия;  
**ПИТИРИМ СОРОКИН.** Современное состояние России (из наследия);  
**СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ.** Осужденный жить (фрагменты автобиографической повести);  
**АФАНАСИЙ ФЕТ.** Из деревни (очерки);  
**ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ.** Рассказы;  
 а также другие произведения.  
 Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».